360709
C396

Прозер. 1930
Пров. 1934 г.
~~79371~~
24/III 77 Таран
891
С39
~~71355~~
26/II 73 2/3 № 1 8040
16/III 76 8379 в 2/3 1
360709
21/III 77 7-24/3
Пр. 2010

Провер. 193

1822.

8(с)р(09)
С 396
Запасн. фонд

В. СИПОВСКІЙ

ПУШКИНЪ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

360709

Свобода! Онъ одной тебя
...искалъ въ подлунномъ мірѣ...

Ты понялъ жизни цѣль, счастливый человѣкъ!—
Для жизни ты живешь...

Все благо. Бдѣнія и сна
Приходитъ часъ опредѣленный!...

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ Ч.[illegible]Я
ВЕСЬ

С.ПЕТЕРБУРГЪ 1907

Провер. 193

8(с)Р-35(092)

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ". Фонтанка, 86.

Центральная Рабочая
Библиотека
[illegible]

Посвящаю

Еленѣ Львовнѣ

Сиповской.

Провер. 193

«Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно-живущимъ, вѣчно-движущимся явленіямъ, не останавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе, и, какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за ней эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего». Эти слова Бѣлинскаго замѣчательно вѣрно характеризуютъ всеобъемлющую, широкую и глубокую дѣятельность всякаго геніальнаго писателя — Пушкина въ частности. Они прекрасно оправдались недавно, на столѣтнемъ юбилеѣ поэта, когда многимъ критикамъ пришлось признать, что о нашемъ великомъ поэтѣ немало сказано и вѣрнаго, но много, очень много еще остается сказать [1]). Слишкомъ необъятенъ его геній, слишкомъ широко и глубоко захватилъ онъ русскую жизнь, чтобы легко было разсчитаться съ нимъ... Оттого Пушкинъ и Петръ, крупнѣйшія явленія нашей исторіи, всегда будутъ занимать умы русскихъ людей, — для каждой эпохи они будутъ «пробнымъ камнемъ», каждая скажетъ о нихъ что-нибудь новое, «свое»—и ни одна не скажетъ всего... Великій писатель, съ каждымъ годомъ, отходитъ отъ насъ—и въ то же время все

[1]) *П. Ф. Гриневичъ*, «А. С. Пушкинъ въ сознаніи русской литературы» Сб. Р. Бог. 1899, 2. *Е. А. Соловьевъ*, «А. С. Пушкинъ въ потомствѣ» Сб. журн. «Жизнь» 1899, 46. *С. А. Андреевскій*, «Рѣчь на польскомъ обѣдѣ» (Русско-польскія отношенія 1899, 50).

выростаетъ въ нашемъ сознаніи: произведенія, которыя въ свое время увлекали его современниковъ, мало затрагиваютъ наше вниманіе, — насъ интересуютъ какъ разъ тѣ, которыя людьми 20—30-ыхъ годовъ были осуждены, какъ «слабыя», «ничтожныя»... Идеи русской критики, считавшіяся, въ свое время, «откровеніемъ», теперь оставлены и смѣнены иными. И, конечно, современемъ, эти «новыя идеи», въ свою очередь, уступятъ свое мѣсто другимъ—около великаго имени долго еще будетъ трудиться человѣческая мысль, открывая въ его твореніяхъ такія стороны, существованія которыхъ, быть можетъ, не подозрѣвалъ самъ ихъ творецъ...

«Пушкина мы еще не знаемъ и не понимаемъ!»—вотъ, печальный выводъ, къ которому приводятъ насъ нѣкоторые пушкинскіе критики въ 1899 году. И къ такому выводу мы пришли послѣ вѣкового знакомства съ Пушкинымъ, послѣ юбилея 1887 года, на которомъ никто не говорилъ, что *не знаетъ* Пушкина!.. Конечно, это признаніе нашего «невѣдѣнія» есть уже первый шагъ къ серьезному изученію его жизни и творчества безъ предвзятыхъ сужденій, безъ избитыхъ общихъ мѣстъ. Чтобы независимѣе и потому справедливѣе отнестись къ великому писателю, необходимо освободиться, прежде всего, отъ этихъ готовыхъ сужденій о немъ...

Современники Пушкина не могли спокойно судить его,— они—или возмущались его первыми произведеніями («Русланъ», «Кавказскій Плѣнникъ» и др.) и, стоя на узкой псевдоклассической точкѣ зрѣнія, осуждали поэта за «вульгарность» его творчества, за «ничтожность» его поэтическихъ замысловъ, за вольность стиля и незнаніе имъ поэтическихъ правилъ,— или они восхищались всѣми этими «недостатками», превозносили «свободу» его генія, видѣли въ немъ начинателя новой литературной жизни. Одни его назвали «романтикомъ», и за это хвалили, не понимая еще хорошо, что̀ такое этотъ «романтизмъ»,—другіе нападали на него за эту кличку. Одни его возславили, какъ ученика «Байрона»,

очевидно, путаясь въ опредѣленіи сущности «байронизма»,— другіе, съ пѣной у рта, старались доказать, что Пушкину до Байрона далеко... Изъ этой сумятицы ругани и похвалъ, заслуженныхъ и незаслуженныхъ, выгодно выдѣлились трезвые голоса, заговорившіе о «народности» Пушкина, указавшіе, что нашъ поэтъ давно уже выросъ изъ сферы тѣхъ вопросовъ, которые еще оставались нерѣшенными русской критикой. Но эти голоса заглушались журнальными криками, ихъ слушать не хотѣли, и они умолкали... Къ тому же Пушкинъ слишкомъ быстро поднимался надъ уровнемъ пониманія русскаго общества,—и величайшія созданія его оказались, въ свое время, непонятыми, неоцѣненными...

Трагическая смерть его воскресила къ нему участіе,— интересъ къ нему русскаго общества опять возросъ,—и это сказалось на взглядахъ Бѣлинскаго... «Великій, восклицалъ онъ въ 1839 году, неужели безвременная смерть твоя непремѣнно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?»... И вотъ, со дня смерти Пушкина, Бѣлинскій задачей всей своей литературной жизни поставилъ разрѣшеніе этого вопроса; онъ далъ намъ нѣсколько рѣшеній, не всегда согласныхъ, но всегда правдивыхъ и честныхъ,—всѣ они выразили собою тѣ мучительные перевороты въ его міросозерцаніи, которые происходили у него неразъ. Мятежный духъ Бѣлинскаго, ищущій вѣчно «смысла жизни», «уводилъ его то въ абстрактный героизмъ самосовершенствованія, то въ формулу: «все существующее разумно», — то въ обоготвореніе красоты и художественности, то, наконецъ, на трибуну народнаго витіи, отдавшагося треволненіямъ кипящей жизни» [1]). Разумѣется, взгляды на Пушкина у Бѣлинскаго мѣнялись неразъ—и, въ зависимости отъ этого, поэтъ то выросталъ, то сокращался въ его глазахъ.

Бѣлинскій первый у насъ призналъ значеніе «личности»

---

[1]) *Е. Соловьевъ*, op. cit, 68—9.

Пушкина для характеристики его великихъ произведеній, но онъ совершенно не пользовался біографическими данными для уясненія этой личности. Изъ русскихъ критиковъ онъ первый рѣшительно настаивалъ на великомъ значеніи «эпохи» для характеристики литературныхъ явленій,—но, къ сожалѣнію, онъ плохо зналъ исторію и, къ тому же, вслѣдствіе своей страстности, никогда не могъ стать на «историческую точку» зрѣнія: поэзію 20—30-хъ годовъ готовъ онъ былъ судить съ точки зрѣнія 40-хъ. Онъ первый заговорилъ у насъ о смѣнѣ литературныхъ направленій, о вліяніи запада,—но онъ не обладалъ глубокимъ знаніемъ литературъ западно-европейскихъ, да и о русской литературѣ XVIII-го вѣка имѣлъ очень поверхностное представленіе. Указавъ мимоходомъ на «гуманность» поэзіи Пушкина, отмѣтивъ воспитательное значеніе его произведеній, онъ не остановился обстоятельно на развитіи этой мысли, покоренный публицистическими настроеніями своего времени... И отрицательныя, и положительныя стороны взглядовъ Бѣлинскаго на Пушкина глубоко вошли въ сознаніе русской критики; его слова стали, такъ сказать, «ходячей монетой» и повторяются до нашихъ дней, съ незначительными измѣненіями всякій разъ, когда заходитъ рѣчь о значеніи Пушкина въ русской литературѣ [1]). Главная ошибка великаго критика заключается въ томъ, что онъ произвольно отрѣшилъ поэта отъ жизни, невѣрно объяснивъ тѣ стихи, въ которыхъ «поэтъ» противополагаетъ себя «черни». Стихи, имѣвшіе несомнѣнное примѣненіе къ конкретнымъ случаямъ жизни поэта, возведены были Бѣлинскимъ въ profession de foi Пушкина; подъ вліяніемъ этого невѣрнаго обобщенія, до сихъ поръ, говоря, о «взглядахъ Пушкина на поэзію», многіе, къ сожалѣнію, придерживаются исключительно точки зрѣнія Бѣлинскаго.

---

[1]) *П. Морозовъ*, «Минувшій вѣкъ», 323.

При всей своей благожелательности къ поэту, Бѣлинскій вынесъ ему, въ концѣ концовъ, такой «смертный» приговоръ:

«Какъ бы то ни было, но, по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви, мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи». Пушкинъ — только великій художникъ, его значеніе только эстетическое,—вотъ, окончательная оцѣнка Пушкина, сдѣланная Бѣлинскимъ.

Его авторитетъ и слава «бойца за прогрессъ» освятили эти ошибочныя мнѣнія и создали, въ результатѣ, школу критиковъ, съ его голоса, отрицавшихъ Пушкина. Какъ часто бываетъ, ученики ушли дальше учителя въ крайностяхъ его мнѣнія. Менѣе въ этомъ «уничтоженіи» Пушкина виновенъ былъ Чернышевскій, болѣе — Добролюбовъ и болѣе всѣхъ Писаревъ,—отъ него мы услышали, что Пушкинъ—«колоссально-неразвитой человѣкъ», что онъ только «легкомысленный версификаторъ, опутанный мелкими предразсудками, погруженный въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособный анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка» и т. д. Рядомъ съ такимъ пристрастнымъ «униженіемъ» великаго поэта, начинается и пристрастное «преувеличеніе» его: критика славянофильская (Ап. Григорьева, Страхова) превозноситъ Пушкина за то, что онъ, яко бы, сознательно выступилъ на «борьбу» съ вліяніями Запада, что потому онъ «развѣнчалъ», въ лицѣ Алеко и Онѣгина, «хищный типъ», занесенный къ намъ съ запада, и возвеличилъ «смирный типъ», принадлежащій русскому народу, опирающійся на нравственные устои родной старины, олицетворяющій «національно-христіанскую кротость»... Пушкинъ, съ точки зрѣнія «отрицателей»,—пустой писатель, безсодержательный и пошлый,—въ

глазахъ славянофиловъ, предсталъ какимъ-то партійнымъ политикомъ-философомъ, борцомъ за славянофильскіе принципы. Это навязываніе Пушкину «политики» было такою-же ошибкою, какъ и отрицаніе содержанія въ его поэзіи. Наиболѣе типичнымъ представителемъ такого тенденціознаго освѣщенія Пушкина былъ Достоевскій. Онъ обрушился на «западъ», на «хищные типы», идущіе оттуда къ нашему народу, «христіанину» по преимуществу. Въ Онѣгинѣ, въ Алеко онъ усмотрѣлъ этотъ, претящій ему, типъ скитальца-эгоиста; въ Татьянѣ, въ герояхъ повѣстей Бѣлкина и въ «Капитанской Дочкѣ» онъ превознесъ «простыхъ русскихъ людей». «Смирись, гордый человѣкъ! говорилъ Достоевскій,—и, прежде всего, сломи гордость. Смирись, праздный человѣкъ и, прежде всего, потрудись на родной нивѣ: не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ, найди себя въ себѣ, овладѣй собой и узришь правду! Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя, и не за моремъ гдѣ-нибудь, а, прежде всего, въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ,—и начнешь великое дѣло—и другихъ свободными сдѣлаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду!»

«Народность» Пушкина Достоевскій видѣлъ, между прочимъ, въ способности его къ «всемірной» отзывчивости, позволявшей ему вездѣ, всегда уловлять колоритъ мѣста и времени и рисовать не случайныя черты, а всечеловѣческія. «Положительно скажу, говоритъ Достоевскій, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью. Это только у Пушкина,—и въ этомъ смыслѣ, повторяю, онъ—явленіе невиданное и неслыханное, а, по нашему, и пророческое, ибо тутъ-то и выразилась наиболѣе его національная русская сила». По мнѣнію Достоевскаго, эта «воспріимчивость»—главная особенность нашей національности; ею объясняется и реформа Петра,

когда мы устремились къ единенію всечеловѣческому. «Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ, можетъ быть, и значитъ,—стать только братомъ всѣхъ людей, «всечеловѣкомъ», если хотите. Я говорю лишь о братствѣ людей и о томъ, что къ всемірному, къ всечеловѣческому, братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено: вижу слѣды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю въ рабскомъ видѣ исходилъ, благословляя, Христосъ. Почему-же намъ не вмѣстить послѣдняго слова его?» Пушкинъ представлялся Достоевскому «Моисеемъ новыхъ дней», отыскавшимъ для насъ «великій, вожделѣнный исходъ»... Такъ воспользовался Достоевскій праздникомъ Пушкина, чтобы высказать свои горячія вѣрованія въ русскій народъ, въ его будущее... Въ своей искренней, пламенной, рѣчи онъ говоритъ не столько о Пушкинѣ, сколько о себѣ,—о своихъ идеалахъ и мечтахъ. Поэтъ оказался для Достоевскаго *предлогомъ и темой для проповѣди, для пророчества*... Въ такомъ своеобразномъ освѣщеніи Пушкинъ выросъ въ громадный, гигантскій *призракъ*, и, хотя опьяненіе отъ этой восторженной рѣчи скоро, какъ будто, и прошло (статья Гл. Успенскаго), но многія идеи этой рѣчи вошли въ общее сознаніе,—тоже сдѣлались «ходячей монетой». Апоѳеозъ русскаго народа-«христіанина», апоѳеозъ Татьяны (идеалъ русской женщины) — сдѣлались съ его времени шаблонными фразами русской литературы, «общими мѣстами», въ устахъ преподавателей и на страницахъ ученическихъ сочиненій...

Такимъ образомъ, до сихъ поръ тяготѣютъ надъ нашимъ пониманіемъ Пушкина идеи Бѣлинскаго и Достоевскаго. Многочисленныя рѣчи и статьи 1899 года доказали это [1]). Для многихъ авторовъ словно незамѣченными оста-

[1]) *В. Сиповскій*, «Пушкинская юбилейная литература» 2-ое изд. 1900 г.

лись труды Анненкова, нѣкоторые добросовѣстные біографическіе очерки, любопытныя монографіи объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина—работы, подрывающія «пристрастныя сужденія» Бѣлинскаго и Достоевскаго.

Вотъ почему надо отъ всей души привѣтствовать тѣхъ добросовѣстныхъ критиковъ, которые въ 1899-омъ году рискнули заявить, что «Пушкина еще не знаютъ», «не понимаютъ». Въ этомъ заявленіи — свидѣтельство полнаго отрезвленія отъ ошибочныхъ, ходячихъ сужденій...

* * *

Въ жизни и дѣятельности всякаго человѣка надо различать элементъ *закономѣрности* и элементъ *случайности*.

Изъ совокупности этихъ двухъ силъ слагается дѣятельность отдѣльнаго лица,—этой совокупностью опредѣляется смыслъ всякаго историческаго явленія, выясняется сущность всего историческаго процесса — этого органическаго синтеза «безсознательныхъ» и «сознательныхъ» усилій отдѣльныхъ лицъ...

Чѣмъ крупнѣе историческій дѣятель, или историческое событіе,—тѣмъ понятнѣе, яснѣе неизбѣжность его появленія. Эта *неизбѣжность*, необходимость,—тяготѣетъ надъ исторіей,—она заставляетъ ее, время отъ времени, подводить подсчеты всему пережитому.

Чѣмъ интенсивнѣе жизнь въ прошломъ, тѣмъ внушительнѣе итоги ея. Французская революція, Петръ Великій, Пушкинъ—все это слѣдствія грандіознаго прошлаго.

Въ этомъ смыслѣ, проявленіе этихъ итоговъ, ихъ содержаніе и слѣдствія будутъ проявленіемъ исторической *закономѣрности*.

«Личность» вноситъ случайный характеръ въ это закономѣрное теченіе исторіи: не измѣняя міровыхъ законовъ развитія, тяготѣющихъ надъ всѣмъ человѣчествомъ, не будучи въ состояніи убивать, или творить жизнь общества,

она,—эта личность, можетъ задерживать, или ускорять вѣчно-поступательное движеніе исторіи,—можетъ накладывать свои индивидуальныя черты на современность. Въ этомъ—*случайность* исторической жизни. Чтобы вѣрнѣе и полнѣе оцѣнить дѣятельность великаго человѣка надо,—1) выяснить тѣ историческія условія, которыя неизбѣжно привели къ проявленію его дѣятельности,—2) надо выяснить, насколько полно отвѣтила эта дѣятельность на вопросы, поставленные ей прошлымъ; — надо опредѣлить въ ней новый моментъ въ постепенной эволюціи прошлаго и—3) уяснить, какія задачи поставила эта дѣятельность грядущей эволюціи.

Но изученіе наше будетъ одностороннимъ, если мы при этомъ не учтемъ *случайныхъ* вліяній его личности, обстоятельствъ его жизни и эпохи, которыя всегда, въ бо̀льшей, или меньшей степени, врѣзаются въ жизнь всякаго человѣка.

Мнѣ кажется, что основной ошибкой русской критики (беру два имени: Бѣлинскаго и Достоевскаго) было именно недостаточно-внимательное отношеніе къ вліяніямъ этой *случайности* на жизнь и творчество Пушкина.

Главная часть моей настоящей работы и представляетъ собою попытку выяснить вліяніе этого элемента *случайности* на жизнь и творчество великаго поэта; для этого я хотѣлъ намѣтить основныя черты его личности, опредѣлить смѣну его настроеній, ихъ исторію, ихъ значеніе для творчества. Я не называю и не считаю своей работы «біографіей» великаго нашего поэта—въ мои разсчеты не входило его обстоятельное жизнеописаніе: я хотѣлъ дать только «очеркъ» его жизни и творчества,—очеркъ, въ которомъ выяснилась бы, хотя до нѣкоторой степени, исторія его міросозерцанія, исторія его души... Вотъ почему я сознательно оставилъ въ сторонѣ такіе матеріалы, которыми долженъ будетъ воспользоваться будущій *біографъ* Пушкина, и которые для моей цѣли были излишни. Въ своей работѣ я собралъ все то, что̀ высказано было о Пушкинѣ въ послѣднее время и что̀

казалось мнѣ «вѣрнымъ», использовалъ всѣ новые матеріалы, появившіеся недавно,—использовалъ въ той мѣрѣ, въ какой это было мнѣ необходимо,—и попытался все это привести въ систему, связать въ нѣчто цѣльное *своимъ* пониманіемъ личности Пушкина [1]).

Я старался ничего не затушевывать и ничего не подчеркивать въ личности великаго человѣка, считая, что онъ не нуждается въ оправданіяхъ и въ апоѳеозахъ.

Исторія его жизни есть исторія великаго очищенія и возвеличенія его духа. Чтобы дать понятіе объ этой побѣдѣ, нельзя замалчивать того, что̀ было имъ побѣждено. Пусть моя спокойная откровенность не сочтется за желаніе унизить великаго поэта и великаго человѣка... Я хотѣлъ быть только правдивымъ наблюдателемъ добра и зла въ его жизни... Впрочемъ, несмотря на все желаніе быть безпристрастнымъ, всетаки, я, чувствую, что въ моей работѣ много «субъективнаго». Но думается мнѣ, что работы, подобныя моей, и не могутъ быть вполнѣ объективными [2]). Это и не бѣда, — чѣмъ больше будетъ, хотя бы, «субъективныхъ» оцѣнокъ поэта, — тѣмъ скорѣе и полнѣе, изъ ихъ сравненія, выяснится *объективная истина* [3])!

Если мало сдѣлано въ нашей литературѣ для выясненія вліянія этой *случайности* на дѣятельность Пушкина, то нельзя не сознаться, что и *закономѣрность* ея не опредѣлена сколько-нибудь обстоятельно. Эта задача ждетъ еще себѣ разрѣшенія въ большомъ изслѣдованіи спеціалиста-историка, кото-

[1]) Не перечисляя здѣсь всѣхъ новѣйшихъ работъ, которыми я воспользовался для своей книги, я считаю долгомъ выразить благодарность г. Лернеру, который предоставилъ для моего пользованья корректурные листы второго изданія своей книги: «Труды и Дни» (біографическая канва).

[2]) *В. Сиповскій.* „Исторія литературы, какъ наука“, 53.

[3]) Трудность моей работы особенно зависѣла отъ того, что пришлось характеризовать *по письмамъ и стихотвореніямъ* человѣка, одареннаго натурой очень сложной, полной противорѣчій; его настроенія

рый привлечетъ къ своей работѣ не только литературу XVIII—XIX-го вѣковъ, но и народную поэзію и даже древнюю письменность... Замѣчательное изреченіе Герцена: «Петръ бросилъ вызовъ Россіи, и она отвѣтила Пушкинымъ» — нуждается въ расширеніи: не одинъ Петръ Великій и XVIII вѣкъ, а *все прошлое* русской исторіи создало Пушкина!

Не пытаясь сколько-нибудь обстоятельно опредѣлять тѣ литературныя условія, которыя создали Пушкина, я теперь же попытаюсь намѣтить нѣсколько историко-литературныхъ факторовъ, которые, очевидно, оказали свое *закономѣрное* дѣйствіе на проявленіе и развитіе дѣятельности Пушкина.

* * *

...Путемъ долгой эволюціи древняя Русь къ XVII-му вѣку создала оригинальную русскую повѣсть *реальнаго* характера [1]) Такихъ повѣстей сохранилось немного,—самая типичная изъ нихъ—*повѣсть о Фролѣ Скобѣевѣ*.

Эта повѣсть не умерла у насъ,—она распространилась въ рукописяхъ, и, наконецъ, въ XVIII столѣтіи, вошла въ нашу романическую литературу, подвергшись любопытной обработкѣ. Обработка эта не коснулась ея *реальнаго* характера,—она даже усилила этотъ реализмъ, развивъ детали, введя психологическій элементъ. Подъ вліяніемъ ея, у насъ въ XVIII в. возникаетъ длинный рядъ аналогичныхъ повѣстей-новеллъ.

Въ нихъ изображена вся русская жизнь отъ дворянскихъ

прихотливо перебиваются одно другимъ; отъ новыхъ онъ возвращается къ старымъ, умудряется увлекаться въ одно время всевозможными впечатлѣніями; онъ вращается въ кругу самыхъ разнообразныхъ интересовъ и въ обществѣ различныхъ лицъ. Вотъ почему изложеніе нѣкоторыхъ главъ моей книги («Въ Петербургѣ» и «На югѣ»), по необходимости, въ зависимости отъ матеріала, сдѣлалось пестрымъ. Эта «пестрота» исчезаетъ, когда личность поэта устанавливается...

[1]) *В. Сиповскій*, „Русскія повѣсти XVII—XVIII ст." 1905 г. (предисловіе).

гнѣздъ,—до столичнаго и уѣзднаго города, отъ деревенскаго быта—до солдатскаго горькаго бытія... Передъ нами пройдетъ русскій щеголь—не тотъ шаблонный, котораго мы знаемъ изъ журнальной сатиры XVIII-го вѣка, а живой типъ въ реальной обстановкѣ будничной жизни. Пройдетъ передъ нами «злощастный дворянинъ»—бѣдный нахлѣбникъ въ богатыхъ домахъ, не то шутъ, не то другъ дома,—маленькое забитое существо, терпѣливое, добродушное, обезличенное... Пройдетъ и слабая женщина, которую судьба толкала на цѣлый рядъ испытаній, и которая ни одного не выдержала;—печальная исторія «падшей» жизни, безсмысленной и жестокой. Мы увидимъ смирнаго мужика, котораго деревенскіе «кулаки» отдаютъ противозаконно въ солдаты, который честно тянетъ лямку и калѣкой возвращается на родину. Мы увидимъ въ этихъ повѣстяхъ маленькаго чиновника, смирнаго, тихаго, пьяненькаго, надъ которымъ смѣются люди,—совершенный прообразъ гоголевскаго Акакія Акакіевича...

Надъ большинствомъ этихъ разсказовъ тяготѣетъ вопросъ: «за что́ унижены и оскорблены эти малые, смирные, несчастные люди»? Вопросъ—тотъ-же, который занялъ собою лучшіе русскіе умы XIX-го вѣка. Я утверждаю, что впервые хотя и робко, эти вопросы были поставлены еще въ *реальной* повѣсти XVIII вѣка [1])!

Не только въ этой повѣствовательной литературѣ, никѣмъ еще не изученной,—но и въ показной литературѣ XVIII-го вѣка *реализмъ* былъ силенъ. Начиная съ Кантемира, онъ завоевалъ и сатиру, и басню, и комедію, и журналы. Грибоѣдовъ, съ его «Горемъ отъ ума», *вѣнчаетъ* собою этотъ художественный реализмъ. Комедія его—итогъ всей обличительной литературы XVIII вѣка; она не даетъ намъ идеаловъ будущаго,—она вся обращена лицомъ въ прошлое...

[1]) *В. Сиповскій*, „Русская жизнь въ романахъ и повѣстяхъ XVIII вѣка", (Русская старина, 1906 г. №№ 5—6).

Такое упорное стремленіе къ реализму, къ правдѣ въ искусствѣ — тотъ «лейтъ - мотивъ», который красной нитью проходитъ чрезъ всю исторію нашей поэзіи. Онъ захватываетъ и народное творчество, и письменность, и изящную литературу. Пусть, время отъ времени, легкимъ налетомъ ложатся на нашей литературѣ псевдоклассицизмъ, романтизмъ, — *реализмъ*, въ концѣ концовъ, беретъ свое...

Итакъ, XVII и XVIII вв. подготовили *художественный реализмъ*, ввели въ нашу литературу изображеніе неприкрашенной дѣйствительности, возбудили къ ней въ русскомъ обществѣ интересъ и сочувствіе...

...Вторымъ, по важности, факторомъ въ исторіи русскаго художественнаго самосознанія былъ *сентиментализмъ*. Занесенный къ намъ еще въ началѣ XVIII в. переводнымъ романомъ, поддержанный ложно-классическою драмою, моральными изданіями и, наконецъ, длиннымъ рядомъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ романовъ, сентиментализмъ нашелъ у насъ талантливаго выразителя въ лицѣ Карамзина. Своими повѣстушками онъ вовсе не вносилъ къ намъ это направленіе—онъ *завершилъ* его, подведя ему итогъ, удачно соединивъ въ своихъ произведеніяхъ реализмъ формы и содержанія съ тѣмъ сентиментальнымъ субъективизмомъ, который окрасилъ дѣйствительность сочувствіемъ нѣжнаго, сострадательнаго сердца. Ему принадлежитъ великое культурное открытіе: «и крестьянки чувствовать умѣютъ!»... То, что влекло уже къ себѣ вниманіе русскаго *реалиста*-писателя XVIII в., что *смутно* чувствовалось имъ,—то впервые съ поразительной ясностью предстало передъ Карамзинымъ. Мудрено-ли, что это «открытіе» привело его къ нарушенію художественнаго равновѣсія между объективизмомъ изложенія и субъективизмомъ внутренняго освѣщенія: авторъ слишкомъ много внесъ въ свое произведеніе своего «я», чувствительнаго, взволнованнаго, растроганнаго величіемъ найденной идеи... Не менѣе интересна и другая его

повѣсть: «Флоръ Силинъ, добродѣтельный крестьянинъ»— произведеніе, почти не отмѣчаемое нашими историками литературы. Во время голода простой крестьянинъ много сдѣлалъ добра... Опять новое открытіе: *простой крестьянинъ* можетъ не только чувствовать любовь, но и совершать великіе, безкорыстные подвиги служенія ближнему...

За этимъ Флоромъ Силинымъ въ русскую литературу вошло много такихъ же, незамѣчаемыхъ ранѣе, героевъ. Тогдашніе журналы, вплоть до Пушкина, помѣщаютъ, подъ вліяніемъ Карамзина, повѣстушки, посвященныя разсказамъ о геройствѣ *маленькихъ людей* родной земли, печатаютъ «корреспонденціи» изъ провинціи (о добродѣтельныхъ поступкахъ мелкихъ чиновниковъ, солдатъ, крестьянъ, похожихъ на Силина); наконецъ, въ нѣкоторыхъ журналахъ открывается даже особый отдѣлъ, носящій названіе: «Лѣтопись благотворительности», въ которомъ старательно перечисляются такіе же «великіе» подвиги «малыхъ» людей.

Все это—и страдающая крестьянская дѣвушка—«бѣдная Лиза», и простой мужикъ Силинъ, съ его скромнымъ героизмомъ, и сотни тѣхъ лицъ, которые съ такою любовью зарисованы въ тогдашнихъ журналахъ, — ближайшіе предшественники «смирныхъ» типовъ Пушкина, — Мироновыхъ, станціоннаго смотрителя, и мн. другихъ.

Сентиментальная «лирика» не сдерживалась явленіями внѣшней жизни,—она вела къ самоуглубленію, къ внутренней созерцательности, къ самонаслажденію... Радость видѣть въ своей душѣ цѣлый міръ тонкихъ ощущеній, способность отзываться на всѣ внѣшнія впечатлѣнія добра и зла, красоты и безобразія, хорошей погоды и дурной—все вело къ сознанію, что такая чувствительная, отзывчивая душа—въ своемъ родѣ, совершенство—*die schöne Zeele*... Если первая серія этихъ «прекраснодушныхъ» юношей ограничивалась созерцаніемъ богатствъ своей души, то вторая серія ихъ, выросшая «подъ небомъ Шиллера и Гете», не довольствовалась уже

однимъ самонаслажденіемъ. Неясная тревога, исканіе чего-то иного, высшаго, стремленіе «туда», куда велъ Вадима таинственный звонъ колокола—создали новый типъ сентименталиста—Жуковскаго, пушкинскаго Ленскаго. Ихъ назвали у насъ «романтиками»...

Романтизмъ, по существу своему, направленіе лирическое, создалъ у насъ прекрасную поэзію крайняго индивидуализма; эта поэзія не касалась земли,—воздушная, легкая, она уносила мечты человѣческія въ жизнь, далекую отъ дѣйствительности, даже потустороннюю...

Дальше идти въ этомъ направленіи было некуда—надо было исправить ея недостатки, воспользоваться ея достоинствами — надо было вернуть эту поэзію на землю и освѣтить землю ея свѣтомъ,—*помирить идеализмъ съ реализмомъ*. Въ своей лирикѣ это сдѣлалъ Пушкинъ.

...Обращаюсь теперь къ *классицизму*. Какъ христіанство, такъ и эпоха Возрожденія (возвращеніе къ величавымъ образамъ Эллады и Рима), по всей Европѣ были двумя перерывами въ эволюціи народнаго творчества. Менѣе сильно сказались они въ тѣхъ странахъ, гдѣ историческая жизнь была длиннѣе, гдѣ традиціи классицизма были сильнѣе, быть можетъ, даже никогда не умирали (Италія). Болѣе рѣзки сказались они тамъ, гдѣ молодая жизнь еще только начинала складываться (въ Германіи, особенно въ Россіи). Вотъ почему псевдоклассицизмъ, занесенный къ намъ въ XVII в., распустившійся довольно пышно въ XVIII в., былъ въ нашемъ прошломъ тѣмъ историческимъ грѣхомъ, который надолго оригинальное народное творчество низвелъ на степень вульгарнаго, недостойнаго вниманія,—«подлаго»...

Это тѣмъ болѣе было обидно, что нашъ псевдоклассицизмъ, самъ по себѣ, былъ невысокой пробы — польско-малороссійскій у Ѳеофана Прокоповича и его сверстниковъ, — нѣмецкій у Ломоносова, — французскій у Тредіаковскаго и Сумарокова. Но характерно то, что почти

всѣ названные писатели отъ ложноклассицизма постепенно переходили къ классицизму, — оставляли нѣмцевъ, французовъ и подъ конецъ обращались къ греческимъ и латинскимъ поэтамъ...

Въ результатѣ этого возвращенія къ античному міру,— какъ итогъ этого вѣкового стремленія взять у классиковъ не только условности поэзіи, но и духъ Эллады и Рима,— явилась поэзія Батюшкова. Холодная и прекрасная, выросшая подъ туманнымъ небомъ сѣвера, она уноситъ насъ въ Грецію, въ Италію,—она рисуетъ образы, въ которыхъ порою мало жизни, но которые хороши, какъ мраморные барельефы... Конечно, съ точки зрѣнія *реалиста* — это классическое направленіе было у насъ такою же крайностью, какъ и мистическое стремленіе въ «туманную даль» Жуковскаго.

Пушкинъ бережно сохранитъ лучшіе образы Батюшкова, передастъ ихъ Майкову, Фету, но самъ отойдетъ нѣсколько назадъ—къ той живой «поэзіи», которая выросла во Франціи подъ покровомъ псевдоклассицизма... Это — «poésies fugitives», «vers de société» — та «легкая поэзія», которая, прикрывшись миѳами древности, воспользовавшись нѣкоторыми шалостями античнаго міра, создала свою поэзію, отражающую пеструю, радостную жизнь парижскихъ салоновъ...

Хлои и Дафнисы, великосвѣтскія Психеи и Амуры, Нимфы и Сатиры, шаловливые олимпійцы,—пестрая вереница легкихъ, свѣтозарныхъ, жизнерадостныхъ видѣній, свѣтлый тонъ поэзіи,—порою юморъ, порой беззаботный, иногда беззастѣнчивый, вызывающій смѣхъ,—вотъ, основной тонъ этой поэзіи. Она покорила и юношу Пушкина...

...Я говорилъ уже, что народная поэзія расцвѣтала у насъ безмятежно вплоть до принятія христіанства; съ Владимира она была признана «языческой» и подверглась гоненіямъ; прежней свободы для развитія ея уже не было — и она не пошла дальше въ своемъ развитіи, остановилась лишь на усиліяхъ сохранить то, что есть. Въ Московской

Руси произошло скрещеніе народной поэзіи съ церковной; въ результатѣ этого взаимодѣйствія,—возникновеніе новаго оригинальнаго развитія повѣсти, сказки, сатиры, бо̀льшая свобода творчества въ лирикѣ и эпосѣ. Но ложный классицизмъ, явившись вслѣдъ за Петромъ, наноситъ новый, болѣе сильный, ударъ этой молодой эволюціи. Теперь не духовенство проклинаетъ народное творчество, а интеллигенція, русскіе ложноклассики, «парнассцы» XVIII в., признали и пѣсню, и сказку «подлой» поэзіей; отвернулись о̀тъ нея сами и другихъ заставили это сдѣлать.

Но народная поэзія выдержала и этотъ второй ударъ. Уже съ XVII в. она стала сближаться съ письменностью, присвоила себѣ и передѣлала на свой ладъ итальянскій романъ о Бовѣ, восточную поэму объ Еруслапѣ; взяла южнорусскія вирши, на нихъ построила свою сатиру... Это облегчило народной поэзіи доступъ въ изящную литературу... Бова и Еруслапъ были признаны въ XVIII в. народными произведеніями,—къ нимъ стали присматриваться,—и вотъ, литераторы, въ родѣ Чулкова, начавъ съ подражанія имъ, переходятъ къ романизаціи русской былины, къ переработкѣ русской сказки... Императрица Екатерина пишетъ имъ подражанія. Херасковъ сочиняетъ свою «Бахаріану»,—смѣсь русскихъ сказокъ съ иноземными. Являются обрывки поэмъ, въ которыхъ дѣйствуютъ Илья Муромецъ, поэмы о Добрынѣ и другихъ богатыряхъ... Печатаются въ тогдашнихъ журналахъ народныя пѣсни и подражанія имъ. Какъ псевдоклассицизмъ велъ за собою классицизмъ,—такъ и псевдонародныя сказки о Бовѣ и Еруслапѣ привели къ настоящимъ народнымъ произведеніямъ... Пушкинъ начнетъ съ «Руслана»,—и перейдетъ къ собиранію пѣсенъ, къ чисто-народному творчеству въ своихъ сказкахъ...

...Петръ расчистилъ просторъ для *личности*, сдавленной старымъ укладомъ жизни московской Руси—теперь эта личность въ новой обстановкѣ сразу развернула свободно

и широко свой внутренній міръ. Если она чувствуетъ себя еще одиноко среди остальной массы русскаго общества, то всетаки ея внутренній міръ теперь въ безопасности отъ посягательствъ этого общества. Теперь она, по крайней мѣрѣ, можетъ уже *бороться*, или, въ худшемъ случаѣ, уединяться въ себя, оставаясь «въ міру», не прибѣгая къ помощи монастыря («Савва Грудцынъ», «Горе-злосчастье»)... Въ результатѣ, передъ нами прошло нѣсколько крупныхъ русскихъ дѣятелей, съ опредѣленными европейскими идеалами [1]). Поэзія, «зеркало жизни», отразила въ величавыхъ образахъ Ломоносова настроенія этихъ «новыхъ людей» — въ сатирѣ Кантемира и его учениковъ — глубокое презрѣніе къ врагамъ прогресса, къ рутинерамъ въ старыхъ кафтанахъ и невѣждамъ въ новомодныхъ камзолахъ «щеголя»...

Петровская эпоха вдохновила общество бодрымъ настроеніемъ, глубокимъ сознательнымъ патріотизмомъ, органически соединявшимъ идеалы Запада съ любовью къ родинѣ,—она создала въ сознаніи лучшихъ людей преклоненіе передъ Петромъ, а въ литературѣ дала сильный поэтическій языкъ Ломоносова, и удивительный реализмъ Кантемира.

Въ Екатерининскую эпоху подъ живымъ впечатлѣніемъ рѣчей и дѣяній императрицы-публициста, создается *общественная* жизнь—личность сокращаетъ свои размѣры, зато растетъ въ числѣ: идеалы дѣлаются не такъ глубоки, зато болѣе широки. Развитіе журналистики, ростъ числа книгъ, популяризація философіи, благодаря ей публицистическій характеръ и драмы, и лирики, и романа,– все вело къ общественному самосознанію, къ свободомыслію «вольтерьянцевъ», къ соціализму—у однихъ масоновъ, къ проповѣди нравственнаго совершенствованія — у другихъ... Отсюда общественное служеніе литературы, отсюда преувеличенная вѣра въ магическую силу художественнаго слова. Въ лицѣ Ради-

[1]) *В. Сиповскій*, «Значеніе Петра В. въ исторіи русской литературы» 1903.

щева и Новикова, отъ имени всего русскаго общества, объявлена была война «просвѣщенному абсолютизму». И вотъ, идеи «равенства», «братства» и «свободы», легкой, туманной, но привлекательной грезой пронеслись надъ русской интеллигенціей...

Реакція во взглядахъ Екатерины, мрачная эпоха царствованія Павла,—и, наконецъ, «дней Александровыхъ» «прекрасная заря», съ мечтами о конституціи у однихъ,—съ восторженнымъ, жизнерадостнымъ настроеніемъ у всѣхъ—какой калейдоскопъ пестрыхъ и сильныхъ общественныхъ настроеній!.. И въ основаніи выросшаго національнаго и политическаго самосознанія—«Исторія Государства Россійскаго», въ которой Карамзинъ, какъ «новый Колумбъ», открылъ древнюю Русь, доказавъ, что и у русскихъ есть права на «національную гордость»!.. Внутри широко развертывалась программа будущихъ реформъ,—извнѣ разгоралась борьба съ цѣлой Европой. Могучія настроенія, охватившія всѣхъ—отъ юнаго царя до простого мужика, страшный подъемъ энергіи всего народа, вѣры въ себя... И прошлое, и настоящее, и будущее казались прекраснымъ... Никто не испытывалъ придавленности, не было въ душѣ страха,—безъ-заботно-радостно, окрыленное надеждами, жило тогдашнее общество. И изъ него вышелъ Пушкинъ. Чѣмъ грандіознѣе война, тѣмъ крупнѣе ея военачальники,—чѣмъ величественнѣе эпоха,—тѣмъ лучезарнѣе геній ея дѣятелей!..

Юный Пушкинъ былъ воплощеніемъ «прекрасной зари», позолотившей своими лучами начало XIX в. Его жизнерадостная, свѣтлая молодость въ себѣ вмѣщала и красивыя мечты о правахъ освобожденнаго человѣчества, и неудержимыя стремленія ко всѣмъ радостямъ бытія.

Таковы его настроенія.

Какъ онъ ихъ воплотитъ? романтизмъ и классицизмъ были такъ далеки отъ жизни,—идти въ ихъ направленіи было некуда,—приходилось ихъ мирить между собой: иде-

ализмъ одного связать съ красотою другого... Еще одинъ шагъ—и поэтъ окунется въ русскую жизнь, станетъ лицомъ къ лицу съ *реализмомъ*, — съ тѣмъ основнымъ теченіемъ русской словесности, которое вѣками въ ней расло и развивалось... И тогда онъ создастъ Бориса Годунова, драмы и повѣсти...

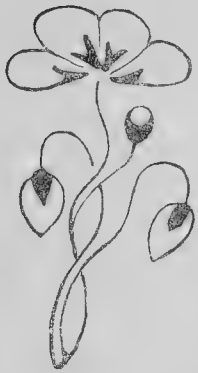
Этотъ реализмъ, уже въ XVIII-омъ вѣкѣ робко поставившій на разрѣшеніе многіе вопросы жизни, надо было облагородить сознательнымъ идеализмомъ, надо было освятить красотою,—*надо было увидѣть добро и красоту въ дѣйствительности*, надо было создать *поэзію дѣйствительности*. И это сдѣлалъ Пушкинъ.

Такъ въ дѣятельности Пушкина выразилась историческая необходимость. Вотъ почему она была закономѣрнымъ явленіемъ. Исторія культуры показываетъ намъ, что эволюція идей, формъ, настроеній прогрессируетъ лишь до опредѣленнаго момента, когда наступаетъ время зрѣлости, законченности,—тогда *подводятся итоги* всему сдѣланному,—и, въ результатѣ этихъ итоговъ, поступательное движеніе эволюціи смѣняется разработкой, расширеніемъ и углубленіемъ полученныхъ результатовъ. Кончается стволъ дерева, начинается развѣтвленіе; среди массы переплетающихся вѣтвей теряется изъ виду самый стволъ,—онъ дѣлается все менѣе замѣтнымъ и, наконецъ, исчезаетъ,—такъ въ литературѣ XIX в. разошлась, растворилась поэзія Пушкина.....

Всѣ великіе писатели, въ родѣ Шекспира, Данте, Гете—всѣ были такими итогами предшествовавшей жизни, какъ Петръ, Александръ Македонскій, Юлій Цезарь—итоги вѣковыхъ историческихъ вожделѣній. Ихъ появленіе можно предвидѣть, потому они—*закономѣрныя* явленія, и неизбѣжность такихъ явленій доказана опытами исторіи.

Но оттѣнковъ этой дѣятельности нельзя предвидѣть какъ нельзя знать, куда упадетъ зерно на камень, или въ хорошую почву, разовьется ли оно въ высокій, стройный

колосъ, или зачахнетъ безъ пищи... Сколько великихъ людей погибло въ исторіи, не имѣя возможности развернуть своего генія — многіе изъ нихъ не дали и десятой доли того, что они могли дать... Эта случайность, часто губившая генія,—жизнь ничтожныхъ людей нерѣдко окружаетъ всѣми благами существованія. Сколько усилій потратила исторія человѣчества на то, чтобы побѣдить власть *случая* силою *закономѣрности*! Дѣятельность Пушкина — одна изъ такихъ трудныхъ побѣдъ закономѣрности надъ случайностью. Несмотря на всѣ неблагопріятныя условія жизни, Пушкинъ прояснился, какъ великій національный художникъ и мыслитель... Если въ безсмысленной борьбѣ съ «случайностью» онъ погибъ, какъ *человѣкъ*, то остался безсмертнымъ, какъ *писатель*...



«Я мирныхъ звуковъ наслажденья
Младенцемъ чувствовать умѣлъ...»

„Дельвигу". Соч. I, 167.

«Края Москвы, края родные,
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и бѣдъ...»

„Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ."
Соч. I, 56.

«Тебя я зналъ во дни моей весны,
Во дни утѣхъ и сновъ первоначальныхъ,
Я ждалъ тебя... Въ вечерней тишинѣ
Являлась ты веселою старушкой...»

„Наперсница волшебной старины..."
Соч. I, 246.

«Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ,
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ...»

„Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ".
Соч. I, 310.

«Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродитъ
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ...»

„Руслань и Людмила".
Соч. II, 202.

Въ родной семьѣ.

(1799—1811).

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ родился 26-го мая 1799 года, въ Москвѣ (въ домѣ Скворцова, что на Нѣмецкой улицѣ [1]). Родители его были люди свѣтскіе, прежде всего. Въ расцвѣтѣ силъ и здоровья (род. въ 1771 г.), отецъ поэта ушелъ изъ военной службы въ отставку (въ 1797 г.), поселился въ Москвѣ и зажилъ тамъ беззаботной жизнью русскаго барина, отказавшись отъ всякой обязательной работы, не заботясь ни о чемъ,—даже о состояніи своихъ финансовъ, и объ ихъ источникѣ [2])... Потомъ, въ 1814 году, онъ испробовалъ службу гражданскую, но кончилъ тѣмъ, что черезъ годъ бросилъ и ее. Онъ былъ созданъ для «общества»; блистать въ «свѣтѣ» было его главной заботой,—для этой роли у него было много данныхъ: въ декламаціи французскихъ стиховъ у него не было въ тогдашней Москвѣ соперниковъ; удачнѣе его никто не умѣлъ устроить любительскаго спектакля и

---

[1]) *В. Т.* Гдѣ же родился А. С. Пушкинъ? М. 1899.

[2]) *Л. Павлищевъ.* Изъ семейной хроники. Воспоминанія о А. С. Пушкинѣ. М. 1890, стр. 6—7.

никто не исполнялъ своей роли съ такимъ успѣхомъ, какъ онъ; его каламбуры и экспромты бывали иногда такъ удачны, что запоминались и переходили изъ устъ въ уста [1]). Его любили, потому что онъ былъ «душою общества», и публика ему была необходима, какъ для актера, выросшаго на подмосткахъ. Умные люди находили его пустоватымъ и не прочь были посмѣяться надъ его слабостями, но его не чуждались, цѣня въ немъ и «свѣтскіе» таланты, и остроуміе, и литературное чутье... Одиночества Сергѣй Львовичъ не выносилъ, къ деревенской жизни питалъ отвращеніе [2]). Когда не было настоящихъ цѣнителей его талантовъ, онъ собиралъ вокругъ себя дѣтей и развлекалъ себя своей собственной декламаціей и блесками своего остроумія [3]). При этомъ сами дѣти были для него совершенно безразличны. Въ ихъ присутствіи онъ разсказывалъ иногда самыя двусмысленныя исторіи и читалъ совсѣмъ непедагогичные стихи [4]). Зудъ къ стихотворству былъ тоже одной изъ его многочисленныхъ слабостей,—особенно писаніе французскихъ стиховъ было любимымъ его развлеченіемъ. Говорятъ, многочисленныя его произведенія, даже цѣ-

---

[1]) *А. А. Венкстернъ*. А. С. Пушкинъ, М. 1899, 13. О немъ: *Л. Павлищевъ*. Op. cit, стр. 6, еще: *П. Анненковъ*. А. С. Пушкинъ, матеріалы, 8.

[2]) *А. А. Венкстернъ*, op. cit. 13. «Сергѣй Львовичъ терпѣть не могъ деревни, если она не была видоизмѣненіемъ, или продолженіемъ городской жизни, и ни разу не посѣтилъ иныхъ наслѣдственныхъ своихъ имѣній, какъ, напримѣръ, Болдина» (*Анненковъ*. Пушкинъ въ алекс. эпоху, 16—17).

[3]) *А. Венкстернъ*, op. cit. 13.

[4]) *Ив. Ивановъ*. «Новая культурная сила», «Русскіе писатели XIX-го вѣка», 63—4.

лыя повѣсти на французскомъ языкѣ, долго сохранялись въ альбомахъ его друзей [1]). Впрочемъ, увлеченіе стихотворствомъ было тогда модой—вообще, и въ семьѣ Пушкиныхъ—въ частности. Одинъ изъ отдаленныхъ родственниковъ отца поэта, Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ (умеръ 25-го мая 1828 г.) тоже былъ писателемъ и переводчикомъ; братъ Сергѣя Львовича, Василій Львовичъ, былъ въ свое время очень извѣстнымъ поэтомъ, и страстно любилъ литературу, — въ послѣднія минуты, во время предсмертныхъ мученій, онъ говорилъ о литературѣ [2]). Эта «піитическая» страсть Пушкиныхъ распространилась даже на ихъ прислугу: въ передней Пушкиныхъ находились доморощенные стихотворцы [3]). Такъ, камердинеръ Сергѣя Львовича — Никита Тимофѣевичъ сочинилъ балладу, подъ заглавіемъ: о «Соловьѣ Разбойникѣ, богатырѣ широкогрудомъ Еруслапѣ Лазаревичѣ и златокудрой царевнѣ Миликтрисѣ Кирбитьевнѣ». Немудрено, что и въ дѣтскую Пушкиныхъ очень рано забралось это увлеченіе стихотворствомъ и декламаціей...

Безмятежное довольство собой, полная безпечность, уходящая въ безпросвѣтный эгоизмъ, нравственная индифферентность, иногда смѣнявшаяся бурными проявленіями то вспыльчивости, то излишней чувствительности [4]),—вотъ, оборотная сторона души

---

[1]) *Л. Павлищевъ*, op. cit. 6. [2]) *Анненковъ*, «Пушкинъ въ Алекс. эпоху», 18. [3]) *Л. Павлищевъ*, op. cit. [4]) *Л. Павлищевъ*, op. cit. 8. Анекдоты о немъ у *П. Анненкова* А. С. Пушкинъ, матеріалы. 6—7. Характерно для него, что въ глубокой старости онъ влюбился въ 16-лѣтнюю дѣвушку (*П. Анненковъ*, Пушкинъ въ алекс. эпоху, 19).

Сергѣя Львовича; всѣ эти недостатки его, будучи прикрыты блескомъ и лоскомъ свѣтскаго, любезнаго, остроумнаго и общительнаго человѣка, тѣмъ не менѣе порою очень больно чувствовались домашними, особенно дѣтьми [1]).

Мать поэта была подстать своему супругу. Подобно ему, она богато была одарена «свѣтскими» качествами: «она очаровывала общество красотою, остроуміемъ и неподдѣльною веселостью» [2]), передъ ней преклонялись даже чужестранцы,—такъ, извѣстный эмигрантъ графъ Ксавье-де-Местръ нарисовалъ даже ея портретъ. Но «красавица-креолка», какъ называли ее въ свѣтѣ, прошедшая тяжелую школу семейныхъ неладовъ [3]), отличалась полною неуравновѣшенностью души, вспыльчивостью, эксцентричностью [4]). По натурѣ своей, не будучи доброй, она, порою, могла быть злой и жестокой, мстительной, даже по отношенію къ дѣтямъ. Ровнаго отношенія къ нимъ у нея не было: къ младшимъ (особенно ко Льву) относилась она со страстностью,—къ старшему (Александру)—съ холодностью, которая, порой, смѣнялась дикими вспышками раздраженія. Однажды на балу она ударила по лицу свою

---

[1]) «Отецъ его, Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, былъ отъ природы добрый, но вспыльчивый. При малѣйшей жалобѣ гувернеровъ, или гувернантокъ, онъ сердился, выходилъ изъ себя, но гнѣвъ его проистекалъ отъ врожденнаго отвращенія ко всему, что нарушало его спокойствіе, и скоро проходилъ. Вообще, Сергѣй Львовичъ не любилъ заниматься серьезными дѣлами по дому, воспитанію и хозяйству». (*Анненковъ*. «А. С. Пушкинъ», матеріалы 6).

[2]) *Л. Павлищевъ*, op. cit. 8.

[3]) См. стр. 9, прим. 1.

[4]) Отзывъ бар. *М. Корфа*. (*Я. Гротъ*, Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники, Спб. 1901. «Записка гр. Корфа», 148—9).

взрослую дочь; цѣлый годъ не разговаривала съ Александромъ Сергѣевичемъ, когда онъ былъ еще ребенкомъ; для него спеціально изобрѣтала она особыя наказанія, будучи недовольна его разсѣянностью, неуклюжестью и неприглядною внѣшностью [1]). Безпечному равнодушію супруга она противопоставила свой необузданный, порывистый духъ, унаслѣдованный отъ отца [2]). Но она, кое-какъ, уживалась съ мужемъ, быть можетъ, потому, что оба они одинаково любили «свѣтъ» и одинаково равнодушны были къ хозяйству [3]) и семьѣ. Немудрено, что въ домѣ ихъ царилъ полный безпорядокъ, а дѣла ихъ шли вкривь и вкось: за сельскимъ хозяйствомъ никто не слѣдилъ и даже домашнее велось плохо: «парадныя комнаты освѣщались канделябрами, а въ комнатѣ моей матери, разсказываетъ Павлищевъ, продававшей зачастую свои брошки и серьги, чтобы справить себѣ новое платье, горѣла сальная свѣча» [4]); «все семейство Пушкиныхъ, разсказываетъ бар. Корфъ было какое-то взбалмош-

---

[1]) *Л. Павлищевъ*, op. cit., 9.

[2]) «Надежда Осиповна—балованное дитя, окруженное съ малолѣтства угодливостью, потворствомъ и лестью окружающихъ, что сообщило нраву молодой красивой креолки, какъ ее называли въ свѣтѣ, тотъ оттѣнокъ вспыльчивости, упорства и капризнаго властолюбія, который замѣчали въ ней позднѣе и принимали за твердость характера» (*Анненковъ*, А. С. Пушкинъ въ алекс. эпоху—15).

[3]) «Сергѣй Львовичъ изъ желанія развязать себѣ руки вполнѣ передалъ все управленіе домомъ супругѣ своей, Надеждѣ Осиповнѣ, которая не менѣе его обожала свѣтъ и веселое общество, а въ управленіе домомъ внесла только свою вспыльчивость, да рѣзкіе, частые переходы отъ гнѣва и кропотливой взыскательности къ полному равнодушію и апатіи относительно всего происходящаго вокругъ». (*Анненковъ*. Пушкинъ въ алекс. эпоху, 19—20).

[4]) *Л. Павлищевъ*, op. cit., 7.

ное. Отецъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, которыхъ покойный министръ юстиціи кн. Лобановъ-Ростовскій называлъ *шалберами*, т. е. былъ довольно пріятнымъ собесѣдникомъ на манеръ старинной французской школы, съ анекдотами и каламбурами, но, въ существѣ, человѣкомъ самымъ пустымъ, безтолковымъ, безполезнымъ и особенно безмолвнымъ рабомъ своей жены. Послѣдняя была женщина неглупая, но эксцентричная, вспыльчивая до крайности, разсѣянная и особенно чрезвычайно-дурная хозяйка... Домъ Пушкиныхъ, говоритъ онъ далѣе, представлялъ какой-то хаосъ и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ и до послѣдняго стакана. Когда у нихъ обѣдало человѣка два-три лишнихъ, то всегда посылали къ сосѣдямъ за приборами»[1]). Всѣ эти подробности интимной жизни семьи очень важны для пониманія души поэта: благодаря имъ ясной представляется та атмосфера, въ которой жило его дѣтское сердце. Очевидно, въ безалаберномъ отцовскомъ домѣ не встрѣтилъ онъ не только любви, но здѣсь не хватало даже того воспитывающаго «благочинія», которое ребенка съ дѣтскихъ лѣтъ пріучаетъ къ опредѣленному укладу жизни, къ «привычкамъ», замѣняющимъ, въ худшемъ случаѣ, «принципы». Результаты этого были такъ очевидны, что, значительно позднѣе, люди, знавшіе поэта и его семью, вліяніемъ дурного домашняго воспитанія объясняли многіе недостатки его характера[2]).

---

[1]) Бар. *М. Корфъ*, op. cit. 248.

[2]) Отзывы бывшаго директора лицея Энгельгардта («Современникъ» 1863 г. №№ VIII, 376), и гр. Каподистріи, («Русская старина» 1887, № 1).

На этомъ фонѣ безотраднаго дѣтства поэта свѣтлыми образами мелькаетъ образъ его бабушки, Маріи Алексѣевны Ганнибалъ, и старухи-няни Арины Родіоновны. Бабушка, много страдавшая на своемъ вѣку [1]), вынесла изъ этихъ страданій мягкость души, которая вполнѣ пригодилась для забытой дѣтской маленькихъ Пушкиныхъ [2]). Ея разсказы о старинѣ увлекали будущаго поэта, и, надо думать, что еще изъ этихъ бабушкиныхъ разсказовъ вынесъ онъ любовь къ Петру и интересъ къ своему предку, «арапу» великаго государя.

Старая няня представляла собой типичный образецъ простой русской женщины, надѣленной не только здравымъ смысломъ, но и поэтическимъ чутьемъ [3]). Она знала безконечное число народныхъ пѣсенъ и сказокъ. «Пословицами и поговорками пересыпала она свою умную, образную рѣчь». «Сказы-

[1]) Изъ четырехъ сыновей «арапа Петра Великаго», «генералъ-аншефа» Абрама Петровича Ганнибала, младшій Іосифъ былъ родной дѣдъ поэта по матери. «Африканскій характеръ его, пылкія страсти, соединенныя съ ужаснымъ легкомысліемъ, по словамъ Пушкина, предали его всякаго рода дикимъ увлеченіямъ и излишествамъ и сдѣлали ужасомъ семьи». Онъ былъ женатъ на Маріи Алексѣевнѣ Пушкиной и, при живой женѣ,—сказавшись вдовцомъ, обвѣнчался со вдовой капитана Толстого. Это двоеженство кончилось уголовнымъ процессомъ, при чемъ Ганнибалъ былъ разведенъ со второй женой: («Родословная Пушкиныхъ и Ганнибаловъ». Соч. V, 152).

[2]) «Нужда и горе развили въ Марьѣ Алексѣевнѣ практическій умъ, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы въ ихъ отношеніяхъ къ дѣйствительной и вседневной жизни. Простота, ясность и мѣткость ея рѣчи, впослѣдствіи такъ восхищавшія Пушкина и друга его Дельвига, обусловливались отчасти и ограниченнымъ кругомъ понятій, въ которомъ вращалась Марья Алексѣевна и черезъ который смотрѣла на остальной міръ». (*Анненковъ*. Пушкинъ въ алекс. эпоху, 14).

[3]) *П. Анненковъ*. А. С. Пушкинъ, матеріалы... 3—4.

вать сказки» ноабыла мастерица. Вѣроятно, ее вспомнилъ Пушкинъ въ стихахъ:

...и откуда что брала!
А куды разумны шутки,
Небылицы, былины,
Православной старины!
Слушать, такъ душѣ отрадно! [1]).

Она была «добрымъ геніемъ» маленькихъ Пушкиныхъ, особенно Александра Сергѣевича, къ которому чувствовала сильную привязанность, вѣроятно, именно за то, что онъ былъ нелюбимымъ ребенкомъ въ семьѣ. Можно думать, что сердечность этой простой женщины спасла нѣжное, открытое для любви, сердце поэта отъ ранняго озлобленія, отъ тягостнаго сознанія несправедливости человѣческой [2]). Поэтъ отплатилъ своей нянѣ теплой привязанностью, которую онъ свято сохранилъ въ теченіе всей своей жизни; ни разу въ своихъ стихахъ не говорилъ онъ о родителяхъ,—между тѣмъ, образъ няни часто мелькаетъ въ его произведеніяхъ, всегда нарисованный съ чувствомъ самой нѣжной привязанности и благодарности: «Зимній вечеръ» [3]), «Нянѣ» [4])—стихотворенія, посвященныя ей. О ней вспоминалъ поэтъ въ элегіи «Опять на родинѣ» [5]); быть можетъ, ея образъ косвенно отразился и на нянѣ

---

[1]) Соч. II. «Сватъ Иванъ»... 149. [2]) «Родіоновна принадлежала къ типическимъ и благороднѣйшимъ лицамъ русскаго міра. Соединеніе добродушія и ворчливости, нѣжнаго расположенія къ молодости съ притворною строгостью,—оставили въ сердцѣ Пушкина неизгладимое воспоминаніе. Онъ любилъ ее родственною неизмѣнною любовью, и въ годы возмужалости и славы, бесѣдовалъ съ нею по цѣлымъ часамъ». (*Анненковъ*. А. С. Пушкинъ, матеріалы, 3). [3]) Соч. I, 362. [4]) Соч. II, 26. [5]) Соч. II, 182.

Татьяны Лариной. Не только на сердце поэта, но и на его творчество эта замѣчательная старуха имѣла большое вліяніе. Муза, по его собственному признанію, впервые стала посѣщать его еще «на слабомъ утрѣ дней златыхъ» [1]), еще во дни «его ранней весны»[2]), «во дни угѣхъ и сновъ первоначальныхъ» [3]). Тогда она явилась къ нему, преклонясь надъ дѣтской колыбелью, во образѣ старой няни—«веселою старушкой, въ шушунѣ, въ большихъ очкахъ» [4])...

Въ этихъ стихахъ Пушкинъ вспоминаетъ тѣ вечера, когда, ребенкомъ, оставался онъ одинъ въ полутемной комнатѣ со своей няней-любимицей и ожидалъ отъ нея вдохновенной сказки; въ другомъ стихотвореніи [5]), онъ прямо говоритъ объ этихъ вечерахъ: онъ называетъ ихъ «золотымъ временемъ» [6]),— когда, «притаясь въ углу», уже объятый трепетомъ вдохновенія, онъ сидѣлъ и «ждалъ своей мамушки»— и она являлась:

. . . въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
Духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня
И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы...

Поэтъ живо вспоминалъ прелесть этихъ таинственныхъ разсказовъ:

«Отъ ужаса не шелохнусь бывало...
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло!»

Когда же онъ засыпалъ, наконецъ, весь трепещущій отъ игры встревоженной фантазіи, — просыпалось его дѣтское творчество и—

---

[1]) Соч. I, 82, «Мечтатель». [2]) Соч. I, 246. [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же. [5]) Соч. I, 136, «Сонъ». [6]) Тамъ же, 136.

...тогда толпой, съ лазурной высоты,
На лоно розъ, крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали...
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ...
Въ глуши лѣсной, средь муромскихъ пустыней
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней,
И въ вымыслахъ носился юный умъ [1]).

Эти дѣтскіе вымыслы «сквозь сонъ» и были первыми созданіями великаго поэта. По крайней мѣрѣ онъ самъ впослѣдствіи пришелъ къ убѣжденію, что именно тогда «богини пѣснопѣнья въ его младенческую грудь влили искру вдохновенья» [2]), что еще «младенцемъ» онъ уже «научился» чувствовать прелесть «мирныхъ звуковъ наслажденья» [3])... Вотъ почему совершенно справедливо утвержденіе, что любовь къ народной поэзіи, къ причудливымъ образамъ народной фантазіи зародилась у Пушкина, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ разсказовъ его старой няни. Этими разсказами онъ очень дорожилъ, ихъ впослѣдствіи даже записывалъ [4]). Въ «прологѣ» къ «Руслану и Людмилѣ» удивительно удачно соединилъ онъ различные сказочные мотивы въ длинную цѣпь пестрыхъ, прихотливыхъ образовъ, прекрасно рисующихъ тотъ чудесный міръ, въ которомъ жила его фантазія въ раннемъ дѣтствѣ...

Когда бабушка поэта М. А. Ганнибалъ въ 1806 г. продала свое наслѣдственное село Кобрино и купила подмосковное сельцо Захарово, Пушкинъ съ родителями сталъ ѣздить туда каждое лѣто на дачу [5]).

[1]) Тамъ же. [2]) Соч. I, 167, «Дельвигу». [3]) Тамъ же. [4]) Соч. III, 449. 456, 529, 536—8. [5]) По другимъ указаніямъ, Захарово было пріобрѣтено еще въ 1799 г.

Здѣсь будущій поэтъ впервые узналъ зажиточную русскую деревню и привольную русскую природу [1]). Это знакомство принесло ему много счастья, и лѣтнія пребыванія въ с. Захаровѣ слились для него на всю жизнь съ самыми дорогими воспоминаніями [2]). Такъ, еще въ 1815-омъ году онъ весь еще жилъ воспоминаніями объ этомъ селѣ [3]) и въ «лицейскихъ запискахъ» отмѣтилъ свое первое посѣщеніе деревни, какъ фактъ, значительный въ своей жизни [4]).

Говорятъ, что жизнь въ деревнѣ, на свободѣ среди полей и лѣсовъ, очень своеобразно отразилась на будущемъ поэтѣ: «прежняя сонливость смѣнилась вдругъ рѣзвостью и шалостями, переходящими всякія границы. Ни строгостью, ни лаской нельзя было унять упрямаго мальчика, почуявшаго свободу» [5]),

---

1) «Зажиточные крестьяне Захарова не боялись веселиться: пѣсни, хороводы и пляски пѣлись и плясались тамъ часто. Въ двухъ верстахъ отъ Захарова находится богатое село Вяземо. Оно принадлежало Борису Годунову и сохраняетъ доселѣ память о немъ. Тамъ указываютъ еще на пруды, будто бы вырытые по его повелѣнію,—и на церковную колокольню, имъ построенную. Вѣроятно, молодому Пушкину часто разсказывали о прежнемъ царѣ — владѣтелѣ села. Такимъ образомъ, мы встрѣчаемся еще въ дѣтствѣ Пушкина съ предметами, которые впослѣдствіи оживлены были его геніемъ». (*Анненковъ*, А. С. Пушкинъ, матеріалы—5).

2) *П. Анненковъ*. А. С. Пушкинъ, матеріалы, стр. 4—5. «Въ 1831 году, передъ женитьбою своею, Александръ Сергѣевичъ побывалъ въ Захаровѣ, и, покуда Марья, дочь няни его, готовила ему сельскій завтракъ изъ яичницы, онъ обѣжалъ рощицу возлѣ дома и всѣ мѣста, напоминавшія ему дѣтство его. «Все наше рушилось, Марья, сказалъ онъ по возвращеніи:—все поломали, все заросло». Черезъ два часа онъ уѣхалъ». (Тамъ же, 5—6).

3) Соч. I, 98—9. «Посланіе къ Юдину».

4) Соч. V, 1.

5) *А. Венкстернъ*, ор. cit. 15.

и родители, еще недавно приходившіе въ ужасъ отъ неподвижности, неповоротливости мальчика, теперь пришли въ негодованіе отъ его рѣзвости и шаловливости. Но подѣлать съ нимъ они ничего не могли и дружно отвернулись навсегда отъ «страннаго», и «несимпатичнаго» ребенка, надѣленнаго такимъ взбалмошнымъ, дикимъ характеромъ... Они предоставили его цѣликомъ бабушкѣ и старой нянѣ, дворовымъ людямъ и русской природѣ, и всю свою любовь они перенесли на болѣе «примѣрныхъ» дѣтей—старшую дочь Ольгу и младшаго сына Льва. Конечно, несправедливость такого дѣлежа родительскихъ симпатій чуткимъ ребенкомъ сознавалась, но у него былъ уже свой собственный міръ, который рано сталъ утѣшать его вспыльчивое, но незлобивое сердце. Этотъ міръ былъ дорогъ ему тѣмъ, что въ немъ онъ чувствовалъ себя свободнымъ. Эта «свобода», взятая съ бою еще въ дѣтствѣ, настолько скрасила «горести» его «юной жизни»,—что съ воспоминаніями ранняго дѣтства у него всетаки соединилось представленіе, какъ о времени исключительно-счастливомъ и безоблачномъ: въ 1815-омъ году, вспоминая Москву, онъ ей посвятилъ глубоко-прочувствованныя строки, въ которыхъ нѣтъ и слѣда какихъ-нибудь злыхъ воспоминаній.

«Края Москвы, края родные,
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и бѣдъ!» [1]).

Впрочемъ, въ своихъ «Лицейскихъ запискахъ», поэтъ говоритъ и о тѣхъ *непріятностяхъ*, которыя ту-

[1]) Соч. I, 56 «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ».

манили его дѣтскія воспоминанія,—это были «гувернантки» и «гувернеры», смѣнившіе, но не замѣнившіе Арину Родіоновну. Въ этихъ запискахъ послѣ словъ: «Первыя непріятности—гувернантки» слѣдуетъ перечень: «Монфоръ, Русло, Кат. П. и Анна Ивановна»— и дальше краснорѣчивое: «нестерпимое состояніе» [1]). По всему видно, что родители, не желая безпокоить себя излишними хлопотами и безпокойствами, поручили наемникамъ обуздать своего непокорнаго сына. Какъ относился ребенокъ къ своимъ воспитателямъ, и каковы они были, лучше всего видно изъ свидѣтельствъ самого Пушкина. Ихъ нѣсколько: въ отрывкѣ романа: «Русскій Пеламъ», имѣющаго автобіографическое значеніе, читаемъ: «отецъ, конечно, меня любилъ, но вовсе обо мнѣ не безпокоился и оставилъ меня на попеченіе французовъ, которыхъ безпрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернеръ оказался пьяницей, второй, человѣкъ неглупый и не безъ свѣдѣній, имѣлъ такой бѣшеный нравъ, что однажды чуть не убилъ меня полѣномъ, третій, проживши у насъ цѣлый годъ, былъ сумасшедшій. Впрочемъ, и то правда, что не было у насъ ни одного, котораго бы въ двѣ недѣли, по его вступленіи въ должность, не обратилъ я въ домашняго шута... Я былъ рѣзвъ, лѣнивъ и вспыльчивъ, но чувствителенъ и честолюбивъ и ласкою у меня можно было добиться всего» [2]). Гувернеръ молодого Гринева («Капитанская дочка») тоже образъ, быть можетъ, до нѣкоторой степени, взятый изъ воспоминаній самого поэта.

---

[1]) Соч. V, 1. [2]) Соч. IV, 407—8. «Русскій Пеламъ».

Испытавъ на себѣ самомъ прелести воспитанія при помощи гувернеровъ, Пушкинъ впослѣдствіи высказался по этому вопросу очень рѣшительно, осудивъ русскихъ «родителей», отдающихъ дѣтей на руки наемниковъ-воспитателей, которые, съ грѣхомъ пополамъ, могли научить своихъ питомцевъ только языкамъ, но не могли ихъ воспитывать. «Въ Россіи, говоритъ онъ, домашнее воспитаніе самое безнравственное. Ребенокъ окруженъ одними холопами, видитъ гнусные примѣры. Воспитаніе его ограничивается изученіемъ двухъ, или трехъ иностранныхъ языковъ и первоначальнымъ основаніемъ всѣхъ наукъ, преподаваемыхъ какимъ нибудь нанятымъ учителемъ» [1]). Учился Пушкинъ подъ руководствомъ этихъ гувернеровъ плохо. «Возлагая всѣ свои надежды на память, молодой Пушкинъ повторялъ уроки за сестрой, когда ее спрашивали; ничего не зналъ, когда начинали экзаменъ съ него; заливался слезами надъ четырьми правилами ариѳметики, которую вообще плохо понималъ; особенно дѣленіе, говорятъ, стоило ему многихъ слезъ и трудовъ» [2]).

Впрочемъ, надо думать, жизнь въ домѣ отца имѣла и положительныя вліянія на ребенка-Пушкина. Въ тѣхъ же «Отрывкахъ лицейскихъ записокъ» встрѣчаемъ мы указанія на «литературныя знакомства» отца и дяди [3]); очевидно, въ глазахъ поэта, эти «знакомства» уже въ дѣтяхъ имѣли немалое значеніе для его развитія.

Живя чисто по-московски, гостепріимно откры-

---

[1]) Соч. V, 44. «О народномъ воспитаніи».
[2]) *П. Анненковъ.* Пушкинъ «матеріалы»—12.
[3]) Соч. V, 1.

вая дверь своего дома передъ всѣми безъ разбора,—«хоть честный человѣкъ,—хоть нѣтъ», Пушкины знакомы были со всею Москвою. Они гостепріимно принимали и «званыхъ, и незваныхъ, особенно изъ иностранныхъ»... Въ пестрой толпѣ ихъ гостей перебывали и эмигранты [1]), съ громкими титулами (гр. Бурдибуръ, Кашаръ, виконтъ Сентъ-Обенъ, гр. Ксавье-де-Местръ, пьянистка Першеронъ-де-Муши были у нихъ habitués), и эмигранты безъ титуловъ, бывали и простые русскіе баре [2]), и московскіе литераторы разныхъ ранговъ. Они въ домѣ Пушкина пользовались особымъ почетомъ и встрѣчали всегда радушный пріемъ. Эта слабость къ дѣятелямъ литературы («hommes de lettres»), несомнѣнно, была одной изъ самыхъ свѣтлыхъ чертъ отца-Пушкина. Главнымъ посредникомъ между нимъ и русскими писателями былъ братъ его, Василій Львовичъ [3]).

Общій любимецъ московскаго и петербургскаго общества, неизмѣнно-добродушный и всегда веселый, онъ всегда, вездѣ былъ желаннымъ гостемъ. Всѣ тогдашніе литераторы русскіе были его друзьями. Онъ умудрился перезнакомиться и съ заграничными. Васи-

1) *Л. Павлищевъ*, op. cit. 16.

2) *П. Анненковъ* указываетъ на широкій кругъ родства и знакомствъ Пушкиныхъ. (А. С. Пушкинъ, матеріалы, 7). Пушкинъ, еще ребенкомъ, привыкъ къ сутолокѣ родительскаго дома, — эта «суета» рано сдѣлалась ему даже «пріятной». (Соч. I, «Къ сестрѣ» 7),—«J'aime et le monde, et son fracas je, hais la solitude!»—восклицаетъ онъ въ стихотвореніи: «Mon portrait» (I, 39); оттого, позднѣе, попавъ въ лицей, онъ томился своимъ «уединеніемъ» («Къ сестрѣ», 7).

3) «Василій Львовичъ, когда пріѣхалъ погостить у своего брата, ввелъ его въ кружокъ первоклассныхъ литераторовъ». *Л. Павлищевъ*, op. cit. 12.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧИТ
2

лій Львовичъ подкупалъ всѣхъ своей простотой и сердечной наивностью; иногда надъ нимъ зло подсмѣивались, но его всѣ любили [1]). «По характеру своему онъ имѣлъ много общаго съ братомъ и принадлежалъ, какъ и Сергѣй Львовичъ къ тому типу интеллигентныхъ бонвивановъ, которыми такъ изобилуетъ конецъ прошлаго и начало нынѣшняго вѣка». Но въ немъ

---

[1]) «Франтъ, гастрономъ и острякъ, всегда довольный собою и другими, Василій Львовичъ вносилъ смѣхъ и оживленіе всюду, куда ни появлялся. Вся Москва знала и любила его. Въ сравненіи съ братомъ онъ былъ проще и добродушнѣе, веселость искреннѣе, и вся натура мягче». (*Венкстернъ*, op. cit. 16). Сергѣй Львовичъ и братъ его, столь извѣстный Василій Пушкинъ, получили полное французское воспитаніе, писали стихи, знали много умныхъ изреченій и острыхъ словъ изъ стараго и новаго періода французской литературы и сами могли бойко размышлять о серьезныхъ вещахъ съ голоса французскихъ энциклопедистовъ, послѣдняго прочитаннаго романа, или гдѣ-нибудь перехваченнаго сужденія. Никто больше ихъ не ревновалъ и не хлопоталъ о русской образованности, подъ которой они разумѣли много разнообразныхъ предметовъ: сближеніе съ аристократическими кругами нашего общества и поддѣлку подъ ихъ образъ жизни, составленіе важныхъ связей, перенятіе послѣднихъ парижскихъ модъ, поддержку литературныхъ знакомствъ и добываніе чрезъ ихъ посредство слуховъ и новинокъ для неумолкаемыхъ бесѣдъ, для умноженія шума и говора столицы»... «Вообще, слѣдуетъ замѣтить, что у обоихъ братьевъ не было и времени для своихъ собственныхъ дѣлъ: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшіе всю свою жизнь гостиныхъ и эффектныхъ бесѣдъ, переносившіе удачное бонмо, передъ ними сказанное изъ дома въ домъ, и, со своей стороны, занятые для потѣхи другихъ тѣмъ, что французы называютъ «дѣланіемъ ума», «faire de l'esprit»—такіе люди уже, конечно, не имѣли ни времени, ни возможности устроить свое существованіе на прочныхъ основаніяхъ. Вотъ почему вся ихъ жизнь, проведенная въ бѣготнѣ за высшимъ свѣтомъ и модными формами существованія, въ толкотнѣ между людьми и въ пересудахъ слышаннаго и видѣнаго, оставила ихъ, подъ конецъ, матеріально и умственно разбитыми и несостоятельными». (*П. Анненковъ*, «Пушкинъ въ Алекс. эпоху», 15, 16—17).

не было эгоизма и нѣкоторой жесткости Сергѣя Львовича—немудрено поэтому, что передъ нимъ широко распахнулась дверь въ дѣтскую Пушкиныхъ, и туда онъ внесъ литературную атмосферу, познакомивъ будущаго поэта не только съ произведеніями всѣхъ корифеевъ русской поэзіи, но введя его и въ интимные интересы тогдашней литературной жизни,—отъ него услышалъ мальчикъ имена не только Карамзина, Батюшкова, но и тѣхъ Хвостовыхъ, Шихматовыхъ, смѣяться надъ которыми было принято въ кругу передовыхъ русскихъ писателей того времени. Живые разсказы дяди о заграничной жизни, объ его личныхъ знакомствахъ съ иностранными, главнымъ образомъ, французскими знаменитостями,—все это увлекало ребенка-Пушкина и, мало-по-малу, втягивало его въ литературную жизнь эпохи [1])... Понятно поэтому съ какимъ восторгомъ, будущій поэтъ всматривался въ гостиной своего отца въ лица тѣхъ писателей, которые, благодаря словоохотливому дядюшкѣ, были ему знакомы не съ одной только литературной стороны [2])... Въ одномъ позднѣйшемъ стихотвореніи Пушкина есть прямое указаніе на тѣ чувства, которыя волновали его,

---

[1]) *М. Е. Халанскій.* «О вліяніи В. Л. Пушкина на поэтическое творчество А. С. Пушкина» («Харьковскій Универс. Сборникъ въ память А. С. П-на» X. 1900). *Его-же*: «Къ вопросу о вліяніи В. Л. Пушкина на поэтическое творчество А. С. П-на» X. 1900. Самъ Пушкинъ указалъ что «дядюшка-поэтъ» его «съ музами сосваталъ» («Къ Дельвигу», I, 88).

[2]) «Прижавшись въ уголъ дивана, молча и не шевелясь, вслушивался онъ въ разговоры ихъ. Въ холостой кабинетной бесѣдѣ, не стѣсненной присутствіемъ дамъ, конечно, было много такого, чего не слѣдовало бы слышать ребенку, но С. Л. не обращалъ на это «вниманія». (*А. Венкстернъ*, op. cit. 17).

когда онъ, напримѣръ, въ кабинетѣ отца увидѣлъ въ первый разъ Жуковскаго:

«Могу-ль забыть я часъ, когда передъ тобой,
Безмолвный я стоялъ и молнійной струею,
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла» [1]).

Быстрому развитію его литературныхъ вкусовъ особенно помогло то обстоятельство, что богатая библіотека отца, составленная, впрочемъ, главнымъ образомъ, изъ французскихъ писателей, была въ его полномъ распоряженіи. Въ кабинетѣ отца онъ проводилъ безсонныя ночи, «безъ разбора пожирая всѣ книги, попадавшіяся ему подъ руку» [2]).

Такимъ образомъ, уже съ дѣтства, онъ сдѣлался страстнымъ любителемъ чтенія и съ головой окунулся въ своеобразную атмосферу сенсуалистической и скептической литературы XVIII-го вѣка. Насколько сильны были надъ нимъ эти литературныя вліянія, видно изъ того, что они ясно опредѣлили его дѣтскіе литературные вкусы [3]) и настроеніе его первыхъ поэтическихъ опытовъ. Парни [4]) и Вольтеръ [5])—вотъ, писатели, которые въ это время сдѣлались его любимцами. Преклонялся онъ также передъ именами Вержье [6]),

---

1) Соч. I, 164. «Къ Жуковскому».

2) *П. Анненковъ.* «Пушкинъ». Матеріалы, 12.

3) Въ лицей онъ привезъ изъ дому съ собой «огромный запасъ любимой имъ тогда французской литературы» (*Я. Гротъ.* op. cit. «Записка Комовскаго»). Впрочемъ, вся эта литература была у него въ головѣ—онъ зналъ ее наизусть (слова Энгельгардта, Комовскаго, и др.

4) Соч. I, 15, 17, 20, 34, 44, 96, 109, 110, 117, 150, 154.

5) Соч. I, 22, 42, 62, 99, 135.

6) Соч. I, 44.

Грекура [1]), Виланда [2]), Грессе [3]), Лафора [4]), Шолье [5]), Лафонтена [6]),—рѣже упоминаетъ онъ имена Мольера [7]), Виргилія [8]), Тассо [9]), Камоэнса [10]), Оссіана [11]), Расина [12]), Руссо [13]), Ювенала [14]) и др. Подругой поэта въ его чтеніи была его любимица-сестра [15]). Впрочемъ, изъ тѣхъ вопросовъ, которые онъ задалъ ей въ стихотвореніи: «Къ сестрѣ»,—видно, что у нея были другіе вкусы,—она, скорѣе, была поклонницею сентиментальной романической литературы.

«Жанъ-Жака-ли читаешь?
Жанлисъ-ли предъ тобой?
Иль съ рѣзвымъ Гамильтономъ
Смѣешься всей душой?
Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пронеслась мечтой
Въ поля, гдѣ отъ дубравы
Вдоль вѣетъ вѣтерокъ?»

Въ стихотвореніи «Городокъ» [16]) онъ впервые произвелъ смотръ всѣмъ своимъ поэтамъ-любимцамъ: оказывается, что еще ребенкомъ, въ ихъ обществѣ «онъ съ восторгомъ забывалъ цѣлый свѣтъ»: эти литераторы-«мертвецы», «парнасскіе жрецы», были уже въ дѣтствѣ его «друзьями»...

На первомъ мѣстѣ и здѣсь поставленъ Вольтеръ, «сынъ Мома и Минервы», «фернейскій злой крикунъ». Онъ въ глазахъ Пушкина, былъ «поэтъ въ поэтахъ первый», который имъ «всѣхъ больше перечитанъ и всѣхъ менѣе его томилъ». Такія же востор-

---

[1]) Соч. I, 44. [2]) Соч. I, 99. [3]) Соч. I, 108. [4]) Соч. I, 109. [5]) Соч. I, 43, 157. [6]) Соч. I, 43. [7]) Соч. I, 44. [8]) Соч. I, 43, 62. [9]) Соч. I, 43; [10]) Соч. I, 62. [11]) Соч. I, 12. [12]) Соч. I, 44. [13]) Соч. I, 6, 44. [14]) Соч. I, 35, 157, 72. [15]) Соч. I, 6. [16]) Соч. I, 40.

женныя строки посвящены «Ванюшѣ Лафонтену», безпечному лѣнтяю, который своей поэзіей прелестной, по признанію юноши, увлекъ его юное сердце «въ плѣнъ». Сочувственно отзывается поэтъ о Богдановичѣ, этомъ «наперстникѣ миломъ» «Психеи златокрылой», счастливомъ соперникѣ Лафонтена [1]). Кромѣ него, изъ русскихъ писателей восхваляетъ Пушкинъ особенно охотно Батюшкова [2]), Жуковскаго [3]), Державина [4]), рѣже Карамзина [5]), Крылова [6]), В. Пушкина [7]), охотно высмѣиваетъ онъ Шаховскаго [8]), Хвостова [9]), Шишкова [10]), Шихматова [11]) и др. Всѣ эти отзывы создались исключительно подъ вліяніемъ еще дѣтскихъ впечатлѣній; они свидѣтельствуютъ о широкомъ знакомствѣ ребенка съ иностранной литературой и указываютъ, какъ рано Пушкинъ сталъ жить партійными интересами тогдашней русской литературы. Впрочемъ, надо сознаться, что перечисленныя русскія имена произносятся Пушкинымъ хотя съ уваженіемъ, но безъ всякаго горячаго сочувствія,—только Богдановичъ, Батюшковъ, В. Л. Пушкинъ да Крыловъ удостоились той живой похвалы, которая свидѣтельствуетъ, что ихъ творенія, дѣйствительно, затрагивали воображеніе юноши. Любопытно, что изъ произведеній этихъ писателей, какъ разъ, удостоились хвалы тѣ, которыя, въ бо̀льшей или меньшей мѣрѣ, отвѣчали своимъ настроеніемъ его любимымъ французскимъ поэтамъ.

Легкомысленный взглядъ на жизнь, какъ на не-

---

[1]) Соч. I, 43. [2]) Соч. I, 77, 45, 34. [3]) Соч. I, 57, 163. [4]) Соч. I. 83, 43. [5]) Соч. I, 44. [6]) Соч. I, 45, 43. [7]) Соч. I, 156, 121, 45. [8]) Соч. I. 157. [9]) Соч. I, 122, 120, 107, 90, 50, 42. [10]) Соч. I, 157, 107. [11]) Соч. I, 121, 107, 62.

изсякаемый источникъ радостей и наслажденій,—вотъ, господствующій мотивъ этой поэзіи. Фривольное отношеніе къ основнымъ вопросамъ бытія, эротизмъ, не переходящій, впрочемъ, за предѣлы изящнаго, легкій скептицизмъ, далекій отъ мрачнаго разочарованія — вотъ характерныя особенности этого свѣтлаго жизнерадостнаго творчества; и живой, веселый стихъ, и беззаботный смѣхъ, и полная безоблачность настроеній—словомъ, все въ этой поэзіи рано стало чаровать Пушкина... Еще дома, ребенкомъ, встрѣтился онъ съ творчествомъ, которое освѣщалось такими-же настроеніями,—въ такомъ духѣ были произведенія его отца и дяди, Василія Львовича [1]). Вотъ почему, когда позднѣе, въ лицеѣ, онъ, самъ сталъ пробовать свои силы, эти легкомысленныя «французскія» вліянія настолько имъ овладѣли, что даже въ Вольтерѣ онъ не сумѣлъ усмотрѣть серьезнаго содержанія: чтеніе Вольтера его только «радовало» и нисколько «не томило»,—къ серьезному чтенію онъ съ дѣтства себя не пріучилъ и всякую иную поэзію, кромѣ французской, въ эти счастливые годы искренне считалъ «скучной»,—такъ однажды онъ взялся «разбирать нѣмца Клопштока», но «не могъ понять премудраго»! [2]). Вотъ почему онъ боялся «безъ крылъ» парить за Мильтономъ, Камоэнсомъ, не пытался слѣдовать за Виргиліемъ, но за то съ полнымъ восторгомъ прочелъ поэму Вольтера: «La Pucelle», назвавъ ее «книжкой славною, золотой и незабвенной» [3]), и охотно взялся писать ей подражаніе, чувствуя въ себѣ и силъ достаточно, и наличность соотвѣтственныхъ настроеній. Если всѣ эти отзывы о

[1]) *П. Анненковъ.* [2]) Соч. I, 62. [3]) Соч. I, 62.

различныхъ произведеніяхъ западной литературы и относятся ко времени пребыванія поэта въ лицеѣ, тѣмъ не менѣе, изъ самаго стихотворенія «Городокъ» явствуетъ, что знакомство съ этими авторами, а, слѣдовательно, и ихъ воздѣйствіе на его развивающіеся вкусы, начались еще дома.

Всѣ первыя произведенія Пушкина, о которыхъ мы знаемъ, писались на французскомъ языкѣ и были именно подражаніями излюбленнымъ французскимъ авторамъ. Такъ извѣстно, что, «начитавшись Генріады», онъ задумалъ поэму въ 6 пѣсняхъ: впрочемъ, это была не героическая поэма, какъ слѣдовало бы ожидать, а шуточная. Въ ней Пушкинъ изобразилъ фантастическую войну между карлами и карлицами во времена Дагоберта. Карло послѣдняго, по имени Toly, былъ героемъ ея, почему и вся поэма называется «La Tolyade». Начиналась она такъ:

«Je chante ce combat, que Toly remporta,
Où maint guerrier périt, où Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche [1]).

Первымъ и единственнымъ критикомъ этихъ ребяческихъ твореній была его сестра Ольга. Также любилъ Пушкинъ импровизировать комедійки и, по общему согласію съ сестрой, устроилъ нѣчто вродѣ театра, гдѣ авторомъ и актеромъ былъ онъ самъ, а публикой—сестра. Разъ какъ-то «публика» освистала его пьесу: «L'Escamoteur». Авторъ, потерпѣвшій фіаско, отшутился эпиграммой на самого себя, долго сохранявшейся въ памяти его тогдашняго судьи-сестры:

[1]) *П. Анненковъ*, «Матеріалы», 13.

«Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre
Hélas—c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière [1]).

Впрочемъ, кромѣ «французскихъ» были въ его юномъ творчествѣ и другія «вліянія»: въ концѣ 1811 г., или въ началѣ 1812 г., Пушкинъ сочинилъ «рыцарскую балладу», въ подражаніе произведеніямъ Жуковскаго [2]). Ни это, ни другія, названныя выше, произведенія не сохранились,—всѣ они остались лишь въ воспоминаніяхъ дѣтства самого поэта и его сестры. У старшихъ поощренія своимъ опытамъ Пушкинъ не встрѣтилъ,—ему даже досталось какъ-то за его стихоплетство: одинъ изъ его гувернеровъ, нѣкій Русло, имѣлъ претензію писать французскіе стихи «не хуже Расина и Корнеля»; онъ пожаловался Н. О. Пушкиной на то, что мальчикъ тратитъ время, сочиняя стихи,—и ребенокъ былъ наказанъ. Этотъ Русло, «несносный» и «капризный самодуръ», какъ называетъ его племянникъ поэта, «едва ли не видѣлъ въ мальчикѣ-стихотворцѣ счастливаго соперника и злобился на него, вышучивая его произведенія» [3]).

Какъ ни обидно было самолюбивому ребенку такое отношеніе родителей и поэта-гувернера къ его творчеству, но онъ продолжалъ по прежнему увлекаться сочиненіемъ французскихъ стиховъ.

«Французоманія» московскаго общества, высмѣянная въ комедіи Грибоѣдова, царила, какъ мы видѣли, и въ домѣ Пушкиныхъ. Поэтъ самъ признавался, уже взрослымъ, что французскій языкъ зналъ всегда

[1]) *П. Анненковъ.* Пушкинъ, матеріалы 13. [2]) *В. П. Гаевскій,* Пушкинъ въ лицеѣ, «Современникъ» 1863, № 7. [3]) *Л. Павлищевъ.* op. cit. 14—15.

лучше родного русскаго [1]). Возможно, что онъ былъ бы совершенно поглощенъ французскими вліяніями, если бы его не спасли пережитыя имъ въ раннемъ дѣтствѣ вліянія старухи-няни и бабушки,—только съ ними, прислугой да священникомъ дѣти Пушкиныхъ говорили по-русски. Бабушка, Марья Алексѣевна, вообще принимавшая, какъ говорятъ, дѣятельное участіе въ занятіяхъ внуковъ, обучала ихъ русскому языку. Священникъ Александръ Ивановичъ Бѣликовъ, одинъ изъ «модныхъ» тогда въ Москвѣ пастырей, преподавалъ имъ Законъ Божій; онъ свободно владѣлъ французскимъ языкомъ, былъ переводчикомъ твореній Масильона, и даже, какъ собесѣдникъ, имѣлъ успѣхъ въ тогдашнихъ московскихъ салонахъ.

Пестро и безпорядочно шло воспитаніе мальчика дома. Съ одной стороны — полное равнодушіе родителей, изрѣдка переходившеее въ недоброе высмѣиванье нелюбимаго ребенка, съ другой — полная свобода саморазвитія, безъ системы и контроля, нарушаемая лишь безтолковыми вторженіями разныхъ гувернеровъ въ тотъ завѣтный міръ, который любовно созданъ былъ забытымъ ребенкомъ... Случайныя знанія и случайныя впечатлѣнія громоздились безъ системы въ его юной головѣ, добрыя и злыя чувства перемѣшивались въ его сердцѣ. Его воображеніе, развитое не по лѣтамъ, уже создало ему свой особый міръ поэтическихъ грезъ, куда пестрой чередой собрались и граціозныя чувственно-прекрасныя видѣнія

[1]) Соч. VII, 274. Въ письмѣ къ П. Я. Чаадаеву 6 іюля 1831 г. онъ пишетъ: «je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière, que la nôtre».

«легкой поэзіи» французовъ, и эпическіе, спокойные образы народнаго русскаго творчества. Мысль дремала, но чувства уже кипѣли въ душѣ этого страннаго ребенка. Это замѣчено было многими, знавшими его семейную обстановку. Гр. Каподистрія про него писалъ, что, «исполненный горестей, въ продолженіи всего своего дѣтства», онъ «оставилъ родительскій домъ, не испытывая сожалѣнія»... «Лишенный сыновней привязанности онъ могъ имѣть лишь одно чувство—страстное желаніе независимости» [1]). Для родителей онъ былъ чужимъ, и они для него тоже,—въ раннемъ дѣтствѣ ему не хватало одного изъ самыхъ существенныхъ воспитательныхъ воздѣйствій — любви самыхъ близкихъ людей въ свѣтѣ... Немудрено, что онъ рано замкнулся въ себѣ и всѣ усилія устремилъ на то, чтобы родители и ихъ наемники не вторгались въ его завѣтный міръ. Испытавъ полную неудачу съ воспитаніемъ первенца, родители замѣтно стали тяготиться ребенкомъ, который своими странностями, своею «неуимчивостью» (слова няни), совсѣмъ не подходилъ къ ихъ «свѣтскому» образу жизни. Вотъ почему они готовы были отдѣлаться отъ него, сдавъ его изъ дому на руки, хотя бы, даже отцовъ-іезуитовъ, въ пансіонъ, ими содержимый. Къ счастью для поэта, онъ избѣгъ этой школы и попалъ на 12-мъ году своей жизни въ Александровскій Царскосельскій Лицей [2]). Онъ всту-

---

[1]) *Л. Поливановъ*. А. С. Пушкинъ («Русская старина» 1887 № 1 241).

[2]) «Глаза всѣхъ родителей обращены были тогда на іезуитскій коллегіумъ, существовавшій въ Петербургѣ и пріобрѣтшій извѣстность въ дѣлѣ воспитанія. Пушкины нарочно ѣздили въ Петербургъ для устройства этого дѣла и переговоровъ съ директоромъ заведенія, когда положеніе объ открытіи Царскосельскаго лицея совершенно измѣнило

пилъ туда ребенкомъ, развитымъ не по лѣтамъ, съ малыми и несистематичными знаніями. Его душа была полна противорѣчій и порывовъ: съ трогательною любовью къ старой нянѣ и бабушкѣ, онъ могъ соединить равнодушіе къ родителямъ и даже злобу къ гувернерамъ и гувернанткамъ. Онъ способенъ былъ восторгаться сладострастіемъ французской лирики, увлекаться спокойными образами народной поэзіи и, въ то же время, въ его душѣ жили нѣжныя и чистыя чувства, которыя такъ взволновали его при первомъ свиданіи съ пѣвцомъ «Свѣтланы». Вотъ почему мнѣніе о Пушкинѣ-ребенкѣ «опытнаго педагога»—и «умнаго человѣка» Энгельгардта оказалось глубоко несправедливымъ: чувства Пушкина не «были въ немъ унижены воображеніемъ, оскверненнымъ всѣми эротическими произведеніями французской литературы»[1]),—такъ какъ онъ уже тогда, ребенкомъ, *жилъ различными чувствами*,—они всѣ *уживались рядомъ* въ его дѣтской душѣ, уже тогда многосторонней и широкой. Энгельгардту въ глаза бросилось, прежде всего, то, что было, дѣйствительно, неожиданнымъ въ «*ребенкѣ*»,—всякаго должно было поразить то обстоятельство, что «французскую эротическую» поэзію мальчикъ зналъ, при поступленіи въ лицей, почти наизусть, «какъ бы достойное пріобрѣтеніе первоначальнаго воспитанія»...

планы ихъ. Директоромъ лицея былъ назначенъ Василій Ѳедоровичъ Малиновскій, съ которымъ, какъ и съ братьями его, Сергѣй Львовичъ находился въ дружескихъ сношеніяхъ (*П. Анненковъ*, «Матеріалы», 14).

[1]) Отзывъ Энгельгардта («Современникъ» 1863, № VIII стр. 376), перепечатанъ у *П. Анненкова*. («Пушкинъ въ алекс. эпоху», 41).

«Въ началѣ жизни школу помню я;
Тамъ насъ, дѣтей, безпечныхъ было много—
Неравная и рѣзвая семья»...
Соч. II, 115.

«Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ,
Я пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни
И царскосельскія хранительныя сѣни»...
„Чаадаеву". Соч. I, 242.

«Vrai démon pour l'espièglerie
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'étourderie
Ma foi—voilà Pouchkine!
„Mon portrait". I, 40.

«Одинъ (Дельфійскій идолъ)—ликъ младой
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной
И весь дышалъ онъ силой неземной!
Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ — лживый, но прекрасный.
Соч. II, 116.

«Гдѣ вы, лѣта безпечности недавней?»
„Посланіе къ князю А. М. Горчакову".
Соч. I, 130.

Въ Царскосельскомъ лицеѣ.

Александровскій Лицей въ Царскомъ Селѣ былъ основанъ 12-го августа 1810 г. Объ его основаніи 11-го января 1811 г. было опубликовано во всеобщее свѣдѣніе, а 1-го марта того же года Сергѣй Львовичъ Пушкинъ подалъ прошеніе о допущеніи своего сына ко вступительному экзамену[1]), Экзаменъ былъ сданъ 12-го августа и обнаружилъ полную случайность и несистемность знаній мальчика: онъ получилъ отмѣтки въ «грамматическомъ познаніи Россійскаго языка»—*очень хорошо,* въ «грамматическомъ познаніи французскаго языка»—*хорошо,* въ «грамматическомъ познаніи нѣмецкаго языка»—*не учился,* въ «ариѳметикѣ»—*до тройного правила,* въ «познаніи общихъ тѣлъ»—*хорошо,* въ «начальныхъ основаніяхъ географіи и въ начальныхъ основаніяхъ исторіи»—*имѣетъ свѣдѣнія.* Эта оцѣнка была признана удовлетворительной, и Пушкинъ, «номеромъ четырнадцатымъ», вошелъ въ списокъ учениковъ «приятыхъ». 19 октября послѣдовало открытіе новаго заведенія; 23-го начались уже занятія.

---

[1]) *Проф. И. А. Шляпкинъ,* 1799—1899 .Къ біографіи А. С. Пушкина, Спб. 1899.

Александровскій лицей, основанный по плану, выработанному Сперанскимъ, былъ учебнымъ заведеніемъ, на которое, при его открытіи, возлагались особыя надежды,—онъ долженъ былъ готовить будущихъ «государственныхъ людей» [1]). Сообразно такимъ разсчетамъ основателя, учебные планы лицея преслѣдовали, исключительно, общеобразовательныя цѣли, исключавшія возможность всякой спеціализаціи. Кромѣ того, для дѣтей привелигированнаго сословія лицей долженъ былъ замѣнить университетъ, въ который открытъ былъ доступъ «разночинцамъ». Государь сначала очень увлекался новымъ заведеніемъ, хотѣлъ даже воспитывать въ немъ своихъ братьевъ — Великихъ Князей Николая и Михаила Павловичей, но война 1812 года, а затѣмъ и коренная перемѣна его міросозерцанія, измѣнили его отношенія къ лицею,— только этимъ можно объяснить такую странность, что новое заведеніе, на первыхъ порахъ обставленное съ царскою роскошью, очень скоро спустилось въ ряды заурядныхъ казенныхъ заведеній. «Въ началѣ лицеистамъ, разсказываетъ бар. Корфъ, сдѣлали пре-

---

[1]) «Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ лицеемъ, при основаніи его, связывались надежды создать образцовое заведеніе, которое, съ одной стороны, могло бы стоять вровень съ наполеоновскими Lycées и англійскими Colleges, той эпохи, а съ другой—дать образецъ дѣятельности чисто русской, національной педагогіи» (*П. Анненковъ*, Пушкинъ въ алекс. эпоху, 30). Лицей былъ подчиненъ непосредственно министру, который входилъ во всѣ мелочи лицейской жизни. Министръ, графъ А. К. Разумовскій, на первыхъ порахъ былъ по отношенію къ лицею, въ одно и то же время, министромъ, инспекторомъ классовъ заведенія и гувернеромъ его: онъ клалъ резолюціи также точно по важнымъ вопросамъ преподаванія, возникавшимъ въ училищѣ, какъ и по шалостямъ и проступкамъ населявшей его молодежи» (тамъ же).

красные синіе мундиры изъ тонкаго сукна, съ теперешнимъ воротникомъ, и при нихъ бѣлые панталоны въ обтяжку, съ ботфортами и трехугольными шляпами и, сверхъ того, для будней, синіе форменные сюртуки, съ красными воротниками»[1]); но затѣмъ, въ періодъ упадка лицея, «все это стало постепенно отпадать—сперва, вмѣсто бѣлыхъ панталонъ, съ ботфортами, явились сѣрыя брюки, потомъ, вмѣсто трехугольныхъ шляпъ, — фуражки; наконецъ, вмѣсто форменныхъ синихъ сюртуковъ, — сѣрые, статскаго покроя, чѣмъ, особенно, мы обижались потому, что такая же форма была тогда у малолѣтнихъ придворныхъ пѣвчихъ внѣ службы»[2]). Учебные планы новаго заведенія были совсѣмъ не разработаны, и первымъ ученикамъ лицея пришлось на себѣ испытать всѣ недостатки такого порядка вещей. Баронъ Корфъ въ своихъ воспоминаніяхъ такъ характеризуетъ лицей въ первые годы его существованія: «лицей былъ устроенъ на ногу высшаго окончательнаго училища, а принимали туда, по уставу, мальчиковъ, отъ 10 до 14-ти лѣтъ, съ самыми ничтожными предварительными свѣдѣніями. Намъ нужны были сперва *начальные* учители,—а дали тотчасъ *профессоровъ*, которые, притомъ, сами никогда нигдѣ еще не преподавали. Насъ надобно было раздѣлить по лѣтамъ и по знаніямъ на классы, — а посадили всѣхъ вмѣстѣ и читали, напримѣръ, нѣмецкую литературу тому, кто едва зналъ нѣмецкую азбуку. Насъ, по крайней мѣрѣ, въ послѣдніе три года надлежало спеціально приго-

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 223.
[2]) Тамъ же, 224.

товить къ будущему нашему назначенію,—а, вмѣсто того, до самаго конца, для всѣхъ продолжался какой-то общій курсъ, полугимназическій и полууниверситетскій, обо всемъ на свѣтѣ: математика, съ дифференціалами и интегралами, астрономія, въ широкомъ размѣрѣ, церковная исторія, даже высшее богословіе — все это занимало у насъ столько же, иногда и болѣе времени, нежели правовѣдѣніе и другія науки политическія. Лицей былъ въ то время не университетомъ, не гимназіею, не начальнымъ училищемъ, а какою-то безобразною смѣсью всего этого вмѣстѣ и, вопреки мнѣнію Сперанскаго, смѣю думать, онъ былъ заведеніемъ, не соотвѣтствовавшимъ ни своей особенной, ни вообще какой нибудь цѣли» [1]).

Недостатки общаго учебнаго плана не искупались подборомъ руководителей—наставниковъ. Директоръ Малиновскій, на долю котораго выпала тяжелая обязанность «открывать новое заведеніе», оказался не на высотѣ своего призванія. Это былъ человѣкъ «добрый и съ образованіемъ, хотя нѣсколько семинарскимъ, но слишкомъ простодушный, безъ всякой любезности, слабый и вообще не созданный для управленія какою нибудь частію, тѣмъ болѣе высшимъ учебнымъ заведеніемъ» [2]). Первые профессора этого лицея тоже оказались неудачными руководителями молодежи. Даже лучшіе изъ нихъ—Куницынъ, Кайдановъ и Карцевъ остались въ памяти большинства лицеистовъ скорѣе съ чертами комическими. Если они и

---

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 225.

[2]) Тамъ же, 225.

были лучшими воспитанниками педагогическаго института и, по окончаніи курса, проживали даже за границей, «для усовершенствованія въ наукахъ», если они и были «молоды, полны силъ и любви къ своему дѣлу», то, встрѣтившись съ этимъ дѣломъ, лицомъ къ лицу, они очень скоро опустились, перестали работать и повернулись къ своимъ питомцамъ своей отрицательной, смѣшной стороной. Быть можетъ, разгадка этого кроется въ полной неподготовленности аудиторіи и въ неумѣніи молодыхъ профессоровъ стать на уровень пониманія своихъ юныхъ слушателей. Что такой разладъ могъ быть, видно изъ характера и содержанія той рѣчи, съ которой обратился Куницынъ на актѣ, въ день открытія лицея къ *двѣнадцати-лѣтнимъ мальчикамъ*, будущимъ своимъ слушателямъ. Въ высокопарныхъ фразахъ наставлялъ онъ ихъ на путь истинной добродѣтели, убѣждалъ ихъ быть достойными своихъ знаменитыхъ предковъ и позаботиться о славѣ своего имени. «Вы ли, взывалъ онъ къ нимъ, пожелаете смѣшаться съ толпой людей обыкновенныхъ, пресмыкающихся въ неизвѣстности и каждый день поглощаемыхъ волнами забвенія?» [1]). Быть можетъ, впрочемъ, въ свое время, этотъ паѳосъ былъ искреннимъ у Куницына, быть можетъ, онъ приподымалъ настроеніе учениковъ, слушавшихъ его уроки «нравственныхъ наукъ», — по крайней мѣрѣ, изъ всѣхъ лицейскихъ педагоговъ, за «воспитаніе»

---

1) *А. Куницынъ*. «Наставленіе воспитанникамъ, читанное при открытіи царскосельскаго лицея», Спб. 1811. О сильномъ впечатлѣніи его рѣчи см. въ «Запискахъ И. И. Пущина о Пушкинѣ». (*Л. Майковъ*. Пушкинъ, Спб. 1899, стр. 48).

идеаловъ одинъ только Куницынъ услышалъ отъ Пушкина признательность въ извѣстныхъ стихахъ:

«Куницыну—даръ сердца и вина!
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень!
Поставленъ имъ краеугольный камень,—
Имъ чистая лампада возжена! [1]).

Но эта похвала страдаетъ такою же неопредѣленностью, она такъ же обща, какъ и тотъ паѳосъ, которымъ воодушевлялъ учитель своихъ учениковъ. Недаромъ Пушкинъ впослѣдствіи выключилъ этотъ отзывъ о Куницынѣ изъ своего произведенія.

Болѣе реальное воспитательное значеніе имѣлъ на лицеистовъ преподаватель французскаго языка де-Будри, родной братъ Марата [2]). Строгій ко всѣмъ, бар. Корфъ этого старика особенно выгодно выдѣляетъ изъ ряда его товарищей. По его словамъ, де-Будри, «одинъ изъ всѣхъ данныхъ намъ наставниковъ вполнѣ понималъ свое призваніе и, какъ человѣкъ въ выс-

---

[1]) Соч. I, 360—строки, *исключенныя* поэтомъ изъ его стихотворенія: «19 Октября 1825 г.». Еще вспоминаетъ о Куницынѣ Пушкинъ въ стихотвореніи: «Первое посланіе къ цензору. 1824 г.» «19 Октября 1836 г.» О томъ, что у Куницына «слово» расходилось съ «дѣломъ», свидѣтельствуетъ Энгельгардтъ: громя «крѣпостничество» и піетизмъ съ каѳедры, Куницынъ оказался въ жизни крѣпостникомъ, а въ эпоху мистицизма сдѣлался и богомольнымъ. Письмо Энгельгардта къ Кюхельбекеру,—Русск. стар. 1875, XIII, 365. мартъ, 1825).

[2]) Екатерина II перемѣнила ему фамилію, по просьбѣ его, придавъ ей аристократическую частицу *де*, которую Будри тщательно сохранялъ. Онъ былъ родомъ изъ Будри, *онъ очень уважалъ память своего брата*, и однажды въ классѣ, говоря о Робеспьерѣ, сказалъ намъ, какъ ни въ чемъ не бывало: «C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un second Ravaillac» (Пушкинъ. Соч. V, 277).

шей степени практическій, наиболѣе способствовалъ нашему развитію, отнюдь не въ одномъ познаніи французскаго языка. Пока Куницынъ заставлялъ насъ долбить теорію логики, со всѣми ея схоластическими формулами, де-Будри училъ насъ ей на самомъ дѣлѣ,—онъ дѣйствовалъ непосредственно и постоянно на высшую и важнѣйшую способность правильнаго мышленія, а черезъ нее и на другую способность — логическаго, складнаго и отчетливаго выраженія мыслей словомъ. Изъ всѣхъ педагоговъ лицея кажется, одинъ де-Будри сумѣлъ заставить учениковъ заниматься и, если лицеисты позволяли себѣ шалости съ нимъ, то позднѣе оцѣнили его, отдавъ полную справедливость благотворному вліянію, которое имѣлъ онъ и на ихъ образованіе» [1]).

Повидимому, для Пушкина самымъ пріятнымъ наставникомъ былъ профессоръ Галичъ, временный замѣститель Кошанскаго, особенно пріятный, быть можетъ, потому, что менѣе всего былъ «наставникомъ», просто держался со своими учениками, повидимому, даже становился съ ними на дружескую, товарищескую ногу. Если это не способствовало дѣлу обученія, то конечно, вносило ту человѣчность въ отношенія, то признаніе равноправности, при которомъ нашъ юный поэтъ только и могъ чувствовать міръ своей души въ безопасности отъ чуждыхъ, нежелательныхъ вторженій. Вотъ почему онъ почтилъ Галича не холодной оффиціальной

---

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 232. На Пушкина де-Будри, повидимому, такого вліянія не имѣлъ.

похвалой, а теплымъ привѣтомъ: «мой добрый Галичъ, vale!» [1]).

Что касается до научныхъ успѣховъ лицеистовъ то они были очень скромны; ни директоръ, ни профессора не сумѣли поставить преподаваніе съ надлежащей серьезностью, и, въ результатѣ, воспитанники завоевали полную свободу «ничегонедѣланья». «Кто не хотѣлъ учиться, говоритъ бар. Корфъ, тотъ могъ предаваться самой изысканной лѣни: но кто и хотѣлъ, тому немного открывалось способовъ, при неопытности, неспособности, или равнодушіи бо́льшей части преподавателей, которые столь же далеки были отъ исполненія устава, сколько вообще отъ всякой раціональной системы преподаванія» [2]). «Кто хочетъ—учится, кто хочетъ—гуляетъ»—пишетъ въ 1812 году Илличевскій своему другу [3]). Само собою разумѣется, что такая постановка преподаванія была достаточной причиной того, что нестройныя, неровныя познанія Пушкина, вынесенныя изъ дома, не только не улеглись въ стройную систему, но едва ли особенно обогатились чѣмъ-нибудь подъ вліяніемъ лицейскихъ руководителей: по прежнему, только чтеніе, случайное, несистематическое, воспитывало вкривь и вкось душу юнаго поэта.

---

[1]) Соч. I, I, 31. «Пирующіе студенты». Ему же посвящены два посланія: «Къ Александру Ивановичу Галичу» (I, 73) и «Посланіе къ Галичу» (I, 84).

[2]) *Я. Гротъ*, op. cit. 227. «Основнымъ правиломъ было самообразованіе почти на всей волѣ учащихся... Они принуждены были пріискивать сами отвѣты на каждый вопросъ, возникавшій въ ихъ умѣ, и вотъ почему кинулись на библіотеку лицея, помѣщавшуюся въ аркѣ царскосельскаго дворца». (*П. Анненковъ*. Пушкинъ въ алекс. эп. 47—8).

[3]) *Я. Гротъ*, op. cit. 57.

Изъ наставниковъ его одинъ Кошанскій, профессоръ русской словесности, провидя въ юношѣ будущаго писателя, пытался «воспитывать» его геній, но юный поэтъ, не терпѣвшій никакихъ притязаній на свою свободу, недобрымъ смѣхомъ отозвался на эти добросовѣстныя потуги педанта-Аристарха направить его молодой, своенравный геній на коллею изношенныхъ «піитическихъ правилъ» добраго стараго времени [1])... Такимъ образомъ, развитіе Пушкина вполнѣ ускользало отъ лицейскихъ педагоговъ и шло своимъ путемъ, быть можетъ, кривымъ и тернымъ, но, по прежнему, свободнымъ. Любопытны, въ этомъ отношеніи, характеристики его успѣховъ, сдѣланныя разными его наставниками, въ разное время пребыванія его въ лицеѣ,—первая, дошедшая до насъ—отъ 15-го марта 1812 года,—послѣдняя—за октябрь и декабрь 1816 года. Изъ этихъ характеристикъ видимъ, что и для педагоговъ лицея Пушкинъ остался все тѣмъ же неразгаданнымъ, неподдающимся никакому вліянію, какимъ онъ покинулъ отчій домъ.

15-го марта 1812 года Кошанскій писалъ о немъ: «Александръ Пушкинъ имѣетъ больше понятливости, чѣмъ памяти, болѣе имѣетъ вкуса, нежели прилежанія; почему малое затрудненіе можетъ остановить его, но не удержитъ, ибо онъ, побуждаемый соревнованіемъ и чувствомъ собственной пользы, желаетъ сравниться съ первыми писателями».

«Успѣхи его въ латинскомъ хороши, въ русскомъ

---

[1]) Соч. I, 106. «Моему Аристарху».

не столько тверды, сколько блистательны». Преподаватель нѣмецкаго языка сообщилъ начальству 31-го марта 1812 года [1]): «Il paroît, qu'il ne s'est jamais occupé de l'allemand avant d'entrer au Lycée, et ne paroît guère vouloir le faire maintenant; si cependant il voulait s'y resoudre, il feroit les progrès les plus rapides, étant doué de beaucoup de pénétration et de mémoire» [2]).

Профессоръ Куницынъ призналъ «понятливость, замысловатость и остроуміе» юноши, но принужденъ былъ указать, что «онъ способенъ только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія, а потому успѣхи его очень невелики, особливо по части логики» [3]). Въ октябрѣ-декабрѣ 1816-го года успѣхи его были таковы: «въ энциклопедіи права—4, Политич. экономіи—4, Военныхъ наукахъ—0, прикладной математикѣ—4, всеобщ. Полит. исторіи — 4, статистикѣ — 4, лат. яз. — 0, росс. поэзіи — 1. Эстетикѣ — 4, нѣм. Ритор. — 1, прилежаніе—4, Поведеніе — 4» [4]). Впрочемъ, въ *выпускномъ* свидѣтельствѣ, рядомъ съ отмѣтками, показывающими успѣхи «хорошіе» (въ законѣ Божіемъ и Священной исторіи, въ логикѣ и нравственной философіи, въ правѣ естественномъ, частномъ и публичномъ, въ россійскомъ гражданскомъ и уголовномъ правѣ») встрѣчаются указанія на успѣхи «весьма хорошіе» (въ латинской словесности, въ государственной экономіи и финансахъ) и даже «превосходные» (въ россійской словесности, французской, также въ фехтованьи); объ

[1]) *Проф. И. А. Шляпкинъ.* Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина, 325. [2]) Тамъ же, 325—6. [3]) Тамъ же, 332. [4]) Тамъ же, 337. «Это не баллы, а №№ успѣховъ: 1 (самый высшій) 4 (плохо) и ноль (0) обозначаетъ просто отсутствіе отвѣта» *(Шляпкинъ).*

исторіи, географіи, статистикѣ, математикѣ и нѣмецкомъ языкѣ глухо, но краснорѣчиво сказано: «занимался» [1]). Если сравнить эту аттестацію съ той, по которой онъ былъ принятъ въ лицей, нетрудно убѣдиться, что за всѣ пять лѣтъ пребыванія въ лицеѣ Пушкинъ продолжалъ по прежнему успѣшно отстаивать свою личность отъ всякихъ на нее посягательствъ: учился лишь тому, чему хотѣлъ, и такъ, какъ хотѣлъ. «Неуимчивый», по выраженію няни Арины Родіоновны, въ родной семьѣ, онъ такимъ же «неуимчивымъ» остался и въ лицеѣ. Для такой самостоятельности почва была подготовлена отчасти и благодаря тому, что изъ среды товарищей Пушкинъ выдѣлялся своею начитанностью и развитіемъ. Объ этомъ свидѣтельствовали сами его товарищи [2]). Кромѣ того, его часто выручала присущая ему феноменальная память [3]).

[1]) Тамъ же, 338.

[2]) «Всѣ мы видѣли, что Пушкинъ насъ опередилъ, многое прочелъ, о чемъ мы и не слыхали, все, что̀ читалъ, помнилъ; но достоинство его состояло въ томъ, что онъ отнюдь не думалъ выказываться и важничать, какъ это очень часто бываетъ въ тѣ годы (каждому изъ насъ было 12 лѣтъ)... Все научное онъ считалъ ни во что̀ и, какъ будто, желалъ только доказать, что можетъ бѣгать, прыгать черезъ стулья, бросать мячикъ и пр. Въ этомъ даже участвовало его самолюбіе; бывали столкновенія очень неловкія. *И. Пущинъ*. «Записки о Пушкинѣ» (*Л. Майковъ* «Пушкинъ», 45—6).

[3]) Братъ его Левъ назвалъ эту память «неимовѣрной» («Молодость Пушкина, по разсказамъ его брата». *Л. Майковъ*, Пушкинъ 4). Слывя въ лицеѣ повѣсою, онъ однакожъ никогда не былъ празднымъ, съ удивительною быстротой навсегда усваивалъ себѣ все, что, повидимому, бѣгло читалъ, или слышалъ. «Ни одно чтеніе, ни одинъ разговоръ, ни одна минута размышленія, говоритъ Плетневъ, не пропадали для него на цѣлую жизнь» (*Я. Гротъ*, op. cit. 109). Комовскій, товарищъ поэта, говоритъ то же: «А. С. Пушкинъ, при поступленіи въ лицей, особенно

Само собою разумѣется, что и поведеніе его, въ такой же мѣрѣ, ускользнуло отъ воздѣйствія воспитателей, которые, по своему положенію, развитію и образованію, еще менѣе профессоровъ-преподавателей имѣли шансовъ завоевать чье бы то ни было сердце, а пушкинское въ особенности. Въ воспоминаніяхъ бар. Корфа зло и рѣзко нарисовано пошлое сборище тѣхъ «менторовъ», которымъ ввѣренъ былъ надзоръ за юношескими сердцами лицеистовъ [1]). Изъ нихъ только одинъ Чириковъ, человѣкъ довольно ограниченный, «очень посредственный гувернеръ», сумѣлъ всетаки, болѣе или менѣе, прилично поставить себя съ лицеистами. Другой, А. Н. Иконниковъ, который характеризуется «добрымъ, благороднымъ, умнымъ и образованнымъ человѣкомъ, страдалъ» неодолимою страстью къ вину, доходившею до того, что, когда водка переставала уже казаться ему средствомъ довольно возбудительнымъ, онъ выпивалъ за столомъ по цѣлымъ стаканамъ Гофманскихъ капель [2]). Но, если эти два воспитателя окружены были, хотя нѣкоторой, долей уваженія, быть можетъ, даже любви, то всѣ другіе заклеймены печатью безнадежнаго презрѣнія. Калиничъ въ воспитатели попалъ «изъ придворныхъ пѣвчихъ»: «трудно вообразить себѣ высокопарнѣй-

---

отличался необыкновенною памятью и превосходнымъ знаніемъ французской словесности. Ему стоило прочесть раза два страницу какого нибудь стихотворенія, и онъ могъ уже повторять оное наизусть безъ всякой ошибки (тамъ же 218—9). Памятью его пользовался Жуковскій для исправленія своихъ стиховъ: что забывалъ въ нихъ Пушкинъ, то Жуковскій передѣлывалъ, считая неудачнымъ.

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 232.

[2]) Его характеристика и у Пушкина. (Соч. V, 3—4), тамъ же, 232.

шаго, болѣе отвлеченнаго въ своихъ фразахъ, глупца и невѣжду»—пишетъ бар. Корфъ; «всякій вздоръ, выходившій изъ его устъ,—другого изъ нихъ ничего и не выходило, — облекалъ онъ въ громкія и величественныя слова» [1])... М. Ст. Пилецкій-Урбановичъ, первый инспекторъ лицея, человѣкъ, «съ достаточнымъ образованіемъ, съ большимъ даромъ слова и убѣжденія» [2]), отталкивалъ всѣхъ отъ себя святошествомъ и ханжествомъ, тогда входившимъ въ моду. Ст. Ст. Фроловъ, отставной артиллерійскій подполковникъ, ставленникъ графа Аракчеева, былъ въ лицеѣ «инспекторомъ классовъ и нравственности», но, необразованный и неумный, онъ былъ лицеистами обращенъ «въ совершенное посмѣшище», — надъ нимъ издѣвались открыто, ему самому въ лицо [3]). Наконецъ, помощниками гувернеровъ были Зерновъ и Селецкій-Дзюрдзь, ничтожные люди, «съ такими ужасными рожами и манерами», что, по словамъ бар. Корфа, никакой порядочный трактирщикъ не взялъ бы ихъ къ себѣ въ половые» [4]).

На какую боевую ногу поставилъ себя Пушкинъ со всѣми этими воспитателями и «инспекторами нравственности», лучше всего явствуетъ изъ нѣсколькихъ записей о немъ въ «Журналѣ о поведеніи» воспитанниковъ. Особенно любопытна, по безграмотности и безтолковости, запись Пилецкаго, человѣка, который даже строгому Корфу казался «съ достаточнымъ образованіемъ». Его запись привожу, съ соблюденіемъ всей орѳографической точности. «Пушкинъ 6-го числа (ноября 1812 г.) въ сужденіи своемъ объ урокахъ сказалъ:

[1]) Тамъ же, 235. [2]) Тамъ же, 242. [3]) Тамъ же, 239. [4]) Тамъ же, 243.

признаюсь, что логики я право не понимаю, да и многіе даже лучшіе меня, оной не знаютъ, потому, что логическія селогизмъ (sic) весьма для него невнятны. 16-го числа весьма оскорбительно шутилъ съ Мясоѣдомъ (sic) на щотъ 4 Департамента, зная что его отецъ тамъ служитъ, произнося какія то стихи, коихъ мнѣ повторить не хотѣлъ, при увѣщеваніи же, здѣлалъ слабое признаніе, а раскаянія не видно было. 18-го толкалъ Пущина и Мясоѣдова, повторяя имъ слова: что, если они будутъ жаловаться, то сами останутся виноватими (sic) ибо я говоритъ, вывертѣтся умѣю. 20-го. Въ классѣ Рисовальномъ называлъ Г. Горчакова вольной польской дамой[1]) 21. За обѣдомъ вдругъ началъ громко говорить, что Вольховскій Г. Инспектора боится, и видно оттого, что боиться потерять доброе свое имя, а мы говоритъ шалуны, его увѣщеваніемъ смѣемся. Послѣ началъ исчислять съ присовокупившемся (sic) къ сему г. Карсаковымъ здѣланныя Г. Инспект. родителямъ нѣкоторыхъ товарищей обиды, а послѣ обеда и другихъ къ составленію клеветы на Г. Инспектора подстрекнулъ. Вообще Г. Пушкинъ велъ себя всѣ слѣдующіе дни весьма смѣло и вѣтренно. 23-го когда я у Г. Дельвига въ классѣ Г. Профессора Гауеншильда, отнималъ бранное на Г. Инспектора сочиненіе въ то время Пушкинъ (sic) съ непристойною вспыльчивостью, говоритъ мнѣ громко: «какъ вы смѣетѣ брать наши бумаги,—стало быть и письма наши изъ ящика будетѣ брать». Присудствіе Г. Профессора вѣроятно удержало его отъ

[1]) Противъ этого мѣста на поляхъ отмѣтка (Малиновскаго?) карандашомъ: «худо».

хужшаго еще поступка, ибо примѣтенъ былъ гневъ его. 30-го числа въ вечеру Г. Кошанскому изъяснялъ, какіе-то дела С.-Петербургскихъ модныхъ французскихъ лавокъ, кои называются Маршандъ дю Модъ, я не слыхалъ самъ сего разговора, а только пришелъ въ то время когда г. Кошанскій сказалъ ему: я по выше васъ а право не вздумаю такого вздора да и врядле кому оной прійдетъ въ голову. Спрашивалъ я другихъ воспитанниковъ ноникто не могъ мнѣ его разговоръ повторить по скромности какъ видно» [1]). Въ этой записи все характерно, отъ начала до конца,— и полная безпомощность одного изъ «лучшихъ» воспитателей, который даже, по признанію бар. Корфа, «отличался большимъ даромъ слова и убѣжденія», и необузданность 13-тилѣтняго мальчика, вспыльчиваго и заносчиваго, готоваго вслухъ задирать нелюбимое начальство, а иногда въ минуту смѣшливаго настроенія, зло и обидно шутить не только надъ товарищами, но и надъ ихъ родителями... Печальнѣе всего то, что самъ Пушкинъ былъ «грѣшникъ нераскаянный»,— онъ рисовался своимъ поведеніемъ и выставлялъ напоказъ себя съ самыхъ дурныхъ сторонъ,—онъ самъ говоритъ:

«Oui! tel que le bon Dieu me fit,
Je veux toujours paraître,
Vrai démon pour l'espièglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'étourderie—
Ma foi—voilà Pouchkine [2]).

---

[1]) *Проф. И. А. Шляпкинъ*, op. cit. 328—9. «Выписка изъ журнала о поведеніи воспитанниковъ Императорскаго Лицея за ноябрь мѣсяцъ 1812 года». [2]) Соч. I, «Mon portrait», 40.

Конечно, съ такой натурой, какой былъ одаренъ Пушкинъ, трудно было справиться, — тѣмъ труднѣе это было для лицейскихъ педагоговъ, которые не спѣлись не только въ пріемахъ воспитанія, но даже въ выборѣ наказаній. Это видно, хотя бы, изъ сопоставленія приведенной записи Пилецкаго съ записью надзираля Фролова. Онъ поймалъ (5-го сентября 1814 года) Малиновскаго, Пущина и Пушкина, когда они, запасшись кипяткомъ, молокомъ, сахаромъ, сырыми яйцами и ромомъ, «изъ рѣзвости и дѣтскаго любопытства составляли напитокъ, подъ названіемъ гогель-могель, который уже начинали пробовать» [1]). За эту «рѣзвость» и «дѣтское любопытство» юноши-преступники были занесены въ особую книгу, сдѣлались извѣстны министру, вызвали его неодобреніе и строгое приказаніе наказать ихъ. 22-го сентября надзирателемъ Фроловымъ они были наказаны въ теченіе двухъ дней «во время молитвъ стояніемъ на колѣняхъ» [2]).

Немудрено, что такіе жалкіе педагоги никакой роли въ дѣлѣ воспитанія юноши-поэта не сыграли, — они могли только неловко, даже грубо, посягать на его самостоятельность. Понятно, что и онъ вооружился противъ нихъ со всею страстностью своей натуры. Быть можетъ, къ этому положенію «усиленной охраны» своей личности отъ чужихъ посягательствъ Пушкинъ, благодаря лицейскимъ педагогамъ, привыкъ настолько, что потомъ уже не могъ стать въ хорошія отношенія и къ новому директору лицея Евг. Ант. Энгельгардту

---

1) *Проф. И. А. Шляпкинъ*, op. cit. 336. Объ этомъ наказаніи см. воспоминанія Пущина, (*Л. Майковъ*—«Пушкинъ», 57).

2) *Проф. И. А. Шляпкинъ*, op. cit. 336, 335.

(былъ назначенъ 27-го Января 1816 года и вступилъ въ отправленіе обязанностей 4 Марта 1816 г.). Между тѣмъ, Энгельгардта всѣ современники и лицеисты, товарищи поэта, считали хорошимъ человѣкомъ, и вліянію его поддались въ лицеѣ, кажется, всѣ, кромѣ Пушкина. Первый директоръ Малиновскій былъ добродушнымъ, но слабымъ человѣкомъ и слишкомъ много предоставлялъ свободы ученикамъ[1]). Послѣ его смерти (23-го Марта 1814 года) на два года наступило въ лицеѣ «безначаліе» [2]), когда обязанности директора, по очереди, исправлялись членами конференціи. Новый директоръ Энгельгардтъ получилъ въ управленіе совершенно разнузданное заведеніе, съ излѣнившимися профессорами, съ непригодными воспитателями и юношами, которые вкусили уже сладостей свободной жизни. Тѣмъ труднѣе было исправить это заведеніе. Новый директоръ «съ любовью принялся за дѣло»— и скоро «школьный бытъ» лицея «принялъ иной характеръ [3]). Желая облагородить своихъ питомцевъ, директоръ ввелъ ихъ въ кругъ своей семьи, перезнакомилъ ихъ съ нѣкоторыми изъ лучшихъ семейныхъ домовъ въ Царскомъ Селѣ, предоставилъ имъ возможность заниматься развлеченіями, болѣе чистыми и возвышенными, чѣмъ тѣ, къ которымъ пріучило ихъ «безначаліе»... Но Пушкинъ не поддался этой умной политикѣ новаго директора: онъ упорно замкнулся

[1]) О немъ воспоминанія Корфа. (*Я. Гротъ*, op. cit. 223), Пушина, (*Л. Майковъ*, op. cit. 48).

[2]) Соч. V, 2. «Лицейскіе записки».

[3]) Слова Пущина (*Л. Майковъ*, op. cit. 64). Объ Энгельгардтѣ см. цѣнную статью *Д. Ѳ. Кобеко*, «Директоръ царскосельскаго лицея Е. А. Энгельгардтъ и его питомцы» («Вѣстникъ Всемірн. Исторіи», 1899, № 12).

въ себѣ; къ директору въ домъ не ходилъ и, вообще, въ обращеніи съ нимъ, обнаруживалъ наиболѣе несимпатичныя стороны своего характера. Такое отношеніе Пушкина къ новому директору вызывало недоумѣніе даже у его друзей [1]). Въ результатѣ, умный и доброжелательный Энгельгардтъ не понялъ сердца юноши и несправедливо осудилъ его въ извѣстной своей характеристикѣ Пушкина: «его сердце холодно и пусто, въ немъ нѣтъ ни любви, ни религіи; можетъ быть, оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское сердце» [2]).

Если люди зрѣлые, опытные, люди «устоявшіеся» могли такъ грубо ошибаться въ своихъ сужденіяхъ объ юношѣ, то тѣмъ понятнѣе становятся недоразумѣнія въ отношеніяхъ Пушкина къ товарищамъ,— недоразумѣнія, начавшіяся съ перваго года его всту-

---

[1]) «Для меня оставалось неразрѣшенной загадкою, почему всѣ вниманія директора и жены его отвергались Пушкинымъ: онъ никакъ не хотѣлъ видѣть его въ настоящемъ свѣтѣ, избѣгая всякаго сближенія съ нимъ. Эта несправедливость Пушкина къ Энгельгардту, котораго, я душой полюбилъ, сильно меня волновала. Тутъ крылось что-нибудь, чего онъ никакъ не хотѣлъ мнѣ сказать». *Пущинъ*, Записки о Пушкинѣ» (*Л. Майковъ*. Пушкинъ, 64)

«Въ домѣ его мы знакомились съ обычаями свѣта, ожидавшаго насъ у порога лицея, находили пріятное женское общество. Лѣтомъ, въ вакантный мѣсяцъ, директоръ дѣлалъ съ нами дальнія, иногда двухдневныя прогулки по окрестностямъ; зимой, для развлеченія, ѣздили на нѣсколькихъ тройкахъ за городъ завтракать, или пить чай въ праздничные дни; въ саду, на прудѣ, катались съ горъ и на конькахъ. Во всѣхъ этихъ увеселеніяхъ участвовало его семейство и близкія ему дамы и дѣвицы, иногда и пріѣзжавшіе родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и пріучало насъ къ приличію въ обращеніи». (Тамъ же, 65).

[2]) *Гаевскій*, op. cit. («Современникъ» 1863 г. № VIII, 37).

пленія въ лицей и продолжавшіяся не только втеченіе всей его жизни, но перешедшія даже на его память. Пущинъ въ своихъ запискахъ далъ любопытную характеристику отношеній его къ товарищамъ: «Пушкинъ, съ самаго начала, былъ раздражительнѣе многихъ и потому не возбуждалъ общей симпатіи,— это удѣлъ эксцентрическаго существа среди людей. Не то, чтобы онъ разыгрывалъ какую-нибудь роль между нами, или поражалъ какими-нибудь особенными странностями, какъ это было въ иныхъ; но иногда неумѣстными шутками, неловкими колкостями самъ ставилъ себя въ затруднительное положеніе, не умѣя потомъ изъ него выйти. Это вело его къ новымъ промахамъ, которые никогда не ускользаютъ въ школьныхъ сношеніяхъ... Всѣ мы, какъ умѣли, сглаживали нѣкоторыя шероховатости, хотя не всегда это удавалось. Въ немъ была смѣсь излишней смѣлости съ застѣнчивостью, и то и другое невпопадъ, что тѣмъ самымъ ему вредило. Бывало, вмѣстѣ промахнемся, самъ вывернешься, а онъ никакъ не сумѣетъ этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактомъ*, это—капиталъ, необходимый въ товарищескомъ быту, гдѣ мудрено, почти невозможно, при совершенно безцеремонномъ обращеніи, уберечься отъ нѣкоторыхъ непріятныхъ столкновеній вседневной жизни. Все это вмѣстѣ было причиной, что вообще не вдругъ отозвались ему на его привязанность къ лицейскому кружку, которая съ первой поры зародилась въ немъ, не проявляясь, впрочемъ, свойственной ей иногда пошлостью [1]). Едва-ли ко-

[1]) *Л. Майковъ*, op. cit. 54—5.

нецъ этой прекрасной характеристики справедливъ. Пушкинъ никогда не могъ равно относиться ко «всѣмъ», зато всецѣло раскрывалъ онъ свое сердце «избранникамъ». Въ извѣстномъ стихотвореніи «19-е Октября 1825 г.»,—стихотвореніи, дышащемъ любовью къ лицею, мы встрѣчаемъ, однако, восхваленіе лишь нѣкоторыхъ товарищей-друзей. Онъ могъ, «не помня зла», любить людей вообще, но къ каждому отдѣльному человѣку у него были различное отношеніе, — «только избранники» знали Пушкина *всего*. Къ ихъ числу никогда не принадлежалъ, напримѣръ, его товарищъ бар. Корфъ, и къ нему Пушкинъ, повидимому, поворачивался всегда самыми несимпатичными сторонами своей души. Въ этомъ былъ своего рода вызовъ, которымъ поэтъ любилъ дразнить несимпатичныхъ ему людей. Бар. Корфъ отплатилъ своенравному поэту такимъ же недоброжелательствомъ [1]). «Между товарищами, говоритъ Корфъ кромѣ тѣхъ, которые, писавъ сами стихи, искали его одобренія и протекціи,—онъ не пользовался особенною пріязнью... Вспыльчивый до бѣшенства, вѣчно разсѣянный, вѣчно погруженный въ поэтическія свои

[1]) Л. Павлищевъ разсказываетъ объ одномъ столкновеніи А. С. Пушкина съ бар. Корфомъ; оно произошло позднѣе, по окончаніи лицея, но оно характерно, такъ какъ въ немъ чувствуется глубокое давнишнее недоброжелательство. Камердинеръ Пушкина пьяный ворвался въ квартиру бар. Корфа, тамъ сталъ бушевать; бар. Корфъ собственной рукой его избилъ... «А. С. вспылилъ въ свою очередь и, заступаясь за слугу, немедленно вызвалъ Корфа на дуэль. На письменный вызовъ М. А. (Корфъ) отвѣчалъ тоже письменно»: «je n'accepte pas votre défi pour une bagatelle semblable, non par ce que vous êtes Pouchkine, mais parce que je ne suis pas Küchelbecker“ (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 33).

мечтанія, съ необузданными африканскими страстями, Пушкинъ ни на школьной скамьѣ, ни послѣ, въ свѣтѣ, не имѣлъ ничего любезнаго и привлекательнаго въ своемъ обращеніи. Бесѣды ровной, систематической, сколько нибудь связной у него совсѣмъ не было, какъ не было и дара слова,—были только вспышки: рѣзкая острота, злая насмѣшка, какая нибудь внезапная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, иногда въ добрую минуту, бо̀льшею же частью,—или тривіальныя общія мѣста, или разсѣянное мечтаніе» [1]). Вопреки мнѣнію защитниковъ Пушкина отъ нападокъ Корфа [2]), мы думаемъ, что эта характеристика, несомнѣнно недоброжелательная, не грѣшитъ однако неправдой,—она *одностороння*, какъ односторонни слова Энгельгардта, но она вѣрна [3]): поводы

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit, 249—250. Товарищи называли его «французомъ», вѣроятно, за превосходное знаніе французскаго языка, но эпитетъ этотъ скрывалъ также и нерасположеніе ихъ къ живому, задорному мальчику, и выводилъ иногда самого Пушкина изъ терпѣнья. (*П. Анненковъ*, Матеріалы, 16). Существовало у Пушкина другое прозвище, еще болѣе обидное: «смѣсь обезьяны съ тигромъ» (Протоколъ лицейской годовщины 1828 года. Соч. II, 54). [2]) *Л. Майковъ*. «Пушкинъ въ изображеніи М. А. Корфа» («Русская Старина», 1899, № 8, 299). [3]) Самъ Пушкинъ не разъ говоритъ о неуравновѣшенности своего поведенія въ лицеѣ:

«... порой бывалъ прилеженъ,
Порой лѣнивъ, порой упрямъ,
Порой лукавъ, порою прямъ,
Порой смиренъ, порой мятеженъ,
Порой печаленъ, молчаливъ,
Порой сердечно говорливъ».
(Соч. III. 381. Выключенныя строфы изъ «Евг. Онѣг.»).

«Разсѣянный, сижу между друзьями,
Невнятенъ мнѣ ихъ шумный разговоръ,
Гляжу на нихъ недвижными глазами,
Не узнаетъ ужъ ихъ мой хладный взоръ!
(«Разлука» I, 141).

для такихъ отзывовъ Пушкинъ, несомнѣнно, подавалъ. Вѣдь, въ сущности, и въ родномъ домѣ поэта къ нему относились съ такимъ же враждебнымъ недоумѣніемъ даже близкіе его. «Чтобъ полюбить его, настоящимъ образомъ, пишетъ Пущинъ, нужно было взглянуть на него съ тѣмъ полнымъ благорасположеніемъ, которое знаетъ и видитъ всѣ неровности характера и другіе недостатки, мирится съ ними и кончаетъ тѣмъ, что полюбитъ даже и ихъ въ другѣ-товарищѣ» [1]). Но за такую любовь и юноша платилъ соотвѣтствующею любовью. Впрочемъ, немного такихъ доброжелательныхъ людей встрѣтилъ Пушкинъ на своемъ жизненномъ пути, а тѣмъ паче въ лицеѣ, въ обществѣ молодежи, всегда слишкомъ эгоистической, впечатлительной и поверхностной... Вотъ почему рѣзки бывали столкновенія его съ людьми вообще, а съ товарищами, въ частности, — оттого такъ много нравственныхъ мукъ выносилъ юноша еще въ стѣнахъ лицея отъ всякихъ мелочныхъ дрязгъ и непріятностей. Самолюбивый, задорный, легко вспламенявшійся, но скоро остывавшій, всегда готовый судить себя такъ же строго, какъ и другого, Пушкинъ, неуравновѣшенный домашнимъ воспитаніемъ, а, быть можетъ, и одаренный безпокойными задатками наслѣдственности, былъ, конечно, тяжелымъ человѣкомъ и для другихъ, и для себя... Иногда до поздней ночи, когда весь лицей уже покоился сномъ, юноша мучилъ себя воспоминаніями неудачно-прожитаго дня, повѣрялъ свои муки сосѣду по комнатѣ,

---

[1]) *Л. Майковъ.* Пушкинъ, op. cit. 55.

Пущину; тогда, въ эти тяжелые ночные «часы покаянія» и самосуда, онъ, «по щекотливости» «всякому вздору» способенъ былъ придавать огромное значеніе,—«и это его волновало»[1])... Впрочемъ, если такія волненія переживалъ Пушкинъ довольно часто, то ихъ интенсивная горечь смѣнялась часто такими же необузданными порывами безпечной радости,—и тогда его веселый, прихотливый нравъ въ свободѣ лицейской жизни, находилъ себѣ полное удовлетвореніе [2]). Всевозможныя шалости на урокахъ и въ свободное время, продѣлки надъ учителями и воспитателями, иногда довольно рискованныя предпріятія, въ родѣ кражи яблокъ изъ царскаго сада,—все это по душѣ было юному поэту, неугомонному, свободолюбивому и вѣтреному безъ границъ. Кромѣ такихъ развлеченій, довольно опаснаго свойства, онъ всей душой отдавался физическимъ упражненіямъ, бѣготнѣ и играмъ. Конечно, и здѣсь соперничество въ ловкости и проворствѣ часто приводило его къ спорамъ и недоразумѣніямъ, и нерѣдко юная радость, бурно прорвавшаяся за предѣлы приличія, смѣнялась тоской и раскаяньемъ... Эти игры лицеистовъ происходили на Розовомъ полѣ въ большомъ Царскосельскомъ саду и навсегда врѣзались въ памяти поэта, какъ видно

---

[1]) Тамъ же, 54.

[2]) «Случалось точно удивляться переходамъ въ немъ: видишь, бывало, его поглощеннымъ не по лѣтамъ въ думы и чтенія—и тутъ же онъ внезапно оставляетъ занятія, входитъ въ какой-то припадокъ бѣшенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебѣжалъ его, или однимъ ударомъ уронилъ всѣ кегли. Я былъ свидѣтелемъ такой сцены на Крестовскомъ острову, куда возилъ насъ иногда на яликѣ гулять Василій Львовичъ» (Тамъ же, 46).

изъ его лицейскихъ воспоминаній. Позднѣе, живя въ Кишиневѣ, онъ съ увлеченіемъ вспоминалъ эти юношескія забавы.

«Вы помните ль то Розовое поле,
Друзья мои, гдѣ красною весной,
Оставя классъ, рѣзвились мы на волѣ
И тѣшились отважною борьбой?
Графъ Брогльо былъ отважнѣе, сильнѣе,
Комовскій же проворнѣе, хитрѣе;
Нескоро могъ рѣшиться жаркій бой!
Гдѣ вы, лѣта забавы молодой? [1]).

Вообще Царскосельскій паркъ игралъ большую роль въ жизни поэта; онъ былъ свидѣтелемъ тоскливыхъ часовъ его раздумья [2]) послѣ какихъ либо непріятныхъ житейскихъ столкновеній; онъ былъ свидѣтелемъ и первыхъ его любовныхъ радостей, когда молодая кровь юноши воспламенялась при встрѣчѣ съ излюбленными личиками жительницъ Царскаго Села [3]). Наконецъ, этотъ «пріютъ благословенный», съ его садами, уединенными, тѣнистыми аллеями, съ его темными гротами и бесѣдками, давалъ поэту уединеніе на лонѣ природы, когда онъ всей своей умиротворенной душой [4]) уносился въ свѣтлый міръ поэтическихъ видѣній.

«На лирѣ счастливой я тихо воспѣвалъ
Волненіе любви, унынie разлуки—
И гулъ дубравъ горамъ передавалъ
Мои задумчивые звуки [5]).

---

[1]) По предположенію Я. Грота, эта строфа предназначалась въ пьесу «19 Октября 1825 г.». (*Я. Гротъ.* op. cit. 280).

[2]) Соч. I, 150 «Любовь одна—веселье жизни хладной».

[3]) «Къ Наташѣ», Соч. I, 139, «Осеннее утро, I, 140 и др.

[4]) Соч. I, 130. «Посланіе къ князю А. М. Горчакову».

[5]) Соч. I, 181 «Къ ней».

Впослѣдствіи поэтъ вспоминалъ, какъ онъ—

...нѣжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лѣнивымъ,
Мечтанья смутныя въ груди тая,
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливымъ,
Поэтомъ забывался [1])...

Тогда «въ нѣмой тѣни дубовъ» къ нему стала безбоязненно прилетать «Муза» и стала любовно учить его «слабые» персты, какъ обращаться съ цѣвницей [2])...

Если науки не процвѣтали въ лицеѣ, зато чтеніе было однимъ изъ любимыхъ времяпрепровожденій лицеистовъ—вообще, а Пушкина—въ частности. Свобода лицейской жизни для этого давала широкій просторъ. Но, за отсутствіемъ контроля, конечно, это чтеніе было самымъ безпорядочнымъ. Поэтому, вмѣстѣ съ лучшими произведеніями русской и всемірной литературы, въ руки лицеистовъ свободно могли попадать книжки, иногда самыя нежелательныя, въ нравственномъ, или политическомъ отношеніи. Впрочемъ, это не мѣшало литературно-развитымъ лицеистамъ съ особенной любовью останавливаться на лучшихъ произведеніяхъ. Своему другу Фуссу лицеистъ Илличевскій писалъ: «мы стараемся имѣть всѣ журналы, и впрямь получаемъ: *Пантеонъ, Вѣстникъ Европы, Русскій Вѣстникъ*», и пр. Далѣе въ своемъ письмѣ онъ перечисляетъ любимыхъ въ лицеѣ писателей: Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнѣдича [3])... «Чтеніе питаетъ душу, образуетъ, развиваетъ способности»—

---

[1]) Соч. II, 15. «Воспоминаніе въ Царскомъ селѣ» (еще: «Моему Аристарху» I, 108).

[2]) Соч. I, 235. «Муза».

[3]) *Я. Гротъ*, op. cit. 61. («Письма Илличевскаго къ Фуссу»).

пишетъ другу юноша-Илличевскій [1]). «Чтеніе — вотъ, лучшее ученіе», писалъ Пушкинъ брату въ 1822 г.[2]),— фраза, указывающая, на ясно и прочно сознанное поэтомъ значеніе книги. Эта любовь и уваженіе къ чтенію, несомнѣнно, была свѣтлой стороной молодого лицея; его питомцы читали много и охотно, сознавая всю важность чтенія, имъ удовлетворяя ту юношескую пытливость, которая далеко не насыщалась лицейскими науками... Часто даже во время классныхъ занятій, лицеисты занимались постороннимъ чтеніемъ. Конечно, каждый выбиралъ себѣ книги по вкусу, но нѣтъ основанія сомнѣваться, что въ рукахъ Пушкина перебывали книги самаго разнообразнаго содержанія, по преимуществу, конечно, литературныя,—слишкомъ пестры и сложны были настроенія въ это время его жизни: легкомысленное, беззаботное, порой даже фривольное [3]), сливалось съ серьезнымъ [4]) и даже тоскливымъ [5]), без-

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 61.

[2]) Соч. VII, 36 (Кишиневъ, 21 Іюль).

[3]) Соч. I, «Пѣсня» 2, «Измѣны» 2—4, «Леда» 20, «Къ Натальѣ» 24, «Къ молодой актрисѣ» 26, «Опытность» 28, «Блаженство» 29, «Пирующіе студенты» 31, «Къ Батюшкову» 34, «Вишня» 60, «Бова» 62, «Казакъ» 58, «Къ А. И. Галичу» 73, «Воспоминаніе» 79, «Посланіе къ Галичу» 84, «Разсудокъ и любовь» 90, «Мое завѣщаніе» 92, 169, 173, 176, 181, «Фавнъ и пастушка» 110, «Пушшевая пѣснь» 118, «Заздравный кубокъ» 119, «Усы» 120, «Посланіе Лидѣ» 122, «Лилѣ» 124, «Амуръ и Гименей» 124 и др.

[4]) Соч. I, «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» 53, «Наполеонъ на Эльбѣ» 68, «Лицинію» 71, «На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1815 г.» 103, «Къ Жуковскому» 163.

[5]) Соч. I, «Делія» 2, «Мечтатель» 81, «Посланіе къ князю А. М. Горчакову» 130, «Желаніе» 139, «Осеннее утро» 140, «Разлука» 141, «Элегія» 142, «Элегія» 144, «Любовь одна» 150, «Подражаніе» 151, «Пробужденіе» 152, «Наслажденіе» 144, «Пѣвецъ» 153, «Мѣсяцъ» 146, «Къ ней» 147, «Слеза» 148 и др.

облачный смѣхъ [1])—съ первыми думами о жизни [2]), интересъ къ однимъ вопросамъ мирился съ полнымъ пренебреженіемъ къ другимъ, страсть къ толпѣ мѣнялась влеченіемъ къ уединенію [3]), рыцарская чистота отношеній, и сердечность [4]) къ однимъ—съ невыносимою несправедливостью къ другимъ...

Извѣстно, что поэтъ въ стѣнахъ лицея впервые постигъ любовь. Какъ все въ Пушкинѣ, такъ и это чувство отличалось широкимъ діапазономъ,—отъ мимолетнаго увлеченія случайно попавшеюся на пути красавицею, от волокитства за царскосельскими горничными и крѣпостными актрисами, юноша возвышался до платонически-чистой, возвышенно-грустной любви, какъ говорятъ, къ сестрѣ лицейскаго товарища Бакунина [5]),—возвышался для того, чтобы на время опять отдаваться болѣе земной страсти къ какой-то молодой вдовѣ [6]).

Его друзья въ лицеѣ такъ же различны, какъ и предметы его любовныхъ увлеченій...

---

[1]) Соч. I, «Къ другу стихотворцу» 8, «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» 22, «Mon portrait» 39, «Эпиграммы» 51, 52, «Вода и вино» 78, «Погребъ» 79, «Эпитафія» 106.

[2]) Соч. I, «Посланіе къ князю Горчакову» 130, «Элегія» 148, «Подражаніе» 151, «Наслажденіе» 144.

[3]) Соч. I, «Къ сестрѣ» 6—7, «Городокъ» 40, 49, «Посланіе къ Галичу» 87, «Посланіе къ Юдину» 97, «Сонъ» 132, «Дельвигу» 167.

[4]) Соч. I, «Къ сестрѣ», «Городокъ», «Къ Галичу«, «Къ баронессѣ М. А. Дельвигъ» 105.

[5]) Объ увлеченіяхъ этихъ см. воспоминанія Пущина (*Л. Майковъ* «Пушкинъ» 63) *П. Анненковъ*, Пушкинъ въ алекс. эпоху, 40—3. Соч. I, «Къ живописцу» 94, «Осеннее утро» 140, «Разлука» 141, «Элегія» 142, «Элегія» 144, «Наслажденіе» 144, «Окно» 145, «Мѣсяцъ» 146, «Къ ней» 147, «Слеза» 148 и др.

[6]) Соч. I, «Къ молодой вдовѣ» 162.

Изъ товарищей на первомъ мѣстѣ стоялъ Пущинъ. «товарищъ милый, другъ прямой» [1]),—юноша, покорившій поэта кристальностью своего сердца, и, въ то же время, подкупившій его отсутствіемъ фарисейскаго педантизма «добродѣтельныхъ юношей». Пущинъ не замыкался въ созерцаніи незапятнанности своей души, а дружно сливался съ шумной жизнью лицея. Тѣмъ благотворнѣе было воздѣйствіе его благородной личности на товарищей и на Пушкина, въ частности. По словамъ Корфа, это былъ юноша «съ свѣтлымъ умомъ, съ чистою душою», любимецъ всѣхъ товарищей [2]). Для мятежной души Пушкина дружба съ нимъ была тѣмъ чистительнымъ огнемъ, который облагораживаетъ золото. Съ трогательною нѣжностью отзывался всегда о немъ Пушкинъ [3]). Ему этотъ юноша былъ дорогъ, главнымъ образомъ, какъ «*человѣкъ*», съ которымъ можно было дѣлить свои «*человѣческія* чувства»—быстрыя минуты первыхъ дней, неволю мирную, шесть лѣтъ соединенья, печали, радости, мечты [4])... Правда, поэтъ и съ нимъ зналъ «размолвки дружества», но никто никогда не дарилъ его въ такой мѣрѣ сладостью примиренья [5]),

«Нерѣдко и бранимся
Но чашу дружества нальемъ
И тотчасъ помиримся [6]).

---

[1]) Соч. I, «Пирующіе студенты» 32. [2]) *Я. Гротъ*, op. cit. 251. [3]) Соч. I, «Въ альбомъ» 178, «Любезный именинникъ» 75, «Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный» II, 7, «Помнишь ли, мой братъ по чашѣ» I, 79. [4]) Соч. I, 178. [5]) Тамъ-же. Еще упоминаетъ Пушкинъ о «размолвкахъ» въ стихотвореніи: «Пирующіе студенты». [6]) Соч. I, 32.

какъ Пущинъ. Для Пушкина онъ былъ «первый» другъ и «безцѣнный» [1]), къ нему поэтъ шелъ всегда «съ открытою душой», дружескій союзъ съ нимъ заключенъ былъ не рѣзвою мечтой [2]), отчего этотъ «союзъ» и «предъ грознымъ временемъ, и предъ грозными судьбами» былъ союзомъ «вѣчнымъ» [3]).

Другія чувства связали Пушкина съ Дельвигомъ. Въ его душѣ Пушкинъ нашелъ отзвукъ не столько своимъ «*человѣческимъ*», сколько «*поэтическимъ*», литературно-художественнымъ стремленіямъ. Лѣнивый, малоподвижный и флегматичный Дельвигъ жилъ въ лицеѣ своею собственною, замкнутой жизнью, лучшимъ украшеніемъ которой была любовь къ поэзіи. Она не выразилась такъ шумно и бурно, какъ у его друга Пушкина. Молчаливый Дельвигъ былъ больше «поэтъ про себя»: онъ любилъ «пѣть», по словамъ Пушкина, «для музъ и для души» [4])... Быть можетъ, только Пушкинъ и заставилъ его проявить свое блѣдное художественное творчество передъ всѣми. Въ лицеѣ Дельвигъ, несомнѣнно, былъ первымъ, а, быть можетъ, и единственнымъ и, конечно, сочувствующимъ цѣнителемъ поэтическихъ грёзъ Пушкина [5]). Такимъ образомъ, сходство главныхъ

---

[1]) Тамъ-же 7.

[2]) Тамъ-же 178.

[3]) Тамъ-же.

[4]) Соч. I. 359.

[5]) Стихотвореніе Пушкина («Къ другу стихотворцу») появилось въ печати безъ вѣдома автора (4 іюля 1814 г. «Вѣстн. Евр.»); это было *первымъ* печатнымъ произведеніемъ Пушкина. Существуетъ разсказъ, что это стихотвореніе было послано въ редакцію «Вѣстника Европы» «друзьями» Пушкина. Если это такъ, то, конечно, Дельвигъ прини-

интересовъ жизни связало обоихъ поэтовъ трогательнымъ братствомъ [1]).

Неизмѣнной любовью окружилъ поэтъ и другого своего товарища-лицеиста, тоже «брата по музамъ»— Кюхельбекера. Этотъ безкорыстный диллетантъ на поэтическомъ поприщѣ, благодаря безграничному своему добродушію, долго былъ жертвой пушкинскихъ остротъ и издѣвательствъ, не всегда тонкихъ и безобидныхъ[2]). Имъ онъ могъ противопоставить лишь безсильную, беззлобную вспыльчивость, горячую, но, увы, безнадежную любовь къ музамъ и свое искреннее благоговѣніе передъ расцвѣтающимъ талантомъ своего неумолимаго обидчика [3]). Потѣшный «Кюхля», безтолковый, бездарный, но усердный работникъ на Пар-

---

малъ участіе въ этой посылкѣ. Самъ поэтъ въ посланіи «Къ Дельвигу» говоритъ слѣдующее:

«Увы, мнѣ, метроману!
Куда сокроюсь я?
Вездѣ бѣды застану:
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой въ городъ шлютъ
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ (Соч. I, 89).

[1]) «Блаженъ, кто съ юныхъ лѣтъ» (Соч. VII, LII), «Другъ Дельвигъ, мой парнасскій братъ» (VII, 14), «Загадка» (II, 78), «Любовью, дружествомъ и лѣнью» (I, 167), «Мы рождены, мой братъ названный» (II, 126), «Послушай музъ невинныхъ», (I, 88), «Прими сей черепъ» (II, 16).

[2]) Соч. I, «Эпиграммы» I, 51, I, 160; VII, 35.

[3]) Не одинъ Пушкинъ потѣшался надъ нимъ: онъ «былъ предметомъ постоянныхъ и неотступныхъ насмѣшекъ цѣлаго лицея». (Слова барона Корфа *Я. Гроту*, op. cit. 244). Тамъ же приведены различныя эпиграммы на него (245—6).

насѣ, въ концѣ концовъ, завоевалъ и любовь поэта, и уваженіе [1])...

Въ послѣдніе годы пребыванія въ лицеѣ Пушкинъ очень расширилъ кругъ своихъ друзей. Бар. Корфъ указываетъ, что «*во всѣ шесть лѣтъ*» лицеистовъ не пускали изъ Царскаго Села не только въ Москву, но и въ близкій Петербургъ, и изъятіе было сдѣлано для двухъ, или трехъ, только по случаю и во время тяжкой болѣзни ихъ родителей» [2]). И въ самомъ Царскомъ Селѣ въ первые три, или четыре года, лицеистовъ не пускали порознь даже изъ стѣнъ лицея... «Послѣ все перемѣнилось, и въ свободное время, они ходили не только къ Тепперу и въ другіе почтенные дома, но и въ кондитерскую Амбіеля, а также по гусарамъ, сперва въ одни праздники и по билетамъ, а потомъ и въ будни, безъ вѣдома приставниковъ, возвращаясь иногда въ глухую ночь»... Къ этимъ словамъ бар. Корфъ многозначительно прибавляетъ: «думаю, что иные пропадали даже и на *цѣлую* ночь». Эта «свобода» послѣднихъ лѣтъ пребыванія въ лицеѣ дала Пушкину возможность завести друзей «по нраву» среди «золотой молодежи» гусарскаго полка. «Вечеромъ, разсказываетъ Корфъ, когда прочіе бывали или у директора, или въ другихъ семейныхъ домахъ, Пушкинъ, ненавидѣвшій всякое стѣсненіе [3]), пировалъ съ этими господами на рас-

[1]) Соч. I, «Мечтателю», 192, «Разлука», 3.

[2]) *Я. Гротъ*, op. cit. 246 слова бар. Корфа.

[3]) Самъ Пушкинъ неразъ говоритъ объ этомъ. Напримѣръ, въ стихотвореніи: «Пирующіе студенты» онъ посвящаетъ М. Л. Яковлеву слѣдующія строки: «Съ тобой тасуюсь безъ чиновъ, люблю тебя душою». (I, 33). Себя онъ называетъ «гостемъ безъ этикета» («Къ Ив. Ив. Пущину». I, 76).

пашку. Любимымъ его собесѣдникомъ былъ гусаръ Каверинъ, одинъ изъ самыхъ лихихъ повѣсъ въ полку» [1]), Живой, остроумный, умѣвшій даже вспышки цинизма облекать въ дивные образы, Пушкинъ былъ желаннымъ гостемъ этихъ шумныхъ вечеринокъ; онъ чувствовалъ себя хорошо тамъ, гдѣ не третировали его свысока, «не докучали моралью строгой» и, не взирая на разность лѣтъ, становились съ нимъ на «товарищескую ногу».... Каверинъ, воспѣтый имъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ», увлекъ его своимъ размашистымъ, открытымъ нравомъ, цѣльностью своей натуры: «на марсовыхъ поляхъ онъ грозный былъ воитель», «друзьямъ онъ вѣрный другъ», «красавицамъ мучитель», «и всюду онъ гусаръ» [2]). Подъ впечатлѣніемъ этой заманчивой жизни царскосельскихъ гусаровъ Пушкинъ самъ сталъ мечтать о поступленіи въ ихъ полкъ [3]).

Сильно Пушкинъ привязался также къ гусару Нащокину, добродушному, безтолковому прожигателю жизни, беззаботно глядящему впередъ. Своими настроеніями онъ вполнѣ отвѣчалъ тѣмъ молодымъ порывамъ безшабашной удали, которые кружили тогда голову нашего поэта. Впослѣдствіи Пушкинъ трогательно заботился о судьбѣ своего царскосельскаго друга и даже устраивалъ его семей-

---

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 247—8. П. П. Каверину посвящены слѣдующія стихотворенія Пушкина: «Къ П. П. Каверину», (Соч. I, 172, VII, LIII), «Къ портрету» (I, 180): упоминаетъ о Каверинѣ Пушкинъ въ «Молитвѣ лейбъ-гусарскихъ офицеровъ» (III, VII, LIV) и въ «Евгеніи Онѣгинѣ» (III, 240; XVI стр. стр. I главы).

[2]) Соч. I, 180 «Къ портрету».

[3]) Соч. I, «Къ А. И. Галичу». 74; «Посланіе къ Юдину» 100.

ное счастье на зыбкихъ основахъ его небезупречнаго прошлаго [1]).

Но въ этомъ гусарскомъ кругу Пушкина встрѣтило не одно только опьяненіе молодымъ разгуломъ, — здѣсь впервые глубоко и сильно затронута была его серьезная мысль и пробуждены гражданскія чувства. Этимъ онъ былъ обязанъ извѣстному П. Я. Чаадаеву [2]). Въ беззаботномъ кругу молодыхъ повѣсъ этотъ философъ-трезвенникъ, «вѣтренной толпы безстрастный наблюдатель», былъ, въ свое время, загадкой и даже курьезомъ. Въ стихотворной шуткѣ, «Къ портрету П. Я. Чаадаева», Пушкинъ выразилъ свое недоумѣніе передъ непостижимой прихотью небесъ, забросившихъ въ гусарское общество человѣка, который «въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ» [3]). Въ своемъ уединенномъ кабинетѣ этотъ странный гусаръ, «всегда мудрецъ, а иногда мечтатель», глазъ на глазъ съ Пушкинымъ, раскрывалъ передъ нимъ «святая святыхъ» своей туманной, но прекрасной вольнолюбивой души, и тогда въ отзывчивомъ сердцѣ юноши впервые стали разгораться желанія «отчизнѣ посвятить души высокіе порывы» [4])... Подъ впечатлѣніемъ горячихъ рѣчей Чаадаева [5]), онъ «съ томленіемъ упованья»,

---

[1]) См. письма Пушкина. (Соч. VII, 1 іюня 1831—268; 8 декабря—294; 23 февраля 1833 — 313; 24 ноября 1833 — 334; 6 декабря 1833 — 336; въ мартѣ—апрѣлѣ 1834,—338 и др.

[2]) Ему посвящены слѣдующія стихотворенія: «Къ портрету П. Я. Чаадаева», «Чаадаеву» (I, 241), «Чаадаеву» (I, 190), «Къ чему холодныя сомнѣнья» (I, 226).

[3]) Соч. I, 180.

[4]) Соч. I, «Къ Чаадаеву», 190.

[5]) Тамъ же.

сталъ мечтать о томъ времени, когда на родинѣ разгорится «заря плѣнительнаго счастья», воцарится «святая вольность» и «Россія вспрянетъ ото сна» [1]... «Эти бесѣды», «младые вечера, пророческіе споры» [2], «вольнолюбивыя надежды» [3], «знакомыхъ мертвецовъ живые разговоры» [4], остались навсегда въ его памяти. Они были откровеніемъ для юноши, который до этого времени жилъ, «не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ» [5], и въ сѣни лицея «расцвѣталъ безпечный, безмятежный» [6]. Только его вліяніемъ можно объяснить появленіе у Пушкина такихъ горделивыхъ чувствъ:

«Я—сердцемъ римлянинъ;
Кипитъ въ груди свобода,
Во мнѣ не дремлетъ духъ
Великаго народа!

Самъ Пушкинъ признаетъ, что Чаадаевъ первый указалъ ему «новые пути» въ жизни. За это Пушкинъ отплатилъ ему глубокимъ уваженіемъ, сердечной признательностью и прочувствованными стихами, въ которыхъ призналъ его «цѣлителемъ» своихъ «душевныхъ силъ» [7], «спасителемъ» [8] лучшихъ сторонъ своей души. Немудрено, что образъ этого царскосельскаго гусара-мудреца навсегда врѣзался въ па-

---

[1]) Тамъ же.
[2]) Соч. I, 243.
[3]) Тамъ же, I, 242.
[4]) Тамъ же.
[5]) Тамъ же.
[6]) Тамъ же.
[7]) Тамъ же, 292.
[8]) Соч. I, «На возвращеніе...» 103.

мяти поэта и даже, послѣ окончанія лицея, много лѣтъ стоялъ туманной тѣнью на стражѣ его юной души [1]). Живя на югѣ, Пушкинъ, вспоминая Чаадаева, восклицалъ:—

«Ты видѣлъ, какъ въ волненіи страстей
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленный,
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной
Ты поддержалъ меня недремлющей рукой!» [2]).

—поддержалъ тѣмъ, что, «въ глубину души вникая строгимъ взоромъ», онъ «оживлялъ ее совѣтомъ, иль укоромъ» и своимъ «жаромъ», своимъ увлекательнымъ краснорѣчіемъ, воспламенялъ въ юношескомъ сердцѣ поэта «къ высокому любовь» [3])... Впрочемъ, все великое значеніе дружескихъ бесѣдъ съ Чаадаевымъ вполнѣ оцѣнено было Пушкинымъ лишь впослѣдствіи, когда, оторванный отъ своей прошлой жизни, онъ сталъ подводить итоги всѣмъ впечатлѣніямъ своей юности. Только тогда образъ Чаадаева вполнѣ прояснился и еще больше выросъ въ его сознаніи [4]).

Кромѣ Чаадаева, нѣкоторое вліяніе въ томъ же направленіи имѣлъ на Пушкина его другъ Пущинъ. «Свободой» лицейской жизни онъ воспользовался по своему: еще лицеистомъ посѣщалъ онъ въ Царскомъ Селѣ круги людей либерально настроенныхъ (бр. Муравьевы, Бурцевъ, Колошинъ). Въ своихъ запискахъ онъ говоритъ слѣдующее: «постоянныя наши бесѣды о предметахъ общественныхъ, о злѣ существующаго у насъ порядка и о возможности измѣненія, желаемаго

[1]) Соч. I, «Къ Лицинію» 77—8; еще: 72. [2]) Соч. I, 242. [3]) Тамъ же, 242. [4]) О культурной роли Чаадаева см. сочин. Хомякова. I, 720.

многими втайнѣ, необыкновенно сблизили меня съ этимъ мыслящимъ кружкомъ». Впечатлѣніями отъ этихъ бесѣдъ Пущинъ дѣлился со своимъ другомъ. И разногласія между ними не было. «Онъ всегда согласно со мною мыслилъ о дѣлѣ общемъ» (res publica), говоритъ Пущинъ, «по своему проповѣдовалъ въ нашемъ смыслѣ—изустно и письменно, стихами и прозой»[1]).

Вообще для развитія либерализма въ лицеѣ была богатая почва. Въ то время это было единственное учебное заведеніе, котораго не коснулась тогдашняя «аракчеевщина»,—только здѣсь отмѣнены были тѣлесныя наказанія... Сами «лицеисты» очень цѣнили свою исключительную свободу. «Благодаря Бога, у насъ, по крайней мѣрѣ, царствуетъ свобода (а свобода дѣло золотое!)» пишетъ Илличевскій своему другу: «лѣтомъ досугъ проводимъ въ прогулкѣ, зимою — въ чтеніи книгъ, иногда представляемъ театръ; съ начальниками обходимся безъ страха, шутимъ съ ними, смѣемся»[2]). Быть можетъ, поэтому современники смотрѣли на лицей, какъ на заведеніе словно и нерусское. «Здѣсь получались иностранные журналы для воспитанниковъ, которые въ играхъ своихъ устраивали между собою палаты, спорили, говорили рѣчи, издавали между собой журналы; вообще свободы было очень много»[3]). Это было такъ необычно, что къ лицею многіе относились въ то время недоброжелательно. Существуетъ интересная характеристика питомцевъ лицея, ясно рисующая отношеніе къ нему части русскаго общества:

---

[1]) *Л. Майковъ*, op. cit. 69.

[2]) *Я. Гротъ*, op. cit. 59.

[3]) *Шевыревъ*, Воспоминанія о Пушкинѣ, (*Л. Майковъ*, op. cit. 326).

«Въ свѣтѣ называется *лицейскимъ духомъ*, когда молодой человѣкъ не уважаетъ старшихъ, обходится фамильярно съ начальниками, высокомѣрно съ равными, презрительно съ низшими, исключая тѣхъ случаевъ, когда для фанфаронады, надобно показаться «любителемъ равенства». Молодой вертопрахъ долженъ при семъ порицать насмѣшливо всѣ поступки особъ, занимающихъ значительныя мѣста, всѣ мѣры правительства, знать наизусть, или самому быть сочинителемъ эпиграммъ, пасквилей и пѣсенъ предосудительныхъ на русскомъ языкѣ, а на французскомъ— знать всѣ дерзкіе и возмутительные стихи и мѣста, самыя сильныя изъ революціонныхъ сочиненій. Сверхъ того, онъ долженъ толковать о конституціяхъ, палатахъ, выборахъ, парламентахъ, казаться невѣрующимъ христіанскимъ догматамъ и, болѣе всего, представляться филантропомъ и русскимъ патріотомъ. Къ тому принадлежитъ также обязательность насмѣхаться выправкою и обученіемъ войскъ и въ сей цѣли выдумано ими слово «шагистика»[1])...

Въ другомъ направленіи шли на сердце Пушкина вліянія В. А. Жуковскаго. Въ то время уже прославленный «пѣвецъ Свѣтланы» нашелъ въ своемъ любящемъ, мягкомъ сердцѣ мѣсто для страннаго генія-подростка и, несмотря на разницу лѣтъ и положеній, установилъ съ нимъ тѣ равныя товарищескія отношенія, которыя только и могли сблизить съ Пушкинымъ. Онъ не навязывалъ юношѣ своего «прекраснодушія»; въ немъ Пушкинъ не чувствовалъ никогда

[1]) «Нѣчто о Царскосельскомъ лицеѣ и о духѣ его». («Русск. Стар.») 1877, № 4, стр. 657.

ни тѣни того фарисейскаго самодовольства, которое стремится всѣхъ передѣлать на свой ладъ. Милымъ, доброжелательнымъ, спокойно-добродушнымъ, даже веселымъ, предсталъ передъ юношей Жуковскій; онъ увлекалъ его разсказами о русскихъ литераторахъ той поры, и, добродушно осмѣивая старовѣровъ «русскаго Парнаса», мало-по-малу, втягивалъ поэта въ молодые, свѣжіе интересы своихъ литературныхъ друзей [1])...

Какое громадное значеніе придавалъ юноша дружбѣ Жуковскаго, видно, хотя бы изъ того, что въ своихъ отрывочныхъ замѣткахъ-запискахъ, куда онъ заносилъ все знаменательное въ своей жизни, онъ счелъ нужнымъ отмѣтить: «Жуковскій даритъ мнѣ свои стихотворенія» [2]). Мы знаемъ, въ чемъ была обаятельная сила Жуковскаго—въ чистотѣ его сердца. И, если въ ту пору, когда закипали въ душѣ и поэзіи Пушкина первыя страсти, онъ всей душой тянулся къ Жуковскому, благоговѣя «кристальностью» его души [3]),—то совершенно исключительна благотворность его вліянія на сердце и на творчество Пушкина, является несомнѣнной: самъ Пушкинъ признавалъ, что нѣжный голосъ «пѣвца Свѣтланы» обладалъ способностью «утѣшать» его «безмолвную печаль», а иногда

[1]) Въ дѣтствѣ въ томъ же направленіи шли вліянія В. Л. Пушкина. Вотъ почему теперь, въ лицеѣ, Пушкинъ вполнѣ сформировался бойцомъ, готовымъ стать на защиту своихъ друзей-литераторовъ: онъ знаетъ всѣ «прозвища», которыми окрестили молодые арзамасцы бездарныхъ старовѣровъ,—онъ самъ готовъ изобрѣтать имъ такія прозвища, и юморъ его въ этомъ направленіи неистощимъ. («Къ другу стихотворцу» I, 9—10, «Къ Батюшкову» I, 36, «Городокъ» 44—5, «Къ Дельвигу» I, 88, «Моему Аристарху» I, 107; «Къ Жуковскому» I, 164 и др.).

[2]) Соч. V, 2.

[3]) Ср. *А. Смирнова*, записки I, 219.

его, слишкомъ «шумную, рѣзвую, радость» смирялъ первой неясной «думой» [1])...

Менѣе значенія имѣлъ для Пушкина кн. Вяземскій, съ которымъ въ 1816 году онъ, судя по письму отъ 27 марта, сошелся онъ уже настолько близко, что обращался «за панибрата», именуя его въ шутку: «ваше піитическое сіятельство» [2]). Кн. Вяземскій, «любезный арзамасецъ [3])», въ то время увлекался всѣми перипетіями русской литературной жизни, борьбой «старой школы» съ «новой», сплотившейся около Карамзина; живой умъ и рѣзкая остроумная рѣчь дѣлали его однимъ изъ главныхъ застрѣльщиковъ Арзамаса [4])... Это нравилось въ немъ лицеисту-Пушкину, который давно уже рвался въ кипѣвшій бой, чувствуя въ себѣ избытокъ силъ и жалуясь «на свою судьбу отшельника» [5]). Къ Вяземскому онъ обратился со слѣдующимъ привѣтомъ:

«О, князь, наперстникъ Музъ,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкій стихъ
Въ посланіяхъ твоихъ,
Въ сатирѣ—знанье свѣта [6])...

«Безбожно держать молодого человѣка взаперти, восклицаетъ онъ съ негодованіемъ: «и не позволять ему участвовать даже и въ невинномъ удовольствіи погребать покойную «Академію», «Бесѣду губителей Россійскаго слова».

---

[1]) Соч. I, 193, «Къ портрету Жуковскаго»; еще Жуковскому посвящены стихи: «Къ Жуковскому». 163; «Жуковскому», 193. [2]) Соч. VII, 1. [3]) Тамъ-же 2. [4]) Соч. I, «Городокъ» 45. [5]) Тамъ-же. Соч. VII, 1—2. [6]) Соч. VII, 2; еще: «Къ портрету кн. П. А. Вяземскаго» 262, «Язвительный поэтъ» I, 264, «Блаженъ, кто въ шумѣ городскомъ» VII, 1, «Въ глуши измучась» VII, 161, «Сатирикъ и поэтъ любезный» VII, 156.

Въ началѣ 1816-го года произошло личное знакомство Пушкина съ Батюшковымъ. Къ этой порѣ жизни Батюшкова относятся первыя проявленія того нервнаго разстройства, которое, подъ конецъ, привело его къ сумасшествію. Недавній эпикуреецъ, «философъ рѣзвый», сталъ замѣтно превращаться въ тоскующаго ипохондрика, настроеннаго на религіозный ладъ; Пушкина онъ даже сталъ отговаривать отъ увлеченія анакреонтической поэзіей и рекомендовалъ обратиться къ «эпосу» [1]). Молодой поэтъ энергично возсталъ противъ такого совѣта [2]). Вотъ почему, можно думать, личное знакомство Батюшковымъ никакого значенія въ жизни Пушкина не имѣло, — слишкомъ далеко разошлись въ эту пору ихъ настроенія.

Въ лицейскій періодъ вполнѣ опредѣлились отношенія Пушкина и къ дядюшкѣ его Василію Львовичу [3]). Рѣзвый племянникъ, искренно привязанный къ дядюшкѣ-поэту, отлично усвоилъ себѣ тотъ добродушно-насмѣшливый и слегка покровительственный тонъ, который установился въ отношеніяхъ къ В. Л. Пушкину его друзей. Но это не портило ихъ дружбы...

Посѣщалъ Пушкинъ и семью Карамзиныхъ. Въ этомъ домѣ, какъ и у Энгельгардта, царила та нравственная уравновѣшенность, то буржуазное, нѣсколько

---

[1]) Соч. I, 77.

[2]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 77; ранѣе Пушкинъ въ стихотворномъ посланіи упрекнулъ Батюшкова за то, что тотъ долго «молчитъ» и болѣе не сочиняетъ своихъ жизнерадостныхъ гимновъ въ честь любви и веселья. (Соч. I, «Къ Батюшкову»—«Философъ рѣзвый» 34).

[3]) Соч. I, «Желаніе» I, 121, «Скажи, парнасскій мой отецъ» I, 172, «Тебѣ, о Несторъ Арзамасскій» I, 156.

чопорное, спокойствіе моральной и умственной комильфотности, которая органически претила «неуимчивому Пушкину,—ему больше по душѣ была «рѣзвая радость», которая овладѣвала имъ въ кругу товарищей, или въ обществѣ друзей-гусаровъ. Вотъ почему въ бесѣдахъ съ Карамзинымъ онъ постоянно попадалъ впросакъ.

Пушкинъ разсказываетъ, напримѣръ, такой случай: «Однажды началъ онъ при мнѣ излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказалъ: «итакъ, вы рабство предпочитаете свободѣ?», Карамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своимъ «клеветникомъ». Я замолчалъ, уважая самый гнѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣнился. Я всталъ. Карамзину стало совѣстно, и, прощаясь со мной, онъ ласково упрекнулъ меня, какъ бы самъ извиняясь въ своей горячности: «вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили» [1]). Иногда, впрочемъ, послѣ бесѣдъ съ Карамзинымъ обиженнымъ чувствовалъ себя Пушкинъ. Такъ самое происхожденіе одной своей эпиграммы на Карамзина, Пушкинъ объяснялъ тѣмъ, что написалъ ее сгоряча, подъ вліяніемъ чувства обиды, когда Карамзинъ его отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ «юношеское честолюбіе» и «сердечную привязанность» [2]). Такъ не устанавливались отношенія между старымъ литераторомъ и юнымъ: различіе темпераментовъ и міровоззрѣній ихъ раздѣляло. Сойтись они могли только тогда, когда, въ веселую минуту, становились въ чисто-то-

[1]) Соч. V, 42.
[2]) Соч. VII, 182.

варищескія отношенія. «Однажды, вспоминаетъ Пушкинъ, отправляясь въ Павловскъ и надѣвая свою ленту, онъ посмотрѣлъ на меня наискось... Я прыснулъ, и мы оба расхохотались» [1])... Но если подружиться съ Карамзинымъ Пушкинъ не могъ,—тѣмъ не менѣе, уважать его научился. А въ это время уважалъ онъ очень немногихъ...

Такимъ образомъ, послѣдніе годы пребыванія въ лицеѣ дали поэту много впечатлѣній, серьезныхъ и глубокихъ. Въ это время онъ узналъ людей, которые жили серьезными думами, узналъ людей, съ опредѣленными, сложившимися міросозерцаніями, нравственными и политическими; наконецъ, и въ его собственномъ сердцѣ произошли перемѣны: еще недавно вѣтренный поклонникъ мимолетной любви, онъ постигъ теперь какое-то чувство, уже близкое къ чистой любви вслѣдъ за этимъ чувствомъ явились и первыя разочарованія... Это заставило его заглянуть въ себя, въ свое сердце,—и миросозерцаніе его стало впервые омрачаться тучками раздумья и «меланхоліи». Ровностью характера онъ не отличался никогда, но раньше настроенія его мѣнялись, чаще всего, въ зависимости отъ прихотливой игры фантазіи [2]),—теперь онъ узналъ и приступы сердечной тоски, нахлынувшей на него изъ жизни...

---

[1]) Соч. V, 42.

[2]) *Я. Гротъ*, op. cit. 319. («Записка Комовскаго»): «не только въ часы отдыха отъ ученія, въ рекреаціонной залѣ, на прогулкахъ, но нерѣдко въ классахъ и даже въ церкви ему приходили въ голову разные поэтическіе вымыслы, и тогда лицо его то хмурилось необыкновенно, то прояснялось отъ улыбки, смотря по роду думъ, его занимавшихъ. Набрасывая же мысли свои на бумагу, онъ удалялся всегда въ самый уединенный уголъ комнаты, отъ нетерпѣнія грызъ, обыкновенно, перо

Необходимо отмѣтить также, что нетолько эта «тоска», но и самое творчество его всегда требовало для себя «уединенія». Оттого, рядомъ съ многочисленными стихами, воспѣвавшими шумъ и суету жизни, рядомъ съ заявленіемъ:

«J'aime et le monde, et son fracas,
Je hais la solitude» [1]).

—мы встрѣчаемъ многократныя восхваленія «уединенія», «скромной, тихой жизни» [2])...

Къ свѣтлымъ воспоминіямъ лицейской жизни относится экзаменъ 8-го января 1815 года, когда, въ присутствіи Державина, Пушкинъ прочиталъ свое произведеніе: «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» [3]). Пушкинъ впослѣдствіи такъ передавалъ свои ощущенія: «я прочелъ мои «Воспоминанія въ Ц. С.», стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей. Когда дошелъ я до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина, голосъ мой отроческій зазвенѣлъ, а сердце забилось съ упоительнымъ восторгомъ. Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе, не помню, куда убѣжалъ... Державинъ былъ въ восхищеніи, онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять. Меня искали, но не нашли» [4])... Пушинъ тоже запомнилъ эту знаменательную сцену: «...читалъ

и, насупя брови, надувши губы, съ огненнымъ взоромъ читалъ про себя написанное». Въ такія минуты, конечно, онъ былъ несообщителенъ и «на вопросы товарищей отвѣчалъ, обыкновенно, лаконически».

[1]) Соч. I, 39, «Mon portrait».

[2]) Соч. I. 37; «Къ Николаю Григорьевичу Ломоносову», «Городокъ», 42—3; « Къ А. И. Галичу», 73; «Къ Ив. Ив. Пушину», 76; «Мечтатель», 81; «Посланіе къ Юдину», 98—9.

[3]) Соч. I, 54.

[4]) Соч. V, 195.

Пушкинъ съ необыкновеннымъ оживленіемъ. Пока я слушалъ знакомые стихи, морозъ по кожѣ пробѣгалъ у меня. Когда же патріархъ нашихъ пѣвцовъ, въ восторгѣ, со слезами на глазахъ, бросился цѣловать поэта и осѣнилъ кудрявую его голову, мы всѣ, подъ какимъ-то невѣдомымъ вліяніемъ, благоговѣйно молчали. Хотѣли сами обнять нашего поэта,—его ужъ не было,—онъ убѣжалъ!» [1]). Одобреніе Державина наполнило сердце Пушкина такимъ восторгомъ, что, много лѣтъ спустя, помнилъ онъ, какъ его «замѣтилъ старикъ Державинъ», и «благословилъ», «сходя въ гробъ» [2]).

«И славный старецъ нашъ, царей цѣвецъ избранный,
Крылатымъ геніемъ и граціей вѣнчанный,
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной [3]).

Это одобренное Державинымъ произведеніе было его первымъ печатнымъ, подъ которымъ онъ дерзнулъ дать полную свою подпись: *Александръ Пушкинъ* [4]).

Чѣмъ долѣе жилъ Пушкинъ въ лицеѣ, тѣмъ болѣе онъ тяготился этой жизнью. Уже на первыхъ порахъ пребыванія своего въ стѣнахъ этого учебнаго заведенія онъ, конечно, почувствовалъ, что та свобода, которою онъ пользовался дома, у него отнята болѣе размѣреннымъ укладомъ жизни казеннаго заведенія. Вотъ почему онъ всѣми воспоминаніями своими потянулся теперь къ родному дому, гдѣ эта свобода была имъ завоевана, хотя и большой цѣной. Въ стихо-

---

[1]) *Л. Майковъ*, op. cit. 61. [2]) Соч. III, «Евг. Онѣгинъ», ч. VIII, стр. 2, 382; [3]) Соч. I, 163. «Къ Жуковскому». [4]) «Россійскій Музеумъ» 1815, № 4.

твореніи 1814 года. «Къ сестрѣ» онъ изображаетъ себя текущимъ отшельникомъ «въ мрачной кельѣ» [1]); его тяготили эти «минуты уединенья», когда «мракъ», «съ угрюмой тишиной», царили вокругъ него, а «на часахъ» у забытой кельи стояли, въ качествѣ стражи, «молчанье—врагъ веселья» и «скука» [2]... Такимъ образомъ, еще сидя на лицейской скамейкѣ, мечталъ поэтъ о свободѣ, мечталъ о томъ, что скоро «протечетъ время», и «съ каменныхъ воротъ падутъ, падутъ запоры» [3]), и чѣмъ ближе подходилъ давно желанный моментъ разлуки съ лицеемъ, тѣмъ неудержимѣе рвался Пушкинъ на волю. Въ 1816 г. онъ писалъ князю П. А. Вяземскому: «никогда лицей (или ликей только, ради Бога, не *лицея!*) не казался мнѣ такъ несноснымъ, какъ въ нынѣшнее время. Увѣряю васъ, что уединеніе, въ самомъ дѣлѣ, вещь очень глупая, на зло всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тишину... Правда, время нашего выпуска приближается, продолжаетъ несчастный «царскосельскій [illegible]», остался годъ еще плюсовъ, минус [illegible] сокаго, прекраснаго!.. Цѣлый годъ еще думать передъ каѳедрой! Это ужасно!» [4]). Наконецъ, вожделѣнный часъ насталъ 9-го іюля 1817 года, когда, послѣ публичнаго экзамена и торжественнаго акта, лицеисты были выпущены на волю.

Лицей ничѣмъ не вооружилъ Пушкина для житей-

---

[1]) Соч. I, «Къ сестрѣ», 5.
[2]) Тамъ же, 7.
[3]) Тамъ же, 8.
[4]) Соч. VII, 27 марта 1816 г., 1—2.

ской борьбы; онъ не далъ ему знаній, не далъ и воспитанія... За все, чѣмъ юноша обогатился въ теченіе этихъ нѣсколькихъ лѣтъ, онъ былъ обязанъ себѣ,—исключительно своему духу, который неудержимо и инстинктивно искалъ себѣ такой пищи, которая была ему нужна, и тамъ искалъ, гдѣ она была... Директоръ Энгельгардтъ назвалъ его сердце «холоднымъ и пустымъ», въ этомъ сердцѣ онъ не увидѣлъ «ни любви, ни религіи». Баронъ Корфъ недалеко отсталъ отъ своего директора: «Пушкинъ, говоритъ онъ, не былъ созданъ ни для свѣта, ни для общественныхъ обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви, или истинной дружбы. У него господствовали только двѣ стихіи: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія,— и въ обѣихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ отъявленномъ цинизмѣ по этой части. Злыя насмѣшки, часто въ самыхъ отвратительныхъ картинахъ, надъ всѣми религіозными вѣрованіями и обрядами, надъ уваженіемъ къ родителямъ, надъ родственными привязанностями, надъ всѣми отношеніями общественными и семейными — это было ему ни по чемъ, и, я не сомнѣваюсь, что для ѣдкаго слова онъ иногда говорилъ даже болѣе и хуже, нежели въ самомъ дѣлѣ думалъ и чувствовалъ» [1]). Эти заключительныя слова доказываютъ, что, при всей недоброжелательности къ Пушкину, баронъ Корфъ отнесся къ нему честнѣе и внимательнѣе, чѣмъ прославлен-

---

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 250.

ный педагогъ Энгельгардтъ, съ его безапелляціоннымъ приговоромъ. Да, Пушкинъ былъ лучше, чѣмъ выставлялъ себя въ обществѣ людей, противныхъ ему своимъ добродѣтельнымъ, «застегнутымъ на всѣ пуговицы» благочиніемъ, — имъ задорный «Сверчокъ-Искра» всегда бросалъ злой вызовъ, не щадя себя, поражая ихъ въ самое чувствительное, больное мѣсто ихъ— ограниченное пониманіе чувствъ «высшей любви и истинной дружбы»... Такъ, въ дѣтствѣ онъ протестовалъ противъ тѣхъ требованій условной свѣтской благопристойности, съ которыми шли къ нему родители и гувернантки съ гувернерами,—и всѣ они отвернулись отъ него, какъ отъ «несимпатичнаго», неисправимаго ребенка... Зато въ сердцѣ старой няни ребенокъ нашелъ то, что́ ему было надо—вѣчный, неизсякаемый источникъ простой, искренней, всепрощающей любви. Такъ позднѣе, въ лицеѣ Пущинъ и Дельвигъ, Жуковскій и Чаадаевъ встрѣтили его неугомонное сердце тою же сердечной пріязнью, на которую, «пустое и холодное» для многихъ, сердце юноши отозвалось горячимъ отвѣтомъ... Теперь 9-го іюня, съ лицейскимъ дипломомъ, онъ вступалъ въ свѣтъ, въ эту толпу, гдѣ царятъ эти «многіе», гдѣ «условность», «приличіе»—принципы толпы, связываютъ цѣпями всякую свободную личность, или давятъ ее и подчиняютъ себѣ, или, не справившись, выбрасываютъ за бортъ... Зная Пушкина, заранѣе можно было сказать, что́ здѣсь «въ свѣтѣ» его ожидало!

Но если для жизни лицей мало далъ Пушкину, то въ исторіи его литературнаго развитія онъ, несомнѣнно, сыгралъ огромную роль. Въ стѣны учеб-

наго заведенія Пушкинъ перенесъ свою страсть къ творчеству, проявившемуся еще въ дѣтствѣ. Своей страстью онъ заразилъ и нѣкоторыхъ своихъ лицейскихъ товарищей; благодаря этому, незамѣтно для себя и для другихъ, ему удалось окружить себя такой «атмосферой сочинительства», въ которой его творчество свободно развивалось, возбуждаемое и поощряемое доброжелательствомъ друзей. Около него образовался тѣсный кругъ молодыхъ поэтовъ, состоявшій изъ А. А. Дельвига, В. К. Кюхельбекера, Н. А. Корсакова [1]) и М. Л. Яковлева [2]); А. Д. Илличевскій, авторъ безчисленныхъ эпиграммъ, пародій и басенъ, держался нѣсколько въ сторонѣ отъ этого кружка,—его легкій даръ весь ушелъ на высмѣиваніе разныхъ случайностей лицейской жизни и не поднимался до серьезнаго служенія Музамъ. Въ тѣсномъ кругу своихъ товарищей-поэтовъ Пушкинъ, по праву, занялъ первое мѣсто.

Для «непосвященныхъ» эта «кружковщина» была слишкомъ замѣтна что дало поводъ Комовскому отмѣтить въ своей «запискѣ», что, «кромѣ любимыхъ разговоровъ своихъ о литературѣ и авторахъ съ тѣми товарищами, кои также писали стихи, какъ-то съ бар. Дельвигомъ, Илличевскимъ, Яковлевымъ и Кюхельбекеромъ..., Пушкинъ былъ вообще не очень сообщителенъ съ прочими своими товарищами» [3]). Иную

[1]) Соч. I, о немъ упоминаетъ Пушкинъ: «Пирующіе студенты», 33; «19 октября 1825 г.», 356; ему посвящено стихотвореніе: «Гробъ юноши», I, 250.

[2]) Соч. I, о немъ упоминаетъ Пушкинъ въ стихотвореніи: «Пирующіе студенты», 33; «Посланіе къ Галичу», 87.

[3]) *Я. Гротъ*, op. cit. 219.

окраску придаетъ этому факту бар. Корфъ: «между товарищами, пишетъ онъ, кромѣ тѣхъ, которые, писавъ сами стихи, искали его одобренія и протекціи— онъ не пользовался особенною пріязнью» [1]). Доля истины въ этомъ «зломъ» разсказѣ, конечно, есть,— самъ Пушкинъ въ своихъ «Отрывкахъ изъ лицейскихъ записокъ» говоритъ о своемъ «тщеславіи» [2])— ему тщеславиться было чѣмъ: для товарищей его не было тайной, что Карамзинъ, Жуковскій, А. И. Тургеневъ, В. Л. Пушкинъ, лица всѣмъ извѣстныя, признали въ этомъ ученикѣ лицея крупную, нарождающуюся силу. Ничего нѣтъ мудренаго, что юные лицейскіе литераторы гордились дружбой Пушкина, а ему, съ его «тщеславіемъ», это нравилось. Такая ранняя удача кружила голову юношѣ; она пріучила его «рано любить рукоплесканья» и, ради нихъ, тратить свой «божественный даръ» «безъ вниманья»[3])...

«Эпиграммы Пушкина, уже тогда начинавшія ходить по рукамъ, доставляли ему ту дешевую извѣстность, которую онъ предпочиталъ болѣе дѣльному отличію на поприщѣ науки: каждый хотѣлъ знать эпиграмму его на другого. Люди постарше сверстниковъ боялись его ударовъ и направляли ихъ втайнѣ... Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ написалъ нѣсколько легкихъ посланій, нѣсколько подражаній французскимъ поэтамъ, которыя помѣщены были въ рукописныхъ журналахъ, издававшихся въ самомъ лицеѣ. Журналы эти совершенно утеряны,

---

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit. 249.

[2]) Соч. IV, 2. Славу онъ самъ называетъ «волшебницей лукавой, которая весь міръ вертитъ» («Посланіе къ Юдину». I, 99, еще 88—47.

[3]) Соч. I, 359.

и только названія ихъ сохранились въ памяти старыхъ лицейскихъ воспитанниковъ,—это были «Лицейскій Мудрецъ», «Для удовольствія и пользы», «Неопытное перо», «Пловцы»...

«Вообще наклонность къ литературѣ составляла характеристическую черту лицейскаго воспитанія. Между прочимъ, воспитанники выдумали довольно замысловатую игру. Составивъ одинъ общій кружокъ, они обязывали каждаго или разсказать повѣсть, или, по крайней мѣрѣ, начать ее. Въ послѣднемъ случаѣ, слѣдующій за разсказчикомъ принималъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она остановилась, другой развивалъ ее, далѣе, третій вводилъ новыя подробности и такъ до окончанія, которое «иногда нескоро являлось». Пушкинъ неразъ прибѣгалъ къ «хитростямъ»: онъ однажды изложилъ изумленнымъ и восхищеннымъ своимъ слушателямъ исторію «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ», умолчавъ объ источникѣ, откуда почерпнулъ ее. Между тѣмъ, при такомъ же случаѣ, онъ еще, въ грубыхъ чертахъ, разумѣется, передалъ и двѣ повѣсти, имъ самимъ придуманныя: *Метель* и *Выстрѣлъ*, которыя позднѣе явились въ повѣстяхъ Бѣлкина» [1]).

---

[1]) *П. Анненковъ*, Матеріалы, 18. О значеніи Пушкина въ дѣлѣ литературнаго развитія его товарищей свидѣтельствуютъ, между прочимъ, слова его товарища Илличевскаго въ письмѣ къ Фуссу: «что касается до моихъ стихотворческихъ занятій, я въ нихъ успѣлъ чрезвычайно, имѣя товарищемъ одного молодого человѣка, который, живши между лучшими стихотворцами, пріобрѣлъ много въ поэзіи знаній и вкуса», (*Я. Гротъ*, op. cit. *Илличевскій* «Письма къ Фуссу», 56 — 7). Товарищи-литераторы еще въ стѣнахъ лицея съ большой надеждой смотрѣли на Пушкина: «Дай Богъ ему успѣха, писалъ тотъ же Илличевскій Фуссу,—лучи славы его будутъ отсвѣчиваться и въ его товарищахъ». (Тамъ же, 67).

Его стихи, за этотъ періодъ времени, пестры и разнообразны по настроенію и содержанію. Между ними было много такихъ, которые, очевидно, созданы были подъ вліяніемъ «среды» товарищей-лицеистовъ и лихихъ царскосельскихъ гусаровъ, но были и такіе, которые отвѣчали возвышеннымъ настроеніямъ Жуковскаго... Такое «противорѣчіе» поэтическихъ мотивовъ произошло не потому, что Пушкинъ «поддѣлывался» подъ вкусы своихъ различныхъ друзей—нѣтъ, онъ самъ жилъ уже тогда самыми разнообразными интересами и настроеніями.

Пушкинъ въ лицеѣ писалъ и повѣсти, и драмы, но изъ всѣхъ своихъ лицейскихъ произведеній онъ сохранилъ только лирическія, — очевидно, потому, что ими онъ больше всего дорожилъ. Любопытно, что въ нихъ уже ясно опредѣлилась основная черта пушкинской поэзіи — *чуткая отзывчивость къ* различнымъ *впечатлѣніямъ дѣйствительной жизни*.

Мы видѣли уже, что изъ отчаго дома, изъ любимыхъ отцовскихъ книгъ, изъ первыхъ подражаній творчеству дяди и отца вынесъ Пушкинъ, еще ребенкомъ, любовь къ «легкой поэзіи» французовъ. Парни, Грекуръ, Шолье и другіе подобные писатели, — его любимцы съ отроческихъ лѣтъ; ихъ, по свидѣтельству многихъ современниковъ, зналъ онъ «наизусть», вступая еще въ лицей [1]); ихъ «тлетворному» вліянію многіе, знавшіе Пушкина, придавали большое значеніе

---

[1]) «Пушкинъ не только зналъ на память всѣ лучшія творенія французскихъ поэтовъ, но даже самъ писалъ довольно хорошо стихи на этомъ языкѣ» (*Я. Гротъ*, op. cit. *Комовскій*, «Записки» 219).

въ образованіи его характера [1]). Конечно, такое мнѣніе грѣшитъ односторонностью, но, отчасти, оно справедливо: юношеское творчество Пушкина доказало, насколько сильно подчиненъ былъ онъ тѣмъ игривымъ и граціознымъ образамъ, которыми жила эта поэзія. Она дышала сладострастіемъ и нѣгою, прекрасное было въ ней прикрыто легкимъ покровомъ цинизма и манило къ себѣ воображеніе преднамѣренно-наивной прелестью безстыдства. Подъ живымъ впечатлѣніемъ такихъ настроеній созданы Пушкинымъ многія произведенія, въ которыхъ устанавливается и соотвѣтствующій взглядъ на поэзію и на смыслъ всей жизни. Въ роскошныхъ утѣхахъ наслажденія юноша готовъ былъ увидѣть единственную цѣль и смыслъ жизни. Она казалась ему роскошнымъ садомъ, гдѣ не переводятся цвѣты, увядаетъ одинъ, расцвѣтаетъ другой... Хлои смѣняются Доридами, любовь—виномъ... Юноша-поэтъ, окрыляемый фантазіей, очутился въ роскошномъ хороводѣ красавицъ, въ кругу друзей, гдѣ царятъ тонкія анакреонтическія настроенія. Отуманенный этой оранжерейной атмосферой, не имѣвшей ничего общаго съ дѣйствительностью, онъ пѣлъ восторженную пѣснь безмятежному эпикуреизму [2])... Конечно, эта жизнь« въ поэзіи» преду-

---

[1]) «Нѣжныя и юношескія чувства унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всѣми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ, при поступленіи въ лицей, зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрѣтеніе первоначальнаго воспитанія». («Современникъ» 1863 г., № VIII, 376).

[2]) Вѣроятно, это и была та философская система, которая въ то время Пушкину казалась единственно-справедливой. Можно думать, что

предила дѣйствительность: богиня-Фантазія украсила ему міръ [1]),—и тѣ развлеченія, въ сущности, довольно

въ смыслѣ эпикуреизма онъ рѣшалъ для себя важнѣйшіе вопросы религіи, нравственности и жизни. Въ программѣ его «записокъ» стоятъ слова: «философскія мысли»; онъ писалъ «философскую» повѣсть: «Фатама, или разумъ человѣческій». Илличевскій сообщилъ Фуссу, что «Пушкинъ пишетъ комедію—«философъ» (*Я. Гротъ*, op. cit). Содержаніе повѣсти изложено у Анненкова въ «Матеріалахъ» стр. 22. «Философствованіе было модой въ лицеѣ. Но сущности господствовавшихъ между лицеистами ученій и созерцаній мы всетаки хорошенько не знаемъ. Мы можемъ только догадываться объ этомъ по тому обстоятельству, что въ лицеѣ существовали на школьныхъ скамейкахъ французскіе сенсуалисты, нѣмецкіе мистики, деисты, атеисты и пр. Достовѣрно также, что вся эта работа молодой мысли, на собственный, такъ сказать, коштъ, не укрѣпила ни одной головы и не составила никому твердаго жизненнаго основанія: все это было забыто и сброшено съ себя вмѣстѣ съ мундиромъ». (*П. Анненковъ*, Пушкинъ, 48—9.

[1]) «Фантазія, тобою
Одной я награжденъ!
Тобою пренесенный
Къ волшебный Иппокренѣ
И въ кельѣ я блаженъ!
Что̀ было бы со мною
Богиня, безъ тебя? (Соч. I, 7; еще: I, 48—9).

Къ Музѣ и «*мечтанью*» онъ обращается съ просьбой.

«Плѣняйте умъ обманомъ,
И милой жизни свѣтлу даль
Кажите за туманомъ!» (I, 82).

Себя онъ называетъ «невольникомъ *мечты* младой» («Посланіе къ Юдину» I., 97). «*Мечта*—младыхъ пѣвцовъ удѣлъ» (тамъ же, 102). Въ *мечтахъ* онъ обладалъ всѣми радостями земными» (тамъ же, 102): «Поэтъ, въ твоей предметы волѣ!»—восклицаетъ онъ въ посланіи «Къ Батюшкову» (I, 35); «судьбы всемощнѣе поэтъ» (тамъ же). Тогда онъ жилъ «обманомъ» «и счастья тѣнь, забывшись, обнималъ» (I, 130) Тѣмъ тягостнѣе бывало для него пробужденіе («Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость?» I, 152); еще: 168). Его тянуло туда, дальше отъ дѣйствительности, «гдѣ міръ, одной *мечтѣ* послушный» («Окно» I, 145). О своей «фантазіи», «мечтахъ», «воображеніи» говоритъ поэтъ еще: I, 5, 25, 48, 81, 93, 97, 99, 101, 133, 135—6.

прозаическія, которыми подарила его жизнь въ лицеѣ, приподнялись до поэтическихъ высотъ, удостоились такой идеализаціи, изъ-за которой трудно разсмотрѣть дѣйствительность...

Въ этомъ искусственно-созданномъ мірѣ мечты готовъ былъ онъ увидѣть особую «мудрость«; ее усмотрѣлъ онъ также и у своихъ друзей-единомышленниковъ [1]). «Юноша-мудрецъ» [2]), «апостолъ мудрой вѣры Анакреоновъ и Нинонъ» [3]), «лѣнивый философъ» [4]), «питомецъ нѣгъ» «добрый пѣвецъ» [5]), «поэтъ сладострастья» [6]), «нѣги сынъ» [7]) и Аполлона [8]), какъ онъ себя именуетъ, расточалъ охотно наставленія, въ родѣ слѣдующихъ: «наслаждайся, наслаждайся! чаще кубокъ наливай, страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай!» [9]), «любви нѣтъ болѣ счастья въ мірѣ» [10]), «безъ вина здѣсь нѣтъ веселья, нѣтъ и счастья безъ любви» [11]), ловить «рѣзвое счастье» [12]), расточать безъ боязни «жизни дни златые» [13]), «играть» [14]), забывая мірскія печали [15]),

---

[1]) Соч. I, «Посланіе къ Галичу» 84, «Посланіе къ Ив. Ив. Пущену» 76, еще: 93.

[2]) Соч. I, «Мое завѣщаніе» 94.

[3]) «Посланіе Лидѣ» I, 122.

[4]) «Городокъ» I. 41.

[5]) Соч. I, 75. «Къ Ив. Ив. Пущину».

[6]) Соч. I, 84. «Посланіе къ Галичу».

[7]) Соч. I, 90. «Къ Дельвигу».

[8]) Соч. I, 94. «Мое завѣщаніе».

[9]) Соч. I, «Гробъ Анакреона».

[10]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 35.

[11]) Соч. I, «Блаженство» 30.

[12]) Соч. I. «Гробъ Анакреона» 97.

[13]) Соч. I, «Посланіе къ Галичу» 88.

[14]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 37.

[15]) Тамъ же.

искать истины «на днѣ бокала» [1],—вотъ, что совѣтовалъ друзьямъ юный «парнасскій волокита» [2], «счастливый лѣнивецъ» [3], и «нѣжный любимецъ Харитъ» [4], «рѣзвый поэтъ» [5], «невольникъ мечты молодой» [6]... Этотъ «безпечный Пиндa посѣтитель» [7] легко смотрѣлъ на свою поэзію: муза его—«вакханочка» [8], его цѣвница—«мечтаній сладостныхъ пѣвица» [9], его посланія «летучія» [10], стихи его «вѣтренные» [11]. Веселиться—его законъ» [12], онъ «только съ музой *нѣжится* младой» [13], своимъ произведеніямъ не придаетъ особаго значенія; они—«плоды» веселаго досуга: «не для безсмертья рождены, для самого себя, для друга да для Темиры молодой» [14]; «они создавались» «среди пріятныхъ забвеній» [15]... Онъ самъ охотно указалъ намъ, откуда шли эти настроенія—онъ себя въ одномъ стихотвореніи прямо назвалъ «небрежнымъ наслѣдникомъ» [16] поэзіи Лафора, Шолье и Парни. Эти «враги труда, заботъ, печали» [17],

[1]) Соч. I, «Истина» 126.
[2]) Соч. I, «Пирующіе студенты» 32.
[3]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 34.
[4]) Тамъ же. Собственно такъ называетъ Пушкинъ Батюшкова,—но и къ нему примѣнимы эти эпитеты.
[5]) Соч. I, «Посланіе къ Юдину» 97.
[6]) Тамъ же.
[7]) Соч. I, «Моему Аристарху» 108.
[8]) Соч. I, «Моему Аристарху» 166.
[9]) Соч. I, «Мое завѣщаніе» 93.
[10]) Соч. «Моему Аристарху» 107.
[11]) Тамъ же 106.
[12]) (Опытность) I, 28.
[13]) Соч. I, «Моему Аристарху», 108.
[14]) Соч. I «Моему Аристарху», 106.
[15]) Тамъ же.
[16]) Соч. I, «Моему Аристарху», 109.
[17]) Тамъ же.

«сыны безпечности лѣнивой» были ему «любезны» [1]), «Муза праздности счастливой вѣнчала ихъ», «веселыхъ грацій перстъ игривый» «оживлялъ ихъ младыя лиры» [2]), и нашъ молодой поэтъ, увлекаемый ими, «крался вслѣдъ» за ними, покоренный ихъ легковѣсной славой [3]). Въ стихотвореніи: «Моему Аристарху» онъ протестовалъ противъ поползновеній Кошанскаго привлечь его къ серьезному творчеству; въ стихотвореніи «Къ Батюшкову» онъ такъ же энергично настаивалъ, что его назначеніе «дудить на дудкѣ» «веселаго Эрмія» [4]), что «пѣть при звукахъ лиры войны кровавый пиръ», слѣдуя Марону — не его удѣлъ [5]), что онъ только «крестникъ Тибулла» [6]), поклонникъ Анакреона... Онъ готовъ былъ даже бравировать своимъ презрительнымъ отношеніемъ къ «разсудку»: «разсудокъ! Богъ съ тобой» [7])—восклицаетъ онъ не безъ удали. Пренебрежительно относится онъ къ тѣмъ «философамъ», которые иначе, чѣмъ онъ, смотрѣли на міръ:

...Подъ столъ холодныхъ мудрецовъ! [8]).
...Дороже мнѣ хорошій ужинъ
Философовъ трехъ цѣлыхъ дюжинъ [9]).

Но, конечно, это былъ самообманъ. Уже въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ доказалъ, что не только беззаботныя «пѣсни пастуховъ», но и «гро-

---

[1]) Тамъ же, 109. [2]) Тамъ же 109. [3]) Тамъ же. О вліяніи этихъ писателей на Пушкина см. цѣнныя указанія *Л. Майкова* въ примѣчаніяхъ къ I-му тому академическ. изданія сочиненій Пушкина. [4]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 77. [5]) Тамъ же 178. [6]) Соч. I. «Къ Батюшкову» 77. [7]) Соч. I, «Пирующіе студенты», 33. «Любовь одна. 150. [8]) Тамъ же 31. [9]) Соч. I. «Посланіе Лидѣ» 123.

хотъ громовъ» находилъ могучій отзвукъ на его лирѣ. Эпоха 1812-го года даже съ лиры Жуковскаго сорвала нѣсколько сильныхъ, воинственныхъ аккордовъ—тѣмъ понятнѣе, что общее возбужденіе должно было сильно отразиться на впечатлительномъ и разностороннемъ сердцѣ Пушкина, — и легкомысленный «пѣвецъ любви и вина» иногда чувствовалъ себя во власти тѣхъ сильныхъ настроеній, которыя облекались въ величавые державинскіе образы языкъ, и стихъ.

Время было чреватое великими событіями... Разразилась гроза 1812-го года [1]), и великая, героическая эпопея развернулась передъ глазами лицеистовъ,—

«Чему, чему свидѣтели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метался смущенные народы
И высились, и падали цари!
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари [2]).

---

[1]) «Эти событія сильно отразились на нашемъ дѣтствѣ. Началось съ того, что мы провожали всѣ гвардейскіе полки, потому что они проходили мимо самаго лицея; мы всегда были тутъ, при ихъ появленіи, выходили даже во время классовъ, напутствовали воиновъ сердечной молитвой, обнимались съ родными и знакомыми; усатые гренадеры изъ рядовъ благословляли насъ крестомъ. Не одна слеза тутъ пролита!» Когда начались военныя дѣйствія, всякое воскресенье кто-нибудь изъ родныхъ привозилъ реляціи; Кошанскій читалъ ихъ намъ громогласно въ залѣ. Газетная комната никогда не была пуста: въ часы, свободные отъ классовъ, читались наперерывъ русскіе и иностранные журналы, при несмолкаемыхъ толкахъ и преніяхъ; всему живо сочувствовалось у насъ: опасенія смѣнялись восторгами при малѣйшемъ проблескѣ къ лучшему. Профессора приходили къ намъ и научили насъ слѣдить за ходомъ дѣлъ и событій, объясняя иное, намъ недоступное». *И. Пущинъ.* «Записки о Пушкинѣ» (*Л. Майковъ*, Пушкинъ 53—4).

[2]) Соч. II, «19 октября» 1836, 192.

они переживали въ своихъ юныхъ сердцахъ такія великія событія, какъ Бородинскій бой, пожаръ Москвы, взятіе Парижа; они, наконецъ, встрѣчали побѣдоносную русскую армію и «спасителя Европы» Александра [1])... Эти потрясающія впечатлѣнія дали тонъ тѣмъ величественнымъ гимнамъ, которыми отозвался Пушкинъ на великія событія эпохи. «Душой восторженной» юноша летѣлъ къ «сынамъ Бородина», къ «Кульмскимъ героямъ» [2]). Императоръ Александръ стоялъ передъ нимъ въ ореолѣ славы и счастья: онъ — «божество Россіи», «величественный и безсмертный», «царь-спаситель», «грозный ангелъ» [3]) — а передъ нимъ благодарная, колѣнопреклоненная Европа [4]) и счастливый русскій поселянинъ, въ слезахъ «благословляющій добраго царя» [5]), — вотъ, какимъ въ 1812 году рисовался поэту императоръ Александръ...

Образъ Наполеона, напротивъ того, рисовался въ мрачныхъ краскахъ «тирана» [6]) «губителя» [7]), «свирѣпаго мятежника» [8]), «хищника», [9]) «презрѣвшаго правды гласъ, и вѣру, и законъ» [10])... Подъ веселую руку, поэтъ готовъ былъ найти въ Наполеонѣ сходство съ Додономъ «слабоумнымъ» [11])... Борьба двухъ колоссовъ, свѣтозарнаго и мрачнаго,—въ такихъ гран-

---

[1]) Этимъ впечатлѣніямъ посвящены слѣдующія стихотворенія: «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ». Соч. I, 53. «Наполеонъ на Эльбѣ». Соч. I, 68. «На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1811 году». Соч. I, 103. [2]) Соч. «На возвращеніе». 104. [3]) Соч. I. «Бова» 63. [4]) Тамъ же 104. [5]) Тамъ же 105. [6]) Соч. I. «Воспоминанія въ Ц. С. 55. [7]) Соч. «Наполеонъ на Эльбѣ», 69 «На возвращеніе» 103. [8]) Тамъ же. [9]) Тамъ же. [10]) Соч. I, «Воспоминанія въ Ц. С.». [11]) Соч. I, «Бова» 63.

діозныхъ образахъ воплотилась, въ его глазахъ, борьба Александра съ Наполеономъ...

Не менѣе возвышенны были настроенія Пушкина, когда воспоминанія, связанныя съ «прекрасными царскосельскими садами» [1]), — этимъ «полнощнымъ Элизіумомъ» [2]), витали надъ нимъ, пробуждая въ его юной душѣ великолѣпные образы «еще недавней старины» [3]). «Здѣсь каждый шагъ въ душѣ рождаетъ воспоминанья прежнихъ лѣтъ» [4]), говоритъ онъ, «Времена златыя» изъ славной эпохи «великой жены» [5]) оживали передъ его очами и въ «тихое восхищенье» [6]) погружали его встревоженный, ясновидящій духъ... То былъ «громкій вѣкъ военныхъ споровъ, свидѣтель славы россіянъ» [7]), связанный съ именами Орлова, Румянцева, Суворова, прославленный громозвучными пѣснопѣніями Державина и Петрова [8])...

Если, такимъ образомъ, и на лирѣ Пушкина нашлись струны для «величественныхъ гимновъ», то, все-таки, онъ былъ правъ, утверждая, что играть на нихъ онъ могъ только тогда, когда соотвѣтствующія настроенія могли поднять его творчество до титаническихъ образовъ державинской поэзіи, но «съ дерзостнымъ

---

[1]) См. статью «*И. Ѳ. Анненскаго*: Пушкинъ и Царское Село Спб. 1899.

[2]) «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» I, 53; «Воспоминаньемъ упоенный» I, 213; «Воспоминаніе въ Царскомъ селѣ» II, 75.

[3]) Соч. I, «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» 54.

[4]) Тамъ же.

[5]) Тамъ же; еще: «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» (1829 г.)—76.

[6]) Тамъ же 54.

[7]) Тамъ же.

[8]) Тамъ же 55.

Икаромъ» онъ не могъ долго летать [1])—онъ чувствовалъ, что у него былъ малъ запасъ героическаго «паѳоса»:

«Мой духъ восторгомъ не горитъ!
О, если бъ Аполлонъ пiитовъ даръ чудесный
Вліялъ мнѣ нынѣ въ грудь!» [2])...
«Пускай пѣвцы гремящими хвалами полубогамъ
безсмертіе даютъ—
Мой голосъ тихъ, и звучными струнами
не оглашу безмолвія пріютъ! [3]).

Вотъ почему эти попытки «парить» во слѣдъ Державину остались въ его творчествѣ одиночными,—онѣ затерялись въ массѣ гимновъ въ честь легкокрылой любви и вина... Но и эта лучезарная поэзія омрачилась и изсякла, когда на него налетѣли новыя настроенія, когда его сердца коснулась своимъ крыломъ чистая любовь... Правда, она легкой тѣнью проносится уже въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ его: еще въ стихотвореніяхъ 1812-го года онъ воспѣвалъ какую-то «гордую Елену», которой не могли замѣнить смѣнявшія ее въ сердцѣ поэта, разныя Хлои, Темиры и Лилы [4]); но эта «чистая любовь» мальчика еще слишкомъ слабо затронула его «дѣтское» сердце. Быть можетъ, потому, что эта любовь была еще не настоящимъ чувствомъ, а, скорѣе, его «предчувствіемъ», его «исканіемъ»... Она нѣсколько разъ

---

[1]) Соч. I, «Къ Батюшкову» 78.

[2]) Соч. I, «Воспоминаніе въ Царск. Селѣ» 57.

[3]) Соч. I, «Сонъ» 139.

[4]) Соч. I, «Измѣны» 3—4 П. О. Морозовъ, со словъ бар. Корфа, относитъ это стихотвореніе къ графинѣ Натальѣ Викторовнѣ Кочубей,—не вѣроятнѣе ли отнести его къ сестрѣ кн. Горчакова, которой онъ и позднѣе посвятилъ два стихотворенія: «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» (I, 22) и «Stances» (23)?

воскресала въ немъ, съ годами пріобрѣтая воплощенія все болѣе ясныя и, наконецъ, въ 1816-омъ году она влилась въ его обычныя настроенія совершенно новою, облагораживающею струею, отозвавшись въ его творчествѣ *первой элегіей* [1]). «Я зналъ любовь, восклицаетъ поэтъ, но я не зналъ надежды; страдалъ одинъ, въ безмолвіи любилъ» [2])... Первая сердечная неудача внесла грусть въ жизнерадостныя, безмятежныя настроенія поэта: ему стало сдаваться, «что на жизненномъ пиру» онъ будетъ «гость угрюмый» [3]). Эта любовь, (какъ говорятъ къ Бакуниной, сестрѣ его лицейскаго товарища)—быть можетъ, и искусственно приподнятая и вздутая, освѣтила новымъ свѣтомъ тѣ образы, которые еще недавно шептали поэту, что онъ «мудрецъ», что наслажденье — единственное счастье. Теперь все это показалось ему «обманомъ»; по его словамъ, онъ «счастливъ былъ, не понимая счастья» [4]); воспѣвая любовь, тогда онъ «мало и любовь, и сердце зналъ» [5])...

Когда судьба заставила его познать эти новыя чувства, онъ увидалъ пропасть, отдѣлявшую его новое чистое чувство отъ первоначальной вѣры въ беззаботный эпикуреизмъ. Немудрено, что пріунылъ и онъ самъ, пріуныла и лира, наперсница его «больной души» [6])... Несчастная любовь отравила его юную радость, и когда онъ, «весельемъ позванный въ толпу друзей» [7]), хотѣлъ на прежній ладъ настроить рѣзвую лиру, хотѣлъ «воспѣть прелестницъ

---

[1]) Соч. I, «Посланіе къ кн. Горчакову» 130. [2]) Тамъ же 131. [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же. [5]) Соч. I, «Разлука» 141. [6]) Соч. I, «Унынiе» 142. [7]) Соч. I, «Элегія» («Я думалъ...»), 143.

молодыхъ, «Веселье, Вакха и Дельфиру»,—рука уже не послушалась его, и прежнихъ безпечныхъ пѣсенъ не нашлось у него [1])...

Прежнія радости стали казаться ему теперь ничтожными. Новая любовь поманила его; она «златыя крылья развивая, волшебной, нѣжной красотой явилась» [2])... и улетѣла, — онъ «цѣли милой не достигъ» [3]). Здѣсь, въ этомъ печальномъ сознаніи, что прекрасныя мечты не сбылись, источникъ того унынія, которое отозвалось въ его творчествѣ длиннымъ рядомъ трогательныхъ «элегій»[4]). Прежнее веселье въ обществѣ друзей было нарушено,—«одной слезы» оказалось достаточнымъ, чтобы отравить бокалъ [5]).

---

[1]) Соч. I, 143. Объ этой любви Пушкинъ въ запискахъ разсказываетъ сначала стихами:

«И такъ я счастливъ былъ, и такъ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!..
И гдѣ веселья быстрый день?
Промчались летомъ сновидѣнья,
Увяла прелесть наслажденья
И снова вкругъ меня угрюмой скуки тѣнь!..

«Я счастливъ былъ! нѣтъ—продолжаетъ онъ прозой: «я вчера не былъ счастливъ; поутру я мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненіемъ стоя подъ окошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную дорогу—ея не видно было! Наконецъ, я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно встрѣчаюсь съ нею на лѣстницѣ... Сладкая минута!

«Какъ она мила была! какъ черное платье пристало къ милой «Б... Я былъ счастливъ 5 минутъ» (*П. Анненковъ.* Матеріалы 23—4).

[2]) Соч. I, «Наслажденіе» 144.

[3]) Тамъ же 144.

[4]) Въ цѣломъ рядѣ, смежныхъ по времени, произведеній говоритъ онъ объ этомъ новомъ чувствѣ, озарившемъ его душу: «Наѣздники» I, 127, «Желаніе» I, 139, «Осеннее утро» I, 141, «Разлука» I, 141, «Элегія» I, 142, «Элегія» («Счастливъ кто») I, 44, «Наслажденіе» I, 144, «Окно» I, 145 и др.

[5]) Соч. I, 148.

Вотъ почему открещивается онъ теперь и отъ Тибулла, и отъ Парни [1]); его душѣ наскучили «парнасскія забавы» [2]). «Уснувъ межъ розами, на тернахъ», онъ проснулся [3]), и это пробужденіе было такъ горько, что онъ, сгоряча, на всей своей лицейской поэзіи поставилъ крестъ; онъ призналъ въ твореньяхъ этой эпохи фальшь, неправду... Онъ замѣтилъ, что его безоблачная философія была однимъ сплошнымъ «обманомъ». Теперь онъ признается:

«Игрушкою себя невинной веселилъ...
Угодникъ Бахуса, я, трезвый межъ друзьями,
Бывало, пѣлъ вино водяными стихами;
Мечтательныхъ Доридъ и славилъ, и бранилъ,
Иль дружбѣ плелъ вѣнокъ—и дружество зѣвало
И сонные стихи въ просонкахъ величало [4]).

Это открытіе было для юнаго поэта такъ значительно, что сначала онъ готовъ былъ отказаться отъ всего своего бытія, — ему даже стала мерещиться «смерть», какъ единственный исходъ его сердечной тоски: «я видѣлъ смерть; она безмолвно сѣла у мирнаго порога моего!»[5])—восклицаетъ онъ. Потерявъ надежду на взаимность, онъ готовъ проститься съ «жизнью горестной» [6]) и мечтаетъ лишь о томъ, чтобы дорогая ему женщина, узнавъ объ его смерти, пришла на его могилу «вздохнуть надъ урной гробовой»[7]). Любопытно, что

[1]) Тамъ же 152.
[2]) Соч. I. «А. А Шишкову» 154.
[3]) Тамъ же, 155.
[4]) Тамъ же, 155,
[5]) Тамъ же 154—5.
[6]) Соч. I. «Подражаніе» 151.
[7]) Тамъ же, 151.

эта неудавшаяся любовь, оторвавъ его отъ поэзіи Парни и К⁰, бросила его въ другую крайность: поработила его сентиментально-романтическимъ мотивамъ музы Жуковскаго. Напримѣръ, стихотвореніе его «Пѣвецъ» до такой степени близко, по содержанію и по настроенію, къ творчеству Жуковскаго, что кажется будто написано имъ.

Но какъ ни глубоки были эти новыя ощущенія, нашъ юноша-поэтъ всетаки не могъ долго жить ими одними. Это было не въ его характерѣ,—и вотъ, вперемежку между этими тоскливыми пѣснями, онъ, улыбаясь сквозь слезы, обмолвился посланіемъ къ горничной Наташѣ [1]), нѣсколькими эпиграммами [2]), и, подъ конецъ, страстнымъ посланіемъ къ какой-то молодой вдовѣ [3]).

Но въ этой непостоянности его настроеній только выразилась правда и свобода его души и творчества,—онъ не лицемѣрилъ передъ собой и другими, — онъ пѣлъ то, что̀ чувствовалъ, никогда не насилуя своего творчества,—оттого еще на лицейской скамьѣ поэзія сдѣлалась «эхомъ» его сердца. Пусть это сердце еще не находило своей настоящей жизни, пусть эта тоска лучезарная была, въ значительной степени, чувствомъ приподнятымъ и идеализированнымъ въ такой же мѣрѣ, какъ и его недавній эпикуреизмъ,—она, всетаки, была искренней, такъ какъ отражала дѣйствительно-пережитыя муки.

Но и этими мотивами еще не исчерпывается сумма

---

[1]) Соч. I. «Къ Наташѣ», 139.
[2]) Соч. I, 158—161.
[3]) Соч. I, 162.

тѣхъ пестрыхъ настроеній, которыя въ это время были уже знакомы его музѣ. Уже теперь, въ лицейскій періодъ его жизни, ясно намѣчается въ его творчествѣ еще одно направленіе, — то, которому суждено было сдѣлаться основнымъ и характернымъ для всей послѣдующей его литературной дѣятельности—это удивительно-тонкое умѣніе найти поэзію въ будничной, повидимому, сѣрой, житейской прозѣ, умѣніе прочувствовать ту «поэзію дѣйствительности», за которую справедливо Пушкина называютъ «поэтомъ земли». Онъ рано ощутилъ неясное влеченіе къ этой землѣ, рано сумѣлъ любовными глазами посмотрѣть на нее и найти въ ней тонкую и своеобразную прелесть, которая ускользнула отъ взора его предшественниковъ... Правда, и Державинъ, и Батюшковъ пытались соединить ложноклассическій эпикуреизмъ и гораціанское наслажденіе жизнью съ мирной обстановкой русской деревни, но у нихъ это сліяніе не было органическимъ,—въ тихой деревнѣ они были гостями-иностранцами, принесшими съ собою свой духовный міръ, но никогда не вникавшими въ дѣйствительныя настроенія русской жизни, русской природы... Пушкинъ же еще въ одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній: «Городокъ», [1]) сумѣлъ слить себя цѣликомъ съ святой тишиной русскаго захолустья: «веселый садъ», съ старыми липами, съ цвѣтущей черемухой и березовыми аллеями, маленькій домикъ, «въ три комнаты», полная тишина, прерываемая лишь скрипомъ телѣгъ,—вотъ, тихій пейзажъ русской дѣйствительности. Таковы же и люди, живущіе

[1]) Соч. I. «Городокъ». 40.

въ этой обстановкѣ, таковъ и нашъ поэтъ, который легко и свободно сливается съ этой жизнью:

«Оставя книгъ ученье,
Въ досужный мнѣ часокъ
У добренькой старушки
Душистый пью чаекъ.
Не подхожу я къ ручкѣ,
Не шаркаю предъ ней,
Она не присѣдаетъ,
Но тотчасъ же вѣстей
Мнѣ пропасть наболтаетъ...

Старушка знаетъ все про сосѣдей,—

«Кто умеръ, кто влюбленъ,
Кого жена по модѣ
Рогами убрала [1]).

Она все это разскажетъ охотно собесѣднику, сообщитъ ему и о томъ, что—

«Капуста цвѣтъ дала;
Ѳома свою хозяйку
Ни за что наказалъ,
Антошка балалайку,
Играя, разломалъ [2]).

Подстать этой старушкѣ и добродушный сосѣдъ-инвалидъ, охотно повѣствующій о славныхъ дняхъ своей боевой юности... Въ посланіи «къ Юдину» [3]) опять мы встрѣчаемся съ картинкой изъ русской дѣйствительности. Въ угарѣ житейской суеты свѣтлымъ и мирнымъ миражемъ рисовалось передъ Пушкинымъ его Захарово,—оно

«Съ заборами—въ рѣкѣ волнистой—
Съ мостомъ и рощею тѣнистой
Зерцаломъ водъ отражено.
На холмѣ домикъ мой...

[1]) Соч. I. «Городокъ», 49.
[2]) Тамъ же, 50.
[3]) Соч. I, 97.

Домикъ окруженъ темнымъ рядомъ «старыхъ кленовъ» и шумящихъ «тополей» [1]). Безмятежный миръ и глубокая тишина кругомъ...

«Но вотъ ужъ полдень. Въ свѣтлой залѣ
Весельемъ круглый столъ накрытъ.
Хлѣбъ-соль на чистомъ покрывалѣ,
Дымятся щи, вино въ бокалѣ
И щука въ скатерти лежитъ...
Сосѣди шумною толпою
Взошли, прервали тишину. [2]).

Въ стихотвореніи «Сонъ» [3]) опять передъ нами чисто-деревенскій пейзажъ:

«Друзья мои, какъ утро здѣсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубравъ,
Какъ юный день сіяетъ гордо, ясно!..
Свѣтлѣетъ все: другъ друга перегнавъ,
Журчатъ ручьи, блестятъ брега безмолвны;
Еще роса надъ свѣжей муравой,
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны... [4]).

Когда же ненастною и позднею порой, при угасающемъ свѣтѣ зимняго дня, поэту приходилось сидѣть «безъ свѣчки въ кабинетѣ», и, часъ отъ часу, темнѣлъ свѣтъ оконъ,—тогда неясное, тревожное настроеніе овладѣвало имъ, и чудилось ему, что «на сумрачномъ потолкѣ какой-то призракъ бродитъ» [5]),—и онъ вспоминалъ о такихъ же неясныхъ, тревожныхъ настроеніяхъ, которыя знакомы были ему еще съ дѣтскихъ лѣтъ, когда старая мамушка шопотомъ разсказывала ему «о мертвецахъ, о подвигахъ Бовы» [6])...

И мирная русская природа, и добродушная болтливая старушка-сосѣдка, и друзья-помѣщики, и милая старая «мамушка»,—все это, вмѣстѣ взятое, предста-

[1]) Тамъ же, 98. [2]) Тамъ же, 99. [3]) Соч. I, 132. [4]) Тамъ же, 134. [5]) Тамъ же, 135. [6]) Тамъ же, 136.

вляетъ собою цѣлую симфонію новыхъ поэтическихъ настроеній, еще невѣдомыхъ русской поэзіи [1]). Здѣсь—первые намеки, указующіе тотъ путь, на который поэтъ вступитъ вскорѣ рѣшительно и сознательно; здѣсь—первое появленіе его геніальной самостоятельности, которая пробилась-таки, хотя и слабой струей, сквозь длинный рядъ подражаній самымъ разнообразнымъ писателямъ,—иностраннымъ и русскимъ...

Вотъ почему пѣвцу «земли», пѣвцу земныхъ радостей и земныхъ печалей всегда претило высокопарное творчество ложноклассиковъ-одописцевъ,—этихъ «ретивыхъ» сочинителей «холодныхъ одъ» [2]),—этихъ «придворныхъ философовъ», восхваляющихъ вельможъ [3]); ихъ трудолюбивая поэзія [4]) ему не по душѣ; оттого представителей этого умиравшаго жанра онъ всегда готовъ былъ высмѣять [5]).

Такъ складывались его литературные вкусы, но яснаго, опредѣленнаго взгляда на поэзію еще у него въ эту пору не было: онъ то повторяетъ кантемировскую точку зрѣнія, указывая на трудность и не-

---

[1]) Черты реализма замѣтны еще въ стихотвореніи: «Къ другу-стихотворцу» (I, 8) въ разсказѣ: «Въ деревнѣ, помнится» (I, 10). [2]) Соч. I, «Къ А. И. Галичу» 73. [3]) Соч. I. «Князю А. М. Горчакову»—83 [4]) Соч. I. «Моему Аристарху»—109. [5]) Соч. I. «Желаніе» 121—122. Хваля лицейскіе стихи Пушкина, «знаменитый Дмитріевъ, сравнивая ихъ съ обыкновеннымъ родомъ поэзіи, господствовавшей у насъ, говорилъ: «классическая тактика и въ стихахъ, и въ прозѣ лишаетъ насъ много хорошаго; мы какъ-то не смѣемъ не придерживаться краткаго руководства къ ораторіи Россійской». В. Л. Пушкинъ радовался, что «стихи не пахнутъ латынью и не носятъ на себѣ ни одного пятнышка семинарскаго». Необычайную прозорливость выказалъ другой тогдашній пѣвецъ,—графъ Д. И. Хвостовъ: въ раннихъ опытахъ Пушкина онъ почувствовалъ *„переломъ классицизму“*. (*Анненковъ*, Матеріалы—31).

выгоду заниматься поэзіей,—поэтъ осужденъ на бѣдность.—

«Судьбой имъ не даны, ни мраморны палаты,
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки [1]).

Жизнь поэта—«рядъ горестей, гремяща слава—сонъ [2])... То, повторяя Карамзина, онъ воспѣваетъ «Фантазію»,—эту богиню поэтовъ, которая замѣняетъ имъ всѣ земныя богатства. Говоря о «всемогуществѣ» [3]) поэта, онъ буквально перифразируетъ того же Карамзина, говоря: «поэтъ, въ твоей предметы волѣ» [4]).

Вслѣдъ за Карамзинымъ онъ не прочь былъ признать «обманъ», т.-е. вымыселъ, сущностью поэзіи—но, въ то же время, въ этой поэзіи онъ усмотрѣлъ великій даръ «боговъ» и считалъ «счастливымъ» того, кто получилъ отъ Феба этотъ даръ [5]).

Въ другомъ стихотвореніи онъ заявляетъ, что доволенъ своимъ удѣломъ, такъ какъ, ему—дана лира отъ боговъ [6]). «Узы, связавшія» его съ поэзіей, для него уже теперь «священны» [7]). Вотъ почему у него уже въ это время вырабатывается серьезный взглядъ на литературную дѣятельность: онъ признаетъ—что «не тотъ поэтъ, кто риѳмы плесть умѣетъ» [8]). Онъ постигъ уже значеніе поэзіи, сказавъ, что «пѣвцы безсмертные» «питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ» [9]). Къ нимъ онъ не причисляетъ себя: никого «учить» онъ не желаетъ,—онъ хочетъ творить «для себя», и берется доказать своему «Аристарху», что имѣетъ право на такое *свободное* творчество, такъ какъ можетъ творить

[1]) Соч. I. «Къ другу стихотворцу» 10. [2]) Тамъ же, [3]) Соч. I. «Посланіе къ Юдину»,—102. [4]) Соч. I. «Къ Батюшкову», 35. [5]) Соч. I. «Городокъ», 47. [6]) Соч. I. «Мечтатель» 82. [7]) Соч. I. «Мое завѣщаніе», 93. [8]) Соч. I. «Къ другу стихотворцу», 9. [9]) Тамъ же.

«свободнымъ господиномъ» [1]). Вопреки псевдоклассикамъ, онъ увѣренно заявляетъ: «все, все позволено поэту» [2]). Еще юношей онъ чувствуетъ уже въ себѣ «самостоятельнаго» творца-новатора, у котораго уже есть «свой складъ» [3])...

Творчество его въ лицеѣ было такъ же пестро и разнообразно, какъ и его настроенія: кромѣ лирическихъ произведеній сочинялъ онъ романы и повѣсти, комедіи и поэмы [4]).

Извѣстность его, какъ будущаго знаменитаго поэта, стала складываться еще во время пребыванія его въ стѣнахъ лицея. Этому способствовали, главнымъ образомъ, его друзья-лицеисты, друзья-гусары и друзья-писатели [5]).

---

[1]) Соч. I. «Моему Аристарху», 9.

[2]) Соч. I. «Къ Батюшкову», 36.

[3]) Соч. I., «Кн. А. М. Горчакову», 83.

[4]) Согласно свидѣтельствамъ современниковъ, написалъ онъ въ лицеѣ романъ въ прозѣ: «Цыганъ», сочинилъ разсказъ, впослѣдствіи развитый имъ въ повѣсть: «Выстрѣлъ», сочинилъ комедію (начата 10-го декабря 1810 года) въ сотрудничествѣ съ М. Л. Яковлевымъ: «Такъ водится на свѣтѣ». Кромѣ того, писалъ онъ какое-то, несохранившееся сочиненіе: «Фатама, или разумъ человѣческій»,—подраженіе повѣстямъ Вольтера; (9 декабря 1815 года написано было 3 главы), 5-актную комедію въ стихахъ: «Философъ» (написано было 1-е дѣйствіе къ 16 января 1816 года) и въ декабрѣ 1815 года мечталъ о сочиненіи героической поэмы: «Игорь и Ольга». Въ послѣдній годъ пребыванія Пушкина въ лицеѣ (1817 г.) онъ началъ поэму: «Русланъ и Людмила».

[5]) В. Л. Пушкинъ 14 февраля 1817 года въ засѣданіи Общества любителей россійской словесности при Московскомъ университетѣ читалъ его стихи «Анакреонова гробница»; въ томъ же году 28 апрѣля читалъ онъ его «На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1815 году». На празднествѣ въ Павловскѣ пѣлись 6 іюня 1816 года его стихи «Къ Принцу Оранскому», за что поэтъ получилъ отъ Императрицы золотые часы.

«Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ
безъ вниманья».
„19 октября 1825 г.“, I, 359,

«...Умъ высокій можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ по-
крываломъ.
„Посланіе къ Каверину“, I, 173.

«Духовной жаждою томимъ
Въ пустынѣ мрачной я влачился».
„Пророкъ“, II, 2.

«Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ».
„Поэтъ“, II, 21.

«...взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна!
„Къ Чаадаеву“ I, 190.

«...Когда ему было восемнадцать лѣтъ, онъ думалъ, какъ тридцатилѣтній: умъ его созрѣлъ гораздо раньше, чѣмъ его характеръ».
Жуковскій о Пушкинѣ.
(Зап. Смирновой I, 138).

Пушкинъ въ Петербургѣ

(1817—1820).

Жизнь, свободная и широкая, полная пестрыхъ и шумныхъ впечатлѣній ждала его у порога лицея. Онъ рвался къ ней давно и теперь съ жадностью ринулся въ ея водоворотъ. Его влекли къ себѣ то большой свѣтъ, то шумные пиры, то закулисныя тайны, то горячіе споры тогдашнихъ политиковъ,— онъ жадно предался всѣмъ наслажденіямъ «свободной плоти» и «свободнаго духа»... Немудрено, что кругъ его знакомствъ и связей былъ въ это время чрезвычайно обширенъ и разнообразенъ [1])...

Это была та смутная пора, когда реакція темной тѣнью быстро и безшумно уже надвигалась на ликующую жизнь русскаго общества: Ахенскій конгрессъ былъ въ 1818 г., въ 1820—конгрессъ въ Тропау, въ 1821 г. — въ Лайбахѣ и въ 1822-омъ — конгрессъ въ Веронѣ. Русское общество только что пробуждено было великимъ подъемомъ 1812-го года, было еще встревожено мечтами, даже обѣщаніями, «дер-

[1]) *Л. Пушкинъ* «Молодость Пушкина» (*Л. Майковъ* «Пушкинъ» 5).

жавнаго якобница», оно свободно и радостно дышало живыми идеями и впечатлѣніями, принесенными изъ Западной Европы. Его либеральныя настроенія, могучія и яркія, окрыленныя мечтами о конституціи, разговорами объ освобожденіи крестьянъ [1]),— и эта реакція, съ ея тупымъ безпросвѣтнымъ мистицизмомъ и солдатчиной, съ затхлыми настроеніями Священнаго Союза, въ началѣ 20-хъ годовъ еще уживались рядомъ, не сливаясь въ ту безпросвѣтную, сѣрую однообразность, въ которой уже больше нѣтъ жизни, а чувствуется безнадежная придавленность, или апатія... Такой апатіи не было въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ, — оно кипѣло, возмущалось и боролось, проповѣдывало вкривь и вкось и пропагандировало направо и налѣво... Сама реакція была полна жизни и этимъ возбуждала жизнь. Борьба кипѣла и въ литературныхъ кругахъ, гдѣ разгорался около имени Карамзина горячій и непримиримый, хотя и безтолко-

---

[1]) «Въ 1818 г. «послѣ короткаго пребыванія въ Москвѣ гвардія вернулась въ Петербургъ съ уставомъ «союза благоденствія»—тайнаго политическаго общества, которое окончательно сформировалось въ первопрестольной нашей столицѣ подъ шумъ праздниковъ и баловъ, ознаменовавшихъ посѣщеніе Москвы дворомъ и союзникомъ нашимъ 1813—15 гг. королемъ прусскимъ». *Анненковъ* «Пушкинъ».

..«Союзъ», благодаря своей *воспитательной* пропагандѣ, ввелъ въ обычное теченіе петербургской жизни неожиданную, яркую и кипучую струю. Присутствіе чего-то небывалаго и особеннаго въ жизни чувствовалось невольно всѣми, даже самыми разсѣянными людьми, какъ мы видѣли на примѣрѣ Пушкина. Правительство догадывалось о появленіи новаго, невидимаго дѣятеля въ обществѣ, не менѣе кого бы то ни было. Пропаганда «союза», преслѣдуя свои цѣли образованія и воспитанія умовъ, поднимала, вмѣстѣ съ тѣмъ, и много вопросовъ современнаго гражданскаго устройства Россіи». (*Анненковъ*, Пушкинъ 70).

вый, бой «шишковистовъ» и «карамзинистовъ»—«Бесѣды» и «Арзамаса»,—непроясненнаго классицизма и смутно-понимаемаего романтизма... Эта борьба, политическая и литературная, не поглощали всего общества,—значительная часть его жила беззаботной, веселой жизнью, кутила напропалую, развлекаясь театрами и балами, виномъ и любовью, не замѣчая ни тумана мракобѣсія, повисшаго надъ головами, ни той грозы, которая собиралась на горизонтѣ, чтобы разразиться мятежомъ 14 декабря.

Въ такой круговоротъ жизни, сложной и бурной рванулся Пушкинъ послѣ нѣсколькихъ томительныхъ лѣтъ «заточенія» [1]) въ лицеѣ. Онъ бросился въ эту сутолоку съ неизрасходованнымъ запасомъ юныхъ силъ физическихъ и духовныхъ, окрыленный «безумной жаждой свободы», жаждой борьбы и наслажденья; онъ торопился окунуться съ головой въ этой суетѣ житейской, опьяняющая прелесть которой была уже ему немного вѣдома: не чуждъ онъ былъ летучихъ идей тогдашняго *политическаго* либерализма, *литературный* же либерализмъ Арзамаса давно былъ ему дорогъ; безшабашное прожиганіе жизни, тогда модное у насъ, было, въ его глазахъ, «третьей свободой»,—«свободой плоти», она давно манила къ себѣ его юношеское встревоженное воображеніе... Такимъ образомъ, жизнь, раскрывшаяся теперь передъ нимъ, въ сущности, дала ему мало новаго сравнительно съ тѣмъ, что онъ узналъ въ послѣдніе годы пребыванія въ лицеѣ; только кругозоръ его сдѣлался шире,—къ прежнимъ друзьямъ,

[1]) Соч. VII, 2. Письмо къ кн. Вяземскому отъ 27 марта.

не смѣнивъ ихъ, даже не оттѣснивъ ихъ, прибавились новые; мысли и чувства, проснушіяся уже раньше, тоже не замѣнились иными,—онѣ лишь прояснились и углубились...

На самомъ порогѣ къ новой жизни юношу ждало разочарованіе: его мечтамъ о свободной жизни въ обществѣ гусаровъ не суждено было осуществиться,— Сергѣй Львовичъ рѣшительно заявилъ, что не имѣетъ достаточно средствъ для такой «прихоти». Вмѣсто блестящаго гусарскаго ментика, юношѣ пришлось, съ горечью въ сердцѣ, вздѣть на себя скромный вицъ-мундиръ «коллежскаго секретаря, причисленнаго къ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ».

Онъ не безъ душевной борьбы подчинился этому первому удару судьбы: неразъ въ произведеніяхъ его этого періода воображеніе рисуетъ ему образъ лихого кавалериста на полѣ сѣчи, или въ кругу друзей [1]). Но онъ постарался «гусарскую свободу», недавшуюся ему въ руки, замѣнить «свободой чиновника», который ничего не дѣлаетъ, остается «повѣсой вѣчно праздным» [2]), не заботится о карьерѣ и живетъ напропалую,—онъ, по его словамъ—

—«счастливой нѣги вѣрный сынъ
Всегда безпечный, равнодушный...
. . . . . .

---

[1]) Соч. I. «Посланіе къ К. В. Пушкину» 173, 175, «Къ товарищамъ» 176. Особенно въ 1819-омъ году прослѣдовали его эти мечты о военной службѣ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ письма К. Батюшкова (соч. III, 555), кн. Вяземскаго и А. И. Тургенева. Остафьевскій Архивъ. (I, 200, 202, 206).

[2]) Соч. I. «Къ Ѳ. Ф. Юрьеву» 187.

«Равны мнѣ писаря, уланы,
Равны мнѣ каски, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассесора! [1]).

— восклицаетъ онъ. Это и понятно: его души, не терпѣвшей никакой зависимости, ни этотъ вицъ-мундиръ, ни чинъ, ни сама коллегія, съ ея чиновничествомъ, не могли поработить,—какъ въ семьѣ онъ не считался съ «принципами» родителей, какъ въ лицеѣ «этика» заведенія, съ печатными правилами, не связала его,—такъ и на службѣ онъ не умѣстился въ рамкахъ душной канцелярской жизни...

Оффиціальное положеніе Пушкина было не изъ блестящихъ, но оно, повидимому, никакой роли въ его тогдашней жизни не имѣло. Лѣтопись его служебной карьеры невелика. Намъ извѣстно лишь, что 9 іюня 1817 г. онъ былъ выпущенъ изъ лицея съ чиномъ «коллежскаго секретаря» [2]), что 13-го іюня 1817 онъ былъ опредѣленъ въ вѣдомство Иностранныхъ Дѣлъ съ содержаніемъ 700 рублей.

3-го Іюля 1817 года онъ уже подаетъ прошеніе объ отпускѣ въ деревню по 15 сентября (вернулся въ концѣ августа) «для приведенія дѣлъ въ порядокъ» [3]). Іюля 9-го 1819 года онъ подаетъ такое же прошеніе объ отпускѣ въ деревню на 28 дней [4]) и, наконецъ,

---

[1]) Соч. I. «Къ товарищамъ» 177.

[2]) *Н. А. Гастфрейндъ.* «Пушкинъ», Документы Государственнаго и С.-Петербургскаго главнаго архивовъ Мин. Ин. Дѣлъ. Спб. 1900 (автотип. изображеніе выпускного свидѣтельства П—на).

[3]) Тамъ же. Изъ формулярнаго списка П—на, 2.

[4]) Тамъ же, 5.

4-ымъ мая помѣчено письмо графа Каподистріи [1]), за подписью графа Нессельроде къ Инзову въ Одессу объ отпускѣ (un semestre) Пушкина и прикомандированіи его къ канцеляріи Инзова «сверхъ штата» и 2) приказъ графа Нессельроде о выдачѣ Пушкину 1000 руб. на проѣздъ въ Екатеринославъ.

Такимъ образомъ, его петербургская служба была до такой степени незначительна, что даже въ «формулярѣ» Пушкина ничѣмъ не выразилась! [2]). Да, онъ «не лѣзъ въ асессоры»!.. Онъ весь ушелъ въ широкій разгулъ тогдашней петербургской «золотой молодежи». Еще недавнія сентиментально-мечтательныя настроенія были забыты, отвлеченное сладострастіе юношескаго воображенія, встревоженнаго чтеніемъ и мечтой, смѣнилось теперь самой настоящей разнузданностью... Въ это время, по словамъ барона Корфа, онъ «увлекался распутствомъ всѣхъ родовъ, проводя дни и ночи въ непрерывной цѣпи вакханалій и оргій» [3]). Быть можетъ, эти слова—преувеличеніе: «дней» и «ночей» Пушкинъ въ оргіяхъ не проводилъ, но, несомнѣнно, налетали на него порывы, иногда довольно продолжительные, когда весь онъ отдавался власти своей горячей, возмущенной плоти. Вотъ почему теперь Пушкинъ себя называетъ «страдальцемъ чувственной любви» [4]); онъ говоритъ намъ о «безстыд-

---

[1]) *Л. Поливановъ*, Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи 1817 — 1825 (*Русская Старина* 1887 г. т. L III, янв., 235—248), *Брюсовъ* «Письма Пушкина и къ Пушкину» М. 1903.

[2]) *Гастфрейндъ*, Пушкинъ, документы, стр. 2.

[3]) *Я. Гротъ*. op. cit.

[4]) Соч. I. «Н. И. Кривцову» 189.

номъ бѣшенствѣ желанiй» [1]), о томъ, какъ онъ страдалъ отъ неудовлетворенной страсти, когда—

«Покровы жаркіе, рыдая, обнималъ
И сохнулъ въ бѣшенствѣ безплоднаго желанья! [2]).

Онъ признавалъ, что въ это время чистая любовь его была позабыта; «не вѣдая страданій» [3]) ея, онъ, «безобразный потомокъ негровъ» [4]), нравился «юной красотѣ» «безстыднымъ бѣшенствомъ своихъ желаній» [5])... Наденька, Лида, Лаиса, Дорида, Ольга Масонъ,—имена, мелькающія въ его лирическихъ произведеніяхъ этого періода [6]), дѣйствительно, свидѣтельствуютъ о разнообразіи и кратковременности его тогдашнихъ увлеченій. А. И. Тургеневъ къ кн. Вяземскому въ письмѣ 12 ноября 1819 года называетъ Пушкина «бѣснующимся» [7]). Въ одномъ письмѣ онъ со смѣхомъ разсказываетъ, что встрѣчаетъ Пушкина рѣдко въ театрѣ, куда онъ заглядываетъ лишь въ «свободное отъ звѣрей время» [8]),—оказывается, «жизнь его проходитъ у пріема билетовъ, по которымъ пускаютъ смотрѣть привезенныхъ сюда звѣрей. Онъ влюбился въ продавщицу билетовъ и сдѣлался ея «cavalier servant» [9]).

Кружокъ гусаровъ, съ которыми онъ сошелся еще въ Царскомъ Селѣ, былъ по прежнему тѣмъ

[1]) Соч. I. «Къ Ѳ. Ф. Юрьеву» 188.
[2]) Соч. I. «Мечтателю» 192.
[3]) Соч. I. «Къ Ѳ. Ф. Юрьеву» 187.
[4]) Тамъ-же.
[5]) Соч. I. «Къ Ѳ. Ф. Юрьеву» 188.
[6]) Соч. I. «Къ Щербинину» I, 188;
[7]) Остафьевскій Архивъ. I, 350.
[8]) Тамъ-же.
[9]) Тамъ-же.

очагомъ, на которомъ безпощадно сжигались его молодыя силы [1])...

Новый пріятель Пушкина, Н. В. Всеволожскій, придалъ этому разврату даже нѣкоторую организацію, объединивъ избранную молодость въ оргіастическомъ обществѣ «Зеленой лампы» [2]). Здѣсь, въ перемежку между пирами и вакханаліями, развлекались нецензурными представленіями на самыя рискованныя темы, въ родѣ представленія: «Изгнанія Адама и Евы изъ рая», «Гибели Содома и Гоморры» [3]). Такая распущенность «религіознаго характера», вѣроятно, и привела Пушкина къ сочиненію «Гавриліады» и поэмы «Монахъ», сожженной рукой А. М. Горчакова [4]). Несомнѣнно, въ кругу друзей поэта были популярны подобныя темы для шутокъ,—это видно, хотя бы, изъ жалобы А. И. Тургенева на то, что одинъ изъ пріятелей поэта, Кривцовъ «развращалъ» Пушкина, «присылая ему безбожные стихи изъ благочестивой Англіи» [5]). Иногда, смѣха ради, собранія происходили съ соблюденіемъ формъ парламентскихъ, или масонскихъ, и посвящались обсужденію плановъ волокитства и закулисныхъ проказъ. Пушкинъ отдавался всѣмъ этимъ развлеченіямъ со всѣмъ пыломъ молодости. Почти всѣмъ своимъ новымъ друзьямъ онъ оставилъ стихо-

[1]) Нащокинъ держалъ для друзей цѣлую квартиру, куда они могли пріѣзжать, когда угодно и съ кѣмъ угодно. *А. А. Венкстернъ*, op. cit. 35—7.

[2]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 63 — 4. П. *Бартеневъ* «Пушкинъ на югѣ». *Б. Л. Модзалевскій* «Як. Ник. Толстой» (Русская Старина 1899 № 9—10).

[3]) Тамъ-же.

[4]) Остафьевскій Архивъ, I, 146, прим. *В. И. Саитова.*

[5]) Остафьевскій Архивъ, I, 107.

творныя посвященія [1]), которыя тянутся отъ 1818 года вплоть до 1820 года.

Какъ ни велико было богатство физическихъ силъ у Пушкина, но онъ, всетаки, три раза (въ январѣ, февралѣ 1818 г., въ февралѣ и іюнѣ 1819 г.) въ теченіе трехъ этихъ лѣтъ былъ серьезно боленъ; друзья его свидѣтельствуютъ, что эти болѣзни зависѣли, отчасти, и отъ чрезмѣрныхъ возбужденій его организма, который не выдерживалъ всей удали этого богатырскаго кутежа—когда бывалъ,—

Весь день веселью посвященъ,

—А ночью «царствовала Киприда!» [2]).

Между тѣмъ, такое времяпрепровожденіе манило къ себѣ воображеніе поэта,—онъ восклицалъ:

«Ахъ, младость не приходитъ вновь!
Зови же сладкое бездѣлье
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмѣлье!
До капли наслажденье пей!
Живи безпеченъ, равнодушенъ,
Мгновенью жизни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей! [3])
. . . . . .
«Пока живется намъ—живи!» [4])

—совѣтуетъ онъ своему другу.

Въ другомъ стихотвореніи онъ взываетъ къ друзьямъ:

---

[1]) Соч. I, «Къ Щербинину» 188, Н. И. Кривцову «Когда сожмешь ты снова руку»... 189, «Не пугай насъ, милый другъ»—200, Ѳ. Ф. Юрьеву, «Любимецъ вѣтреныхъ Лаисъ»—187, «Здорово, Юрьевъ именинникъ» 198, В. В. Энгельгардту, «Я ускользнулъ отъ эскулапа» 198, Я. Н. Толстому («Стансы» 200), Н. В. Всеволожскому—209.

[2]) Соч. I. «Къ Щербинину», 188.

[3]) Соч. I. «Стансы» (Я. Н. Толстому), 201.

[4]) Соч. I. «Къ П. П. Каверину», 173.

«Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнію играть!..
. . . . . .
Пусть наша вѣтреная младость
Потонетъ въ нѣгѣ и винѣ! [1]).

Эта беззавѣтная трата силъ и здоровья связывалась съ сознательнымъ «прожиганіемъ жизни», что прекрасно выразилось въ одномъ его удаломъ призывѣ:

«Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой,—
Мы-жъ утратимъ юность нашу
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой!» [2]).

Здоровье для него—лишь «легкій другъ Пріапа» [3]). Онъ былъ увѣренъ, что его смертный мигъ будетъ «свѣтелъ» и не омрачитъ веселія «подругъ» [4]). Счастье и смыслъ всей жизни «онъ полагалъ въ одномъ громадномъ, богатырскомъ разгулѣ, сохранявшемся долго въ воспоминаніяхъ современниковъ. Кругъ этотъ не былъ исключительно военнымъ: онъ числилъ промежъ себя молодыхъ людей всѣхъ званій, и къ нему-то Пушкинъ и пристроился тотчасъ по выходѣ изъ лицея. Все дѣло состояло тутъ въ задачѣ расточать, какъ можно полнѣе, развязнѣе, безъ оглядки и разсчета, свое состояніе,—у кого оно было,—свое время, физическія и нравственныя силы свои, сохраняя при этомъ сословную гордость и презрѣніе къ орудіямъ, которыя герои кутежей употребляли для своей потѣхи... Разгулъ получилъ даже видъ доблести, потому что соединялся съ рискованными ша-

[1]) Соч. I. Добрый совѣтъ, 176.
[2]) Соч. I, «Н. И. Кривцову» 200.
[3]) Соч. I, «Вас Вас. Энгельгардту» 199.
[4]) Тамъ же.

лостями, вызывавшими на самопожертвованіе, что сообщало ему особую заманчивость въ глазахъ молодежи, которая охотно предается удовольствіямъ, сопряженнымъ съ опасностью» [1]).

«Новые друзья его представляли, такъ сказать, аристократію разгула» [2]).

Такое бравированье жизнью, конечно, тѣсно связывалось съ самымъ циничнымъ взглядомъ на смерть. Это было во вкусѣ времени. Кровавыя развязки отъ собственной, или чужой пули были тогда въ модѣ. Пушкинъ старался не отставать отъ друзей... Одинъ рисунокъ въ его тетради прекрасно рисуетъ намъ тогдашніе взгляды Пушкина на жизнь и смерть. Мужчина сидитъ за столомъ съ бутылками около женщины, которая, въ послѣдней степени виннаго экстаза, сбиваетъ балетнымъ движеніемъ ноги одну изъ бутылокъ. Другой мужчина, совершенно пьяный, закуриваетъ трубку. Имъ всѣмъ прислуживаетъ смерть» [3])... Анненковъ припоминаетъ по этому поводу происшедшую въ тѣ годы дуэль Шереметева съ Завадскимъ изъза балетной танцовщицы Истоминой и кончившуюся смертью Шереметева. «Смерть, прибавляетъ Аннен-

---

[1]) *Анненковъ*, «Пушкинъ», 62—3.

[2]) Тамъ же, 64.

[3]) Совершенно справедливо указываетъ Анненковъ на огромное біографическое значеніе альбомныхъ набросковъ Пушкина (Матеріалы, 43—4),—почти всѣ настроенія его нашли въ нихъ отраженія. Ср. его слова объ альбомѣ Онѣгина (соч. III, 415):

«Среди безсвязнаго маранья
Мелькали мысли, примѣчанья,
Портреты, буквы, имена
И *думы тайной* письмена».

ковъ, въ самомъ дѣлѣ, часто присутствовалъ на пирахъ, кончавшихся дуэлями» [1]). «Напрашиваться на исторіи» считалось тогда признакомъ хорошей породы и чистокровнаго происхожденія»... Пушкинъ, слѣдуя модѣ, тоже старался вести себя вызывающе, подражая, какъ говорятъ, извѣстному тогда бреттеру Якубовичу. Такъ, извѣстно, что около 1818 года чуть было не произошла дуэль Пушкина съ В. К. Кюхельбекеромъ [2]), который обидѣлся на эпиграмму поэта: «За ужиномъ объѣлся я» [3]). Незадолго до высылки Пушкина произошло столкновеніе его въ театрѣ съ маіоромъ Денисевичемъ, вызвавшимъ поэта на дуэль, но дуэль не состоялась [4])... Очевидно, были еще и другія многочисленныя столкновенія, такъ какъ 23-го марта 1820 года Е. А. Карамзина писала Вяземскому, что «у Пушкина всякій день дуэли» [5]). Вѣроятно, это шутка, но она, во всякомъ случаѣ, краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о неизмѣнно-задорномъ поведеніи поэта. Для той молодежи, въ кругу которой вращался Пушкинъ, мало было святого въ жизни. Немудрено что, всегда легковувлекавшійся, юноша готовъ былъ на первыхъ порахъ въ этой распущенности духа и плоти усмотрѣть ту вожделѣнную «свободу», къ которой стремился онъ съ дѣтства. Возможно, что подъ влія-

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Соч. VII, 35. Въ этомъ же году онъ вызвалъ на дуэль своего дядю П. И. Ганнибала за то, что тотъ во время танцевъ отбилъ у него даму (*Павлищевъ*, op. cit. 22).

[3]) Соч. I.

[4]) *П. Бартеневъ*, «Пушкинъ», I, 22—3.

[5]) Тамъ же, II, 11.

ніемъ настроеній «Зеленой Лампы», у него теперь и являлись позывы бравировать тѣмъ, что для другихъ было священно. — Въ эту эпоху религіознаго мракобѣсія такое «религіозное вольнодумство» было тоже своего рода «протестомъ». Такимъ образомъ, «невѣріе» не было для Пушкина плодомъ долгой внутренней борьбы,—оно далось ему легко, приправленное «краснымъ словомъ» вольнодумства и скептицизма, но не шло глубоко въ его сердце, выражаясь въ свободоязычіи и остротахъ и прикрывая въ то же время собою не только затаенную вѣру, но даже и явное суевѣріе.

Подъ впечатлѣніемъ этихъ неглубокихъ протестующихъ антиправительственныхъ и антицерковныхъ настроеній написаны были Пушкинымъ тѣ многочисленныя «возмутительныя» стихотворенія, которыя, по словамъ императора Александра, «наводнили Петербургъ». Вотъ почему можно думать, что, болѣе или менѣе, серьезные уроки Чаадаева, преподанные имъ въ Царскомъ Селѣ лицеисту Пушкину и носившіе отвлеченный, теоретическій характеръ, теперь были забыты юношей, закружившимся въ вихрѣ живыхъ, яркихъ впечатлѣній общественной и политической жизни. Эти впечатлѣнія слишкомъ били въ глаза, за ними тускнѣли спокойныя кабинетныя разсужденія и мечты «гусара-мудреца»...

Жизнь русская была тогда полна курьезовъ и противорѣчій: Аракчеевъ и Чаадаевъ носили одинъ и тотъ же мундиръ; державный «якобинецъ» [1]) договаривалъ еще на русскихъ окраинахъ конституціонныя рѣчи [2]),

[1]) Такъ сначала называли императора Александра за границей.
[2]) При открытіи польскаго сейма въ 1818 г.

но въ Россіи онъ призналъ уже необходимость бороться съ «сатанинскимъ духомъ революціи», и для этой цѣли приблизилъ къ себѣ Аракчеева, Фотія, Рунича, Магницкаго... Между тѣмъ, русское общество, послѣ гигантской борьбы съ Наполеономъ, жило еще интересами общеевропейской жизни. Къ сожалѣнію, у насъ въ Россіи, это любопытное время было «царствомъ блестящаго дилетантизма по всѣмъ предметамъ и вопросамъ, выдвинутымъ впередъ европейскою жизнью» [1]). Необычайная и неразборчивая влюбчивость въ идеи, занесенныя къ намъ послѣ заграничныхъ войнъ—характерная черта эпохи [2]). Идеи являлись тогда къ намъ, «какъ кумиры, съ затерянной генеалогіей, но требовавшіе безусловнаго поклоненія» [3]); съ этими идеями носились, поклоненіемъ передъ ними прикрывали отсутствіе образованія. Такимъ диллетантизмомъ отличались въ русскомъ обществѣ и политическія увлеченія эпохи,—они не коренились на знаніи прошлаго русской исторіи. «Все, что̀ тогдашніе русскіе политики называли знаніемъ, никогда не носило характера изученія, допускающаго видоизмѣненія взглядовъ, поправки ихъ, или развитія. Всякое знаніе, такъ или иначе добытое, было для нихъ глубокимъ, непоколебимымъ вѣрованьемъ, непререкаемамъ догматомъ, чѣмъ и объясняется замѣченная въ нихъ стойкость убѣжденій до слѣпоты и упрямства» [4]).

---

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 87.

[2]) Тамъ же.

[3]) Тамъ же.

[4]) Тамъ же. Въ кружкахъ будущихъ декабристовъ разсуждали о «вѣчахъ въ древнихъ общинахъ, о подчиненной роли князей въ тѣхъ же общинахъ, объ устройствѣ самими племенами и народными

Если между «вожаками» было нѣсколько энергичныхъ и сознательно-дѣйствовавшихъ лицъ, то масса, шедшая за ними, увлекалась либерализмомъ какъ свѣтской модой. Легковѣсность ея настроеній повела къ тому, что сами вожаки принуждены были закрыть въ 1821 году «Союзъ благоденствія». Возникшее, на смѣну Союзу, «Сѣверное общество» также быстро распалось, такъ какъ, по словамъ Н. И. Тургенева, «подъ конецъ, братство занималось шутовскими церемоніями пріема новыхъ членовъ», и, вообще, «засѣданія его возбуждали осужденіе и нескрываемыя улыбки презрѣнія со стороны наиболѣе развитыхъ членовъ» [1]). «Многіе, говоритъ онъ, вступали въ общество, но, вступая въ него въ одну дверь, выходили въ другую» [2]).

Стоитъ представить себѣ Пушкина въ тогдашнемъ взбудораженномъ, но несерьезномъ русскомъ обществѣ, — современникомъ Аракчеева, Фотія, свидѣтелемъ реакціи и напряженнаго либерализма, чтобы сразу понять, куда пойдетъ этотъ, съ дѣтства «неуимчивый», искатель свободы. Изъ него никогда не вышло бы бойца за идею, но увлечься ею онъ могъ, «*пока*» въ его сердцѣ «горѣлъ» огонь свободы [3])... И, дѣйствительно, политическія настроенія русскаго

группами всего своего политическаго быта. (Тамъ же, 93). Для многихъ было «непреложнымъ историческимъ догматомъ, не нуждающимся въ подтвержденіяхъ и изысканіяхъ, повсемѣстное существованіе въ древней Руси республикъ и совѣщательныхъ собраній, никогда не признававшихъ единоличной власти. (Тамъ же, 94).

[1]) Ср. изображеніе Грибоѣдовымъ «тайнаго» общестра, засѣдавшаго въ англійскомъ клубѣ (монологъ Репетилова).

[2]) *Н. И. Тургеневъ*, «Отвѣты Тургенева» 1867 г., 26—7.

[3]) Соч. I, «Къ Чаадаеву, 19с.

«передового» общества загипнотизировали Пушкина громомъ звонкихъ фразъ, легковѣсныхъ остротъ, банальныхъ повтореній того, что смутно доносилось съ Запада... Немудрено, что въ угарѣ площаднаго либерализма онъ забывалъ спокойныя бесѣды въ уединенномъ кабинетѣ Чаадаева...

Истинный характеръ его политическихъ настроеній лучше всего опредѣляется изъ посланія къ одному изъ сотоварищей по «Зеленой Лампѣ»—В. В. Энгельгардту; конецъ посланія очень характеренъ:

«Съ тобою пить мы будемъ снова,
Открытымъ сердцемъ говоря
Насчетъ глупца, вельможи злова,
Насчетъ холопа записнова,
Насчетъ небеснаго царя,
А иногда насчетъ земнова [1])...

Такой «либерализмъ», «за бокаломъ вина», очень характеренъ: во время непринужденныхъ застольныхъ бесѣдъ легко развязывался языкъ, и создавались колкія эпиграммы на главныхъ дѣйствующихъ лицъ тогдашней русской трагикомедіи: Голицына [2]), Фотія [3]), Аракчеева [4]) и др.,—серьезное негодованіе не вылилось бы въ такихъ «шалостяхъ пера», выстраданныя убѣжденія не допустили бы такой шутки, какой проникнуто, напримѣръ, стихотвореніе: «Княгинѣ Е. И. Голицыной [5]). Оно начинается очень характернымъ признаніемъ, что въ эту пору Пушкинъ былъ всего русскаго «всегдашній обвинитель» и «краевъ чужихъ

[1]) Соч. I, «Вас. Вас. Энгельгардту», 199.
[2]) Соч. I, 195.
[3]) Соч. I, 196.
[4]) Соч. I, 221—222.
[5]) Соч. I, «Княгинѣ Е. И. Голицыной», 185.

неопытный любитель»; не находилъ въ отечествѣ ни «вѣрнаго ума», ни «генія», «ни гражданина съ душой благородной» [1]). И оканчивается это стихотвореніе неожиданнымъ заявленіемъ: поэтъ примирился съ отечествомъ лишь тогда, когда увидѣлъ красавицу-княгиню — Евдокію Ивановну Голицыну [2]). На фонѣ этихъ стихотворныхъ «проказъ» съ серьезными мыслями и чувствами, среди многочисленныхъ стиховъ въ честь красавицъ, любви и вина, одинокими оазисами стоятъ «серьезныя» политическія стихотворенія («Къ Чаадаеву», «Деревня», «Вольность»). Они написаны съ истиннымъ воодушевленіемъ, несомнѣнно, правдивы, какъ все вышедшее изъ-подъ пера Пушкина. Но эта правда, какая-то «минутная»,—очевидно, она—блестящій результатъ чьихъ-то горячихъ искреннихъ, серьезныхъ рѣчей, случайнымъ слушателемъ которыхъ удалось быть Пушкину... Отзывчивый, какъ всегда, въ минуты увлеченія настраивалъ онъ свою «изнѣженную», капризную, шаловливую лиру на возвышенный ладъ—и тогда звучали могучіе призывы:

«Товарищъ! вѣрь, взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,—
Россія вспрянетъ ото сна—
И на обломкахъ самовластья
Напишетъ наши имена! [3]).

Но и здѣсь, въ этомъ сильномъ произведеніи, проскальзываютъ характерныя сравненія, бросающія осо-

[1]) Тамъ же.

[2]) Объ этомъ увлеченіи Голицыной знали друзья поэта, такъ напримѣръ, Карамзинъ писалъ объ этомъ князю Вяземскому. «Старина и Новизна», кн. I, 1897, 43.

[3]) Соч. I, 190, «Къ Чаадаеву».

бый свѣтъ на пушкинскій либерализмъ: «минуты вольности святой» онъ ждетъ съ тѣмъ «томленьемъ упованья», съ которымъ «любовникъ молодой» ждетъ «минуты сладкаго свиданья» [1]... Такимъ образомъ, мы встрѣчаемся здѣсь опять съ тою же «влюбленностью» въ модныя идеи, о которой пришлось уже говорить выше. Въ этомъ отношеніи любопытно также стихотвореніе: «Деревня» [2]. Начало его проникнуто безоблачнымъ «эпикуреизмомъ»: воспѣваются сладости сельской жизни; она именуется «лономъ счастья и забвенья» [3]—и тутъ же, совершенно неожидано, послѣ такого умилительно-радужнаго приступа вплетаются модные гражданскіе мотивы; изъ молодого «эпикурейца» авторъ обращается въ «друга человѣчества», стоящаго лицомъ къ лицу передъ «губительнымъ позоромъ невѣжества», предъ «барствомъ дикимъ» и «тощимъ рабствомъ» [4]. И, настраивая себя на этотъ ладъ, поэтъ, отъ вымученнаго, холоднаго и искусственнаго паѳоса, доводитъ себя до искренняго воодушевленія, которое разряжается въ прекрасныхъ словахъ:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный,
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отчествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря? [5]).

Вообще, слово «свобода» часто повторяется въ стихотвореніяхъ его этой поры. Онъ неразъ ре-

---

[1]) Тамъ же.
[2]) Соч. I, «Деревня», 205.
[3]) Тамъ же.
[4]) Тамъ же, 206.
[5]) Тамъ же.

комендуетъ себя «пѣвцомъ свободы»... Оттого сильныхъ міра сего воспѣвать онъ не хочетъ—

«На лирѣ скромной, благородной,
Земныхъ боговъ я не хвалилъ,
И силѣ въ гордости *свободной*
Кадиломъ лести не кадилъ,
Свободу лишь умѣя славить [1])...

Орлову, этому «либеральному генералу», пріятелю и единомышленнику декабристовъ, Пушкинъ пишетъ, что, уступая его совѣтамъ, онъ готовъ отказаться отъ военной службы, готовъ признать суетой и «мундиръ, и саблю» [2]) гусара, но, прибавляетъ онъ многозначительно, только потому, что будетъ ждать той вожделѣнной минуты, когда Орловъ поведетъ свои «воинственныя дружины», а пока—восклицаетъ юноша—

«Смиривъ немирныя желанья,
Безъ доломана, безъ усовъ,
Сокроюсь *съ тайною свободой*
Съ цѣвницей, нѣгой и природой...
. . . . . .
...Я буду пѣть *моихъ боговъ*,
И буду ждать [3]).

Очевидно, призракъ «14 декабря» носился уже передъ нимъ... Вотъ почему, въ предчувствіи великихъ событій, онъ чаще и чаще выражаетъ сожалѣніе, что его лира не привыкла къ боевымъ пѣснямъ.

«О, если бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ? [4]).

---

[1]) Соч. I, «Отвѣтъ на вызовъ написать стихи въ честь Государыни Императрицы Елизаветы Алексѣевны», 208.

[2]) Соч. I, «Орлову» 202.

[3]) Тамъ же, 202—3.

[4]) Соч. I, 206 «Деревня».

Ода «Вольность» начинается словами:

«Бѣги, сокройся отъ очей,
Цитеры слабая царица!
Гдѣ ты, гдѣ ты —
Свободы гордая пѣвица?
Приди, сорви съ меня вѣнокъ,
Разбей изнѣженную лиру,
Хочу воспѣть я *вольность* міру! [1]).

Въ полномъ соотвѣтствіи съ этими настроеніями находятся энергичныя нападенія на русскую дѣйствительность. Петербургъ ему кажется «мертвой областью рабовъ, капральства, прихотей и моды» [2]).

Высшій свѣтъ онъ безъ пощады бичуетъ въ посланіи къ «Кн. А. М. Горчакову» [3]).

Но эти «настроенія», какъ мы старались доказать были сильны, но неглубоки. Ихъ «мимолетность» чувствовалъ самъ Пушкинъ, когда сказалъ:

«*Пока* свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души высокіе *порывы* [4]).

Ода «Вольность», написанная въ началѣ іюля 1819 года (самъ поэтъ относилъ ее къ 1817 г.) [5]), очевидно, была такого же происхожденія: она совершенно не вяжется съ обычными пушкинскими настроеніями и, конечно, есть только блестящее слѣдствіе «случайнаго» вдохновенія [6]). Хотя за эту «оду» Пушкинъ и былъ высланъ изъ Петербурга, но извѣстно, что

[1]) Соч. I, 219.
[2]) Соч. I, «Никитѣ Всевол. Всеволожскому», 209.
[3]) Соч. I, 211.
[4]) Соч. 190 «Къ Чаадаеву».
[5]) Соч. I, 219.
[6]) Тамъ же.

всѣми, близко знавшими поэта, политическія убѣжденія его цѣнились невысоко. Самая возможность удачно пустить по городу слухъ о томъ, будто Пушкина высѣкли въ полиціи за его стихи, указываетъ на то, какъ несерьезно относилось общество къ «политиканствующему» юношѣ-поэту [1]). Такое отношеніе къ Пушкину объясняетъ намъ, почему его друзья-декабристы не довѣряли прочности и глубинѣ его убѣжденій и не включили его въ свой кругъ [2]). И они были правы. Когда наступило время расплаты за дерзкія эпиграммы, поэтъ не обнаружилъ мужества,—онъ растерялся и... испугался, что дало случай Карамзину, не безъ оттѣнка легкаго презрѣнія, говорить о дешевомъ либерализмѣ тогдашней молодежи [3]). — Очевидно, «слово» Пушкина и «дѣло» еще не слились воедино... Это лучше всего сказалось значительно позднѣе, когда, въ 1825 году, Пушкинъ рѣшился, было, самовольно ѣхать въ столицу, чтобы встать въ ряды мятежниковъ,—достаточнымъ

[1]) «Позорный слухъ никого не изумилъ, никому не показался бредомъ, изрыгнутымъ какимъ-либо маніакомъ: такъ еще сходился онъ съ административными нравами вообще,—съ тѣмъ, что всегда можно было ожидать отъ условій тогдашней русской жизни. Если вспомнить еще, что слухъ передавался тогда совсѣмъ не съ ужасомъ, или негодованіемъ отъ человѣка къ человѣку, а съ шуткой и добродушною веселостью, то характеръ обстановки, въ которой жило это общество и самыхъ его понятій о правахъ людей и чести, покажется, можетъ быть, далеко не блестящимъ». (*П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 144).

[2]) «Образъ его мыслей всѣмъ хорошо былъ извѣстенъ, но не было полнаго къ нему довѣрія» говоритъ Пущинъ, (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 73). «Подвижность пылкаго его нрава, сближеніе съ людьми ненадежными пугали меня. Онъ затруднялъ меня спросами и разспросами, отъ которыхъ я, какъ умѣлъ, отдѣлывался. (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 70).

[3]) *Н. Карамзинъ*, «Переписка съ И. И. Дмитріевымъ».

оказалось для него, при выѣздѣ, встрѣтить зайца, чтобы вернуться обратно въ деревню [1]).

Такимъ образомъ, въ немъ не было того «фанатизма», той односторонности, которыя были нужны для заговорщика. Это спасло его: онъ «семь лѣтъ сряду стоялъ посреди заговора, омываемый, такъ сказать, волнами его со всѣхъ сторонъ, и не нашлось ни одной, которая бы унесла его съ собой въ пропасть, гдѣ такъ много погибло его друзей, товарищей и ровесниковъ» [2]). Тѣмъ не менѣе, поэтъ свое дѣло дѣлалъ,—всѣ его «либеральныя» эпиграммы и вольнолюбивые стихи были, въ свое время, очень популярны,—ихъ переписывали, заучивали наизусть, имъ подражали, ихъ передѣлывали [3])... Все это указываетъ, что «неподкупный голосъ» [4]) его, дѣйствительно, былъ

---

[1]) *Даль*, «Воспоминанія» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 420—1). *П. Анненковъ*, «Матеріалы» 41.

[2]) *Анненковъ*. «Пушкинъ», 74.

[3]) «Извѣстность Пушкина и литературная, и личная, съ каждымъ днемъ возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и разсказывала объ немъ анекдоты. Все это, какъ водится, было частью справедливо, частью вымышлено». *Л. Пушкинъ* «Молодость Пушкина» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 5).

«Его остроты и продѣлки тоже были всѣмъ извѣстны. Конечно, болтовня это—вздоръ; но этотъ вздоръ, похожій нѣсколько на подразниванье, переходилъ изъ устъ въ уста и порождалъ разные толки, имѣвшіе дальнѣйшее свое развитіе». *Пущинъ*, «Записки о Пушкинѣ». На просьбы Пушкина включить его въ члены тайнаго общества Пушкинъ успокаивалъ его, говоря, что онъ лично, безъ всякаго воображаемаго имъ общества, дѣйствуетъ, какъ нельзя лучше, для благой цѣли: «тогда вездѣ ходили по рукамъ, переписывались и читались наизусть его—«Деревня», «Ода на свободу», «Ура! Въ Россію скачетъ»... и другія мелочи въ томъ же духѣ. Не было живого человѣка, который бы не зналъ его стиховъ». (*Майковъ*, «Пушкинъ», 71).

[4]) Императоръ Александръ I, сказалъ Энгельгардту: «Пушкина на-

«чуткимъ эхомъ» русскаго общества; онъ уловилъ и удачно передалъ въ своихъ стихахъ тогдашнія политическія настроенія, пестрыя, неустойчивыя, отъ глубокаго негодованія легко переходящія къ поверхностному глумленію... Вотъ почему, какъ вѣрное зеркало общества, всѣ его сатирическія стихотворенія, шутки, даже его кощунственная «Гавриліада», пріобрѣтаютъ высокую историческую цѣнность.

Впрочемъ, надо сознаться, что его шумный разгулъ и крикливое либеральничанье были вызваны не только способностью увлекаться настроеніями, но, отчасти и желаніемъ выдвинуться, обратить на себя общее вниманіе,—вѣдь онъ, по собственному признанію, слишкомъ рано «полюбилъ рукоплесканія» [1]); однажды на упреки родителей въ излишней распущенности, онъ просто отвѣтилъ: «безъ шума никто не выходилъ изъ толпы» [2]). Это любопытное заявленіе заставляетъ насъ еще разъ обратиться къ вопросу объ отношеніи Пушкина къ «толпѣ».

Еще въ лицеѣ общество товарищей дѣлилось для него на «толпу» и на «избранниковъ». Теперь это дѣленіе сдѣлалось сознательнѣе и ярче... «*Черни* пре-

---

добно сослать въ Сибирь. Онъ наводнилъ Россію возмутительными стихами; вся молодежь наизусть ихъ читаетъ» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 75).

[1]) Соч. «19 октября» 359. [2]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 85. Самъ Пушкинъ признавался, что своимъ «свободнымъ словомъ» онъ пользовался иногда изъ личныхъ разсчетовъ,—онъ боролся съ слухомъ о его сѣченіи такъ: «я рѣшился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства въ моихъ рѣчахъ и въ моихъ сочиненіяхъ, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною, какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Сибири, какъ возстановленія чести». (Тамъ же, 143).

зирай ревнивое роптанье» [1]), поучаетъ онъ Каверина, подъ «чернью» понимая вообще всѣхъ «благоразумныхъ людей», которые неспособны были понять всѣхъ тонкостей эпикуреизма. Въ другомъ стихотвореніи друзьямъ онъ давалъ совѣтъ: «давайте пить и веселиться», «давайте жизнію играть, пусть *чернь* слѣпая суетится» [2]). Этой же «чернью» былъ, въ его глазахъ, и высшій свѣтъ, закованный въ скучныя приличія. Онъ иронизируетъ надъ княземъ А. М. Горчаковымъ за то, что тотъ былъ «питомцемъ модъ, большого свѣта другомъ, обычаевъ блестящихъ наблюдателемъ» [3]). Оттого «въ чаду большого свѣта» нашъ свободолюбивый поэтъ «скоро угорѣлъ» [4]), хотя его и тянула туда присущая ему слабость кичиться своимъ аристократическимъ происхожденіемъ [5]). Здѣсь, въ этой средѣ, не было мѣста для его живой души, здѣсь, подчиняясь приличіямъ, «умъ хранилъ невольное мол-

---

[1]) Соч. I. «Къ П. П. Каверину», 116. [2]) Соч. I. «Добрый совѣтъ», 176. [3]) Соч. I. «Кн. А. М. Горчакову», 211. [4]) Тамъ же. [5]) Своей родословной А. С. Пушкинъ очень дорожилъ и гордился. Какая-то торжественность въ его глазахъ окружала эти туманные, полустертые временемъ, образы его предковъ: не идеализируя ихъ, онъ, тѣмъ не менѣе, благоговѣлъ передъ ними, утверждая, что «неуваженіе къ предкамъ» «есть первый признакъ дикости и безнравственности (une lâcheté)». (Соч. IV. 368; еще: V, 116—119, 169—170, 148—151, IV, 356, 399—400). (Соч. IV, 356). Предкамъ своимъ поэтъ посвятилъ небольшую статью: «Родословіе Пушкиныхъ и Ганнибаловъ» (Соч. V, 148), стихотвореніе: «Моя родословная, или русскій мѣщанинъ» (Соч. II, 197) и, отчасти, стихотворный отрывокъ; «Родословная моего героя». (Соч. III, 548). Пушкинъ не понималъ въ своемъ другѣ этого тяготѣнія къ аристократіи,—онъ говоритъ по этому поводу слѣдующее:

«Тотъ же Пушкинъ, либеральный по своимъ воззрѣніямъ, имѣлъ какую-то жалкую привычку измѣнять благородному своему характеру

чанье» [1]), не зная свободы, «холодомъ сердца поражены», «здѣсь глупостью единой всѣ равны» [2]). Вспоминая о своемъ пребываніи въ этой непріятной средѣ, которая, очевидно, и сама не особенно гостепріимно приняла поэта, онъ восклицалъ:

«Я помню сихъ дѣтей честолюбивыхъ,
Злыхъ безъ ума, безъ гордости спѣсивыхъ...
И, разглядѣвъ тирановъ модныхъ залъ,
Чуждаюсь ихъ укоровъ и похвалъ [3]).

Гдѣ хорошо себя чувствовали кн. Горчаковъ, бар. Корфъ—тамъ Пушкинъ увидѣлъ лишь «украшенныхъ глупцовъ, святыхъ невѣждъ, почетныхъ подлецовъ и мистика придворнаго кривлянья» [4]).

Немудрено, что отсюда его тянуло въ счастливую семью «младыхъ повѣсъ» [5]), гдѣ «умъ его кипѣлъ, гдѣ въ мысляхъ былъ онъ воленъ,—могъ спорить вслухъ», и «чувствовать сильнѣе» [6]), гдѣ, наконецъ, онъ видѣлъ себя въ средѣ «прекраснаго друзей» [7]). Что это было за «прекрасное», мы уже видѣли,—это *независимость чувствъ и мысли*, это—міръ, украшенный свободными наслажденіями жизни чувственной и идейной... Такимъ образомъ, «чернью» въ это время, въ его глазахъ была всякая среда, которая дерзала накладывать свое «veto» на свободное пользованіе всѣми благами свободной жизни.

Приложимъ эту мѣрку къ той литературной жизни, въ которую окунулся Пушкинъ, и мы поймемъ, что

и очень часто сердилъ меня и вообще всѣхъ насъ тѣмъ, что любилъ, напримѣръ, вертѣться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и другихъ; они съ покровительственною улыбкою выслушивали его шутки, остроты—странное смѣшеніе въ этомъ великолѣпномъ созданіи!». *Пущинъ.* «Записки о Пушкинѣ» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 73).

[1]) Тамъ же. [2]) Тамъ же. [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же 211—2. [5]) Соч. I. «Кн. А. М. Горчакову» 211. [6]) Тамъ же. [7]) Тамъ же.

онъ долженъ былъ примкнуть къ «Арзамасу», къ тому лагерю, который требовалъ свободы творчества, который шелъ противъ «Бесѣды любителей русскаго слова», и всѣхъ другихъ старовѣровъ - классиковъ. Пусть протестъ Арзамаса былъ неглубокъ и несерьезенъ, пусть онъ не носилъ характера борьбы принципіальной и продуманной, сводился къ вышучиванью отдѣльныхъ членовъ оппозиціоннаго лагеря, пусть Арзамасцы не сумѣли; или не успѣли связать себя одинаковымъ пониманіемъ поэзіи, и не поняли, что́ такое «романтизмъ», за который они стояли,—но въ нихъ было сильно желаніе разрушить *старое* въ русской литературѣ, чтобы расчистить просторъ для *„новаго“*. Это увлеченье «счастливой *ересью* и вкуса, и ученья», особенно цѣнилъ въ нихъ Пушкинъ,—въ ихъ неясныхъ настроеніяхъ была и свѣжесть, и бодрость, и юный задоръ, который не щадитъ «авторитетовъ» [1])... Вотъ почему Арзамасъ ставилъ ни во́ что напыщенность и торжественность выраженія, которымъ многіе тогда удовлетворялись, и ненавидѣлъ трескучую фразу во всякомъ ея видѣ—либеральномъ и консервативномъ.

Арзамасъ неукоснительно принималъ подъ свое покровительство все, что появлялось съ ясными задатками развитія, съ несомнѣнными признаками способности завоевать себѣ будущность. Онъ очень любилъ противоставлять новыя имена и таланты старымъ извѣстностямъ, и не уступалъ передъ разоблаченіемъ

---

[1]) Интересные документы по исторіи Арзамаса опубликовалъ проф. *А. И. Кирпичниковъ* «Новые матеріалы для исторіи Арзамаса» («Русск. Старина» 1899, № 5, 471) объ Арзамасѣ, *Анненковъ*. «Матеріалы» 45—6.

упроченныхъ, но всетаки фальшивыхъ репутацій» [1]). Мы видѣли, что Пушкинъ жадно, еще на лицейской скамьѣ, упивался этимъ критицизмомъ друзей-арзамасцевъ. Самая «несерьезность» Арзамаса была для него въ это время самой подходящей атмосферой,—въ ней дышалось ему легко и свободно...

Вотъ почему, сейчасъ-же, по окончаніи лицея, въ первой половинѣ 1817 года, онъ полноправнымъ членомъ вступилъ въ Арзамасъ и сдѣлался однимъ изъ главныхъ застрѣльщиковъ этого веселаго кружка, существовавшаго, впрочемъ, только до сентября этого года. Онъ служилъ Арзамасу своими эпиграммами на враговъ Карамзина,—главнымъ образомъ, Каченовскаго. Эта «арзамасская» замашка—карать враговъ эпиграммами—осталась у Пушкина на всю жизнь. Друзья поощряли его юношеское остроуміе, восхищались имъ. 31 августа 1818 года кн. В. А. Вяземскій въ письмѣ изъ Варшавы къ А. И. Тургеневу проситъ подѣйствовать на Пушкина, чтобы онъ «высѣкъ мстительными стихами мерзавца-Каченовскаго» [2]). Въ отвѣтъ на это А. И. Тургеневъ отвѣчаетъ, что «маленькій Пушкинъ давно уже плюнулъ на Каченовскаго эпиграммой» [3]). Въ другомъ письмѣ тотъ же Вяземскій приглашаетъ Пушкина,—«сверчка, полуночнаго бутошника», «крикнуть эпиграмму на Свиньина» [4]) и т. д.

Для пониманія Пушкина очень важно уяснить себѣ его отношеніе къ женщинамъ, которыя, какъ

---

[1]) *П. Анненковъ.* «Пушкинъ», 11.
[2]) Остафьевскій Архивъ. I, 118.
[3]) Тамъ же, I, 122.
[4]) Тамъ же, I, 130.

извѣстно, въ его жизни играли видную роль, особенно въ это время. Онъ самъ признавался, что въ началѣ жизни имъ «правилъ прелестный, хитрый, слабый полъ» [1]). Когда являлась передъ нимъ прекрасная женщина—душа его всегда разгоралась: очарованный, онъ—видѣлъ въ ней «чистое божество» и «таялъ въ тишинѣ», мечтая о томъ, чтобы «жить и умереть у милыхъ ногъ» [2]),—то, разочаровавшись, онъ начиналъ смотрѣть на нее, какъ на «созданіе злобныхъ тайныхъ силъ» [3]), и тогда онъ «ее ненавидѣлъ и трепеталъ, и слезы лилъ». Очевидно, и въ этотъ періодъ жизни, какъ и въ лицейскій, поэтъ увлекался многими, и увлеченія его были самаго разнообразнаго свойства... Стихи его за это время лучше всего рисуютъ намъ всѣ оттѣнки его любовныхъ чувствъ: то онъ поетъ легкія пѣсни въ честь какой-то Наденьки, восклицая не безъ удали: «житье тому, кто страстью глупою не боленъ» [4]),—то эта «глупая страсть» опять имъ овладѣваетъ и отравляетъ его «веселую любовь»—тогда «немилъ» ему дѣлался «сладкій жизни сонъ» [5])... Такимъ образомъ, иногда самыя противорѣчивыя чувства сплетались въ его душѣ одновременно,—легкія наслажденія не вытѣсняли этой серьезной страсти, лишь оттѣняли ея силу и глубину... Какая-то Дорида подарила поэта восторгами, но онъ «среди невѣрной темноты видѣлъ другія черты» и

---

[1]) Соч. III, гл. IV 303, выпущенныя строфы изъ Евгенія Онѣгина.
[2]) Тамъ же.
[3]) Тамъ же.
[4]) Соч. I, 188 «Къ Щербинину».
[5]) Соч. «Уныніе» 201.

«полонъ былъ таинственной печали», и уста его «шептали чуждое имя» [1])... «Кто разъ любилъ, восклицаетъ онъ, ужъ не полюбитъ вновь; кто счастье зналъ—ужъ не узнаетъ счастья!» [2]). Но скоро, затѣмъ, покорный минутѣ, поэтъ опять обращался къ оставленнымъ Доридамъ, Оленькѣ Массонъ, Лиденькѣ и друг. подобнымъ героинямъ его пѣсенъ... Поэтъ то очаровывался, то разочаровался въ женщинахъ; порой онѣ казались недостойными его пѣсенъ; «ихъ души легкія» и «вѣтренныя» [3]), «воображеніе ихъ нечисто» и «признакъ Бога—вдохновенье для нихъ и чуждо, и смѣшно»—восклицаетъ онъ... Изъ всѣхъ женщинъ, встрѣтившихся ему въ это время на жизненномъ пути, только *одна* осталась выше его укоровъ; ее онъ глубоко любилъ,—когда, и гдѣ, и долго ли,—объ этомъ онъ намъ ничего не сказалъ; она дарила поэта всегда чистыми, возвышенными настроеніями, въ стихахъ, ей посвященныхъ звучитъ сильное и могучее чувство... Когда онъ впервые ощутилъ эту любовь, его—

«Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь
и радость.
Все снова расцвѣло!

Покоренный добродѣтелью, онъ—

—жизнью трепеталъ
Природы вновь восторженный свидѣтель,
Живѣе чувствовалъ, свободнѣе дышалъ [4]).

---

[1]) Соч. I, «Дорида» 216.

[2]) Соч. I, «Уныніе» 201.

[3]) Соч. I, «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ», 312; то же читаемъ мы въ «Отрывкахъ изъ писемъ» (V, 53).

[4]) Соч. I, «Къ ней», 181.

Возможно, что это была все та-же Бакунина, богиня поэта-лицеиста, вѣрнѣе — кн. Голицына, о которой, какъ о предметѣ пушкинскаго увлеченія, писалъ Карамзинъ [1]).

Какъ бы тамъ ни было, но одно несомнѣнно: подъ конецъ петербургскаго періода и красавицы свѣта, и «красотки молодыя» [2]), и друзья-кутилы, и вся безтолочь петербургской жизни надоѣли Пушкину,—онъ, очевидно, пресытился этой жизнью:

«Измѣны утомить успѣли,
Друзья и дружба надоѣли.
И, хоть онъ былъ повѣса пылкій,
Но разлюбилъ онъ, наконецъ,
И брань, и саблю, и свинецъ [3]).

Подобно своему герою Онѣгину, онъ узналъ хандру и даже озлобленіе. Къ этому времени его начинаетъ тянуть изъ Петербурга то въ деревню, то въ Москву, то за границу—путешествовать съ Чаадаевымъ. Такимъ образомъ, ссылка его на югъ подошла кстати...

Онъ былъ сосланъ за «Оду Вольность» и за то что на масляницѣ 1820 года въ театрѣ онъ показывалъ знакомымъ портретъ Лувеля, убійцы герцога Беррійскаго. На портретѣ была надпись: «урокъ царямъ». Въ глазахъ правительства, давно обратившаго вниманіе на поведеніе Пушкина, эта выходка была послѣдней каплей, переполнившей чашу терпѣнія [4]). У него былъ сдѣланъ обыскъ, но всѣ его бумаги оказались во-время сожженными. Пушкинъ былъ

[1]) «Старина и Новизна» кн. I, 1897, 43.
[2]) Соч. III, «Евгеній Онѣгинъ» гл. I, 251.
[3]) Соч. III, «Евгеній Онѣгинъ» гл. I, 249.
[4]) *К. П. П.* А. С. Пушкинъ «Русск. Стар.» 1879.

вызванъ къ генералъ-губернатору Милорадовичу и, на вопросъ о судьбѣ его бумагъ, отвѣтилъ: «Графъ, всѣ мои стихи сожжены. У меня ничего не найдется въ квартирѣ. Но, если вамъ угодно, все найдется здѣсь (онъ указалъ на голову). Прикажите подать бумаги я напишу все, что когда либо написано мною (разумѣется, кромѣ печатнаго), съ отмѣткой, что мое, что разошлось подъ моимъ именемъ! [1]). Бумага была подана, и Пушкинъ «наполнилъ возмутительными стишками цѣлую тетрадь» [2]). Конечно, не все попало въ эту тетрадь,—иначе не зачѣмъ было и жечь свои бумаги... Когда, наконецъ, гроза разразилась надъ головой поэта, то друзья усиленно взялись за хлопоты: П. Я. Чаадаевъ просилъ о помощи князя Васильчикова и Карамзина, Карамзинъ—Каподистрію, Гнѣдичъ—Оленина, Жуковскій и Е. А. Энгельгардтъ, бывшій директоръ лицея—Государя. Самъ Пушкинъ растерялся и давалъ обѣщанія, которымъ, впрочемъ, едва ли кто вѣрилъ. Такъ Карамзину онъ далъ курьезное обѣщаніе «по крайней мѣрѣ», «на два года» быть сдержаннѣе. Карамзинъ писалъ Вяземскому, что «Пушкинъ былъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ піитическомъ страхѣ отъ своихъ стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ» [3]). А. Тургеневъ тоже писалъ Вяземскому: «Пушкинъ сталъ тише и даже скроменъ» [4]). Въ результатѣ всѣхъ этихъ хлопотъ, ссылка въ Сибирь, или Соловки, была замѣнена удаленіемъ на югъ Россіи: поэтъ былъ перечисленъ на службу въ Ека-

---

[1]) Тамъ же. [2]) Тамъ же. [3]) *П. Бартеневъ*, Пушкинъ II, 12—3. [4]) Остафьевскій Архивъ, II, 37.

теринославъ, въ канцелярію главнаго попечителя колонистовъ южнаго края генерала Инзова. Судя по письму Карамзина, его отправили туда мѣсяцевъ на пять, но, оказалось, что 6-го мая 1820 года Пушкинъ на шесть лѣтъ покинулъ Петербургъ. Ему сопутствовала любопытная бумага-«рекомендація», выданная гр. Каподистріемъ къ свѣдѣнію Инзова: «исполненный горестей въ продолженіе всего своего дѣтства, молодой Пушкинъ оставилъ родительскій домъ, не испытывая сожалѣнія. Лишенный сыновней привязанности, онъ могъ имѣть одно чувство—страстное желаніе независимости. Этотъ ученикъ уже рано проявилъ геніальность необыкновенную. Успѣхи его въ лицеѣ были быстры. Его умъ вызывалъ удивленіе, но характеръ его, кажется, ускользнулъ отъ взора наставниковъ. Онъ вступилъ въ свѣтъ сильный пламеннымъ воображеніемъ, но слабый полнымъ отсутствіемъ тѣхъ внутреннихъ чувствъ, которыя служатъ замѣною принциповъ, пока опытъ не умѣетъ дать намъ истиннаго воспитанія. Нѣтъ той крайности, въ которую бы не впадалъ этотъ несчастный молодой человѣкъ—какъ—нѣтъ и того совершенства, котораго не могъ бы онъ достигнуть высокимъ превосходствомъ своихъ дарованій. Г. Пушкинъ кажется исправившимся, если вѣрить его слезамъ и обѣщаніямъ. Однако, его покровители полагаютъ, что его раскаяніе искренне и что, удаливъ его на нѣкоторое время изъ Петербурга, доставивъ ему занятіе и окруживъ его добрыми примѣрами, можно сдѣлать изъ него прекраснаго слугу государству, или, по крайней мѣрѣ, писателя первой величины».

Въ этой характеристикѣ, подсказанной Каподистріи, вѣроятно, Карамзинымъ, удивительно тонко уловлены многія существенныя черты пушкинской души. Крупной ошибкой ея было совершенное отрицаніе «внутреннихъ чувствъ», но особенно характернымъ въ ней было то недовѣріе къ поэту, которое сквозитъ въ этихъ «кажется» или «по крайней мѣрѣ» и пр. Очевидно, Карамзинъ не въ силахъ былъ постигнуть всю ширину души поэта, ея разнообразіе, ея многогранность... Отъ развлеченій, отзывающихся простымъ развратомъ, до жгучихъ политическихъ настроеній, отъ чисто-литературной перепалки «арзамасцевъ» съ «Бесѣдой», къ спокойнымъ возвышеннымъ интересамъ глубокой мысли и чистаго чувства— вотъ, необъятные предѣлы, въ которыхъ кипѣла жизнь юноши, бросавшая его постоянно отъ одного впечатлѣнія къ другому. На все поэтъ отзывался въ своей душѣ соотвѣтствующими настроеніями. Для писателя, которому суждено было сдѣлаться первымъ художникомъ «русской дѣйствительности», эта широта и разнообразіе впечатлѣній, съ вѣчной тревогой души, были той богатой школой, въ которой онъ изучалъ *правду* тогдашней русской жизни; можетъ быть, эта неразборчивость въ друзьяхъ, это своеобразное тяготѣніе ко *всѣмъ* проявленіямъ тогдашней жизни, были именно результатомъ инстинктивнаго стремленія узнать, перечувствовать, пережить всю цѣликомъ жизнь эпохи...

«Изъ такой-то путаницы перекрещивающихся воззрѣній и ученій, не очень состоятельныхъ и по себѣ, долженъ былъ онъ выдѣлять элементы своего умственнаго и нравственнаго воспитанія. Онъ умѣлъ

однакоже, усвоить отъ этой эпохи лучшее ея достояніе — ея пытливость, ея стремленія къ осмысленному, разумному существованію и ея вражду ко всему злобному, низкому и раболѣпному. Она-то и образовала изъ Пушкина типъ геніальнаго человѣка, съ простой душой, насадителя благороднѣйшихъ чувствъ и помысловъ на Руси—радѣтеля и провозвѣстника всего, что̀ возвышаетъ мысль и помогаетъ ей переносить тяготы и противорѣчія жизни [1]).

Онъ переживалъ эту жизнь своимъ чуткимъ воспріимчивымъ сердцемъ; на нее онъ отзывался сильными и яркими настроеніями, которыя закрѣплялись стихомъ. Вотъ почему въ этотъ періодъ жизни поэтъ былъ, по преимуществу, «эхомъ» окружающей его жизни,—создать свой собственный міръ онъ еще не успѣлъ, подавленный наплывомъ пестрыхъ впечатлѣній. Между тѣмъ, къ такому созданію онъ уже шелъ, приближаясь къ нему самостоятельно... Литературная дѣятельность его за этотъ періодъ лучше всего докажетъ намъ это.

Мы видѣли уже, что въ поэзіи этого періода сказывается, прежде всего, старая пушкинская черта—*разнообразіе мотивовъ*,—всѣ пестрыя настроенія его жизни находятъ отраженіе въ творчествѣ. «Новымъ» въ его творчествѣ было пониманіе того, что̀ должно быть *содержаніемъ поэзіи*. Если въ первомъ, лицейскомъ, періодѣ своего творчества онъ всегда соединялъ «любовь» съ «поэзіей»,—воспѣвалъ вмѣстѣ Эрота и Феба, то теперь съ «поэзіей» онъ соединяетъ «свободу». Те-

---

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 97.

перь ни въ одномъ стихотвореніи ниразу не называетъ онъ себя «пѣвцомъ любви», — онъ говоритъ только о свободѣ, о независимости, какъ главной цѣли своей жизни: ради нея онъ готовъ даже отказаться отъ гусарства [1]); теперь для него важно «уединеніе и свобода» [2]); другу своему Кюхельбекеру онъ даетъ завѣтъ «не разлучаться съ свободою и Фебомъ» [3]). Вотъ почему жизнь въ «сельской тиши» «съ цѣвницей, нѣгой и природой» [4]) для него теперь высшая радость; онъ «счастливъ» [5]), когда въ уединеніи наслаждается своимъ одиночествомъ, вдали отъ «толпы непросвѣщенной» [6]), отъ «слѣпой черни» [7]), лелѣя тайныя мечты о грядущей свободѣ; онъ «свободной душой» [8]) «боготворитъ законъ» [9]) и лучше постигаетъ творчество «для немногихъ» [10]); теперь онъ знаетъ «сладострастіе высокихъ мыслей и стиховъ» [11]) и легче наслаждается прекраснымъ. Все это очень характерно. Очевидно, въ этотъ періодъ безтолковой суетливой жизни, когда поэтъ, повидимому, былъ вѣчно во власти другихъ,—на самомъ дѣлѣ, онъ оставался вѣрнымъ себѣ: съ дѣтскихъ лѣтъ онъ боролся за свободу своей *личной* жизни,—теперь это присущее

---

[1]) Соч. «Къ товарищамъ», Посланіе къ В. Л. Пушкину, 173.
[2]) Соч. I, «Посланіе къ В. Л. Пушкину», 175.
[3]) Соч. I, «Разлука», 179.
[4]) Соч. I, «Орлову», 204.
[5]) Тамъ же.
[6]) Соч. I, «Деревня» 207.
[7]) Соч. I, «Добрый совѣтъ», 176.
[8]) Соч. I, «Деревня», 205.
[9]) Тамъ же.
[10]) Соч. I, «Жуковскому» 193.
[11]) Тамъ же, 194.

ему тяготѣніе къ независимости выразилось въ бравированьи «мнѣніемъ свѣта», въ полной свободѣ поведенія [1]); наконецъ, оно нашло себѣ исходъ въ стремленіи къ идеаламъ политической и художественной свободы... Вотъ почему теперь особенно охотно онъ называетъ себя «пѣвцомъ свободы»; вотъ почему онъ готовъ былъ даже преувеличить свое преклоненіе передъ божествомъ «свободы».

Къ этому періоду творчества относится, между прочимъ, созданіе Пушкинымъ бо́льшей части его перваго крупнаго произведенія: «Русланъ и Людмила». Старики «ложно-классики» осудили и въ формѣ этого произведенія, и въ содержаніи его «свободу творчества», не подчиненнаго правиламъ. Поэма была начата еще въ лицеѣ, въ 1817 году, къ августу 1819 года окончены были пять пѣсенъ и набросана шестая, послѣдняя [2]). Поэма писалась на глазахъ у друзей-арзамасцевъ, читалась частями и, повидимому, возбуждала у всѣхъ истинный восторгъ, сквозящій въ ихъ письмахъ. Такъ 9-го мая 1818-го года Батюшковъ писалъ Вяземскому, что «Пушкинъ пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ» [3]). А. И. Тургеневъ 18-го декабря 1818-го года сообщаетъ тому же Вяземскому, что «Пушкинъ кончаетъ четвертую пѣснь «Руслана» [4])

---

[1]) Соч. I, «Къ Каверину» 172—3; «Добрый совѣтъ», 176; «Къ товарищамъ», 176—7; «Къ Щербинину» 188; «Вас. Вас. Энгельгардту», 198; «Стансы», 200—1.

[2]) Окончательно приготовлена къ печати поэма была 23 марта 1820 года.

[3]) *Батюшковъ*, Соч. III, 494.

[4]) Остаф. Арх. I, 174.

февраля 12-го 1819-го года Тургеневъ сообщаетъ Вяземскому, что Пушкинъ слегъ въ постель и снова принялся за свою поэму [1]). 24-го марта 1819-го года Батюшковъ просилъ переслать ему въ Неаполь поэму Пушкина [2]). 19-го августа Тургеневъ сообщаетъ Вяземскому, что «Пушкинъ вернулся изъ деревни съ шестою пѣснью Руслана» [3]). Наконецъ, 25-го февраля Тургеневъ пишетъ Вяземскому, что Пушкинъ «почти кончилъ свою поэму», и онъ уже «два раза слушалъ ее» [4]). Весною того же года 26-го марта, послѣ чтенія «Руслана», Жуковскій подарилъ Пушкину портретъ съ надписью: «Побѣдителю ученику отъ побѣжденнаго учителя въ тотъ высокоторжественный день, въ который онъ окончилъ свою поэму «Руслана и Людмилу» [5]) 1820-го года марта 26 великая пятница». Изъ всѣхъ этихъ фактовъ видно, что друзья Пушкина носились съ этой поэмою,—его первымъ крупнымъ произведеніемъ, которое должно было ихъ общаго баловня и любимца выдвинуть въ первые ряды русскихъ писателей.

Его ближайшими друзьями «арзамасцами» были все тѣ-же Жуковскій, Вяземскій, А. И. Тургеневъ, нѣсколько въ сторонѣ стоялъ Карамзинъ. Идолъ «Арзамаса» онъ, по этому самому, былъ близокъ Пушкину, но, какъ столпъ консерватизма въ ту смутную пору, онъ, какъ извѣстно, вызывалъ негодованіе со стороны либераловъ. Это «негодованіе» порой захватывало и Пушкина... Если лицеистомъ

---

[1]) Тамъ же, I, 191. [2]) *Батюшковъ*, Соч. III, 550. [3]) Тамъ же, I, 293. [4]) Тамъ же, II, 23. [5]) *А. Н. Веселовскій* «В. А. Жуковскій», Спб. 1904, воспроизведенъ портретъ съ подписью.

онъ въ чинную семью историографа вносилъ свой мальчишескій задоръ и шумливость, то теперь онъ являлся въ кабинетъ Карамзина съ либеральными рѣчами. Его горячность выводила изъ себя даже спокойнаго, уравновѣшеннаго Карамзина... Немудрено, что возникали обоюдныя недоразумѣнія, которыя только усиливались отъ безплодныхъ стараній Карамзина «исправить» молодого «либералиста». Историографъ, по собственному его признанію, «истощилъ всѣ способы образумить эту безпутную голову», и послѣ того начиналъ спорить, даже сердиться... Такъ однажды между ними произошло столкновеніе, о которомъ самъ Пушкинъ вспоминалъ потомъ съ горечью: «Карамзинъ отстранилъ меня отъ себя, глубоко оскорбивъ и честолюбіе, и сердечную къ нему привязанность» [1]). Любопытно, что, подъ живымъ впечатлѣніемъ этой обиды, Пушкинъ сталъ во враждебныя отношенія къ недавно-почитаемому человѣку и сочинилъ двѣ (?) эпиграммы на него, какъ автора «Исторіи Государства Россійскаго» [2]). Самъ Пушкинъ утверждалъ, впослѣдствіи, что имъ была написана *одна,* менѣе обидная [3]): «Послушайте, я Вамъ скажу»).

Одна изъ нихъ:

«Въ его исторіи изящность, простота
Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута! (Соч. I, 195.).

Между тѣмъ, вѣдь въ томъ же 1818 году онъ еще былъ въ восхищеніи отъ этой Исторіи. «Это было,

[1]) Соч. I, 182, «Письмо къ кн. Вяземскому». [2]) Соч. I, 195. [3]) Соч. VII, 182.

вспоминаетъ онъ, въ февралѣ 1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ своей постели съ жадностью и со вниманіемъ. Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ [1]). Тогда легкомысліе и злостность критиковъ Исторіи возмущали его, теперь онъ круто измѣнилъ свое мнѣніе.

Въ этомъ любопытномъ фактѣ прекрасно выразились характерная черта пушкинской души—полная ея неуравновѣшенность, готовность отдаваться впечатлѣніямъ, способность слишкомъ глубоко, но мимолетно ихъ переживать...

Когда пролетала злая минута раздраженія, Пушкинымъ овладѣвало раскаянье, и сердце его цѣликомъ обращалось къ тѣмъ добрымъ чувствамъ, которыя, въ сущности, были обычными въ его отношеніяхъ съ друзьями. Конечно, кто испыталъ разъ неустойчивость его сердца, тотъ навсегда оставался настороже въ отношеніяхъ къ поэту. Такъ, Карамзинъ, хлопотавшій за Пушкина, когда надъ нимъ разразилась гроза, и заботившійся вмѣстѣ съ нѣкоторыми друзьями поэта, о замѣнѣ ссылки на Соловки ссылкой въ болѣе счастливыя страны, на югъ, говорилъ относительно каявшагося Пушкина слѣдующее: «изъ жалости къ таланту замолвилъ слово, взявъ съ него обѣщаніе уняться. *Не знаю, что будетъ.* Мнѣ уже поздно учиться сердцу человѣческому—иначе я могъ бы похвалиться новымъ удостовѣреніемъ, что либе-

[1]) Соч. V, 40. Еще объ Исторіи: I, 194. Въ 1825 году онъ писалъ: «что за чудо два послѣдніе тома Карамзина! Какая жизнь! C'est palpitant, comme la gazette d'hier» (VII, 150)

рализмъ нашихъ молодыхъ людей совсѣмъ не есть геройство и великодушіе»[1]).

Попрежнему прочными и ровными оставались отношенія Пушкина къ Жуковскому. Всякое соприкосновеніе съ этой «кристальной», «свѣтлой душой» [2]) подымало и очищало поэта. Мы видѣли, что еще у ребенка Пушкина, по его собственному признанью, душа летѣла «къ возвышенной душѣ» Жуковскаго и, въ его присутствіи, «пламенѣла въ восторгахъ» [3]). Мы видѣли уже, неразъ что всякій проблескъ болѣе чистыхъ и глубокихъ настроеній сейчасъ же заставлялъ Пушкина обращаться къ свѣтлому образу Жуковскаго и легко подчинялъ его той «плѣнительной сладости», которой вѣяло отъ «пѣвца Свѣтланы» и его стиховъ. «Ты правъ, писалъ Пушкинъ въ «посланіи» къ другу, творишь ты *для немногихъ*,—не для толпы, а для «друзей таланта строгихъ» [4]),—для тѣхъ, чья душа была полна «восторгомъ пламеннымъ и яснымъ». Очевидно, къ такимъ «немногимъ» Пушкинъ причислялъ и себя, признавая за собою способность подниматься до пониманія «высокихъ мыслей и стиховъ»... Это признаніе было «новостью» въ исторіи его поэтическаго развитія,—

---

[1]) Письма Карамзина къ И. Дмитріеву. «Графъ Каподистрія, знакомый съ характеромъ настоящихъ агитаторовъ въ Европѣ, понималъ Пушкина чуть ли не лучше самыхъ близкихъ его знакомыхъ и хорошо видѣлъ, на какой основѣ тщеславія, минутныхъ увлеченій и молодыхъ страстей держится вся его политическая пропаганда». (*Анненковъ*, «Пушкинъ», 141).

[2]) Соч. VII, «Письмо къ Жуковскому отъ 17 авг. 1825 г.», 150.

[3]) Соч. I, 164.

[4]) Соч. I, «Жуковскому» 193.

до того онъ рѣшительно открещивался отъ всякой «серьезной» поэзіи, предпочитая ей застольныя пѣсни въ честь любви и вина,—теперь, подъ вліяніемъ Жуковскаго, онъ началъ серьезнѣе цѣнить прелесть возвышенной поэзіи. Эти «подъемы» были спасеньемъ для музы Пушкина, порою слишкомъ низко летавшей надъ землей. Вотъ почему, когда поэтъ почувствовалъ первые приступы пресыщенія жизни и усталости,—опять въ немъ проснулась жажда чего-то болѣе высокаго и чистаго, опять сказалось тяготѣніе къ Жуковскому и его музѣ—и въ его поэзіи опять зазвучали чистые мотивы [1]). Повторилось съ нимъ совершенно то же, что было въ лицеѣ,—сначала безумное охмѣленіе радостями жизни,—затѣмъ протрезвленіе, тоска и муки сердца... «Ужъ я не тотъ!» восклицалъ поэтъ,—«легкой мечтой», пролетѣли «златые годы» [2]) «безумства жаръ, веселость, острота»—теперь тоска посѣщаетъ его «за чашей ликованья» [3]) и «задумчивость», «незванная подруга пировъ» [4]). Теперь, среди забавъ, «унылой думой» онъ бываетъ омраченъ [5]); «не милъ ему сладкой жизни сонъ» — «отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья» у него въ сердцѣ «осталось одно уныніе», очищающее душу отъ старыхъ «заблужденій» [6])...—Когда же въ измученной душѣ поэта опять «возникаютъ свѣтлыя видѣ-

---

[1]) Соч. I. «Позволь душѣ моей открыться предъ тобою», 196, «Уныніе» (не спрашивай зачѣмъ 201) «Возрожденіе» 208».

[2]) Соч. I, «Къ нему-же» (Горчакову) 212.

[3]) Тамъ же.

[4]) I, 201 «Уныніе».

[5]) Тамъ же.

[6]) Соч. I, 208, «Возрожденіе».

нія» «первоначальныхъ чистыхъ дней» [1]) — опять, какъ въ лицеѣ, рядомъ съ этими «видѣніями», проясняется передъ нимъ образъ Жуковскаго, съ его сердечнымъ идеализмомъ, съ чистотою его поэтическихъ грезъ...

Сближало Пушкина съ его друзьями-арзамасцами и то обстоятельство, что въ тѣсномъ ихъ кругу и Жуковскій, и его друзья не прочь были похохотать и подурачиться. Эта атмосфера шумнаго смѣха, равнявшаго всѣхъ, особенно была по душѣ Пушкину, который, въ значительной степени, оставался еще ребенкомъ, не смотря на опыты жизни. «Угрюмый и молчаливый въ многочисленномъ обществѣ, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. М. Каратыгина, Саша Пушкинъ, бывая у насъ, смѣшилъ своею рѣзвостью и ребяческой шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидитъ спокойно на мѣстѣ; вертится, прыгаетъ, пересаживается, перероетъ рабочій ящикъ матушки, спутаетъ клубокъ гаруса въ моемъ вышиваньѣ, разбросаетъ карты въ гран-пасьянсѣ, раскладываемомъ матушкою. «Да уймешься ли, стрекоза?», крикнетъ, бывало, моя Евгенія Ивановна, «перестань, наконецъ»! Саша минуты на двѣ пріутихнетъ, а тамъ опять начнетъ проказничать. Какъ-то матушка пригрозилась наказать неугомоннаго Сашу: остричь ему когти—такъ называла она его огромные отпущенные на рукахъ ногти. «Держи его за руку», сказала она мнѣ, взявъ ножницы, «а я остригу!» Я взяла Пушкина за руку, онъ поднялъ крикъ на весь домъ, началъ притворно

[1]) Тамъ же.

всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижаютъ, и до слезъ разсмѣшилъ насъ»... [1]). Однимъ словомъ, это былъ ребенокъ, симпатичный въ атмосферѣ любви и сердечной дружбы, который дѣлался невыносимымъ своею рѣзкостью и запальчивостью тамъ, гдѣ онъ встрѣчалъ вражду, или, просто, равнодушіе. Такимъ мѣстомъ въ Петербургѣ была, напримѣръ, квартира его родителей.

Рано сбросивши со своихъ плечъ тяжелую обузу воспитанія сына, они были не прочь смотрѣть на него, какъ на чужого человѣка. Онъ, вѣроятно, сознавалъ эту отчужденность, не находя у родителей поддержки ни своимъ чувствамъ, ни своимъ стремленіямъ и мечтамъ. Вскорѣ начались и открытыя столкновенія. Прежде всего, Пушкинъ столкнулся съ ними на почвѣ денегъ. Для его широкой жизни, само собою разумѣется, требовались средства, ихъ не хватало родителямъ даже на свои прихоти, а своимъ прихотямъ они, конечно, всегда отдавали предпочтеніе; что̀ оставалось, то шло на любимыхъ дѣтей—Льва и Ольгу, а Александръ, съ его гусарскими замашками, встрѣчалъ не только отказъ, но иногда даже насмѣшку. Однажды Пушкинъ упрашивалъ отца купить ему бальные модные башмаки съ пряжками, а отецъ, знатокъ модъ и приличій, предлагалъ ему свои старые, временъ павловскихъ. Неразсчетливый и даже расточительный, Сергѣй Львовичъ дѣлался скупцомъ по отношенію къ старшему сыну, и этимъ вызывалъ со стороны того рѣзкое раздраженіе, переходившее или въ открытыя вспышки,

---

[1]) *А. М. Каратыгина*, «Записки», «Русская Старина», 1880. № 7.

или въ то затаенное озлобленіе, которое такъ ясно сквозитъ въ одной продѣлкѣ поэта. Разсказываютъ, что, раздобывъ гдѣ-то запасъ золотыхъ червонцевъ, онъ, въ присутствіи отца, съ лодки швырялъ ихъ въ воду, любуясь ихъ блескомъ, потухающимъ въ прозрачной рѣчной глубинѣ. Баронъ Корфъ нѣсколько лѣтъ жилъ въ томъ же домѣ, гдѣ поселился отецъ поэта. «Домъ ихъ, разсказываетъ баронъ Корфъ, представлялъ какой-то хаосъ; въ одной комнатѣ богатыя старинныя мебели, въ другой пустыя стѣны, даже безъ стульевъ; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхіе рыдваны, съ тощими клячами, пышные дамскіе наряды и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ и до послѣдняго стакана. Когда у нихъ обѣдывало человѣка два, три лишнихъ, то всегда присылали къ намъ за приборами» [1]). Очевидно, въ эту пору мы застаемъ экономическія обстоятельства Пушкиныхъ въ худшемъ положеніи, чѣмъ въ Москвѣ. Быть можетъ, именно эта широкая, безалаберная жизнь и привела въ 1814 г. Сергѣя Львовича къ необходимости на старости лѣтъ, послѣ сытой барской жизни взяться за чиновничье ремесло. Какъ бы тамъ ни было, но отъ такого положенія особенно страдалъ нелюбимый членъ семьи. Увлекаясь карточной игрой, водя знакомство съ «золотой молодежью», онъ долженъ направо и налѣво, а родители ему дѣлали сцены даже за то, что онъ «больной, въ осеннюю грязь или трескучіе морозы, бралъ извозчика» [2]) (слова Пушкина). Съ матерью отношенія были холодно-враж-

[1]) *Я. Гротъ*, op. cit.

[2]) Соч. VII, 52, письмо къ Л. Пушкину отъ 25 авг.

дебныя. Какъ въ дѣтствѣ, такъ и теперь, онъ, уже прославленный поэтъ—былъ чужимъ и непонятымъ въ родной семьѣ. Посторонніе относились къ нему сердечнѣе. Жуковскій слѣдилъ за каждымъ его шагомъ, А. И. Тургеневъ, видный въ то время чиновникъ, носился съ нимъ, считалъ его, какъ бы на своей отвѣтственности и, по словамъ кн. Вяземскаго, говорилъ: «не знаю, что̀ съ нимъ дѣлать, точно курица, высидѣвшая утятъ» [1]). Онъ же торопился ввести своего опекаемаго въ серьезную литературную работу, надѣясь на то, что она подыметъ его въ собственныхъ глазахъ. Вотъ почему онъ сердечно радовался, когда Пушкинъ принимался за «Руслана и Людмилу»,— поэму, которая начата была давно. По поводу «Руслана и Людмилы» Тургеневъ писалъ Вяземскому: «Племянникъ почти кончилъ свою поэму, и я на-дняхъ два раза слушалъ ее — пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, лично для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и, слѣдовательно, уважаемыхъ авторовъ, онъ и самъ станетъ уважать себя и нѣсколько остепенится. Теперь его знаютъ только по мелкимъ стихамъ и крупнымъ шалостямъ» [2]). Разсчетъ былъ вѣренъ. Литература спасала Пушкина, отвлекала отъ суеты и заставляла сосредоточиться. Сближеніе съ литераторами, участіе въ литературной борьбѣ арзамасцевъ—принуждало его серьезнѣе относиться къ творчеству, его цѣлямъ и идеаламъ...

Пушкинъ весь вышелъ изъ старой французской

[1]) *П. Вяземскій*, «А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго Архива». *П. Бартеневъ*, «Пушкинъ», II, 14.

[2]) Тамъ же.

поэтической школы XVIII-го вѣка. Мы видѣли уже, что Арзамасъ жилъ неяснымъ протестомъ противъ ложныхъ классиковъ и смутнымъ предчувствіемъ поэзіи «свободнаго чувства». Такимъ образомъ, Пушкинъ, изъ воспитанниковъ французской школы, попалъ въ ряды ея обличителей. На первыхъ порахъ, впрочемъ, онъ сдѣлался «эклектикомъ», ограничился тѣмъ, что нападалъ на *бездарныхъ русскихъ* псевдоклассиковъ, радостно ухватился за теорію «свободнаго творчества», но ни слова не сказалъ противъ самого псевдоклассицизма и его заграничныхъ вожаковъ. Онъ охотно завязывалъ сношенія, заводилъ знакомство съ уважаемыми людьми другого литературнаго лагеря. Такъ очень оригинально познакомился онъ съ П. А. Катенинымъ, за которымъ упрочилась слава критика, вооруженнаго тонкимъ знаніемъ теоріи псевдоклассицизма. «Пушкинъ просто пришелъ въ 1818-омъ году къ Катенину, разсказываетъ г. Анненковъ, и, подавая ему трость свою, сказалъ: «я пришелъ къ вамъ, какъ Діогенъ къ Антисѳену: побей—но выучи!»—«Ученаго учить—портить!», отвѣчалъ Катенинъ[1]). Ихъ пріятельскія отношенія, по словамъ Пушкина, основывались «не на одинаковомъ образѣ мыслей, но на любви къ одинаковымъ занятіямъ». Это инстинктивное влеченіе къ тѣмъ людямъ, которые съ любовью и сознаніемъ относились къ поэзіи и другимъ искусствамъ, сблизило Пушкина въ 1817 г., съ Крыловымъ, Грибоѣдовымъ, Олениннымъ. Конечно, ихъ общество могло имѣть только сильное и благотворное вліяніе на Пушкина: съ одной стороны,

[1]) *П. Анненковъ*, «Матеріалы», 50.

оно отвлекало его отъ бурной жизни, давало серьезное направленіе его мыслямъ, а, съ другой стороны, въ бесѣдѣ съ этими умнѣйшими и образованнѣйшими людьми своего времени, Пушкинъ имѣлъ возможность пополнить пробѣлы своего первоначальнаго образованія, недостаточность котораго не замедлила обнаружиться [1]). Кромѣ того, сближеніе съ людьми другихъ поэтическихъ вѣрованій, чѣмъ арзамасцы, было также очень полезно для Пушкина, оно поддерживало независимость его теоретическихъ убѣжденій: и раньше Пушкинъ никогда всецѣло не примыкалъ къ одному литературному настроенію,—даже въ лицейскій періодъ творчества онъ создалъ стихи различнаго направленія,—теперь, благодаря знакомству съ людьми разнообразныхъ литературныхъ толковъ, прирожденная его духу независимость вкуса подкрѣплена была этой разносторонностью убѣжденій.

Насколько быстро росла популярность Пушкина, видно изъ того, что 25-го іюля 1818 года онъ, 19-ти лѣтній юноша, выбранъ былъ въ члены Вольнаго Общества любителей словесности [2]). Несомнѣнно, къ этому времени относятся и первыя мысли Пушкина о «классицизмѣ» и «романтизмѣ», о значеніи поэзіи и вообще литературы. Конечно, эти вопросы

---

[1]) Друзья Пушкина единогласно свидѣтельствуютъ, что, за исключеніемъ двухъ первыхъ годовъ его жизни въ свѣтѣ, онъ очень трудился надъ дальнѣйшимъ своимъ образованіемъ. Онъ самъ, нѣсколько позднѣе, съ упрекомъ говорилъ о современныхъ ему литераторахъ слѣдующее: «мало у насъ писателей, которые бы учились: большая часть только разучиваются». «*Анненковъ*» Матеріалы, 4.

[2]) *И. Кубасовъ*, А. С. Пушкинъ—членъ С.-Петербургскаго Вольнаго Общества любителей словесности, «Русская Старина» 1899 № 5.

его сильно интересовали, если онъ, не довольствуясь своими «арзамасцами», пошелъ «учиться» къ Катенину. О своихъ серьезныхъ занятіяхъ этого времени Пушкинъ говоритъ неразъ; любопытно, что почти всегда эти занятія въ его представленіи связывались съ деревней. «Тамъ онъ спасался отъ суеты столицы праздной, отъ вредной сплетницы-молвы, отъ скуки столь разнообразной» [1]).

Деревня его дарила досугомъ, давала ему возможность сосредоточиться; онъ съ радостью мѣнялъ резиденцію «царей на мирный шумъ дубравъ, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышленья» [2]). Здѣсь онъ, «отъ суетныхъ оковъ освобожденный», учился «въ истинѣ блаженство находить» [3]). Здѣсь онъ занимался самообразованіемъ, вопрошая «оракуловъ вѣковъ»; «въ уединеньи величавомъ» слышнѣе былъ ему «ихъ отрадный гласъ» [4]), въ немъ рождался «жаръ» къ трудамъ, ихъ «творческія думы зрѣли въ его душевной глубинѣ» [5]). И не только въ этомъ стихотвореніи говорилъ онъ о деревнѣ и ея значеніи... «Вышедъ изъ лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ Псковскую деревню моей матери. Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и пр... Но все это нравилось мнѣ недолго. Я любилъ и донынѣ люблю шумъ и толпу» [6]). Характерно, что затѣмъ, послѣ шума и городской

---

[1]) Соч. I. 199 «Вас. Вас. Энгельгардту».
[2]) Соч. I. «Деревня» 205.
[3]) Тамъ же.
[4]) Тамъ же, 206.
[5]) Тамъ же.
[6]) Соч. V. 22, «Встрѣча съ П. Ганнибаломъ».

суеты, его всегда тянуло опять въ деревню. Тогда онъ увѣрялъ себя, что «рожденъ для жизни мирной, для деревенской тишины» [1]), и ему казалось, что счастливѣйшіе дни его жизни были тѣ, что проведены въ деревнѣ...

Въ эпилогѣ къ «Руслану» Пушкинъ вспоминалъ, сколько наслажденія доставляло ему его творчество. Тогда, въ минуты вдохновенья, онъ всегда былъ одинокъ со своей музой, [2]) онъ дѣлался «зрителемъ равнодушнымъ» суетливаго міра [3]), онъ забывалъ легко обиды «слѣпого счастья и враговъ», «измѣны вѣтреной Дориды и сплетни шумныя глупцовъ» [4]). «На крыльяхъ вымысла носимый» [5]), онъ свободно улеталъ «за край земной», и тогда безсильны были надъ нимъ впечатлѣнія дѣйствительности. Далѣе поэтъ благодарилъ друзей, которые спасли его отъ «грозы», сохранивъ ему свободу,—этотъ «кумиръ» его «кипящей молодости» [6]).

Пушкинъ указалъ, что содержаніе его поэмы—«дѣла давно минувшихъ дней», «преданья старины глубокой»... Но это несправедливо. Даже, если допустить невѣрную, но въ дни Пушкина общепринятую, точку зрѣнія на былины, какъ на «воспоминанія о далекой старинѣ», то и такая точка зрѣнія по отношенію къ «Руслану» окажется непримѣнимой, такъ какъ

---

[1]) Соч. III. Гл. I, 257. «Евгеній Онѣгинъ».
[2]) Соч. II, 274. «Русланъ и Людмила».
[3]) Тамъ же.
[4]) Тамъ же.
[5]) Тамъ же
[6]) Тамъ же, 244.

въ этомъ произведеніи поэтъ примкнулъ не къ народной поэзіи, а къ той грубой литературной поддѣлкѣ ея, которая у насъ въ XVIII вѣкѣ сходила за творчество въ «народномъ духѣ». Поэма Пушкина [illegible]я вышла изъ волшебно-рыцарскихъ романовъ Чулкова («Пересмѣшникъ» и «Русскія сказки») и Попова («Славянскія древности, или похожденія русскихъ князей»). Эти произведенія, въ свою очередь, тѣсно примыкаютъ къ поэмамъ Аріоста, Боярдо, къ романамъ-пародіямъ Виланда и пр., съ тѣмъ только отличіемъ, что въ русскія подражанія вставлены имена русскихъ богатырей,—имена, взятыя изъ былинъ, а иногда и вымышленныя.

Какъ всѣ волшебнорыцарскіе романы и поэмы («Амадисы», «Пальмерины», «Влюбленный Роландъ», «Рихардетъ», «Неистовый Роландъ» и другіе подобные),—такъ и романы Чулкова и Попова построены на шаблонныхъ схемахъ: рыцари разыскиваютъ красавицъ, похищенныхъ чародѣемъ, или какимъ нибудь насильникомъ. Для освобожденія красавицы нужно преодолѣть рядъ трудностей, испытаній, надо вооружиться особыми «талисманами», волшебными мечами и пр. Подвигъ, конечно, удается,—чародѣй оказывается побѣжденымъ, и благодарная красавица награждаетъ своею любовью избавителя — рыцаря. Совершенно такъ же построена поэма Пушкина; сравнительно съ романами Чулкова и Попова, въ ней нѣтъ ни одного новаго мотива, но зато она граціозна, удивительно-свѣжа, вся пропитана тонкимъ остроуміемъ, блещетъ яркостью красокъ и благоухаетъ тѣмъ красивымъ, изящнымъ сладострастіемъ, которое такъ характерно

для лицейскаго его творчества. Такая своеобразная окраска рыцарскихъ авантюрныхъ мотивовъ, которые у другихъ писателей разрабатывались серьезно, приближаетъ поэму Пушкина къ тѣмъ «пародіямъ» на волшебно-рыцарскіе романы, къ которымъ относятся произведенія Виланда, «рѣзваго Гамильтона», Вольтера, отчасти Лафонтена, съ его популярнымъ у насъ романомъ объ Амурѣ и Психеѣ...

Можно думать, что идея о такомъ произведеніи, какъ «Русланъ и Людмила» давно уже назрѣвала въ головѣ поэта,—еще ребенкомъ, онъ слушалъ сказки няни, вѣроятно, не только чисто-народныя, но и такія заносныя, какъ, напримѣръ, сказку объ Ерусланѣ и Бовѣ... Мы видѣли, что еще въ домѣ родительскомъ онъ былъ свидѣтелемъ стихотворныхъ упражненій камердинера Никиты, который пытался переложить въ стихи лубочный романъ «Бову королевича». Въ лицеѣ самъ Пушкинъ занялся этимъ Бовой и оставилъ намъ начало поэмы. Въ изящной литературѣ были тоже сдѣланы попытки въ подобномъ направленіи. Таковы поэмы Карамзина, Радищевыхъ (отца и сына), Львова и др.

По настроенію, поэма принадлежитъ еще къ лицейскому періоду пушкинскаго творчества,—ясное доказательство того, что не только идея произведенія, но и содержаніе и освѣщеніе ея готовы были до 1817 года. Въ печати «Русланъ» появился лишь въ концѣ мая 1820 года и встрѣченъ былъ такимъ единодушнымъ восторгомъ, котораго не удостоилось ни одно изъ послѣдующихъ твореній Пушкина. Этотъ фактъ, очевидно, свидѣтельствуетъ о

томъ, что поэма Пушкина оказалась по плечу толпѣ: въ самомъ дѣлѣ, въ «Русланѣ» все было знакомо тогдашней русской публикѣ, но это знакомое трактовалось на новый ладъ,—избитыя старыя формы заполнились новою жизнью, знакомые сюжеты и герои обновились, рѣзвая иронія и легкій ароматъ тонкаго цинизма пронизалъ все произведеніе,—и старинные аляповатые образы затрепетали въ поэмѣ Пушкина живыми красками—реставрація старой потускнѣвшей картины оказалась ея пересозданіемъ. Это удивило и поразило всѣхъ...

...Въ сердцѣ бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь, и тишина...
„Чаадаеву“, I, 226.

«Какъ часто по скаламъ Кавказа
Она Ленорой при лунѣ
Со мной скакала на конѣ!
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской!».
„Евгеній Онѣгинъ“, III, 382.

«И зеленѣющая влага
Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аюдага.
„Бахчисарайскій фонтанъ“, II, 337.

«И своды скалъ, и моря блескъ лазурный
И ясныя, какъ радость, небеса?..»
„Желаніе“, I, 237.

«Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты...
„Элегія“, I, 238.

«Мой другъ, мой нѣжный другъ...
Люблю... Твоя... Твоя...»
„Ночь“, I, 298.

«Саранча летѣла, летѣла—
И сѣла...
„Экспромтъ“, I, 303.

«Прощай—свободная стихія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя...
„Къ морю“, I, 303.

На югѣ.

(1820 — 1824 г.)

Въ серединѣ мая 1820 года Пушкинъ пріѣхалъ на мѣсто новаго назначенія въ гор. Екатеринославъ. Съ сердечной добротой и участіемъ встрѣтилъ поэта генералъ Инзовъ, новый его начальникъ. Но Пушкину нескоро пришлось вступить въ исправленіе своихъ новыхъ обязанностей. Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда, выкупавшись въ Днѣпрѣ, онъ сильно простудился и слегъ въ кровать. Случайно черезъ Екатеринославъ проѣзжалъ въ это время на Кавказскія минеральныя воды генералъ Раевскій съ семействомъ; младшій сынъ его, Николай Николаевичъ, знавшій Пушкина еще лицеистомъ и познакомившійся съ нимъ въ обществѣ царскосельскихъ гусаровъ, узнавъ о болѣзни поэта, навѣстилъ его и засталъ, какъ разсказываютъ, «въ бреду, въ грязной жидовской хатѣ, въ обществѣ одного крѣпостного, Никиты». Повидимому, Пушкинъ страдалъ «малярiей»—болѣзнью, которая нѣсколько разъ возвращалась къ Пушкину лѣтомъ 1820 года и въ началѣ декабря того же 1820 года.

Старикъ Раевскій, извѣстный герой отечественной войны, былъ одинъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ и симпатичныхъ людей эпохи; высоко цѣнилъ онъ и родныхъ писателей, поддерживая съ нѣкоторыми изъ нихъ личныя связи. Зналъ онъ Пушкина по его первымъ произведеніямъ, а еще болѣе, конечно, по слухамъ. Молодые Раевскіе съ высокими нравственными качествами своего отца соединяли рѣдкое, по тому времени, образованіе. Они интересовались поэзіей,— родной и иностранной, читали Вальтеръ - Скотта и Байрона въ оригиналѣ въ то время, когда ихъ, особенно послѣдняго, почти еще не знали наши, даже записные, литераторы. Младшій изъ нихъ, пріятель Пушкина, Николай Николаевичъ, страстно любилъ искусства—литературу, музыку, живопись, самъ писалъ стихи. Онъ довольно долго оставался однимъ изъ главныхъ совѣтниковъ Пушкина въ дѣлахъ литературныхъ, и его взгляды, насколько о нихъ можно судить, по нѣкоторымъ даннымъ, отличались глубиной, оригинальностью и вѣрностью. Объ Александрѣ Николаевичѣ Раевскомъ, старшемъ сынѣ Раевскаго, составилось мнѣніе, какъ объ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени; изображеніе его души современники (да и онъ самъ) склонны были видѣть въ «Демонѣ» пушкинскаго стихотворенія 1823 г. [1]). Такъ же интересны были и дочери ген. Раевскаго. Съ старшей изъ нихъ — Екатериной Николаевной, за которою позднѣе утвердилось прозвище «Марѳы Посадницы», Пушкинъ особенно охотно часто разго-

[1]) Соч. I, 292-3.

варивалъ и спорилъ. Сестра ея, замкнутая, серьезная и скромная, Елена Николаевна, хорошо знавшая англійскій языкъ, переводила Байрона, Вальтеръ-Скотта на французскій; съ ней также подружился поэтъ и, говорятъ, подъ ея вліяніемъ, свелъ первое знакомство съ сочиненіями Байрона.

Просьба Н. Н. Раевскаго о разрѣшеніи Пушкину ѣхать съ нимъ на Кавказъ отцомъ была уважена. Инзовъ ничего противъ этого не имѣлъ, далъ отпускъ своему подчиненному[1]), и, въ послѣднихъ числахъ мая 1820 года, поэтъ, пробывъ въ Екатеринославѣ менѣе двухъ недѣль, неожиданно для себя отправился на Кавказъ. Лишь къ первымъ числамъ іюня Пушкинъ съ Раевскимъ добрался до «Минеральныхъ водъ». Счастье улыбнулось ему: въ семьѣ Раевскихъ онъ нашелъ сердечныхъ и просвѣщенныхъ людей, сумѣвшихъ создать вокругъ него здоровую атмосферу, которая подѣйствовала очищающимъ и успокаивающимъ образомъ на встревоженное и усталое сердце поэта. Если прибавить къ этому сильныя впечатлѣнія отъ путешествія, отъ наслажденія природой Кавказа, Крыма, то понятной сдѣлается та удивительная перемѣна, которая произошла въ настроеніи Пушкина: его стихи, его письма говорятъ намъ о необыкновенномъ спокойствіи, которое спустилось теперь на его душу, о безоблачномъ счастьѣ, которымъ онъ наслаждался въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ (съ мая 1820 года по

[1]) Впрочемъ, Н. М. Карамзинъ въ письмѣ къ Дмитріеву положительно (хотя бездоказательно) заявляетъ, что это путешествіе на Кавказъ дозволено было Пушкину, какъ знакъ прощенія поэта за прошлыя его вины. (Переписка Карамзина съ Дмитріевымъ, 290).

21 сентября). «Мой другъ, писалъ Пушкинъ брату 24-го сентября, вернувшись изъ поѣздки;—счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ я посреди семейства почтеннаго Раевскаго. Я не видѣлъ въ немъ героя, славу русскаго войска, — я въ немъ любилъ человѣка, съ яснымъ умомъ, съ простотой, прекрасной душой, снисходительнаго, попечительнаго друга, всегда милаго, ласковаго хозяина. Свидѣтель екатерининскаго вѣка, памятникъ 12-го года, человѣкъ безъ предразсудковъ съ сильнымъ характеромъ и чувствительностью, онъ невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его высокія качества. Старшій сынъ его будетъ болѣе, нежели извѣстенъ. Всѣ его дочери—прелесть, старшая—женщина необыкновенная. Суди, былъ ли я счастливъ: свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства,—жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край; природа, удовлетворяющая воображеніе, горы, сады, море...» [1]). Однимъ словомъ, все въ этой новой жизни было Пушкину пріятно: и люди, которыхъ онъ, очевидно, уважалъ, какъ немногихъ въ своей жизни, и семейная обстановка, которая пригрѣла его сердце, неизбалованное лаской, но искавшее ея жадно, и природа, съ новыми нахлынувшими настроеніями. По существу своему будучи «искателемъ новыхъ впечатлѣній» [2]), Пушкинъ былъ глубоко благодаренъ Н. Н. Раевскому за то, что тотъ вытащилъ его изъ Екатеринослава и подарилъ его этими

[1]) Соч. VII, 10, письмо къ Л. Пушкину отъ 24 сент.

[2]) Соч. I, «Погасло дневное свѣтило», 223.

впечатлѣніями. Мы видѣли, что онъ засталъ поэта больнымъ, одинокимъ, въ самомъ угнетенномъ настроеніи... Лихорадочное состояніе еще болѣе взвинчивало его воображеніе,—немудрено, что поэтъ палъ духомъ,—сталъ представлять себя жертвой общества: ему казалось, что «онъ погибалъ безвинный, безотрадный» [1]), «шопотъ клеветы» ему чудился [2]), «кинжалъ измѣны хладной» [3]) и «любви тяжелый сонъ» [4]) его «терзали и мертвили». Онъ «рано скорбь узналъ» [5]) и «испыталъ гоненья» [6]), сдѣлался «жертвой мстительныхъ невѣждъ». Теперь онъ готовъ былъ уже увѣрить себя и другихъ, что «пережилъ свои желанья, разлюбилъ мечты» [7]), что «одни страданія» [8]) остались въ его «пустомъ сердцѣ» [9])... Нѣжное участіе Раевскаго принесло ему отраду душевной тишины, и впечатлительный поэтъ сразу успокоился, «мирно отдыхалъ сердцемъ» [10]) и «въ мирной пристани боговъ благословилъ» [11]). Забыты были недавнія тревоги и въ «сердце, бурями смиренное, вселилась и лѣнь, и тишина» [12]), «Волненья жизни бурной» [13]) утихли подъ

---

1) Соч. II, «Кавказскій плѣнникъ», 276.
2) Тамъ-же.
3) Тамъ-же, 277.
4) Тамъ-же.
5) Тамъ же.
6) Тамъ же.
7) Соч. I, «Элегія», 238.
8) Тамъ же.
9) Тамъ же.
10) Тамъ же.
11) Соч. II, «Кавказскій плѣнникъ», 277.
12) Соч. I, «Чаадаеву», 226.
13) Соч. I, «Желаніе», 237.

небесами юга, и поэтъ душой «заснулъ на лонѣ мирной лѣни» [1]). Теперь онъ—«безпечный сынъ природы», подѣтски, всей душой, наслаждается жизнью, свободной и безмятежной. Насколько сильны были впечатлѣнія отъ природы Кавказа, отъ его полубоевой, полукультурной жизни, это видно и въ его письмахъ, и въ его произведеніяхъ. Новыя впечатлѣнія приподымали Пушкина, настраивали его на романтическій ладъ,—онъ самъ признавался, что на Кавказѣ «тѣнь опасности нравилась его мечтательному воображенію» [2]). Его муза въ скалахъ Кавказа явилась въ «одеждѣ новой» [3]): ее прельстилъ «суровый нарядъ» вольныхъ горцевъ...

Здѣсь, на Кавказѣ, началъ онъ свою поэму:—«Кавказскій плѣнникъ»,—по крайней мѣрѣ, записная книжка Пушкина свидѣтельствуетъ, что содержаніе поэмы, и герои ея интересовали его еще въ августѣ 1820 года [4]). Поэма окончательно отдѣлана была лишь въ февралѣ, или мартѣ 1821 года [5]).

5-го августа 1820 года послѣ двухъ мѣсяцевъ, проведенныхъ вмѣстѣ на Минеральныхъ водахъ, Пушкинъ съ Раевскими отправился въ Крымъ. Памятникомъ его путешествія по Черному морю осталась

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Соч. VII, 9. «Письмо къ Л. С. Пушкину» отъ 24-го сентября 1820 года.

[3]) Соч. II, «Кавказскій плѣнникъ», 296. «Станицы, казачьи пикеты, конвой съ заряженою пушкой, словомъ вся эта близость опасности плѣнила его младое, мечтательное воображеніе». *Л. Пушкинъ* «Молодость Пушкина». (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 7).

[4]) *В. Ѳ Боцяновскій* «Новый списокъ Кавказскаго плѣнника» (Сборникъ памяти Л. Н. Майкова» Спб. 1899, стр. 484.

[5]) *А. М. Лобода*, «А. С. Пушкинъ въ Каменкѣ» (Кіевск. универ. Изв. 1899, № 5, 89—90).

элегія: «Погасло дневное свѣтило» [1])—произведеніе, въ которомъ вліяніе Байрона (Прощальная пѣснь Чайльдъ-Гарольда), пройдя чрезъ мягкую, полную любви, душу Пушкина, потеряло и свою суровость, и свою энергію. Вмѣсто «байроновскихъ» получились настроенія «шатобріановскія», расплывчатыя, сентиментально-унылыя.

Три недѣли съ половины сентября провелъ Пушкинъ въ Крыму въ Гурзуфѣ. Онъ наслаждался Крымомъ съ моря, съ корабля, наслаждался во время экскурсій, поѣздокъ; онъ наблюдалъ жизнь татаръ, мечталъ надъ моремъ, къ которому привязался всей душой [2]). Теперь его сердце смирилось [3]). «Покойны чувства, ясенъ умъ», душа свободная отъ «мрачныхъ думъ» неизвѣстная доселѣ нѣга и грусть, и даже робкія мечты о возможности возвращенія какого-то давно затерянnаго счастья [4]), — вотъ, чѣмъ жилъ теперь Пушкинъ. «Въ Юрзуфѣ я жилъ сиднемъ»,—писалъ онъ Дельвигу въ 1824 году въ декабрѣ изъ Михайловскаго.—«Купался въ морѣ и объѣдался виноградомъ; я тотчасъ привыкъ къ полуденной природѣ и наслаждался ею со всѣмъ равнодушіемъ и безпечностью неаполитанскаго lazzaroni. Я любилъ, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ молодой кипарисъ, каждое утро я посѣ-

---

[1]) Самъ Пушкинъ эту элегію помѣтилъ «сентябремъ».

[2]) Соч. VII, 10. «Письмо къ Л. С. Пушкину» отъ 24 сентября 1820 г.

[3]) Соч. I, «Чаадаеву», 226.

[4]) Соч. I, 225. «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», 237. «Желанье», 288, «Таврида».

щалъ его, и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество» [1]). Но поэтъ жилъ не только «безоблачнымъ» настоящимъ,—за это время онъ многое передумалъ о своемъ «прошломъ». Прожитая жизнь пронеслась передъ нимъ, «окрашенная чувствомъ сожалѣнія и грусти». Онъ старался забыть эти «слѣды минувшихъ лѣтъ» [2]) и «младости мятежное теченье» [3]), старался забыть своихъ «минутныхъ друзей» [4]) и «наперсницъ порочныхъ заблужденій» [5]). Прошлая жизнь казалась ему теперь «незанимательною повѣстью безумства и страстей» [6]). Онъ осуждалъ себя и жалѣлъ за то, что «рано въ буряхъ отцвѣла его потерянная младость» [7]). Эти тяжелыя минуты самообвиненія, самоанализа, были мучительны,—подъ ихъ вліяніемъ, иногда забывались всѣ живыя впечатлѣнія дѣйствительности, тускнѣли даже политическія мечтанья... Поэтъ уходилъ въ себя. Иногда онъ готовъ былъ даже повѣрить, что все прошлое похоронено, что начинается новая жизнь, и тѣмъ больнѣе для него были «глубокія раны» какой-то прежней любви [8]). Такимъ образомъ, и къ этому прошлому отношеніе у него всетаки оказалось двойственнымъ,—то онъ, не безъ сожалѣнія, восклицаетъ: «прошелъ веселый жизни праздникъ» [9]), то этотъ «плѣнитель-

[1]) Соч. VII, 101.
[2]) Соч. I, 256, «Къ ***» 230. «Мнѣ васъ не жаль».
[3]) Тамъ же.
[4]) Соч. I, «Погасло дневное свѣтило», 223.
[5]) Тамъ же.
[6]) Тамъ же.
[7]) Соч. I, «Погасло дневное свѣтило», 223.
[8]) Тамъ же.
[9]) Соч. I, 248, «Ник. Ст. Алексѣеву».

ный кумиръ», которому онъ прежде служилъ, кажется лишь «призракомъ ложнымъ» [1]) и «лицемѣріемъ, самообманомъ, любовью безъ любви, наслажденіемъ безъ истинной радости». Въ тихой обстановкѣ семьи Раевскаго, въ бесѣдахъ этихъ просвѣщенныхъ людей, въ занятіяхъ литературой и англійскимъ языкомъ съ младшей Раевской, Пушкинъ впервые постигъ «всю прелесть тихаго труда и жажды размышленій» [2]). Немудрено, что онъ въ такія свѣтлыя минуты, весь охваченный новою жизнью, не жалѣлъ о томъ, что покинулъ «шумный кругъ безумцевъ молодыхъ, минутной младости минутныхъ друзей» [3]) и «наперстницъ порочныхъ заблужденій» [4]), но минуты пролетали, и, вмѣсто ликованья, стала навѣщать его тоска, «разочарованіе»... Съ одной стороны, этотъ странный перебой настроеній, конечно, указывалъ на нѣкоторую усталость его души, а, съ другой, объясняется и тѣми вліяніями поэзіи «міровой скорби», съ которою Пушкинъ познакомился еще въ Петербургѣ: Шатобріанъ, съ его Рене, былъ давно извѣстенъ Пушкину и, быть можетъ, въ минуты утомленія, давно уже отражался въ его радостномъ творчествѣ сѣрыми тонами. Теперь для этихъ настроеній почва была благодарная: Пушкинъ былъ оторванъ отъ прежней жизни, въ ней онъ имѣлъ основанія разочароваться, старое было вырвано изъ сердца, новое еще его не заполнило,—оставалась въ сердцѣ пустота,—луч-

---

[1]) Тамъ же; еще: 287, «Красы Лаисъ..».
[2]) Соч. I, 241, «Къ Чаадаеву».
[3]) Тамъ же.
[4]) Соч. I, 223, «Погасло дневное свѣтило».

шая почва для разочарованія. Любопытно, что подъ вліяніемъ литературныхъ образовъ, Пушкинъ сталъ воображать себя *добровольнымъ* изгнанникомъ, подобно Рене, *по своей волѣ* покинувшимъ прежнюю жизнь. Какъ разъ во-время подошло увлеченіе Байрономъ, этимъ геніальнымъ ученикомъ Шатобріана. Гордая муза англійскаго скорбника, полная презрѣнія къ человѣчеству, нашла отзвукъ въ впечатлительной душѣ нашего поэта; онъ зналъ уже раньше первые приступы этого презрѣнія къ «толпѣ» [1]), даже тогда, когда терялся въ ней,—теперь, когда судьба оторвала его отъ толпы, когда онъ былъ далекъ отъ нея, отъ ея вліяній,—онъ тѣмъ легче могъ познать всю малоцѣнность «культурной» жизни и ея мелочныхъ чувствъ: «минутной дружбы» и «минутной любви»,—для «презрѣнія» былъ широкій просторъ въ его душѣ. Но обстоятельства жизни въ семьѣ Раевскихъ, жизнь въ Крыму и на Кавказѣ отвлекли его отъ этихъ настроеній, не дали имъ развиться до байроновскаго озлобленія, до его безпощадной жестокости. Да и сердце у Пушкина было не байроновское,—онъ могъ лишь «байронствовать», но не могъ перевоплотиться въ Байрона. Вотъ почему и теперь, самъ того не сознавая, онъ подъ флагомъ Байрона, шелъ все еще за Шатобріаномъ. Вотъ почему даже то стихотвореніе, которое самъ Пушкинъ назвалъ «подражаніемъ» Байрону—«Погасло дневное свѣтило» (написано въ концѣ августа 1820 года), звучитъ по-шатобріановски; герой поэмы «Кавказскій Плѣнникъ»—

---

[1]) См. выше.

полное повтореніе Ренэ. Такимъ образомъ, не «байронизмъ» постигъ Пушкинъ, а ту грусть, которую онъ зналъ и раньше, и которая теперь у него, подъ вліяніемъ готовыхъ литературныхъ образовъ, искусственно взвинчивалась до *разочарованія*, съ тѣмъ, чтобы порою смѣняться живымъ, радостнымъ сознаніемъ, что тосковать о прошломъ не приходится, что тамъ нѣтъ ни истинной дружбы, ни любви, что тамъ одинъ кошмаръ, а что теперь начинается новая жизнь...

Разставшись съ Раевскимъ, «лелѣя надежду» увидѣть опять ихъ милое семейство и «полуденный берегъ» [1]), Пушкинъ, проводивъ ихъ до Симферополя или Перекопа, поѣхалъ въ Кишиневъ, куда 15 іюня временно переведенъ былъ Инзовъ намѣстникомъ Бессарабской области. 1-го сентября Пушкинъ былъ уже въ Кишиневѣ, но уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же года, вѣроятно, пользуясь благодушіемъ Инзова, онъ снова покидаетъ Кишиневъ и пріѣзжаетъ гостить въ имѣніе Каменку, Кіевской губ., принадлежавшее матери генерала Раевскаго Е. И. Давыдовой (по второму мужу). Тамъ встрѣтилъ онъ кромѣ Раевскихъ, Александра и Василія Львовича Давыдовыхъ, сводныхъ братьевъ генерала Н. Н. Раевскаго.

Жизнь въ Каменкѣ была широкая и шумная. Е. Н. Давыдова, племянница кн. Потемкина, была женщиной съ большимъ характеромъ, умомъ и вліяніемъ; въ ея домѣ умѣли весело и пышно жить, но умѣли интересоваться и книгой, и жгучими вопросами современности. Такъ, В. Л. Давыдовъ былъ однимъ изъ

---

[1]) Соч. VII, II, «Письмо къ Л. С. Пушкину» отъ 24 сент. 1820 г.

ревностныхъ членовъ тайнаго общества и умеръ въ Красноярскѣ, сохранивъ до конца дней ясность ума, прямоту души и чистоту сердца. М. Ѳ. Орловъ, съ 1821 года мужъ старшей дочери Раевскаго, «либеральный генералъ», занимался въ Кіевѣ дѣлами библейскаго общества, былъ въ свое время сочленомъ Пушкина по Арзамасу, гдѣ носилъ прозвище «Рейна», былъ основателемъ московской школы живописи и ваянія. Такимъ образомъ, для развитія интересовъ политическихъ, литературныхъ и художественныхъ Пушкинъ нашелъ въ Каменкѣ много живого и разнообразнаго матеріала. «Я теперь нахожусь въ Кіевской губ. въ деревнѣ Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ отшельниковъ, братьевъ генерала Раевскаго»,—писалъ Пушкинъ 4-го декабря изъ Каменки Н. И. Гнѣдичу.—«Время мое протекаетъ между аристократическими обѣдами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь разсѣянное, было недавно—разнообразная смѣсь умовъ оригинальныхъ, людей извѣстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ. Вы повѣрите легко, что, *преданный мновенью,* мало заботился я о толкахъ петербургскихъ» [1]). Любопытно, что поэтъ подчеркиваетъ свою *преданность мновенію,*—черту, которая для него, дѣйствительно, характерна и замѣчалась имъ самимъ неоднократно.

Здѣсь, въ Каменкѣ, поэтъ попалъ въ круговоротъ культурной жизни и, послѣ сладостнаго крымскаго

---

[1]) Соч. VII, 11, «Письмо къ Н. И. Гнѣдичу» отъ 4 дек. 1820 г.

отдыха, опять заволновался обострявшимися тогда политическими интересами, къ которымъ были близки обитатели Каменки.

Декабристъ И. Д. Якушкинъ, посѣтившій Каменку какъ разъ въ то время, когда тамъ гостилъ Пушкинъ, разсказываетъ о слѣдующемъ любопытномъ эпизодѣ, рисующемъ и общество Каменки, и настроенія Пушкина: «Н. Н. Раевскій подозрѣвалъ о существованіи тайнаго союза и имѣлъ основаніе думать, что Якушкинъ и Давыдовы—участники его. Въ присутствіи Пушкина организовалось совѣщаніе по вопросу о томъ, нужно ли, или нѣтъ тайное общество въ Россіи. Со стороны настоящихъ участниковъ союза, вѣроятно, это было лишь зондированіемъ настроеній двухъ непосвященныхъ: Раевскаго и Пушкина. Когда, послѣ горячихъ дебатовъ, всѣ, повидимому, согласились въ необходимости такого общества, иниціаторы совѣщанія со смѣхомъ заявили, что всѣ эти разговоры—мистификація. Пушкинъ, горячившійся болѣе другихъ, былъ очень взволнованъ и, вѣроятно, оскорбленъ такимъ оборотомъ дѣла,—онъ всталъ, раскраснѣвшись, и сказалъ со слезами на глазахъ: «я никогда не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь; я уже видѣлъ жизнь мою, облагороженную, и высокую цѣль передъ собою, и все это было только злая шутка». Въ эту минуту онъ былъ точно прекрасенъ» [1]). Такъ легко забывались обѣщанія, недавно еще данныя поэтомъ Карамзину,—«преданный минутѣ», увлекаемый всегда теченіями окружающей

---

[1]) *И. Д. Якушкинъ*, «Записки декабриста», 68—70.

жизни, поэтъ всей душой отдавался своимъ впечатлѣніямъ; онъ, быть можетъ, именно здѣсь, въ Каменкѣ, провозглашалъ «тосты» за «здоровье тѣхъ и той [1]),—тѣхъ это—итальянскихъ карбонаріевъ, той—революціонной Франціи, скованной реставраціей. Вотъ почему и смерть Августа Коцебу отъ кинжала Занда, въ свое время (1819 г.) для него прошедшая безслѣдно, теперь, раскрашенная красками радикализма, отозвалась въ его творчествѣ великолѣпнымъ гимномъ въ честь кинжала [2]) («Кинжалъ»). Настроеніе поэта приподымалось разговорами, слухами о политическомъ броженіи русскаго общества, уже принимавшемъ опасный характеръ военныхъ мятежей [3]).

Но, кромѣ такихъ жгучихъ интересовъ, Пушкинъ, подъ вліяніемъ старика Раевскаго и его друзей, сталъ интересоваться вообще русской исторіей. Непосредственнымъ результатомъ этихъ интересовъ были его различныя «историческія замѣчанія», въ которыхъ, впрочемъ, трудно выдѣлить, что̀ было своимъ, что̀

---

[1]) Соч. VII, 20—21 «Письма П. Л. Давыдову», начало апрѣля.

[2]) Соч. I, 239.

[3]) 17—21 октября 1820 г.—возмущеніе Семеновскаго полка.

Впрочемъ, по мнѣнію Анненкова, «Каменка не отличалась твердымъ служеніемъ какой-либо политической идеѣ, или яснымъ пониманіемъ и преслѣдованіемъ какой-либо цѣли и задачи пропагандиаго свойства. Она подчиняла себѣ Пушкина совсѣмъ не общественной, или революціонной стороной своей дѣятельности, а тономъ своихъ сужденій о лицахъ и предметахъ, образомъ мышленія, въ ней господствовавшимъ, способомъ относиться къ явленіямъ жизни и духовному міру человѣка, ею усвоеннымъ. Ни передъ кѣмъ такъ не хотѣлось Пушкину блеснуть либерализмомъ, свободой отъ предразсудковъ, смѣлостію выраженія и сужденія, какъ передъ друзьями, оставленными въ Каменкѣ». (*П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 181).

чужимъ, навѣяннымъ бесѣдами и спорами о прошломъ и будущемъ Россіи. По словамъ Н. П. Липранди, Пушкинъ искусственно поднималъ споры и разговоры о такихъ предметахъ, о которыхъ онъ мало зналъ, но которые его интересовали [1]); замѣчанія и соображенія, высказанныя людьми компетентными, никогда не пропадали для него даромъ. Конечно, общество Раевскихъ и ихъ друзей—родственниковъ, въ этомъ отношеніи, было для поэта драгоцѣннымъ. Подъ живымъ впечатлѣніемъ этой серьезной, и въ то же время, кипучей жизни Пушкинъ естественно вспомнилъ Чаадаева, его уютный кабинетъ, его бесѣды, «младые вечера», съ нимъ проведенные, его «пророческіе сны и вольнолюбивыя надежды». Только теперь, подъ вліяніемъ Раевскихъ и ихъ друзей, онъ постигъ, какъ слѣдуетъ, Чаадаева, вспомнилъ его уроки и серьезно сталъ мечтать о томъ, чтобы пополнить пробѣлы въ своемъ образованіи и «въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ» [2]). Пушкинъ сталъ съ этого времени поглощать всѣ, сколько нибудь, серьезныя, книги, имѣйшіяся у него подъ рукой.

Во время пребыванія въ Каменкѣ, написано (вѣрнѣе отдѣлано) нѣсколько стихотвореній, отражавшихъ еще крымскія настроенія, закончена поэма «Кавказскій Плѣнникъ», поэма, пропитанная давно уже пережитыми настроеніями. Образъ ея героя сложился тоже давно,—быть можетъ, еще тогда, когда поэтъ, согласно инструкціи, «безъ остановокъ», катилъ изъ Петербурга на югъ,

---

[1]) *Н. П. Липранди*, «Дневникъ и воспоминанія» (Русскій Архивъ, 1866).

[2]) Соч. I, «Чаадаеву», 241.

въ ссылку... Для этого героя Кавказъ подсказалъ лишь фонъ. Теперь, когда поэма была окончена, Пушкинъ уже далеко отошелъ отъ нея,—вотъ почему она была ему чужда, и онъ былъ недоволенъ ею.

Можно думать, что въ обществѣ Раевскихъ онъ провелъ на этотъ разъ около двухъ мѣсяцевъ, такъ какъ 15 декабря 1820 года А. Л. Давыдовъ извѣщалъ Инзова о болѣзни Пушкина, не позволяющей ему вернуться къ сроку. Судя по письму Инзова [1]) отъ 29 декабря, въ это время Пушкинъ еще не возвратился въ Кишиневъ, а въ началѣ 1821 года онъ съ Раевскими былъ въ Кіевѣ на свадьбѣ М. Ѳ. Орлова и Екатерины Николаевны Раевской. Изъ Кіева Пушкинъ опять вернулся въ Каменку и лишь въ мартѣ 1821 года вернулся въ Кишиневъ.

Такое свободное отношеніе къ срокамъ отпуска и распоряженіямъ правительства вызвало безпокойство у кишиневской полиціи, которая сочла долгомъ объ исчезновеніи Пушкина донести бессарабскому областному правительству, предполагая, что Пушкинъ выѣхалъ въ Москву еще до полученія указа. Вѣроятно, заступникомъ поэта былъ самъ Инзовъ, который и въ другомъ случаѣ его прикрылъ: изъ Кишинева донесли въ Петербургъ, что Пушкинъ публично ругаетъ даже въ кофейныхъ военное начальство и правительство; по приказанію государя гр. Каподострія запросилъ 13 апрѣля 1821 года объ этомъ Инзова, но тотъ 28 апрѣля отвѣчалъ одобреніемъ поведенія

[1]) Теплый сердечный отвѣтъ Инзова, проникнутый отеческою любовью къ молодому поэту, напечатанъ въ «Дѣлѣ о Пушкинѣ», изд. Пушк. Комиссіи Одесск. лит. О-ва. Одесса, 1899.

поэта и просилъ о высылкѣ ему 700 руб. въ годъ содержанія. Пушкинъ «ведетъ себя хорошо, и при настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ, не оказываетъ никакого участія въ сихъ дѣлахъ... но, побуждаясь тѣмъ же духомъ, коимъ исполнены всѣ Парнасскіе жители, къ ревностному подражанію нѣкоторымъ писателямъ въ разговорахъ своихъ со мною обнаруживаетъ иногда піитическія мысли». Далѣе Инзовъ сообщаетъ, что Пушкинъ, лишившись жалованья, и «не имѣя пособій» отъ родителя, при всемъ возможномъ отъ меня вспомоществованіи терпитъ однакожъ иногда нѣкоторый недостатокъ въ приличномъ одѣяніи» [1]). 1 декабря 1821 года Инзовъ писалъ второе защитительное письмо, на этотъ разъ кн. П. М. Волконскому на запросъ, не масонъ ли Пушкинъ. Инзовъ, самъ масонъ, очевидно, зная о масонствѣ поэта, отвѣтилъ, что масонскихъ ложъ въ Молдавіи не существуетъ. Вотъ почему 4 декабря, вѣроятно, подъ его давленіемъ закрыта послѣдняя масонская ложа «Овидій»... № 25 [2]).

Если въ обществѣ Раевскихъ Пушкина и берегли, окружали разными удобствами, быть можетъ, даже, спасая его талантъ, не взяли въ Тайный Союзъ, то не такъ благополучно обстояло дѣло въ Кишиневѣ, куда, въ концѣ концовъ, послѣ всевозможныхъ проволочекъ, въ родѣ удостовѣренія о болѣзни (въ первыхъ числахъ марта 1821 года) долженъ былъ вер-

---

[1]) «Письма Пушкина и къ Пушкину». Новые матеріалы... ред. и прим. *Вал. Брюсова*, М., 1903, 8.

[2]) Въ январѣ 1826 г. «Пущкинъ писалъ В. А. Жуковскому: «я былъ масонъ въ кишиневской ложѣ» (Р. Арх. 1866, 1248—49).

нуться Пушкинъ. Здѣсь, на первыхъ порахъ, онъ жилъ еще впечатлѣніями Каменки, — всѣ лучшія стихотворенія 1821 года [1]) написаны въ началѣ кишиневской жизни. Но время шло, и Пушкинъ, преданный минутѣ, поддался пошлой, полуевропейской жизни молдаванскаго Кишинева. Цѣлый рядъ анекдотовъ самаго разнообразнаго свойства, отъ смѣшныхъ до циничныхъ, остался краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ отношеній Пушкина къ малокультурнымъ туземцамъ и чиновникамъ гор. Кишинева. Здѣсь, въ пестрой обстановкѣ захолустнаго города, поэтъ томился и, ради развлеченія, выискивалъ мишени для своего остроумія. Щедрою рукой разсыпалъ онъ остроты, эпиграммы, экспромты и сатиры, добродушныя и злобныя [2])...

Такимъ образомъ, власть «среды» и «моментъ» еще разъ показали свою силу надъ нимъ. Обиліе красивыхъ женщинъ, вольныхъ въ обращеніи, легкость нравовъ, атмосфера волокитства и любовныхъ интригъ—все это, давно знакомое, опять имъ овладѣло... Онъ «съ наслажденіемъ окунулся въ этотъ заманчивый міръ минутныхъ связей и легкихъ увлеченій» [3]). Вмѣстѣ съ впечатлѣніями этой головокружительной жизни, стали воскресать и старыя настроенія, — въ

---

[1]) Соч. I, напр. «Желаніе» 235, «Чаадаеву» 241, «Къ моей чернильницѣ» 243, «Наперстница волшебной старины» 246, «Элегія» 255, «Къ ***» 256, «Къ Овидію» 258.

[2]) «Эпиграмма была его кинжаломъ. Онъ не щадилъ ни враговъ правоты, ни враговъ собственныхъ,—поражалъ ихъ прямо въ сердце, не щадилъ и всегда былъ готовъ отвѣчать за удары свои». (*Вельтманъ* «Бессарабскія воспоминанія» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 124).

[3]) *Венкстернъ*, op. cit., 57.

стихахъ зазвучали опять мотивы сладострастія, правда, капризно перебивавшіеся прежними тоскливыми настроеніями, говорящими о пресыщеніи жизни, о презрѣніи къ людямъ... Началось прежнее бравированье жизнью, выразившееся въ дуэляхъ [1]), началась прежняя игра съ понятіями, священными для другихъ... Ссоры Пушкина съ Ѳ. Ѳ. Орловымъ, А. П. Алексѣевымъ, людьми интеллигентными (конецъ октября 1820 года), дуэль съ Зубовымъ изъ-за картъ (въ концѣ 1821 года), дуэль съ полковникомъ С. Н. Старовымъ (въ январѣ 1822 г.), ссора съ чиновникомъ Лановымъ, избіеніе молдавскаго боярина Тодора Балша (4 февраля 1822 г.),— все это факты, свидѣтельствующіе о задорности поэта,— о томъ нервномъ возбужденномъ настроеніи, въ который приводила его кишиневская толпа. Въ Киши-

[1]) «Въ Кишиневѣ «два раза «полевалъ» и Пушкинъ, но, къ счастью, дѣло не доходило даже до первой крови, и, послѣ первыхъ выстрѣловъ, его противники предлагали миръ, а онъ принималъ его... Пушкинъ не боялся пули точно такъ же, какъ и жала критики. Въ то время, какъ въ него цѣлили, казалось, что онъ, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлялъ злую эпиграмму на стрѣльца и на промахъ». (*Вельтманъ*, Бессарабскія воспоминанія, *Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 126—7).

«...У него была къ тому же еще одна «нравственная особенность. Онъ не могъ удержаться именно отъ соблазна идти на встрѣчу опасности, какъ только она представлялась, хотя бы въ ней не были замѣшаны его честь и личное достоинство, хотя бы она даже не обѣщала ни славы, ни удовлетворенія какому либо нравственному чувству. Ему нужно было только дать исходъ природной удали и отваги, которыя, по справедливому замѣчанію Н. П. Липранди, такъ преобладали у него, что давали ему видъ военнаго человѣка, не отгадавшаго своего настоящаго призванія. Онъ даже не могъ слушать разсказа о какомъ либо подвигѣ мужества безъ того, чтобъ не разгорѣлись его глаза и не выступила краска на лицѣ, а передъ всякимъ дѣломъ, гдѣ нуженъ былъ рискъ, онъ становился тотчасъ же спокоенъ, веселъ, простъ». *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 209.

невѣ «Пушкинъ становится подверженъ частымъ вспышкамъ неудержимаго гнѣва, которыя находили на него, по поводу ничтожнѣйшихъ случаевъ жизни, но особенно при малѣйшемъ подозрѣніи, что на пути къ осуществленію какой-либо, болѣе или менѣе, рискованной затѣи, встрѣчается посторонній, мѣшающій человѣкъ. Самолюбіе его дѣлается болѣзненно-чуткимъ и раздражительнымъ. Онъ достигаетъ такого неумѣреннаго представленія о правахъ своей личности, о свободѣ, которая ей принадлежитъ, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающіе, даже, при самомъ добромъ желаніи, не всегда могутъ приноровляться къ этому кодексу»... Въ минуты раздраженія «онъ уже не выбираетъ словъ, не взвѣшиваетъ поступковъ, не думаетъ о послѣдствіяхъ. Дуэли его въ Кишиневѣ пріобрѣли всеобщую извѣстность и удостоились чести быть перечислены въ нашей печати» [1]).

Такимъ образомъ, ночь, окутавшая мракомъ сознаніе поэта въ эту кишиневскую эпоху, была, дѣйствительно, темною ночью, и яркіе просвѣты зрѣлой мысли, которыми она прорѣзывалась, свидѣтельствуютъ только о мощи его духа, свободнаго даже въ эту пору видимаго порабощенія мутнымъ впечатлѣніямъ жизни.

---

1) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 208. До его петербургскихъ друзей свѣдѣнія объ его жизни доходили случайныя: 30 мая 1822 года кн. Вяземскій сообщалъ А. И. Тургеневу, что « Кишиневскій Пушкинъ ударилъ въ рожу одного боярина и дрался на пистолетахъ съ однимъ полковникомъ. Онъ, сказываютъ, проподаетъ отъ тоски, скуки и нищеты». *Бартеневъ*, Пушкинъ, II, 223.

Современники поэта, видѣвшіе его въ этотъ періодъ жизни, оставили намъ цѣлый рядъ свидѣтельствъ, указывающихъ на разнузданность его тогдашняго поведенія [1]).

Черновыя тетради поэта за это время доказываютъ намъ, что его фантазія жила въ мірѣ какихъ-то дикихъ и мрачныхъ призраковъ: излюбленными рисунками его являются «дьяволы». Эта «чертовщина», которая сдѣлалась въ это время, очевидно, его idée fixe, свидѣтельствуетъ о своеобразности его тогдашнихъ душевныхъ настроеній. Судя по сохранившимся стихотворнымъ отрывкамъ, онъ въ это время думалъ о какой-то по литической сатирѣ, дѣйствіе которой развертывается въ аду [2]).

Къ службѣ своей Пушкинъ относился съ полнымъ пренебреженіемъ: очевидно, старикъ Инзовъ только для очистки совѣсти прибѣгалъ иногда къ помощи своего своенравнаго чиновника, посылая его то въ Аккерманъ, то въ Измаилъ, то въ другія мѣста подвѣдомственной ему области. Въ остальное время Пушкинъ былъ свободенъ и могъ развлекаться согласно своимъ вкусамъ и наклонностямъ.

Впрочемъ, чѣмъ глубже уходилъ онъ въ «толпу», тѣмъ болѣзненнѣе чувствовалъ онъ свою пробудившуюся личность, свое одинокое положеніе въ этой

---

[1]) *А. Ѳ. Вельтманъ*, «Бессарабскія воспоминанія», (*Ак. Л. Майковъ* op. cit. 92)... Воспоминанія *бади-Тодоре* (Русск. Арх., 1899 № 6, 340). *Ив. Халиппа* «Городъ Кишиневъ временъ жизни въ немъ А. С. Пушкина». Киш. 1899. *Бартеневъ* «Пушкинъ въ южной Россіи» Русск. Арх. 1866. *Липранди* (Русск. Арх. 1867).

[2]) *П. Анненковъ*, Пушкинъ, 176.

толпѣ. Вотъ почему, подъ вліяніемъ такихъ настроеній, Байронъ—«поэтъ личности», и Наполеонъ, могучее «воплощеніе личности», стали казаться ему и близкими, и болѣе понятными... Въ первый періодъ увлеченія поэзіей «міровой скорби» поэтъ понялъ эту поэзію одностороннѣе—только со стороны разочарованія, унынія—въ результатѣ, получился герой «Кавказскаго Плѣнника» и нѣсколько аналогичныхъ, по настроенію, стихотвореній,—ихъ основной тонъ минорный: поэтъ жалобился и грустилъ... Теперь эта «поэзія міровой скорби» повернулась къ Пушкину другой своей стороной—гордымъ сознаніемъ личности. Въ связи съ этимъ обострилось у него «презрѣніе» къ толпѣ. Все это старыя, давно знакомыя Пушкину настроенія, отразившіяся даже въ его раннихъ лицейскихъ стихахъ, но теперь они нашли себѣ поддержку въ геройхъ Байрона, въ образѣ Наполеона, въ проясняющемся самосознаніи и въ низкой оцѣнкѣ русскаго общества вообще, а кишиневскаго въ частности... Въ результатѣ — рядъ восторженныхъ отзывовъ о французскомъ императорѣ, который, еще недавно, казался поэту только «преступникомъ» [1]); въ результатѣ—первыя, быть можетъ, еще неясныя, очертанія Алеко, конечно, по духу своему ближе подходившаго къ героямъ Байрона, чѣмъ герой «Кавказскаго Плѣнника»; отсюда, наконецъ, рядъ стихотвореній, въ которыхъ поэтъ защищаетъ права своей личности отъ посягательства «толпы», или воспѣваетъ свое одиночество и презрѣніе къ людямъ [2]).

[1]) См. выше, стр. 88.

[2]) См. соч. VII, 31, 50, 68, 76, I, 230 «Мнѣ васъ не жаль», 237 «Къ Аг-

Но нетрудно замѣтить, что, отказавшись отъ разочарованія и скорби, оставя себѣ, взамѣнъ нхъ, «самовозвеличеніе личности» (эготизмъ) и презрѣніе къ людямъ, Пушкинъ попрежнему не подчинился всецѣло Байрону,—теперь онъ подошелъ къ нему съ другой стороны, но опять остановился вдали отъ него и по прежнему съ нимъ не слился...

Произошло это, прежде всего, потому, что Пушкинъ, въ силу своей душевной организаціи, никогда не былъ одностороннимъ [1]) и всегда, съ самаго дѣтства, былъ вполнѣ самостоятельнымъ; всѣ чуждыя вліянія проходили надъ нимъ не насилуя сущности его души. Теперь, послѣ переоцѣнки прошлой жизни, эта душа опредѣлялась съ каждымъ днемъ яснѣе. Вотъ почему интересы къ пошлой жизни Кишинева, равно какъ и преклоненіе передъ Байрономъ, доходившее до подражанія ему въ интимной жизни, не исчерпывали всего Пушкина,—въ его сердцѣ не умиралъ, но зрѣлъ

лаѣ», 239 «Кинжалъ», 241 Чаадаеву, 245 «Къ моей чернильницѣ»; 248 «Ник. Ст. Алексѣеву, 250 «Гробъ юноши», 251 «Наполеонъ», 271 «Люблю вашъ сумракъ», 273 «Узникъ», 281 «Къ Ѳ. Н. Глинкѣ», 286 «Къ***», 287 «Красы Лаисъ», 287, «Я говорилъ».

[1]) «Онъ оплакивалъ судьбу Овидія, трогательно взывалъ къ его тѣни и, не довольствуясь спорами о мѣстѣ погребенія его, совершилъ поѣздку въ обществѣ Липранди, по свидѣтельству послѣдняго, къ предполагаемому мѣсту Овидіевой гробницы. Все это факты вполнѣ опредѣленные, но остается затѣмъ неразъясненнымъ вопросъ: какъ могъ горделивый образъ Байрона мирно уживаться въ душѣ Пушкина рядомъ съ образомъ бѣднаго римскаго дэнди, лишеннаго всякой нравственной энергіи, разливавшагося постоянно въ лести, жалобахъ и мольбахъ къ Августу, изъ надежды возвратиться опять въ Римъ, къ мѣсту своихъ прежнихъ подвиговъ? Дѣло въ томъ, что и Байронъ, и Овидій были олицетвореніемъ противоположныхъ стремленій самого Пушкина въ ту эпоху» (*П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 166).

тотъ *внутренній человѣкъ*, котораго въ немъ, еще ребенкѣ, полюбила старая няня, въ лицеѣ—Пущинъ, въ Крыму—семья Раевскихъ, а здѣсь въ Кишиневѣ—старикъ Инзовъ. Оттого взаимныя отношенія поэта и Инзова очень любопытны.

Старый генералъ, подъ опеку котораго попалъ Пушкинъ, исповѣдывалъ, будучи масономъ, какъ и всѣ его единомышленники, «ученіе о благодати, способной просвѣтить всякаго человѣка, какимъ бы слоемъ пороковъ и заблужденій онъ ни былъ прикрытъ, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вотъ почему, напримѣръ, въ распущенномъ, подчасъ даже безумномъ, (но всегда искренне-каявшемся) Пушкинѣ, Инзовъ видѣлъ болѣе задатковъ будущности и моральнаго развитія, чѣмъ въ иномъ изящномъ господинѣ, съ приличными манерами, серьезномъ по наружности, но глубоко-испорченномъ въ душѣ» [1]). Мы видѣли уже неразъ, что почти всегда Пушкинъ начиналъ отношенія съ людьми съ того, что показывалъ имъ самыя невыгодныя свои стороны. Такъ же повелъ онъ себя и въ отношеніяхъ къ старику Инзову. Что-то расчитанно-злобное было въ тѣхъ проказахъ, которыя онъ позволялъ себѣ въ отношеніяхъ съ старымъ генераломъ... Такъ, напримѣръ, обѣдая у него каждый день, онъ нарочно заводилъ за столомъ вольнодумные разговоры и, зная строго-религіозныя убѣжденія хозяина, старался развивать наиболѣе противоположныя имъ теоріи. «Замѣчательно, прибавляетъ Анненковъ, что онъ никогда

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 169.

не могъ окончательно разсердить Инзова [1]). Въ результатѣ такихъ пробъ, поэтъ призналъ за Инзовымъ права на уваженіе и любовь [2]). «Инзовъ, писалъ онъ меня очень любилъ и за всякую ссору съ молдаванами объявлялъ мнѣ комнатный арестъ и присылалъ мнѣ, скуки ради, французскіе журналы. Генералъ Инзовъ добрый, почтенный... Онъ русскій въ душѣ... Онъ довѣряетъ благородству чувствъ, потому что самъ имѣетъ ихъ; не боится насмѣшекъ, потому что выше ихъ» [3]). Остается пожалѣть, что различіе возрастовъ и кратковременность совмѣстной жизни помѣшали Инзову сблизиться съ поэтомъ до такой степени, чтобы завоеванное имъ у поэта уваженіе сдѣлалось источникомъ постояннаго благотворнаго воздѣйствія на него. Такого воздѣйствія со стороны Инзова не было даже и тогда, когда поэтъ его оцѣнилъ такъ высоко. Жизнь поэта, попрежнему, была полна противорѣчій,—отъ безобразій разнаго размѣра онъ легко переходилъ къ вышучиванію мѣстныхъ красавицъ, или ихъ мужей; не щадилъ онъ

---

[1]) «Жилъ онъ въ домѣ генерала Инзова, который полюбилъ его, какъ сына. Пушкинъ тоже душевно къ нему привязался. Ихъ отношенія были очень забавны. Молодой, вѣтреный Пушкинъ шалилъ и проказилъ, генералъ Инзовъ получалъ на него донесенія и жалобы и не зналъ, что̀ съ нимъ дѣлать. Пушкинъ имѣлъ страсть бѣсить молдаванъ, а иногда поступалъ съ ними и гораздо хуже». *Л. Пушкинъ* «Молодость Пушкина» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ»—8), *А, П. К.* «Инзовъ въ южной Бессарабіи» (Русск. Арх. 1900 № 12).

[2]) Быть можетъ, совершенно безсознательно такимъ «экзаменамъ» подвергалъ Пушкинъ Энгельгардта, бар. Корфа, но, видно, тѣ этого испытанія не выдержали.

[3]) Соч. V. 38, «Воображаемый разговоръ съ Императоромъ Александромъ I».

и своихъ товарищей по канцеляріи; его забавляли скандалы, мальчишескія шалости, сердившія евреевъ; онъ любилъ нарушать «приличія» маскарадными переодѣваніями въ пестрые костюмы грековъ, молдаванъ и сербовъ, но на ряду съ этимъ онъ могъ увлекаться серьезной книгой, попадавшейся ему подъ руку, и вслушиваться внимательно въ тѣ либеральныя рѣчи, что велись въ мѣстныхъ военныхъ кругахъ. Одно время онъ весь былъ поглощенъ начавшейся борьбой грековъ за освобожденіе—объ этомъ увлеченіи свидѣтельствуютъ и стихотворенія его, и письма, и разныя замѣтки. Но, какъ во многихъ своихъ увлеченіяхъ, поэтъ разочаровался и въ этой романтической вѣрѣ въ «борцовъ за свободу». «Константинопольскіе нищіе, карманные воришки (coupeurs des bourses), бродяги безъ смѣлости, которые не могли выдержать перваго огня даже плохихъ турецкихъ стрѣлковъ,—вотъ, что они. Мы видѣли этихъ новыхъ Леонидовъ на улицахъ Одессы и Кишинева, со многими изъ нихъ были лично знакомы и свидѣтельствуемъ теперь о ихъ полномъ ничтожествѣ; ни малѣйшей идеи въ искусствѣ, никакого понятія о чести. Они отыскивали средства быть пошлыми въ то самое время, когда разсказы ихъ должны были бы интересовать каждаго европейца» [1]).

Изъ вліяній, наиболѣе серьезныхъ и длительныхъ, дѣйствовавшихъ въ эту пору на поэта, надо отмѣтить тѣ, что шли отъ общества военныхъ. Связи Пушкина съ этимъ кругомъ начались благодаря Раевскимъ и поддерживались тѣмъ политическимъ

[1]) Соч. VII, 66 «Письмо къ А. Н. Раевскому».

единомыслiемъ, которое тогда соединяло почти всѣхъ интеллигентныхъ людей Россiи наканунѣ вспышки 14-го декабря 1825 года.

Изъ кишиневскихъ военныхъ, знакомыхъ Пушкина, слѣдуетъ, прежде всего, назвать начальника 16-й дивизiи М. Ѳ. Орлова, бригаднаго командира П. С. Пущина, генерала Д. Н. Бологовскаго, начальника дивизiонной ланкастерской школы В. Ѳ. Раевскаго и офицеровъ: К. А. Охотникова, В. П. Горчакова, И. П. Липранди, А. Ѳ. Вельтмана, князей Инсиланти и др. Въ обществѣ этихъ просвѣщенныхъ передовыхъ людей «онъ набирался свѣдѣнiй, участвуя въ жаркихъ ихъ преніяхъ о разныхъ предметахъ изъ области искусства, иностранной литературы и всеобщей исторiи». Возникавшiе споры «иногда раздражали его, давая, болѣе или менѣе, замѣтнымъ образомъ чувствовать недостаточную его подготовку къ серьезнымъ учено-литературнымъ состязанiямъ. Онъ бросался тогда на книги, запирался у себя въ дому» [1]). Наѣздомъ въ Кишиневѣ живали братья Полторацкiе, извѣстный Пестель, братья Раевскiе и Давыдовы, пріѣзжавшiе гостить къ М. Ѳ. Орлову, женатому на Е. Н. Раевской. Въ этой серьезной средѣ, настроенной на оппозицiонный ладъ, неумѣстна была шаловливость и рѣзвость поэта,— здѣсь онъ пріучался серьезно относиться къ русской дѣйствительности, здѣсь онъ яснѣе всего сознавалъ недостатки своего образованiя и торопился ихъ восполнить чтенiемъ. Книги онъ бралъ у Инзова,

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 198.

Орлова, Липранди и, на почвѣ самообразованія, ближе всего сошелся съ А. Ѳ. Вельтманомъ и В. Ѳ. Раевскимъ. Къ этому времени относятся его историческія замѣчанія о Петрѣ, Екатеринѣ, мысли объ освобожденіи крестьянъ и даже набросокъ комедіи, обличающей крѣпостничество. Отрывки трагедіи «Вадимъ» Анненковымъ тоже пріурочиваются къ этой эпохѣ [1]). Кромѣ того, онъ собиралъ и записывалъ пѣсни, преданья, разсказы туземцевъ, изучалъ чуждые ему нравы, присматривался къ оригинальнымъ лицамъ разныхъ сербовъ и грековъ, цыганъ и молдаванъ [2])... Многія произведенія его, въ родѣ стихотворенія: «Черная Шаль», пѣсни: «Рѣжь меня, жги меня», поэмы: «Цыгане», отчасти «Кирджали»,—были результатомъ этихъ наблюденій [3]).

Несмотря на такую полноту и ширину интересовъ, поэтъ былъ недоволенъ своей жизнью,—ему душно и тѣсно было здѣсь: онъ чувствовалъ себя, какъ орелъ въ клѣткѣ [4]). И вотъ, 23-го марта 1821 года онъ писалъ Дельвигу, что рѣшилъ разстаться съ Кишиневомъ; «праздный миръ, говоритъ онъ, не самое лучшее состояніе жизни, даже и Скарментадо, кажется, неправъ,—самаго лучшаго состоянія нѣтъ на свѣтѣ; но разнообразіе спасительно для души» [5]). О тя-

---

[1]) *П. Анненковъ*, Пушкинъ 155—9.

[2]) Тамъ же, 155.

[3]) *А. И. Яцимирскій* сопоставилъ извѣстную пѣсню Земфиры съ народной румыно-цыганской пѣсней; пушкинское произведеніе оказалось не столько переводомъ, сколько «обработкой» оригинала, (Изв. Отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 1896, т. IV, кн. I).

[4]) Соч. I, 273, «Узникъ».

[5]) Соч. VII, 15, «Письмо къ А. А. Дельвигу отъ 23-го марта 1821 г.

желыхъ минутахъ его душевнаго состоянія лучше всего свидѣтельствуютъ теперь нѣкоторыя его письма, особенно одно, къ брату, написанное, очевидно, подъ сильнымъ впечатлѣніемъ минуты. Прежде всего, онъ даетъ ему совѣтъ думать обо всѣхъ людяхъ, какъ можно хуже, не судить, руководясь своимъ благороднымъ и хорошимъ сердцемъ,—людей надо презирать, говоритъ онъ: «méprisez les le plus poliment qu'il vous sera possible» [1]). Со всѣми надо быть холодну, остерегаться фамильярности, воздерживаться отъ всего, въ чемъ, по своей низости, постараются увидѣть искательство. Даже друзьямъ вѣрить онъ не рекомендуетъ и, рядомъ съ этимъ, даетъ практическій совѣтъ меньше любить женщинъ, чтобы больше у нихъ имѣть удачи. Характерно заключеніе письма: «N'empruntez jamais, souffrez plutôt la misère: voyez qu'elle n'est pas aussi terrible qu'on se la peint et surtout que la certitude où l'on peut se voir d'être malhonnête ou d'être pris pour tel. Ces principes que il vous propose, je les dois à une douloureuse expérience» [2]). Конечно, все это, какъ сознается самъ авторъ письма, было подсказано печальными опытами жизни. Еще ранѣе, въ письмѣ къ Дельвигу отъ 28-го марта 1821 года, поэтъ говорилъ, что «для существа, одареннаго душой, нѣтъ другого воспитанія, кромѣ того, которое дается ему обстоятельствами жизни и имъ самимъ» [3]). Изъ приведеннаго пересказа письма къ брату нетрудно усмотрѣть, что

[1]) Соч. VII, 43, «Письмо къ Л. С. Пушкину», 43. [2]) Тамъ же. [3]) Тамъ же, 16, «Письмо барону А. А. Дельвигу», отъ 23 марта 1821 г.

пока «самовоспитаніе» поэта не отличалось стройностью и даже равноцѣнностью выводовъ,—здѣсь все случайно, все смѣшано: и благородное, и пошлое; все еще полно минутныхъ впечатлѣній, отчасти даже той поэтической неправды, которая всего ярче, выразилась по напыщенности, въ одномъ отрывкѣ къ какому-то неизвѣстному лицу: «vous êtes mon digne maître, brave, mordant, méchant,—cela n'est point assez, il faut être feroce, tyran, vindicatif; c'est où je vous prie de me conduire. Les hommes ne vaillent pas qu' on les evalue par ces etincelles du génie et de sentiment, par lesquelles je me suis avisé de les évaluer jusqu'à présent,—c'est par berquovetz qu'il faut les estimer. Il faut se rendre, aussi égoiste, qu'il le sont, en géneral pour en venir à bout. C'est alors seulement que l'on peut assigner la place, qu'il convient à chacun d'occuper» [1]). Конечно, въ этихъ красивыхъ, но высокопарныхъ словахъ много неправды, но она нравилась Пушкину въ извѣстные моменты его настроеній, отчасти благодаря преклоненію предъ поэзіей Байрона [2]), предъ личностью Наполеона... Эта «неправда» была чисто-теоретическая,—въ жизни поэтъ поступалъ, чаще всего, какъ разъ обратно тому, что̀ онъ совѣтовалъ; и самъ онъ, нѣсколько позднѣе, свою теорію эгоизма и «эготизма» безъ милосердія распялъ въ лицѣ Алеко. Впрочемъ, относительно этого времени въ жизни поэта нельзя еще говорить о какомъ бы то ни было міровоззрѣніи—оно только *вы-*

[1]) Соч. VII, 25—6.

[2]) Онъ самъ отмѣтилъ у Байрона «безнадежный эгоизмъ» (III, 286, 367) и преклоненіе только передъ самимъ собой (V, 50).

рабатывалось въ борьбѣ душевныхъ противорѣчій, различныхъ идей и чувствъ... Стоитъ перелистать его лирическія стихотворенія за этотъ періодъ, времени, и разнообразіе его поэтическихъ настроеній бросится въ глаза... Вотъ застольная пѣсенка въ честь вина и любви, вотъ мѣткая эпиграмма, невольно вызывающая улыбку, вотъ задушевная теплая элегія, вся дышащая любовью къ людямъ; сейчасъ же за нею—осколокъ злой сатиры, затѣмъ возвышенная молитва, страстный вопль, какая-то скабрезность, ласковая шутка, обломокъ какой-то изуродованной цензурой, поэмы на религіозныя темы... Смѣхъ и слезы, радость и горе, вѣра и невѣріе—все это причудливо мѣшается въ этомъ калейдоскопѣ настроеній. И среди этой пестроты все замѣтнѣе и опредѣленнѣе вырисовывается тотъ простой, сердечный, доброжелательный, всепрощающій Пушкинъ, котораго мало кто подозрѣвалъ въ юношѣ, заносчивомъ, не всегда приличномъ, распустившимся подъ вліяніемъ кишиневской жизни. Всего яснѣе сказалось это въ его письмахъ.

Впервые въ своей жизни оторванный отъ близкихъ друзей, поэтъ, несомнѣнно, очень болѣзненно ощутилъ образовавшуюся пустоту въ сердцѣ. Немудрено, что его потянуло къ тѣмъ лицамъ, дружба которыхъ теперь, во время его сердечнаго сиротства, была ему особенно потребна... Быть можетъ, потому въ письмахъ его зазвучали теперь необычайно-нѣжныя ноты, часто даже малодушныя, иногда шутливыя, очень, очень рѣдко—заносчивыя и дерзкія [1])... Письма по-

[1]) Соч, VII, 22, 60, «Неизвѣстнымъ дамамъ», «Письмо къ Десильи» отъ 6 іюня 1821 г.

слѣдняго сорта—французскіе черновики, найденные между бумагами поэта. Быть можетъ, это и не письма, а какія-то замѣтки,—по крайней мѣрѣ, слишкомъ рѣзкимъ диссонансомъ выдѣляются они на свѣтломъ фонѣ тѣхъ многочисленныхъ писемъ, въ которыхъ такъ непринужденно и легко сказалась необыкновенная грація пушкинской души. Въ отношеніяхъ ко многимъ изъ корреспондентовъ своихъ онъ порою нѣженъ и деликатенъ, иногда умѣетъ добродушнымъ словомъ успокоить наростающее неудовольствіе. Его злословіе,столь обидное въ свободной болтовнѣ,—здѣсь никогда не переходитъ за предѣлы добродушія. Во многихъ письмахъ онъ или благодаритъ друзей за доброе къ нему отношеніе, или жалуется на то, что они его забываютъ. «Дельвигу и Гнѣдичу продолжалъ я писать,—жалуется онъ Гречу,—да они и въ усъ не дуютъ. Что-бъ это значило? Если просто забвенье,—то я имъ не пеняю; забвенье—естественный удѣлъ всякаго отсутствующаго» [1]). Брата онъ упрекаетъ за краткость его писемъ; «болтливость братской дружбы,—говоритъ онъ,—была бы мнѣ большимъ утѣшеніемъ. Представь себѣ, что до моей пустыни не доходитъ ни одинъ дружескій голосъ, что друзья мои, какъ нарочно, рѣшились оправдать мою мизантропію, и это состояніе несносно» [2]). Получивъ давно жданное письмо отъ Гнѣдича, онъ пишетъ ему прямо трогательныя строчки: «благодарю васъ, любезный и почтенный, за то, что вспомнили вы бессарабскаго пустынника. Онъ молчитъ, боясь надоѣдать тѣмъ,

[1]) Соч. VII, 24, «Письмо Гречу» отъ 21 сент. 1821 г.
[2]) Тамъ же, 28, «Письмо къ Л. С. Пушкину», отъ 24 янв. 1822 г.

которыхъ любитъ!..» [1]). Тому же Гнѣдичу онъ писалъ, что полученное письмо тронуло его до глубины души: «благодарю за воспоминаніе, за дружбу, за хвалу, за упреки, за форматъ этого письма,—все показываетъ участіе, которое принимаетъ живая душа ваша во всемъ, что̀ касается до меня» [2]). Въ этихъ оспѣшныхъ и прочувствованныхъ благодарностяхъ, въ шуткахъ, въ родѣ: «пожалѣйте обо мнѣ,—живу между гетовъ и сарматовъ; никто не понимаетъ меня!» [3]),— ясно звучатъ глубокія муки одиночества... Особенно въ сердцѣ брата искалъ себѣ поэтъ сердечнаго отзвука,— онъ посылалъ ему теплыя, дружескія, задушевныя посланія, словно опасаясь того, что родители воспитаютъ брата Льва въ ненависти къ нему; онъ безпокоился о братѣ, справлялся о немъ у другихъ [4]), посылалъ ему серьезные и шутливые совѣты, порой журилъ, но до того добродушно, что иногда самъ свои наставленія кончалъ извиненіями...

Къ концу 1822 года Пушкинъ такъ стосковался въ Кишиневѣ, несмотря на свои неоднократныя отлучки, что 13 января 1823 года обратился къ графу Нессельроде съ письмомъ, въ которомъ просилъ себѣ

---

[1]) Тамъ же, 30, «Письмо къ Н. И. Гнѣдичу», отъ 13 мая 1822 г.

[2]) Тамъ же, 17, «Письмо къ Н. И. Гнѣдичу», отъ 24-го марта 1821 г.

[3]) Тамъ же, 33. «Письмо къ Н. И. Гнѣдичу, отъ 27 іюня 1822 г.: «Пушкинъ не отрывалъ глазъ своихъ отъ Петербурга. Онъ жилъ его жизнію, раздѣлялъ мысленно его удовольствія и занятія и, вмѣстѣ съ партіею друзей, тамъ оставленныхъ, боролся съ тѣми, кого они считали врагами». (*П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 145).

[4]) Тамъ же, 15—6, «Письмо къ бар. А. А. Дельвигу», отъ 23 марта 1821 г.

«отпуска», чтобы съѣздить на сѣверъ «по семейнымъ дѣламъ» [1]). Государь *отклонилъ* его просьбу. Тогда Пушкинъ сталъ мечтать о переводѣ въ Одессу. Городъ этотъ онъ зналъ во время своихъ неоднократныхъ отлучекъ изъ Кишинева,—здѣсь онъ задерживался иногда подолгу,—такъ, въ концѣ апрѣля 1821 г., онъ жилъ въ Одессѣ около мѣсяца съ согласія Инзова. Быть можетъ, уже тогда онъ сумѣлъ здѣсь найти друзей. Немудрено, что его сюда влекла жажда пожить культурной жизнью европейскаго города. Къ тому же и первое свиданіе съ гр. М. С. Воронцовымъ, назначеннымъ 7-го мая на должность новороссійскаго генералъ-губернатора и полномочнаго намѣстника Бессарабской области, произвело на Пушкина благопріятное впечатлѣніе [2]),—поэтому онъ рѣшился перемѣнить свою службу при Инзовѣ на службу при гр. Воронцовѣ. Кажется даже, что новый намѣстникъ на первыхъ порахъ былъ заинтересованъ тѣмъ, чтобы знаменитый поэтъ находился въ его свитѣ,—по крайней мѣрѣ, заявленіе его, что онъ беретъ Пушкина у Инзова, чтобы «спасти нравственность поэта, а таланту дать досугъ и силу развиться» [3]), какъ будто говоритъ намъ объ участіи, которое было проявлено имъ по отношенію къ поэту. 4 іюля Пушкинъ былъ переведенъ уже въ Одессу, къ великому огорченію добродушнаго Инзова, который чувствовалъ себя

---

[1]) «Письма Пушкина и къ Пушкину», нов. матеріалы, ред. прим. *Валерія Брюсова*. М. 1905, стр. 9.

[2]) Соч., VII, 51, «Письмо къ Л. С. Пушкину», отъ 25 авг. 1823 г.

[3]) Остафьевскій Архивъ, II, 328.

обиженнымъ такимъ непостоянствомъ и даже неблагодарностью поэта [1]).

На первыхъ порахъ Пушкинъ съ безмятежной радостью наслаждался удовольствіями шумной жизни богатаго приморскаго города. Въ «Евгеніи Онѣгинѣ» есть удивительно живыя, яркія строки, посвященныя одесской жизни. Поэта увлекало то, что въ этомъ городѣ «все Европой дышало», «все блестѣло югомъ и пестрѣло разнообразностью живой» [2])... Пестрота костюмовъ, нарѣчій и нравовъ тоже его интересовали... Шумная уличная жизнь, казино и рестораны, опера, балетъ, закулисныя свиданія и волокитство за дамами, сортомъ повыше, чѣмъ въ Кишиневѣ,—все это кружило голову увлекающемуся поэту. Немудрено, что въ такіе безоблачные моменты онъ позабывалъ и свое разочарованіе, и байронизмъ, и мучительный самоанализъ, и готовъ себя причислить, просто на просто, къ «обжорливымъ ребятамъ», которые не знаютъ печали [3]). Но, конечно, эта радость была такъ интенсивна лишь на первыхъ порахъ, послѣ долгаго кишиневскаго «поста». Разочарованія начались скоро,—съ самаго того момента, какъ Пушкинъ ближе сошелся съ одесскимъ обществомъ. Прежде всего, онъ столкнулся съ самимъ Воронцовымъ. Новый начальникъ, съ блестящей свитой чиновниковъ и адъютантовъ, (въ числѣ кото-

---

[1]) По словамъ Ф. Ф. Вигеля, когда полученъ былъ указъ о перечисленіи Пушкина въ канцелярію гр. Воронцова, И. Н. Инзовъ съ грустью сказалъ: «Вѣдь я могъ бы удержать его; онъ былъ присланъ ко мнѣ, *попечителю*, а не къ бессарабскому намѣстнику».

[2]) Соч. III, «Евгеній Онѣгинъ» 409.

[3]) Тамъ же.

рыхъ былъ извѣстный поэту А. Н. Раевскій), сразу постарался поставить себя въ опредѣленныя служебныя отношенія къ своимъ чиновникамъ. Съ ними онъ былъ корректенъ, вѣжливъ и холоденъ. Судя потому, что Пушкинъ часто высмѣивалъ въ немъ «англоманію», можно думать, что «джентльменство», въ англійскомъ вкусѣ, было его жизненнымъ идеаломъ... «Образъ его сношеній съ подчиненными одинаково удалялъ какъ поползновенія ихъ къ служебной низости, такъ и претензіи на короткость съ нимъ. Край впервые увидалъ власть, со всѣми аттрибутами блеска, могущества, спокойствія и стойкости» [1])—говоритъ Анненковъ. Прежде всего требовалъ онъ отъ подчиненныхъ порядочности въ образѣ мыслей, наружнаго приличія въ формахъ жизни и преданности службѣ.

Такимъ образомъ, «неуимчивый» поэтъ, порядкомъ распустившійся въ Кишиневѣ, утратившій благоприличіе манеръ и даже костюма [2]), не привыкшій сдерживать языка, сталъ теперь лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, быть можетъ, и недурнымъ, но того сорта людей, благовоспитанныхъ до педантизма, къ которымъ принадлежали и директоръ лицея Энгельгардтъ, и баронъ Корфъ,—съ такими людьми никогда не уживался поэтъ. Къ тому же, на первый разъ обласкавъ поэта, Воронцовъ, быть можетъ, ожидалъ, что

---

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 216.

[2]) Судя по вышеприведенному письму Инзова о томъ, что Пушкину не хватало денегъ на «приличное» одѣяніе можно думать, что пестротой различныхъ молдаванскихъ, греческихъ и болгарскихъ національныхъ костюмовъ поэтъ прикрывалъ недостатки своего костюма.

и русскій поэтъ «явится въ его передней съ посвященіями, или одою, сочиненною въ честь его» [1]) въ «свободное отъ службы» время, но Пушкинъ совсѣмъ иначе смотрѣлъ на себя и на свое призваніе; къ тому же, по своей привычкѣ, онъ не воздерживался отъ остротъ и эпиграммъ на счетъ «милорда», и скоро отношенія ихъ были испорчены непоправимо. Такъ же не сошелся поэтъ и съ одесскимъ обществомъ, которому тонъ задавалъ самъ Воронцовъ. Здѣсь, въ Одессѣ, «узлы всѣхъ событій распутывались уже гораздо труднѣе, чѣмъ въ Кишиневѣ,—тамъ легко и скоро сходили съ рукъ Пушкину и такія продѣлки, которыя могли разрѣшиться въ настоящую жизненную бѣду»,—тѣмъ болѣе, что «онъ могъ вызвать ее и ничего не сдѣлавъ «особеннаго», а оставаясь только Пушкинымъ». «Враговъ у него совсѣмъ не было на новомъ мѣстѣ служенія, а были только хладнокровные счетчики и помѣчатели всѣхъ проявленій его ума и юмора, употреблявшіе собранный имъ матеріалъ для презрительныхъ толковъ втихомолку» [2]). Пушкинъ терялся въ этомъ, новомъ для него, мірѣ приличія, вѣжливаго дружелюбнаго коварства и холоднаго презрѣнія ко всѣмъ вспышкамъ, даже и подсказаннымъ благороднымъ движеніемъ сердца. Онъ только чувствовалъ, что живетъ въ средѣ общества, усвоившаго въ себѣ молчаливое отвращеніе ко всякаго рода самостоятельности и оригинальности [3]). Вотъ почему съ одес-

---

[1]) Соч. V, 38, «Воображаемый разговоръ съ Императоромъ Александромъ».

[2]) *П. Анненковъ* «Пушкинъ», 217—8.

[3]) Тамъ же, 218.

ской аристократіей поэтъ не сошелся,—его тяготило это общество еще въ Кишиневѣ въ домѣ Кантакузиныхъ. Не сошелся онъ и съ мѣстнымъ одесскимъ литераторскимъ кругомъ, наиболѣе крупными представителями котораго были третьестепенные писатели «стараго закала»—Туманскій и писательница Зонтагъ: ихъ поэтъ чуждался, быть можетъ, потому, что, именно, теперь, въ Одессѣ, окончательно раздѣлывался онъ съ послѣдними узами старой поэзіи XVIII вѣка и вступалъ на «новый» путь.

Съ іюля 1823 года по декабрь были имъ написаны двѣ первыя главы «Онѣгина»; въ февралѣ 1824 года написана поэма «Цыгане». Оба эти произведенія пропитаны критицизмомъ,—въ нихъ поэтъ разоблачаетъ русскаго байрониста,—«москвича въ гароль-довомъ плащѣ» и въ обстановкѣ столичной жизни, и въ дикихъ степяхъ Бессарабіи. Того даже блѣднаго ореола мученичества, которымъ окружено чело «Кавказскаго Плѣнника», здѣсь нѣтъ и помину. *Правда художественная* и *правда жизни* въ сознаніи Пушкина, очевидно, отнынѣ вступаетъ въ свои права...

Къ этому же одесскому періоду жизни относятся тѣ знаменательныя письма Пушкина къ Бестужеву, Рылѣеву, Дельвигу и кн. Вяземскому, въ которыхъ ясно сказывается у него желаніе «начать критику» въ нашей литературѣ,—критику новую, которая переоцѣнила бы старые авторитеты. Еще ранѣе, живя въ Петербургѣ, онъ, желая «поучиться», собиралъ мнѣнія писателей и дѣятелей, принадлежавшихъ къ различнымъ литературнымъ толкамъ (отсюда сближеніе съ Катенинымъ и Олениным̈ъ),—теперь еще сильнѣе чувствовалась имъ

потребность услышать свѣжее, оригинальное слово. Отсюда идутъ тѣ вызовы на принципіальный литературный споръ, съ которыми онъ обращался къ друзьямъ-писателямъ,—отсюда просьбы писать теоретическія разсужденія, хотя бы, въ видѣ «предисловій» къ его новымъ твореніямъ. Въ этихъ письмахъ къ друзьямъ онъ, несомнѣнно, является «мыслителемъ-новаторомъ», который, хотя оказывается и не въ силахъ самъ создать и оформулировать стройной теоріи, но который все же имѣетъ свое умное, никѣмъ еще не сказанное и часто очень мѣткое, слово относительно дѣятелей и произведеній русской литературы. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ своихъ частныхъ письмахъ, въ своихъ черновыхъ замѣткахъ онъ былъ ближайшимъ предшественникомъ Бѣлинскаго, главная заслуга котораго и состояла именно въ «ревизіи» русскаго Парнаса, въ переоцѣнкѣ старыхъ литературныхъ цѣнностей... Но никто изъ друзей Пушкина не обладалъ его проницательностью и смѣтливостью, и потому замѣчательныя мысли, которыми онъ подзадаривалъ друзей и критиковъ, остались безплодными. «О Дмитріевѣ», писалъ поэтъ кн. Вяземскому, «спорить съ тобою не стану, хотя всѣ его басни не стоятъ одной хорошей басни Крылова, всѣ его сатиры—одного изъ твоихъ посланій, а все прочее—перваго стихотворенія Жуковскаго. Сказки его написаны въ дурномъ родѣ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, что мочи нѣтъ [1]). По мнѣ, Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократъ ниже стихотворца-Карамзина;

[1]) Соч. VII, 57, «Кн. Вяземскому» отъ 4 ноября 1823 г.; о немъ же 34, 73.

«Грустно мнѣ видѣть, что все у насъ клонится, Богъ знаетъ куда. Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налѣво и направо, порастрясти старыя репутаціи, приструнить новыя и показать истину,—ты покровительствуешь старому вралю!» [1]). Пушкинъ отважно подымалъ руку на Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова, Озерова, Богдановича, даже на Жуковскаго,—словно, ему хотѣлось расчистить дорогу передъ самимъ собою. Своими скептическими и ироническими отзывами онъ «показываетъ такую свободу отношеній къ именамъ, лицамъ и умственному состоянію общества, какая была рѣдкостью въ то время» [2]).

«У насъ еще нѣтъ ни словесности, ни книгъ» [3]),—это смѣлое заключеніе было сдѣлано имъ задолго до Бѣлинскаго. Къ этому же времени относятся и первыя усилія Пушкина выяснить себѣ и другимъ сущность новаго литературнаго направленія—«романтизма». Вполнѣ понятно, что въ этомъ модномъ словѣ прежде всего хотѣлось ему увидѣть путеводный свѣтъ для тѣхъ новыхъ путей, которые онъ прозрѣвалъ въ своемъ творчествѣ. Вотъ почему романтизмъ, прежде всего, соединяется, въ его представленіи, съ отрицаніемъ старой литературной школы, правилъ,—и связывается съ свободой творчества, съ апоѳеозомъ личности [4]). Но на такомъ основаніи Пушкинъ не остановился

---

[1]) Тамъ же. [2]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 222; еще: *А. Залдкинъ*, «А. С. Пушкинъ, какъ литер. критикъ» (Р. Ст. 1899, № 5—6). [3]) Соч. V, 19, На разные лады это повторяетъ онъ неразъ: VII, 75, 50, и др. [4]) Онъ стоитъ теперь за англійскую и нѣмецкую литературу противъ французской (Соч. VII, 34, 51 и др.), стоитъ за «простоту» и художественную правду (VII, 36, 57, 50 и др.), противъ «жеманства» и фран-

когда онъ, въ цѣляхъ изученія вопроса, погрузился въ исторію всеобщей литературы. Тогда онъ сталъ прислушиваться къ тѣмъ противорѣчивымъ и сложнымъ опредѣленіямъ, которыя доносились до него и изъ русской критики, и изъ иностранной,—и ни одно опредѣленіе не удовлетворило его... Происходило это потому, что онъ хотѣлъ этимъ терминомъ опредѣлить прояснявшуюся для него сущность своего собственнаго творчества тогда, когда *оно уже перешло эпоху романтизма и развивалось въ свободной и широкой области художественнаго реализма* [1]).

Вотъ почему онъ былъ противъ того узкаго пониманія романтизма, которое считало «романтическими» только произведенія Жуковскаго. Оттого, создавъ въ предсмертномъ произведеніи Ленскаго удивительную и трогательную пародію на стихи Жуковскаго, онъ не согласился ихъ назвать «романтическими» [2]).

О первыхъ главахъ Онѣгина Пушкинъ писалъ

цузской утонченности. (VII, 57). На романтизмъ онъ смотрѣлъ какъ на «свободу» отъ правилъ (VII, 57) для него это «поэтическій атеизмъ». Но этимъ не исчерпывалась въ его глазахъ сущность романтизма. Вотъ почему онъ сказалъ однажды: «Сколько я ни читалъ о романтизмѣ—все не то». *П. Анненковъ*. «Матеріалы», 80).

[1]) Большое значеніе въ выработкѣ реалистическаго міросозерцанія Пушкина игралъ Арзамасъ, критика «Полярной Звѣзды» (А. Бестужева), кн. Вяземскаго и литературные взгляды А. Н. Раевскаго. (См. подробнѣе у Анненкова «Пушкинъ» 221—4); всѣ эти вліянія были «протестующаго» характера, они пріучили Пушкина критически относиться къ старымъ «богамъ» русскимъ и французскимъ и искать *своего* пути. Раевскій, напримѣръ, говорилъ о необходимости ввести простоту и естественность въ рѣчь, «свести поэзію съ ея ходуль» (*Л. Майковъ*, Пушкинъ, 145); онъ говорилъ о необходимости вводить въ художество couleur local («колоритъ мѣстности») (тамъ же 146).

[2]) Соч. III, «Евгеній Онѣгинъ», 349.

къ брату изъ Одессы: «Не вѣрь Н. Раевскому, который бранитъ его (Онѣгина). Онъ ожидалъ отъ меня романтизма, я написалъ сатиру и цинизмъ и порядочно не расчухалъ». Эта «сатира» и «цинизмъ» и были той «поэзіей дѣйствительности», для которой у Пушкина подъ руками еще не было термина: *«реализмъ»*... Это видно, хотя бы изъ того, что впослѣдствіи «романтической» онъ считалъ свою драму «Борисъ Годуновъ» — произведеніе чисто-реалистическое. Такъ быстро развивался въ Пушкинѣ «художникъ», перерастая свое время и его литературные вкусы.

Не менѣе быстро зрѣлъ въ немъ и «человѣкъ», правдиво и честно относящійся къ жизни. Это всего лучше сказалось въ томъ «самосудѣ», который былъ произведенъ поэтомъ надъ собой въ образахъ Онѣгина и Алеко. Одинъ осужденъ за то, что не зналъ и не искалъ правды жизни, опошленный ложью культуры «высшаго свѣта»,—другой за то, что не зналъ любви ни къ кому кромѣ себя. Наряду съ этимъ осужденіемъ «неправды», въ лицѣ стараго Цыгана впервые была окружена ореоломъ та безхитростная *правда*, которой суждено было въ дальнѣйшей литературной жизни поэта воплотиться въ цѣломъ рядѣ образовъ. Очевидно, теперь, въ глазахъ Пушкина, выростали такія личности, какъ старая няня, старикъ Инзовъ, Пущинъ,—выростали за счетъ тѣхъ баловней культуры, которые были проникнуты ея ложью (Воронцовъ и др.).

Но если внутренняя работа мысли и чувства вела поэта къ такому ясному и глубокому самосознанію, то, съ внѣшней стороны, жизнь его текла такъ же неспо-

койно, какъ и прежде. Съ первыхъ мѣсяцевъ жизни Пушкина въ Одессѣ онъ сталъ уже чувствовать раздраженіе и признаки «сосредоточеннаго въ себѣ гнѣва» «Пушкинъ, видимо, страдалъ и притомъ глухимъ страданіемъ, не находящимъ себѣ выхода» [1]). Его тянуло попрежнему въ Петербургъ, но его туда не пускали [2]).

Единственно, что скрашивало въ это время жизнь поэта, это приливы глубокой и нѣжной любви, которые не разъ захватывали его на югѣ. Въ Крыму, повидимому, поэтъ увлекался одной изъ Раевскихъ; біографы поэта, желая разгадать, которая изъ трехъ сестеръ была предметомъ его увлеченія, перебрали всѣхъ трехъ [3]), но поэтъ схоронилъ отъ насъ имя дорогой ему дѣвушки. Поэма «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ первоначальной своей редакціи, повидимому сохраняла много слѣдовъ этого увлеченія. По его собственному признанію, изъ-за этого онъ сначала не хотѣлъ даже ее выпускать въ свѣтъ. Въ одномъ письмѣ онъ пишетъ: «я не желалъ бы ее напечатать, потому что многія мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ, но потомъ выбросилъ изъ поэмы то, что не хотѣлъ выставить передъ публикою, пустилъ

---

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 243.

[2]) 13 янв. 1823 года онъ просилъ у гр. Нессельроде разрѣшенія на 2—3 мѣсяца (un semestre de deux ou trois mois) пріѣхать въ Петербургъ по семейнымъ дѣламъ, но получилъ отказъ. «Письма Пушкина и къ Пушкину», новые матеріалы, ред. и прим. *Вал. Брюсова*. М.—1903.

[3]) *Карскій*, «Пушкинъ въ Таврідѣ». Симф. 1899—19 стр. *Булашевъ* «А. С. Пушкинъ на югѣ Россіи» К. 1899.

ее въ печать» [1]). Этому увлеченію посвящены стихотворенія 1820 г.: «Элегія» [2]). «О дѣва, дѣва, я въ оковахъ»... [3]). «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда» [4]). Увлекался поэтъ и кн. М. А. Голицыной,—ей изъ раннихъ стихотвореній (1821) посвящены «Элегія» [5]), «Къ ***» [6]). Позднѣе, въ стихотвореніи 1823 года, «Княгинѣ М. А. Голицыной» [7]) Пушкинъ объясняетъ это преклоненіе,—онъ признается, что минутное вниманіе этой женщины такъ долго цѣнилось имъ потому, что она, надѣленная глубокой душой, сумѣла не только понять его творчество, но и пробудить его вдохновеніе. «Я славой былъ обязанъ ей, восклицаетъ поэтъ, а, можетъ быть, и вдохновеньемъ» [8]).

Одесса подарила поэта глубокой страстью къ красавицѣ Амаліи Ризничъ [9]). Это было мятежное увле-

---

[1]) Соч. VII, 52 «Письмо къ Л. Пушкину» отъ 25 авг. 1823 г. Ср. еще VII, 81 «Письмо къ А. А. Бестужеву» отъ 29 іюня 1824 г.

[2]) Соч. I, 223.

[3]) Соч. I, 224.

[4]) Соч. I, 225.

[5]) Соч. I, 255.

[6]) Соч. I, 256.

[7]) Соч. I, 293; еще «Элегія» 294.

[8]) Тамъ же 294. Судя по тексту этого стихотворенія, она, или декламировала въ публикѣ какое-нибудь стихотвореніе Пушкина, или пѣла романсъ на слова Пушкина. Очевидно, ей удалось подчеркнуть какой-то стихъ Пушкина и для него этотъ стихъ, «мило ею повторенный, замѣченный ея душой», сдѣлался «обвороженнымъ». Затѣмъ, она вторично продѣлала что-то подобное: «вслушавшись въ лиру поэта, ей передала свои плѣнительные звуки». (Тамъ же, 294).

[9]) По словамъ Л. Пушкина въ это время любовь овладѣвала сильно его душою. «Она предстала ему со всею заманчивостью интригъ, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаянія. Однажды, въ бѣшенствѣ ревности, онъ пробѣжалъ пять верстъ съ обна-

ченіе, полное мукъ и тревогъ—полное прелести и красоты... Нѣсколько стихотвореній, оставшихся памятникомъ этой страсти, говорятъ намъ о той любовной симфоніи, которая раздавалась въ его сердцѣ, пока оно было очаровано красавицей-иностранкой. Къ этимъ произведеніямъ относятся «Элегія» [1]), «Ночь» [2]), «Къ морю» [3]) и позднѣйшія: «Иностранкѣ» [4]), «Ненастный день потухъ» [5]), «Все въ жертву памяти твоей» [6]), «Заклинаніе» [7]), «Для береговъ отчизны дальной» [8]), «Подъ небомъ голубымъ» [9])... Въ стихахъ, ей посвященныхъ, тревожная мольба о любви, ревность, жаръ страсти, страданія и радость, невѣріе и вѣра, сливаются въ одно цѣльное, удивительно красивое сочетаніе чувствъ и звуковъ. Очаровательно по настроенію и музыкальности стихотвореніе: «Ночь», выражающее роскошныя, по богатству и красотѣ, чувства поэта:

«Мой голосъ для тебя, и ласковый,
и томный,
Тревожитъ позднее молчанье ночи
темпой!
Близъ ложа моего печальная свѣча
Горитъ. Мои стихи, сливаясь и журча,
Текутъ, ручьи любви, текутъ полны
тобой,
Во тьмѣ твои глаза блистаютъ предо
мной!
«Мнѣ улыбаются... И звуки слышу я:
Мой другъ, мой нѣжный другъ! люблю...
твоя, твоя!»... [10])

женной головой подъ палящимъ солнцемъ по 35 градусамъ жары». *Л. Пушкинъ*, «Молодость Пушкина», (*Л. Майковъ* «Пушкинъ», 9).

[1]) Соч. I, 294. [2]) Соч. I, 296. [3]) Соч. I, 303. [4]) Соч. I, 302. [5]) Соч. I, 295. [6]) Соч. II, 8. [7]) Соч. II, 112. [8]) Соч. II, 119. [9]) Соч. II, 1. [10]) Соч. I, 296.

Одно время эта любовь цѣликомъ захватила поэта; она наполнила его томительной тоской, принесла ему безумство и мученье, тяжелое напряженіе всѣхъ его духовныхъ силъ,—тяжелое потому, что она подарила его чувствами слишкомъ острой радости и слишкомъ остраго горя...

Амалія Ризничъ, дочь вѣнскаго банкира Рипта, полунѣмка, полуитальянка, съ примѣсью еврейской крови, отличалась, по общему признанію, необыкновенной красотой: высокаго роста, стройная, съ пламенными очами, съ шеей удивительной формы, съ косой до колѣнъ. Она ходила въ амазонкѣ, чтобы скрыть большія ступени ногъ и носила мужскую шляпу. Въ аристократическихъ кругахъ ея не принимали за эксцентричность ея поведенія. Въ Вѣнѣ она вышла замужъ за Ивана Ризнича, богатаго серба, торговавшаго въ Одессѣ. Она любила быть окруженной поклонниками, приковывала всѣхъ къ себѣ властью своей красоты и силой чувственнаго влеченія. Она умѣла возбуждать чувство ревности, могла измучить человѣка и хотѣла овладѣть всѣми. Повидимому, она умѣла хоронить концы въ воду, и ея многочисленные поклонники знали ревность только въ предѣлахъ благопристойности. По крайней мѣрѣ, это характерно для Пушкина, который, очевидно, при всей своей ревнивости и страстности, вѣрилъ ей настолько, что допускалъ въ ея общество другихъ ухаживателей, изъ которыхъ полякъ Собаньскій былъ самый настойчивый и, быть можетъ, самый счастливый. Но ловкость Ризничъ не спасла ея отъ разрыва съ мужемъ, и, въ первыхъ числахъ мая 1824 года,

она оставила мужа и уѣхала съ дочкой во Флоренцію къ матери, гдѣ и умерла въ первой половинѣ 1825 года, какъ говорятъ, въ бѣдности [1]).

Рядомъ съ чувствомъ къ Ризничъ разросталось въ сердцѣ поэта преклоненіе передъ женою своего начальника, графинею Е. К. Воронцовой. Истинный характеръ ихъ отношеній ревниво скрытъ поэтомъ отъ толпы. Въ самой литературѣ, за неимѣніемъ данныхъ, кромѣ намековъ, объ этой любви ничего не осталось. Говоря объ гр. Воронцовой, Анненковъ осторожно замѣчаетъ слѣдующее: «преданія эпохи упоминаютъ о женщинѣ, превосходившей всѣхъ другихъ по власти, съ которой управляла она мыслью и существованіемъ поэта. Пушкинъ нигдѣ о ней не упоминаетъ, какъ бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него многочисленными профилями прекрасной женской головки спокойнаго, благороднаго величаваго типа, которые идутъ почти по всѣмъ его бумагамъ изъ одесскаго періода жизни» [2]). Впослѣдствіи, живя въ Михайловскомъ, Пушкинъ получалъ еще таинственныя письма изъ Одессы, повидимому, отъ графини Воронцовой. Сестра поэта О. С. Павлищева разсказывала что, когда приходило письмо съ печатью, изукрашенною точно такими же кабаллистическими знаками, какіе находились и на перстнѣ ея брата (извѣстный «талисманъ»),—поэтъ запирался въ своей комнатѣ, никуда не выходилъ и никого не принималъ къ себѣ.

---

[1]) О ней *Венгстернъ*, op. cit. 65, см. статью *М. А. Халанскаго* «Пушкинъ и Ризничъ» Харьк. Унив. Сборн. въ память А. С. Пушкина, Х. 1900. [2]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 245.

Извѣстно также, что графиня Воронцова, умершая лишь въ 1880 году, до конца своей долгой жизни сохранила о Пушкинѣ теплое воспоминаніе и, говорятъ, ежедневно читала его сочиненія. Когда зрѣніе ей совсѣмъ измѣнило, она приказывала читать ихъ себѣ вслухъ и притомъ подрядъ,—такъ что, когда кончались всѣ томы, чтеніе возобновлялось съ перваго» [1]). Судя по стихотвореніямъ, которыя связываются съ ея именемъ [2]), чувства поэта къ ней носили характеръ глубокаго благоговѣнія передъ прекраснымъ чистымъ и, кажется, несчастливымъ существомъ, которое томилось безъ ласки и любви въ обществѣ сіятельнаго супруга «джентльмена»... Совмѣстительство двухъ увлеченій, къ Ризничъ и гр. Воронцовой, не можетъ вызывать сомнѣнія: одно носило исключительно-чувственный характеръ, другое, повидимому, было безукоризненно-чисто и возвышенно,—поэтъ, съ «многогранной душой», обладалъ и «многограннымъ» сердцемъ, въ которомъ одновременно могли находить себѣ отраженіе увлеченія разнаго рода.

Повидимому, отношенія къ граф. Воронцовой не укрылись отъ холоднаго взгляда ея супруга,—по крайней мѣрѣ, свѣтлое счастье Пушкина было кѣмъ-то рѣзко нарушено [3]). Даже въ 1826 г. поэтъ вспоминаетъ:

«Я наслажденіемъ весь полонъ былъ; и мнилъ,
Что нѣтъ грядущаго, что грозный день разлуки

---

[1]) *П. Бартеневъ*, «Пушкинъ на югѣ Россіи», II, 97—8. [2]) Соч. I. «Желаніе славы», 282, «Сожженное письмо», 343, «Ангелъ» II, 9, «Талисманъ» II, 9. [3]) I, 350. «Желаніе славы».

Не придетъ никогда... И что-же?.. слезы, муки,
Измѣны, клевета—все на главу мою
Обрушилося вдругъ!.. Что я?.. Гдѣ я? стою,
Какъ путникъ, молніей постигнутый въ пустынѣ...
И все передо мною затмилося...

И вотъ тогда поэтъ сталъ жаждать славы,—

«Чтобъ именемъ моимъ
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно! Чтобъ ты мной
Окружена была, чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ!

Трудно сказать, о какихъ измѣнахъ идетъ здѣсь рѣчь [1]). Но, во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что отношенія съ графомъ Воронцовымъ какъ разъ въ то время, въ 1824 году, къ которому относится названное стихотвореніе, вдругъ рѣзко измѣнились къ худшему. Къ іюню этого года относится извѣстная эпиграмма на графа:

«Полумилордъ, полукупецъ,
Полумудрецъ, полуневѣжда,
Полуподлецъ, но есть надежда,
Что будетъ полнымъ наконецъ!.. [2])

свидѣтельствующая о крайнемъ раздраженіи поэта. Несомнѣнно, здѣсь—личные счеты съ вельможей, который, быть можетъ, вышелъ изъ своего «равновѣсія» и далъ это почувствовать поэту. Впрочемъ, по свидѣтельству многихъ, знавшихъ графа, онъ настолько основательно былъ вооруженъ своимъ «джентльменствомъ», что, съ внѣшней стороны, не измѣнялъ своего прежняго холоднаго и ровнаго отношенія къ поэту: по-прежнему

---

[1]) *Прим. автора*: стихотвореніе это ошибочно приписано мною Воронцовой, оно относится, вѣроятно, къ А. П. Кернъ (см. ниже 238). Вслѣдствіе техническихъ затрудненій не могъ перепечатать этого иска.

[2]) Соч. I, 302.

приглашалъ его съ другими къ себѣ въ домъ, и въ то же время спокойно и систематично досаждалъ ему разными порученіями въ родѣ пресловутаго зачисленія въ экспедицію для изслѣдованія поврежденій отъ саранчи на мѣстахъ ея появленія. Въ такомъ холодномъ «изводѣ» горячій Пушкинъ видѣлъ систематическія оскорбленія, видѣлъ месть,—и сердце его наполнялось яростью.. Это чувство выразилось и въ вышеприведенной эпиграммѣ, и въ экспромтѣ о саранчѣ на оффиціальномъ донесеніи [1]), и въ тѣхъ отзывахъ о графѣ, которые поэтъ разсыпалъ, по своему обыкновенію, охотно въ письмахъ и въ частныхъ бесѣдахъ. Нѣсколько писемъ поэта къ А. И. Казначееву, правителю канцеляріи намѣстника, прекрасно рисуютъ взрывъ того негодованія, которое долго копилось въ его измученномъ, взбудораженномъ сердцѣ. Въ этихъ нервныхъ, тревожныхъ письмахъ неразъ говорится о желаніи выйти въ отставку, порвать все съ одесскимъ чиновничествомъ, особенно съ принципаломъ... Одно изъ нихъ особенно любопытно интимностью своего тона [2]). Въ немъ поэтъ писалъ: «весьма сожалѣю, что увольненіе мое причиняетъ вамъ столько заботъ и искренне тронутъ вашимъ участіемъ. Что касается до опасеній за послѣд-

---

[1]) Соч. I, 303, по этому поводу Липранди говоритъ: «Пушкинъ завѣрялъ меня, что стихи эти написаны не были, но какъ-то раза два или три имъ были повторены и такъ попали на бумагу; услужливость нѣкоторыхъ тотчасъ распространила ихъ» (Русск. Арх. 1866, 1470—79). [2]) Съ Казначеевымъ поэтъ былъ близокъ; въ домѣ его чувствовалъ себя сравнительно хорошо, быть можетъ, потому, что въ салонѣ его жены, рожденной кн. Волконской, собиралось общество интеллигентное и литературное.

ствія, какія могутъ возникнуть изъ этого увольненія, я не могу считать ихъ основательными. О чемъ мнѣ сожалѣть? Не о моей ли потерянной карьерѣ? Но у меня было довольно времени чтобы свыкнуться съ этой идеей. Не о моемъ ли жалованьи? Но мои литературныя занятія доставляли мнѣ гораздо болѣе денегъ, чѣмъ занятія служебныя. Вы мнѣ говорите о покровительствѣ и дружбѣ—двухъ вещахъ, по моему мнѣнію, несоединимыхъ. Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу съ гр. Воронцовымъ, а еще менѣе на его покровительство... Ничто такъ не позоритъ человѣка, какъ протекція. Я имѣю своего рода демократическіе предразсудки, которые, думаю, стоятъ предразсудковъ аристократическихъ. *Я жажду одного—независимости* (простите мнѣ это слово ради самаго понятія!). Не понимаю ужаса моихъ друзей (мнѣ вообще не совсѣмъ ясно, что такое мои друзья!). Мнѣ только становится не въ мочь зависѣть отъ хорошаго, или дурного товарища, того или другого начальника, мнѣ надоѣло видѣть, что меня, въ моемъ отечествѣ, принимаютъ хуже, чѣмъ перваго пришлаго пошляка изъ англичанъ, который пріѣзжаетъ къ намъ безпечно разматывать свое ничтожество и свое бормотанье. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что гр. Воронцовъ, будучи умнымъ человѣкомъ, сумѣетъ повредить мнѣ во мнѣніи публикѣ, но я оставлю его въ покоѣ наслаждаться тріумфомъ, потому что такъ же мало цѣню общественное мнѣніе, какъ и восторгъ нашихъ журналистовъ» [1]). Если поэтъ довольно сдержанно отзывается о Воронцовѣ въ этомъ письмѣ къ

[1]) Соч. VII, 78. «Письма къ А. И. Казначееву» отъ 1-го іюня.

его ближайшему подчиненному, то онъ не щадитъ красокъ въ письмахъ къ друзьямъ, въ черновыхъ замѣткахъ... Любопытно, что, рядомъ съ надменной фигурой Воронцова, всегда теперь обрисовывается старикъ Инзовъ. Поэтъ всѣ свои симпатіи отдаетъ послѣднему. Такъ, въ письмѣ къ А. И. Тургеневу отъ 14-го іюля 1824 года онъ пишетъ: «не странно ли, что я поладилъ съ Инзовымъ, а не могу ужиться съ Воронцовымъ? Дѣло въ томъ, что онъ началъ вдругъ обходиться со мною съ непристойнымъ неуваженіемъ, я могъ дождаться большихъ непріятностей и своей просьбой предупредилъ его желанія, Воронцовъ-вандалъ, придворный хамъ и мелкій эгоистъ. Онъ видѣлъ во мнѣ Коллежскаго Секретаря, а я, признаюсь, думаю о себѣ что-то другое. Старичокъ Инзовъ сажалъ меня подъ арестъ всякій разъ, какъ мнѣ случалось побить молдаванскаго боярина—правда,—но за то добрый мистикъ въ то же время приходилъ меня навѣщать и бесѣдовать со мною объ «гишпанской революціи. Не знаю, Воронцовъ посадилъ бы ли меня подъ арестъ, но ужъ, вѣрно, не пришелъ бы ко мнѣ толковать о конституціи Кортесовъ»... [1]).

Гр. Воронцову Пушкинъ былъ непріятенъ въ такой же мѣрѣ. Вотъ почему, желая навсегда отдѣлаться отъ безпокойнаго подчиненнаго, графъ еще въ концѣ марта (23-го числа) 1824 года, обратился къ управляющему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ графу Нессельроде съ просьбой о томъ, чтобы Пушкина отозвали изъ Одессы. Письмо написано осторожно: главнымъ мотивомъ для удаленія Пуш-

[1] Соч. VII, 84 «Письмо къ А. И. Тургеневу» отъ 14 іюля.

кина изъ Одессы—выставлена забота о Пушкинѣ, которому, по словамъ графа, дальнѣйшее пребываніе въ Одессѣ, среди многочисленныхъ поклонниковъ и почитателей, могло быть опаснымъ, такъ какъ давало пищу его неумѣренному честолюбію [1]). Письмо начинается удостовѣреніемъ, что жаловаться на поведеніе поэта онъ, Воронцовъ, не можетъ,—напротивъ, «обязанъ сказать, что замѣчаетъ въ немъ стараніе показать скромность и воздержность, какихъ въ немъ, говорятъ, никогда не было прежде» [2]). Графъ предупреждалъ возможность обратнаго перевода въ Кишиневъ къ Инзову указаніемъ, что тамъ атмосфера для Пушкина еще губительнѣе,—«между молодыми греками и болгарами» онъ могъ увидѣть слишкомъ много дурныхъ примѣровъ. По словамъ Воронцова, «только въ какой-либо другой губерніи могъ бы» поэтъ найти себѣ «менѣе опасное общество и болѣе времени для усовершенствованія своего возникающаго таланта и избавиться отъ вредныхъ вліяній лести и отъ заразительныхъ, крайнихъ и опасныхъ идей» [3]). Въ концѣ письма Воронцовъ просилъ не принимать его письма въ смыслѣ осужденія, или порицанія Пушкина. Подъ идеями «крайними» подразумѣвалъ графъ, конечно, политическія, оппозиціонныя настроенія, которыя тогда насыщали въ Россіи воздухъ, особенно на югѣ. Воронцовъ, конечно, зналъ, что Пушкинъ былъ близокъ со многими передовыми офицерами южной арміи; поляки, высланные изъ западнаго края и проживавшіе въ Одессѣ, носились съ нимъ, какъ съ жертвой правитель-

---

[1]) *П. Анненковъ.* «Пушкинъ», 258. [2]) Тамъ же, 259. [3]) Тамъ же.

ства [1]). Самъ Пушкинъ, повидимому, охотно поддерживалъ такое объясненіе причинъ своего пребыванія на югѣ,—поддерживалъ летучими стишками [2]), остротами и свободными рѣчами... Слухи о «либеральничаньи» поэта доходили до его друзей, и въ началѣ 1824 года кн. Вяземскій секретнымъ письмомъ убѣждалъ Пушкина «быть осторожнѣе на мысли и на перо, не играть болѣе пажескихъ шутокъ съ правительствомъ» [3]). Но удержать поэта было мудрено, и онъ скоро попалъ въ новую бѣду. Въ Москвѣ кѣмъ-то изъ пріятелей Пушкина распространено было въ спискахъ его письмо, которое оканчивалось словами: «ты хочешь узнать, что̀ я дѣлаю—пишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго аѳеизма». Учителемъ его былъ «англичанинъ, глухой философъ», «единственный умный аѳей», изъ всѣхъ ему знакомыхъ [4]). Собственно объ атеизмѣ было въ письмѣ брошено лишь вскользь замѣчаніе: «система, не столь утѣшительная, какъ, обыкновенно, думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная» [5]). Письмо

---

[1]) Тамъ же, 260.

[2]) О такомъ способѣ распространять свои произведенія, поэтъ говоритъ самъ позднѣе въ «Посланіи къ цензору». Онъ признается, что эти стишки, задорные и дерзкіе, ускользнули отъ цензуры; они были для него «забавой». Осмѣивая «законъ, правительство и нравы», онъ только «забавлялся». (Соч. I, 317).

Къ такимъ произведеніямъ этого времени относятся: «Отрывокъ»—296, «Сказали разъ царю»—298, «Свободы сѣятель пустынный»—239 и, вѣроятно, многіе другіе, не попавшіе въ печать.

[3]) Отчетъ Имп. Публичной библіотеки 1895 года. Спб. 1898 приложеніе 52—3.

[4]) Соч. VII, 74.

[5]) Тамъ же,

въ спискѣ попало въ руки московской полиціи, вызвало слѣдствіе—и, въ результатѣ, Пушкинъ вызвалъ на себя новый гнѣвъ властей: въ ту эпоху религіознаго «мракобѣсія» за такія рѣчи кара полагалась строгая, и поэтъ былъ исключенъ изъ службы. По словамъ графа Нессельроде, это наказаніе было вызвано его «непорядочностью» (par son inconduite). Указавъ гр. Воронцову, что его оцѣнка Пушкина неправильна, такъ какъ опальный поэтъ «нисколько не отказался отъ дурныхъ началъ», гр. Нессельроде писалъ, что рѣшено, «не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина въ имѣніе его родныхъ, подчинить его тамъ надзору мѣстныхъ властей и приступить къ исполненію этого рѣшенія немедленно, принявъ на счетъ казны издержки его путешествія до Пскова» [1]). Простившись съ Чернымъ моремъ и благодатнымъ югомъ, Пушкинъ выѣхалъ изъ Одессы по опредѣленному маршруту, давъ подписку нигдѣ не останавливаться на пути. 9-го августа онъ уже былъ въ своемъ Михайловскомъ, въ обществѣ родителей, брата и сестры... Скоро послѣ выѣзда поэта изъ Одессы, тамъ поселился кн. С. Г. Волконскій, женившійся на Раевской. Его квартира сдѣлалась центромъ подготовляющагося на югѣ мятежа, и многіе выдающіеся декабристы были «своими людьми» въ его домѣ. Поэтому удаленіе поэта изъ Одессы оказалось случайностью, очень счастливой для русской литературы...

Годы пребыванія поэта на югѣ имѣютъ громадное значеніе въ его жизни. Еще по выходѣ изъ

---

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ», 262.

лицея, онъ жадно ринулся въ жизнь. Въ этомъ водоворотѣ его сильный, великій духъ не погибъ, но обогатился впечатлѣніями, знаніемъ жизни... Перенесенный волею судебъ на югъ, онъ продолжалъ ту же жизнь: для его натуры тѣсны были рамки мѣщанскаго благочинія,—и онъ, дѣйствительно, не зналъ этихъ рамокъ: не щадя здоровья, даже жизни, цѣною слезъ, тоски и самобичеванія, онъ продолжалъ свое бурное существованіе, углубляя его во всѣ стороны, жадно запасаясь самыми пестрыми впечатлѣніями. Но здѣсь, на югѣ, онъ сталъ уже подводить итоги своей жизни... И свѣтъ сталъ мерцать передъ нимъ... Въ немъ сталъ зрѣть *человѣкъ*, трезво и правдиво смотрящій на жизнь.

Въ это же время въ немъ ясно опредѣляется *художникъ*, выступающій на новый путь; онъ перерастаетъ головою не только русскую публику, но и своихъ ближайшихъ друзей, въ родѣ кн. Вяземскаго, Бестужева и др. Характерное стихотвореніе его, «Телѣга жизни», написанное въ 1823 году, даетъ намъ ясное указаніе на то, что тревога, суета переходнаго времени стали смѣняться въ душѣ поэта успокоеніемъ: онъ шелъ къ *примиренію съ жизнью*... Но пока вся эта метаморфоза только чуется,—она гдѣ-то въ глубинѣ его души,—снаружи поэтъ, повидимому, остается все еще такимъ же «неуимчивымъ» и безпокойнымъ...

«...Въ разны годы
Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи
Являлся я. Когда вы въ первый разъ
Увидѣли меня, тогда я былъ
Веселымъ юношей. .
. . . Годы
Промчалися—и вы во мнѣ пріяли
Усталаго пришельца»...

„Опять» на родинѣ“, II, 183.

«Вотъ опальный домикъ, гдѣ жилъ
Я съ бѣдной нянею моей...»

„Опять на родинѣ“ II, 182.

«Въ уединенія мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ дружень умъ...»

„Чаадаеву“, I, 241.

«Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица
За водой поутру шла..»

„Зимній вечеръ“, I, 363.

«Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика...»

„Зимняя дорога“, II, 5.

«Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ...»

„Воспоминаніе“, II, 37.

«Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»

„Вакхическая пѣсня“, I, 345.

Въ селѣ Михайловскомъ.

(1824—1826).

Полный недоумѣній [1]), встревоженный и раздраженный, пріѣхалъ Пушкинъ въ деревню; объ его душевномъ состояніи лучше всего говоритъ его жалоба въ стихотвореніи къ Языкову:

«Злобно мной играетъ счастье:
Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье!
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь»! [2])

Какъ это бывало съ нимъ неразъ послѣ неудачъ,—онъ почувствовалъ, прежде всего, приливъ разочарованія въ людяхъ. «Какое дѣло свѣту,—я всѣмъ чужой» [3])—восклицаетъ онъ. За «разочарованіемъ» непосредственно явилось «презрѣніе», къ толпѣ,—и поэтъ опять съ особой охотой началъ расточать пре-

[1]) Пушкинъ, по словамъ Пущина, самъ не зналъ настоящимъ образомъ причины своего удаленія въ деревню; онъ приписывалъ удаленіе изъ Одессы кознямъ гр. Воронцова *изъ ревности*; думалъ даже, что тутъ могли дѣйствовать нѣкоторыя смѣлыя его бумаги по службѣ, эпиграммы на управленіе и неосторожные частые его разговоры о религіи (*Л. Майковъ*, op. cit., 79).

[2]) Соч. I, 308 «Къ Языкову».

[3]) Соч. I, 313 «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ».

зрительныя клички: чернь «лицемѣрная» [1]), «чернь презрѣнная» [2])... Это отрицательное отношеніе къ людямъ захватывало теперь даже прекрасные образы женщинъ, когда-то волновавшихъ его чувствами любви, ласкавшихъ его сердце радостью и счастьемъ,—теперь память о нихъ только мучитъ его раскаяньемъ... Вспоминая стихи, ими когда-то внушенные, онъ восклицалъ:

«Я содрагаюсь! сердцу больно,—
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ!
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился!» [3]).

Впрочемъ, въ этой галлереѣ женскихъ образовъ, одинъ сіялъ неизмѣнно, окруженный ореоломъ чистаго и сильнаго чувства.

«Одна была. Предъ ней одной
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ
Любви поэзіи святой!» [4])

---

[1]) Тамъ же, 311.

[2]) Тамъ же. Совершенно справедливо указаніе г. Ив. Иванова на то, что въ борьбѣ за *свой* прояснившійся умъ, за *свои* чувства, вообще за «индивидуальность» Пушкинъ столкнулся съ «обществомъ», у котораго «повальный стадный смѣхъ надъ непонятными для него явленіями—главное оружіе». Что можно было ему противопоставить?—«есть два средства: одно—постараться пересмѣять насмѣшниковъ, заставить замолчать силой своего сарказма, ядомъ сатиры и эпиграммы, другое—попытаться скрыть отъ нихъ свой духовный міръ, замаскировать свое подлинное «я», притвориться такимъ, какъ всѣ... Пушкинъ одновременно пользуется обоими средствами». (*Ив. Ивановъ*, Новая культурная сила», 109),—первое средство внушило ему эпиграммы и открытое вызывающее презрѣніе «черни».

[3]) Тамъ же, 312.

[4]) Тамъ же, 313.

Этотъ свѣтлый образъ, являющійся поэту всегда на фонѣ крымской природы [1]), не былъ радостнымъ видѣньемъ: душа той женщины была «завялая», увлеченіе ею не принесло ему счастья:

«Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей!
Земныхъ восторговъ изліянья
Какъ божеству, не нужно ей» [2]).

Съ душой, еще переполненной впечатлѣніями юга, съ сердцемъ, взволнованнымъ и несчастной любовью, и тревогами послѣднихъ дней, Пушкинъ пріѣхалъ въ тихую русскую деревню... Она, на первыхъ же порахъ, встрѣтила его крупными непріятностями. Поэтъ снова столкнулся лицомъ къ лицу со своими родителями. Теперь они постарѣли, опустились... Отъ прежняго свѣтскаго лоска и блеска осталась истрепавшаяся, жалкая мишура. Тѣмъ виднѣе сдѣлались недостатки ихъ характера. Л. Павлищевъ, со словъ матери, разсказываетъ много смѣшного и печальнаго объ этихъ двухъ старикахъ въ періодъ ихъ увяданія.

Жить съ ними подъ одной кровлей невыносимо,— теперь ихъ старческій «деспотизмъ» заставляетъ даже любимыхъ дѣтей, Ольгу и Льва, бросить родительскій домъ [3]), «вѣчные капризы, надоѣданія изъ-за пустяковъ, придирки, и тому подобныя угощенія»—вотъ «родительская музыка» [4]), отъ которой приходилось имъ затыкать уши. Особенно всѣхъ «пилила» Надеж-

[1]) Тамъ же.
[2]) Тамъ, же 314.
[3]) *Л. Павлищевъ*, op. cit. 20.
[4]) Тамъ же, 23.

да Осиповна [1]), большая «мастерица» устраивать сцены [2]). Отъ прежняго ихъ «величія» осталось пустое старческое «чванство» и ничѣмъ непобѣдимый «эгоизмъ» [3]). Потерявъ любезную имъ атмосферу «свѣта», они сдѣлались несносны для себя и для другихъ. Отъ всего сердца презирая своихъ кормильцевъ-«безсмысленныхъ мужлановъ», называя ихъ «настоящими животными» [4]), «пьяными свиньями» [5]), оба старика старались ненавистную имъ деревенскую жизнь приспособить къ своимъ вкусамъ—разъѣзжали по сосѣдямъ, говорили на перебой каламбуры, устраивали пикники, сводили сплетни, выдумывали всевозможныя развлеченія, порой довольно пошлыя [6])... Безтолковые, взбалмошные и легкомысленные [7]), они не вызывали къ себѣ со стороны взрослыхъ дѣтей ни уваженія, ни любви. «Que la volonté du ciel soit faite» [8])—прибаутка, которая для обоихъ стариковъ разрѣшала всѣ ихъ жизненныя недоразумѣнія. «Нѣжность» ихъ писемъ ихъ никто изъ дѣтей «за чистую монету» не принималъ [9]), и всѣ предпочитали отмалчиваться и быть отъ нихъ подальше...

Судьба зло надсмѣялась надъ А. С. Пушкинымъ поставивъ его лицомъ къ лицу съ этими людьми, ко-

[1]) Тамъ же, 24.

[2]) Тамъ же, 111.

[3]) Тамъ же, 47.

[4]) Тамъ же, 135.

[5]) Тамъ же, 293.

[6]) Заставляли судомойку, «безобразную и грязную Глашку», «дочь—извини за выраженіе—свинопаса Гаврюшки» декламировать «Евгенія Онѣгина» и хохотали до упаду». Тамъ же (изъ письма С. Л. Пушкина), 125—126.

[7]) Тамъ же, 127, 262, 101, 121, 129, 137.

[8]) Тамъ же, 279, 287, 329, 358, 363, 376, 392.

[9]) Тамъ же, 126.

торые назывались его «родителями». Старикъ-отецъ имѣлъ слабость согласиться на предложеніе псковскаго губернатора наблюдать за поведеніемъ опальнаго поэта. Эту незавидную роль безтактный Сергѣй Львовичъ исполнялъ очень неудачно, дойдя до распечатыванья его писемъ... Свойственный старику эгоизмъ сказался ясно въ боязни, что ему непремѣнно придется отвѣчать за «преступнаго» сына. На этой почвѣ и разыгралась между ними крупная ссора. Мы видѣли уже, что никогда ихъ не соединяли никакія сердечныя связи, несомнѣнно много разъ и прежде бывали у поэта съ его родителями столкновенія, но, кажется, никогда еще борьба между ними не принимала такой рѣзкой формы. Еще до «конфликта» отношенія ихъ уже сильно обострились: Пушкинъ боялся даже, что родители выгонятъ его изъ дома. Самъ Пушкинъ разсказалъ подробно весь этотъ эпизодъ, рисующій ихъ обоихъ.

31-го октября 1824 года онъ писалъ Жуковскому, ища у него «покровительства и помощи»: «пріѣхавъ сюда, разсказываетъ онъ, былъ я всѣми встрѣченъ, какъ нельзя лучше, но скоро все перемѣнилось. Отецъ, испуганный моей ссылкою, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та же участь. Пещуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку,—короче, быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мнѣ съ нимъ объясниться,—я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся... Желая вывести себя

изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу позволенія говорить искренно—болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ призываетъ брата и повелѣваетъ ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé... Голова моя закипѣла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу; нахожу его въ спальнѣ и высказываю все, что̀ у меня было на сердцѣ цѣлыхъ три мѣсяца, кончаю тѣмъ, что говорю ему *въ послѣдній разъ*. Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его *билъ*... потомъ, что *хотѣлъ бить!* Передъ тобою не оправдываюсь. Но чего же онъ хочетъ для меня съ уголовнымъ обвиненіемъ? Рудниковъ сибирскихъ и лишенія чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ! Не говорю тебѣ о томъ, что̀ терпятъ за меня братъ и сестра!» [1]). Правда, тяжелый инцидентъ уладился,—вскорѣ самъ отецъ сталъ увѣрять всѣхъ, что сынъ вовсе и не покушался на его особу. Узнавъ, что «преступный» сынъ передъ кѣмъ-то оправдывался, не признавая себя виновнымъ въ нанесеніи ему оскорбленія, старикъ замѣтилъ: «дуракъ! Въ чемъ

[1]) Соч. VII, 88, «Письмо В. А. Жуковскому» отъ 31 октября. Любопытенъ отвѣтъ Жуковскаго: «На письмо твое, въ которомъ описываешь то, что̀ случилось между тобой и отцомъ, не хочу отвѣчать; ибо не знаю, кого изъ васъ обвинять и кого оправдывать. И твое письмо, и разсказы Льва увѣряютъ меня, что ты столько же неправъ, сколько и отецъ твой». Далѣе онъ убѣждаетъ поэта стать выше дрязгъ: «ты имѣешь не дарованіе, а геній, ты—богачъ, у тебя есть неотъемлемое средство *быть выше* незаслуженнаго несчастья и *обратить въ добро* заслуженное. Ты рожденъ быть великимъ поэтомъ: будь же этого достоинъ. Въ этой фразѣ вся твоя мораль, все твое возможное счастье и всѣ вознагражденія» (Соч. Жуковскаго, т. 12, изд. 1902 г. Маркса).

оправдывается! Да я бы связать его велѣлъ!.. Да какъ онъ осмѣлился, говоря съ отцомъ, непристойно размахивать руками?.. Да онъ *убилъ* отца *словами!*» [1]). Такъ неловко вывертывался старикъ изъ той лжи, которой запуталъ себя и сына. Впрочемъ, хотя это столкновеніе, совершенно неожиданно для Пушкина, кончилось «каламбуромъ», но ему оно принесло немало горя, такъ какъ и Надежда Осиповна энергично приняла сторону мужа, защищая своихъ любимцевъ Ольгу и Льва отъ «тлетворнаго вліянія» старшаго сына [2])... Подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ разыгравшейся сцены, опасаясь самаго строгаго наказанія, поэтъ совсѣмъ потерялъ, было, голову и написалъ псковскому губернатору бар. Адеркасу оффиціальное прошеніе о переводѣ его изъ отчаго дома въ одну изъ крѣпостей [3]). Этотъ курьезъ прекрасно характеризуетъ и растерянность Пушкина, и ту впечатлительность, которая всегда подчиняла его минутнымъ настроеніямъ.

Въ ноябрѣ 1824 года отецъ Пушкина съ семействомъ уѣхалъ въ Петербургъ, откуда прислалъ письменный отказъ отъ надзора за сыномъ. Поэтъ остался одинъ въ деревнѣ.

Первое время онъ томился въ деревнѣ отчаянно: въ сентябрѣ того же года онъ писалъ кн. Вяземскому о «бѣшенствѣ скуки, которая съѣдаетъ его глупое существованіе» [4]). Въ декабрѣ онъ жаловался

[1]) Соч. VII, 92. «Письмо В. А. Жуковскому» отъ 24-го ноября.

[2]) Соч. VII, 93. «Письмо кн. В. Ѳ. Вяземской» отъ конца сентября «on prétend que je prêche l'athéisme à ma soeur qui est une creature celeste et à mon frère qui est trés drôle et très jeune»...

[3]) Соч. VII, 89. «Письмо Б. А. Адеркасу» въ ноябрѣ 1824.

[4]) Соч. VII, 93. «Письмо къ В. Ѳ. Вяземской въ сентябрѣ 1824 г.

сестрѣ на ту же скуку: «твои троегорскія пріятельницы несносныя... кромѣ матери. Я у нихъ рѣдко. Сижу дома, да жду зимы» [1]). Быть можетъ, скука Онѣгина въ деревнѣ, его покровительственно-презрительное отношеніе къ сосѣдямъ-помѣщикамъ подсказали ему эти настроенія [2]). Но у Онѣгина оказалось больше характера, чѣмъ у его творца. Поэтъ не долго выдержалъ одиночество,—жажда общества заставила его сблизиться съ семьей Осиповыхъ, и скоро онъ объ этомъ уже не жалѣлъ, сдѣлавшись постояннымъ гостемъ Тригорскаго.

Село Тригорское находилось очень близко отъ Михайловскаго: оно принадлежало Прасковьѣ Александровнѣ Осиповой, которая, отъ перваго брака съ Вульфомъ, имѣла сына Алексѣя Николаевича и дочерей Анну и Евпраксію, а отъ брака съ Осиповымъ трехъ дочерей — Александру, Екатерину и Марію Ивановну. Здѣсь же, въ этомъ гостепріимномъ домѣ, потомъ встрѣтилъ Пушкинъ родственницу Осиповыхъ, Анну Петровну Кернъ, сыгра-

---

[1]) Соч. VII, 99 «Письмо къ Л. Пушкину» 4 декабря (приписка къ сестрѣ). Въ выключенныхъ стихахъ изъ «Евг. Онѣг.» тоже есть выходка противъ нихъ (III, 308, подстр. прим.).

[2]) «Въ досужное время Пушкинъ въ теченіе дня много ходилъ и ѣздилъ верхомъ, а вечеромъ любилъ слушать русскія сказки и тѣмъ—говорилъ онъ—вознаграждалъ недостатки своего французскаго воспитанія. Вообще образъ его жизни довольно походилъ на деревенскую жизнь Онѣгина. Зимою онъ, проснувшись, такъ же садился въ ванну со льдомъ, а лѣтомъ отправлялся къ бѣгущей подъ горой рѣкѣ; такъ же игралъ въ два шара на билліардѣ, такъ же обѣдалъ поздно и довольно прихотливо. Вообще онъ любилъ придавать своимъ героямъ собственные вкусы и привычки (*Л. Пушкинъ.* «Молодость Пушкина» *Л. Майковъ* «Пушкинъ» op. cit., 11).

вшую въ его жизни, какъ извѣстно, хотя эпизодическую, но замѣтную роль.

Семья Осиповыхъ, достаточная помѣщичья семья, дружная и веселая, умѣла цѣнить образованіе, любила литературу [1]). Со всѣми членами этой семьи Пушкинъ былъ уже знакомъ ранѣе, во время своихъ наѣздовъ въ Михайловское изъ Петербурга; но, повидимому, сначала, сошелся близко только съ сыномъ Осиповой,—Вульфомъ, о чемъ свидѣтельствуетъ извѣстное «Посланіе къ Вульфу» [2]), отправленное изъ Михайловскаго 20-го сентября. Отъ этого произведенія вѣетъ дерптскимъ «буршествомъ», а отъ чувствъ Пушкина къ Вульфу—уже вполнѣ опредѣлившейся пріязнью. Поэтъ приглашалъ Вульфа пріѣхать въ деревню зимой и захватить съ собой поэта Языкова. Онъ старается ихъ обоихъ соблазнить обѣщаніемъ удовольствій во вкусѣ студенческихъ.

«Запируемъ—ужъ молчи!
Чудо—жизнь анахорета!
Въ Троегорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до свѣта!
Дни—любви посвящены,
Ночью—царствуютъ стаканы!
Мы же,—то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены [3]).

Любопытно, что впечатлительный, какъ всегда, поэтъ, думая о Вульфѣ и Языковѣ, воображалъ ихъ себѣ

---

1) *Проф. Е. В. Пѣтуховъ*, «Два года изъ жизни А. С. Пушкина» «Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ». Юр. 1899 г., 4 стр. и слѣд.

2) Соч. VII, 85, въ «Письмѣ къ А. Н. Вульфу» отъ 20 сент. 1826 г.

3) Тамъ же.

настолько живо, что, очевидно, самъ заглазно подпадалъ вліянію своего воображенія—отсюда эти студенческія настроенія и бравурные мотивы, отъ которыхъ давно отвыкла его муза. Иначе объяснить себѣ нельзя происхожденія этого «удалого» посланія,—оно было совершенно необычно для *тогдашняго* Пушкина и шло въ разрѣзъ съ его *минорными* настроеніями...

Скоро свою пріязнь Пушкинъ распространилъ и на всѣхъ прочихъ обитателей Тригорскаго: поэтъ охотно проводилъ у нихъ цѣлые дни то въ забавахъ и шуткахъ, то за книгами въ библіотекѣ покойнаго отца П. А. Осиповой, Вандомскаго [1]). Но особенно дорогимъ сдѣлался ему привѣтливый образъ хозяйки дома, сердечной П. А. Осиповой,—онъ украсилъ собою небольшую галлерею тѣхъ лицъ, неизмѣнно-доброе отношеніе которыхъ къ поэту облегчало ему жизнь. До какой степени благоговѣлъ Пушкинъ передъ Осиповой, видно изъ тѣхъ писемъ, которыя писалъ онъ къ ней до самой своей смерти: ей раскрывалъ онъ всѣ тайники своего сердца, чаще всего тоскующаго, а она всегда шла къ нему съ словомъ утѣшенія и сочувствія [2]). Семья Осиповой оказала на Пушкина то же успокаивающее и облагораживающее вліяніе, какое раньше оказали Раевскіе. Послѣ

---

[1]) *Е. Пѣтуховъ*, op. cit. 4—5.

[2]) Въ 1835-мъ году онъ писалъ Осиповой: «уже 10 лѣтъ прошло со времени этого несчастнаго возмущенія (1825); мнѣ кажется, что я видѣлъ сонъ,—сколько событій, сколько перемѣнъ во всемъ, начиная съ моихъ собственныхъ взглядовъ, моего положенія и проч. По правдѣ сказать, только мою дружбу къ вамъ, и вашему семейству нахожу я въ душѣ моей все тою же, всегда полною и ненарушимою». Соч. VII. 390 «Письмо П. А. Осиповой» отъ 26 декабря 1835 г.

шумной, тревожной жизни въ Кишиневѣ и Одессѣ, поэтъ теперь попалъ въ общество, исключительно женское, быть можетъ, наивное и, на первый взглядъ, смѣшное своею провинціальной патріархальностью,—но чистое и благородное... Здѣсь онъ принужденъ былъ сдерживать свои порывистыя страсти, свой языкъ и даже мысли. Вотъ почему, судя по его письмамъ, можно видѣть, что дальше шалостей, чисто-мальчишескихъ, здѣсь поэтъ не шелъ,—въ концѣ октября 1824 года онъ со смѣхомъ разсказываетъ въ письмѣ къ брату, какъ дразнилъ прелестныхъ обитательницъ Тригорскаго: «на-дняхъ я мѣрился поясомъ съ Евпраксіей (Вульфъ), и тальи наши нашлись одинаковы. Слѣдственно, изъ двухъ одно: или я имѣю талью 15-ти лѣтней дѣвушки, или она—только 25-ти лѣтняго мужчины. Евпраксія дуется и очень мила, съ Анеткою бранюсь,—надоѣла» [1]). Въ половинѣ ноября онъ сообщаетъ брату, что «Евпраксія уморительно смѣшна»... «Я, говоритъ Пушкинъ, предлагаю ей завести съ тобою философическую переписку. Она все завидуетъ сестрѣ, что та пишетъ и получаетъ письма» [2]). Въ декабрѣ 1824-го года онъ писалъ брату: «у меня съ Тригорскими завязалось дѣло презабавное—некогда тебѣ разсказывать» [3])... Эти безобидныя забавы поэта опять-таки подтверждаютъ неразъ отмѣченную нами выше способность его всецѣло подчиняться той атмосферѣ, въ которую его бросала судьба.

Впрочемъ, и теперь, какъ всегда, поэтъ не отдавался

---

1) Соч. VII, 87, «Письмо къ Л. Пушкину» отъ конца октября 1824 г.
2) Соч. VII, 91. 3) Соч. VII, 97.

цѣликомъ новымъ настроеніямъ. Въ ноябрѣ, или декабрѣ, того же 1824 года онъ въ письмѣ Д. М. Княжевичу жалуется на скуку. «Здѣсь пишетъ онъ, нѣтъ ни моря[1]), ни голубого неба, ни италіанской оперы, ни васъ, друзья мои. Но за то нѣтъ ни саранчи, ни милордовъ Уоронцовыхъ. Уединеніе мое совершенно, праздность торжественна. Сосѣдей около меня мало,—я знакомъ только съ однимъ семействомъ, и то вижу его довольно рѣдко,—совершенный Онѣгинъ: цѣлый день верхомъ, вечеромъ слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны, вы, кажется, разъ ее видѣли, она — единственная моя подруга и съ нею только мнѣ не скучно!» [2]) Трогательное стихотвореніе: «Зимній вечеръ» [3]), посвященное старой нянѣ,—этой вѣрной спутницѣ «бѣдной юности» поэта, прекрасно рисуетъ его одиночество и нѣжный союзъ, съ дѣтства связавшій поэта съ его няней, теперь по капризу судьбы, неожиданно обновившійся. «Знаешь ли мои занятія?» спрашивалъ онъ въ письмѣ брата: «до обѣда пишу записки; обѣдаю поздно, послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія! что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» [4]). Въ февралѣ 1825 года онъ писалъ князю Вяземскому:

---

[1]) О морѣ онъ скучалъ сильно: кн. В. Ѳ. Вяземской въ концѣ сентября 1824-го года онъ писалъ: «tout ce que me rappelle la mer m'attriste, le bruit d'une fontaine me fait mal à la lettre; je crois qu'un bon ciel me ferait pleurer de rage»... (Соч. VII, 93).

[2]) Соч. VII, 96.

[3]) Соч. I, 362.

[4]) Соч. VII, 87 «Письмо Л. С. «Пушкину» въ октябрѣ.

«покамѣстъ я одинъ-одинешенекъ; живу недорослемъ, валяюсь на лежанкѣ и слушаю старыя сказки да пѣсни» [1]). Это слушанье сказокъ и пѣсенъ старой няни достаточно уже оцѣнено историками нашей литературы. Геній умѣетъ находить великое въ обыденномъ, будничномъ,—оттого сказки и пѣсни, усыплявшія многихъ русскихъ «недорослей», Пушкина не только сблизили съ народнымъ творчествомъ [2]), но затронули его творчество настолько глубоко, что въ 1825-омъ году появились первыя его «подражанія» народнымъ пѣснямъ [3]). Здѣсь, въ этихъ геніальныхъ

---

[1]) Соч. VII, 109.

[2]) Къ 1825. году относятся его записи нѣсколькихъ пѣсенъ: «Какъ за церковью, за нѣмецкою» I, 372, «Во лѣсахъ дремучихъ», 372, «Въ городѣ, то было во Астрахани», 372, «Какъ на утренней зарѣ, вдоль по Камѣ, по рѣкѣ», 374, «Во славномъ городѣ во Кіевѣ». Не отъ одной няни слушалъ Пушкинъ произведенія народной поэзіи. «Онъ обладалъ способностью сживаться съ простымъ народомъ, и это облегчало ему сближеніе съ народнымъ творчествомъ русскимъ и инородческимъ (цыгане, молдаване, татары въ Крыму). Онъ легко сходится съ простыми людьми, можно сказать, влюбляетъ въ себя случайно встрѣченнаго мавра Али, по-пріятельски живетъ съ цыганами, съ первой же встрѣчи вызываетъ у нихъ полное довѣріе и дружелюбіе—дикари поютъ ему свои пѣсни, посвящаютъ въ свои нравы, въ свою вѣру, учатъ его своему языку, считаютъ его своимъ человѣкомъ... То же повторяется съ нищими и старцами. Пушкинъ заслушивается ихъ былинъ, вмѣстѣ съ ними самъ поетъ и на деревенской ярмаркѣ среди калѣкъ и лазарей чувствуетъ себя гораздо лучше, чѣмъ въ самомъ блестящемъ салонѣ. Чувствуется хорошо съ нимъ и всякому простому люду». («Могила Пушкина», Журн. М. Нар. Просв. 1859, Спб.; цитата *Ив. Иванова*). Подробнѣе о собираніи Пушкинымъ народныхъ пѣсенъ и этнографическихъ матеріаловъ см. въ лучшей работѣ, этому вопросу посвященной и принадлежащей перу проф. *Вс. Миллера*: «Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ» Москва, 1899 г., 384.

[3]) Соч. I, «Только что на проталинахъ весеннихъ», 385, «Колокольчики звенятъ», 387, «Черный воронъ выбиралъ бѣлую лебедушку», 387.

подражаніяхъ-перевоплощеніяхъ—зерно той поэзіи, изъ которой выросло все творчество Кольцова, Никитина, многія произведенія А. Толстого, Некрасова и др.

Кромѣ посѣщенія Тригорскаго и «занятій» народной поэзіей, «подъ руководствомъ» старой няни, Пушкинъ широко пользовался тишиной деревенской жизни для чтенія: рѣдкое письмо его къ брату не заключаетъ просьбы выслать книгъ. «Книгъ ради Бога, книгъ!»—взываетъ онъ къ брату въ октябрѣ 1824 г. [1]). Въ это время недостатокъ книгъ особенно угнеталъ его, и онъ, теперь ясно сознавшій всѣ недостатки своего образованія, искренно и горько, жаловался: «не имѣю способа учиться, пока пора. Грѣхъ гонителямъ моимъ!» [2]). Въ письмѣ къ А. А. Бестужеву Пушкинъ указываетъ ему на необходимость для писателей «учиться»: «ты, пишетъ онъ, да, кажется, Вяземскій — одни изъ нашихъ литераторовъ, учатся,—всѣ прочіе разучаются. Жаль! высокій примѣръ Карамзина долженъ былъ ихъ образумить» [3]). Но, всетаки, ни эти занятія, ни интенсивное творчество не заполнили многосторонней души поэта. Мы видѣли, что, едва онъ попалъ въ деревню, онъ уже сталъ думать о томъ, какъ бы отсюда уѣхать; взявъ-же отъ русской деревни все, что ему было нужно, онъ скоро сталъ ею тяготиться [4]). Еще въ октябрѣ 1824 года, въ разгаръ обостренныхъ

---

[1]) Соч. VII, 86, еще: 90, 92, 98, 99, 110, 113, 121.

[2]) Соч. VII, 159, «Письмо къ П. А. Вяземскому» въ сентябрѣ 1825 г.

[3]) Соч. VII, 166, «Письмо къ А. А. Бестужеву» отъ 30 ноября 1825 г.

[4]) Соч. VII, 130, «Михайловское душно для меня»—писалъ онъ Жуковскому лѣтомъ 1825 г.

отношеній съ родителями, но еще до извѣстнаго конфликта, Пушкинъ просилъ у брата похлопотать у Жуковскаго и Карамзина о перемѣнѣ его участи [1]). Впослѣдствіи, потерявъ надежду на прощеніе, онъ составляетъ совершенно фантастическій планъ бѣгства заграницу. Мысль о заграничномъ путешествіи давно зрѣла въ головѣ поэта, — еще въ бытность свою въ Петербургѣ онъ уже мечталъ о такомъ путешествіи совмѣстно съ Чаадаевымъ; живя на югѣ, онъ тоже неразъ поговаривалъ о поѣздкѣ и даже о побѣгѣ въ чужіе края [2])... Теперь, живучи въ своемъ деревенскомъ заточеніи, онъ томился еще сильнѣе, а потому мечты о побѣгѣ заграницу стали все настойчивѣе преслѣдовать его воображеніе. Въ результатѣ, у него сложился курьезный проектъ бѣгства съ обдуманными подробностями [3]). Сперва, впрочемъ, онъ попытался дѣйствовать законнымъ порядкомъ: весной

---

[1]) Соч. VII, 87. «Поговори, заступникъ мой, съ Жуковскимъ и съ Карамзинымъ. Я не прошу отъ правительства полумилостей; это былабы полумѣра, и самая жалкая. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надѣялся на перемѣну судьбы моей, но со мною онъ поступилъ не только строго, но и справедливо. Не надѣясь на его снисхожденіе, надѣюсь на справедливость его. Какъ бы то ни было, не желаю быть въ Петербургѣ, и, вѣрно, нога моя дома ужъ не будетъ».

[2]) Еще въ январѣ 1824 года онъ писалъ брату: «ты знаешь, я дважды просилъ Ивана Ивановича о своемъ отпускѣ черезъ его м-ровъ, и два раза воспослѣдовалъ всемилостивѣйшій отказъ. Осталось одно—писать прямо на его имя—такому-то, въ З. Д., что напротивъ П. К.,— не то взять тихонько трость и шляпу и поѣхать посмотрѣть на Константинополь» (Соч. VII, 68).

[3]) Къ 1824 г. относится стихотвореніе: «Презрѣвъ и шопотъ укоризны» (I, 333),—къ 1825-му г.: «П. А. Осиповой» (I, 351)—оба, посвященныя планамъ бѣгства, или путешествія.

1825 года онъ проситъ Жуковскаго устроить ему поѣздку въ чужіе края, для лѣченія отъ «аневризма» [1]), которымъ онъ, будто бы, страдалъ,—но въ это дѣло вмѣшалась его мать и, въ результатѣ, оно приняло для поэта самый нежелательный оборотъ [2]),—Пушкину дозволено было лѣчиться, но только въ Псковѣ, подъ тѣмъ условіемъ, чтобы губернаторъ псковскій наблюдалъ за его поведеніемъ и даже за его *разговорами*. Горечью и обидою звучитъ письмо поэта къ Жуковскому, писанное по поводу этой «милости». «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тѣмъ болѣе, что здѣшній губернаторъ предлагалъ уже мнѣ имѣть жительство во Псковѣ, но я строго придерживался повелѣнія высшаго начальства... Я справлялся о псковскихъ операторахъ,—мнѣ указали тамъ на нѣкотораго Всеволожскаго, очень искуснаго по ветеринарной части и извѣстнаго въ ученомъ свѣтѣ по своей книгѣ о лѣченіи лошадей. Несмотря на это, я рѣшилъ остаться въ Михайловскомъ; тѣмъ не менѣе, чувствую отеческую снисходительность Его Величества» [3]). Только послѣ этой неудачи Пушкинъ сталъ составлять планы бѣгства. Такъ какъ въ эти планы онъ посвятилъ

[1]) Соч. VII, 130. «Письмо В. А. Жуковскому» въ маѣ-іюнѣ. Къ этому письму было приложено черновое прошеніе къ государю о разрѣшеніи лѣчиться; здѣсь-же приведены имъ «личныя» причины его «либеральничанья»: оказывается, когда разошелся слухъ объ его сѣченіи,—онъ хотѣлъ, было, на этотъ слухъ отвѣтить «*самоубійствомъ*», или «*убійствомъ*»,—и кончилъ тѣмъ, что рѣшилъ принести въ жертву «общественному мнѣнію», имъ «презираемому», *человѣка*, котораго онъ въ душѣ почиталъ (dont j'avais l'admiration),—т. е. императора (131).

[2]) *П. Анненковъ*. «Пушкинъ», 285, О томъ же—Соч. VII, 139.

[3]) Соч. VII, 135—6; еще: 136—7.

очень многихъ,—вѣроятно, и своего пустого и болтливаго братца, то слухъ о предстоящемъ побѣгѣ поэта сталъ настойчиво распространяться въ Петербургѣ, и оттуда дошелъ до ушей самого Пушкина,—понятны его и тревога, и неудовольствіе [1]).

Главнымъ пособникомъ бѣгства былъ, кажется, Вульфъ. Онъ долженъ былъ помочь поэту перебраться черезъ Дерптъ въ Ревель. Съ нимъ въ сентябрѣ и октябрѣ 1821 г. и шла, главнымъ образомъ, переписка по этому поводу. Въ тайну поэта, говорятъ, посвящена была и сама П. А. Осипова [2]). Такъ какъ за письмами поэта слѣдила полиція, то «во избѣжаніе раскрытія тайны со стороны, придуманы были условные термины,—именно, съ виду, темой переписки служила *коляска*, будто бы взятая Вульфомъ для переѣзда въ Дерптъ, и судьба ея (т. е. или возвращеніе обратно въ Михайловское, или удержаніе въ Дерптѣ), должна была означать судьбу подготовительныхъ хлопотъ о дѣлѣ въ Дерптѣ; другой системой условныхъ терминовъ было, будто бы, предпринятое Пушкинымъ печатаніе своихъ сочиненій въ Дерптѣ,

---

[1]) «Мнѣ дьявольски не нравятся петербургскіе толки о моемъ побѣгѣ: зачѣмъ мнѣ бѣжать? здѣсь такъ хорошо! Когда ты будешь у меня, то станемъ трактовать о *банкирѣ*, о *перепискѣ*, о мѣстѣ пребыванія Чаадаева» (VII, 97). Эти условныя выраженія должны были означать устройство пересылки денегъ и корреспонденціи заграницу, на случай бѣгства. Около этого-же времени Пушкинъ писалъ: «стыжусь, что доселѣ не имѣю духа исполнить пророческую вѣсть, что разнеслась недавно обо мнѣ. Глупо часъ-отъ-часу вязнуть въ жизненной грязи». (Соч. VII, 97, прим.).

[2]) Соч. VII, 163. «Письмо къ Жуковскому» отъ 6 октября. Не былъ-ли участникомъ замышляемаго бѣгства и Ив. М. Рокотовъ, сосѣдъ Пушкина по имѣнію—ср. письмо къ нему Пушкина. (Соч. VII, 171).

при чемъ подъ словами главнаго «цензора» должно было разумѣться настроеніе высшей правительственной власти относительно Пушкина; подъ замѣтками «наборщиковъ»—мнѣніе того или другого изъ ея агентовъ» [1]). Черезъ Дерптъ Пушкинъ хотѣлъ пробраться затѣмъ, чтобы, на всякій случай, заручиться тамъ мнѣніемъ извѣстнаго хирурга И. Ф. Мойера о необходимости лѣчиться только заграницей [2]). Жуковскій, непосвященный въ замыслы поэта, серьезно увѣровалъ въ «аневризмъ» Пушкина и, желая услужить другу, убѣдилъ профессора Мойера, въ необходимости съѣздить въ Михайловское и полечить тамъ поэта. Узнавъ о томъ, что знаменитый хирургъ собирается самъ навѣстить его въ деревнѣ, видя, что это посѣщеніе разстраиваетъ всѣ планы бѣгства, Пушкинъ писалъ Вульфу: «друзья мои и мои родители вѣчно со мной проказятся! теперь послали мою *коляску* къ Мойеру съ тѣмъ, чтобы онъ въ ней ко мнѣ пріѣхалъ и опять уѣхалъ и опять отослалъ назадъ эту бѣдную коляску. Вразумите его. Дайте ему отъ меня честное слово, что я не хочу этой операціи, хотя бы и очень радъ былъ съ нимъ познакомиться» [3]). Жуковскому поэтъ писалъ совсѣмъ отчаянное письмо,—храбрость, очевидно, совсѣмъ его покинула: отказываясь отъ помощи Мойера, онъ прибавлялъ: «все равно умереть

---

[1]) *Проф. Евг. В. Пятуховъ*, op. cit., 11—12. *П. Анненковъ*, Пушкинъ, 288—9; ср. письмо къ Вульфу (Соч. VII, 158, 164).

[2]) Соч. VII, 142 «Письмо И. Ф. Мойеру» отъ 29 іюля; о томъ же (Соч. VII, 159, 163, 164) *М. И. Столяровъ*, «Старый Дерптъ въ жизни и поэзіи А. С. Пушкина» (Сб. Уч. Литер. Общ. при Имп. Юрьевск. Универ. Юр. 1899).

[3]) Соч. VII, 159, «Письмо А. Н. Вульфу» въ сентябрѣ.

со скуки, или съ аневризма, но первая смерть вѣрнѣе другой... Посидимъ, авось либо царь что́ нибудь рѣшитъ въ мою пользу. Посидимъ у моря—подождемъ погоды!» [1]). Поэтъ смирился и сталъ ждать перемѣны своей участи.

«Событіями» въ его отшельнической жизни были тѣ посѣщенія, которыми въ разное время подарили его Н. М. Языковъ, Пущинъ, Горчаковъ и Дельвигъ.

Съ Языковымъ знакомство началось заочное. Пушкинъ зналъ Языкова по его произведеніямъ, которыя стали появляться въ печати въ 1822 году. Любопытно, что Пушкинъ приходилъ въ восторгъ отъ музы Языкова, а послѣдній долго относился и къ Пушкину, и къ его творчеству очень сурово [2]). Вѣроятно, этимъ надо объяснить, что неоднократныя приглашенія Пушкина, пріѣхать къ нему въ деревню познакомиться [3]), долго не встрѣчали у Языкова желанія воспользоваться ими. Лишь въ іюнѣ 1826 года Языковъ пріѣхалъ, наконецъ, въ Тригорское и познакомился съ поэтомъ. Пушкинъ произвелъ на него сильное впечатлѣніе, и мѣсяцъ, проведенный Языковымъ въ Тригорскомъ [4]), былъ, по его признанію,

---

[1]) Соч. VII, 163 «Письмо Жуковскому» отъ 3 октября. Характерно продолженіе: «я не умру—это невозможно: Богъ не захочетъ, чтобы Годуновъ со мною уничтожился».

[2]) *Д. Н. Садовниковъ*, «Отзывы современниковъ о Пушкинѣ». Истор. Вѣстникъ, 1883, № 12, стр. 524.

[3]) Въ 1824-омъ году: Соч. I, 308—9, VII, 86; въ 1826-омъ году Пушкинъ писалъ Вульфу: «жду васъ, любезный филистеръ, и надѣюсь обнять въ началѣ слѣдующаго мѣсяца. Не правда ли, что вы привезете къ намъ и вдохновеннаго (т. е. Языкова)?». (VII, 17).

[4]) Тригорское онъ воспѣлъ въ стихотвореніи этого-же названія. (Стихотворенія Н. М. Языкова, ч. I, стр. 76—80).

однимъ изъ счастливѣйшихъ въ его жизни [1]). Старушка Арина Родіоновна очаровала его и вдохновила на нѣсколько прочувствованныхъ строкъ [2]). И для Пушкина тоже эти дни остались памятны: спустя 10 лѣтъ, онъ еще поминалъ ихъ въ письмѣ къ Языкову отъ 14 апрѣля 1831 года [3]).

И. И. Пущинъ, гостившій въ теченіе нѣсколькихъ дней у сестры въ Псковѣ, тоже заѣхалъ 11 января 1825 года на одинъ день къ своему другу. Свиданіе было для Пушкина неожиданно до такой степени, что отъ радости онъ выбѣжалъ на встрѣчу старому другу на дворъ босикомъ и въ одной ночной рубахѣ, несмотря на снѣгъ и морозъ [4])... Пушкинъ показался его другу «нѣсколько серьезнѣе, хотя сохранилъ однако прежнюю веселость». Пущинъ замѣтилъ, что его вѣтренному другу замѣтно наскучила прежняя шумная жизнь, въ которой онъ такъ часто терялъ себя,

[1]) *П. Анненковъ*, «Пушкинъ» 318—9, *Семевскій*, «Н. М. Языковъ» «Русск. Арх.» 1867 г., стр. 722.

[2]) «Свѣтъ-Родіоновна, забуду ли тебя?»—начинается его стихотворное обращеніе къ нянѣ. (Стихотворенія Н. М. Языкова ч. I, Спб. 1858, стр. 89).

[3]) Соч. VII, 396—7.

[4]) *И. И. Пущинъ*, «Воспоминанія о Пушкинѣ» (*Л. Майковъ*, op. cit.). «Я оглядываюсь: вижу на крыльцѣ Пушкина, босикомъ, въ одной рубахѣ, съ поднятыми вверхъ руками. Ненужно говорить, что тогда во мнѣ происходило... Выскакиваю изъ саней, беру его въ охапку и тащу въ комнату. На дворѣ страшный холодъ, но въ иныя минуты человѣкъ не простужается. Смотримъ другъ на друга, цѣлуемся, молчимъ. Онъ забылъ, что надобно прикрыть наготу, я не думалъ объ заиндевѣвшей шубѣ и шапкѣ. Не знаю, что дѣлалось. Прибѣжавшая старуха застала насъ въ объятіяхъ другъ у друга въ томъ самомъ видѣ, какъ мы попали въ домъ: одинъ—почти голый,—другой—весь забросанный снѣгомъ. Наконецъ, пробила слеза (она и теперь, черезъ тридцать три года мѣшаетъ писать въ очкахъ), мы очнулись»... (Тамъ же, 18).

свою личность... Впрочемъ, оторваться отъ нея совершенно онъ не могъ: Пущинъ замѣтилъ, что онъ очень интересовался тѣми слухами, что ходили о немъ въ столицѣ, и преувеличивалъ ихъ значеніе.

О своей жизни въ деревнѣ поэтъ сказалъ, что съ нею нѣсколько примирился за эти четыре мѣсяца, что тутъ, хотя невольно, онъ отдыхаетъ отъ прежняго шума и волненія, что съ музой живетъ въ ладу и трудится охотно и усердно... Характерно, что теперь, узнавъ объ участіи Пущина въ тайномъ обществѣ, поэтъ сказалъ: «впрочемъ, я не заставляю тебя, любезный Пущинъ, говорить. Можетъ быть, ты и правъ, что мнѣ не довѣряешь! вѣрно, я этого довѣрія не стою по многимъ моимъ глупостямъ!» [1]). Это сознаніе Пушкина было единственнымъ темнымъ облачкомъ, затуманившимъ радость ихъ встрѣчи. Пушкинъ былъ тронутъ и вниманіемъ друга, и его смѣлостью,—даже близкіе къ поэту люди, въ родѣ брата Льва, В. Л. Пушкина, А. И. Тургенева, боялись сношеній съ нимъ [2]), чтобы этимъ не навлечь на себя непріятностей: поэтъ былъ подъ двойнымъ надзоромъ—полицейскимъ и духовнымъ [3]). Надзоръ за нимъ былъ крѣ-

---

[1]) Тамъ же. [2]) *Л. Майковъ*, op. cit. 77. Соч. VII, 110 (Л. Пушкину въ февр. 1825), 112 (Н. И. Гнѣдичу въ февр. 1825), 172 (П. А. Плетневу въ январѣ 1826): Насколько «косо» смотрѣло правительство на «друзей» Пушкина, видно изъ дѣла, возникшаго по поводу близости Плетнева къ Пушкину. (Русск. Стар. 1899, № 6, 509. *Я. Гротъ*, op. cit., 255).

[3]) Даже переписываться съ нимъ опасались. Это видно, хотя-бы, изъ благороднаго письма Н. Н. Раевскаго: «пиши ко мнѣ попрежнему, побольше и почаще... Не бойся поставить меня въ неловкое положеніе: моя дружба съ тобой завязалась гораздо ранѣе несчастной твоей исторіи; она независима отъ того, что случилось и что вызвано заблужденіями нашей ранней молодости. Совѣтую тебѣ: будь благоразу-

покъ и стража бдительна,—даже кратковременный пріѣздъ Пущина сдѣлался немедленно извѣстнымъ въ сосѣднемъ монастырѣ, откуда сейчасъ же явился къ Пушкину настоятель, своимъ прибытіемъ прервавшій и дружескую бесѣду, и чтеніе «Горя отъ ума». Тогда это произведеніе еще было литературной новинкой, ходило по рукамъ и Пушкину было привезено его другомъ. Пріѣздъ Пущина отмѣченъ поэтомъ въ его прекрасномъ стихотвореніи: «19 октября 1825 года», въ которомъ прекрасно передана и сердечная тоска одинокаго поэта, непримиримаго врага уединенія, и тотъ взрывъ радости и умиленія, который имъ овладѣлъ, когда онъ обнялъ у себя въ заточеніи Пущина и другихъ двухъ лицеистовъ — кн. Горчакова и Дельвига. Посѣщеніе Пущина вспомнилъ онъ еще въ прочувствованномъ «Посланіи въ Сибирь»:

«Мой первый другъ, мой другъ
безцѣнный!
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снѣгомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провидѣнье,
Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ то же утѣшенье,
Да озаритъ онъ заточенье
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней! [1]).

менъ. Не то, чтобъ я опасался новыхъ невзгодъ, но меня все еще страшитъ какой-нибудь неосторожный поступокъ, который можетъ быть истолкованъ въ дурную сторону: а, по несчастію, твое прошлое даетъ къ тому поводъ. Мнѣ очень хочется тебя увидѣть, и, если твое положеніе не перемѣнится, я обѣщаю пріѣхать къ тебѣ раньше года; а если съ тобою послѣдуетъ перемѣна, то дай мнѣ слово навѣстить меня тоже раньше года» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ», 142).

[1]) Соч. II, 7.

Меньше радости доставило поэту свиданіе съ кн. А. М. Горчаковымъ. Съ нимъ отношенія Пушкина никогда не были особенно ровны,—поэтъ то посвящалъ ему дружескія посланія [1]), то готовъ былъ попрекнуть его «карьеризмомъ» [2])... Тѣмъ неожиданнѣе былъ для Пушкина братскій характеръ ихъ встрѣчи. Поэтъ нашелъ своего сіятельнаго товарища, «во многомъ не перемѣнившимся, хотя онъ, добавляетъ поэтъ, и созрѣлъ и, слѣдственно, подсохъ» [3]). Впрочемъ, Пушкинъ, всегда чувствительный къ ласкѣ, былъ тронутъ сердечностью стараго лицейскаго товарища, и, въ благодарность за его привѣтливое обращеніе, посвятилъ ему въ своей элегіи: «19 октября 1825 года» извѣстныя трогательныя строчки:

«Фортуны блескъ холодный
Не измѣнилъ души твоей свободной!..
«...Невзначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись! [4]).

Встрѣча съ Дельвигомъ подготовлялась долговременными просьбами Пушкина посѣтить его. Въ письмахъ къ кн. Вяземскому и къ брату писалъ онъ о своемъ страстномъ желаніи увидѣть друга, «брата по музѣ» [5]). «Мочи нѣтъ хочется Дельвига!—восклицаетъ онъ въ письмѣ къ брату отъ 12-го марта 1825 года [6]). Въ апрѣлѣ 1825 года Дельвигъ, наконецъ, пріѣхалъ къ опальному другу. Пушкинъ поторопился ввести

[1]) Соч. I, 83, 130. [2]) Соч. I, 211. [3]) Соч. VII, 154. «Письмо П. А. Катенину»; еще: 156 «Письмо кн. Вяземскому». [4]) Соч. I, 358. «19-го октября 1825 г.» Горчаковъ былъ въ имѣніи Пещурова «Лямоново», гдѣ и встрѣтился съ Пушкинымъ. Впрочемъ, Пушкинъ въ письмѣ къ Вяземскому (VII, 156) говоритъ: «мы разстались довольно холодно, по крайней мѣрѣ, съ моей стороны». [5]) Соч. VII, 109, 112, 122. [6]) Соч. VII, 113.

его въ кругъ своихъ деревенскихъ друзей, но къ молодымъ обитательницамъ Тригорскаго другъ Пушкина выказалъ столько равнодушія, что, повидимому, это причинило даже нѣкоторую досаду поэту. Лѣнивый отъ природы и мало-подвижный, Дельвигъ залегъ у друга на диванѣ, декламировалъ стихи, бесѣдовалъ съ нимъ о литературѣ и больше ничего знать не хотѣлъ.

Пріятное разнообразіе въ уединенную жизнь Пушкина внесли обычныя для него сердечныя увлеченія. Такъ, повидимому, онъ сначала кокетничалъ съ Евпраксіей Вульфъ и съ нея срисовалъ нѣкоторыя черты своей Татьяны, потомъ увлекся онъ и дочерью П. А. Осиповой,—А. И. Осиповой (вслѣдствіи Беклешовой). Выше было указано, что памятникомъ этой мимолетной вспышки осталось стихотвореніе: «Признанье» [1]), не говорящее намъ, впрочемъ, ни о силѣ, ни о возвышенности этого увлеченія. Гораздо глубже задѣла творчество поэта А. П. Кернъ [2]). Письма къ ней за 1825 г. (съ 21 іюля по 8 декабря, всего 7 писемъ) рисуютъ намъ эту своеобразную любовь, отливающую самыми прихотливыми красками—отъ головокружительной земной страсти до благоговѣйнаго, чисто-эстетическаго, преклоненія передъ ея неземной красотой... Муки ревности, радость мимолетной ласки, остроты и даже прозрачныя двусмысленности,—все сверкаетъ разноцвѣтными искрами въ этихъ семи пись-

[1]) Соч. I, 328. [2]) Соч. I. Ей посвящены стихотворенія 1825 г.: «Желаніе славы» 350, (выше на стр. 204-5 я ошибочно отнесъ это стихотвореніе къ гр. Воронцовой). «Къ А. П. Кернъ», 351 и въ 1828 годъ отрывки написанные въ ея альбомъ (Соч. II, 61); позднѣе въ 1829 г. «Къ А. П. Кернъ» (II, 64).

махъ [1]). Потомъ письма обрываются, чувство погасаетъ, легкомысленная красавица пошла на встрѣчу другимъ ласкамъ, и увлекающійся поэтъ тоже отошелъ въ сторону [2]), сохранивъ, впрочемъ, въ сердцѣ своемъ навсегда благодарную пріязнь къ своей красавицѣ. Въ 1829 году онъ, въ стихотвореніи «Къ А. П. Кернъ» [3]), ласковымъ привѣтомъ попытался онъ утѣшить ее, видя, какъ она страдала отъ тѣхъ укоровъ, которыми осыпало ее общественное мнѣніе за ея поведеніе.

Письма поэта за время пребыванія его въ Михайловскомъ представляютъ для насъ особый интересъ:

---

[1]) Очевидно, эти письма, столь пестрыя по настроенію, вполнѣ отразили тѣ, полныя противорѣчій, чувства, которыя питалъ поэтъ по отношенію къ Керн. Образъ «хамелеона-Пушкина» удачно зарисованъ въ воспоминаніяхъ самой Керн: «трудно было съ нимъ вдругъ сблизиться,—онъ былъ неровенъ въ обращеніи: то шумно веселъ, то грустенъ, то робокъ, то дерзокъ, то нескончаемо любезенъ, то томительно скученъ и нельзя было угадать, въ какомъ онъ будетъ расположеніи духа черезъ минуту... Вообще же надо сказать, что онъ не умѣлъ скрывать своихъ чувствъ, выражалъ ихъ всегда искренно и былъ неописанно хорошъ, когда что-нибудь пріятное волновало его» *А. П. Макарова-Виноградова* (Керн). «Воспоминанія» (*Л. Майковъ* «Пушкинъ» 241). «Когда же онъ рѣшался быть любезнымъ, то ничто не могло сравниться съ блескомъ, остротою и увлекательностью его рѣчи». (Тамъ же).

[2]) Несоотвѣтствіе чистыхъ настроеній въ стихотвореніяхъ, ей посвященныхъ, съ тономъ писемъ, къ ней отправленныхъ (въ одномъ онъ, шутя называетъ ее даже «мерзавкой»), для многихъ біографовъ Пушкина было загадкой. Совершенно справедливо объясненіе г. Иванова: «онъ оставался искреннимъ отъ начала до конца и въ своихъ увлеченіяхъ, и въ своихъ разочарованіяхъ... Никто благороднѣе его не умѣлъ говорить о чувствѣ любви, никто рыцарственнѣе не смотрѣлъ на него,—разъ оно, дѣйствительно, было чувствомъ и любовью». (*И. Ивановъ*, «Новая культурная сила, 29). Но не всякій идолъ способенъ былъ остаться на высотѣ куда его въ первую минуту живыхъ впечатлѣній возносило воображеніе поэта»—оттого такъ быстро погасали нѣкоторыя увлеченія поэта. (Тамъ же, 31). [3]) Соч. II, 64.

теперь, когда его лирическое творчество, ранѣе отражавшее всѣ его настроенія, начинаетъ изсякать и смѣняться творчествомъ другого, болѣе объективнаго, характера, въ письмахъ онъ раскрываетъ свои чувства и настроенія.

Письма 1824 года еще не особенно значительны своимъ содержаніемъ, тѣмъ не менѣе, и въ нихъ личность поэта получаетъ освѣщеніе, довольно своеобразное и характерное. Мы видѣли уже, что столкновеніе съ отцомъ обнаружило его вспыльчивость, горячность, но, въ то же время, и способность быстро смѣнять настроенія. Въ этихъ же письмахъ рисуется его благодушіе,—особенно оно сказывается по отношенію къ людямъ, его обидѣвшимъ: вспыхнувъ быстро, онъ легко примиряется, враговъ онъ прощаетъ легко и безслѣдно... «Плюнемъ на него—и квитъ!»,—такими словами кончаетъ онъ свои недоразумѣнія съ нѣкимъ Ольдекопомъ, издавшимъ безъ его разрѣшенія текстъ поэмы: «Кавказскій плѣнникъ». Съ друзьями, которые забывали его, или опасались поддерживать сношенія съ «поднадзорнымъ», онъ, попрежнему, добродушенъ,—онъ прощалъ имъ ихъ слабость. Трогательнымъ упрекомъ звучатъ его слова, обращенныя къ одному изъ одесскихъ друзей: «объ Одессѣ ни слуху, ни духу. Сердце вѣсти проситъ, а то не смѣлъ затѣять переписку съ оставленными товарищами (долго крѣпился, но не утерпѣлъ.» [1]). Къ брату, «милой пустельгѣ Левушкѣ» [2]), онъ относится съ безконечной нѣжностью, которая вы-

[1]) Соч. VII, 96 «Письмо Д. М. Княжевичу».
[2]) Соч. VII, 96. «Письмо къ Л. Пушкину» въ ноябрѣ 1824.

держивала всѣ испытанія. Характеренъ также одинъ эпизодъ, проскользнувшій въ его письмахъ: узнавъ о наводненіи 1824 года, поэтъ безпечно и легкомысленно восклицаетъ въ письмѣ къ брату: «что̀ это у васъ? Потопъ? Ништо проклятому Петербургу!». Въ томъ же письмѣ, онъ, какъ будто, извиняетъ свои жесткія слова, объясняя брату, что «радъ этому потопу, потому что золъ» [1]). Но пролетѣло это злобное настроеніе, и отношеніе поэта къ наводненію мѣняется: въ слѣдующемъ письмѣ читаемъ: «этотъ потопъ съ ума мнѣ нейдетъ, — онъ вовсе не такъ забавенъ, какъ съ перваго взгляда кажется. Если тебѣ вздумается помочь какому нибудь несчастному, помоги ему изъ Онѣгинскихъ денегъ. Но прошу безъ всякаго шума, ни словеснаго, ни письменнаго!» [2]). Эти слова очень важны для пониманія души поэта,—подъ вліяніемъ минутнаго настроенія онъ готовъ былъ высказать злобное и легкомысленное отношеніе къ факту, того не заслужившему, но очень скоро его доброе сердце торжествовало надъ тѣмъ «краснымъ словцомъ», къ которому онъ былъ всегда неравнодушенъ и ради котораго онъ иногда готовъ былъ «не пожалѣть родного отца». Любопытно также одно письмо, въ которомъ поэтъ признаетъ за собою одну непріятную и вредную слабость—неумѣніе владѣть своимъ языкомъ; онъ самъ сознается, что «по глупости лѣтъ», онъ проговаривался иногда очень опасно [3]).

Гораздо разнообразнѣе и богаче письма 1825—

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Соч. VII, 99. «Письмо къ Л. Пушкину» отъ 4 декабря.

[3]) Соч. VII, 97.

1826 гг.,—въ нихъ значительно расширился кругъ корреспондентовъ, и потому свои разнообразные интересы Пушкинъ въ письмахъ теперь развертываетъ шире и свободнѣе. Здѣсь характерны тѣ опредѣленія, которыя онъ даетъ себѣ, своей жизни, своей литературной дѣятельности. Напримѣръ, удивительно справедлива мысль, высказанная имъ въ письмѣ къ Жуковскому (отъ 17-го августа), что жизнь его «сбивалась иногда на эпиграмму; но вообще она была элегіей» [1]). Въ этомъ опредѣленіи удачно схвачена и выражена та двойственность души поэта, которая выражалась въ постояннымъ перебоѣ легкомыслія съ глубиной настроеній, безмятежной радости—съ тоской...

Теперь Пушкинъ оцѣнилъ себя и какъ писателя. «Грѣхъ гонителямъ моимъ!» восклицаетъ онъ въ письмѣ кн. П. А. Вяземскому,—и я, какъ А. Шенье, могу ударить себя въ голову и сказать: «il y avait quelque chose là» [2]). Онъ чувствовалъ самъ, какъ быстро выростаетъ его геній: «я написалъ трагедію, пишетъ онъ Бестужеву въ ноябрѣ, и ею очень доволенъ, но страшно въ свѣтъ выдать, робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма» [3]). Это удивительное соединеніе презрѣнія къ суду черни и страха передъ этимъ судомъ, также характерная черта Пушкина, неразъ отмѣченная выше [4]). Очень

---

[1]) Соч. VII, 150.

[2]) Соч. VII, 159. «Письмо къ кн. Вяземскому» въ сентябрѣ 1825 г.

[3]) Соч. VII, 166, Н. Н. Раевскому онъ писалъ что «Борисъ» привелъ его къ убѣжденію: «mon âme s'est tout â faitt développée, je puis créer» (VII, 158).

[4]) Другое письмо подтверждаетъ эту черту: онъ, умѣвшій такъ глубоко и искренно презирать чернь, блистающую въ аристократиче-

цѣнны въ письмахъ Пушкина и отзывы его о современной русской литературѣ: оцѣнивая ее, онъ сумѣлъ стать на историческую точку зрѣнія, указавъ рьяному критику Бестужеву на несправедливое отношеніе его къ Жуковскому, котораго Пушкинъ, совершенно основательно, назвалъ учителемъ всей тогдашней литературной молодежи [1]). Пушкинъ сумѣлъ оцѣнить и себя, отмѣтивъ, что для нѣкоторыхъ современниковъ (напр., для Рылѣева) онъ былъ «учителемъ» [2]). Вообще многочисленные отзывы его о русской и иностранной поэзіи часто блещутъ оригинальностью точекъ зрѣнія, справедливостью сужденія и знаніемъ [3]).

скихъ салонахъ, могъ унизиться до того, что вывѣдываетъ у своего брата, что́ разсказывалъ о немъ въ Петербургѣ графъ Воронцовъ. Соч. VII, 111. «Письмо къ Л. Пушкину» въ половинѣ февраля.

[1]) Соч. VII, 107. «Зачѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки прорѣзались? Что́ ни говори, Жуковскій имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности». Себя онъ называлъ «ученикомъ Жуковскаго» (VII, 129).

[2]) Соч. VII, 117. «Очень знаю, что я его учитель въ стихотворномъ языкѣ, но онъ идетъ своей дорогой». Стоитъ сравнить съ этими словами заявленіе Пушкина, сдѣланное имъ позже въ 1831 г.: «могу сказать, что въ послѣднее пятилѣтіе царствованія покойнаго государя я имѣлъ на все сословіе литераторовъ гораздо больше вліянія, чѣмъ министерство, не смотря на неизмѣримое неравенство средствъ». (Соч. VII, 278).

[3]) Въ письмахъ *1824-го года* мелькаютъ имена слѣдующихъ иностранныхъ писателей: Байрона (VII, 87, 110, 116), Вальтеръ Скотта (87, 116), Виргилія, Горація, Тибулла, Данте, Петрарки (115), Тассо, Аріосто, Альфьери, Фосколо, Мильтона, Шекспира, Аддисона, Попа, Саути, Мура (116), Лебрюна (90), Ричардсона (92), Шлегеля и Сисмонди (113). Изъ русскихъ писателей всего чаще поминаетъ онъ Боратынскаго (88, 99, 100, 111), затѣмъ Рылѣева (106), Батюшкова (107), Грибоѣдова (107). *Въ 1825-омъ*: судя по письмамъ, его интересъ къ критикѣ возрастаетъ. Изъ иностранныхъ писателей онъ упоминаетъ Руссо (160), В. Скотта (128, 159) M-me Сталь (154), Беранже

Сидя въ своемъ уединеніи, онъ живо интересуется всѣми литературными новинками, вѣчно проситъ брата и друзей о присылкѣ книгъ, особенно журналовъ и альманаховъ [1]) и, по прочтеніи, охотно дѣлится съ друзьями своими остроумными свѣжими идеями... Особенно въ этомъ отношеніи любопытны его письма къ Бестужеву и Рылѣеву,—въ одномъ изъ нихъ (послѣ 25 января) къ Бестужеву находится, между прочимъ, оцѣнка «Горя отъ ума», лучшая изъ всѣхъ, которыя дѣлались вплоть до нашихъ дней.

Для пониманія поэта очень важны и письма его, имѣющія частный, интимный характеръ. Первое, что бросается въ глаза при чтеніи этихъ писемъ, опять-таки то же разнообразіе. Оно сказалось и въ выборѣ друзей-корреспондентовъ, и въ характерѣ писемъ, къ нимъ отправленныхъ: если сравнить нѣкоторыя изъ нихъ, одно съ другимъ, положительно нельзя повѣрить, что они писаны однимъ лицомъ, — стоитъ вчитаться въ нихъ и по нимъ легко написать характеристики тѣхъ, кому они отправлены. Какой, напримѣръ, прекрасной, серьезной и доброжелательной женщиной рисуется Осипова, окруженная неизмѣннымъ уваже-

(135), Ротру (154), Тасса, Аріосто, Мольера, Вольтера (117, 129), Байрона (117, 158, 159), Мура (124, 160), Делавиня (129), Ламартина (166), Корнеля (157) Алфьери (157, 174) Шекспира, (158, 170, 174) Фильдинга (158), Гете (129). Безъ пощады критикуетъ онъ своихъ предшественниковъ—русскихъ писателей: (ср. VII, 75) Ломоносова, Хераскова, Державина, Княжнина, Богдановича, Дмитріева (116), превозноситъ одного Крылова (116, 133, 160): изъ современниковъ хвалитъ: Рылѣева (117, 121, 126, 129, 131), Катенина (118), Козлова 121, 129, 144), Хмѣльницкаго (121), Жуковскаго (129), Неѣлова (129), Полевого 134. Попрежнему интересуется новыми журналами (118, 126, 119, 134, 124).

[1]) Соч. VII, 86—7, 105, 106, 111, 113,

ніемъ поэта; какимъ легкомысленнымъ эгоистомъ представляется братъ поэта, «милая пустельга», къ которому въ 1825 г. поэтъ охладѣлъ вслѣдствіе прямонедобросовѣстнаго отношенія Левушки къ нему лично, къ его произведеніямъ, даже его деньгамъ... Мелькаетъ въ этихъ письмахъ тревожный, страстный образъ красавицы Кернъ; въ нѣсколькихъ короткихъ записочкахъ очерчивается свѣтлая душа Жуковскаго, «геніяхранителя» поэта. «Что за прелесть чертовская душа его небесная!»—вырывается у Пушкина восклицаніе,—«онъ—святой, хоть родился романтикомъ, а не грекомъ, и человѣкомъ, да еще какимъ!»

Особенность этихъ писемъ заключается въ томъ, что образъ поэта мѣняется въ зависимости отъ того, *къ кому* онъ пишетъ,—мѣняется до неузнаваемости, до сліянія съ чуждымъ образомъ: съ литераторомъ онъ литераторъ, со сплетникомъ онъ—сплетникъ, съ гулякой—только гуляка и ничего болѣе... «Первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло и не метать бисера передъ Репетиловыми и тому подобными!» [1]), пишетъ Пушкинъ, критикуя Чацкаго. Надо сознаться, что онъ не былъ Чацкимъ, потому, что никогда не былъ узкимъ ни въ какомъ смыслѣ;—онъ обладалъ способностью заразъ жить интересами и Репетилова, и Чацкаго, искренне ихъ любя сегодня, также искренне презирая завтра... У него былъ тѣсный кругъ друзей, съ которыми онъ былъ неизмѣненъ и ровенъ. Дельвигъ, кн. Вяземскій, Жуковскій, Осипова,—вотъ, эти лица, судя по его письмамъ,—къ осталь-

[1]) Соч. VII, 108.

ному же пестрому міру людей онъ относился такъ же пестро. Когда его упрекали за то, что онъ вступаетъ въ сношенія съ Булгаринымъ, котораго завѣдомо презиралъ, онъ отвѣчалъ, что такъ поступаетъ потому, что тотъ—его «другъ». «Есть у меня, прибавляетъ онъ, еще друзья: Сабуровъ Яшка, Мухановъ, Давыдовъ и проч. Эти друзья не въ примѣръ хуже Булгарина. Они надняхъ меня зарѣжутъ!» [1]). Если подъ вліяніемъ минутныхъ настроеній такъ нравственно неразборчивъ былъ Пушкинъ въ людяхъ, то этимъ настроеніямъ легко подчинялись и его «убѣжденія»,—недаромъ имъ не особенно довѣряли друзья-декабристы Озлобленный гоненіями, онъ готовъ съ легкимъ сердцемъ воскликнуть: «чортъ возьми это отечество!» [2]),—или заявляетъ, что «за всю Русь не дастъ 75 руб.» [3]), то онъ увѣряетъ, что «презираетъ отечество съ головы до ногъ» [4]), восклицая: «что̀ мнѣ дѣлать въ Россіи?» [5])—спрашиваетъ онъ друга «Какъ можешь ты оставаться въ Россіи?» — «Святая Русь мнѣ становится невтерпежъ—ubi bene, ibi patria. А мнѣ bene тамъ, гдѣ растетъ трынъ-трава, братцы!» [6]). И въ то же время, рядомъ съ заявленіемъ: «я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ», — онъ не можетъ справиться съ мучительной любовью къ этому отечеству и прибавляетъ: «мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство» [7])... И, вмѣстѣ съ этимъ, послѣ попытокъ выпросить отпускъ за границу, послѣ плановъ о бѣгствѣ, затѣмъ

---

[1]) Соч. VII, 104. [2]) Тамъ же, 112. [3]) Тамъ же, 113. [4]) Тамъ же, 182. [5]) Тамъ же, 168. [6]) Тамъ же, 68. [7]) Тамъ же, 182.

послѣ новой попытки получить разрѣшеніе, онъ въ 1826 г. успокаивается и заявляетъ, что готовъ мириться съ правительствомъ, «буде условія необходимы» [1]), при чемъ за собою оставляетъ не болѣе, не менѣе, какъ «свободу поведенія». По его словамъ, это поведеніе будетъ зависѣть «отъ обстоятельствъ, отъ обхожденія со мною правительства» [2]). Друзей своихъ предупредительно онъ проситъ за него «не ручаться» [3]). Нельзя лучше этихъ словъ опредѣлить неустойчивость настроеній, которыя управлялись не убѣжденіями, а впечатлѣніями, минутной вспышкой чувства... Говорить здѣсь о неискренности, о фальши поэта нельзя,—напротивъ онъ, всегда черезчуръ искренъ. Особенно это ясно сказалось на личныхъ отношеніяхъ его къ людямъ,—стоило кому-нибудь сказать Пушкину теплое слово, и онъ сейчасъ же поддавался вліянію этого слова и отвѣчалъ такимъ же теплымъ словомъ. Но пролетало это настроеніе—и часто вся картина освѣщалась другимъ свѣтомъ, и отношеніе поэта мѣнялось. По его собственному признанію, онъ отличался «веселымъ лукавствомъ ума», былъ «любитель поповѣсничать» и въ «язычки постучать» [4]).

Уважая, напримѣръ, Плетнева, онъ не въ силахъ

---

[1]) Соч. VII, 173. [2]) Тамъ же. [3]) Тамъ же. [4]) Соч. VII, 67. Въ тридцатыхъ годахъ, когда отношенія его къ правительству уже установились, онъ и тогда, подъ веселую руку, не прочь былъ зло подшутить надъ тогдашнимъ режимомъ. И. И. Дмитріевъ, въ его присутствіи, нашелъ страннымъ сочетаніе словъ: «*Московскій англійскій* клубъ»,—Пушкинъ со смѣхомъ замѣтилъ, что есть названіе еще страннѣе: «*Императорское человѣколюбивое общество*». (*Д. Н. Садовниковъ*, «Отзывы современниковъ о Пушкинѣ», Истор. В. 1883, XIV, 536. См. еще *В. Сиповскій*: «А. С. Пушкинъ по его письмамъ». Спб. 1902, 6—8).

удержаться отъ насмѣшки надъ нимъ въ письмѣ къ Вяземскому; искренне любя своего дядюшку, добродушнѣйшаго Василія Львовича, онъ за глаза надъ нимъ потѣшается, а заодно и надъ только-что скончавшейся тетушкой.

Эта особенность души сказалась и на его творчествѣ: почти всѣ его лирическія стихотворенія—отзвуки такого минутнаго расположенія духа; оттого въ нихъ столько разнообразія, порой граничащаго съ противорѣчіемъ. Какъ иначе помирить, напримѣръ, представленіе о поэтѣ, какъ «священнослужителѣ», «жрецѣ», съ тѣми стихами, которые написаны на злобу дня, или посвящены «выметанію сора» путемъ эпиграммъ и сатиръ?

Михайловскій періодъ его жизни интересенъ тѣмъ, что въ это время лирическое творчество его стало замѣтно ослабѣвать,—пересталъ онъ сочинять и поэмы, проникнутыя субъективизмомъ, которыя раньше, какъ зеркало, отражали душу автора и этимъ облегчали ему самоанализъ. Очевидно, въ поэтѣ *человѣкъ* уже сложился, былъ имъ понятъ и пересталъ его интересовать. Вниманіе его теперь ушло въ ширь современной русской жизни, иностранной литературы и вглубь русскаго прошлаго. Конечно, поэтъ не могъ воздержаться и отъ лирической исповѣди своихъ минутныхъ настроеній, но теперь эта поэтическая откровенность теряетъ характеръ полной и постоянной автохарактеристики и принимаетъ случайный характеръ. Автобіографическое значеніе имѣютъ стихи 1824 — 1825 гг. — «Коварность» [1]), «Сожженное

[1]) Соч. I, 321.

письмо» [1]), «Къ А. П. Кернъ» [2]), «Желаніе славы» [3]), «19 октября 1825 г.» [4]), «Зимній вечеръ» [5]), или разсужденія въ стихахъ, въ родѣ стихотворенія «Аквилонъ» [6]), «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» [7]) и два «Посланія къ цензору» [8]). Особнякомъ стоятъ въ ряду его лирическихъ произведеній тѣ, которыя представляютъ собою попытки въ «подражаніяхъ» и «передѣлкахъ» уловить и выразить духъ поэзіи русской народной и чужестранной—(испанской [9]), турецкой [10]). Эти необыкновенно-удачные опыты овладѣть couleur éthnografique основывались на способности Пушкина до такой степени поддаваться впечатлѣніямъ, что, подъ ихъ вліяніемъ, онъ могъ «перевоплощаться» на время. Неразъ это замѣтно сказывалось въ личной жизни поэта, въ его письмахъ (см. выше 245 стр.), не менѣе ярко сказалось и въ творчествѣ, когда поэтъ попробовалъ чувствовать и мыслить, какъ турокъ, какъ испанецъ... Но если лирическое творчество за это время и оказалось ничтожнымъ, зато широко и свободно развернулся за это время геній Пушкина въ творчествѣ эпическомъ и драматическомъ. Прежде всего, слѣдуетъ отмѣтить созданіе драмы «Борисъ Годуновъ». Осенью 1825 года онъ писалъ кн. Вяземскому: «передо мною моя трагедія.

---

[1]) Соч. I, 343.
[2]) Соч. I, 351.
[3]) Соч. I, 350.
[4]) Соч. I, 355.
[5]) Соч. I, 362.
[6]) Соч. I, 305.
[7]) Соч. I, 309.
[8]) Соч. I, 315 и 318.
[9]) «Испанскій романсъ». Соч. I, 307.
[10]) «Подражанія Корану». Соч. I, 322.

Не могу вытерпѣть, чтобы не выписать ея заглавія: «Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому государству, о царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ». Писалъ рабъ Божій Александръ сынъ Сергѣевъ Пушкинъ въ лѣто 7333 на городищѣ Вороничѣ» [1]). Такое фигурное названіе, отзывающее XVII вѣкомъ, носила сначала пьеса Пушкина. Онъ самъ былъ ею доволенъ; съ чисто-дѣтскою радостью сообщаетъ онъ Вяземскому: «я перечелъ ее вслухъ одинъ, и билъ въ ладоши и кричалъ: «ай да Пушкинъ!» [2]). Произведеніе свое онъ именуетъ то «комедіею», то «трагедіею», то «драмою», то «драматическою повѣстью» [3]),—ясный признакъ того, что новое произведеніе не умѣщалось въ рамкахъ тѣхъ опредѣленій,

---

[1]) Соч. VII, 137.

[2]) Соч. VII, 160. Большое участіе въ драмѣ принималъ Раевскій,—еще до написанія ея, Раевскій привлекался Пушкинымъ для обсужденія деталей будущей пьесы. Это видно, хотя бы, изъ письма Раевскаго: «у тебя нѣтъ недостатка въ блестящихъ замыслахъ, но не хватаетъ терпѣнія привести ихъ въ исполненіе. Итакъ, тебѣ предстоитъ проложить путь и къ развитію національнаго театра. Что же касается терпѣнія, я желалъ бы, чтобъ ты справлялся съ источниками, которыми пользовался Карамзинъ, а не слѣдовалъ бы только его разсказу». Хороша, или дурна будетъ твоя трагедія,—но я заранѣе предвижу важныя послѣдствія для нашей словесности; ты дашь жизнь нашему шестистопному стиху, который до сихъ поръ такъ тяжелъ и безжизненъ; ты сообщишь діалогу движеніе, которое сдѣлаетъ его похожимъ на разговоръ, а не на фразы изъ словаря, какъ было до сихъ поръ. Ты довершишь водвореніе у насъ простой и естественной рѣчи, которой наша публика еще не понимаетъ, несмотря на прекрасные образцы ея въ «Цыганахъ» и въ «Разбойникахъ». Ты сведешь, наконецъ, поэзію съ ея ходуль» (*Л. Майковъ*, op. cit. 143). Изъ этого замѣчательнаго письма видна прозорливость Н. Н. Раевскаго и пониманіе имъ сущности пушкинскаго творческаго духа.

[3]) Соч. III, 79.

которыя поэтъ находилъ въ тѣхъ псевдоклассическихъ кодексахъ, на которыхъ былъ воспитанъ [1]).

«Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лѣтописей, говоритъ онъ, дало мнѣ мысль облечь въ формы драматическія одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Я писалъ въ строгомъ уединеніи, не смущаемый никакимъ чуждымъ вліяніемъ. Шекспиру [2]) подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ, въ необыкновенномъ составленіи типовъ и простотѣ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени» [3]). Но ко всѣмъ

[1]) Онъ все еще долго бился около понятія «романтизмъ» («у насъ самое темное понятіе о романтизмѣ»—соч. VII, 129; «сколько я ни читалъ о романтизмѣ—все не то» (166). Для него романтизмъ—«парнасскій аѳеизмъ» (I, 352). Въ письмѣ къ Раевскому онъ приходитъ къ заключенію, что для его драмы романтизмъ такъ же не нуженъ, какъ и классицизмъ: «J'ai réfléchi sur la tragédie en général, c'est peut être le genre le plus meconnu. Les classiques et les romantiques ont tous basé leurs loix sur la vraisemblance et c'est justement elle qu'exclut la nature du drame» (VII, 157). «Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ»,—писалъ онъ Бестужеву еще въ 1824 г. (VII, 107). Это исканіе «nature» въ поэзіи и было «реализмомъ». Потому, вѣроятно, заинтересовался Пушкинъ «трагедіей въ 18-ти дѣйствіяхъ» царевны Софьи Алексѣевны (VII, 154). Быть можетъ, въ ней онъ видѣлъ произведеніе, въ родѣ тѣхъ народныхъ пьесъ, которыя предшествовали въ Европѣ псевдо-классическимъ. Въ первоначальномъ проектѣ заглавія драмы («Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому Государству, о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ») сказалось вліяніе тѣхъ заглавій, которыя давались этимъ стариннымъ пьесамъ народнаго театра. [2]) «Шекспира онъ не читалъ въ подлинникѣ, а во французскомъ старомъ переводѣ, поправленномъ Гизо, но понималъ его геніально. По-англійски выучился онъ гораздо позже въ С.-Петербургѣ и читалъ Вордсворта». (*Шевыревъ*, «Воспоминанія о Пушкинѣ, *Л. Майковъ*, op. cit. 330). [3]) Соч. III, 82.

этимъ источникамъ поэтъ отнесся самостоятельно,—его творческій геній живымъ свѣтомъ освѣтилъ старые, полинялые образы, лишивъ ихъ нѣкоторой мелодраматичной крикливости, которою они отличаются у Карамзина. Труда на созданіе этой пьесы положено имъ было немало. Пушкинъ самъ въ этомъ сознавался. И, быть можетъ, это, въ его глазахъ, возвысило значеніе его произведенія [1]). Но за то ни одно произведеніе и не доставило ему столькихъ творческихъ радостей, какъ эта драма. Онъ самъ указываетъ на это: «писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, наконецъ, одобреніе малаго числа избранныхъ» [2]). Онъ былъ увѣренъ, что его произведеніе должно создать «эпоху» въ исторіи русской драматургіи и, въ то же время, боялся, что оно останется непонятымъ, неоцѣненнымъ ни публикой, ни критикой,—боялся этого не изъ личнаго самолюбія, а какъ человѣкъ, которому дороги судьбы *родной литературы* [3]), и сердце его болѣло, когда онъ отдавалъ это, самое зрѣлое, созданіе своего генія на судъ тогдашняго русскаго общества.

---

[1]) Соч. III, 82. Тамъ же.

[2]) «Успѣхъ, или неудача моей трагедіи будетъ имѣть вліяніе на преобразованіе драматической нашей системы. Боюсь, чтобы собственные ея недостатки не были отнесены къ романтизму». (Соч. III, 82). «Неуспѣхъ драмы моей огорчилъ бы меня: ибо я твердо увѣренъ, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедіи Расина, и что всякій неудачный опытъ можетъ замедлить преобразованіе нашей сцены». (Соч. III, 83).

Наряду съ «Борисомъ Годуновымъ» продолжалъ Пушкинъ и своего «Евгенія Онѣгина»: въ с. Михайловскомъ написаны имъ 3, 4, 5 и 6 главы, т. е. тѣ части романа, въ которыхъ изображена русская деревня въ разныя времена года, русское деревенское общество, его интересы, радости и печали [1]). Несомнѣнно, живая дѣйствительность служила оригиналомъ для этихъ главъ. А. Н. Вульфъ въ Ленскомъ узналъ себя, въ его сестрѣ Евпраксіи современники усмотрѣли прототипъ Татьяны; самъ поэтъ, конечно, передалъ нѣкоторыя черты своей души Онѣгину. Но, разумѣется, между романомъ и «дѣйствительностью» было большое разстояніе. Впечатлѣнія жизни были переработаны благодаря мощи и свободѣ пушкинскаго духа:—и названныя лица были лишь «натурщиками» для той картины русской жизни, которая такъ художественно нарисована въ романѣ. Изъ менѣе значительныхъ произведеній этого времени интересна стихотворная повѣсть: «Графъ Нулинъ» (1825 г.), баллада въ народномъ русскомъ духѣ: «Женихъ» (1825 г.), сцена изъ Фауста (1826 г.), первые отрывки недоконченной повѣсти «Египетскія ночи» и стихотвореніе «Клеопатра».

Изъ произведеній этого періода, которымъ принято придавать большое значеніе, слѣдуетъ назвать: «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» (1824 г.), «Пророкъ» (1826 г.). Оба эти произведенія разсматриваются, обыкновенно, какъ выраженіе взглядовъ Пушкина на поэта.

Первое изъ этихъ произведеній, по формѣ, есть

[1]) «Въ 4-ой пѣснѣ Онѣгина я изобразилъ свою жизнь» — пишетъ онъ Вяземскому (VII, 182).

несомнѣнное подраженіе гётевскому прологу къ Фаусту, по содержанію же, ничего новаго въ себѣ не заключаетъ, сравнительно съ тѣмъ, что высказывалось Пушкинымъ и раньше. Свободный поэтъ не понятъ «чернью», которая свободы незнаетъ—поэтому онъ выше ея, его внутренній міръ для толпы—«святая святыхъ», поэтъ свободенъ въ своемъ творчествѣ, свободенъ и въ жизни. Объ этомъ Пушкинъ говорилъ неразъ и неразъ опровергалъ самъ себя и своею жизнью, и своимъ творчествомъ. Новостью въ этомъ произведеніи былъ вопросъ, поставленный Пушкинымъ самому себѣ: «какое нравственное право у поэта *продавать плоды* своего *вдохновенія*. Этотъ вопросъ, судя по письмамъ Пушкина, долго его мучившій, разрѣшается въ «Разговорѣ» довольно неловко: вдохновенье неподкупно и непродажно, но... «можно рукопись продать» [1]), Что касается до взглядовъ поэта на «чернь», то едва ли ихъ можно возводить ихъ въ какую бы то ни было теорію, особенно литературную: по сущности своей души, нашъ поэтъ былъ неспособенъ къ построенію системъ, теорій,—онъ всегда творилъ подъ вліяніемъ минутнаго настроенія—творилъ свободно и всегда искренно. Мы знаемъ, что и жизнь, и литературная критика, и общество неразъ становились поперекъ его пути, и, когда онъ замѣчалъ такое посягательство на свободу своей личности, или своего творчества,—онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ... Тогда онъ замыкался въ себѣ, отходилъ отъ толпы и особенно сильно чувствовалъ и

---

[1]) Соч. I, 315.

свое одинокое величіе, и приливъ минутной вражды къ «черни». Коренная ошибка нашей критики и заключается въ томъ, что поэта оправдывали и обвиняли за «аристократическій взглядъ на искусство», въ немъ видѣли какого-то «теоретика», бросающаго вызовъ «черни». Между тѣмъ, онъ только спасалъ *свою свободу, себя,* и *свой талантъ* отъ посягательства современниковъ, ниже его стоявшихъ, но дерзавшихъ судить его. Проходило его враждебное настроеніе, и поэтъ опять любовно спускался къ этой «черни» и смѣшивался съ нею впредь до новыхъ столкновеній... Произведеніе же «Пророкъ», въ моментъ его созданія, никакого отношенія не имѣло къ пушкинскимъ взглядамъ на поэзію,—это только удивительно яркое, художественное воспроизведеніе библейской картины и больше ничего [1]). Библіей поэтъ зачитывался въ Михайловскомъ и, кромѣ «Пророка», писалъ подражанія «Пѣснь пѣсней». Всѣ эти «библейскія» произведенія стоятъ рядомъ съ подражаніями «Корану», народными пѣснями и творчествомъ въ духѣ испанской поэзіи,—это явленія одного порядка, указывающія лишь на разростающуюся широту и глубину пушкинскихъ интересовъ, на окончательное отреченіе его отъ исключительнаго субъектизма юношескихъ лѣтъ, когда онъ творилъ только «изъ себя» (лирика) и «про себя» («субъективныя поэмы»).

[1]) Судя по заключительной строфѣ «Пророка», не включенной въ составъ этого стихотворенія самимъ Пушкинымъ, можно думать, что Пушкинъ впослѣдствіи, дѣйствительно, самъ связалъ съ величественнымъ образомъ пророка—образъ пѣвца-обличителя. Но это «окончаніе» такъ не вяжется съ основнымъ текстомъ стихотворенія, что въ немъ можно видѣть лишь случайную и неудачную пристройку.

Михайловскій періодъ очень важенъ въ исторіи жизни и творчества поэта. Деревенское уединеніе помогло ему окончательно разобраться въ тѣхъ впечатлѣніяхъ жизни и литературы, которыми онъ запасался въ теченіе двадцати пяти лѣтъ. Теперь онъ окончательно разсчитался со всѣми главными воздѣйствіями своей жизни, многое передумалъ и самъ постарался понять свои достоинства и недостатки. Онъ оцѣнилъ себя, какъ великаго писателя, признавъ, что онъ—учитель для многихъ современныхъ литераторовъ, онъ разобрался въ текущей и прошлой литературѣ и разъ навсегда опредѣлилъ свое одинокое и трагическое положеніе писателя, переросшаго общество. Но онъ понялъ себя и какъ человѣка, оцѣнилъ и свои человѣческія слабости: прося друзей, чтобы они не ручались за него, онъ самъ признаетъ теперь за Пущинымъ и его друзьями-декабристами право не довѣрять ему...

Половина жизни была прожита, и насталъ полдень. Поэтъ простился со своей «легкой юностью» [1]), любовными глазами окинулъ свое прошлое, начиная съ лицейской скамейки [2])... Онъ угомонился, успокоился и потому уже не мучился ни раскаяньемъ, ни сожалѣніемъ. Въ прошломъ теперь онъ увидѣлъ много хорошаго, свѣтлаго и потому простился съ нимъ,ославъ сердечный привѣтъ.

«Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья
За шумъ, за бури, за пиры,
За всѣ, за всѣ твои дары [3])

---

[1]) Соч. III, «Евг. Онѣг.» 357. [2]) Соч. I, 355. «19 октября 1825 г.». [3]) Соч. III, «Евгеній Онѣгинъ» 357.

«Благодарю тебя! Тобою
Среди тревогъ и въ тишинѣ
Я насладился... и вполнѣ;
Довольно! съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Это же примиреніе съ «прошлымъ» звучитъ въ его стихотвореніи: «19 октября 1825 года», когда онъ, «къ устамъ подъявъ признательную чашу, не помня зла», воздавалъ прошлому «за благо». Поэтъ говоритъ, что «насладился юностью» [1])—«и вполнѣ»... Теперь онъ самъ сознается, что для него довольно этихъ тревогъ, и съ ясною душой готовъ онъ, вооруженный самопознаніемъ и памятью о горькихъ опытахъ жизни, пуститься въ новый путь. Эта *ясность души*, несомнѣнно, новая черта пушкинской психики, вполнѣ прояснившаяся только теперь, когда «ветхой чешуей» спали съ его измученной души послѣднія «заблужденія», когда онъ преклонился предъ «солнцемъ безсмертнымъ ума» [2]), передъ свѣтомъ сознательной жизни, когда онъ искренне могъ воскликнуть: «да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!» [3]). Теперь онъ увѣровалъ въ жизнь и въ свое значеніе, и эта вѣра принесла ему успокоеніе. Вотъ почему извѣстіе о декабрьскомъ мятежѣ, хотя и сильно взволновало его, но не заставило его покинуть деревню и явиться въ столицу,—онъ только сжегъ свои записки, продолжалъ оканчивать «Графа Нулина», заниматься народными пѣснями и «Евгеніемъ

[1]) Соч. III, «Евг, Онѣг.» 357.
[2]) Соч. I, 344—5. «Вакхическая пѣсня».
[3]) Тамъ же.

Онѣгинымъ». 11-го мая онъ подаетъ всеподданнѣйшее прошеніе о позволеніи ему ѣхать въ одну изъ столицъ, или заграницу. При прошеніи было приложено имъ медицинское свидѣтельство о болѣзни и подписка о непринадлежности къ тайнымъ обществамъ. 30-го іюля прошеніе Пушкина отправлено было псковскимъ генералъ-губернаторомъ къ графу Нессельроде; 28-го августа послѣдовало высочайшее повелѣніе о вызовѣ Пушкина въ Москву, и въ ночь съ 3-го на 4-е сентября Пушкинъ, съ фельдъегеремъ Вальшемъ, выѣхалъ изъ Михайловскаго въ Псковъ, а оттуда 4-го вечеромъ въ Москву. Такимъ образомъ, «примиреніе съ правительствомъ» состоялось по иниціативѣ самого поэта и притомъ въ такіе дни, когда слишкомъ свѣжи были еще воспоминанія декабрьскихъ событій,—ясное доказательство того, что Пушкинъ сознательно ставилъ крестъ на своихъ «юношескихъ заблужденіяхъ» и рѣшился испытать не на окольныхъ, а на прямыхъ, широкихъ и свободныхъ путяхъ свои созрѣвшія способности, которыя теперь выбились изъ-подъ вліяній временныхъ и субъективныхъ на просторъ общечеловѣческихъ интересовъ. Знакомство съ дѣятельностью міровыхъ геніевъ, вродѣ Шекспира и Гете, изученіе прошлаго русской жизни, проникновеніе въ мотивы и образы народной поэзіи, — все это отрезвило поэта отъ увлеченій минуты и заставило, оберегая свой геній, искать себѣ образъ жизни, болѣе свободный и почетный, чѣмъ жизнь поднадзорнаго, опальнаго изгнанника.

«Мы—вольныя птицы; пора, братъ, пора
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края!..»

„Узникъ". Соч. I. 274.

«Погибъ и кормщикъ, и пловецъ!
Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою...
Я гимны прежніе пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнцѣ, подъ скалою».

„Аріонъ". Соч. II, 15.

«...полдень мой насталъ...
О, юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья...
Довольно! Съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь...»

„Евг. Онѣгинъ". Соч. III, 357.

«Нѣтъ! я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю!..
. . . . . .
Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою!».

„Друзьямъ". Соч. II, 29.

«...Никакъ не могъ упрятать всѣхъ
моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго,—
торчатъ!..»

Письмо къ кн. П. А. Вяземскому
осенью 1825 г. (Соч. VII, 160).

«Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ!».

„Мадонна". Соч. II, 96.

На волѣ.

(1826—1831).

Пушкинъ ошибался, когда смотрѣлъ на себя, какъ на такую сторону, которая, въ отношеніяхъ съ «властями», можетъ имъ предлагать «условія», можетъ вступать въ какіе-то «договоры», обезпечивающіе, съ его стороны, сдержанность, а со стороны правительства—терпимость. Уже первое свиданіе съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ могло бы человѣку, болѣе недовѣрчивому, чѣмъ былъ Пушкинъ, внушить сомнѣніе въ правильности пониманія имъ своего новаго положенія. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно одно: на Пушкина смотрѣли, какъ на силу, которую выгоднѣе приручить, чѣмъ раздражать. Къ тому же, послѣ казней и массовыхъ ссылокъ, заставившихъ русское общество содрогнуться, помилованіе великаго поэта было, до нѣкоторой степени, попыткой задобрить русское «общественное мнѣніе»,—первымъ шагомъ со стороны правительства къ примиренію съ обществомъ... Вотъ почему императоръ всѣ усилія приложилъ къ тому, чтобы быть милостивымъ въ разговорѣ съ опальнымъ поэтомъ,

хотя, все-таки, не могъ удержаться отъ нѣкоторыхъ вопросовъ, довольно щекотливыхъ, въ родѣ, напримѣръ, такого: принялъ ли бы участіе Пушкинъ въ декабрьской смутѣ, если бы находился въ Петербургѣ. Откровенный отвѣтъ поэта въ утвердительномъ смыслѣ, конечно, доказываетъ благородство и смѣлость Пушкина, но въ то же время обличаетъ и полное непониманіе имъ отношеній къ нему правительства. Стоя на своей точкѣ зрѣнія, императоръ совершенно послѣдовательно на благородную откровенность поэта отвѣтилъ замѣчаніемъ: «ты надѣлалъ довольно много глупостей! надѣюсь, что теперь ты будешь благоразумнѣе, и мы больше ссориться не будемъ. Ты будешь присылать ко мнѣ все, что̀ сочинишь. Съ этихъ поръ я буду твоимъ цензоромъ!» [1]). Преданіе сохраняетъ слѣдующую подробность этой оригинальной бесѣды: увлеченный разговоромъ, поэтъ сперва прислонился къ столу, а потомъ почти сѣлъ на этотъ столъ. Государь это замѣтилъ и потомъ кое-кому изъ придворныхъ съ неудовольствіемъ сказалъ: «съ поэтомъ нельзя быть милостивымъ!» [2]). Но въ тотъ же день на одномъ великосвѣтскомъ балу заявилъ гр. Блудову, что бесѣдовалъ съ «умнѣйшимъ человѣкомъ во всей Россіи» [3]).

Немудрено, что это второе замѣчаніе, сказанное, конечно, не безъ цѣли, въ присутствіи многихъ лицъ,

---

[1]) У *Я. Грота* (op. cit. 288) нѣсколько иначе переданы слова императора.

[2]) «А. С. Пушкинъ. Новые матеріалы» («Русская Старина» 1874 г., X, 691).

[3]) *Ив. Ивановъ*, op. cit, 36.

быстро распространилось въ московскомъ обществѣ, и впечатлѣніе получилось сильное и пріятное. Но если сопоставить оба замѣчанія императора, то станетъ яснымъ, что на Пушкина смотрѣли, какъ на провинившагося школьника, который однако опасенъ и силенъ своимъ вліяніемъ, а потому нужно, было или «исключить» его изъ школы, или съ нимъ поладить... Правительство видѣло на опытѣ, что карательныя мѣры не привели ни къ чему, и потому рѣшило испробовать второе средство.

Конечно, совсѣмъ не такъ смотрѣлъ на себя поэтъ,—онъ имѣлъ наивность полагать, что въ борьбѣ съ правительствомъ онъ — равноправный боецъ. На это указываютъ и слова его о томъ, что поведеніе его будетъ зависѣть отъ обхожденія съ нимъ правительства и тѣ стихи, которые, говорятъ, онъ взялъ съ собою во дворецъ когда онъ представлялся государю. Эти стихи—заключительная строфа «Пророка»:

«Возстань, возстань, пророкъ Россіи!
Позорной ризой облекись
И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи
Къ царю... явись!»

Разсказываютъ, что, готовясь явиться къ императору, еще не зная, зачѣмъ его зовутъ, — для прощенія, или для наказанія, Пушкинъ имѣлъ твердую рѣшимость, въ случаѣ неблагопріятнаго исхода его объясненій, вручить государю, на прощаніе, эти стихи[1]), т. е., другими словами, «прервать договоры» и «перемиріе». Но поэтъ, впечатлительный и довѣрчивый,

[1]) *А. П. Пятковскій.* «Пушкинъ въ Кремлевскомъ дворцѣ 8-го сен. 1826 г.» («Русская Старина» 1880 г. № 3, 674).

какъ всегда, сразу увѣровалъ въ то, что вѣчный миръ заключенъ, и условія его приняты. Онъ почувствовалъ себя самостоятельнымъ человѣкомъ, съ котораго сняты оковы...

Очень скоро однако оказалось, что свобода его была очень призрачная: императоръ поставилъ его въ непосредственную зависимость отъ шефа жандармовъ, начальника 3-го отдѣленія Собственной Его Величества Канцеляріи генералъ-адъютанта гр. Бенкендорфа, и этотъ жандармъ на десять лѣтъ сдѣлался «кошмаромъ» поэта. Впрочемъ, едва ли правильно выгораживать, во что бы то ни стало, императора Николая и все сваливать на графа Бенкендорфа,— говорить, что онъ «сталъ между двумя царями— царемъ русской земли и царемъ русской поэзіи ограничивая великодушіе перваго и стѣсняя великій талантъ второго» [1]). Гр. Бенкендорфъ былъ только исполнителемъ высочайшей воли. Имъ государь прикрылъ свои настоящія отношенія къ поэту.

Гр. А. Хр. Бенкендорфъ былъ человѣкъ дѣловой, но, въ то же время сухой, даже жесткій, а къ литературѣ вообще недоброжелательный. «Истинный представитель желѣзнаго вѣка, полагавшій, что усердіе и безусловная покорность несравненно выше всѣхъ добродѣтелей и талантовъ, Бенкендорфъ питалъ инстинктивное отвращеніе ко всякаго рода свободѣ, и, всего пуще, къ свободѣ мысли и слова» [2]). Для него Пушкинъ былъ только человѣкъ «политически-не-

---

[1]) *А. Ѳ. Кони.* «Общественные взгляды А. С. Пушкина» (Чествованіе памяти А. С. Пушкина Имп. Ак. Наукъ. 1899 г.).

[2]) *А. Венгеровъ* op. cit. 96.

благонадежный», надзоръ за которымъ, почему-то, порученъ былъ непосредственно ему, начальнику III-го отдѣленія. Быть можетъ эта обязанность «не по чину» показалась ему даже оскорбительной. И за такое «оскорбленіе» онъ сталъ методически мстить поэту.

Сношенія ихъ начались съ того, что гр. Бенкендорфъ въ вѣжливомъ, но холодно-оффиціальномъ письмѣ къ поэту отъ 30-го сентября 1826 года сообщилъ, что ему предоставлена свобода въѣзда въ столицу, но всякій разъ «послѣ предварительной просьбы о разрѣшеніи» [1]); затѣмъ Пушкину передана была высочайшая воля, чтобы онъ свои «отличныя способности» употребилъ на дѣло полезное отечеству, и, на первыхъ порахъ, хотя бы, занялся «предметами о воспитаніи юношества». «Вамъ, писалъ Бенкендорфъ, предоставляется совершенная и полная свобода—когда и какъ представить Вамъ мысли и соображенія; и предметъ сей долженъ представить Вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что на опытѣ видѣли совершенно всѣ пагубныя послѣдствія ложной системы воспитанія» [2]). Далѣе подтверждаются слова государя, что произведенія Пушкина будутъ освобождены отъ общей цензуры, такъ какъ самъ государь желаетъ быть первымъ цѣнителемъ и цензоромъ его произведеній. Честь поэту была предоставлена великая,—самъ шефъ жандармовъ предъ судомъ исторіи отвѣчалъ за его поведеніе, самъ государь отвѣчалъ за его творчество!

---

[1]) Дѣла III отдѣленія Собств. Его Имп. Велич. Канцеляріи объ А. С. Пушкинѣ, 19.

[2]) Тамъ же.

Но Пушкинъ все еще не могъ понять, въ какую почетную и великолѣпную клѣтку онъ попалъ: беззаботно пользовался онъ радостями свободы, Бенкендорфу на его письмо даже не отвѣтилъ, за что и получилъ первый «нагоняй» [1]), къ «предметамъ о воспитаніи юношества» отнесся, вѣроятно, съ веселымъ юморомъ, не подозрѣвая затаеннаго смысла этого предложенія...—Онъ не понялъ, что это сочиненіе, на заданную свыше тему, для него должно быть маскированнымъ отреченіемъ отъ всего прошлаго,—онъ долженъ былъ письменно признать «пагубнымъ» все то, что еще недавно было для него «святымъ»... Тонкое указаніе на то, что «жизнь поэта изобиловала результатами дурного воспитанія», прекрасно намѣчало все предполагаемое содержаніе этого сочиненія; поэтъ долженъ былъ пересмотрѣть свою жизнь, переоцѣнить старыя цѣнности, онъ долженъ былъ осудить не только уже осужденное имъ самимъ, но и то, что еще недавно доставляло ему и его друзьямъ живую радость... Когда Пушкинъ взялся, наконецъ, за указанную ему тему о «народномъ воспитаніи»—онъ только тогда понялъ все затаенное значеніе этой работы. И онъ исполнилъ желаніе властей, придавъ своей запискѣ характеръ «покаянія»: на опытахъ своей жизни доказывалъ онъ недостатки русскаго воспитанія. Но этимъ онъ не ограничился и далъ рядъ совѣтовъ, которыхъ отъ него не спрашивали. Такъ, въ этой пресловутой «запискѣ» поэтъ выражалъ надежду, что люди, прежде раздѣлявшіе образъ мыслей заговорщиковъ (намекъ, на себя?), нынѣ

---

[1]) Дѣла III Отд., 20.

образумились, такъ какъ, съ одной стороны, увидѣли ничтожность своихъ замысловъ и средствъ, а, съ другой, — необъятную силу правительства, основанную на силѣ вещей (только поэтому и образумились?) [1]); онъ предлагалъ задавить «домашнее» воспитаніе и покровительствовать «правительственному»; «заграничное» опутать «невыгодами» [2]); онъ совѣтовалъ обращать строгое вниманіе на рукописи, ходившія по рукамъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній,—и за найденную «похабную» рукопись рекомендовалъ налагать тягчайшее наказаніе, «за возмутительную»—даже исключеніе изъ училища [3]). Но, рядомъ съ этими стѣснительными мѣрами, онъ проектировалъ широкое распространеніе просвѣщенія, отмѣну тѣлесныхъ наказаній [4]); онъ требовалъ отъ учителя на урокахъ правды и откровенности, требовалъ, чтобы онъ «не хитрилъ», искажая республиканскія разсужденія, чтобы онъ не позорилъ убійства кесаря, превознесеннаго 200 лѣтъ, но сумѣлъ бы представить Брута «защитникомъ и мстителемъ коренныхъ постановленій отечества», а кесаря—«честолюбивымъ возмутителемъ» [5]). Онъ проговаривался неосторожными фразами, въ родѣ слѣдующей: «въ Россіи все продажно» [6]). Эти обмолвки такъ же характерны для Пушкина, какъ и подробности его первой бесѣды съ императоромъ,—поэтъ все еще никакъ не умѣщался въ приготовленныхъ для него рамкахъ благонамѣренности.

---

[1]) Соч. V, 43 «О народномъ воспитаніи».
[2]) Тамъ же, 45.
[3]) Тамъ же, 46.
[4]) Тамъ же.
[5]) Тамъ же, 47.
[6]) Тамъ же, 45.

Записка не особенно понравилась Императору Николаю [1]), но черезъ Бенкендорфа онъ послалъ поэту «благодарность». Такъ неровно и недружно шло съ первыхъ же шаговъ «примиреніе» поэта съ правительствомъ. Объясняется это только тѣмъ, что «примиреніе» не было, съ его стороны, сознательнымъ «порабощеніемъ» властямъ,—оно *органически* и *свободно* выросло въ его сердцѣ, какъ результатъ его внутренняго развитія. Вотъ почему эта *свобода* осталась постояннымъ спутникомъ поэта,—она помогла ему до смерти сохранить свою индивидуальность, она-же спасла его отъ рабства теперь, когда поэтъ *помирился съ жизнью.* Но въ этой же свободѣ крылась и причина его столкновеній съ русскимъ обществомъ и властями, она привела его къ могилѣ... Какъ не по пушкински относился къ жизни другой пѣвецъ «свободы»—Байронъ!

«Насколько англійскій поэтъ уходилъ отъ общественной жизни все глубже въ свое «я»,—настолько Пушкинъ, напротивъ, все болѣе и болѣе сближается съ обществомъ, близко принимаетъ къ сердцу его интересы, становится выразителемъ его стремленій, привязывается къ своему родному, національному и въ немъ ищетъ вдохновенія». Въ противоположность «поэту гордости» Байрону,—Пушкинъ съ явною ироніей относится теперь къ этому «эготизму»:

«Мы почитаемъ всѣхъ нулями,
А единицами—себя;
Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны—
Двуногихъ тварей милліоны
Для насъ орудіе одно».

---

[1]) См. замѣчанія имп. Николая, написанное на текстѣ записки (Дѣла III Отд., 34).

Теперь онъ осудилъ этотъ «эготизмъ», чисто съ соціальной точки зрѣнія: «ты *для себя* лишь хочешь воли!» сказалъ его старикъ-цыганъ Алеко. Такимъ образомъ, начавъ съ байроновскаго «апоѳеоза» личности, Пушкинъ кончилъ выводомъ, что въ жизни эта личность должна иногда поступаться собой въ интересахъ жизни, въ интересахъ «дѣйствительности».

«Это не было «смиреніемъ передъ дѣйствительностью», которое наши славянофильскіе писатели старались возвести въ русскую національную добродѣтель,—потому что не могъ же, въ самомъ дѣлѣ, мыслящій человѣкъ и геніальный поэтъ *примириться* съ окружавшей его дѣйствительностью, и добровольно подчиниться ея дикому складу»,—это новое міросозерцаніе его было чисто-философскимъ пониманіемъ жизни, признаніемъ въ ней наличности того добра, которое раньше имъ не понималось, не признавалось. На почвѣ этого новаго міросозерцанія развилось у Пушкина и новое пониманіе средствъ служенія обществу. Такимъ образомъ «это было только послѣдовательной смѣной прежняго отвлеченнаго, все отрицавшаго протеста другими болѣе реальными стремленіями» [1]; это было желаніе подойти поближе къ русской

[1]) *И. Морозовъ*, op. cit., 362: Кромѣ того, онъ увидѣлъ всю безплодность, всю неразсчетливость прожитой имъ жизни. Очевидно, нужно было или отказаться отъ всякой дѣятельности, или выбрать для нея другой путь, чтобы наверстать «въ безумствѣ гибельной свободы, въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ» «утраченные годы» (Соч. II. 37). Это сознаніе «безплодности» всѣхъ юношескихъ усилій и надеждъ было тягостно—оттого онъ всегда тоскуетъ, когда передъ нимъ оживаютъ его воспоминанія:

«Такъ отрокъ Библіи—безумный расточитель—
До капли истощивъ раскаянья фіалъ,

жизни, отыскать въ ней положительныя стороны, обѣщающія въ будущемъ перемѣну къ лучшему, уяснить самому себѣ путь, который могъ бы, хоть нѣсколько, приблизить общество къ осуществленію все того же завѣтнаго идеала; это была надежда на возможность воспользоваться существующими условіями жизни для того, чтобы дружною работою на поприщѣ просвѣщенія возвысить и облагородить эту жизнь» [1]).

Такая ясность міросозерцанія возвысила Пушкина до высокаго пониманія жизни, но не спасла его отъ столкновеній съ «дѣйствительностью»,—и послѣ «примиренія» онъ остался попрежнему «неуимчивымъ».

«Пушкинъ могъ задаться какими угодно почтенными намѣреніями, могъ даже въ извѣстное время дойти до самыхъ благоразумныхъ взглядовъ; не въ томъ была сущность дѣла,—его личность, натура, его умъ оставались неизмѣнными, неугомонными, ненасытными... Онъ родился, жилъ и умеръ *безпокойнымъ человѣкомъ*» [2]). «Великій художникъ остался всетаки человѣкомъ слишкомъ безпокойнаго ума и слишкомъ горячаго сердца для своего «жестокаго вѣка» [3]).

Вернувшись въ Москву, гдѣ онъ встрѣтился съ

Увидѣвъ, наконецъ, родимую обитель
Главой поникъ и зарыдалъ.
...Въ пылу восторговъ скоротечныхъ,
Въ безплодномъ вихрѣ суеты
О, много расточилъ сокровищъ я сердечныхъ
За недоступныя мечты! (Соч. II, 75).

[1]) *П. Морозовъ*, «Минувшій вѣкъ», 361—2.
[2]) *И. Ивановъ*, «Новая культурная сила», 62.
[3]) *В. Мякотинъ*, «Изъ исторіи русскаго общества», 302.

поздравленія... Явилось шампанское, и Пушкинъ одушевился, видя такое свое дѣйствіе на избранную молодежь. Ему пріятно было наше волненье. Онъ началъ намъ, поддавая жару, читать пѣсни о Стенькѣ Разинѣ, какъ онъ плавалъ ночью по Волгѣ на востроносой своей лодкѣ, предисловіе къ Руслану и Людмилѣ... Началъ разсказывать о планѣ для Дмитрія Самозванца, о палачѣ, который шутитъ съ чернью, стоя на плахѣ у Красной площади въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринѣ Мнишекъ съ Самозванцемъ... О, какое удивительное было то утро, оставившее слѣды на всю жизнь! Не помню, какъ мы разошлись, какъ докончили день, какъ улеглись спать! Да едва ли кто и спалъ изъ насъ въ эту ночь. Такъ былъ потрясенъ весь нашъ организмъ!». Стоитъ принять въ соображеніе впечатлительность, отзывчивость Пушкина, стоитъ вспомнить его славолюбіе, чтобы понять, какое ликованіе было въ его душѣ. Особенно, если предположить, что въ Москвѣ онъ неоднократно, въ разныхъ кругахъ, могъ встрѣчать такіе пріемы. Вѣроятно, даже сочиненіе «Записки о народномъ воспитаніи» забывалось подъ живымъ впечатлѣніемъ этихъ шумныхъ успѣховъ [1]).

Въ ноябрѣ поэтъ поѣхалъ въ Михайловское и

---

1) *М. П. Погодинъ*, «Изъ воспоминаній о Пушкинѣ» «Русск. Архивъ» 1865 г. № 1, 97—9, «Пушкинъ очень часто читалъ по домамъ своего «Бориса Годунова» и тѣмъ повредилъ отчасти его успѣху при напечатаніи. Москва неблагодарно поступила съ нимъ: послѣ неумѣренныхъ похвалъ и лестныхъ пріемовъ охладѣли къ нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвиненія въ ласкательствѣ, наушничествѣ и шпіонствѣ передъ государемъ. Это и было причиной, что онъ оставилъ Москву» (*Шевыревъ*, «Воспоминанія», *Л. Майковъ*, op. cit. 330).

тамъ получилъ письмо отъ графа Бенкендорфа [1]) отъ 22-го ноября 1826 года. Язвительно-холодный и, въ то же время, безукоризненно-вѣжливый тонъ этого письма рисуетъ во весь ростъ того человѣка, въ чьи руки попала судьба Пушкина. «Не имѣя отъ Васъ извѣщенія о полученіи моего отзыва,—о томъ, что Вы должны всѣ произведенія представлять на разсмотрѣніе государя, писалъ Бенкендорфъ, я долженъ однако-же заключить, что оный къ Вамъ дошелъ, ибо Вы сообщили о содержаніи его нѣкоторымъ особамъ» [2]). Въ этомъ же письмѣ Бенкендорфъ спрашивалъ, вѣрны ли дошедшіе до него слухи, будто бы Пушкинъ читалъ въ обществѣ свою новую трагедію, не показавъ ее предварительно государю. Изъ этихъ словъ Пушкинъ могъ усмотрѣть, какова была дарованная ему свобода, если даже за его разговорами былъ установленъ негласный надзоръ. Теперь онъ долженъ былъ ясно понять свое положеніе,—и онъ смирился, написалъ извинительное письмо, послалъ свою трагедію, куда требовалось, а кстати счелъ долгомъ сообщить, что роздалъ для печати нѣсколько мелкихъ сочиненій въ разные журналы, также «не представивъ на разсмотрѣніе Его Величества, чтобы не безпокоить пустяками» [3]). Въ отвѣтъ на это заявленіе она получилъ письмо (отъ 9-го декабря 1826 года), въ которомъ выражено было желаніе, чтобы присланы были на разсмотрѣніе также и другіе, упомянутые имъ, мелкіе

---

[1]) Дѣла III отд., 20.
[2]) Дѣла III отд., 20.
[3]) Соч. VII, 188 (29 ноября 1826 года) Дѣла III отд. 21.

труды его «блистательнаго пера» [1]). Такъ, почетныя цѣпи, наложенныя на поэта, связали его со всѣхъ сторонъ, по рукамъ и ногамъ!

Уже въ началѣ декабря 1826 года трагедія «Борисъ Годуновъ» была разсмотрѣна государемъ... Это «разсмотрѣніе», впрочемъ, свелось къ тому, что государь согласился съ «Замѣчаніемъ на комедію о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ», принадлежащимъ перу неизвѣстнаго лица и сохранившимся въ дѣлахъ III-го отдѣленія, среди пушкинскихъ бумагъ [2]). Очевидно, это «Замѣчаніе» составлено было или какимъ нибудь бойкимъ чиновникомъ, или литераторомъ, состоящимъ на казенной службѣ. Анонимный критикъ указалъ нѣсколько мѣстъ, подлежащихъ измѣненію, или исключенію вслѣдствіе ихъ вульгарности (народныя сцены), и выразилъ пожеланіе, чтобы трагедія была передѣлана въ «историческій романъ». 14-го декабря 1826 года Бенкендорфъ сообщилъ Пушкину, что государь прочелъ комедію «съ большимъ удовольствіемъ» и собственноручно написалъ на ней слѣдующее: «щитаю (sic), что цѣль г. Пушкина была бы выполнена, еслибъ, съ нужнымъ очищеніемъ, передѣлалъ комедію свою въ историческую повѣсть, или романъ» [3]). Пушкину

---

[1]) Дѣла III отд., 22.

[2]) Дѣла III-го отд. 23—7.

[3]) Дѣла III-го отд., 33. Издатель этихъ документовъ говоритъ, что на «Замѣчаніи» сдѣлана была отмѣтка *рукой Бенкендорфа*: «Я считаю, что цѣль г. Пушкина была бы выполнена, если бы, съ нужнымъ очище ніемъ, передѣлалъ комедію свою въ историческую повѣсть, или романъ, на подобіе Вальтеръ-Скотта». Слѣдовательно, государь только *переписалъ* съ ошибкой и сокращеніями резолюцію Бенкендорфа.

пришлось благодарить за «внимательное разсмотрѣніе» и признать справедливость этого глубокомысленнаго указанія. Онъ не зналъ, что «мнѣніе» подсказано государю какимъ-то «оффиціальнымъ критикомъ». Глубокая обида сквозитъ въ словахъ Пушкина, заканчивающихъ его письмо: «жалѣю, что я уже не въ силахъ передѣлать мною однажды написанное» [1]). На этомъ переписка касательно «Бориса Годунова» прерывается до конца 1829 года: Пушкинъ не пожелалъ принять въ соображеніе Высочайшія указанія, — и пьеса осталась лежать въ рукописи.

Нѣкоторое утѣшеніе отъ всѣхъ этихъ обидныхъ дрязгъ находилъ Пушкинъ въ обществѣ своихъ друзей. Кн. П. Вяземскій, съ молодой женой, С. А. Соболевскій, извѣстный библіофилъ и библіографъ, принимавшій участіе въ хлопотахъ по изданію сочиненій Пушкина [2]) («Русланъ и Людмила», «Братья Разбойники» и др.), П. В. Нащокинъ [3]), отставной гусаръ и пріятель Пушкина еще съ Царскаго Села, наконецъ, П. А. Чаадаевъ, вышедшій въ отставку и съ тѣхъ поръ безвыѣздно жившій въ Москвѣ,—вотъ, кругъ тѣхъ избранныхъ друзей, съ которыми въ это время Пушкинъ поддерживалъ въ Москвѣ особо-сердечныя отношенія. Посѣщалъ Пушкинъ, кромѣ того, различные салоны, литературные кружки и, вообще, интеллигентныя московскія семейства. Его принимали вездѣ съ распростертыми объятіями, его посѣщеніями

[1]) Соч. VII, 3 января 1827 года. Дѣла III-го отд., 41 стр.

[2]) О немъ много интереснаго см. въ воспоминаніяхъ *Л. Павлищева*. 69, 176—180, 184.

[3]) О немъ: *Н. И. Куликовъ*, «А. С. Пушкинъ и П. В. Нащокинъ». «Русск. Стар.» 1880 № 12, 989—998.

гордились, такъ какъ онъ былъ тогда «въ модѣ». Въ Москвѣ онъ перезнакомился почти со всѣми молодыми дѣятелями, имена которыхъ, такъ или иначе, связаны были съ исторіей просвѣщенія Россіи. Въ домѣ А. П. Елагиной онъ узналъ ея сыновей отъ перваго брака,—обоихъ Кирѣевскихъ, кн. Одоевскаго, А. И. Кошелева, С. П. Шевырева, М. А. Максимовича, Д. В. Веневитинова. Здѣсь, у Елагиной, бывали Жуковскій, Языковъ, Чаадаевъ, Баратынскій, Погодинъ, Хомяковъ. Къ этому же времени пребыванія Пушкина въ Москвѣ относится знакомство его съ Ад. Мицкевичемъ. Впрочемъ, встрѣча ихъ не имѣла никакого значенія ни для того, ни для другого,—оба къ этому времени вполнѣ сложились, опредѣлились, и вышли изъ того періода, когда люди еще могутъ поддаваться «вліяніямъ».

Особенно сблизился Пушкинъ съ университетскимъ кружкомъ Шевырева. Поэтъ давно уже носился съ мыслями объ улучшеніи современной русской критики и о поднятіи у насъ журнальнаго дѣла: литературная «чернь», въ родѣ Булгарина и Греча, тогда владѣвшая положеніемъ, претила его художническому самолюбію. «Толки о журналѣ, говоритъ Погодинъ, начатые еще въ 1824 и 1823 гг. усилились. Множество дѣятелей молодыхъ, ретивыхъ было, такъ сказать, на лицо; и сообщили ему (Пушкину) общее желаніе. Онъ выразилъ полную готовность принять самое живое участіе». Редакторомъ былъ выбранъ Погодинъ, помощникомъ ему Шевыревъ. Новый органъ получилъ названіе: «Московскій Вѣстникъ»; основаніе его было отпраздновано шумно и весело. «Мы собра-

лись въ домѣ, бывшемъ Хомякова, вспоминаетъ Погодинъ,—Пушкинъ, Мицкевичъ, Боратынскій, два брата Хомяковыхъ, два брата Кирѣевскихъ, Шевыревъ, Титовъ, Мальцовъ, Рожалинъ, Раичъ, Рихтеръ, Оболенскій, Соболевскій... Нечего описывать, какъ веселъ былъ этотъ обѣдъ, сколько разсказано анекдотовъ, плановъ, предположеній»... [1]).

Новый журналъ просуществовалъ недолго, хотя Пушкинъ, которому было по душѣ чисто-художественное направленіе журнала [2]), поддерживалъ его всѣми силами: тридцать три стихотворенія его, въ томъ числѣ отрывокъ изъ «Бориса Годунова», отрывокъ изъ «Евгенія Онѣгина», появились въ «Московскомъ Вѣстникѣ». Вообще литературная жизнь въ это время кипѣла. Тотъ же Погодинъ вспоминалъ объ этомъ времени: «между тѣмъ, въ Москвѣ наступило самое жаркое литературное время. Всякій день слышалось о чемъ нибудь новомъ. Языковъ присылалъ изъ Дерпта свои вдохновенные стихи, славившіе любовь, поэзію, молодость, вино. Денисъ Давыдовъ съ Кавказа, Баратынскій выдавалъ свои поэмы... «Горе отъ ума» Грибоѣдова только-что начало распространяться... Загоскинъ писалъ «Юрія Милославскаго», Дмитріевъ переводилъ Шиллера и Гете» [3]). Всѣ они, говоритъ Погодинъ, составляли особый отъ нашего приходъ, который вскорѣ соединился съ нами, или, вѣрнѣе, къ которому мы съ Шевыревыми присоединились потому, что всѣ наши товарищи, оставаясь, впрочемъ,

---

[1]) *М. П. Погодинъ*, op. cit. 100. [2]) См. объ этомъ цѣнную статью *проф. Н. А. Котляревскаго* «Пушкинъ и Д. В. Веневитиновъ» (Ж. М. Н. Пр. 1906 № 7). [3]) Тамъ же.

въ постоянныхъ сношеніяхъ съ нами, отправились въ Петербургъ. Оппозиція Полевого въ «Телеграфѣ», союзъ его съ «Сѣверной Пчелой» Булгарина, желчныя выходки Каченовскаго, къ которому явился вскорѣ на помощь Недоумко (Н. И. Надеждинъ), давали новую пищу. А тамъ еще Дельвигъ, съ «Сѣверными Цвѣтами», Жуковскій, съ новыми балладами, Крыловъ, съ баснями, которыхъ выходидо по одной, по двѣ въ годъ, Гнѣдичъ, съ «Иліадой», Раичъ, съ «Тассомъ» и Павловъ, съ лекціями о натуральной философіи, гремѣвшими въ университетѣ, Давыдовъ, съ философскими статьями... Вечера, живые и веселые, слѣдовали, одинъ за другимъ: у Елагиныхъ и Кирѣевскихъ за Красными воротами, у Веневитиновыхъ, у меня, у Соболевскаго въ домѣ на Дмитровкѣ, у княгини Волконской на Тверской. Въ Мицкевичѣ открылся даръ импровизаціи. Пріѣхалъ Глинка, связанный болѣе другихъ съ Мельгуновымъ, и присоединилась музыка» [1]). Въ такомъ головокружительномъ водоворотѣ высшихъ эстетическихъ интересовъ жила эта избранная московская интеллигенція. Пушкинъ, попавъ въ это общество, волею судебъ очутился въ самомъ центрѣ этой шумной, интенсивной жизни. Всю зиму онъ прожилъ безвыѣздно въ Москвѣ, раздѣляя свое время между литературными сборищами, картами и пирушками, охота къ которымъ въ немъ еще не остыла.

Къ этому же времени (конецъ 1826 года) относится увлеченіе поэта Софьей Ѳедоровной Пушкиной, золовкой его пріятеля Вас. Петр. Зубкова. Это увле-

[1]) Тамъ же, 100—1.

ченіе, мимолетное и неожиданное, привело поэта къ сватовству, впрочемъ неудачному. Недавно найденное и опубликованное академикомъ А. Ѳ. Кони письмо Пушкина прекрасно рисуетъ легко-увлекающагося поэта и назрѣвшую въ немъ мечту о женитьбѣ. «Дорогой Зубковъ, писалъ Пушкинъ, Вы не получили письма отъ меня, и вотъ тому объясненіе: я самъ хотѣлъ 1-го декабря, т. е. сегодня, прилетѣть къ Вамъ, какъ бомба, такъ что выѣхалъ тому пять-шесть дней изъ моей проклятой деревни на перекладной; въ виду отвратительныхъ дорогъ, псковскіе ямщики не нашли ничего лучшаго, какъ опрокинуть меня. У меня помятъ бокъ, болитъ грудь, и я не могу дышать. Взбѣшенный, я играю и проигрываю. Но довольно. Какъ только мнѣ немного станетъ лучше, буду продолжать мой путь почтой. Ваши два письма прелестны. Мой пріѣздъ былъ бы лучшимъ отвѣтомъ на размышленія, возраженія и т. д., но такъ какъ я, вмѣсто того, чтобы быть у ногъ Софи, нахожусь на постояломъ дворѣ во Псковѣ, то поболтаемъ, то станемъ разсуждать...

«Мнѣ 27 лѣтъ, дорогой другъ! Пора жить, т. е. познать счастье. Вы мнѣ говорите, что оно не можетъ быть вѣчнымъ,—прекрасная новость. Не мое личное счастье меня тревожитъ,—могу ли я не быть самымъ счастливымъ человѣкомъ съ нею? я трепещу лишь, думая о судьбѣ, быть можетъ, ее ожидающей, я трепещу передъ невозможностью сдѣлать ее столь счастливой, какъ это мнѣ желательно. Моя жизнь, такая доселѣ кочующая, такая бурная, мой нравъ неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, слабый,—вотъ, что внушаетъ мнѣ тягостное раздумье. Слѣдуетъ ли мнѣ связать судьбу столь нѣжнаго, столь прекраснаго существа, съ судьбою, до такой степени несчастной? Боже мой, до чего она хороша! и какъ смѣшно было мое поведеніе по отношенію къ ней! Дорогой другъ, постарайся изгладить дурное впечатлѣніе, которое оно могло на нее произвести. Скажите ей, что я разумнѣе, чѣмъ имѣю видъ, и доказательство тому, что́ тебѣ въ голову придетъ! Мерзкій этотъ Панинъ два года влюбленъ, а свататься собирается на Фоминой недѣлѣ, а я разъ вижу ее въ ложѣ, въ другой—на балѣ—и сватаюсь! Если она полагаетъ, что Панинъ правъ, она должна думать, что я сошелъ съ ума, не правда ли? Объясните-же ей, что правъ я, что, увидѣвъ ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сдѣлалъ, прямо придя къ развязкѣ,—что, полюбивъ ее, нѣтъ возможности полюбить ее сильнѣе (моего), какъ невозможно... Ангелъ мой, уговори ее, настращай ее Панинымъ скверным и жени меня»! [1]). Въ этомъ оригинальномъ соперничествѣ съ Панинымъ поэтъ, увы, оказался побѣжденнымъ,—въ 1827 году Софья Ѳедоровна вышла замужъ за В. М. Панина.

Пресытившись Моской, а быть можетъ, и подъ впечатлѣніемъ сердечной неудачи, поэтъ уже къ веснѣ захотѣлъ побывать въ Петербургѣ. Помня наставленіе Бенкендорфа, всякій разъ испрашивать разрѣшенія на такія поѣздки, 24 апрѣля 1827 года онъ обратился къ Бенкендорфу [2]). Разрѣшеніе было

[1]) *А. Ѳ. Кони*, «Страничка изъ жизни Пушкина». Спб. 1905.

[2]) Дѣла III отдѣленія, 47.

дано 3 мая съ характерной припиской: «Его Величество не сомнѣвается въ томъ, что данное русскимъ дворяниномъ государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будетъ въ полномъ смыслѣ сдержано» [1]). Очевидно, графъ Бенкендорфъ да, повидимому, и самъ Государь, попрежнему, не довѣряли поэту и третировали его. Конечно, на впечатлительнаго поэта такія неожиданныя наставленія должны были дѣйствовать удручающе и, быть можетъ, потому посѣщеніе Петербурга не только не доставило ему никакого удовольствія, но даже и зима, недавно проведенная такъ шумно въ Москвѣ, предстала теперь въ его воспоминаніяхъ съ отрицательной стороны: праздное любопытство, предметомъ котораго онъ часто здѣсь былъ, некультурность «общества», партійность литераторовъ и ученыхъ, недоброжелательство—словомъ, все то, что̀ не бросалось въ глаза сначала, теперь выступало въ его памяти на первое мѣсто. Пушкинъ особенно пришелся не по вкусу петербургскому «свѣту» [2]). Случилось то, что̀ можно было ожидать

[1]) Тамъ же, 49.

[2]) Въ петербургскомъ «свѣтѣ» враждебно были настроены къ Пушкину. Еще не зная его, Смирнова слышала о немъ неодобрительные отзывы. «Мнѣ сказали, что онъ будетъ мнѣ антипатиченъ, такъ какъ насмѣшникъ, злой языкъ, язвительный и особенно смѣется надъ молодыми дѣвушками». (*А. О. Смирнова*, Записки, 16). Г. Ивановъ совершенно̀ справедливо объясняетъ причины этой «свѣтской вражды» къ Пушкину: «именно въ необоримой, въ неумирающей страсти жить умомъ и всѣми великими силами души, заключалась полная неприспособленность Пушкина къ средѣ. Онъ—ея прирожденный врагъ, между ними немыслимы сдѣлки, недостижимъ прочный миръ. Это—явленія разныхъ міровъ, между ними возможны только временныя затишья, перемирія, отнюдь не договоры и союзы». (*И. Ивановъ*. «Новая культурная сила», 62).

заранѣе,—только немногіе люди могли съ нимъ сблизиться. Къ тому же, попавъ изъ затишья въ шумъ, Пушкинъ, отвыкшій отъ толпы, скоро утомился и почувствовалъ себя одинокимъ [1])... Вотъ почему поэта стало тянуть къ той деревнѣ, изъ которой еще такъ недавно рвался онъ на свободу. «Что мнѣ сказать вамъ,—писалъ онъ Осиповой,—о моемъ пребываніи въ Москвѣ и моемъ прибытіи въ С.-Петербургъ? Пошлость и глупость нашихъ обѣихъ столицъ одна и та-же, хотя въ различномъ родѣ и, такъ какъ я имѣю претензіи быть безпристрастнымъ, то скажу, что если бы мнѣ дали обѣ на выборъ, то я бы выбралъ Тригорское, почти такъ же, какъ арлекинъ, который, на вопросъ: предпочитаетъ ли онъ быть колесованъ, или повѣшенъ, отвѣчалъ: «я предпочитаю молочный супъ» [2]).

Такъ называемое «цензурованіе» *Государемъ* произведеній «блистательнаго пера» пушкинскаго сводилось, какъ это видно изъ дѣлъ III отдѣленія, къ тому, что цензуровалъ Пушкина какой-то неизвѣстный; съ его мнѣніемъ соглашался Бенкендорфъ, мнѣнія же Государя въ дѣлахъ часто даже не имѣется. Какова была эта цензура, видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: извѣстное стихотвореніе «19 октября» вызвало такое замѣчаніе: «вовсе не нужно говорить о своей опалѣ, о несчастьяхъ, когда авторъ не былъ въ ономъ, но былъ милостиво и отечески оштрафованъ за такіе поступки, за которые въ другихъ государствахъ под-

[1]) «Онъ былъ тогда веселъ, но чего-то ему не доставало, онъ, какъ будто не былъ такъ доволенъ собой и другими, какъ въ Тригорскомъ и Михайловскомъ». *А. П. Маркова-Виноградская*, «Воспоминанія», *Л. Майковъ*, op. cit. 252.

[2]) Соч. VII, 192-3. Письмо къ Осиповой весной, 1827.

вергнули бы суду и жестокому наказанію» [1]). Нежелательнымъ цензору показалось также упоминаніе заглавныхъ буквъ друзей товарища въ этомъ произведеніи [2]). Всѣ эти мнѣнія доводились до свѣдѣнія поэта, который только благодарилъ за отеческія попеченія: «чувствительно благодарю Васъ за доброжелательное замѣчаніе касательно піесы «19 октября», писалъ онъ Бенкендорфу, непремѣнно напишу барону Дельвигу, чтобъ заглавныя буквы именъ и вообще все то, что можетъ подать поводъ къ невыгоднымъ для меня заключеніямъ и толкованіямъ, было имъ исключено» [3]).

Но, несмотря на такую трогательную уступчивость поэта, Бенкендорфъ старательно искалъ вездѣ предлоговъ, чтобы найти основаніе для различныхъ придирокъ. Такъ, 30 іюня 1827 г. онъ поручилъ разузнать, самъ ли Пушкинъ выбралъ виньетку для своей поэмы: «Цыгане», или это сдѣлалъ типографъ. «Трудно допустить, писалъ онъ, чтобы она была выбрана случайно» [4]). Генералъ-

[1]) Дѣла III-го отд., 43.

[2]) Тамъ же.

[3]) Тамъ же. 46. Стихотвореніе «19 октября» было доставлено Бенкендорфу не самимъ Пушкинымъ, но Дельвигомъ, по просьбѣ поэта. Бенкендорфъ нашелъ въ этомъ основаніе, чтобы уколоть и Дельвига, и Пушкина: первому онъ писалъ: «сколько меня ни удивило посредничество Ваше въ семъ дѣлѣ, но мнѣ пріятно Васъ увѣрить въ чувствахъ почтенія, съ коими имѣю честь быть и проч.» (Дѣла III отд. 44). Пушкину онъ сдѣлалъ выговоръ: «баронъ Дельвигъ, котораго я вовсе не имѣю чести знать, препроводилъ ко мнѣ пять сочиненій вашихъ: я не могу скрыть вамъ крайняго моего удивленія, что Вы избрали посредника въ сношеніяхъ со мною, основанныхъ на Высочайшемъ соизволеніи». (Тамъ же, 45).

[4]) Дѣло III отд., 260.

маіоръ Волковъ, которому было поручено разузнать это, донесъ, что виньетка выбрана была Пушкинымъ, что сдѣлана она была въ Парижѣ и украшаетъ не только произведеніе Пушкина, а была вообще въ ходу и печаталась неразъ и на другихъ изданіяхъ [1]). Объяснить же смыслъ аллегорическаго рисунка виньетки генералъ-маіоръ Волковъ рѣшительно не брался: «Cette coupe de plaisir renversée, le serpent signe du poison, le poignard ou la vengeance, l'ésrit de ou la trahison,— tout est selon moi analogue à son sujet» [2]). Дѣло о виньеткѣ на этомъ заглохло. Но возбужденіе его характерно для графа Бенкендорфа.

3 мая Пушкинъ еще былъ въ Москвѣ (см. письмо Бенкендорфа отъ 3 мая 1827 года А. А. Волкову) [3]). 29 іюня онъ былъ уже въ Петербургѣ и здѣсь являлся къ своему покровителю [4]). Съ 1 іюля по 20 іюля [5]), судя по датамъ его писемъ, онъ все время былъ въ Петербургѣ. Лишь письмо отъ 10 сентября отправлено было изъ Опочки [6]). Въ предѣлахъ этого времени Пушкинъ обмѣнялся съ Бенкендорфомъ нѣсколькими письмами. Вся эта переписка была вызвана возобновленіемъ жалобъ Пушкина на статскаго совѣтника Ольдекопа, перепечатавшаго въ 1824 году текстъ «Кавказскаго Плѣнника» съ нѣмецкимъ переводомъ. Тогда, въ 1824 году, жалобу, по просьбѣ поэта, подавалъ отецъ его, но она ни къ чему не

[1]) Тамъ же, 261.
[2]) Тамъ же, 261.
[3]) Тамъ же, 48.
[4]) Тамъ же, 50, 54.
[5]) Тамъ же, 52.
[6]) Тамъ же, 60.

привела. Теперь дѣло возобновилъ онъ самъ, ограждая свои права на литературную собственность, но Бенкендорфъ сталъ на сторону Ольдекопа, и Пушкину пришлось опять уступить.

Всю осень провелъ Пушкинъ въ деревнѣ, лишь въ октябрѣ вернулся въ Петербургъ. На пути въ Петербургъ, 15 октября 1827 года, Пушкинъ на одной изъ станцій встрѣтилъ Кюхельбекера, котораго везли изъ Шлиссельбургской крѣпости въ Двинскъ. Свиданіе было крайне тягостно для обоихъ: старые товарищи кинулись другъ къ другу въ объятія. «Жандармы насъ растащили, разсказываетъ Пушкинъ. Фельдегерь взялъ меня за руку съ угрозами и ругательствомъ. Я его не слышалъ. Кюхельбекеру сдѣлалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили въ телѣжку и ускакали» [5]).

Вернувшись поздней осенью въ Петербургъ, поэтъ повелъ тоскливое существованіе одинокаго человѣка. Онъ чуждъ былъ родной семьи и, въ то же время, не могъ уже съ прежней юношеской жизнерадостностью отдаваться утѣхамъ холостой жизни,—онъ чувствовалъ себя неизмѣримо выше тогдашняго русскаго общества—и литераторскаго, и свѣтскаго; наконецъ, онъ сознавалъ, что не исполнились его мечты о независимомъ существованіи, ради котораго принесено было имъ столько жертвъ. Онъ постигъ себѣ цѣну, и жизнь была ясна ему, но, въ награду за эти великія пріобрѣтенныя «знанія», онъ обреченъ былъ попреж-

---

[5]) Соч. V, 51—2 «Встрѣча съ Кюхельбекеромъ» *Н. А. Гастфрейндъ* въ статьѣ «Кюхельбекеръ и Пушкинъ въ день 14 дек. 1825 г.» говоритъ, что въ ссылку въ Сибирь былъ онъ отправленъ 6 декабря 1835 г.

нему на неутѣшительную роль «поднадзорнаго». Немудрено, что прежнее тревожное настроеніе, разсѣянное деревенской жизнью, теперь опять возвращается къ нему, — онъ начинаетъ нервничать, становится раздражителенъ, избѣгаетъ людей, въ обществѣ бываетъ рѣдко, а если и бываетъ, то является тамъ скучающимъ, или рѣзкимъ, придирчивымъ, озлобленнымъ и непріятнымъ для собесѣдниковъ. По словамъ людей, знавшихъ поэта въ этотъ періодъ его жизни, онъ бывалъ «самимъ собою» только съ близкими друзьями, но стоило войти въ комнату постороннему человѣку,—и онъ мгновенно мѣнялся; веселость его становилась нервною и натянутою; начинались шутки, переходившія всякія границы, и выходки, часто до того циничныя, что слушавшіе ихъ приходили въ ужасъ и, конечно, составляли себѣ весьма невыгодное о Пушкинѣ мнѣніе. Въ многолюдныхъ великосвѣтскихъ салонахъ Пушкинъ, по бо̀льшей части, молчитъ и скучаетъ. Повидимому, Пушкинъ плохо держалъ всѣ свои обѣщанія, данныя Бенкендорфу относительно поведенія въ Петербургѣ. Между тѣмъ, поэтъ прекрасно зналъ, что каждый его шагъ, каждое слово доходитъ до ушей г. шефа жандармовъ, который старался во всемъ увидѣть поводъ для обвиненія поэта, или для нанесенія ему обиды. Въ этомъ отношеніи изобрѣтательность его была неистощима. Даже изъ стихотворенія Пушкина: «Друзьямъ» [1]) удалось ему сдѣлать для поэта источникъ новыхъ обидъ и униженій. Произведеніе это, написанное изъ желанія оправдать себя въ глазахъ друзей, которымъ непонятна

[1]) Соч. II, 29 «Нѣтъ я не льстецъ».

была его перемѣна въ отношеніяхъ къ правительству [1]),—было представлено государю; онъ остался имъ «совершенно доволенъ» [2]) и собственноручно написалъ: «cela peut courir, mais pas être imprimée» [3]).

Нельзя было сильнѣе оскорбить поэта, какъ немедленно пообѣщать ему за эти стихи «назначеніе» [4]). 5-го марта Пушкинъ не безъ волненія и страха спрашивалъ Бенкендорфа объ этой *новой грозившей* ему «милости», но, очевидно, отвѣта на свой вопросъ не получилъ, такъ какъ 19 апрѣля писалъ слѣдующее письмо Бенкендорфу: «по приказанію Вашего Превосходительства являлся я сегодня къ Вамъ, дабы узнать рѣшительное свое назначеніе, но меня не хотѣли пустить и позволить мнѣ дожидаться». Очевидно, въ прихожей Бенкендорфа съ поэтомъ не церемонились. Онъ такъ и не узналъ, что́ ему предназначалось [5]). Впрочемъ, Бенкендорфъ написалъ ему въ утѣшеніе, что государь его не забудетъ и «воспользуется первымъ случаемъ, чтобы употребить отличныя дарованія» его «на пользу отечества [6]). Такія письма, въ которыхъ между строкъ всегда читалось пренебреженіе и желаніе кольнуть, волновали-бы не только подозрительнаго, самолю-

[1]) Соч.

[2]) Дѣла III отд., 65 (6 марта 1828 года письмо Бенкендорфа).

[3]) Тамъ же, 66.

[4]) Тамъ же. 67.

[5]) *Проф. И. А. Шляпкинъ* въ своей цѣнной книгѣ, «Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина» напечаталъ принадлежащіе ему черновики писемъ поэта. По нимъ любопытно слѣдить, какія чувства переживалъ Пушкинъ, сочиняя письмо къ Бенкендорфу: въ первоначальныхъ наброскахъ все выходило рѣзче, потомъ смягчалось, сглаживалось...

[6]) Тамъ же, 72.

биваго Пушкина. Гр. Бенкендорфъ третировалъ его какъ чиновника «не у дѣлъ», который своимъ перомъ «пользы отечеству» еще не приноситъ. Такъ же приблизительно смотрѣлъ на поэта и болѣе образованный гр. Воронцовъ. Понятно, что чувство обиды накипало въ его изстрадавшемся сердцѣ. А. П. Кернъ разсказывала, что въ эту зиму онъ бывалъ часто мрачнымъ, разсѣяннымъ и апатичнымъ: онъ задыхался въ Петербургѣ. Осиповой онъ писалъ, что горитъ желаніемъ измѣнить свое житье тѣмъ или другимъ образомъ. «Признаюсь, пишетъ онъ, что шумъ и суета Петербурга сдѣлались мнѣ совершенно чужды, я съ трудомъ ихъ переношу. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и красивый берегъ Сороти» [1]). Подъ вліяніемъ этой тревоги, овладѣвшей его тоскующимъ сердцемъ, онъ нигдѣ не можетъ найти себѣ мѣста,—изъ Петербурга ѣдетъ въ Москву, оттуда возвращается въ Петербургъ. Когда началась Турецкая война, онъ просилъ разрѣшенія отправиться въ дѣйствующую армію, но, конечно, позволенія онъ не получилъ [2]). 21 апрѣля онъ просилъ отпустить его въ Парижъ, но опять получилъ отказъ [3])... Къ этимъ обидамъ присоединяется еще новая непріятность: въ это же время началась очень шумная и непріятная исторія съ его стихотвореніемъ: «Андрей Шенье». Въ 1826 году полиція напала на запрещенный отрывокъ этого стихотворенія, который ходилъ по рукамъ, подъ названіемъ: «На 14 декабря 1825 г.» [4]). Въ хра-

[1]) Соч. VII, 199. Письмо къ А. Осиповой отъ 24 января.

[2]) Дѣла III отд., 72, отвѣтъ отъ Бенкендорфа, 20 апрѣля.

[3]) Соч. VII, 201.

[4]) Дѣла III отд., 265—300. Дѣло № 335, «О стихахъ, находив-

неніи этихъ стиховъ и въ ихъ распространеніи оказались виновными штабсъ-капитанъ конно-егерскаго полка Александръ Алексѣевъ, прапорщикъ лейбъ-гвардіи конно-піонернаго эскадрона Молчановъ и кандидатъ университета Андрей Леопольдовъ. Виновные судились, первые—военнымъ судомъ, а послѣдніе—гражданскимъ и были посажены въ тюрьму. Судъ продолжался два года, и въ 1828 году пришлось самому Пушкину давать объясненія,—онъ указывалъ, что стихотвореніе, вызвавшее нареканія, есть отрывокъ изъ элегіи: «Андрей Шенье», напечатанной цѣликомъ *до* 14 декабря (8 октября 1825 года) со словъ: «привѣтствую тебя»—до: «тамъ буря мрачная». Поэту приходилось давать показанія, объяснить, что въ его произведеніи изображена эпоха французской революціи, а не 14 декабря, что названіе стихотворенія, смутившее сыскную полицію, проставлено не имъ. Свои показанія Пушкинъ, не безъ раздражанія, заключилъ восклицаніемъ: «что́ же тутъ общаго съ несчастнымъ бунтомъ 14 декабря, уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятіемъ подъ стражу всѣхъ заговорщиковъ?» [1]). Дѣло перешло въ сенатъ, который и призналъ «означенное» сочиненіе Пушкина «соблазнительнымъ, служившимъ къ распространенію въ неблагонамѣренныхъ людяхъ того пагубнаго духа, который правительство обнаружило во всемъ его пространствѣ» [2]). Сенатъ прибавилъ къ этому, что «Пушкина надлежало бы подвергнуть отвѣту передъ судомъ, но, такъ какъ преступле-

---

шихся у студента Леопольдова и прикосновенныхъ къ сему дѣлу» 14-го класса Коноплевѣ и шт.-кап. Алексѣевѣ.

[1]) Дѣла III отд. 76. [2]) Тамъ же, 77.

ніе его совершено до амнистіи, до манифеста 22 августа 1826 года, то подвергать его наказанію за прощенные грѣхи не пристало, но, принимая въ соображеніе его ненадежность, слѣдуетъ обязать подпиской, чтобы впредь никакихъ своихъ твореній, безъ разсмотрѣнія цензуры не осмѣливался выпускать въ свѣтъ, подъ опасеніемъ строгаго по законамъ взысканія» [1]). Государственный Совѣтъ усмотрѣлъ изъ приведенныхъ выше заключительныхъ словъ показанія Пушкина въ отвѣтахъ на счетъ происшествія 14-го декабря 1825 года, что Пушкинъ «позволилъ себѣ неприличное выраженіе», что онъ неблагонадеженъ и что за нимъ необходимо учредить секретный надзоръ [2]). Въ августѣ 1828 года Государь *утвердилъ всѣ эти мнѣнія*. Этотъ фактъ лучше всего рисуетъ истинныя отношенія его къ Пушкину. Такимъ образомъ, золотыя цѣпи, наложенныя на поэта, очень скоро обратались въ самыя обыкновенныя—желѣзныя.

Въ этомъ же августѣ приключилась съ Пушкинымъ другая бѣда: крѣпостные оставного штабсъ-капитана Митькова въ іюнѣ 1828 года донесли, что онъ ихъ развращаетъ чтеніемъ безбожныхъ сочиненій [3]). Это сочиненіе оказалось «Гавриліадой», и 2-го августа 1828 года Пушкину пришлось отвѣ-

---

[1]) Дѣла III отд. 76—7.

[2]) Дѣла III отд. 79. «Русск. Стар.» 1874 т. X, 693—694, XI 584—588; 1882, февр. 465. «Дѣло о учрежденіи надзора за поведеніемъ извѣстнаго поэта тит. сов. Пушкина» — «Русск. Стар.», 1881 № 1, 223.

[3]) Дѣла III отд. 313—369. (Дѣло № 313 «О дурномъ поведеніи шт.-капит. Митькова Владиміра, Семена и Александра Шишковыхъ, Мордвинова, Карадыкина, губ. секр. Рубца, чинов. Таскина и Соловьева и фиктовальнаго учителя Гомбургова»).

чать на вопросы, имъ ли была написана поэма «Гавриліада», въ которомъ году, имѣетъ ли онъ у себя сію поэму. Кромѣ того, онъ обязывался подпиской подобныхъ богохульныхъ сочиненій впредь не писать. Пушкинъ отвѣтилъ, что сія поэма написана не имъ, что онъ въ первый разъ ее видѣлъ въ лицеѣ въ 1815—1816 г.г., переписалъ ее, но не помнитъ, куда дѣвалъ сей списокъ. По приказанію Государя (12 августа 1828 года), Пушкинъ долженъ былъ объяснить, отъ кого именно онъ въ лицеѣ получилъ рукопись. 19 августа Пушкинъ отвѣчалъ, что онъ не помнитъ точно лица, у котораго взялъ поэму: «Рукопись ходила между офицерами гусарскаго полка, показывалъ Пушкинъ, но отъ кого изъ нихъ я именно досталъ оную, я никакъ не упомню. Мой же списокъ сжегъ я, вѣроятно, въ 1820 году. Осмѣливаюсь прибавить,—говоритъ онъ далѣе, что ни въ одномъ изъ моихъ сочиненій даже изъ тѣхъ, въ коихъ я наиболѣе раскаиваюсь, нѣтъ слѣдовъ духа безвѣрія, или кощунства надъ религіею,—тѣмъ прискорбнѣе для меня мнѣніе, приписывающее мнѣ произведеніе жалкое и постыдное» [1])... Но Государь настаивалъ, и въ комиссіи, разсматривавшей дѣло о Гавриліадѣ, было заявлено повелѣніе Государя: «Г. Толстому призвать Пушкина къ себѣ и сказать ему моимъ именемъ, что я, зная лично Пушкина, я его слову вѣрю. Но желаю, чтобъ онъ помогъ правительству открыть, кто могъ сочинить подобную мерзость и обидѣть Пушкина выпуская оную подъ его именемъ» [2]).

[1]) Дѣла III отд. 332.

[2]) Тамъ же, 343.

Въ протоколѣ комиссіи значится далѣе, что «Пушкинъ, видя къ себѣ такое благоснисхожденіе Его Величества, не отговаривался отъ объявленія истины» и что «Пушкинъ, по довольномъ молчаніи и размышленіи, спрашивалъ, позволено ли ему будетъ написать прямо Государю Императору, и, получивъ на сіе удовлетворительный отвѣтъ, тутъ же написалъ къ Его Величеству письмо и, запечатавъ оное, вручилъ графу Толстому» [1]). Комиссія не распечатывала письма Пушкина. Содержаніе письма пока остается тайной. Вѣроятно, онъ признался въ авторствѣ.

Немудрено, что, подъ живымъ впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ передрягъ, творчество Пушкина ослабѣло. Лишь въ октябрѣ 1828 года имъ снова овладѣлъ яркій порывъ вдохновенья, плодомъ котораго была поэма «Полтава», написанная имъ въ три недѣли. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» М. В. Юзефовичъ разсказываетъ, со словъ поэта, любопытный эпизодъ изъ исторіи его творчества: «это было въ Петербургѣ. Погода стояла отвратительная. Онъ усѣлся дома, писалъ цѣлый день. Стихи ему грезились даже во снѣ, такъ что онъ ночью вскакивалъ и записывалъ ихъ въ потьмахъ. Когда голодъ его прохватывалъ, онъ бѣжалъ въ ближайшій трактиръ; стихи преслѣдовали его и туда,—онъ ѣлъ на скорую руку, что попало, и убѣгалъ домой, чтобы записать то, что набралось у него на бѣгу и за обѣдомъ. Такимъ образомъ слагались у него цѣлыя сотни стиховъ въ сутки» [2]). Первая пѣсня окончена была 3-го октября, вторая—9-го, третья—16-го.

[1]) Тамъ же.

[2]) Р. Арх. 1880, III, 430.

Конечно, произведеніе это зрѣло уже давно. Живя на югѣ, Пушкинъ нарочно ѣздилъ въ Бендеры, чтобы поговорить со старымъ казакомъ, помнившимъ Карла XII-го и Мазепу. Жизнь въ Каменкѣ и поѣздки въ Кіевъ познакомили поэта съ природой Малороссіи, быть можетъ, и съ ея преданіями; интересы къ русской исторіи и, особенно къ эпохѣ XVIII-го вѣка, поставили Пушкина, лицомъ къ лицу, съ образомъ Петра Великаго. Несомнѣнно, сильно сказалось на поэтѣ и вліяніе популярныхъ тогда «думъ» Рылѣева: «Войнаровскій», «Богданъ Хмѣльницкій», «Петръ Великій въ Острогожскѣ» и отрывка: «Мазепа»... Рылѣевъ до Пушкина упорно ходилъ вокругъ того художественнаго замысла, который позднѣе воплощенъ былъ въ «Годуновѣ»: тѣ же дѣйствующія лица, многія отдѣльныя картины, даже стихи, сближаютъ эту поэму съ группой аналогичныхъ произведеній Рылѣева. Самый образъ Мазепы, для Пушкина слишкомъ неестественный и напыщенный, сложился подъ невольнымъ впечатлѣніемъ того образа, который былъ набросанъ Рылѣевымъ красками яркими и кричащими... Если Пушкинъ и внесъ въ черты Мазепы смягчающіе тоны, то, всетаки, если бы онъ самъ подошелъ къ этому образу,—онъ, конечно, нашелъ бы въ душѣ Мазепы больше свѣта,—написавъ же быстро свое произведеніе, онъ не успѣлъ переварить навѣяннаго извнѣ. «Однако, какой отвратительный предметъ!»—отзывался онъ о Мазепѣ. «Ни одного добраго,благороднаго чувства. Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость. Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, на-

бросанная на всѣ эти ужасы—вотъ, что увлекло меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы вовсе» [1],—интересныя слова въ устахъ поэта, который всегда искалъ и находилъ смягчающія черты, даже въ преступныхъ своихъ геройхъ.

27-го октября Пушкинъ поѣхалъ въ Тверскую губ., въ деревню Малинники, имѣніе Вульфа. Деревенская тишина, какъ всегда, сразу принесла миръ его измученной душѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вернулось къ нему вдохновеніе: 4-го ноября поэтъ окончилъ 7-ю главу «Онѣгина», 9-го написалъ «Анчаръ», 10-го «Отвѣтъ Катенину», «Отвѣтъ Готовцевой». Всѣ эти произведенія и къ нимъ примыкающія спокойны по настроенію. Таковы же и письма поэта, относящіяся къ этому времени. Въ письмѣ къ Дельвигу онъ опять веселъ, какъ безпечный ребенокъ, и съ хохотомъ разсказываетъ о своемъ деревенскомъ житьѣ-бытьѣ: «здѣсь, пишетъ онъ, мнѣ очень весело: П. А. Осипову я люблю душевно. Жаль, что она хвораетъ и все безпокоится. Сосѣди ѣздятъ смотрѣть на меня, какъ на собаку Мунито,—скажи это графу Хвостову. П. М. (Полторацкій) повеселѣлъ и уморительно милъ. Надняхъ было сборище у одного сосѣда, я долженъ былъ туда пріѣхать. Дѣти его родственницы, балованные ребятишки, хотѣли непремѣнно туда же ѣхать. Мать принесла имъ изюму и чернослива и думала тихонько отъ нихъ убраться, но Петръ Марковичъ ихъ взбудоражилъ; онъ къ нимъ прибѣжалъ: «дѣти, дѣти, мать васъ обманываетъ! не ѣшьте чернослива,

[1] Соч. V, 134 «Критическія замѣтки».

поѣзжайте съ нею! Тамъ будетъ Пушкинъ,—онъ весь сахарный, а задъ его яблочный, его разрѣжутъ и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку. Дѣти разревѣлись: «не хотимъ чернослива! хотимъ Пушкина!». Нечего дѣлать, ихъ повезли, они сбѣжались ко мнѣ, облизываясь, но увидѣвъ, что я не сахарный, а кожаный, совсѣмъ онѣмѣли» [1]). Кончается это веселое письмо шуткой, на которыя Пушкинъ былъ великій мастеръ; «прощай, поцѣлуй себя въ пупокъ, если можешь» [2]). Въ слѣдующемъ письмѣ ему же отъ 28 ноября 1828 года онъ опять повторяетъ, что ему въ деревнѣ очень весело, такъ какъ деревенскую жизнь онъ очень любитъ [3]). Вернувшись въ Петербургъ, онъ опять заскучалъ и сталъ хандрить, опять началъ скитаться изъ одной столицы въ другую.

Въ Москвѣ его вниманіе приковываетъ къ себѣ Наталья Николаевна Гончарова (род. 27 августа 1812 года), расцвѣтавшая красавица-подростокъ, тогда еще только начавшая выѣзжать въ свѣтъ.

Пушкинъ былъ утомленъ жизнью. Родной семьѣ онъ былъ чуждъ,—даже рѣдко захаживалъ къ роди-

---

[1]) «Пушкинъ очень любилъ дѣтей,—это одно изъ сильнѣйшихъ пристрастій Пушкина. Онъ любилъ ихъ не просто, какъ милую забаву, слушаетъ ихъ лепетъ не ради одной душевной потѣхи,—онъ любитъ самую ихъ природу, искреннюю и непосредственную, онъ любитъ ихъ, какъ нравственное и психическое явленіе, онъ внимательно присматривается къ ихъ безхитростной естественной воспріимчивости, слѣдитъ за ихъ впечатлительностью, онъ изучаетъ по нимъ природу въ ея чистомъ видѣ. И у него такъ много общаго съ дѣтьми!». (*И. Ивановъ*, op. cit. 20; еще: «А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ кн. Вяземскаго», *П. Бартеневъ*, op. cit. стр. 35—6).

[2]) Соч. VII, 206 «Письмо А. А. Дельвигу» въ ноябрѣ 1828 г.

[3]) Тамъ же, 206.

телямъ,—между тѣмъ, его сердце, всегда чувствительное къ нѣжной ласкѣ, послѣ цѣлаго ряда испытаній, теперь, на поворотѣ къ зрѣлому возрасту, стало особенно болѣзненно ощущать потребность въ постоянной и стойкой привязанности. Немудрено, что онъ чаще и чаще сталъ задумываться о семейной жизни. Онъ говорилъ Вяземскому, что желаетъ покончить жизнь молодого человѣка и выйти изъ того положенія, при которомъ «какой-нибудь юноша могъ трепать его по плечу и звать въ неприличное общество» [1]).

Подъ вліяніемъ такихъ настроеній онъ сталъ всматриваться въ лица знакомыхъ дѣвицъ. Возможно, что ненадолго подходящей подругой жизни стала казаться ему Елизавета Николаевна Ушакова, дочь зажиточныхъ родителей, жившихъ въ Москвѣ широко и открыто [2]). Пушкинъ въ ихъ домѣ былъ постояннымъ и желаннымъ гостемъ. Выраженіемъ его кратковременной симпатіи былъ рядъ стихотвореній, посвященыхъ Ушаковой [3]). Эти стихотворенія рисуютъ отношенія поэта къ Ушаковой дружескими, добродушно-шутливыми. Едва ли поэтому можно говорить въ данномъ случаѣ о сколько-нибудь глубокомъ увлеченіи. Едва-ли дѣло доходило даже до сватовства. Къ тому же, уѣхавъ въ Петербургъ, въ исходѣ 1827 года, онъ гораздо сильнѣе увлекся тамъ другою красавицей — Анной Алексѣевной Олениной.

---

[1]) «А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива», *П. Бартеневъ*, op. cit., 42.

[2]) *Л. Майковъ*, op. cit. «Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ» (1826—1830), 335.

[3]) Соч. II, 64. «Вы избалованы природой», 65, «Въ отдаленіи отъ васъ», 87, «Я васъ узналъ, о мой оракулъ».

Ей поэтъ посвятилъ рядъ стихотвореній [1]). Говорятъ, что онъ даже сдѣлалъ предложеніе, которое, впрочемъ, не было принято матерью дѣвушки [2]). Лѣтомъ 1828 года онъ интересовался графиней А. Ѳ. Закревской [3]). Наконецъ, онъ увлекся Гончаровой.

Н. Н. Гончарова, кромѣ своей юной красоты, ничѣмъ другимъ не отличалась. Повидимому, на первыхъ порахъ, это была только застѣнчивая, скромная дѣвушка, съ неопредѣлившеюся нравственною физіономіею, зависѣвшая всецѣло отъ родителей [4]). «Когда я увидѣлъ ее въ первый разъ, разсказывалъ впослѣдствіи поэтъ, красоту ея только что начинали замѣчать въ обществѣ. Я ее полюбилъ, голова у меня

---

[1]) Соч. II, 31. «Городъ пышный», 62, «Примѣты», 63, «Въ альбомъ», 63, «Я васъ любилъ».

[2]) *Ѳ. Г. Солнцевъ*, «Воспоминанія», «Русская Старинаа», 1876 № 3, 633. Оленина, повидимому, симпатизировала Пушкину, — уже послѣ смерти поэта она говорила его сестрѣ: «очень жаль, что покойный твой братъ не на мнѣ женился! сама бы за него или подставила грудь подъ пистолетъ Дантеса проклятаго, или укокошила бы его, какъ собаку!» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 120).

[3]) Ей посвящены стихи: «Портретъ»—II, 33, «Счастливъ, кто...»—34, «Наперстникъ»—05 (*П. Бартеневъ*, op. cit. I, 113, II, 39).

[4]) По разсказу сестры поэта, родители Гончаровой «дали всѣмъ своимъ дѣтямъ прекрасное (!) домашнее образованіе, а, главное, воспитывали ихъ въ страхѣ Божьемъ, при чемъ держали трехъ дочерей непомѣрно строго, руководствуясь относительно ихъ правиломъ: «въ ваши лѣта не смѣть сужденія имѣть». Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтобы дочери, изъ которыхъ Натальѣ Николаевнѣ минуло 26-го августа 1829 года 17 лѣтъ, никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались съ посѣтителями ни въ какія серьезныя разсужденія, а когда заговорятъ старшіе—молчали-бы и слушали, считая высказываемыя этими старшими мнѣнія непреложными истинами. Дѣвицы Гончаровы должны были вставать едва ли не съ восходомъ солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости, не позже десяти часовъ вечера, являться каждое воскресенье къ обѣднѣ».

закружилась, я просилъ руки ея...» [1]). Поэтъ, не спрашивая самой Н. Н., прямо обратился къ ея матери. Это указываетъ, что съ самой дѣвушкй онъ не считалъ нужнымъ считаться [2]). У него «закружилась голова», какъ кружилась неразъ и прежде [3]), но съ тою разницею, что теперь это увлеченіе показалось ему кстати, для выполненія давно назрѣвшаго желанія найти «тихую пристань» въ своей собственной семьѣ. Поэтъ даже не далъ себѣ яснаго отчета, насколько его увлеченіе глубоко,—онъ нашелъ, что оно своевременно, и воспользовался имъ. Такимъ образомъ, едва ли не впервые въ жизни увлеченіе у него соединилось съ разсчетомъ. «Все, что бы ты могъ сказать мнѣ въ пользу холостой жизни и противу женитьбы, пишетъ онъ Н. И. Кривцову, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвѣсилъ выгоды и невзгоды состоянія, мною избираемаго.. Молодость моя прошла шумно и безплодно. До сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мнѣ не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes (внѣ обычной колеи нѣтъ счастья). Мнѣ за 30 лѣтъ. Въ тридцать лѣтъ

(*Л. Павлищевъ*, op. cit. 209.—10). Беллетристики дѣвицы Гончаровы не смѣли читать, и потому до 1830 г. будущая жена поэта не знала бо́льшей части его сочиненій.

[1]) Соч. VII, 221. «Письмо къ Н. И. Гончаровой» въ апрѣлѣ 1830 г.

[2]) Матери любимой дѣвушки онъ писалъ слѣдующее: «L'habitude et une longue intimité pourraient seules me faire gagner l'affection de m-lle votre fille. Je puis espérer me l'attacher à la longue, mais je n'ai rien pour lui plaire. Si elle consent à me donner sa main, je n'y verrai que la tranquille preuve de la indifference de son coeur». Соч. VII, 222. Письмо къ Н. И. Гончаровой въ апрѣлѣ 1830 г.

[3]) По счету самого Пушкина это была его сто-третья любовь (Соч. VII, 226. Письмо къ кн. В. Ѳ. Вяземской въ маѣ 1830).

люди, обыкновенно, женятся. Я поступаю, какъ люди, и, вѣроятно, не буду въ томъ раскаяваться» [1]). Все время увлекался онъ легкими радостями мимолетной любви, — теперь искалъ онъ не наслажденья, а «счастья», быть можетъ, увы, думая въ этомъ случаѣ только о себѣ... Онъ видѣлъ неразъ, какъ тихое семейное благополучіе давалось въ руки путемъ благоразумной сдѣлки съ родителями, и самъ пошелъ по тому же пути, «voie commune»... Онъ просилъ гр. Ѳ. И. Толстого быть посредникомъ въ его сватовствѣ и, при его содѣйствіи, вошелъ въ домъ Гончаровыхъ и сталъ тамъ бывать... Но съ хозяйкой дома онъ не сумѣлъ установить сколько-нибудь сносныя отношенія. Наталья Ивановна была, во всѣхъ отношеніяхъ, противоположностью Пушкину: у нея была особая молельня, со множествомъ образовъ, а про покойнаго государя она выражалась не иначе, какъ съ благоговѣніемъ [3]),— и благочестія, и преклоненія передъ Александромъ I поэтъ былъ совершенно чуждъ; свободоязычіе оставалось, по прежнему, его слабостью; и на этой почвѣ несходства убѣжденій и характера, съ первыхъ же шаговъ знакомства, начались столкновенія его съ будущей тещей. Впрочемъ, Пушкину напрямикъ не было отказано: Н. И. Гончарова отвѣтила уклончиво, что надо подождать да посмотрѣть, что дочь де еще слишкомъ молода и пр. [3]). Этотъ неопредѣленный отвѣтъ объяс-

[1]) Соч. VII, 260 «Письмо къ Н. И. Кривцову, 10 февр».

[2]) Соч. VII, 221 (подстр. прим.). Слова П. Бартенева.

[3]) Соч. VII, 221 (подстр. прим. Слова П. Бартенева). Самъ Пушкинъ говоритъ объ этомъ слѣдующее: «votre réponse, toute vague, qu'elle était, me donna un moment de delire: je partis la même nuit pour l'armée» (Письмо къ Н. И. Гончаровой въ апрѣлѣ).

нялся, повидимому, не только личной антипатіей матери Гончаровой къ жениху, но и тѣмъ, что Пушкинъ, въ общественномъ мнѣніи, представлялся отчаяннымъ повѣсою, развратникомъ и человѣкомъ политически-неблагонадежнымъ,—«негласный» надзоръ за поэтомъ былъ слишкомъ «гласенъ». Тяжелыя минуты пережилъ Пушкинъ, держа въ рукахъ этотъ неопредѣленный отвѣтъ: по его словамъ, въ сердцѣ его боролись грусть и горечь съ надеждой на счастье [1])... Онъ увидѣлъ въ этомъ новомъ ударѣ судьбы наказаніе рока за ошибки первоначальной юности. Онъ сознавалъ, что «онѣ были слишкомъ велики, клевета преувеличивала ихъ, по несчастью, молва о нихъ сдѣлалась распространенною» [2]).

Въ порывѣ горести Пушкинъ безъ разрѣшенія, оставляетъ Москву и ѣдетъ на Кавказъ, самъ хорошо

---

[1]) Соч. VII, 211—2. «Письмо Н. И. Гончаровой», въ началѣ мая. О тяжеломъ настроеніи Пушкина въ это время свидѣтельствуетъ и племянникъ его. Онъ приводитъ выдержку изъ письма, въ которомъ отецъ его говоритъ, что Пушкинъ «сидитъ букою, или на жизнь жалуется; Петербургъ проклинаетъ, хочетъ то за границу, то къ брату на Кавказъ» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 97). Прочитавъ своей сестрѣ стихи: «Даръ напрасный», написанные имъ въ день своего рожденія, онъ сказалъ: «хуже горькой полыни напрокутило мнѣ житье на землѣ,—нечего сказать, знаменитъ день рожденья, который вчера отпразднованъ; родился въ маѣ и вѣкъ буду маяться». (Тамъ же, 98). Въ февралѣ того же 1829 года, чувствуя какую-то безотчетную грусть, Пушкинъ сказалъ сестрѣ: «Боже мой! какъ мнѣ нехорошо! Какая тоска! Кажется, совсѣмъ здоровъ, а нигдѣ не нахожу себѣ мѣста, кидаюсь и мечусь во всѣ стороны, какъ угорѣлая кошка». (Тамъ же, 114). Отъ всей своей родни поэтъ скрывалъ и свое сватовство, и всѣ его перипетіи. «Пушкинъ въ эту зиму бывалъ часто мрачнымъ, разсѣяннымъ и апатичнымъ» (*А. П. Маркова-Виноградова* «Воспоминанія», 255).

[2]) Тамъ же, 221.

не зная зачѣмъ [1]). Обиліе новыхъ впечатлѣній быстро разсѣяли его тоску, — по крайней мѣрѣ, съ наружной стороны, онъ сталъ такъ же шумливъ и остроуменъ, какимъ былъ въ самыя счастливыя минуты своей юности [2]). Переодѣвшись въ черкесскій костюмъ, окруживъ себя толпой сорванцовъ, онъ устраивалъ на дорогѣ шалости, порой довольно опаснаго свойства; такъ, напримѣръ, проѣзжая мѣстности, въ которыхъ шныряли горцы, онъ оставлялъ прикрытіе и удалялся въ сторону отъ дороги, въ глубь страны, тогда еще не замиренной. Эта тѣнь опасности, жажда сильныхъ ощущеній были нужны ему, чтобы заглушить тотъ внутренній голосъ, который говорилъ ему, какъ глубоко онъ несчастливъ. Какъ и раньше бывало неразъ,—онъ, во время пути, сдѣлался любимцемъ однихъ и очень непріятнымъ спутникомъ для другихъ; въ угоду веселой толпы новоприобрѣтенныхъ друзей, онъ иногда ребячился, не зная мѣры,—напримѣръ, дразнилъ старыхъ инвалидовъ, которые состояли при казенныхъ домикахъ, разбросанныхъ по тракту. Въ минуту такого смѣшливаго настроенія, онъ безцеремонно потѣшался надъ странностями лицъ, попадавшихся ему на пути, и чуть,

[1]) Тамъ же, 221: «demandez—moi ce que j'allais y faire, je vous jure que je n'en sais rien, mais une angoisse involontaire me chassait de Moscou». Онъ даже сначала не зналъ, куда ему метнуться—«въ Европу», во Псковъ, или въ Грузію» (соч. VII, 211; еще: *А. Смирнова* «Записки», 33, 45, 169, 244).

[2]) Объ этой поѣздкѣ см работу *Е. Т. Вейденбаума*: «О пребываніи Пушкина на Кавказѣ въ 1829 г. «Кавказская поминка о Пушкинѣ», сборн. газеты «Кавказъ», Тифлисъ, 1899), также *К. Н. Бѣлчева*: «Пушкинъ на Кавказѣ», Тифл. 1899. Болѣе старыя статьи: *П. Б. Потокскаго* «Русск. Стар.» 1880, № 7, *М. В. Юзефовича* «Русск. Арх.» 1880, III, 431.

было, не поплатился жизнью, разыгравъ въ одномъ горномъ татарскомъ аулѣ роль «шайтана»... Для зрителей все это поведеніе казалось сплошнымъ шутовствомъ, которое многимъ казалось недостойнымъ великаго поэта,—но, зная его, мы видимъ ясно, что эта шумливая, безпокойная веселость, какъ и исканіе опасностей, могли быть только проявленіемъ повышенной нервозности его безпокойнаго духа.

Впечатлѣнія отъ своего путешествія поэтъ разсказалъ въ своихъ очеркахъ «Путешествіе въ Арзрумъ» [1]). Онъ ѣхалъ въ дѣйствующую армію, которою тогда командовалъ Паскевичъ и гдѣ онъ хотѣлъ встрѣтить Н. Н. Раевскаго, брата и многихъ друзей. По дорогѣ, какъ извѣстно, встрѣтилъ онъ тѣло Грибоѣдова, которое везли въ Тифлисъ изъ Персіи. Съ чисто-дѣтской радостью вдыхалъ Пушкинъ вольный воздухъ Кавказскихъ горъ и порой ему казалось, что и его духъ такъ же свободенъ и воленъ,—забывалась Москва и Петербургъ, гнетущее чувство обидной неудачи, забывался жесткій профиль графа Бенкендорфа, туманилось забвеньемъ и божественное личико Гончаровой...

«Вотъ и Арпачай!»—сказалъ мнѣ казакъ... Арпачай! Наша граница! Это стоило Арарата! Я поскакалъ къ рѣкѣ съ чувствомъ неизъяснимымъ. Никогда еще не видалъ я чужой земли. Граница имѣла для меня что-то таинственное,—съ дѣтскихъ лѣтъ путешествія были моею любимою мечтою. Долго велъ я потомъ жизнь кочующую, скитался то по югу, то сѣверу, и никогда еще не вырывался изъ предѣловъ необъятной Россіи. Я весело въѣхалъ въ завѣтную

[1]) Соч. IV, 412 «Путешествіе въ Арзрумъ».

рѣку, и добрый конь меня вынесъ на турецкій берегъ!»—разсказываетъ Пушкинъ. Судьба и здѣсь подшутила надъ поэтомъ,—этотъ берегъ тогда уже былъ завоеваннымъ, и за границей побывать ему такъ и не удалось! [1]).

Встрѣча съ братомъ, вѣроятно, была не изъ сердечныхъ,—отношенія между ними были давно и сильно испорчены. Поэтъ передъ поѣздкой писалъ ему, что ѣдетъ на Кавказъ вовсе не ради его «прекрасныхъ глазъ», а чтобы повидать Н. Н. Раевскаго [2]). Конечно, едва ли и это справедливо: не Раевскій, а жажда сильныхъ ощущеній привела его изъ душной Москвы въ горы Кавказа, подъ пули горцевъ и турокъ... Поэтъ съ увлеченіемъ отдавался и радостямъ, и трудностямъ военной жизни. Въ буркѣ и цилиндрѣ, верхомъ, онъ бросался подъ пули враговъ и, однажды, схвативъ пику убитаго казака, бросился въ погоню за отступавшими врагами. Бой горячилъ и воодушевлялъ его [3]). Въ мирной обста-

[1]) Соч. IV, 433. [2]) Соч., VII, 211, «Письмо Л. С. Пушкину», 8 мая. [3]) *Вейденбаумъ*, op. cit. Узнавъ о предстоящемъ сраженіи «Пушкинъ радовался, какъ ребенокъ, тому ощущенію, которое его ожидаетъ». *М. Пущинъ* «Встрѣча съ А. С. Пушкинымъ за Кавказомъ» (*Л. Майковъ*, op. cit. 388). «По сообщеніи извѣстія о предстоящемъ боѣ Пушкину, въ немъ разыгралась африканская кровь, и онъ сталъ прыгать и бить въ ладоши, говоря, что на этотъ разъ онъ непремѣнно схватится съ туркомъ». (Тамъ же, 389). «Въ поэтическомъ порывѣ онъ тотчасъ выскочилъ изъ ставки, сѣлъ на лошадь и мгновенно очутился на аванпостахъ. Опытный маіоръ Семичевъ, посланный генераломъ Раевскимъ вслѣдъ за поэтомъ, едва настигнулъ его и вывелъ насильно изъ передовой цѣпи казаковъ въ ту минуту, когда Пушкинъ, одушевленный отвагой, столь свойственной новобранцу-воину, схвативъ пику послѣ одного изъ убитыхъ казаковъ, устремился противу непріятельскихъ всадниковъ». (Тамъ же, 395).

новкѣ лагерной жизни онъ былъ незамѣнимымъ собесѣдникомъ, но его старые друзья и новые знакомые немного въ немъ разочаровались,—«въ его рѣчахъ и поступкахъ, разсказываетъ въ своихъ «запискахъ», М. В. Юзефовичъ [1]) не было уже слѣда прежняго, разнузданнаго повѣсы. Онъ даже оказался, къ нашему сожалѣнію, слишкомъ воздержаннымъ застольнымъ собесѣдникомъ... Онъ отсталъ уже окончательно отъ всѣхъ излишествъ [2]), а въ большихъ грѣхахъ покаялся торжественно... Я помню, какъ однажды одинъ болтунъ, думая, конечно, ему угодить, напомнилъ ему объ одной его библейской поэмѣ и сталъ, было, читать изъ нея отрывокъ, Пушкинъ вспыхнулъ, на лицѣ его выразилась такая боль, что тотъ понялъ и замолчалъ. Послѣ Пушкинъ, коснувшись этой глупой

---

[1]) Тамъ же, 437.

[2]) Объ образѣ его жизни въ это время Л. Павлищевъ, со словъ матери, говоритъ слѣдующее: «я не стану увѣрять, что Пушкинъ былъ святымъ человѣкомъ, но что онъ не былъ особеннымъ поклонникомъ Киприды и Бахуса, въ этомъ я совершенно вѣрю моей матери, передъ которой Александръ Сергѣевичъ нисколько не скрывалъ своихъ шалостей... Вставалъ онъ во всякое время года—лѣтомъ и зимой безразлично—очень рано, часовъ въ шесть, самое бо́льшее—въ семь часовъ утра; послѣ утренней прогулки и утренняго чая работалъ безъ остановки до часу. Затѣмъ слѣдовалъ легкій завтракъ съ небольшой рюмкой хереса, или мадеры, вторичная прогулка, ради моціона, и, по возвращеніи, поправки написаннаго утромъ. Послѣ этой второй, по его словамъ, особенно трудной работы, слѣдовалъ въ 5, или 6 часовъ обѣдъ у знакомыхъ, или въ клубѣ съ полубутылкой бордо, рѣдко съ бокаломъ шампанскаго «аи». Вечеромъ, не особенно часто, театръ и преимущественно дружескія бесѣды съ Ольгой Сергѣевной, или съ П. А. Плетневымъ, кн. П. А. Вяземскимъ, барономъ А. А. Дельвигомъ, порою же съ В. А. Жуковскимъ и Е. А. Баратынскимъ» (*А. Павлищевъ*, op. cit., 151-2). Теперь осталось при немъ только увлеченіе картежной игрой,—во всемъ прочемъ онъ уже отсталъ отъ своихъ юношескихъ увлеченій.

выходки, говорилъ, что онъ дорого бы далъ, чтобы взять назадъ нѣкоторыя стихотворенія, написанныя имъ въ первой легкомысленной молодости [1])... И, если въ немъ иногда еще и замѣчались порывы страсти, міровоззрѣніе его перемѣнилось вполнѣ и безповоротно,—онъ былъ уже глубоко-вѣрующимъ человѣкомъ и спокойнымъ гражданиномъ, который сознательно уступилъ требованіямъ тогдашней русской жизни и отрѣшился отъ утопическихъ иллюзій». «Самодержавіе», «православіе» и «народность»,—лозунгъ, такъ называемой, «оффиціальной народности»—сдѣлался и его лозунгомъ [2]). Но если, въ политическомъ отношеніи, поэтъ теперь успокоился, то его натура, попрежнему подвижная и горячая, его впечатлительность, способность увлекаться минутою, остались при немъ. Немудрено, что его поведеніе въ войскѣ вскорѣ навлекло

---

[1]) Тамъ же, 438. Ему приписывали и чужія произведенія: стихи Баркова распѣвались преимущественно подъ пьяную руку на холостыхъ вечеринкахъ, причемъ любители воображали, что это—произведенія Пушкина и восхваляли ихъ. Александру Сергѣевичу, знавшему объ этихъ вакханаліяхъ, было до крайности непріятно.—«Mon nom est profané par toute cette drogue!» («мое имя оскверняется всей этой дрянью») говаривалъ онъ и сестрѣ и моему отцу» (*Л. Павлищевъ*, op. cit., 149). Свою «Гавріліаду» онъ считалъ «непростительною глупостью», равно какъ и «Царя Никиту» (тамъ же, 150. См. еще *А. Смирнова*, «Записки» I, 19, 103, 104, Соч. VII, 183).

[2]) Въ письмѣ къ Вяземскому отъ 16 марта 1830 г. онъ писалъ: «Государь, уѣзжая, оставилъ въ Москвѣ проектъ новой организаціи,—контръ-революціи революціи Петра. Вотъ тебѣ случай написать политическій памфлетъ и даже его напечатать, ибо правительство дѣйствуетъ, или намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія. Огражденіе дворянства, подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и крѣпостныхъ—вотъ, великіе предметы!» (Соч. VII, 218. «Письмо къ Вяземскому» отъ 16 марта 1830 г.).

на себя неудовольствіе главнокомандующаго. Г. Потокскій разсказываетъ, что «Пушкинъ до того рыскалъ по лагерю, что иногда посланные отъ главнокомандующаго звать Пушкина къ обѣду не находили его. При всякой перестрѣлкѣ съ непріятелемъ, во время движенія войскъ впередъ, Пушкина видѣли всегда впереди скачущихъ казаковъ, или драгунъ, прямо подъ выстрѣлами. Паскевичъ неоднократно предупреждалъ Александра Сергѣевича, что опасно зарываться такъ далеко, неразъ совѣтовалъ находиться во время дѣла неотлучно при немъ, точь въ точь, какъ будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и терпѣнія Александра Сергѣевича Пушкина,—онъ не могъ стоять сложа руки и бездѣйствовать. Онъ, какъ будто нарочно, дразнилъ главнокомандующаго и не слушалъ его совѣтовъ: при первой возможности скрывался отъ него и являлся гдѣ-нибудь впереди, въ самой свалкѣ сраженія». Такое отношеніе къ доброжелательнымъ совѣтамъ Паскевича не могло содѣйствовать прочности ихъ отношеній. Кромѣ того, Пушкинъ поддерживалъ сношенія съ нѣкоторыми изъ декабристовъ, которые рядовыми служили въ кавказской арміи. Это тоже не могло нравиться Паскевичу. Наконецъ, онъ замѣтилъ, что поэтъ ему открыто не симпатизируетъ, подобно очень многимъ поклонникамъ Ермолова, тогда впавшаго въ немилость и смѣненнаго имъ, Паскевичемъ [1]). Все это, вмѣстѣ взятое, повело къ открытому разрыву: Паскевичъ пригласилъ поэта и сказалъ ему: «Госпо-

[1]) Извѣстно, что по дорогѣ на Кавказъ поэтъ заѣзжалъ къ опальному генералу Ермолову, тогда жившему въ своей деревнѣ.

динъ Пушкинъ, мнѣ Васъ жаль! жизнь Ваша дорога для Россіи; Вамъ здѣсь дѣлать нечего, а потому я совѣтую Вамъ немедленно уѣхать изъ арміи обратно,— я уже велѣлъ приготовить для Васъ благонадежный конвой». Въ тотъ же день, 19 іюля, Пушкинъ отправился на сѣверъ. Онъ не торопился ѣхать въ Москву, задержался въ Тифлисѣ и на сѣверномъ Кавказѣ, по дорогѣ много проигралъ въ карты и, увеличивъ свои долги, лишь глубокою осенью вернулся въ Москву. Въ ноябрѣ онъ былъ уже въ Петербургѣ [1]).

На родинѣ его ждала старая тоска и новыя непріятности [2]): Гончаровы встрѣтили его сухо [3]), а петербургскія власти—выговорами; его неожиданный выѣздъ на Кавказъ «безъ разрѣшенія» озлобили петербургскія власти и, въ результатѣ, въ дѣлахъ III-го

---

[1]) Во время обратнаго путешествія, ѣдучи втроемъ съ Дороховымъ и Пущинымъ, Пушкинъ иногда «садился на казачью лошадь и ускакивалъ отъ отряда, отыскивая приключеній, или встрѣчи съ горцами, встрѣтивъ которыхъ, намѣревался, ускакивая отъ нихъ, навести ихъ на нашъ конвой и орудіе». (*М. Пущинъ*, «Встрѣча..», 391). Поэтическими плодами этой поѣздки на Кавказъ были стихотворенія: «Отрывокъ»—II, 66, «Калмычкѣ» — 66, «Изъ Гафиза» — 67, «Донъ» — 68, «Делибашъ»—68, «Монастырь на Казбекѣ»—69, «Кавказъ»—69, «Дорожныя жалобы»—70, «Обвалъ»—71, «Олеговъ щитъ» — 72, «Черновые наброски»—83, «Стамбулъ гяуры нынче славятъ»—110, (Ср. «Записки» *Смирновой*, I, 172),

[2]) «Пріѣхавъ въ Петербургъ—говорилъ онъ сестрѣ—я очутился будто въ карцерѣ, съ которымъ нѣсколько разъ былъ знакомъ въ лицеѣ. Меня что-то давитъ, душитъ, когда засиживаюсь долго на одномъ мѣстѣ. Ѣздить хочу, мѣнять мѣста пребыванія хочу!». (*Л. Павлищевъ*, op. cit., 139).

[3]) «Que de tourments m'attendaient à mon rétour! Votre silence, votre air froid, l'accueil de mademoiselle N., si léger, si inattentif»—писалъ онъ будущей тещѣ (Соч. VII, 221. «Письмо Н. И. Гончаровой въ апрѣлѣ»).

отдѣленія оказалось нѣсколько бумагъ, касательно новаго «преступленія» поэта. Сохранились здѣсь и донесенія какого-то сыщика, очевидно, принадлежащаго высшему свѣту. Вотъ, что онъ доносилъ: «я вамъ сказывалъ, что Пушкинъ поѣхалъ отсюда въ деревню и *одинъ*. Вотъ первое о немъ извѣстіе отъ Собаченки его (?) Сомова. Что далѣе узнаю, сообщу. Вспомните при семъ, что у Пушкина родной братъ на Кавказѣ и что господинъ-поэтъ столько же опасенъ pour l'État, какъ неочиненное перо. (Но онъ не затѣетъ ничего въ своей вѣтренной головѣ, его не возьметъ никто въ свои затѣи.) Это вѣрно! Laissez le courir le monde, chercher les filles, des inspirations poétiques et du jeu [1]). Дальше высказано предположеніе, что Пушкина отправили путешествовать его заимодавцы-игроки, которые разсчитываютъ или на то, что Пушкинъ будетъ удачно играть въ карты на Кавказѣ и вернется съ деньгами, или напишетъ новую поэму,—въ результатѣ, его золото перейдетъ къ нимъ въ карманъ [2]). Въ слѣдующемъ донесеніи указано, что Пушкинъ пробудетъ нѣсколько дней въ Москвѣ, а «какъ онъ изъ тѣхъ людей, читаемъ въ донесеніи, qui tournent au gré de leur allumette, то, можетъ быть, или вовсе останется въ Москвѣ, или прикатитъ сюда назадъ» [3]). Нельзя отрицать въ этихъ курьезныхъ донесеніяхъ нѣкоторой доли пренебрежительнаго снисхожденія къ поэту,—значеніе его поступка доноситель старается уменьшить. Тѣмъ не менѣе, гр. Бенкендорфъ забилъ тревогу: по его

[1]) Дѣла III отд., 82.
[2]) Тамъ же.
[3]) Тамъ же.

требованію, секретный надзоръ былъ учрежденъ за Пушкинымъ, пока онъ жилъ на Кавказѣ (приказъ отъ 22-го марта 1829 года), а 14-го октября онъ сдѣлалъ уже выговоръ поэту письмомъ, въ которомъ значится: «Государь Императоръ, узнавъ по публичнымъ извѣстіямъ (!), что Вы, Милостивый Государь, странствовали за Кавказомъ и посѣщали Арзерумъ, Высочайше повелѣть мнѣ изволилъ спросить Васъ, по чьему позволенію предприняли Вы сіе путешествіе. Я же, со своей стороны, покорнѣйше прошу увѣдомить меня, по какимъ причинамъ не изволили Вы сдержать даннаго мнѣ слова,—отправились въ Закавказскія страны, не предувѣдомивъ меня о Вашемъ намѣреніи сдѣлать сіе путешествіе» [1]). Пушкину пришлось униженно просить прощеніе. «Mon général! C'est avec la plus profonde douleur que je viens d'apprendre que Sa Majesté étoit mécontente de mon voyage à Arzroum. La bonté, indulgente et libérale de Votre Excellence et l'intérêt, qu'elle a toujours daigné me témoigner m'inspirent la confiance d'y recourir encore et de m'expliquer avec franchise» [2]).

Свою поѣздку въ дѣйствующую армію онъ объяснялъ желаніемъ видѣть брата, Раевскаго, неудержимымъ стремленіемъ посмотрѣть сраженіе [3]). «Je sens, продолжаетъ Пушкинъ, combien ma position a été fausse et ma conduite étourdie, mais au moins n'y a-t-il que de l'étourderie. L'idée qu'on pourroit l'attribuer à tout autre motif me seroit insupportable—j'aimerois mieux

[1]) Дѣла III отд. 95.
[2]) Тамъ же, 98.
[3]) Тамъ же.

éprouver la disgrâce la plus sevère que de passer pour ingrat aux yeux de celui auquel je dois tout» [1]).

Теперь опять начались скитанія поэта изъ столицы въ столицу, началась прежняя жизнь, легкія ухаживанія за дѣвицами и дамами, участіе въ литературныхъ обѣдахъ и литературныхъ дрязгахъ... Но въ характерѣ его произошла большая перемѣна,—объ этомъ свидѣтельствуютъ хорошо знавшіе его люди [2])...

Характерный эпизодъ врѣзался въ это время въ жизнь Пушкина,—въ него влюбилась Елизавета Михайловна Хитрово (род. въ 1783 г., сконч. въ 1838 г.). Она воспылала къ поэту сильной и завѣдомо-безнадежной любовью; ея страсть была полна самоотверженія, трогательнаго благоговѣнія и той тревоги, которая обычна въ чувствахъ увядающихъ женщинъ. Она волнуется, когда Пушкину грозитъ какая-нибудь бѣда [3]), она начинаетъ съ друзьями поэта переписку, желая отвести отъ своего любимца новые удары судьбы; безпокоится за его здоровье, увидя его блѣднымъ; надеждъ на взаимность у нея нѣтъ: «запрещайте мнѣ говорить вамъ о себѣ, но не лишайте меня счастья быть вашимъ комиссіонеромъ» [4]),—пишетъ она ему. И она, дѣйствительно, исправный «комиссіонеръ»,—она старается вездѣ, во всѣхъ кругахъ

---

[1]) Тамъ же, 98.

[2]) «Въ этотъ періодъ, передъ женитьбой своей, Пушкинъ казался совсѣмъ другимъ человѣкомъ,—онъ былъ серьезенъ, важенъ, молчаливъ; замѣтно было, что его постоянно проницало сознаніе великой обязанности осчастливить любимое существо, съ которымъ онъ готовился соединить свою судьбу». *А. П. Маркова-Виноградская*, «Воспоминанія», 262.

[3]) *П. Бартеневъ*, Пушкинъ, II, 43.

[4]) Тамъ же, 44.

завоевать для Пушкина поклонниковъ. «Какъ я люблю, чтобы васъ любили!»—восклицаетъ она. Она умоляетъ поэта не объ отвѣтномъ чувствѣ, а хоть о крупинкѣ вниманія: «я буду въ восторгѣ при видѣ вашего почерка»—читаемъ мы въ ея письмѣ. Узнавъ о свадьбѣ поэта, она, и, безъ того, не избалованная надеждой, была сильно потрясена... И вотъ она прощается съ поэтомъ, выражаетъ опасенія, что проза жизни захватитъ его теперь совсѣмъ: «совершенное благополучіе—положительное, безпрерывное и со временемъ довольно однообразное — убиваетъ способности, располагаетъ къ разжиренію»—пишетъ она. Затѣмъ она предлагаетъ свою дружбу: «и прежде, и послѣ вы всегда найдете во мнѣ и для васъ, и для жены вашей, и для дѣтей—друга непоколебимаго, какъ скала, о которую все разбивается. Разсчитывайте на это по жизнь и смерть. Располагайте мною на все и безъ разбора! Я создана природою, чтобы на все рѣшаться для другихъ. Я — драгоцѣнное созданье для моихъ друзей. Мнѣ ничего не стоитъ; я хожу говорить съ важными лицами, и ничто не можетъ лишить меня бодрости; на тѣло мое не дѣйствуетъ утомленіе сердца». «Когда я утолю мою любовь къ вамъ въ слезахъ моихъ, я все-таки останусь тѣмъ же существомъ, страстнымъ, смирнымъ и безобиднымъ, которое за васъ готово идти и въ ледъ, потому что такъ я люблю!—и тѣхъ, которыхъ я люблю, немного!» [1]).

Эта любовь разгорѣлась какъ разъ во время увлеченія Пушкина Н. Н. Гончаровой. Немудрено, что

---

[1]) Тамъ же, 47.

поэтъ, весь охваченный своей страстью, слишкомъ мало вниманія удѣлилъ этой трогательной, но запоздалой любви. Увы, она даже предстала ему, прежде всего, съ комической стороны! [1]).

Впрочемъ, мелькомъ въ письмахъ Пушкина проглядываетъ и теплое сердечное участіе къ этой несчастной женщинѣ [2])...

Съ ноября Пушкинъ жилъ въ Петербургѣ, и лишь на короткое время пріѣзжалъ въ Москву. Въ Петербургѣ онъ, между прочимъ, одно время очень интересовался журналомъ Дельвига: «Литературная Газета»... Скоро, однако, прежнее чувство тоски овладѣло имъ. 7-го января 1830 года онъ просилъ разрѣшенія ѣхать за границу, или примкнуть къ миссіи, которая отправлялась въ Китай [3]). Ни того, ни другого ему не было разрѣшено...

Весной Пушкинъ возобновилъ сватовство, и въ мартѣ 1830 года онъ сталъ женихомъ. Объявляя

---

[1]) Вяземскому онъ писалъ: «если ты можешь влюбить въ себя Елизу, то сдѣлай мнѣ эту божескую милость. Я сохранилъ свою цѣломудренность, оставя въ рукахъ ея не плащъ, а рубашку... Она преслѣдуетъ меня и здѣсь письмами и посылками. Избавь меня отъ Пентефріихи!». (Соч. VII, 218. «Письмо къ Вяземскому» въ мартѣ). Въ кругу друзей Пушкинъ называлъ ее «Лизой голенькой» за ея страсть оголять свои плечи (Русск. Арх. 1882, I, 238); ему же приписываютъ эпиграмму: «Лиза въ городѣ жила». (Соч. VII, 244).

[2]) Соч. VII, 261, 361.

[3]) «Tandis que je ne suis encore ni marié, ni attaché au service, j'aurais désiré faire un voyage soit en France, soit en Italie. Cependant s'il ne me l'était pas accordé, je demanderais la grâce de visiter la Chine avec la mission, qui va s'y rendre» (Соч. VII, 215. «Письмо къ А. Х. Бенкендорфу»). Объ этомъ см. «Воспоминанія» *Л. Павлищева* 139—140. Въ творчествѣ Пушкина эта мечта путешествовать отразилась стихотвореніями: «Черновые наброски» (II, 24) и «Элегическій отрывокъ» (76).

объ этомъ Бенкендорфу, 16 апрѣля Пушкинъ, очевидно, подъ вліяніемъ тещи, пытается сгладить тѣ шероховатости, которыя существовали въ отношеніяхъ его къ правительству, — онъ называлъ свое положеніе: «fausse et douteuse». «Мать невѣсты, писалъ онъ Бенкендорфу, страшится выдать свою дочь за человѣка, который имѣетъ несчастье быть подъ гнѣвомъ Государя»,—поэтому онъ просилъ удостовѣренія, чтобы опала была съ него снята: «mon bonheur dépend d'un mot de bienveillance de Celui, pour lequel mon dévouement et ma reconnaisance sont déjà purs et sans bornes» [1]).

Въ началѣ этого года онъ опять испыталъ нѣсколько непріятностей отъ Бенкендорфа: 28 января 1830 года онъ, какъ всегда, прикрываясь именемъ государя, сдѣлалъ выговоръ Пушкину за то, что онъ на балу у французскаго посла былъ во фракѣ, а не въ дворянскомъ мундирѣ [2]); 17 марта, узнавъ объ отъѣздѣ поэта въ Москву, «безъ разрѣшенія», онъ обратился къ нему стереотипной фразой: «какія причины могли васъ заставить измѣнить данному мнѣ слову? Мнѣ весьма пріятно будетъ, если причины, васъ побудившія къ сему поступку, будутъ довольно уважительны, чтобы извинить оный, но я вмѣняю себѣ въ обязанность васъ предувѣдомить, что всѣ непріятности, коимъ вы можете подвергнуться, должны быть Вами приписаны собственному Вашему поведенію» [3]).

---

[1]) Дѣла III Отд., 112.
[2]) Тамъ же, 101.
[3]) Тамъ же, 104.

По поводу этого Пушкинъ 21 марта пространно объяснялъ Бенкендорфу, что, получивъ въ 1826 году разрѣшеніе жить въ Москвѣ и дозволеніе пріѣхать въ Петербургъ, онъ пользовался этими разрѣшеніями неоднократно, никогда не испрашивая предварительнаго на то дозволенія и раньше не получая за это никакого замѣчанія. Далѣе Пушкинъ напоминалъ Бенкендорфу, что «имѣлъ счастье», встрѣтившись съ нимъ «на гуляньи», лично говорить ему о своемъ намѣреніи ѣхать въ Москву и даже по этому поводу удостоился услышать отъ него милостивую остроту: «vous êtes toujours sur les grands chemins» [1]). Не довольствуясь этимъ оффиціальнымъ письмомъ, онъ прислалъ другое на французскомъ языкѣ, въ которомъ не скрылъ своего волненія. Онъ говорилъ, что полученный выговоръ принесъ ему «истинное горе». Онъ жаловался, что его безукоризненное поведеніе въ теченіе четырехъ лѣтъ не доставило ему довѣрія властей «Je vois avec peine, писалъ онъ, que la moindre de mes démarches éveille le soupçon et la malveillance. Pardonnez moi, mon général, la liberté de mes doléances, mais, au nom du ciel, daignez entrer un instant dans ma position et voyez combien elle est embarrassante. Elle est si précaire, que je me vois à tout moment à la veille d'un malheur que je ne puis ni prévoir, ni éviter! Si jusqu'à présent je n'ai pas essuyé quelques dîsgrâces, je le dois non à la reconnaissance de mes droits, de mon devoir, mais uniquement à votre bienveillance personnelle. Mais que demain vous ne soyez plus ministre—après-demain je suis coffré» [2]).

---

[1]) Тамъ же, 108.

[2]) Тамъ же 109. Л. Павлищевъ считаетъ, что подобныя письма

Далѣе онъ просилъ Бенкендорфа не вѣрить наговорамъ Булгарина, который, какъ упоминалъ въ письмѣ Пушкинъ, по слухамъ, игралъ нѣкоторую роль у графа. Булгарина Пушкинъ называлъ его своимъ «личнымъ врагомъ», и, въ заключеніе, просилъ разрѣшенія съѣздить въ Полтаву къ Раевскому [1]). Вопль Пушкина не достигъ цѣли: на его письмѣ Бенкендорфъ собственноручно написалъ жесткую резолюцію: «lui répondre que jamais Boulgarine ne m'a parlé de lui, pour la bonne raison que je ne le vois que 2 ou 3 fois par an et cela pour le gronder et un fois pour l'envoyer au corps de garde; que sa position à lui, Pouchkine, n'est pas du tout précaire, mais que son dernier départ très précipité pour Moscou a dû éveiller le soupçon» [2]). Въ этомъ смыслѣ былъ составленъ отвѣтъ Пушкину 3-го апрѣля 1830 года. Въ этомъ же письмѣ было сказано, что государь, недовольный поведеніемъ Раевскаго [3]), поѣздку въ Полтаву поэту

(ихъ нѣсколько) Пушкина къ его заклятому врагу были «злой ироніей». «Никакой доброты и покровительства Бенкендорфъ Пушкину не оказывалъ, а относился къ нему діаметрально-противоположно. Александръ же Сергѣевичъ, писавшій Бенкендорфу впослѣдствіи, что «поручая себя мощному покровительству, приноситъ ему дань своего глубокаго уваженія», говорилъ всѣмъ и каждому, à qui voulait entendre, что онъ къ Бенкендорфу никакого уваженія не чувствовалъ» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 357). Конечно, Пушкинъ зналъ, что такіе отзывы, равно какъ и другія его колкости и остроты, всегда полностью доходили до Бенкендорфа.

[1]) Пушкинъ имѣлъ мужество въ минуты самаго своего удрученнаго состоянія обратиться къ Бенкендорфу, съ просьбой помочь семьѣ Раевскихъ, которая послѣ декабрьскаго событія была совершенно разгромлена правительственными карами (Соч. VII, 216). Подобныя же тревожныя настроенія не помѣшали ему раньше просить Жуковскаго за сироту Софіаносъ (VII, 93, 96). [2]) Дѣла III отд. 109. [3]) Тамъ же, 111.

не разрѣшаетъ. При этомъ Бенкендорфъ присовокупилъ, что государь, съ удовольствіемъ узнавъ о рѣшеніи поэта жениться, поручилъ увѣрить родныхъ невѣсты, что онъ находится «не подъ гнѣвомъ, но подъ отеческимъ попеченіемъ Его Величества»; что онъ довѣренъ Бенкендорфу, не какъ шефу жандармовъ, но какъ человѣку, въ которомъ найдетъ себѣ друга и покровителя, который убережетъ его своими совѣтами и руководитъ имъ къ его пользѣ» [1]). Письмо свое Бенкендорфъ разрѣшилъ показать всѣмъ, кому считалъ нужнымъ Пушкинъ. Но это письмо начиналось съ такихъ злыхъ строкъ, что, едва ли, Пушкинъ рискнулъ такое письмо показать родственникамъ невѣсты: «Sa Majesté Impériale, ayant la nouvelle du mariage, que Vous allez contracter, a daigné observer à cette occasion qu'Elle se plaît à croire que Vous Vous êtes certainement bien examiné Vous-même avant de faire ce pas, et que Vous Vous êtes trouvé les qualités de coeur et de caractère necéssaires pour faire le bonheur d'une femme et surtout d'une femme aussi aimable et aussi interéssante que l'est Mademoiselle Gontcharoff» [2]).

Такимъ холоднымъ недовѣріемъ привѣтствовали «власти» извѣстіе о помолвкѣ поэта.

Мало радости доставило ему и отношеніе родителей къ перемѣнѣ его участи,—отецъ написалъ ему патетическое письмо на французскомъ діалектѣ,—письмо, въ которомъ не найти ни искры истинной любви и

---

[1]) Тамъ же, 114.
[2]) Тамъ же.

радости, но за то много вычурнаго паѳоса. «Beni soit mille et mille fois le jour d'hier, mon cher Alexandre, pour la lettre, que nous avons reçue de toi! Elle m'a penetrée de joie et de réconnaissance! oui, mon ami!—c'est le mot. Dépuis longtemps j'avais oublié la douceur des larmes, que j'ai versées en la lisant» и т. д. Друзья радовались счастью Пушкина искреннѣе,—всѣ видѣли, какъ томила его одинокая жизнь, но не всѣ, вѣроятно, одобряли выборъ поэта: вѣроятно, многіе понимали, что холодная, спокойная, ничѣмъ не выразившая себя красавица-Гончарова была совсѣмъ не пара подвижному, пылкому поэту. Быть можетъ, эти сомнѣнія друзей замѣчались поэтомъ и его мучили.

Немудрено, что теперь, когда давнишняя мечта почти осуществилась, счастье было почти достигнуто,—тревожныя мысли, съ новой силой закрадываются въ душу поэта. Къ тому же его новое благополучіе было омрачено рядомъ хлопотъ по устройству финансоваго обезпеченія его будущаго гнѣзда [1]). Это было нелегко, такъ какъ печатанье его произведеній было очень затруднено. Лишь въ концѣ 1830 года была,

---

[1]) Въ письмѣ къ будущей тещѣ онъ писалъ слѣдующее: «Je ne souffrirai pour rien au monde que ma femme connût des privations, qu'elle ne fût pas là où elle est appelée—à briller, à s'amuser. Elle a le droit de l'éxiger. Pour la satisfaire, je suis prêt à lui sacrifier tous les goûts, toutes les passions de ma vie, une éxistance toute libre et toute aventureuse...» (VII, 222). О финансовыхъ хлопотахъ онъ говоритъ въ письмахъ неразъ (VII, 226—8, 233, 234, 236, 237, 252, 256, 259). Со стороны женихиной родни денежной поддержки поэтъ не получилъ никакой—онъ самъ еще передъ свадьбой ссудилъ деньгами тещу. Въ одномъ письмѣ онъ остритъ по этому поводу: «Сегодня отъ своей невѣсты получилъ я премиленькое письмо: обѣщ[illegible]ыйти за меня замужъ и безъ приданаго,—приданое не уйдетъ!» (Соч. VII, 236).

наконецъ, допущена къ печати безъ всякихъ измѣненій, безъ «передѣлокъ въ романъ» [1]), драма «Борисъ Годуновъ», четыре года лежавшая подъ спудомъ,—Пушкинъ благодарилъ за «милость [2]), при чемъ поневолѣ всегда кривилъ душой...

Отецъ выдѣлилъ ему свое полуразоренное нижегородское имѣніе Болдино. Поэтъ поѣхалъ туда, чтобы привести въ порядокъ имѣніе и заложить его въ Опекунскомъ Совѣтѣ. Холерные карантины задержали его въ деревнѣ, и онъ былъ принужденъ провести здѣсь всю осень [3]). Въ исторіи его творчества эти три мѣсяца были ознаменованы необычайною производительностью, никогда больше не повторявшейся въ его жизни,—имъ были написаны въ Болдинѣ «Скупой Рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Каменный гость», «Пиръ во время чумы», «Повѣсти Бѣлкина», «Лѣтопись села Горохина», «Домикъ въ Коломнѣ», «Моя родословная», «Родословная Пушки-

---

[1]) Видя *упорное* нежеланіе Пушкина передѣлать свою драму въ «романъ», Бенкендорфъ хотѣлъ, было, по этому поводу создать Пушкину новое затрудненіе. Для этого онъ въ Высочайшемъ докладѣ повторилъ старую резолюцію государя о желательности передѣлать драму въ романъ и заявилъ, что Пушкинъ, вторично прося о разрѣшеніи напечатать свое произведеніе, оставляетъ его «драматическимъ» (Дѣла III отд. 93).

[2]) «Писанный въ минувшее царствованіе «Борисъ Годуновъ» обязанъ своимъ появленіемъ не только частному покровительству, которымъ удостоилъ меня Государь, но и свободѣ, смѣло дарованной Монархомъ русскимъ писателямъ въ такое время и въ такихъ обстоятельствахъ, когда всякое другое правительство старалось бы стѣснять и сковать книгопечатаніе» «Письмо къ Бенкендорфу» отъ 18 янв. 1831 г. (Дѣла III отд. 119).

[3]) О холерѣ 1830 г. см. у *Л. Павлищева* (op. cit. 230—2). Хотя поэтъ и подшучивалъ надъ [illegible]ерой, но, по словамъ племянника, очень ея побаивался (тамъ же, 234).

ныхъ и Ганнибаловъ», 8-ая и 9-ая главы «Онѣгина». Изъ длиннаго ряда лирическихъ произведеній этого времени слѣдуетъ назвать элегію: «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье», «Мадонна», «Бѣсы», «Осень», «Шалость»... Лишь въ декабрѣ Пушкинъ вернулся въ Москву и опять погрузился въ хлопоты по устройству своей будущей семейной жизни: съ трудомъ достигнутое счастье упорно поворачивалось къ нему своей прозаической стороной. Къ этому присоединились и другія непріятности,—такъ, онъ находился еще подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ смерти добрѣйшаго дядюшки Василія Львовича (20 августа 1830 г.) [1]). Въ безалаберномъ семействѣ Пушкиныхъ онъ былъ «ангеломъ-миротворцемъ» [2]).

18-го января 1831 года Пушкинъ получилъ извѣстіе о смерти Дельвига, — это былъ новый тяжелый ударъ для поэта: въ его лицѣ поэтъ потерялъ друга дѣтства и юности; «изъ всѣхъ друзей дѣтства, писалъ поэтъ Плетневу 21 января, онъ одинъ оставался на виду; около него собиралась наша бѣдная кучка,—безъ него мы точно осиротѣли!» [3]). Все это усиливало тяжелое состояніе его души. Къ тому же и свадьба его все откладывалась, одно время она даже близка была

---

[1]) Соч. VII, 233, 236, 237.

[2]) *Л. Павлищевъ.* op. cit. 225.

[3]) Соч. VII, 258 «Письмо къ Плетневу отъ 21 янв. еще: 257. «Мать моя разсказывала, что братъ ея Александръ и Дельвигъ питали одинъ къ другому не только искреннюю дружбу и уваженіе, но и какую-то особенную прелестную дѣтскую нѣжность. Такъ, напримѣръ, при встрѣчѣ цѣловали другъ другу руки, о чемъ говорили мнѣ и покойные: лицейскій ихъ товарищъ Сергѣй Дмитріевичъ Комовскій и Анна Петровна Виноградская (бывшая Кернъ), которая приводитъ это и въ своихъ воспоминаніяхъ» (*Л. Павлищевъ*, op. cit., 239).

къ разрыву [1]). Пушкинъ успѣлъ всмотрѣться въ родню невѣсты; должно быть, и сама Наталья Николаевна, «чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ» [2]), ограниченностью и безсодержательностью своей души очень расхолодила поэта,—по крайней мѣрѣ, онъ находитъ одно письмо ея «безтемпераментнымъ» [3]), надъ другимъ слегка иронизируетъ [4]); по письмамъ его теперь нетрудно замѣтить, что предстоящій бракъ сталъ пугать его,—въ сердцѣ зашевелились укоры прошлаго, въ душѣ проснулись заснувшія воспоминанія... Иные женскіе образы, полустертые временемъ, стали оживать передъ нимъ; это мучило его [5])... Увлеченіе Гончаровой, отъ котораго у него еще недавно «закружилась голова», теперь потускнѣло,—взамѣнъ его наросло чувство приличія, мѣшавшее

---

[1]) Объ этомъ свидѣтельствуетъ, лучше всего, одно письмо его къ невѣстѣ: «я отправляюсь въ Нижній безъ увѣренности въ своей судьбѣ. Если ваша мать рѣшилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей,—я подпишусь подо всѣми мотивами, какіе ей будетъ угодно привести мнѣ, даже и въ томъ случаѣ, если они будутъ настолько основательны, какъ сцена, сдѣланная ею мнѣ вчера, и оскорбленія, которыми ей угодно было меня осыпать. Можетъ быть, она права—и я былъ неправъ, думая одну минуту, что я былъ созданъ для счастья. Во всякомъ случаѣ, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вамъ честное слово принадлежать только вамъ, или никогда не жениться!» (Соч. VII, 233, «Письмо Н. Н. Гончаровой, въ концѣ августа»). [2]) Соч. II, 96 «Мадонна». [3]) Тамъ же, VII, 243. [4]) Тамъ же, 231. [5]) Тамъ же, 221. Ярче всего эти муки выразились въ сильномъ стихотвореніи: «Воспоминаніе» (II, 37),—

«Воспоминаніе безмолвно предо мною
Свой длинный развиваетъ свитокъ,—
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю!
. . . . . .

прервать затѣянное дѣло... Теща своими безтактными выходками неразъ выводила его изъ себя, и онъ, повидимому, съ нѣкоторой затаенною радостью началъ заговаривать о разрывѣ [1]). Теперь, въ минуты раздумья, имъ стали овладѣвать «мрачныя» [2]), «черныя» [3]) мысли, онъ готовъ былъ думать о томъ, что будетъ несчастенъ, что «божественная», холодная Nathalie, навѣрно, его разлюбитъ, разобьетъ его сердце [4])... Немудрено, что онъ теперь сталъ называть себя «пренесчастнымъ животнымъ» [5]), — онъ «терялъ терпѣніе» [6]), «мужество» [7]), «увѣренность» [8]), — чувствовалъ себя «идіотомъ до святости» [9])... Онъ потерялъ вѣру въ счастье; себя онъ

И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые,
Двѣ тѣни милыя—два данные судьбой
Мнѣ ангела во дни былые,—
Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечомъ
И стерегутъ... и мстятъ мнѣ оба!».

Въ стихотвореніяхъ 1826—30 гг. онъ вспоминаетъ и Ризничъ (Соч. II, 1, 119), и гр. Воронцову (Соч. II, 9, 10), и Кернъ (Соч. II, 64).

[1]) Соч. VII, 233. «Наталья Ивановна часто принимала его далеко не радушно («elle me recevait bien souvent comme emblême de la fidélité dans un jeu de quilles»)—говорилъ Пушкинъ сестрѣ,—заводила съ нимъ ссоры ни за что, ни про что («des querelles d'allemand») и подъ разными пустяшными предлогами отложила тогда свадьбу до сентября, затѣмъ, какъ извѣстно, до февраля» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 214).

[2]) Соч. VII, 235

[3]) Тамъ же, 237.

[4]) Тамъ же, 237, 222.

[5]) Тамъ же, 240.

[6]) Тамъ же, 231.

[7]) Тамъ же, 239, 245.

[8]) Тамъ же, 233.

[9]) Тамъ же, 240.

рекомендуетъ: «athée de bonheur» [1])—и восклицаетъ: «чортъ меня догадалъ бредить о счастіи!» [2]) По его признанію, онъ теперь «бѣсится» [3]), готовъ повѣситься» [4]); если онъ и шутитъ, то шутки его теперь какія-то кислыя: «je ris jaune» [5])—пишетъ онъ въ одномъ письмѣ... Холера своими карантинами отрѣзала его отъ невѣсты; писемъ отъ нея онъ не получалъ, за то сплетни доходили до него въ исправности,—такъ его услужливый папаша поторопился его увѣдомить, что, судя по московскимъ слухамъ, свадьба его окончательно разстроилась [6])... Когда для поэта выяснилось, что, несмотря на начавшіяся размолвки, свадьба его все-таки устроится, онъ покорился своей участи, пересталъ говорить о разрывѣ и принялся увѣрять всѣхъ и, кажется, особенно самого себя въ томъ, что смотритъ впередъ спокойно, безъ страха, безъ обольщеній... «Жизнь жениха тридцатилѣтняго хуже «30-ти лѣтъ жизни игрока», пишетъ онъ въ одномъ письмѣ—дѣла будущей тещи моей разстроены, свадьба моя отлагается день ото дня далѣе. Между тѣмъ, я хладѣю, думаю о заботахъ женатаго человѣка, о прелестяхъ холостой жизни... Словомъ, если я и не несчастливъ, по крайней мѣрѣ, не счастливъ» [7]). «Я поступаю, какъ люди, и, *вѣроятно* (!), не буду въ томъ раскаиваться. Къ тому же

---

[1]) Соч. VII, 238.
[2]) Тамъ же, 234.
[3]) Тамъ же, 239.
[4]) Тамъ же, 239, 242.
[5]) Тамъ же, 240.
[6]) Тамъ же, 242, 245.
[7]) Тамъ же, 234 «Письмо П. А. Плетневу отъ 31 августа». Долго скрывая не только отъ родителей, но даже отъ сестры, исторію своего

я женюсь безъ упоенія, безъ ребяческаго очарованія. Будущность является мнѣ не на розахъ, но въ строгой наготѣ своей. Горести не удивятъ меня,—онѣ входятъ въ мои домашніе разсчеты. Всякая радость будетъ мнѣ неожиданностью» [1]). Въ «Отрывкѣ» («Участь моя рѣшена») поэтъ выразилъ свое настроеніе въ такихъ скорбныхъ строкахъ: «я женюсь,—т. е., я жертвую независимостью, моей безпечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствіями безъ цѣли, уединеніемъ, непостоянствомъ... Итакъ, я удваиваю жизнь, и безъ того неполную, я

сватовства (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 203), онъ хотѣлъ утаить отъ близкихъ самыя мысли свои о женитьбѣ. Будучи почти женихомъ, онъ, въ разговорѣ съ сестрой, принципіально высказывался противъ женитьбы: «Жениться?—говорилъ онъ,—Боже сохрани и избави! Могу ли я, въ состояніи ли я—осчастливить женщину? Нѣтъ, нѣтъ, и нѣтъ—ни матеріально, ни нравственно. Если за меня бы и вышли, то, спрашивается, по какимъ причинамъ? По разсчету? На это скажу, что карманъ мой очень невеликъ. Изъ-за моей литературной извѣстности, ну, положимъ даже, литературной славы? И на это, опять-таки, скажу, что русскія барышни и вдовушки ставятъ не только стихи, но и прозу, ни въ грошъ, а требуютъ состоянія, или, по крайней мѣрѣ, такой служебной карьеры, которая приносила бы прочныя, вещественныя выгоды, а не супъ изъ незабудокъ. Наконецъ, статься можетъ, изъ-за моей наружности? (Тутъ дядя, какъ говорила мнѣ мать, засмѣялся непріятнымъ, принужденнымъ смѣхомъ: (il se mit à rire, mais d'un rire desagréable et forcé), но стоитъ мнѣ подойти къ зеркалу,—прибавилъ онъ по-русски,—самъ увижу, чего стою... Наконецъ, положимъ, найдется несчастная и выйдетъ за меня (Enfin mettons: il se trouverait une malheureuse, qui m'épousera). Но что же я, я-то ей принесу?—А вотъ что: сердце, состарѣвшееся не по лѣтамъ, сердце, какъ нельзя болѣе увядшее (un coeur suranné, un coeur on ne peut plus fâné), испытавшее много, слишкомъ много» (тамъ же, 140—2, еще на стр. 159). Въ другой разъ онъ сказалъ сестрѣ, что, какъ огня, боится женитьбы, такъ какъ въ роду Пушкиныхъ и Ганнибаловъ браки не были счастливы (тамъ же, 200—1).

[1]) Соч. VII, 260—1 «Письмо къ Н. И. Кривцову отъ 10 февр.».

стану думать: «мы». Счастье есть цѣль жизни, но я никогда не хлопоталъ о счастьи,—я могъ обойтись и безъ него. Теперь мнѣ нужно его на двоихъ, а гдѣ мнѣ взять его?... Я—женихъ. Итакъ, это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня это — новость домашняя, завтра—площадная. Такъ поэма, обдуманная въ уединеніи, въ лѣтнія ночи, при свѣтѣ луны, печатается въ сальной типографіи, продается потомъ въ книжной лавкѣ и разбирается въ журналахъ дураками... Всѣ радуются моему счастью, всѣ поздравляютъ, всѣ полюбили меня... Всякій предлагаетъ мнѣ свои услуги,—кто свой домъ, кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ шалями. Молодые люди начинаютъ со мною чиниться, обхожденіе молодыхъ дѣвицъ сдѣлалось проще. Дамы въ глаза хвалятъ мой выборъ, а заочно жалѣютъ о *бѣдной* моей невѣстѣ: «бѣдная! она такъ молода, такъ невинна, а онъ такой вѣтренный, такой безнравственный!» Признаюсь, это начинаетъ мнѣ надоѣдать...» [1]). Подъ перекрестнымъ огнемъ сплетенъ, пересудовъ, размолвокъ и разочарованій Пушкинъ сталъ укорачивать и сужать идеалы своего семейнаго счастья,—онъ говоритъ теперь о томъ, что хочетъ только тихаго, мѣщанскаго счастья въ тиши, вдали отъ родныхъ и толпы, безъ расходовъ и волненій [2]).

18-го февраля 1831 года въ Москвѣ, на Никитской, въ церкви Стараго Вознесенья, состоялось бракосо-

---

[1]) Соч. IV, 245—6. Отрывокъ «Участь моя рѣшена»... Хотя этому отрывку Пушкинъ далъ подзаголовокъ: «съ французскаго», но это явная маскировка автобіографіи.

[2]) Соч. VII, 256, 261.

четаніе Пушкина [1]). Новыя цѣпи легли на его свободолюбивую душу.

Періодъ времени отъ 1826 по 1831 г. въ жизни Пушкина былъ очень тяжелымъ,—всевозможныя непріятности обрушились на его голову: его мечты о примиреніи съ правительствомъ не осуществились, рѣшимость устроить свое семейное счастье принесла на первыхъ порахъ тяжелыя обиды его самолюбію,—немудрено, что и въ письмахъ его, и въ его стихахъ за эти годы звучитъ самая ѣдкая горесть. Но въ немъ былъ живъ прежній Пушкинъ, котораго спасалъ жизнерадостный характеръ, спасала способность послѣ горькихъ слезъ залиться беззаботнымъ смѣхомъ [2]), способность размыкать свое горе въ шуткѣ [3]), свою обиду — въ чистосердечномъ прощеніи. Онъ, такъ

---

[1]) На суевѣрнаго Пушкина должны были сильное впечатлѣніе произвести непріятныя случайности во время бракосочетанія, которыя онъ счелъ дурными примѣтами (*Л. Павлищевъ*. op. cit. 118, 241).

[2]) Объ этой способности Пушкина быстро переходить отъ грусти къ самой шумной радости свидѣтельствуетъ и г. Павлищевъ: «переходы отъ порывовъ благодѣтельнаго веселья къ припадкамъ подавляющей грусти происходили у моего дяди-поэта внезапно, какъ бы безъ промежутка...» Сестра поэта говоритъ, что онъ «могъ разражаться и гомерическимъ смѣхомъ, и горькими слезами, когда ему вздумается по ходу своего воображенія... Стоило только ему углубиться въ посѣщавшія его мысли. Неразъ онъ то смѣялся, то плакалъ, когда олицетворялъ ихъ въ стихахъ» (*Л. Павлищевъ*, op. cit., 155). Шутки друзей «заставляли его хохотать до упаду», трогательный разсказъ «вызывалъ въ братѣ если не рыданія, то обильныя слезы. Самъ онъ тогда былъ «весь страданіе» («alors mon frère était la souffrance même»). Весною, когда «его волновала желчь»—онъ былъ всегда особенно-раздражителенъ. О гомерическомъ беззаботно-дѣтскомъ хохотѣ его неразъ говоритъ и А. Смирнова въ своихъ «запискахъ» (I. 33, 47, 82, 49—50).

[3]) Онъ самыя грустныя письма пересыпаетъ остротами. Напр., «правда ли, что Баратынскій женится? Боюсь за его умъ. Законная

много испытавшій, видѣвшій, что лучшія его мечты разлетаются, а желанной свободы для развитія его дѣятельности нѣтъ попрежнему,—онъ находилъ себѣ всегда довольно силы, чтобы съ теплымъ ободряющимъ словомъ пойти навстрѣчу своему унывающему другу: Вяземскому онъ писалъ 24 мая 1826 года: «судьба не перестаетъ съ тобою проказить?.. Не сердись на нее,—не вѣдаетъ бо, что творитъ. Представь себѣ ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадитъ ее на цѣпь? Ни ты, ни я, никто. Дѣлать нечего, такъ и говорить нечего!..» [1]) С. А. Соболевскому 15 іюля 1828 года онъ писалъ: «Вечоръ узналъ я о твоемъ горѣ и получилъ твои два письма. Что тебѣ скажу? Про старыя дрожжи не говорятъ трожды; не радуйся, нашедъ, не плачь, потерявъ; перенеси мужественно перемѣну судьбы твоей,—то есть, по одежкѣ тяни ножки, все перемелется—будетъ мука! Ты видишь, что, кромѣ пословицъ, ни-

---

жена—родъ теплой шапки съ ушами. Голова вся въ нее уходитъ» (Соч. VII, 180, еще: 224, 236, 237, 238, 241, 247). Въ одномъ письмѣ, написанномъ во время холеры, онъ остритъ такъ: «скажи Нащокину, чтобъ онъ непремѣнно былъ живъ, во-первыхъ, потому что *онъ* мнѣ долженъ, во-вторыхъ, потому, что *я* надѣюсь быть ему долженъ; въ-третьихъ, что, если онъ умретъ, не съ кѣмъ мнѣ будетъ въ Москвѣ молвить слова живого». (Соч. VII, 247). По поводу стиховъ Глинки, въ которыхъ встрѣчаются такія слова: «Богъ дастъ дѣтей?.. Ну что жъ?.. Пусть *О* (т. е. Богъ) намъ будетъ кумъ!»—Пушкинъ такъ остритъ: «Кого вздумали просить къ себѣ въ кумовья! Вообрази, въ какое положеніе приведетъ онъ и священника, и дьячка, и бабку, да и самого кума, котораго заставятъ же отрекаться отъ дьявола, плевать, дуть, сочетаться и прочія творить продѣлки. Нащокинъ увѣряетъ, что всѣхъ избаловалъ покойный царь, который у всѣхъ крестилъ ребятъ! Я до сихъ поръ отъ дерзости Глинкиной опомниться не могу!» (Соч. VII, 255).

[1]) Соч. VII, 180. «Письмо кн. П. А. Вяземскому» отъ 24 мая.

чего путнаго тебѣ сказать не сумѣю!» [1]). Правда, всѣ эти утѣшенія довольно безотрадны, — они говорятъ только о необходимости подчиняться обстоятельствамъ, примиряться съ ними, но, какъ бы тамъ ни было, въ нихъ звучитъ искреннее сочувствіе къ страдающимъ, теплое желаніе помочь имъ шуткой, или ласковымъ словомъ. Это «сочувствіе къ людямъ» въ трудную минуту ихъ существованія—характерная черта Пушкина. Еще съ лицейской скамейки онъ постоянно являлся въ роли ходатая за людей, нуждающихся въ поддержкѣ, — и теперь, находясь въ тискахъ графа Бенкендорфа, онъ, тѣмъ не менѣе, настойчиво безпокоитъ своего суроваго «аргуса» просьбами помочь вдовѣ генерала Раевскаго, у которой 14 декабря отняло и семью, и средства къ существованію... Необыкновенная тонкость его духовной организаціи сказывается въ одномъ замѣчаніи, очень глубокомъ: «nous sympathisons avec les malheureux par une espèce d'égoisme; nous voyons que dans le fond nous ne sommes pas les seuls. Sympathiser avec le bonheur—suppose une âme bien noble et bien desintéressée» [2]). Такими качествами душевнаго благородства и безкорыстнаго доброжелательства онъ былъ одаренъ съ избыткомъ,—оттого онъ всегда такъ радуется чужому счастью и такъ нѣжно, даже стыдливо, утѣшаетъ несчастливцевъ...

Въ письмахъ и стихотвореніяхъ этой поры отразились цѣликомъ эти возвышенныя чувства, свидѣтельствующія о всепрощающей, любящей душѣ поэта,

---

[1]) Соч. VII, 203. «Письмо къ С. А. Соболевскому» отъ 15 іюля.
[2]) Соч. VII, 238.

незнавшаго злобы и ненависти [1]). Всегда онъ готовъ былъ искренно прощать и обиды, и оскорбленія, направленныя лично противъ него. Когда имъ овладѣвала вѣра въ человѣка, онъ всегда говорилъ съ нимъ «языкомъ сердца», слагалъ въ честь любимца только «свободныя хвалы»... Такъ, по его словамъ, онъ «просто полюбилъ» [2]) императора Николая,—очевидно, многія провинности самого государя слагая на гр. Бенкендорфа и на другихъ его приближенныхъ [3]). Впрочемъ, это «увлеченіе» импера-

[1]) Пушкинъ говорилъ: «злы только дураки». Самъ онъ допускалъ себѣ только «вспышки» злости и то, чаще всего, лишь «на словахъ»; за этими вспышками, обыкновенно, слѣдовали приступы раскаянья... Однажды, разсказываетъ Кернъ, когда онъ мнѣ сказалъ какую-то злую фразу, и я ему замѣтила: «Ce n'est pas bien de s'attaquer à une personne aussi inoffensive»—обезоруженный моею фразою, онъ искренно началъ извиняться. Въ поступкахъ онъ всегда былъ добръ и великодушенъ». (*А. П. Маркова-Виноградская* «Воспоминанія» *Л. Майкова*, op. cit., 254).

[2]) Соч. II, 29. «Даже въ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ онъ радуется, когда представляется предлогъ восторгаться императоромъ: «Каковъ Государь! Молодецъ! Того и гляди, что нашихъ каторжниковъ проститъ! Дай Богъ ему здоровья!». (VII, 244 еще: VII, 217, 218).

[3]) Такая точка зрѣнія была усвоена Пушкинымъ, отчасти подъ вліяніемъ самого императора, который умѣлъ его чаровать своимъ обращеніемъ съ нимъ,—отчасти подъ вліяніемъ ближайшихъ друзей,—Смирновой, Жуковскаго, которые боготворили Николая I. Смирнова сохранила въ своихъ «Запискахъ» рядъ анекдотовъ, рисующихъ «отеческое» отношеніе императора къ поэту: то онъ добродушно совѣтуетъ Пушкину жить потише—«не задирать людей» (op. cit., 57), то, въ личной бесѣдѣ съ поэтомъ, онъ бросалъ такія многозначительныя фразы: «я знаю, что у тебя намѣренія хорошія, но у тебя есть недоброжелатели» (тамъ же, 73); то онъ объясняется въ любви къ поэту: «я убѣжденъ, что ты любишь и уважаешь меня; и это взаимно. Мы понимаемъ другъ друга, а понимаютъ люди только тѣхъ, кого любятъ» (тамъ же, 179). Такъ старательно подчеркиваетъ Смирнова благожелательное отношеніе государя къ Пушкину. Она сообщаетъ намъ, что государь защищалъ поэта отъ Бенкендорфа публично и выразилъ однажды удивленіе, что

торомъ—лишь одинъ незначительный эпизодъ изъ той удивительной симфоніи любви ко всему міру, которая порой звучала въ его душѣ величественными аккордами. Въ коротенькомъ стихотвореніи «19 октября 1827 года» онъ сумѣлъ раскрыть всю необъятную ширь своей любящей души. «Богъ помочь вамъ!»,—шлетъ онъ пожеланія друзьямъ.—

«Въ заботахъ жизни, царской службы,
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помочь вамъ! друзья мои,
И въ бурях, и въ житейскомъ горѣ,
Въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли! [1]).

Этотъ бодрый призывъ къ жизни есть, въ сущности, полное и широкое оправданіе *всей* человѣческой жизни, во всѣхъ ея проявленіяхъ!.. Вотъ почему, въ минуты такихъ возвышенныхъ настроеній, въ минуты примиренія со всѣмъ міромъ, готовъ онъ послать привѣтъ императору Николаю и,—въ то-же время, въ Сибирь, къ друзьямъ, томящимся въ рудникахъ [2])... Вездѣ жизнь, вездѣ любовь, вездѣ правда... Въ его знаменитыхъ «Стансахъ» [3]) («Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ...») выражено это же примиреніе съ жизнью,—оно сказалось въ томъ безоблач-

---

поэту мѣшаютъ читать свои стихи друзьямъ: «я его единственный цензоръ!» — прибавилъ онъ. Теперь, когда напечатаны Дѣла III Отд., мы знаемъ, что на самомъ дѣлѣ цензоромъ былъ какой-то анонимъ, а государь только подтверждалъ чужія мнѣнія. Всѣ шероховатости въ отношеніяхъ поэта съ правительствомъ родственники Пушкина, да и онъ самъ, объясняли недоброжелательствомъ одного Бенкендорфа (*Л. Павлищевъ*, op. cit., 280, 305, 332 и др.).

[1]) Соч. II, 22-3. [2]) Соч. II, 7, «Ив. Ив. Пущину»; 11, «Посланіе въ Сибирь». [3]) Соч. II, 77-8.

но-ясномъ взорѣ, съ которымъ онъ смотрѣлъ въ глаза смерти: онъ готовъ идти ей навстрѣчу, потому что таковъ круговоротъ человѣческой жизни, потому что «правъ судьбы законъ! Все—благо...» Старость сходитъ «подъ вѣчны своды», юность расцвѣтаетъ ей на смѣну... Съ трогательной любовью смотритъ поэтъ на эту юность, которая смѣнитъ его и хочется ему, чтобы «у его гробового входа» «играла» эта молодая жизнь... Нѣтъ мѣста зависти [1]), или эгоизму въ этомъ свѣтозарномъ міросозерцаніи! Стихотвореніе: «Я васъ любилъ» воодушевлено такимъ же сознаніемъ свободы отъ тяжелаго гнета эгоистическихъ чувствъ,—любимую женщину онъ провожаетъ въ жизнь пожеланіемъ, чтобы тамъ она встрѣтила любовь, равную его любви... «Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно, какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ!» [2])—говоритъ онъ. Такъ же чисто и возвышенно его чувство «дружбы». Г. Ивановъ совершенно справедливо говоритъ, что «рѣдкій человѣкъ способенъ на такой альтруизмъ, рѣдкій поэтъ умѣлъ говорить о дружбѣ такъ сердечно, съ такою трогательною нѣжностью и художественною красою... Сколько непосредственной любви и поэтической прелести въ каждомъ словѣ, въ самомъ выборѣ выраженій:

«Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, приникъ ласкающей главой...

«Пушкинъ говоритъ о друзьяхъ, какъ о великой радости своей жизни,—о дружбѣ, какъ о голодѣ своей

[1]) «Какъ онъ счастливъ встрѣтить другого человѣка, отмѣченнаго той-же чудной силой! Онъ совершенно чуждъ зависти и ревности—весь блещетъ радостью и благоволеніемъ, встрѣчая родную себѣ душу!» (*Ив. Ивановъ*, op. cit., 119). [2]) Соч. II, 63.

души» [1]). Много испытаній вынесъ онъ изъ жизни и съ полнымъ правомъ могъ сказать: «мой путь унылъ» [2]), но онъ не обольщался и насчетъ будущаго, и потому къ этому восклицанію прибавляетъ другое: «сулитъ мнѣ трудъ и горе грядущаго волнуемое море!».. Но это сознаніе не лишило его бодрости духа,—въ этой жизни онъ увидѣлъ смыслъ: «но не хочу, о други, умирать! восклицаетъ онъ,—я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!» [3]). Онъ видѣлъ, что жизнь—сплетеніе горестей и радостей, и все-таки готовъ былъ идти ей навстрѣчу. Такимъ образомъ, теперь жизни онъ уже не идеализировалъ, теперь смотрѣлъ на нее трезво и полюбилъ ее за *все*,—«за радость и за страданія»... Какъ всегда отзывчивый на ласковое слово, теперь, послѣ житейскихъ столкновеній съ людской пошлостью и злобой, поэтъ особенно былъ чувствителенъ ко всякой ласкѣ [4]). Вотъ почему старушку-няню, много любви положившую къ его ногамъ, онъ, ея великій питомецъ, теперь окружаетъ какимъ-то неземнымъ благоговѣніемъ [5]). Съ теплымъ чувствомъ признательности отозвался онъ и на стихотворное посланіе московскаго митрополита Филарета... Еще трогательнѣе «Отвѣтъ анониму», который прислалъ поэту

---

[1]) *Ив. Ивановъ*, op. cit. 23.

[2]) Соч. II, 101. «Элегія».

[3]) Тамъ же.

[4]) «Онъ не могъ только сочувствовать, благоволить,—онъ непремѣнно увлекался, открывалъ въ человѣкѣ бездну достоинствъ, прощалъ ему недостатки, готовъ былъ поступиться своимъ самолюбіемъ, отдать въ распоряженіе человѣка всѣ сокровища своего ума и таланта. (*И. Ивановъ*, op. cit., 25).

[5]) Соч. II, 26. «Къ нянѣ».

стихотворное пожеланіе счастья по поводу его помолвки. На это пожеланіе поэтъ отвѣтилъ благодарностью «души умиленной» [1]), но съ грустью признался, что къ такому доброму отношенію онъ не привыкъ, что самый языкъ доброжелательства ему и необыченъ, и «страненъ» [2]). Онъ не ждетъ участія у свѣта, такъ какъ «холодная толпа взираетъ на поэта» только, «какъ на заѣзжаго фигляра»; съ горечью жалуется онъ на то, что всякій тяжкій стонъ сердца, воплощенный въ стихъ, принимается толпой, какъ актерская выходка,—

«Она въ ладони бьетъ и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой».

Поэта возмущала и эта безчеловѣчность, и этотъ эгоизмъ:

«Постигнетъ ли пѣвца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье—
«Тѣмъ лучше, говорятъ любители искусствъ.—
«Тѣмъ лучше,—наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
И намъ ихъ передастъ».

Мы видѣли уже, что вопросъ о взаимоотношеніи «толпы» и «художника» занималъ поэта еще съ лицея и тогда еще чувствовалъ онъ въ толпѣ свое одиночество и свое превосходство надъ нею. Иногда это сознаніе обострялось до боли и въ такіе моменты слагались произведенія, въ которыхъ поэтъ противополагалъ себя «черни». Но я говорилъ уже, что всѣ эти произведенія вовсе не представляютъ собою опредѣленнаго, законченнаго «profession de foi», выражающаго взгляды Пушкина на «поэзію»,—это не проповѣдь спокойнаго, равнодушнаго «эстета»: это — болѣз-

[1]) Соч. II, 98. «Отвѣтъ Анониму».
[2]) Тамъ же.

ненный крикъ, вырванный изъ оскорбленнаго сердца горькой обидой. Подобными настроеніями въ періодъ отъ 1826—1831 г. проникнуты стихотворенія «Поэтъ» [1]) (1827 г.), «Чернь» [2]) (1828 г.), «Поэту» [3]) (1830 г.). Отъ этихъ произведеній вѣетъ горечью минутныхъ обидъ,—всѣ они чужды обычнаго основнаго міросозерцанія поэта и характерны для него, только какъ для человѣка, поддающагося впечатлѣніямъ «момента». Попытки объяснить всѣ эти произведенія исключительно вліяніемъ эстетическаго міросозерцанія молодыхъ писателей «Московскаго Вѣстника» [4]), подъ воздѣйствіемъ которыхъ, якобы, всецѣло находился тогда Пушкинъ, не выдерживаютъ критики; быть можетъ, невозмутимое «олимпійство» Гете и его послѣдователей и было предметомъ подражанія Пушкина, но лишь въ той мѣрѣ, что въ минуты взбудораженнаго самолюбія, это «олимпійство» подсказывало ему образы поэта, «полубога-жреца», и «черни»,— но дальше такого «формальнаго» подчиненія поэтъ не шелъ,—даже во всѣхъ этихъ произведеніяхъ онъ

---

[1]) Соч. II, 21.

[2]) Соч. II, 49.

[3]) Соч. II, 95.

[4]) «Надо тебѣ сказать, писалъ Боратынскій Пушкину, что московская молодежь помѣшалась на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это, или худо: я не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю новѣйшихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней подновлены откровенія Платоновы и, съ нѣкоторыми прибавленіями, приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкой эстетикой» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 335).—Въ Веневитиновскомъ кружкѣ «изучали Шеллинга, а на Гете смотрѣли, какъ на идеалъ поэта» (тамъ же).

никогда не могъ оставаться «олимпійцемъ», — напротивъ, изъ всѣхъ его твореній, эти стихи самые нервные, самые безпокойные и тревожные [1])... Кромѣ того, говоря объ этихъ стихахъ, всегда надо точнѣе опредѣлять, что̀ въ извѣстный моментъ понималъ Пушкинъ подъ словомъ «чернь». Понятіе это у него мѣнялось: въ лицейскихъ его произведеніяхъ онъ «чернью» называлъ всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣлялъ его эпикурейскихъ взглядовъ на жизнь, — кто изъ невѣжества, или тупости, или изъ чувства зависти, ставилъ преграды его свободной жизни. Теперь, когда онъ самъ призналъ себя «народнымъ» поэтомъ, онъ «чернью» именуетъ, конечно, не «народъ» вообще, а нѣчто другое, — великосвѣтскую знать, всегда вызывавшую съ его стороны желчныя выходки,—различныхъ Бенкендорфовъ, большихъ и малыхъ, которыми была богата тогдашняя Россія [2]),—

---

[1]) Сочувствіе Пушкина къ кружку Веневитинова основывалось на томъ, что они одинаково смотрѣли на поэзію, но источникъ ихъ убѣжденій былъ различнымъ: у Пушкина—жизнь, у Веневитинова—теорія (*Л. Майковъ*, op. cit. 334, 336, 351 и др.). Того же мнѣнія держится и Страховъ: «говорятъ, въ Москвѣ въ то время (въ половинѣ двадцатыхъ годовъ) начало распространяться нѣмецкое ученіе о великомъ значеніи поэтовъ и нѣкоторые приписываютъ вліянію этого ученія тогдашнія высокомѣрныя стихотворенія Пушкина. Кажется, однако же, они могутъ быть вполнѣ объяснены тѣмъ, что̀ совершалось тогда съ самимъ Пушкинымъ. Прямо изъ своей собственной жизни онъ вынесъ горькую необходимость уединиться отъ народа, такъ или иначе перенести его равнодушіе и остаться самимъ собою. (*Н. Страховъ*. «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ» Спб. 1888, стр. 8—9). Пушкинъ не только не подчинялся философскимъ увлеченіямъ кружка, но даже иногда «декламировалъ противъ философіи» (тамъ же, 338). Вопросъ пересмотрѣнъ *Н. А. Котляревскимъ* (op. cit., Ж. М. Н. пр. 1906, № 7).

[2]) Ср. стихи «Къ вельможѣ» (II, 91), «О муза пламенной сатиры» (124).

литературную «свору» всевозможныхъ критиковъ-«сапожниковъ», бравшихся указывать ему цѣли творчества [1]), — наконецъ, писателей, вродѣ Булгарина, позорившихъ собой русскую литературу... Сохранилось одно характерное стихотвореніе его, въ которомъ онъ ясно раздѣляетъ понятія «чернь» и «народъ»:

«Блаженъ въ златомъ кругу вельможъ
Піитъ, внимаемый царями,—
Владѣя смѣхомъ и слезами.
Приправя съ горькой правдой ложь,
Онъ вкусъ притупленный щекотитъ
И къ славѣ спѣсь бояръ охотитъ...
Онъ украшаетъ ихъ пиры
И сыплетъ Фебовы дары.
. . . . . .

Межъ тѣмъ,—

«Тѣснясь у ступеней крыльца,
Народъ колеблется волнами,
Съ почтеньемъ слушаетъ пѣвца [2]).

Изъ этихъ стиховъ видно, что всѣ симпатіи поэта на сторонѣ «народа».

Вотъ почему гораздо съ большимъ правомъ можно видѣть его «profession de foi», какъ поэта, въ стихотвореніи «Эхо». Въ этомъ произведеніи, дѣйствительно, вѣрно уловлена самая характерная черта его поэзіи:—ея *зеркальность*, отражавшая всѣ впечатлѣнія жизни — отъ грозныхъ и мрачныхъ до мирныхъ и безоблачныхъ... Но и это произведеніе едва ли возможно относить къ такимъ, въ которыхъ полностью выразилось пушкинское пониманіе поэзіи,—его мысли никогда не укладывались въ систему, въ одно стройное міросозерцаніе,—онъ всегда

[1]) Соч. II, 81, «Притча». [2]) Соч. II, 27.

готовъ былъ отказаться отъ пассивной роли «поэтическаго зеркала» и перейти къ такому активному творчеству, которое вторгается въ жизнь, вноситъ «свое» въ міръ... Онъ готовъ былъ служить народу не только «чувствами добрыми» своихъ поэтическихъ твореній, но и черновой работой журналиста-публициста [1]).

И, наконецъ, такое практическое пониманіе своего значенія, какъ «слуги народу», не мѣшаетъ ему, въ то же время, отдаваться мечтѣ, «вымыслу»,—«надъ вымысломъ проливать слезы»[2])... Недаромъ онъ иногда «выше тьмы низкихъ истинъ» готовъ былъ поставить «насъ возвышающій обманъ»! [3]) Какъ съ этими рѣчами вяжется приблизительно тогда же (въ 1830 г.) написанное, изумительное по реализму, произведеніе: «Шалость» [4]), въ которомъ, съ поразительною силою, онъ рисуетъ, какъ разъ «тьмы низкихъ истинъ» изъ русской сѣрой дѣйствительности, безъ всякой попытки внести въ нихъ, хотя бы, малѣйшую долю «возвышающаго обмана»?—

«Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій,
За ними черноземъ, равнины скатъ отлогій...
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса...
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?

[1]) Любопытно, что въ этотъ же періодъ творчества, когда были написаны вышеупомянутыя стихотворенія, Пушкинъ мечталъ объ изданіи политическаго журнала и сочинялъ задорныя полемическія статьи (Соч. VII, 223—4, 242, 278—9 и др.),—поэтъ смотрѣлъ серьезно на свои обязанности служенія обществу; «дружина ученыхъ и писателей—говоритъ онъ—стоитъ всегда впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности». Въ этихъ словахъ мы не найдемъ «презрѣнія» къ толпѣ, здѣсь нѣтъ и «пассивности» художника только отражающаго жизнь (Соч. V, 120).

[2]) Соч. II, 101 «Элегія». [3]) Соч. II, 123 «Герой». [4]) Соч. II, 101.

Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взору...
...И то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено.
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея...
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ!..
Вотъ, правда, мужичекъ: за нимъ двѣ бабы вслѣдъ...
Безъ шапки онъ, несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣнивaго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ.
«Скорѣй,—ждать некогда! давно бъ ужъ схоронилъ! [1]).

Вся поэзія Некрасова вышла изъ этой «шалости», надрывающей душу..

Въ «Евгеніи Онѣгинѣ» встрѣчаемъ мы тоже сходныя картины, болѣе мирныя по настроенію, но тожественныя по манерѣ письма:

...Муза! прошлое забудь!
Какія бъ чувства ни таились
Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ!
Они прошли, иль измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ
И безымянныя страданья...
Другіе дни,—другіе сны!
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья...
И въ поэтическій бокалъ
Воды я много подмѣшалъ!
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,

[1]) Соч. II, 101, «Шалость».

На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ—
Раздолье утокъ молодыхъ
Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеалъ теперь—хозяйка,
Мои желанія—покой
Да щей горшокъ, да самъ большой!
Порой дождливою намедни
Я, завернувъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ, расцвѣтая,
Скажи, фонтанъ Бахчисарая? [1])...

---

[1]) Соч. III, 408 — 9 «Изъ путешествія Онѣгина» Эта-же «поэзія прозы» очень мило-граціозно изображена поэтомъ въ обрывкѣ: «Участь моя рѣшена»: «я ни съ кѣмъ не въ перепискѣ; долги свои, выплачиваю каждый мѣсяцъ; утромъ встаю, когда хочу; принимаю, кого хочу; вздумаю гулять—мнѣ сѣдлаютъ мою умную, смирную Женни, ѣду переулками, смотрю въ окна низенькихъ домиковъ,—здѣсь сидитъ семейство за самоваромъ,—тамъ слуга мететъ комнаты, далѣе дѣвочка учится за фортепьяно; подлѣ нея ремесленникъ-музыкантъ... Она поворачиваетъ ко мнѣ разсѣянное лицо—учитель ее бранитъ—я шагомъ ѣду мимо... Пріѣду домой, разбираю книги, бумаги, привожу въ порядокъ свой туалетный столикъ; одѣваюсь небрежно, если ѣду въ гости; со всевозможною старательностью, если обѣдаю въ ресторанѣ, гдѣ читаю, или новый романъ, или журналы. Если же Вальтеръ-Скоттъ и Куперъ ничего не написали, а въ газетахъ нѣтъ какого-нибудь уголовнаго процесса, то требую бутылку шампанскаго, смотрю, какъ рюмка стынетъ отъ холода, пью медленно, радуясь, что обѣдъ стоитъ мнѣ семнадцать рублей и что могу позволить себѣ эту шалость... Вечеромъ ѣду въ театръ, отыскиваю въ какой-нибудь ложѣ замѣчательный нарядъ, черные глаза. Вечеръ провожу или въ мужскомъ обществѣ, гдѣ тѣснится весь народъ, гдѣ я вижу всѣхъ и все и гдѣ меня никто не замѣчаетъ, или въ любезномъ избранномъ кругу, гдѣ я говорю про себя и гдѣ меня слушаютъ. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу, на другой день опять ѣду верхомъ переулками мимо дома, гдѣ дѣвочка играла

Насколько разнообразны мотивы пушкинской лирики за этотъ періодъ видно, хотя бы, изъ того, что «Анчаръ», «Утопленникъ», «Опричникъ» относятся къ одному 1828 году,—стихотворенія: «Осень» («Октябрь ужъ наступилъ»), «Испанскіе романсы» («Предъ испанкой благородной»), «Бѣсы», «Начало сказки»—относятся къ одному 1830 г.

Отъ безмятежныхъ пѣсенъ въ народномъ духѣ до произведеній, которыя проникнуты драматизмомъ, отъ нѣжной исповѣди сердца—къ возмущенному призыву «музы пламенной сатиры»—въ такихъ широкихъ предѣлахъ переживалъ свои настроенія поэтъ. Если мы возьмемъ, хотя бы, только тѣ стихотворенія, которыя написаны имъ въ Болдинѣ,— то увидимъ, какъ безконечно пестры они по настроенію—ясное доказательство того, что попрежнему такъ же пестры и непостоянны были состоянія его души. Біографъ, который попытается по стихамъ охарактеризовать душу поэта, прямо окажется не въ силахъ угнаться за живостью и разнохарактерностью перемѣнъ въ настроеніяхъ пушкинской души: онъ остановится въ недоумѣніи передъ неожиданностью этихъ постоянныхъ смѣнъ, передъ пестротой и богатствомъ яркихъ и сильныхъ эмоцій, поперемѣнно царившихъ въ сердцѣ поэта,—когда горе смягчалось шуткой, въ шуткѣ искрилась слеза, раздраженіе смѣнялось веселымъ хохотомъ, а все это покрывалось тѣмъ свѣтлымъ, всепрощающимъ примиреніемъ, которое тре-

---

на фортепьяно,—она твердитъ на фортепьяно вчерашній урокъ. Она взглянула на меня, какъ на знакомаго, и засмѣялась. Я кланяюсь и ѣду мимо. Вотъ моя холостая жизнь—счастья тутъ не нужно» (Соч. IV, 346).

буетъ любви ко всему міру потому, что во всемъ умѣетъ видѣть смыслъ и правду...

Къ этому времени относятся его драмы, свидѣтельствующія о томъ, что и въ этой области онъ отличался такимъ же разнообразіемъ творчества. Какъ въ лирикѣ у него нѣтъ «излюбленныхъ чувствъ»,—такъ въ драмѣ нѣтъ любимыхъ героевъ, нѣтъ одного излюбленнаго фона для картинъ. Испанская жизнь, съ ея донъ-Жуанами, Лаурами и Аннами, мрачный подвалъ средневѣковаго замка, итальянская улица, съ шумной толпой молодежи, подымающей бокалы въ честь чумы,—все это картины, совершенно отличныя одна отъ другой. Фаустъ и Мефистофель, Донъ-Жуанъ и Лепорелло, Моцартъ и Сальери, Скупой Рыцарь и его сынъ, старый мельникъ и его дочь—все это образы, несхожіе, яркіе и самобытные, указывающіе, до какой степени богаты были запасы впечатлѣній у Пушкина, какъ разнообразенъ былъ его геній и какъ легко создавалъ онъ цѣлые образы изъ тѣхъ намековъ, которые ловилъ повсюду... Такъ, образъ «Скупого Рыцаря» подсказанъ Пушкину, вѣроятно, психологическимъ анализомъ «скупости» въ «Донъ-Жуанѣ» [1])

---

[1]) «Донъ-Жуанъ»: Пѣсня XII, III строфа: «О, золото! Почему называемъ мы скупцовъ «несчастными»? Они пользуются наслажденіемъ, которое не умираетъ, они владѣютъ настоящимъ якоремъ спасенія, настоящимъ канатомъ, къ которому прикрѣплены всѣ удовольствія, большія и малыя... Видя человѣка, сидящаго за скуднымъ обѣдомъ, вы готовы презирать его скудную трапезу, тогда какъ вы и понятія не можете себѣ составить о томъ, что за дивное наслажденіе доставляетъ ему всякая сбереженная корка сыра»... IV стр.: «Копить деньги, сначала понемногу, а потомъ все быстрѣй и быстрѣй, копить грошъ за грошемъ, несмотря ни на что—о, это занятіе способно одержать побѣду и надъ стремленіями любви, и надъ страстью къ вину или игрѣ, и надъ

Байрона. Кромѣ того, параллели этому образу указаны были въ комедіи Яндрича: «Lyubomirovitch, ili pratel pravi» (Загребъ 1821 г. изд. Миклошича [1]), въ романѣ Вальтеръ-Скотта «Пертская красавица» [2]), въ драмѣ Мильмана «Fazio» [3])... Сюжетъ драмы «Моцартъ и Сальери» [4]) взятъ изъ біографіи Моцарта. «Пиръ во время чумы», — изъ трагедіи Вильсона:

пустыми занятіями государственнаго человѣка!.. VIII стр.: Скряга— поэтъ въ душѣ. Скупость, эта чистѣйшая изъ страстей, будучи отраженіемъ его золотыхъ слитковъ, для пріобрѣтенія которыхъ народы переплываютъ океанъ, доставляютъ ему блаженство обладанія. Для него слитки темныхъ рудниковъ блещутъ золотыми лучами, брилліанты проливаютъ на него свое сверкающее пламя, а нѣжный блескъ изумрудовъ умѣряетъ цвѣтъ другихъ камней, услаждающихъ его взоры...» IX стр.: «Его погреба могли бы служить жилищемъ королямъ, а онъ, чуждый всѣхъ порывовъ чувственности, довольствуется тѣмъ, что повелѣваетъ всѣмъ его окружающимъ, какъ нравственный неограниченный монархъ»... X стр.: «Кто знаетъ, можетъ быть, въ умѣ его гнѣздятся грандіозные проекты»... XII стр.: «Что̀ можетъ быть прекраснѣй свертковъ золота, очаровательнѣе сундуковъ со слитками, мѣшковъ съ деньгами и блеска монетъ» и т. д. (Соч. Байрона, II т. 242—4, подъ ред. Гербеля). (Пѣснь I, CXXV стр). «Въ этихъ старикахъ, на видъ, едва держится душа, а, между тѣмъ, они живутъ да живутъ, къ великому прискорбію жидовъ, осаждающихъ наслѣдника его векселями» (тамъ же, 24).

[1]) *Н. Сумцовъ*, «Къ вопросу объ источникѣ «Скупого Рыцаря». Харьк. Ун. Сборникъ въ память П-на» 1900.

[2]) *А. Галаховъ*, «О подражательности нашихъ первоклассныхъ поэтовъ» («Русская Старина», 1888 № 1).

[3]) *А. А. Чебышевъ*, «Замѣтка о «Скупомъ Рыцарѣ» Пушкина Спб., 1902. Самъ поэтъ, какъ извѣстно, назвалъ свое произведеніе «сценами изъ Ченстоновой трагикомедіи «The caveteous Knight». Самые усиленные поиски такого произведенія и такого автора не привели ни къ чему. Такимъ образомъ, для какой-то цѣли Пушкинъ мистифицировалъ русскую публику.

[4]) Пушкинъ заинтересовался Моцартомъ, очевидно, подъ вліяніемъ въ то время впервые поставленной въ Петербургѣ оперы его «Донъ-Жуанъ». Въ это время біографіей Моцарта занимался знакомый Пушкина Улыбышевъ, (Записки *Смирновой* I, 53). Смирнова передаетъ,

«The city of the plague». «Каменный Гость» примыкаетъ къ одной изъ литературныхъ обработокъ типа Донъ-Жуана [1])... Самая идея писать вмѣсто большой пьесы сцены, отрывки, навѣяна чтеніемъ Барри, Корнваля, Вильсона и др. подобныхъ англійскихъ драматурговъ. Чисто-пушкинскою особенностью этихъ пьесъ надо признать опредѣленное стремленіе вплетать въ эти чуждые образы и сюжеты автобіографическія черты,—такъ, въ «Скупомъ Рыцарѣ» нѣкоторые моменты, словно, выхвачены изъ отношеній поэта къ его отцу [2]); въ Сальери нѣкоторые критики усмотрѣли черты Боратынскаго,—въ лицѣ Моцарта Пушкинъ, говорятъ, противопоставилъ ему себя... «Пиръ во время чумы» писался въ разгаръ холерной эпидеміи, и на этомъ произведеніи, быть можетъ, отразились яркія впечатлѣнія и мысли, пережитыя поэтомъ въ это время. Любопытно также, что всѣ эти произведенія проникнуты тѣмъ духомъ примиренія, которымъ былъ такъ богато надѣленъ Пушкинъ,—всѣхъ своихъ героевъ освѣтилъ онъ свѣтомъ любви: Донъ-Жуанъ, жизнерадостный, какъ ясный день, беззаботный, какъ сама юность—обезоруживаетъ самого суроваго судью-моралиста; другіе герои его—скупецъ-баронъ и Сальери, — несчастные муче-

---

что Пушкинъ искалъ біографію Сальери для своей драмы и бесѣдовалъ съ Улыбышевымъ о Моцартѣ (тамъ же, 326).

[1]) Заинтересовавшись, подъ вліяніемъ оперы Моцарта типомъ Донъ-Жуана, Пушкинъ занялся изученіемъ исторіи этого типа. Судя по его произведенію, пониманіе Мольеромъ этого типа его не удовлетворило,—онъ задался цѣлью создать «испанскаго» Донъ-Жуана,—не скептика и вольнодумца (Записки *Смирновой* I, 133).

[2]) *А. И. Кирпичниковъ*, «Русская Старина» 1892, № 2.

ники глубокой страсти—одинъ къ поэзіи золота, другой—къ божеству музыки,—тоже ни въ комъ не вызываютъ злобы. Ранѣе нарисованный образъ преступнаго Годунова внушаетъ только глубокое сожалѣніе. Суровый Петръ изображался имъ или въ моментъ примиренія съ врагами, или въ тѣ минуты, когда его душой владѣло мягкое чувство признательности и даже нѣжности; позднѣе, въ Пугачевѣ, поэтъ подчеркнулъ свѣтлыя черты благодарности и милосердія.

Въ 1831 году законченъ былъ Пушкинымъ романъ его «Евгеній Онѣгинъ». Отдѣльными главами сталъ онъ выходить въ свѣтъ еще съ 1822 года и уже тогда былъ оцѣненъ русской критикой, какъ «явленіе чрезвычайное»... Если припомнимъ, что «Евгеній Онѣгинъ» сдѣлался достояніемъ той публики, которая еще недавно оторвалась отъ «Бѣдной Лизы» Карамзина, мы тогда поймемъ то изумленіе, которое должно было овладѣть русскими читателями и критиками «Онѣгина». Это былъ *первый художественный реалистическій* романъ, въ которомъ правда русской жизни нашла себѣ полное и красивое выраженіе въ простой и, въ то же время, прекрасной рѣчи. Пускай нѣкоторые критики упорно придирались къ отдѣльнымъ выраженіямъ романа, пускай другіе считали это произведеніе только «подражаніемъ Байрону»—важно, что были голоса, признавшіе въ герояхъ Пушкина «живыхъ людей». И, дѣйствительно, записки, письма, другія литературныя произведенія того времени доказываютъ жизненную правдивость всѣхъ героевъ романа...

Но это произведеніе не только первый «бытовой»

русскій романъ,—это большая «элегія», раскрывающая всю душу поэта. Почти десять лѣтъ она росла и развертывалась, почти десять лѣтъ она была спутницей поэта,—немудрено, что въ ней отразился весь онъ,—всѣ его настроенія, его мечты, мысли, его міросозерцаніе... Немудрено, что онъ привязался къ своимъ героямъ и полюбилъ ихъ, какъ живыхъ людей... Эта любовь чиста и свѣтла, но она была грустна. Поэтъ любилъ жизнь, но жизнь не порадовала его безмятежнымъ, безоблачнымъ счастьемъ,—быть можетъ, потому и всѣ герои его романа оказались несчастными, — «неправда жизни» ихъ сгубила... И грустно-любовными глазами смотритъ поэтъ на эти погибшія молодыя жизни... Оттого романъ пронизывается тѣмъ же настроеніемъ, что и «Стансы» («Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ...»). Не звучитъ въ его чувствахъ ни одной рѣзкой ноты,—нѣтъ въ романѣ драматизма—элегія, одна элегія, мягкими тонами лежитъ на всѣхъ трагическихъ картинахъ романа... Могила старика Ларина, Татьяна послѣ объясненія съ Евгеніемъ, стихи Ленскаго, его трогательная смерть, его забытая могила, запоздалая любовь Онѣгина, послѣднее объясненіе съ нимъ Татьяны: «а счастье было такъ близко, такъ возможно»—и, наконецъ, трогательное прощаніе поэта со своимъ долголѣтнимъ трудомъ,—

«Кто бъ ни былъ ты, о, мой читатель,
Другъ, недругъ—я хочу съ тобой
Разстаться нынче, какъ пріятель!
Прости. Чего бы ты за мной
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ,—
Воспоминаній-ли мятежныхъ,

Отдохновенья-ль отъ трудовъ,
Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
Иль грамматическихъ ошибокъ,
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальныхъ ошибокъ
Хотя крупицу могъ найти...
За симъ—разстанемся, прости!
Прости жъ и ты, мой спутникъ странный
И ты, мой вѣрный идеалъ,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни въ буряхъ свѣта,
Бесѣду сладкую друзей...
...А ты, съ которой образованъ
Татьяны милой идеалъ...
О, много, много рокъ отъялъ!

Это—послѣдніе, заключительные аккорды прекрасной симфоніи, въ которой великій художникъ трогательно выразилъ несбывшіяся мечты, угасшія надежды, любовь великую, неизрасходованную, и счастье разбитое, и молодую надломленную жизнь...

И въ то же время нѣтъ въ этой симфоніи тоски, нѣтъ злобы, нѣтъ ненависти... «Все—благо», «правъ судьбы законъ»—вездѣ любовь, вездѣ правда, и въ жизни, и въ смерти...

«Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полнаго вина,
Кто не дочелъ ея романа
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,
Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ!»

«Любовь въ бракѣ—это верхъ человѣческаго достоинства въ любви».

Слова Пушкина. (Записки Смирновой, I, 307).

«Будь молода, потому что ты молода,—и царствуй, потому что ты прекрасна».

Изъ письма Пушкина къ женѣ (цитата г. Ив. Иванова „Новая культурная сила“, 33).

«Какъ не дай, Боже, хорошу жену, —
Хорошу жену въ честной пиръ зовутъ!..».

Пѣсни, записанныя Пушкинымъ. Соч. I, 372.

«...Посадятъ на цѣпь дурака
И сквозь рѣшетку, какъ звѣрка
Дразнить тебя придутъ!».

„Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“ Соч. II, 155.

«Я мало Богу молюсь и надѣюсь, что твоя чистая молитва лучше моихъ!».

Изъ письма къ женѣ. Соч. VII, 369.

«Пошелъ я вновь бродить, уныньемъ изнывая
И взоры вкругъ себя со страхомъ обращая,
Какъ рабъ, замысливший отчаянный побѣгъ».

„Странникъ“. Соч. II, 165.

«Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ...».

„Къ женѣ“. Соч. II, 193.

«Все благо!—Бдѣнія и сна
Приходитъ часъ опредѣленный!».

„Евгеній Онѣгинъ“. Соч. III, 348.

«Tu Shakespeare eris, si fata sinant!».

Мицкевичъ о Пушкинѣ. Соч.

„Въ тихой пристани".

(1831—1837 гг.).

Послѣ свадьбы Пушкинъ прожилъ съ молодой женой до 20-хъ чиселъ мая въ Москвѣ, затѣмъ переѣхалъ въ Петербургъ, а 25-го—на дачу въ Царское Село. Судя по письму его къ тещѣ видно, что уже эти первые дни его пребыванія «въ тихой пристани» были отравлены ею,—такъ онъ писалъ ей, что «былъ вынужденъ оставить Москву, во избѣжаніе разныхъ дрязгъ» [1]). Родственники жены не только задержали обѣщанное приданое, но еще сами взяли въ долгъ у поэта [2]). Зато въ Царскомъ, какъ кажется, онъ былъ

[1]) Соч. VII, 271 «Письмо Н. И. Гончаровой 26 іюня». Онъ пишетъ, что эти дрязги—«въ концѣ концовъ, могли бы нарушить болѣе, чѣмъ одно мое спокойствіе: меня изображали моей женѣ, какъ человѣка ненавистнаго, жаднаго, презрѣннаго, ростовщика; ей говорили: съ вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Сознайтесь, что это значитъ проповѣдывать разводъ. Жена не можетъ, сохраняя приличіе, выслушивать, что ея мужъ—презрѣнный человѣкъ, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себѣ позволяю. Не женщинѣ въ 18 лѣтъ управлять мужчиною 32 лѣтъ. Я представилъ доказательства терпѣнія и деликатности, но, повидимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствіе и сумѣю его обезпечить».

[2]) «Заложилъ я своихъ 200 душъ, взялъ 38000 р.—и вотъ имъ распредѣленіе: 11000 — тещѣ, которая непремѣнно хотѣла, чтобъ дочь

почти счастливъ: у него послѣ заклада с. Болдина были деньги; главные долги его были заплачены, «безтемпераментная» красавица-жена пока не препятствовала поэту идеализировать ее и мечтать о полномъ счастьѣ. Отъ назойливыхъ родственниковъ жены поэтъ на первое время сумѣлъ отдѣлаться, — устроилъ себѣ уютное гнѣздо и зажилъ новой жизнью [1]). «Теперь, кажется, все сладилъ, писалъ онъ Нащокину 1 іюня, и буду жить потихоньку безъ тещи, безъ экипажа — слѣдственно, безъ большихъ расходовъ и безъ сплетенъ» [2]). Изъ этого видно, что тревога о деньгахъ не умирала въ сердцѣ поэта. Скоро она стала расти все болѣе... Почти въ каждомъ письмѣ къ друзьямъ Пушкинъ говоритъ о своихъ расходахъ, о дороговизнѣ жизни и пр... Въ

ея была съ приданымъ—пиши пропало! 10000 Нащокину для выручки его изъ плохихъ обстоятельствъ. Остается 17000 на обзаведеніе и житье годичное»—писалъ онъ Плетневу 16 февр. 1831 г. (Соч. VII, 261).

[1]) «Мы здѣсь живемъ тихо и весело, будто въ глуши деревенской» (Соч. VII, 269). — «Я женатъ—и счастливъ. Одно желаніе мое, чтобъ ничего въ жизни моей не измѣнилось,—лучшаго не дождусь. Это состояніе для меня такъ ново, что, кажется, я переродился». «Пушкинъ—мужъ! Трудно и представить, какъ странно звучало это для самыхъ искреннихъ друзей поэта. Они боялись за него по многимъ и самымъ разнообразнымъ соображеніямъ: страшились неминуемаго рабства предъ семейными обязательствами, плохо вѣрили въ его постоянство, не ждали добра для его таланта и для его личнаго характера. И все-таки Пушкинъ женился. Онъ создалъ себѣ семью, весь переполненный жаждою прочнаго сердечнаго счастья, тоскующій о подругѣ-хозяйкѣ и о дѣтяхъ. Въ немъ оказалось, таился идеальный супругъ и отецъ—неусыпно заботливый, рыцарственно-честный и откровенный, патріархальный по горячей привязанности къ *своимъ*, по стремленію входить во всякую мелочь семейнаго благополучія» (*И. Ивановъ* op. cit, 32).

[2]) Соч. VII, 268 «Письмо къ П. В. Нащокину».

особенности пугала его предстоящая жизнь въ столицѣ. «Жду дороговизны, и скупость наслѣдственная и благопріобрѣтенная во мнѣ тревожится» [1]),—пишетъ онъ тому же Нащокину. Но уже 3 іюля онъ отправилъ Плетневу отчаянное письмо: «ради Бога вели Смирдину прислать мнѣ денегъ или я самъ явлюсь къ нему, несмотря на карантины» [2]). Едва кончивъ «Повѣсти Бѣлкина», онъ уже посылаетъ ихъ Плетневу съ подробнымъ разсчетомъ, сколько онъ долженъ за нихъ получить [3]). Тогда же, въ іюлѣ, хлопочетъ онъ у Бенкендорфа о повышеніи его на два чина, которыхъ не дали ему «за выслугу лѣтъ» во время его службы съ 1817 по 1824 г., а кстати предлагаетъ свое перо въ распоряженіе правительства,—очевидно, ему хотѣлось заручиться прочнымъ и обезпеченнымъ мѣстомъ редактора «оффиціознаго» журнала. «Если государю императору, пишетъ онъ, угодно будетъ употребить перо мое для политическихъ статей, то постараюсь съ точностію и съ усердіемъ исполнить волю его

---

[1]) Соч. VII, 270, «Письмо къ Нащокину въ іюнѣ», еще: VII, 284. Быть можетъ, эти чувства прорывались въ немъ—по крайней мѣрѣ, сестра поэта замѣтила это безпокойство уже въ первый годъ женитьбы брата. «Онъ и она—двѣ противоположности,—Вулканъ и Венера... Ей недоступны ни безпокойства, ни гнѣвъ, а братъ иногда становится капризенъ, какъ беременная женщина, и ворчливъ, какъ шестидесятилѣтній старецъ» (Слова О. С. Павлищевой у *Л. Павлищева* op. cit. 251). Совершенно обратное говоритъ братъ жены поэта. По его словамъ, дома Пушкинъ является образцомъ кротости и благодушія. «Самый счастливый характеръ для семейной жизни—говорилъ онъ,—ни взысканій, ни капризовъ» (*Ив. Ивановъ*, op. cit., 35).

[2]) Соч. VII, 274 «Письмо къ Плетневу». Въ Царскомъ оказалась дороговизна» писалъ онъ Нащокину (VII, 271).

[3]) Соч. VII, 276 «Письмо къ Плетневу» въ іюлѣ.

величества. Въ Россіи періодическія изданія не суть представители различныхъ политическихъ партій (которыхъ у насъ и не существуетъ)—и правительству нѣтъ надобности имѣть свой оффиціальный журналъ. Но, тѣмъ не менѣе, общее мнѣніе имѣетъ нужду быть управляемо. Нынѣ, когда справедливое негодованіе и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всѣхъ насъ противъ польскихъ мятежниковъ, озлобленная Европа нападаетъ покамѣстъ не оружіемъ, но ежедневной бѣшеной клеветой. Конституціонныя правительства хотятъ мира, а молодыя поколѣнія, волнуемыя журналами, требуютъ войны... Пускай позволятъ намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдныя и невѣжественныя нападенія иностранныхъ газетъ,—съ радостію взялся бы я за редакцію политическаго и литературнаго журнала, т. е. такого, въ которомъ печатались бы политическія и заграничныя новости, около котораго соединилъ бы писателей съ дарованіями и, такимъ образомъ, приблизилъ бы къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непріязненнымъ къ просвѣщенію» [1]). Въ этомъ же письмѣ онъ просилъ разрѣшенія заняться историческими изысканіями въ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. «Не смѣю и не хочу взять на себя званіе «исторіографа» послѣ незабвеннаго Карамзина», не безъ задней мысли оканчиваетъ свое

---

[1]) Соч. VII, 277-8 «Письмо А. Х. Бенкендорфу» въ іюлѣ. Дѣла III, Отд. 120—1. Еще при жизни Дельвига Пушкинъ обращался съ такою просьбой къ Бенкендорфу. Черновая его объяснительной записки напечатана въ Изд. Соч. П-на Литер. Фондъ. т. VII, 287—9.

письмо поэтъ,—но могу современемъ исполнить мое давнишнее желаніе написать «Исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ до Государя Петра III-го». Рукою Бенкендорфа на оригиналѣ этого письма написано: «Государь велѣлъ его принять въ иностранную коллегію, съ позволеніемъ рыться (!!) въ старыхъ архивахъ для написанія «Исторіи Петра Перваго» [1]).

Объясняются всѣ эти «ходы» Пушкина тѣмъ, что финансовыя обстоятельства его ухудшались и денежная тревога его все росла... Вѣчныя хлопоты о векселяхъ, о займахъ, и напряженныя усилія писать побольше и поскорѣе, «ради денегъ»,—вотъ, печальная сторона теперешней жизни поэта. Если неразъ и прежде совѣсть его мучила за то, что онъ существуетъ насчетъ своего творчества [2]), то теперь, когда онъ долженъ былъ продавать не только «рукописи», но и самое «вдохновеніе»,—онъ долженъ былъ чувствовать себя особенно тяжело [3]),—такъ, 7-го октября онъ жаловался Нащокину: «мнѣ совѣстно быть неаккуратнымъ, но я совершенно разстроился: женясь я думалъ издерживать втрое противъ прежняго, вышло

---

[1]) Дѣла III Отд. 120.

[2]) Это видно, хотя бы, изъ сочиненія его: «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ». (I, 309).

[3]) Это тѣмъ болѣе было тягостно, что къ публикѣ, которая должна была платить ему деньги «за вдохновенье», онъ относился съ каждымъ годомъ все отрицательнѣе. «Если бы ты читалъ наши журналы, пишетъ онъ Нащокину, то видѣлъ бы, что все, что называютъ у насъ «критикой», одинаково глупо и смѣшно. Съ моей стороны, я отступился; возражать серьезно—невозможно, а плясать предъ публикой не намѣренъ... Ни критика, ни публика не достойны дѣльныхъ возраженій!» (Соч. VII, 282. «Письмо къ Нащокину» 21 іюля).

вдесятеро» [1]). Впрочемъ, если эти «денежныя» тревоги туманили, то онѣ еще не омрачали счастья Пушкина,—онъ вѣрилъ, что онѣ преходящи и что его благополучіе въ будущемъ обезпечено... Эта вѣра давала ему силы утѣшать даже другихъ.—Плетневу онъ писалъ 22-го іюля: «опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры, — одна убиваетъ только тѣло, другая убиваетъ душу! Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ, погоди, умретъ и Жуковскій, умремъ и мы, но жизнь все еще богата,—мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, выростетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши—старые хрычевки; а дѣтки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики станутъ повѣсничать, а дѣвчонки — сентиментальничать, а намъ-то и любо! Вздоръ, душа моя, не хандри! холера надняхъ пройдетъ,—были бы мы живы, будемъ когда нибудь и веселы!» [2])

Лѣто въ Царскомъ Селѣ въ 1831 г. было глухое, безлюдное; холера свирѣпствовала въ Петербургѣ, карантины, окружавшіе Царское Село, народныя волненія въ столицѣ,—все это не могло способствовать подъему настроенія. Но на частной жизни Пушкиныхъ эта отдаленность отъ тревогъ и даже отъ людей отразилась счастливо: молодые супруги вели тихое, уединенное существованіе,—видались почти исключительно съ однимъ Жуковскимъ да съ Александрой Осиповной Смирновой [3]) (урожд. Росеттъ). «По утрамъ

---

[1]) Соч. VII, 291. «Письмо къ П. В. Нащокину».

[2]) Тамъ же, 283. «Письмо къ П. А. Плетневу» отъ 22 іюля.

[3]) Часто непріятны въ «обществѣ», поэтъ въ интимномъ кругу.

разсказываетъ она въ своихъ запискахъ, и Жуковскій, и Пушкинъ были каждый при своемъ дѣлѣ: Жуковскій занимался съ Великимъ Княземъ, или работалъ у себя, Пушкинъ писалъ».

друзей держалъ себя совсѣмъ иначе—оттого и мнѣніе здѣсь о немъ составляется самое благопріятное. Смирнова въ своихъ «Запискахъ» говоритъ слѣдующее: «Catherine Мещерская говорила мнѣ, что онъ безконечно благовоспитанъ. Я думаю, что онъ безконечно добръ,—истинная вѣжливость исходитъ также изъ сердца—даже болѣе, чѣмъ изъ благовоспитанности» (I, 279). «Когда на душѣ у него было легко, онъ среди завѣдомо-любящихъ его людей, превращается въ ребенка,—неумолкаемо говоритъ, хохочетъ на весь домъ, импровизируетъ стихи, сыплетъ остротами. Отъ его хохота, говорятъ намъ, можетъ встать умирающій. Это не Александръ Сергѣевичъ, а «Саша Пушкинъ»,—такъ его называетъ большинство знакомыхъ, и у каждаго изъ нихъ въ памяти цѣлый запасъ его школьническихъ проказъ и выдумокъ». (*И. Ивановъ*, op. cit., 19).

«Моденъ неправъ, говоря, что онъ недоброжелателенъ и что у него злой языкъ. Онъ—насмѣшникъ, но въ немъ ни тѣни злобы; онъ остроуменъ и тонокъ... Онъ спросилъ меня: «какого вы обо мнѣ мнѣнія?» Я отвѣчала: «превосходнаго, потому что вы очень добры. Я была предубѣждена противъ васъ». Пушкинъ разразился гомерическимъ хохотомъ и потомъ сказалъ мнѣ: «спасибо вамъ за доброе мнѣніе; я не волъ, никому не желаю дурного! Я не измѣнникъ, не лгунъ; я вспыльчивъ, но не злопамятенъ и не завистливъ... Я искрененъ и умѣю любить своихъ друзей и быть имъ вѣрнымъ, но у меня колкій языкъ» (*А. Смирнова*, op. cit., 33). Совершенно справедлива характеристика Пушкина, сдѣланная г. *Ив. Ивановымъ*: «Свобода и непосредственность впечатлѣній, чуткая неудержимая отзывчивость, мгновенно загорающаяся страсть, способность отдаваться наивнымъ, почти дѣтскимъ радостямъ, открытое, незлобивое сердце—все это крупнѣйшія черты нравственной природы Пушкина. Генералъ Инзовъ, его начальникъ, писалъ о немъ: «онъ малый, право, добрый». Именно такъ: *не человѣкъ добрый*, а *добрый малый*. Это значитъ — доброта инстинктивная, органическая, всегда безразсчетная и часто некстати стремительная... Пушкинъ *не понималъ* злости, какъ нравственнаго явленія: злой человѣкъ не входилъ въ его, сознаніе,—это нѣчто ненормальное, безгранично-*глупое*... «Только дураки могутъ быть злыми!» говоритъ онъ...» (op. cit., 18).

«Постоянное присутствіе Жуковскаго, этого умнаго, веселаго, дѣтски-кроткаго и душевнаго человѣка, придавало тихую прелесть этому немногочисленному дружескому кружку. Добродушная шутка и неуловимый смѣхъ царили въ ихъ интимныхъ собраніяхъ... Въ это лѣто, между прочимъ, оба поэта состязались въ обработкѣ народныхъ сказокъ. Жуковскій написалъ «Берендея» и «Спящую Царевну» [1]).

Тишина этой уединенной жизни, очевидно, пришлась очень по душѣ Пушкину, но чтобы быть вполнѣ счастливымъ, ему нужно было только отдѣлаться отъ чрезмѣрныхъ расходовъ. Вотъ почему онъ мечталъ о томъ, чтобы современемъ перебраться на житье въ деревню: нѣсколько разъ въ письмахъ къ Осиповой говоритъ онъ о своихъ видахъ на деревню Савкино около Тригорскаго [2])... Газеты ему издавать не разрѣшили, и вакантнаго, за смертью Карамзина, мѣста «исторіографа» не предоставили, но, все-таки, приняли опять на службу «сверхштатнымъ» въ Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ съ 5000 руб. жалованья. Впрочемъ, въ «сферахъ» на него попрежнему «ко-

---

[1]) Пушкинъ писалъ Плетневу: «Жуковскій въ своей деревнѣ заставляетъ старухъ себѣ ноги гладить и разсказывать сказки, а потомъ перекладываетъ ихъ въ стихи. *Преданія русскія ничуть не уступаютъ въ фантастической поэзіи преданіямъ ирландскимъ и германскимъ.* Пушкинъ къ этому времени уже постигъ красоту не только произведеній народной поэзіи, но и древней словесности. «Присовѣтуй ему читать Четь-Минею, особенно, легенды о кіевскихъ чудотворцахъ, — прелесть простоты и вымысла!» пишетъ онъ Плетневу» (Соч. VII, 267, въ апрѣлѣ 1831 г.) Чаадаеву онъ писалъ: «j'admire les psaumes» (Соч. VII, 275. 6 іюля 1831 г.).

[2]) Соч. VII, 274, 285. «Письма Осиповой» 29 іюня и 29 іюля.

сились» тѣмъ болѣе, что стихотворные «грѣхи его юности» постоянно давали себя чувствовать. Извѣстный дѣятель польскаго возстанія, Лелевель, въ одной изъ своихъ возбуждающихъ рѣчей, превознесъ Пушкина за его оппозиціонныя настроенія. Эта похвала была *теперь* для поэта совершенно некстати, и онъ поспѣшилъ высказаться публично по поводу польскаго движенія; по этому случаю имъ написаны были стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина», въ которыхъ онъ становится на правительственную точку зрѣнія. Если его «Стансы» (1826) говорятъ, быть можетъ, только о минутномъ увлеченіи личностью императора, то эти два стихотворенія — уже несомнѣнная исповѣдь новой политической вѣры. Онъ рѣшительно перешелъ на сторону правительства и отнынѣ болѣе не считалъ нужнымъ скрывать это отъ русской публики [1]).

Въ это время Пушкинъ сдѣлалъ, было, попытку от-

---

[1]) За такое «примиреніе» Пушкина упрекали въ глаза и за глаза при жизни, — эти упреки по его адресу дожили до нашихъ дней. Между тѣмъ, едва-ли они справедливы... Онъ на себѣ пережилъ тотъ переломъ міросозерцанія, который знали на Западѣ многіе великіе вожаки европейской мысли. Гёте, начавшій съ Sturm und Drang'а кончилъ «отреченіемъ» (resignation) отъ всѣхъ мятежныхъ идеаловъ юности. Онъ говоритъ: «мнѣ всегда были противны апостолы свободы. Въ концѣ концовъ каждый искалъ только произвола для себя. Если ты хочешь освободить многихъ, то сумѣй *служить* имъ». Шиллеръ, начавшій съ «Разбойниковъ», сталъ призывать къ «смиренію», рекомендуя «примкнуть къ человѣчеству, найти въ его вѣковомъ трудѣ маленькую область, маленькій уголокъ и сосредоточить на этой скромной работѣ всю свою силу». Этотъ совѣтъ предлагалъ онъ къ свѣдѣнію тому, кто «выплылъ съ цѣлой флотиліей въ открытое море жизни

дѣлаться отъ опеки державнаго цензора, но попытка эта не удалась: 23-го іюля онъ писалъ Бенкендорфу: «въ 1829 году Ваше Высокопревосходительство изволили мнѣ сообщить, что Государю Императору угодно было впредь положиться на меня въ изданіи моихъ сочиненій. Высочайшая довѣренность налагаетъ на меня

и возвратился на одной спасательной лодкѣ въ тихую пристань». «Человѣку» онъ предлагалъ думать только о «человѣкѣ», но не браться за непосильныя человѣку хлопоты о «*благѣ человѣческихъ поколѣній*». — Во Франціи это «отреченіе» отъ боевыхъ идеаловъ революціи привело къ возрожденію религіознаго чувства (Шатобріанъ, Ламене, Ламартинъ, Нодье, Жозефъ де Местръ). Характерно, что даже Байронъ, подъ конецъ своей жизни, сталъ приближаться къ такому смиренію и отреченію (*Н. Котляревскій*, «Міровая Скорбь», 307—334). Совершенно по такой же программѣ прошло «отреченіе» и Пушкина отъ идеаловъ юности. Оно было актомъ свободнымъ и сознательнымъ. Суровые судьи Пушкина забываютъ о болѣе разительныхъ примѣрахъ «отреченія», которыя сохранились въ бумагахъ декабристовъ: *28 декабря 1825 г.* Рылѣевъ писалъ женѣ: «молись Богу за Императорскій домъ. Я могъ заблуждаться, могу и впредь, но быть неблагодарнымъ не могу... Что бы со мной ни было, буду жить и умру для нихъ (государя и государыни). («Собраніе стихотвореній декабристовъ» 1906, 57). Изъ Петропавловской крѣпости Бестужевъ писалъ императору Николаю Павловичу покаянное письмо, которое оканчивалось такъ: «я увѣренъ, что небо даровало въ Васъ другого Петра Великаго... болѣе, чѣмъ Петра, ибо въ нашъ вѣкъ и съ Вашими способностями, Государь, быть имъ—мало и т. д.» (*Н. Котлярвскій* «Декабристы», 148). Онъ же въ 1832 году писалъ, что давно излѣчился отъ химеръ «преобразовывать міръ съ вѣникомъ въ рукахъ», онъ признаетъ «неправду своихъ политическихъ начинаній». (Тамъ же, 123). Кн. Одоевскій показывалъ на судѣ, что «нелѣпый, противозаконный и на однихъ безмозглыхъ мечтаніяхъ основанный образъ мыслей» заимствованъ былъ имъ у Бестужева и Рылѣева. (Тамъ же, 15). Въ 1836 г. въ глухой Сибири онъ воспѣваетъ «солнышко-царя» (Собраніе стихотвореній декабристовъ», 234). Если такіе «переломы» могли имѣть мѣсто въ жизни людей «дѣла», то тѣмъ «извинительнѣе» переломъ пушкинскаго міросозерцанія.

обязанность быть къ самому себѣ строжайшимъ цензоромъ и, послѣ того, было бы для меня нескромностью вновь подвергать мои сочиненія собственному разсмотрѣнію Его Императорскаго Величества» [1]). На это письмо отъ гр. Бенкендорфа послѣдовалъ слѣдующій отвѣтъ: «для меня всегда пріятно быть съ Вами въ сношеніяхъ по предмету Вашихъ сочиненій, и потому я прошу Васъ всякій разъ, когда будете имѣть въ томъ надобность, обращаться ко мнѣ со всею искренностью. Вмѣстѣ съ симъ, считаю неизмѣнимымъ (?) замѣтить Вамъ, что, сколь ни удостовѣренъ Государь въ чистотѣ Вашихъ намѣреній и правилъ, но, со всѣмъ тѣмъ, однакоже мнѣ неизвѣстно, чтобы Его Величество разрѣшилъ Вамъ *всѣ* Ваши сочиненія печатать подъ одною Вашею только отвѣтственностью. Упоминаемое въ письмѣ Вашемъ сообщеніе мое къ Вамъ 1829 года относилось къ одной лишь трагедіи Вашей, подъ названіемъ «Годуновъ», а потому Вамъ надлежитъ попрежнему испрашивать всякій разъ Высочайшее Его Величества соизволеніе на напечатаніе Вашихъ сочиненій» [2]).

Въ 20-хъ числахъ октября Пушкинъ съ женою переѣхалъ въ Петербургъ и зажилъ широкой, свѣтской жизнью. Мечты о деревнѣ остались «мечтами»: поэтъ не хотѣлъ своей юной жены лишать удовольствій столичной жизни, да къ тому же и перспектива войти въ сутолоку «свѣта» рука объ руку съ красавицей-Nathalie, кажется, немало тѣшила его тщеславіе. Но это удовольствіе оказалось не изъ дешевыхъ. Если дорого обош-

[1]) Дѣла III Отд., 123.
[2]) Тамъ же, 124.

лось ему первое обзаведеніе, то теперь еще чувствительнѣе сказалась дороговизна той жизни, въ которую онъ самъ упорно втягивалъ жену. Можно думать, что она, не избалованная домашней жизнью, только что вышедшая изъ-подъ строгой опеки матери, холодная, равнодушная ко всему, женщина «безъ темперамента», сначала могла и не стремиться къ разсѣянной, свѣтской жизни,—самъ Пушкинъ толкалъ ее въ головокружительный водоворотъ свѣтской жизни. Вѣроятно, на первыхъ порахъ она не представляла ему никакихъ требованій относительно костюмовъ и обстановокъ,—поэтъ самъ шелъ на то, чтобы окружить ее баловствомъ, общимъ поклоненіемъ,—однимъ словомъ,—всѣмъ тѣмъ, что для нея могло казаться «счастьемъ» [1]). Онъ великодушно бралъ на себя всю черновую работу въ этомъ созиданіи ореола для своей жены,—наемъ квартиръ, столкновенія съ владѣльцами домовъ, экипажи, возня съ прислугой и прочія мелкія домашнія дрязги цѣликомъ легли на его обязанности. И комиченъ, и жалокъ былъ великій поэтъ въ этой новой и столь несвойственной ему роли «домовитаго хозяина». Потомъ начались балы, выѣзды, пріемы... Наталья Николаевна сразу заняла въ свѣтѣ видное мѣсто. Приглашеніямъ не было конца, и Пушкинъ долженъ былъ повсюду сопровождать жену [2]). Изъ самолюбія и тщеславія онъ не хотѣлъ, чтобы она уступала въ чемъ нибудь своимъ

[1]) «На себя онъ тратитъ возможно меньше, дурно одѣвается, вдали отъ жены живетъ отшельникомъ—и все затѣмъ, чтобы его жена была одѣта не хуже другихъ, чтобы она—красавица и свѣтская дама—веселилась и блистала. «Будь молода—пишетъ онъ—потому что ты молода, и царствуй, потому что ты прекрасна!». (*И. Ивановъ*, op. cit., 30).

[2]) *Венкстернъ*, op. cit. 141.

великосвѣтскимъ соперницамъ и поощрялъ въ ней самое беззаботное мотовство. Немудрено, что долги его росли такъ быстро, что скоро стали грозить ему полнымъ разореніемъ. Ради устройства своихъ дѣлъ онъ 6-го октября уѣхалъ въ Москву, гдѣ и прожилъ до 20-хъ чиселъ. Эта первая разлука съ женой причинила Пушкину много тревоги и тоски,—письма его къ женѣ остались краснорѣчивымъ памятникомъ его тогдашнихъ настроеній [1]). Супруга поэта рисуется въ нихъ во весь ростъ. Это—пустая женщина, интересующаяся только московскими сплетнями, нуждающаяся въ томъ, чтобы ее забавляли, смѣшили, чтобы за ней ухаживали, какъ за ребенкомъ; сама она совершенно безпомощна въ хозяйствѣ и дѣлахъ, нуждается въ руководительствѣ и самыхъ примитивныхъ совѣтахъ. Но, въ то же время, она—уже избалованный, капризный ребенокъ, который въ письмахъ поэта привлекателенъ только потому, что освѣщенъ его трогательною любовью [2]).

---

[1]) «Письма Пушкина къ женѣ—единственные въ своемъ родѣ документы. Ни одинъ великій поэтъ не оставилъ такого краснорѣчиваго, такого живого и глубоко-трагическаго свидѣтельства о своей простой и величавой личности... Ни въ одной самой поэтической поэмѣ нельзя найти такой полной могучей, самодовлѣющей любви. Каждое, будто мимоходомъ, брошенное слово стоитъ самыхъ живописныхъ и рѣчистыхъ упражненій на романическія темы, и это слово всегда въ высшей степени просто, нерѣдко даже грубовато, народно: отъ него дышитъ органической силой великой личности» (*И. Ивановъ* op. cit. 33).

[2]) Въ «Запискахъ» Смирновой мы встрѣчаемъ немало отзывовъ и фактовъ, характерныхъ для супруги поэта: «Nathalie — совсѣмъ ребенокъ, и Пушкинъ обожаетъ и очень балуетъ ее» (I, 124). «Литература, которою угощаетъ меня Пушкинъ, наводитъ смертную скуку на его жену... Она—такой ребенокъ, такъ неразвита»... (I, 181). «Ужасно жаль, то она такъ необразованна,—изъ всѣхъ его стихотвореній она цѣнитъ только тѣ, которыя посвящены ей» (I, 183). «Nathalie такъ наивна, что

Съ нею Пушкинъ можетъ только «болтать», ее «смѣшить», но не можетъ ни совѣтываться, ни ей открывать своего сердца, такъ какъ она его все равно не пойметъ и будетъ скучать. «Съ тѣхъ поръ какъ я тебя оставилъ, пишетъ ей Пушкинъ, мнѣ все что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поѣдешь во дворецъ и, того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лѣстницы... Душа моя, женка моя, ангелъ мой! сдѣлай мнѣ такую милость, ходи 2 часа въ сутки по комнатѣ и береги себя. Вели брату смотрѣть за собою и воли не давать... Если поѣдешь на балъ, ради Бога, кромѣ кадрилей, не пляши ничего!.. Напиши, не притѣсняютъ ли тебя люди и можешь ли ты съ ними сладить» [1]). Въ другомъ письмѣ онъ, уже не безъ раздраженія, упрекаетъ жену за слабоволіе въ отношеніяхъ къ прислугѣ: «Ты пляшешь по ихъ дудкѣ, платишь деньги, кто только попроситъ,—этакъ хозяйство не пойдетъ. Впередъ, какъ приступятъ къ тебѣ, скажи, что тебѣ до меня дѣла

восхитилась драмой А. Дюма, которую читала, и мнѣ посовѣтовала непремѣнно прочитать, говоря, что это интересно, гораздо лучше «Сида» Корнеля, котораго Пушкинъ ей прочиталъ» (I, 183—4). Мятлевъ о ней отозвался такъ: «барыня, которая прекрасна и граціозна, но по части музъ знаетъ одну Терпсихору» (I, 235). «Она слишкомъ ребенокъ и, по характеру, гораздо моложе своихъ сестеръ; у нея нѣтъ ни на гривенникъ свѣтскаго опыта» (I, 272). «Nathalie неохотно читаетъ все, что́ онъ пишетъ, и семья ея такъ мало способна цѣнить Пушкина, что нѣсколько болѣе довольна бракомъ лишь съ тѣхъ поръ, какъ Государь сдѣлалъ его исторіографомъ Имперіи, и, въ особенности камеръ-юнкеромъ; они воображаютъ, что это дало ему положеніе. Этотъ взглядъ на вещи заставляетъ Искуру скрежетать зубами, и въ то же время забавляетъ его» (I, 312 еще: 311). О полномъ равнодушіи Н. Н. къ творчеству Пушкина свидѣтельствуетъ и *Л. Павлищевъ* въ своихъ «воспоминаніяхъ» (op. cit., 57)

[1]) Соч. VII, 295 «Письмо Н. Н. Пушкиной» 8 дек. 1831 г.

нѣтъ, а чтобъ твои приказанія были святы. Съ Алешкой раздѣлаюсь по моемъ пріѣздѣ. Василія, вѣроятно, принужденъ буду выпроводить съ его возлюбленной!» [1]). Далѣе слѣдуютъ совѣты «не стягиваться», не сидѣть «поджавши ноги», осторожнѣе завязывать знакомства, не дружиться съ «графинями», съ которыми нельзя кланяться въ публикѣ [2]) и пр.

Литературная дѣятельность Пушкина за этотъ годъ выразилась въ отрывкѣ «Рославлевъ» [3]), нѣсколькихъ стихотвореніяхъ. Изъ нихъ два: «Красавица» [4]) и «Отрывокъ» [5]), посвящены Гончаровой,—первое еще невѣстѣ, когда поэтъ «благоговѣлъ» «предъ святыней» ея красоты, второе уже—женѣ; оно характерно тѣмъ, что указываетъ на холодность ея къ мужу,—молодая женщина противилась его ласкамъ и безъ участія, даже безъ вниманія слушала его страстныя рѣчи, его признанія, полныя раскаянья и тоски о прошлыхъ грѣхахъ... Къ этому же году относятся вышеупомянутыя стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» [6]), «Бородинская годовщина» [7]). Кромѣ того, написаны имъ: «Къ тѣни полководца» [8]), «19 октября 1831 года» [9]) и «Эхо» [10]). Оба послѣднія произведенія очень характерны для пониманія Пушкина,—въ первомъ изъ нихъ звучатъ

---

[1]) Соч. VII, 296, «Письмо къ Н. Н. Пушкиной» 15 дек.
[2]) Тамъ же.
[3]) Соч. IV, 110.
[4]) Соч. II, 27.
[5]) Тамъ же, 135.
[6]) Тамъ же, 129.
[7]) Тамъ же, 131.
[8]) Тамъ же, 128.
[9]) Тамъ же, 133.
[10]) Тамъ же, 128.

грустныя ноты, повидимому, совершенно неожиданныя для человѣка, счастливаго первымъ семейнымъ счастьемъ... Поэта мучила мысль о скорой его смерти; пересчитавъ мѣста, опустѣвшія за смертью друзей, онъ останавливается всѣми своими помыслами на Дельвигѣ.

Стихотвореніе «Эхо», прекрасно изображающее сущность пушкинской поэзіи, разнообразіе ея мотивовъ и отзывчивость на всѣ впечатлѣнія, кончается характернымъ признаніемъ, что, отзывчивый на все, самъ поэтъ, какъ «эхо», не находитъ себѣ отзыва. Очевидно, сознаніе духовнаго одиночества поэта не уничтожилось его женитьбой, быть можетъ, даже обострилось...

Въ февралѣ 1832 года Пушкину опять дали почувствовать, что «милостивое» отношеніе къ нему правительства не есть еще освобожденіе его отъ опеки. Бенкендорфъ прислалъ ему оффиціальный запросъ, по какому праву напечаталъ онъ въ альманахѣ «Сѣверные Цвѣты» стихотвореніе «Анчаръ», не испросивъ предварительно на то Высочайшаго соизволенія. Въ письмѣ отъ 7-го февраля Пушкинъ оправдывался тѣмъ, что, по его мнѣнію, «Высочайшая милость представлять свои произведенія на просмотръ Государю не лишала его права даннаго всѣмъ подданнымъ, печатать «съ дозволенія цензуры» [1]). Подобныя непріятности, мелкія, но частыя, больно уязвляли чувствительнаго поэта,—несомнѣнно, подъ ихъ вліяніемъ онъ даже охладѣлъ на время къ планамъ взять на

---

[1]) Дѣла III Отд. 126.

себя редакторство предполагаемой оффиціальной газеты.

Впрочемъ, наряду съ выговорами Пушкинъ, получалъ и знаки благоволенія, такъ 17-го февраля ему, въ подарокъ отъ Государя былъ присланъ одинъ экземпляръ «Полнаго собранія законовъ Россійской Имперіи». Пушкинъ «съ чувствомъ глубочайшаго благоговѣнія» приносилъ письменную благодарность черезъ Бенкендорфа за этотъ «драгоцѣнный», знакъ царскаго благоволенія [1]). Кромѣ того, разрѣшено было Пушкину заняться собираніемъ матеріаловъ для «Исторіи Петра I-го» въ государственныхъ архивахъ [2]); 29-го февраля 1832 г. ему позволили разсмотрѣть библіотеку Вольтера, хранившуюся въ Эрмитажѣ [3]), затѣмъ онъ проникъ въ Петербургскій Сенатскій Архивъ [4]), Архивъ Инспекторскаго Департамента и Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

11-го іюля 1832 г. Пушкинъ писалъ Погодину, что Государь разрѣшилъ ему издавать политическую газету [5]). 16-го сентября онъ далъ Н. И. Тарасенко-Отрѣшкову довѣренность на принятіе званія редактора дозволенной газеты «Дневникъ» [6]) и 17-го выѣхалъ въ Москву [7]). 1-го октября Бенкендорфъ согласился на утвержденіе названнаго лица «редакторомъ» и

---

[1]) Дѣла III Отд. 127.
[2]) Тамъ же, 122.
[3]) Тамъ же, 129.
[4]) Тамъ же, 149.
[5]) Соч. VII, 303, «Письмо къ Погодину».
[6]) Тамъ же, 280.
[7]) Тамъ же, 280.

объ этомъ извѣстилъ Н. Н. Пушкину, но уже 2-го отъ Мордвинова, начальника III-го отдѣленія, прислано было письмо, съ запрещеніемъ приступать къ изданію газеты до возвращенія Бенкендорфа изъ Ревеля и до представленія Государю образцовъ газеты [1]).. Такъ дѣло съ газетой разстроилось. Всѣ эти задержки указывали на то недовѣріе, съ которымъ слѣдили за каждымъ, даже «благонамѣреннымъ», въ правительственномъ смыслѣ, шагомъ Пушкина. Это и оскорбляло его, и, въ то же время, крайне невыгодно отражалось на его финансовыхъ обстоятельствахъ. Онъ по прежнему и въ этомъ году продолжаетъ употреблять всѣ усилія, чтобы какъ-нибудь извернуться. Сохранилось, напримѣръ, письмо его къ М. Ѳ. Судіенко съ просьбой дать взаймы 25000 руб. [2]). Письма къ Нащокину, попрежнему, наполнены разными хитроумными проектами какъ-нибудь раздобыть денегъ [3]). Въ Москвѣ онъ пробылъ съ 21 іюля по 10 октября, работая въ архивахъ, хлопоча о денежныхъ дѣлахъ своихъ и жениныхъ. Письма его къ женѣ все въ томъ же духѣ, что и письма 1831 года,—та же заботливость о мелочахъ ея будничной жизни, то же недовѣріе къ ея умѣнью вести хозяйство и держать себя въ обществѣ, тѣ же страхи за ея здоровье!.. Поэтъ, словно, удивляется, получивъ въ Москвѣ отъ жены письмо, первое, которое оказалось, сверхъ ожиданія, «длиннымъ». «Какая ты умненькая, какая ты миленькая!» восклицаетъ онъ 25-го сентября, какое длинное письмо.

---

[1]) Тамъ же, 280.

[2]) «Русск. Арх.» 1898 № 1166—7.

[3]) Соч. VII, 298, 300, 301, 302, 310 и др.

Какъ оно дѣльно, благодарствуй, женка! Продолжай, какъ начала, и я вѣкъ за тебя буду Бога молить!» [1]). Жутко дѣлается за великаго человѣка, который до такой степени былъ не избалованъ счастьемъ въ жизни что готовъ былъ въ *первомъ* «дѣльномъ» письмѣ своей подруги жизни усмотрѣть какое-то особое благополучіе!

Зная, чѣмъ лучше всего занять ее, онъ, попрежнему, посвящалъ ее въ тѣ московскія сплетни, которыя группировались около ея особы. Попрежнему, онъ упрекаетъ ее за «кокетничанье»,—очевидно, она посылала ему подробные отчеты о своихъ «побѣдахъ», дѣлилась съ мужемъ тѣмъ, что было единственнымъ интересомъ ея убогой души. «Нехорошо только, писалъ ей Пушкинъ 27-го сентября, что ты пускаешься въ разныя кокетства: принимать П. . . .а тебѣ не слѣдовало, — во-первыхъ, потому, что при мнѣ онъ у насъ ни разу не былъ, а во-вторыхъ, хоть я въ тебѣ и увѣренъ, но не должно свѣту подавать поводъ къ сплетнямъ. Вслѣдствіе сего, деру тебя за ухо и цѣлую нѣжно, какъ будто ни въ чемъ не бывало!» [2]). Изъ этихъ словъ видно, уже теперь «червь ревности» прокладывалъ себѣ дорогу въ его измученное сердце. 30-го сентября онъ пишетъ: «я только завидую тѣмъ изъ нихъ (мужей), у коихъ супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc. etc. Знаешь русскую пѣсню:

«Не дай Богъ хорошей жены—
Хорошу жену часто въ пиръ зовутъ!—

«А бѣдному-то мужу во чужомъ пиру похмѣлье!» [3]).

[1]) Соч. VII, 305 «Письмо къ Н. Н. Пушкиной».
[2]) Тамъ же, 306. «Письмо къ Н. Н. Пушкиной».
[3]) Тамъ же, 307. «Письмо къ Н. Н. Пушкиной» 30 сентября.

Иногда жалобы Пушкина звучатъ очень трогательно, напримѣръ: «Женка, женка!.. но оставимъ это!» [1]). Нѣжность къ женѣ увеличилась у поэта съ тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался отцомъ: 19-го мая 1832 года у него родилась дочь Марія.

10-го октября поэтъ отправился въ Петербургъ и снова, въ угоду женѣ, повелъ разсѣянную жизнь. Въ тоже время велъ онъ кропотливую работу въ архивахъ, въ разсчетѣ будущими трудами улучшить свое матеріальное положеніе. Отъ природы разносторонній, онъ такимъ остался и въ это время,—въ немъ жилъ не одинъ человѣкъ, а два: «Одинъ—геніально-вдохновенный, весь преисполненный сознанія своей силы, невыразимаго счастья—видѣть многообразную жизнь и воссоздавать ее, преисполненный непоколебимой вѣры въ неизмѣнную власть своего слова надъ сердцами людей...

«Это—одинъ. Въ иныя минуты онъ нѣсколько видоизмѣняется, именно «въ заботахъ суетнаго свѣта»:

---

[1]) Соч. VII, 308 «Письмо къ Н. Н. Пушкиной» 3 октября. «Изъ трехъ сестеръ Гончаровыхъ самая умная была Александра M-me Nathalie до сихъ поръ «пансіонерка»,—она жила, какъ живутъ дѣти, безъ размышленій, безъ заботъ,—для нея жизнь была рядомъ празднествъ, балетовъ, туалетовъ, прогулокъ и, какъ только ей дѣлали ласковое лицо, она воображала, что ее обожаютъ... Вихремъ свѣтской жизни она была оглушена; она неумна, у нея нѣтъ свѣтскаго такта, но она честная женщина. Она не была создана для Пушкина, но не обманывала, она даже передавала ему и тѣ рѣчи, которыя ей говорились и надъ которыми она потѣшалась и не представляла себѣ, что это раздрожало его; это доказываетъ отсутствіе такта у нея и недостатокъ ума, но это доказываетъ также, что она не считала все это важнымъ Она даже не кокетка, ея голова слишкомъ пуста и легкомысленна. Она любитъ туалеты, танцы, движенье, она скучаетъ дома, она пуста, у нея нѣтъ серьезнаго вкуса... Она была плохо воспитана... Ея сестры, болѣе одаренныя, сами развились немного». (*Смирнова*, op. cit. II, 23).

тогда онъ, неумолкаемо-остроумный, блещущій смѣхомъ и, повидимому, неисчерпаемый весельемъ, онъ живетъ минутой,—онъ весь охваченъ впечатлѣніями, и нѣтъ человѣка, равнаго ему въ блескѣ ума, въ мѣткости шутки, въ находчивости забавы... *Другой* образъ до такой степени не похожъ на этотъ, что, кажется, предъ нами совсѣмъ не тотъ поэтъ. Онъ молчаливъ и задумчивъ, на лицѣ его лежитъ густая тѣнь мучительной тоски, или ядовитаго гнѣва; можно подумать, онъ никогда не зналъ улыбки счастья, никогда не свѣтился привѣтомъ любви къ людямъ... Это, несомнѣнно, человѣкъ одиночества, нераздѣленныхъ думъ, никому неповѣренныхъ страданій» [1])... «И величіе, и правда обнаруживаются съ могучей неудержимой силой, лишь только поэтъ можетъ, не опасаясь тупоумныхъ, или злорадныхъ толкованій, явиться самимъ собой. Тогда онъ, этотъ признанный желчный разрушитель и обидчикъ становится, или добродушнѣйшимъ весельчакомъ, или чарующимъ мыслителемъ. Но и мысль у него непремѣнно блещетъ остроуміемъ, замыкается шуткой,—у этого удивительнаго человѣка ясный, жизнерадостный характеръ уживается съ глубокимъ дѣятельнымъ умомъ и буквально-неограниченными интересами, къ знанію и жизни» [2]).

Литературная дѣятельность его въ этомъ году была интенсивнѣе, чѣмъ въ прошедшемъ; изъ стихотвореній его одно посвящено женѣ [3]), большинство другихъ представляетъ собою переводы и подражанія,

---

[1]) *И. Ивановъ.* op. cit. 91.

[2]) Тамъ же. 111.

[3]) Соч. II, 136. «Нѣтъ! я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ».

или отрывки какихъ-то стихотворныхъ повѣстей [1]). Изъ лирическихъ стихотвореній особенно любопытно одно, въ которомъ выразилось мимолетное увлеченіе поэта какимъ-то чистымъ дѣвичьимъ образомъ: съ необыкновенной граціей выразилъ Пушкинъ въ этомъ стихотвореніи чувство свѣтлой любовной печали, съ которымъ онъ глядѣлъ на это, мелькнувшее мимо, чистое видѣніе... «Нѣтъ, нѣтъ! не долженъ я, не смѣю, не могу волненіямъ любви безумно предаваться!» [2]),— вырывается у него тревожное восклицаніе. Потомъ душой поэта овладѣваетъ другое, болѣе мирное, спокойное настроеніе,—«любить» онъ не имѣетъ права, но погрузиться сердцемъ «въ минутное мечтанье», когда мимо него проходитъ «младое, чистое, небесное созданье» [3]),—это онъ себѣ разрѣшаетъ... И вслѣдъ этому уходящему юному существу, онъ отъ всего сердца посылаетъ благословенія «на радость и на счастье», желаетъ ему всѣхъ благъ жизни: «веселья, миръ души, безпечные досуги»,—

«Все... даже счастье того, кто избранъ ей,
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе «супруги»! [4])

Эти заключительныя слова раскрываютъ намъ то безкорыстное, чуждое эгоизма, сердце, которое своимъ чувствамъ еще раньше нашло выраженіе въ чудномъ стихотвореніи: «Я васъ любилъ».

Изъ прозаическихъ произведеній Пушкина этого года надо назвать 15 главъ Дубровскаго, — романъ, въ которомъ рельефно изображена жизнь русскаго

---

[1]) Соч. II, 138, (Начало поэмы «Юдиѳь», 138. «Альфонсъ», 137. «Подражаніе Данту»). [2]) Соч. II, 142. [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же.

дворянства въ деревнѣ. Это былъ прекрасный фонъ для развитія сюжета, заимствованнаго изъ дѣйствительности [1]), но окрашеннаго идеализмомъ модныхъ тогда иностранныхъ романовъ, съ «благородными романтическими разбойниками» на первыхъ роляхъ. Но, конечно, не этотъ заимствованный сюжетъ интересенъ для историка, — интересенъ именно *фонъ:* картины русской природы, изображеніе русскихъ мужиковъ, чиновниковъ и дворянъ... Если въ «Евгеніи Онѣгинѣ» герои слишкомъ выступаютъ впередъ и закрываютъ собою народъ, то въ «Дубровскомъ», наоборотъ, они очерчены блѣднѣе и не закрываютъ собою остальныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Къ этому же году относятся начальныя сцены «Русалки». Эта драма на мотивы изъ *иностранныхъ* народныхъ сказокъ представляетъ собою первую попытку написать *народную русскую* драму. Какъ на источникъ пьесы указываютъ и на чешскую пѣснь «Янышъ-Королевичъ», переведенную Пушкинымъ, и—съ бо̀льшимъ основаніемъ, на оперу Гейслера: «Das Donauweibchen» [2]), которая имѣла у насъ успѣхъ, будучи переведена и поставлена, подъ названіемъ: «Русалка, опера комическая въ трехъ дѣйствіяхъ».

---

[1]) Сюжетъ «Дубровскаго» данъ Пушкину П. В. Нащокинымъ, который самъ видѣлъ въ острогѣ дворянина, доведеннаго до нищеты богатымъ и сильнымъ сосѣдомъ (П. О. Морозовъ въ примѣч. къ «Дубровскому» IV, 180. Оказывается, въ рукахъ поэта было даже самое судебное дѣло объ отобраніи богатымъ помѣщикомъ у бѣднаго его имѣнія. Такимъ образомъ, сюжетъ былъ взятъ изъ жизни, но разработанъ онъ (особенно любовная интрига) по шаблонамъ «романа».

[2]) *Ак. И. Н. Ждановъ*, «Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Гейслера» Спб. 1899.

Произведеніе Пушкина очень близко къ сюжету оперы, хотя ничего общаго не имѣетъ съ нимъ въ колоритѣ. Глубокое пониманіе духа русской народной поэзіи помогло Пушкину удачно выдержать состязаніе съ народомъ въ творчествѣ, — онъ сумѣлъ чужой сюжетъ оживить народнымъ духомъ, *перевоплотилъ чужое нѣмецкое въ родное русское...*

1833-й годъ не принесъ Пушкину никакого облегченія. Жена его вполнѣ втянулась въ жизнь свѣтской побѣдоносной красавицы; она мало стѣснялась тѣмъ, что мужъ уже не скрывалъ своего неудовольствія, хотя имѣлъ слабость постоянно смягчать свои укоры то шутками, то ласками. Денегъ у него становилось все меньше, семейство увеличивалось (6 іюля родился сынъ Александръ), а, вмѣстѣ съ тѣмъ, новыя хлопоты, новыя непріятности тяжелымъ бременемъ ложились на его плечи. Временами отчаянье овладѣвало имъ. Въ одну изъ такихъ тяжелыхъ минутъ написано имъ стихотвореніе: «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума!» [1]). Трудъ и голодъ, посохъ и сума кажутся поэту лучше этого сумасшествія. Его не страшило безуміе, если бы его оставили при этомъ на свободѣ,—тогда онъ сливался бы съ природой, онъ жилъ бы съ ней одною жизнью и былъ-бы счастливъ,—но его ужасала мысль, что его «запрутъ»,—«посадятъ на цѣпь дурака и сквозь рѣшетку, какъ звѣрка, дразнить придутъ» [2])... Безъ преувеличенія можно сказать, что, когда создавалось это стихотвореніе, такія настроенія все чаще посѣщали поэта... Съ отроческихъ лѣтъ поэтъ жаждалъ

[1]) Соч. II, 154.
[2]) Тамъ же.

независимости и свободы, вѣчно отбивался отъ всякаго рабства, отъ всякихъ оковъ, но съ каждымъ годомъ, эти оковы все тяжелѣе давили его, и вотъ теперь онъ увидѣлъ себя уже въ клѣткѣ, откуда не было выхода... Въ поведеніи Бенкендорфа поэтъ справедливо могъ усмотрѣть «поддразниванье», о которомъ онъ говоритъ въ означенномъ стихотвореніи,— передъ всесильнымъ «шефомъ» онъ, великій поэтъ, былъ только жалкимъ, безпомощнымъ человѣкомъ, сидящимъ въ клѣткѣ на хорошей, короткой цѣпи. Въ отношеніяхъ жены онъ, быть можетъ, тоже чувствовалъ это поддразниванье, хотя и не злостное, а наивное, безсознательное, но оскорбительное и крайне для него болѣзненное,—и передъ ней чувствовалъ онъ себя также въ оковахъ, снять которыя онъ тоже не былъ въ силахъ. Русская публика, русская критика, великосвѣтское общество, многіе друзья, которыхъ дружба теперь часто претила Пушкину, окружили его цѣлой сѣтью зависимостей,—они не щадили его самолюбія и дразнили легкомысленнымъ отношеніемъ къ его произведеніямъ, дразнили легковѣсной критикой, или пренебреженіемъ, сплетнями, шутками, незаслуженными укорами и непрошенными совѣтами [1])... Понятно, какой ужасъ временами могъ овладѣвать поэтомъ, по мѣрѣ того, какъ онъ все яснѣе и

[1]) «Свѣтъ всѣми способами и мѣрами изводилъ ненавистнаго человѣка: смѣялся, когда при разъѣздахъ выкрикивали карету «Пушкина—сочинителя», жену его называлъ не иначе, какъ «Пушкина—поэтша». Друзья, въ свою очередь, въ цѣляхъ либерализма, не приминули также посмѣяться надъ камеръ-юнкерствомъ поэта. Они не могли простить ему примиренія съ правительствомъ, не желали знать никакихъ иныхъ побудительныхъ причинъ, помимо честолюбія». (*И. Ивановъ*. op. cit. 88).

яснѣе начиналъ сознавать свою безпомощность и свое рабство.

Вотъ почему, при всей своей любви къ женѣ, не взирая на приступы ревности онъ былъ способенъ на нѣсколько мѣсяцевъ бросить все—жену, дѣтей и общество, и слоняться по окраинамъ Россіи, подъ предлогомъ собиранія на мѣстѣ матеріаловъ для своихъ историческихъ и литературныхъ работъ.

Мы видѣли уже, что розысканіями въ государственныхъ архивахъ Пушкинъ занялся не по призванію, но, исключительно, ради увеличенія средствъ къ жизни, быть можетъ, и въ разсчетѣ на полученіе почетнаго и выгоднаго званія «исторіографа». Для архивной работы у него не было ни навыка, ни способности, даже и особой охоты. Историческія занятія вовсе не были для него освящены тѣмъ увлеченіемъ, которое только ученаго-спеціалиста можетъ приковать къ усидчивому безраздѣльному труду, — оттого-то Пушкинъ такъ легко отъ петровскихъ бумагъ переходилъ къ бумагамъ о Суворовѣ, о Пугачевѣ... Послѣдній восторжествовалъ надъ Петромъ,—образъ мятежника [1]) и картины тогдашняго тревожнаго времени настолько захватили воображеніе поэта, что, на ряду съ «Исторіей Пугачевскаго бунта», въ его головѣ стали неясно складываться первыя очертанія героевъ повѣсти: «Капитанская дочка».

---

[1]) Своимъ интересомъ къ «Братьямъ-разбойникамъ», къ Стенькѣ Разину, Пугачеву, разбойнику Дубровскому Пушкинъ отдалъ дань романтизму, который любилъ воплощать протестующихъ героевъ въ образы «разбойниковъ».

22-го іюля Пушкинъ подалъ прошеніе о долгосрочномъ отпускѣ сперва въ Дерптъ для посѣщенія вдовы Карамзина, потомъ въ нижегородскую деревню, въ Оренбургъ и Казань, мотивируя свою просьбу слѣдующимъ образомъ: «Въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ занимался я одними историческими изысканіями, не написавъ ни одной строки чисто-литературной. Мнѣ необходимо мѣсяца два провести въ совершенномъ уединеніи, дабы отдохнуть отъ важнѣйшихъ занятій и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставитъ мнѣ деньги, въ коихъ я имѣю нужду. Мнѣ самому совѣстно тратить время на суетныя занятія (!), но они доставляютъ мнѣ способъ проживать въ С.-Петербургѣ, гдѣ труды мои, благодаря начальству (!!), имѣютъ цѣлью болѣе важную и полезную [1])». Такъ, въ угоду властямъ, кривилъ душой поэтъ, называя «суетными занятіями» свою литературную дѣятельность, а службу въ Петербургѣ—«важной и полезной». Пушкину было разрѣшено съѣздить, куда онъ просился, но Государь изъявилъ желаніе знать, «что побуждаетъ его къ поѣздкѣ въ Оренбургъ и Казань и по какой причинѣ хочетъ онъ оставить занятія, здѣсь на него возложенныя» [2]). Получивъ, наконецъ, разрѣшеніе, 18-го августа онъ отправился въ Казань и Оренбургъ. Свое путешествіе онъ подробно описывалъ въ письмахъ къ женѣ; разлука смягчила раздраженіе, въ его сердцѣ противъ нея накипавшее, и тонъ этихъ писемъ опять прежній,—грустно-шутливый, не переходящій въ уп-

---

[1]) Соч. VII, 316. «Письмо къ Бенкендорфу».

[2]) Дѣла III Отд. 135.

рекъ, но ясно-говорящій, что великій человѣкъ, при всей своей любви къ подругѣ жизни, чувствовалъ, что ею онъ непонятъ, что съ нею не нашелъ онъ желаннаго счастья...

Въ Москву Пушкинъ выѣхалъ въ обществѣ Соболевскаго. Въ видахъ экономіи, онъ рѣшился ѣхать прямо въ Оренбургъ, не заѣзжая въ Дерптъ къ Карамзиной. По дорогѣ онъ заѣхалъ въ Яропольцу, имѣніе Гончаровыхъ, затѣмъ въ Тверской губ. въ имѣніе Вульфовъ. Въ Москвѣ онъ провелъ нѣсколько дней, остановившись, какъ всегда, у Нащокина, видѣлся съ Н. Н. Раевскимъ, Чаадаевымъ, Погодинымъ и другими московскими друзьями; затѣмъ направился въ Нижній, Казань, Симбирскъ и 18 сентября былъ въ Оренбургѣ; оренбургскую губ. объѣхалъ онъ въ сопровожденіи В. И. Даля [1]), и уже 1-го октября былъ въ Болдинѣ, гдѣ и прожилъ до половины ноября [2]).

Письма поэта за все это время относятся почти исключительно къ женѣ. Онъ засыпаетъ ее комплиментами и восторженными восклицаніями, въ родѣ: «addio, mia bella, idol mio, mio bel tesore» [3]), увѣряетъ ее въ томъ, что она «прекрасна»: «глядѣлась ли ты въ зеркало?»—спрашивалъ онъ, «и увѣрилась ли ты, что съ твоимъ лицомъ ничего сравнить нельзя на свѣтѣ, а душу твою я люблю еще болѣе твоего лица» [4]). Рядомъ съ этимъ—просьбы: «не стращай меня, женка,

---

[1]) *Л. Майковъ*, op. cit. 416—9. Русск. Арх. 1899, II, 138.
[2]) *П. Бартеневъ*, Пушкинъ, II, 150.
[3]) Соч. VII, 323, «Письмо къ Н. Н. Пушкиной», 2 сент. 1833.
[4]) Соч. VII, 318. «Письмо къ Н. Н. Пушкиной» 24 авг. 1833.

не говори, что ты искокетничалась; я пріѣду къ тебѣ, ничего не успѣвъ написать, а безъ денегъ сядемъ на мель. Ты лучше оставь ужъ меня въ покоѣ, я буду работать и спѣшить!» [1]) Въ другомъ письмѣ онъ ей пишетъ: «кокетничать я тебѣ не мѣшаю, но требую отъ тебя холодности, благопристойности, важности, не говоря уже о безпорочности поведенія, которое относится не къ тону, а къ чему-то ужъ важнѣйшему! Охота тебѣ, женка, соперничать съ гр. С... Ты—красавица, ты бой-баба, а она — шкурка» [2]). Въ письмѣ отъ 30-го октября упреки носятъ болѣе тревожный характеръ: «ты, кажется, не путемъ искокетничалась, пишетъ Пушкинъ. Смотри!—недаромъ кокетство не въ модѣ и почитается признакомъ дурного тона. Въ немъ толку мало. Ты радуешься, что за тобою... бѣгаютъ... есть чему радоваться! Не только тебѣ, но и Прасковьѣ Петровнѣ легко за собою пріучить бѣгать холостыхъ шаромыжниковъ... Вотъ вся тайна кокетства, было бы корыто, а свиньи будутъ!» [3]). Въ этомъ же письмѣ есть характерная жалоба на то, что она измѣнила прежнему «милому, простому аристократическому тону» [4])—и ведетъ себя «не comme il faut», а «vulgar» [5]). Поэтъ, очевидно, вспоминалъ свою жену скромной, тихой-красавицей, когда она впервые стала появляться въ московскихъ гостиныхъ. Но едва ли онъ догадывался, что въ происшедшей

---

[1]) Тамъ же, 328. «Письмо» отъ 8 окт. 1833 г.
[2]) Тамъ же, 330. «Письмо» отъ 21 октября.
[3]) Тамъ же, 331, «Письмо» отъ 30 окт.
[4]) Тамъ же.
[5]) Тамъ же.

съ женой метаморфозѣ онъ былъ очень виноватъ самъ своимъ слѣпымъ обожаніемъ: онъ тщеславился ея красотой, онъ раболѣпствовалъ передъ ней,—и, конечно, развивалъ всѣ дурныя стороны ея ограниченной души. Теперь ему оставалось или ссориться съ нею и разводиться [1]), или незамѣтно, мѣшая шутку съ упрекомъ, направлять ее на «путь истинный»... Пушкинъ, очевидно, предпочелъ второе: «Женка, женка, пишетъ онъ ей 6-го ноября, я ѣзжу по большимъ дорогамъ, живу по три мѣсяца въ степной глуши, останавливаюсь въ пакостной Москвѣ, которую ненавижу—для чего?—Для тебя женка, чтобъ ты была спокойна и блистала себѣ на здоровье, какъ прилично въ твои лѣта и съ твоею красотою. Побереги же и ты меня! Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнію мужчины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности, etc., etc.» [2]). Но, очевидно, эти попытки затронуть въ сердцѣ жены тонкія струны состраданія и признательности Пушкину не удавались,—она продолжала вести свой прежній образъ жизни и съ непонятною жестокостью подробно описывать въ письмахъ къ нему свою пустую жизнь. Около 20-го ноября Пушкинъ вернулся въ Петербургъ...

Литературное творчество Пушкина за этотъ годъ выразилось въ цѣломъ рядѣ стихотвореній,—здѣсь и переводы изъ греческихъ лириковъ Аѳенея [3]), Ксенофана Колофонскаго [4]), и изъ Мицкевича [5]),—здѣсь и

---

[1]) Соч. VII, 331: «разведусь, вотъ-те Христосъ, и пойду въ солдаты съ горя». [2]) Соч. VII, 333. [3]) Соч. II, 148. [4]) Соч. II, 148. [5]) Соч. II, 151 «Воевода», 153 «Будрысъ и его сыновья».

подражанія испанскимъ романсамъ [1]) и народнымъ пѣснямъ [2]). Изъ лирическихъ стихотвореній, касающихся интимной жизни поэта интересно только одно вышеприведенное: «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума» [3]). Кромѣ того, въ этомъ же году написана имъ «Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ» [4]), «Анджело», «Сказка о мертвой царевнѣ» [5]), окончена повѣсть «Дубровскій» [6]) и начата поэма: «Мѣдный Всадникъ» [7]),—произведеніе, сложившееся, съ одной стороны, какъ результатъ изученія личности Петра,—а съ другой, какъ отраженіе того широкаго оптимистическаго міросозерцанія, которое мирило Пушкина съ временнымъ-случайнымъ зломъ въ

---

[1]) Соч. II, 155 «Родригъ».

[2]) Соч. II, 149 «Сватъ Иванъ, какъ жить мы станемъ», 162 «Одинъ-то былъ у отца у матери единый сынъ», 162 «Другъ мой милый, красно-солнышко мое», 163 «Царь увидѣлъ предъ собою», 163 «Въ полѣ чистомъ серебрится». V, 190 «Колокольчики звенятъ».

[3]) Соч. II, 154.

[4]) Соч. III, 513.

[5]) Соч. III, 515.

[6]) Соч. IV, 120.

[7]) Соч. III, 572. Самъ Пушкинъ заявилъ, что «происшествіе, описанное въ сей повѣсти, основано на истинѣ. Подробности наводненія заимствованы изъ тогдашнихъ журналовъ. Любопытные могутъ справиться съ извѣстіемъ, составленнымъ В. И. Берхомъ» (Соч. III, 558). П. О. Морозовъ произвелъ анализъ этой поэмы (тамъ же, 572—4) и указалъ, какъ пестро было ея происхожденіе. Кн. Вяземскій въ своей брошюрѣ: «Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго Архива 1826—27», сообщаетъ, что въ чтеніи поэмы самимъ Пушкинымъ потрясающее впечатлѣніе производилъ монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ памятникомъ Петра, заключавшій въ себѣ около тридцати стиховъ, въ которомъ «слишкомъ энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи». Цензура не разрѣшила печатать эту поэму; она была напечатана послѣ смерти Пушкина въ «Современникѣ» (1837 г. т. 5) съ пропусками и передѣлками Жуковскаго. Монологъ чиновника не сохранился...

массѣ общаго добра. Мелкое, личное,—ничто передъ широкимъ вѣчнымъ, общечеловѣческимъ и даже общегосударственнымъ. Съ такой точки зрѣнія смотрѣлъ Пушкинъ на несчастье Евгенія и осудилъ въ немъ дерзость муравья, возставшаго противъ великихъ историческихъ судебъ во имя своего личнаго счастья. Мы видѣли уже, что съ такой широкой точки зрѣнія теперь смотрѣлъ иногда Пушкинъ и на свою личную жизнь, — и тогда онъ прощалъ правительству наносимыя ему оскорбленія, вѣря въ величіе его власти [1]). Такъ, изъ узкихъ, эгоистическихъ рамокъ личнаго существованія поэтъ выросъ и приподнялся надъ современностью: и въ прошломъ, и въ настоящемъ и въ будущемъ готовъ онъ былъ находить разумное и прощалъ зло во имя добра. Это сознаніе, вѣроятно, утѣшало его. Указаніе Вяземскаго на то, что въ монологѣ Евгенія энергично звучала ненависть къ европейской цивилизаціи указываетъ ясно, что въ это время отъ прежняго «западничества» у Пушкина оставалось очень мало. Быть можетъ, сближеніе его съ московскими «славянофилами» (Погодинымъ, Шевыревымъ) такъ своеобразно отразилось на его міросозерцаніи.

1834 годъ былъ для поэта еще тяжелѣе, чѣмъ всѣ предыдущіе,—въ концѣ 1833-го года онъ былъ сдѣланъ «камеръ-юнкеромъ».

Трудно сказать, было ли это «милостью», или новой цѣпью, которая еще крѣпче должна была сковать поэта, все еще внушавшаго подозрѣнія. Но несомнѣнно то, что

[1]) Не онъ одинъ былъ тогда подъ обаяніемъ власти императора Николая. Вся Европа преувеличивала тогда силу и значеніе Россіи.

этой «милостью» поэтъ былъ оскорбленъ болѣе, чѣмъ всѣми придирками Бенкендорфа. «Третьяго дня я пожалованъ въ камеръ-юнкеры (это довольно неприлично моимъ лѣтамъ) пишетъ онъ 1-го января 1834 года въ «Отрывкахъ изъ дневника». «Меня спрашивали,—доволенъ ли я камеръ-юнкерствомъ?» Доволенъ, потому что Государь имѣлъ намѣреніе отличить меня, а не сдѣлать смѣшнымъ, а по мнѣ хоть въ камеръ-пажи, только бъ не заставили меня учиться французскимъ вокабуламъ и ариѳметикѣ» [1]). 7-го января онъ тамъ же отмѣчаетъ, «Государь сказалъ княгинѣ Вяземской: «J'espère que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination». Изъ этихъ словъ видно, что было основаніе толковать это назначеніе и въ «дурную» сторону—«Jusqu'à présent il m'a tenu parole, j'ai été content de lui» [2]). «Великій Князь намедни поздравилъ меня въ театрѣ», пишетъ Пушкинъ далѣе: «покорнѣйше благодарю, ваше высочество,—до сихъ поръ всѣ надо мною смѣялись: вы первый меня поздравили!» [3]). Неудовольствіе поэта вполнѣ объяснимо: новое званіе связано было съ обязанностями царедворца, для него обременительными,—къ тому же товарищи его, другіе камеръ-юнкеры, были еще молодыми людьми и, между ними, 35-ти лѣтній Пушкинъ слишкомъ выдѣлялся. Н. М. Смирновъ въ своихъ воспоминаніяхъ сообщалъ по этому поводу слѣдующее: «Пушкина сдѣлали камеръ-юнкеромъ,—это его взбѣсило, ибо сіе званіе точно было неприлично для человѣка 34-хъ лѣтъ, и оно его

---

[1]) Соч. V, 201 «Отрывки изъ дневника».

[2]) Тамъ же.

[3]) Тамъ же.

тѣмъ болѣе оскорбило, что иные говорили, будто оно ему дано, чтобъ имѣть поводъ приглашать ко двору его жену. Притомъ на сей случай вышелъ мерзкій пасквиль, въ которомъ говорили о перемѣнѣ чувствъ Пушкина, будто бы онъ сдѣлался искателенъ, малодушенъ, и онъ, дорожившій своей славой, боялся, чтобы сіе мнѣніе не было принято публикою и не лишило его народности (т. е. «популярности»). Словомъ, онъ былъ огорченъ и взбѣшенъ и рѣшился не воспользоваться своимъ мундиромъ, чтобъ не ѣздить ко двору, не шить даже мундира» [1]). Смирновъ насильно заставилъ его купить подержанный мундиръ князя Витгенштейна. Молва о томъ, что поэтъ почтенъ придворнымъ званіемъ ради красоты жены очень была популярна въ городѣ—въ «воспоминаніяхъ» Сологуба говорится объ этомъ съ полною вѣрою: «жена его (Пушкина) была красавица, украшеніе всѣхъ собраній, и, слѣдовательно, предметъ зависти всѣхъ ея сверстницъ. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкинъ пожалованъ былъ камеръ-юнкеромъ. «Пѣвецъ свободы», наряженный въ придворный мундиръ, для сопутствованія жены-красавицы, игралъ роль жалкую, едва ли не смѣшную. Пушкинъ былъ не Пушкинъ, а царедворецъ и мужъ. Это онъ чувствовалъ глубоко» [2]).

Въ томъ же январѣ принятъ былъ въ гвардію офицеромъ баронъ д'Антесъ. Это былъ красивый блондинъ, ловкій, веселый и болтливый, хвастливый и са-

---

[1]) *Н. М. Смирновъ.* «Памятныя замѣтки» Р. Архивъ 1882, кн. 2.

[2]) *Гр. В. А. Сологубъ*, «Воспоминанія, читанныя въ засѣданіи Общества Люб. Рос. Слов. 1866 г.».

монадѣянный... «Наружность его была изъ тѣхъ, которыя нравятся свѣтскимъ женщинамъ. Онъ былъ болѣе остроуменъ, нежели уменъ, и умѣлъ оживить салонный разговоръ удачнымъ каламбуромъ, но далѣе этого способности его не шли... При ограниченномъ умѣ, онъ былъ совершенно лишенъ образованія; отличительною чертою его была привычка хвастать своими успѣхами у женщинъ,—во всемъ прочемъ онъ былъ добрый малый, хотя и пошловатый, былъ любимъ товарищами и большинствомъ знакомыхъ»[1]). Онъ «много суетился, танцовалъ ловко, болталъ, смѣшилъ публику и воображалъ себя настоящимъ героемъ»[2]).

Кромѣ камеръ-юнкерства, сдѣлавшагося незаживающей язвой въ сердцѣ Пушкина, много горя пережилъ онъ въ этомъ году отъ своихъ родителей, брата и сестры. Въ письмѣ къ Нащокину поэтъ разсказываетъ слѣдующую семейную сцену: «на-дняхъ отецъ мой посылаетъ за мной. Прихожу—нахожу его въ слезахъ, мать въ постели, весь домъ въ ужасномъ безпокойствіи... «Что такое?»—«Имѣніе описываютъ! надо скорѣе заплатить долги!» — «Ужъ долгъ заплаченъ. Вотъ и письмо отправителя! О чемъ же горе?»—«Жить нечѣмъ до октября!» — «Поѣзжайте въ деревню!»—«Не съ чѣмъ!» — Что̀ дѣлать? Надо взять имѣніе въ руки, а отцу назначить содержаніе. Новые долги, новыя хлопоты. А надобно: я желалъ бы и

---

[1]) *Венкстернъ*, op. cit., 152. Этому указанію на *любовь товарищей* противорѣчитъ отмѣченный Пушкинымъ фактъ недовольства гвардіи («Гвардія ропщетъ») на то, что въ ея среду попалъ прямо офицеромъ шуанъ д'Антесъ. (Соч. V, 202).

[2]) «Изъ воспоминаній молодости» («Вѣстникъ Европы» 1868 I л.).

успокоить старость отца, и устроить дѣла брата» [1]). Изъ слѣдующихъ писемъ видно, какъ тяжело легла эта обуза на плечи Пушкина, когда онъ взялся управлять разореннымъ отцовскимъ имѣніемъ. «Если не взяться за имѣніе, писалъ онъ женѣ, то оно пропадетъ задаромъ. Ольга Сергѣевна и Левъ Сергѣевичъ останутся на подножномъ корму, а взять ихъ придется мнѣ же на руки,—тогда-то наплачусь и наплачусь, а имъ и горя мало. Меня же будутъ цыганить. Охъ, семья, семья» [2]).

За этими расходами на поддержаніе родителей Пушкину не осталось денегъ на напечатаніе «Исторіи Пугачевскаго бунта». По его просьбѣ (26 февраля) его трудъ былъ «прочтенъ» Государемъ и, по Высочайшему приказу отъ 16 марта 1834 года, Пушкину на его напечатанье было выдано заимообразно изъ Государственнаго Казначейства 20000 руб. на 2 года безъ процентовъ и вычетовъ. При этомъ у него взяли письменное обязательство о возвратѣ этихъ денегъ къ сроку [3]).

15 апрѣля Н. Н. Пушкина съ дѣтьми уѣхала изъ Петербурга къ роднымъ, въ Калужское имѣніе «Полотняный заводъ» и «Яропольцъ», и между супругами возобновилась переписка. Въ этомъ году она особенно интересна, такъ какъ тревожное настроеніе Пушкина въ этихъ письмахъ порой доходило до того,

---

[1]) Соч. VII, 339, «Письмо къ П. В. Нащокину» въ мартѣ 1834.

[2]) Тамъ же, 354, «Письмо къ Н. Н. Пушкиной» 11 іюня.

[3]) Дѣла III, отд. 184. Потомъ выяснилось, что и вычеты (въ пользу инвалидовъ), и проценты были отчислены отъ ссуды. Пушкину пришлось въ 1835 году хлопотать о возвращеніи вычетовъ (тамъ же 168).

что онъ уже не поддѣлывается, какъ раньше, подъ уровень пониманія своей жены, а прямо и рѣзко открываетъ передъ ней свои тяжелыя думы. Очевидно, и отношенія его къ женѣ теперь перестали быть ровными: если, по прежнему, онъ свои письма начинаетъ нѣжностями, то кончаетъ ихъ иногда, по его словамъ, «плюхой» [1]). По прежнему даетъ онъ женѣ разные совѣты. Въ этихъ совѣтахъ порою уже звучитъ раздраженіе, даже озлобленіе. «Не читай скверныхъ книгъ дядиной библіотеки, не марай своего воображенія!» [2])... «Женка, женка! если ты и въ этакой бездѣлицѣ меня не слушаешь, такъ какъ мнѣ не думать!..» [3])—краснорѣчиво прерываетъ онъ въ одномъ письмѣ приступъ ревности... А она все не понимала его,—отправленная имъ въ деревню съ дѣтьми, едва ли не съ цѣлью отвлечь ее отъ ухаживателей, она завела ихъ и въ глухой деревнѣ, среди сосѣдей и, по прежнему, подробно доносила о своихъ успѣхахъ мужу. Въ отвѣтахъ своихъ онъ, очевидно, напрягалъ всѣ силы своей измученной души, чтобы сдержать приливъ раздраженія: «просилъ я тебя по Калугамъ не разъѣзжать, пишетъ онъ, да, видно, ужъ, что у тебя такая натура! О твоихъ кокетственныхъ сношеніяхъ съ сосѣдомъ говорить нечего! Кокетничать я самъ тебѣ позволилъ,—но читать о томъ листъ кругомъ подробнаго описанія вовсе мнѣ не нужно! Побранивъ тебя, беру нѣжно тебя за уши и цѣлую; благодарю тебя за то, что ты Богу

---

[1]) Тамъ же, 346 «Письмо отъ 30 апр.».
[2]) Тамъ же, 343 «Письмо отъ 20—22 апр.».
[3]) Тамъ же, 346 «Письмо отъ 30 апр.».

молишься на колѣнахъ посреди комнаты!» [1]). Поэтъ, очевидно, наконецъ, понялъ, что́ за существо его жена и, быть можетъ, въ это время изъ лучшихъ чувствъ, которыя когда-то его воодушевляли, въ его сердцѣ осталась теперь только жалость къ этой пустой, безвольной и безличной Nathalie, которая не была ни матерью семейства, ни другомъ его, ни экономкой... «Женщина, говоритъ Гальяни, est un animal naturellement faible et malade»—пишетъ онъ женѣ. «Какія же вы помощницы, или работницы? Вы работаете только ножками на балахъ и помогаете мужьямъ мотать. И за то спасибо!» [2]) Теперь только, когда всѣ очарованія прошли, сознялъ Пушкинъ, какой обузой была для него прелестная жена. Это сознаніе сказалось въ попыткахъ убѣдить себя и ее, что семейная «зависимость» для него благотворна: «никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависимости, писалъ онъ женѣ. Я долженъ былъ на тебѣ жениться, потому что всю жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ... Зависимость жизни семейственной дѣлаетъ человѣка болѣе нравственнымъ!» [3])... Но если въ такихъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ онъ находилъ еще утѣшеніе, то порою у него прорывается ропотъ: «непріятна зависимость, говоритъ онъ, особенно, когда лѣтъ 20 человѣкъ былъ независимъ. Это не упрекъ тебѣ, а ропотъ на самого себя!» [4])... Особенно угнетали его узы денежныя и служебныя... «Я не долженъ былъ вступать въ службу, пишетъ онъ женѣ,

---

[1]) Тамъ же, 369 «Письмо отъ 3 августа».
[2]) Тамъ же, 357 «Письмо отъ 26 іюля».
[3]) Тамъ же, 353 «Письмо отъ 8 іюля».
[4]) Тамъ же, 349 «Письмо отъ 15 мая».

и что еще хуже опутать себя денежными обязательствами! Зависимость, которую налагаемъ на себя изъ честолюбія, или изъ нужды, унижаетъ насъ. Теперь они смотрятъ на меня, какъ на холопа, съ которымъ можно поступать, какъ имъ угодно. Опала легче презрѣнія. Я, какъ Ломоносовъ, не хочу быть шутомъ ниже у Господа Бога!» [1]) Впрочемъ, въ добрыя минуты онъ старался себя увѣрить, что и служба, и денежныя обязательства были лишь временной тяготой, безъ которыхъ нельзя было выбраться на путь свободы. «Ты понимаешь необходимость, писалъ онъ женѣ,—дай сдѣлаться мнѣ богатымъ, а тамъ, пожалуй, и путать можемъ въ свою голову!» [2]) «Я деньги мало люблю, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ, но уважаю въ нихъ единственный способъ благопристойной независимости» [3]). Такимъ образомъ, попавъ въ кругъ, изъ котораго ему не суждено было уже выбраться, онъ дѣлалъ долги, чтобы обезпечить себѣ возможность работать, и работалъ «до низложенія ризъ» [4]), чтобы платить долги... Но творчество его слабѣло, богатство не приходило, а долги росли, и «зависимость» дѣлалась все чувствительнѣе... Всего легче казалось ему разстаться съ гнетомъ служебныхъ узъ, — и онъ сталъ мечтать о томъ, чтобы «плюнуть на Петербургъ, да подать въ отставку, да удрать въ Болдино, да жить баріномъ» [5])... «Отказаться отъ всего и жить припѣваючи» [6]), «удрать

[1]) Тамъ же, 353.
[2]) Тамъ же, 357 «Письмо въ концѣ іюня»
[3]) Тамъ же, 365 «Письмо отъ 13 іюля».
[4]) Тамъ же, 367 «Письмо отъ 26 іюля».
[5]) Тамъ же, 349 «Письмо отъ 15 мая».
[6]) Тамъ же, 350 «Письмо въ концѣ мая».

на чистый воздухъ» [1]), «удрать отъ жизни, улизнуть [2]), отправиться восвояси [3]), въ отставку [4]),—вотъ, какія желанія стали его преслѣдовать особенно настойчиво въ этомъ году. Оскорбленный своимъ «камеръ-юнкерствомъ» [5]), поэтъ рѣшилъ, было, не ходить ко двору, но за это онъ подвергся строгому выговору [6]); когда онъ однажды явился во дворецъ во фракѣ, ему сдѣлали выговоръ за то, что онъ не надѣваетъ мундира. Немудрено, что раздраженіе его росло, у него разлилась желчь [7]), письма его къ женѣ дѣлаются холодныя [8]) «горькія и мрачныя» [9]); онъ пишетъ ихъ, «скрѣпя сердце» [10]), теперь шутка замираетъ у него на устахъ... Онъ жалуется на царя, который его «упекъ въ камеръ-пажи подъ старость лѣтъ» [11]). «Все тотъ (т. е. императоръ) виноватъ, пишетъ онъ въ одномъ письмѣ, но Богъ съ нимъ!» [12])... Поэтъ изнемогалъ въ неравной борьбѣ—

---

[1]) Тамъ же. 350.
[2]) Тамъ же, 357.
[3]) Тамъ же, 358.
[4]) Тамъ же, 350, 359.
[5]) Тамъ же, 339, 340, 350.
[6]) Женѣ онъ писалъ 17 апрѣля: «государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ камергеровъ и камеръ-юнкеровъ и велѣлъ намъ это объявить... извинился письменно. Говорятъ, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки. Вообрази, что мнѣ, съ моей сѣдой бородкой, придется выступать съ Безобразовымъ, или Реймарсомъ—ни за какія благополучія! j'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, какъ говоритъ г-нъ Jourdain» (тамъ же 341).
[7]) Тамъ же, 351, 352.
[8]) Тамъ же.
[9]) Тамъ же, 353.
[10]) Тамъ же, 352.
[11]) Тамъ же, 343.
[12]) Тамъ же, 358.

ему уже не хватало прежняго задора, прежней смѣлости, чтобы подвергаться новымъ опаламъ. Къ тому же изъ своихъ жизненныхъ бурь онъ вынесъ примиреніе съ жизнью, — «добродушіе, коимъ, по его собственному признанію, преисполненъ онъ былъ до глупости, несмотря на опыты жизни» [1]). Вотъ почему, рѣшившись просить отставки, онъ заявилъ 15 іюня объ этомъ Бенкендорфу письменно въ слѣдующихъ «умоляющихъ» выраженіяхъ: «Monsieur le comte, des affaires de famille nécessitant ma présence, tantôt à Moscou tantôt dans l'intérieur, je me vois obligé de me retirer du service, et je supplie Votre Excellence de m'en obtenir la permission» [2]). Какъ послѣднюю милость, просилъ онъ Государя не лишать его права посѣщать архивы. На это письмо онъ получилъ сухой, холодный отвѣтъ, освобождающій его отъ службы, но въ то же время запрещающій посѣщать архивы. «Государь Императоръ, писалъ Бенкендорфъ 30 іюня, не изъявилъ своего соизволенія, такъ какъ право сіе можетъ принадлежать единственно людямъ, пользующимся особенною довѣренностью начальства» [3]). Видя, что простая просьба объ отставкѣ принята властями, какъ желаніе нанести имъ оскорбленіе, сознавая, кромѣ того, что лишеніе права посѣ-

[1]) Тамъ же 353. Сознавая все это, онъ готовъ былъ мириться даже съ такими унижающими его отношеніями: «видѣлъ я трехъ царей; первый (Павелъ) велѣлъ снять съ меня картузъ и пожурилъ за меня мою няньку; второй меня не жаловалъ; третій, хоть и упекъ меня въ камеръ-пажи подъ старость лѣтъ, но промѣнять его на четвертаго не желаю; отъ добра добра не ищутъ» (тамъ же 343).

[2]) Дѣла III Отд. 138.

[3]) Тамъ же, 139.

щать архивы грозитъ ему финансовымъ крахомъ, Пушкинъ растерялся и поторопился обратиться съ новой просьбой, чтобъ его прошенію объ отставкѣ не давали ходу... «На дняхъ я чуть было бѣды не сдѣлалъ», разсказывалъ онъ женѣ: «съ *тѣмъ* чуть было не побранился: и трухнулъ то я, да и грустно стало! Съ этимъ поссорюсь,—другого не наживу. А долго на него сердиться не умѣю, хоть онъ и неправъ!» [1]). «На того я пересталъ сердиться, говоритъ онъ въ другомъ письмѣ, потому что, toute réfléxion faite, не онъ виноватъ въ свинствѣ, его окружающемъ. А живя въ н . . ., поневолѣ привыкнешь къ . . . . ., и вонь его тебѣ не будетъ противна, даромъ что . . . .!» [2]). Поэтъ терялъ голову, недоумѣвалъ, почему его нежеланіе «служить» неизбѣжно связывалось съ оскорбленіемъ для государя. Онъ не могъ себѣ самому растолковать, что̀ такое ужасное совершилъ онъ своимъ прошеніемъ, онъ извинялся, самъ не сознавая, за что̀ онъ долженъ извиняться. «Я, право, самъ не понимаю, писалъ онъ Жуковскому, что̀ со мной дѣлается. Идти въ отставку, когда того требуютъ обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствіе, какое тутъ преступленіе? Какая неблагодарность? Но государь можетъ видѣть въ этомъ что-то похожее на то, чего понять всетаки не могу. Въ такомъ случаѣ я не подаю въ отставку и прошу оставить меня въ службѣ... Что̀ мнѣ дѣлать? Просить прощенія? Да въ чемъ? Къ Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему,

---

[1]) Соч. VII, 364. «Письмо къ Н. Н. Пушкиной 11 іюня, еще 375. Письмо отъ 13 іюля».

[2]) Соч. VII, 355—6 «Письмо къ Н. Н. Пушкиной 11 іюня».

что у меня на сердцѣ. Но не знаю, почему письма мои неприличны!» [1]). Онъ до сихъ поръ еще не понималъ, что на него, смотрятъ, какъ на дикаго звѣря, посаженнаго въ золотую клѣтку съ тѣмъ, чтобы обратить его въ домашнее животное,—между тѣмъ, свободная натура его слишкомъ медленно уступала «приученію», и это раздражало такихъ «дрессировщиковъ», какъ гр. Бенкендорфъ.

Какимъ унизительнымъ оскорбленіямъ подвергали его, великаго писателя, человѣка, отмѣченнаго «царскою милостію», «камеръ-юнкера Двора», видно, хотя бы изъ того, что даже письма его къ женѣ прочитывались полиціей. Когда онъ узналъ объ этомъ, онъ былъ взбѣшенъ. «Мысль, что кто-нибудь насъ съ тобою подслушиваетъ, писалъ онъ женѣ, приводитъ меня въ бѣшенство à la lettre. Безъ политической свободы жить очень можно, безъ семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно. Каторга не въ примѣръ лучше! Это писано не для тебя!» [2])... Что обозначаютъ эти заключительныя слова? Адресованы-ли они къ тѣмъ чиновникамъ, которые прочитывали его интимныя письма, или въ этомъ: «писано не для тебя» скрывалась мысль Пушкина, что жена его была слишкомъ легкомысленна, чтобы понять всю глубину его негодованія? Увы, кажется, вѣрнѣе второе толкованіе—она, дѣйствительно, не въ состояніи была этого постигнуть, — она не понимала всего трагизма его жизни,—въ этотъ тяжелый годъ она вдругъ рѣшилась хлопотать, чтобы ея сестеръ сдѣлали фрейли-

[1]) Соч. VII, 362 «Письмо къ В. А. Жуковскому 6 іюля».
[2]) Соч. VII, 351 «Письмо 3 іюня».

нами! Пушкинъ отвѣчалъ, насколько могъ, спокойно: «охота тебѣ думать о помѣщеніи сестеръ во дворецъ. Во-первыхъ, вѣроятно, откажутъ, а, во-вторыхъ, коли и возьмутъ, то подумай, что за скверные толки пойдутъ по свинскому Петербургу! Ты слишкомъ хороша, мой ангелъ, чтобъ пускаться въ просительницы. Погоди; овдовѣешь,—постарѣешь, тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной совѣтницей. Мой совѣтъ тебѣ и сестрамъ быть подалѣ отъ двора!» [1])... Но Пушкина крѣпко стояла на своемъ. Вѣроятно, мать, у которой она прожила лѣто въ деревнѣ, внушила ей эту идею. Мужу она писала, что сестеръ привезетъ въ Петербургъ и помѣститъ ихъ у себя. Пушкинъ предвидѣлъ новые расходы, новыя сплетни, безпокойства, у него на шеѣ, кромѣ долговъ, были еще отецъ съ матерью, братъ съ сестрой, — теперь присоединялись еще золовки. «Эй, женка, смотри!.. писалъ онъ женѣ, мое мнѣніе: семья должна быть одна подъ одной кровлей: мужъ, жена, дѣти, покамѣстъ малы; родители, когда уже престарѣлы, а то хлопотъ не оберешься, и семейственнаго спокойствія не будетъ!» [2]). Такъ несмѣло отстаивалъ Пушкинъ святость своего очага.

Между тѣмъ, мысль о близкой смерти въ это время начала уже темнымъ призракомъ носиться передъ нимъ [3]); онъ признается, что «не радъ жизни» [4]), онъ умоляетъ жену уменьшить расходы, дать ему возможность работать для нея же... Онъ работалъ, «до низло-

---

[1]) Соч. VII, 355 «Письмо отъ 11 іюня».
[2]) Соч. VII, 366 «Письмо отъ 14 іюля».
[3]) Соч. VII, 366, 357, 370.
[4]) Соч. VII, 347 «Письмо къ женѣ 13 мая».

женія ризъ» [1]), съ ужасомъ замѣчая, что сила творчества «изсякаетъ» [2]) въ немъ... И мысль о судьбѣ жены и дѣтей дѣлалась для него теперь все страшнѣе и страшнѣе. «Умри я сегодня, восклицаетъ онъ, что̀ съ Вами будетъ! Мало утѣшенія въ томъ, что меня похоронятъ въ полосатомъ кафтанѣ и еще на тѣсномъ петербургскомъ кладбищѣ, а не въ церкви,—на просторѣ, какъ прилично порядочному человѣку!» [3])... «Тоска», «досада», «скука», «безпокойство» все сильнѣе овладѣваютъ поэтомъ и вызываютъ у него, въ одномъ письмѣ къ женѣ, характерное восклицаніе: «свинство уже давно меня *ни въ комъ* не удивляетъ!» [4]). Поэтъ подозрѣвалъ, между прочимъ, что жена читала кому-то его письма, или даже давала ихъ списывать!.. Въ этотъ годъ Пушкинъ, словно, отошелъ отъ всѣхъ, переписывался почти только съ женой да съ Бенкендорфомъ, держался въ сторонѣ отъ общества, даже отъ ресторана отказался ради одинокаго обѣда дома [5]). Немало мучила его также мысль о томъ, что его, когда-то шумная, популярность теперь слабѣла съ каждымъ годомъ,—Смирдинъ за его трудъ предлагалъ меньшій гонораръ, критики и публика уже не стѣснялись въ отзывахъ. Погодину онъ писалъ 6-го апрѣля: «пишу много про себя, а печатаю поневолѣ и единственно для денегъ,—охота являться передъ публикою, которая васъ не понимаетъ, чтобъ... дураки ругали васъ потомъ шесть

[1]) Соч. VII, 367 «Письмо отъ 26 іюля».

[2]) Соч. VII, 272 «Письмо къ А. А. Фуксъ отъ 19 октября».

[3]) Соч. VII, 357. Письмо въ концѣ іюня.

[4]) Соч. VII, 358 «Письмо 15 мая».

[5]) Соч. VII, 341 «Письмо къ Н. Н. Пушкиной отъ 17 апрѣля еще (VII, 349).

мѣсяцевъ въ своихъ журналахъ только что не по...! Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Нынѣ это—вшивый рынокъ!» [1]).

Среди массы всевозможныхъ мелкихъ и крупныхъ непріятностей, какъ изъ «рога изобилія» сыпавшихся на голову поэта, свѣтлымъ утѣшеніемъ въ его жизни была нѣжная трогательная любовь къ дѣтямъ,— «Сашка» и «Машка», это имена, постоянно окруженныя любовью, забота о нихъ оттѣсняетъ теперь въ его жизни интересы литературные, заботы о женѣ, о друзьяхъ... [2]). Онъ ихъ всегда заочно «благословляетъ», ихъ «цѣлуетъ», объ нихъ постоянно справляется [3])...

Изъ друзей его теперь одинъ Нащокинъ былъ по прежнему особенно близокъ Пушкину. Многое сближало съ нимъ поэта: сходство судьбы, житейская неустроенность, безалаберность характеровъ и, обоимъ присущее, «удивительное добродушіе и умная терпѣливая снисходительность къ жизни» [4]). Нащокинъ понималъ Пушкина лучше, чѣмъ многіе изъ прежнихъ

---

[1]) Соч. VII, 340 «Письмо къ Погодину 6 апрѣля».

[2]) Соч. VII, 341, 342, 346 и т. д.

[3]) Соч. VII, 342, 343, 344 и т. пд. «Онъ доволенъ, счастливъ гордится тѣмъ, что онъ—отецъ семейства, и объявилъ намъ, что уже подумываетъ о воспитаніи своихъ дѣтей» (*Смирнова*, op. cit., I, 88 «Сверчокъ уже заботится о воспитаніи своихъ дѣтей, и онъ правъ: оно начинается съ первымъ зубомъ, а, можетъ быть, и ранѣе» (тамъ же, 231); особенно привязался поэтъ къ своему мальчику: «всегда присутствуетъ, какъ маленькаго одѣваютъ, кладутъ въ кроватку, убаюкиваетъ, прислушивается къ его дыханію; уходя, три раза перекреститъ, поцѣлуетъ въ лобикъ и долго стоитъ, стоитъ въ дѣтской, имъ любуясь» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 345).

[4]) Соч. VII, 373 «Письмо къ Нащокину въ декабрѣ».

близкихъ друзей поэта. Самъ вѣчно запутанный въ долгахъ, онъ всегда шелъ къ нему съ посильною помощью, когда могъ,—онъ умѣлъ понимать и прощать въ Пушкинѣ то, что̀ рѣзало глаза другимъ. Когда однажды друзья наперерывъ стали упрекать Пушкина за то, что уклоняется отъ ихъ общества, а знается съ нѣкимъ Боголюбовымъ, котораго называли уваровскимъ шпіономъ-переносчикомъ, и Пушкинъ отъ этихъ нападеній былъ смущенъ и терялся,—ему не хотѣлось признаться, что онъ доставалъ деньги черезъ этого Боголюбова—Нащокинъ сумѣлъ защитить друга такъ, какъ не могъ защититься онъ самъ [1]).

26 августа поэтъ поѣхалъ къ женѣ въ Калугу; по дорогѣ къ Москвѣ онъ видѣлся съ А. Н. Раевскимъ, 13-го сентября онъ былъ уже въ Болдинѣ. Въ сентябрѣ же вернулась въ Петербургъ его жена съ дѣтьми. 18 октября и онъ вернулся въ столицу. Литературная дѣятельность Пушкина за этотъ злосчастный 1834-ый годъ выразилась очень скромно; онъ окончилъ и напечаталъ «Исторію Пугачевскаго бунта», «Пиковую Даму», началъ и не окончилъ поэму «Галубъ» [2]),—любопытное произведеніе, написанное подъ вліяніемъ Шатобріана «Le génie de christianisme» [3]),

---

[1]) «Особенно ловко Нащокинъ кончилъ, обратясь къ попрекнувшему Боголюбовымъ: «Ты, братъ, кажется, школу жизни изучилъ на опытѣ,—прошелъ огонь и воду, такъ могъ бы понять, что въ людскихъ отношеніяхъ и Боголюбовыхъ создалъ Господь Богъ *на всякій случай*. Да! а вотъ и доказательство: вы нападаете съ упреками, какъ лицемѣрные друзья—на многострадальнаго Іова, а Боголюбовъ ищетъ для него денегъ.» (*Куликовъ*, op. cit.).

[2]) Соч. III, 539.

[3]) На идею этого произведенія, возвеличивающаго культурное значеніе христіанства могли, кромѣ Шатобріана, вліять Шеллингъ и Ча-

въ которомъ поэтъ хотѣлъ доказать великое культурное значеніе христіанства. Можно думать, что произведеніе отразило и личныя настроенія поэта. Юноша-горецъ, подъ вліяніемъ ученія Христа просвѣтленными глазами смотрящій на жизнь, не идетъ на борьбу съ нею, уступаетъ ей... Не самъ ли это Пушкинъ, старавшійся все просвѣтить, всему уступить, передъ всѣмъ смириться—во имя тѣхъ высокихъ идеаловъ, которые постепенно прояснялись въ его многострадальной душѣ?...

Изъ сказокъ въ «народномъ духѣ» написана имъ въ Болдинѣ «Сказка о золотомъ пѣтушкѣ» [1]). Изъ лирическихъ произведеній къ этому году относятся только три: «Странникъ» [2]) (изъ Буньяна), «Мицкевичъ» [3]) и «Къ Н...» [4]). Первое стихотвореніе, хотя и переводное, имѣетъ, несомнѣнно-автобіографическое значеніе. Поэтъ остановился на немъ потому, что идея этого произведенія удивительно отвѣчала его настроеніямъ... Герой этой поэмы—человѣкъ, оскорбленный и униженный жизнью, потому и тоскующій; долго его никто не могъ понять, такъ какъ онъ скрывалъ свою тоску отъ жены и дѣтей. Но когда прорвалась, наконецъ, наружу его тревога,—домашніе его съ ожесточеніемъ стали обращать его на «правый путь»—бранью и презрѣньемъ... Измученный, усталый, встрѣчаетъ онъ мудраго юношу и раскрываетъ ему свою

адаевъ: интересъ къ исторической роли христіанства (особенно католичества) въ это время былъ очень распространенъ.

[1]) Соч. II, 530.

[2]) Соч. II, 164.

[3]) Соч. II, 166.

[4]) Соч. II, 168.

душу: «я осужденъ на смерть, говоритъ онъ, и позванъ въ судъ загробный—и вотъ о чемъ крушусь,—къ суду я не готовъ и смерть меня страшитъ!» Юноша-мудрецъ совѣтуетъ ему все оставить и идти на тотъ слабый свѣтъ, что еще мерцалъ передъ нимъ вдали—

«Иди-жъ, онъ продолжалъ, держись сего ты свѣта!
Пусть будетъ онъ тебѣ единственная мѣта,
Пока спасенья тѣсныхъ вратъ ты не достигъ. Ступай!

И странникъ бросилъ все,—семью и друзей—и устремился къ «свѣту»... За нимъ вслѣдъ неслись просьбы, ругань, смѣхъ, за нимъ гнались, но онъ все шелъ и шелъ, одинокій, томимый одной мучительной мечтой,—

«. . . скорѣй узрѣть, оставя тѣ мѣста,
Спасенія узкій путь и тѣсныя врата [1]).

Если мрачную идею этого произведенія сравнить съ скорбными чувствами самого поэта, изнывающаго и тоскующаго, мы должны будемъ признать въ «странникѣ» самого Пушкина [2]). Другое произведеніе «Мицкевичъ», тоже очень характерно для пониманія Пушкина—это воспоминаніе о великомъ польскомъ поэтѣ,—когда то гостѣ, «мирномъ, благосклонномъ», а потомъ обратившимся въ врага. «О, Боже, возврати Твой миръ въ его озлобленную душу!» [3]),—мольба, которою оканчивается это произведеніе, вполнѣ гармонируетъ съ міросозерцаніемъ Пушкина, который теперь, въ самыя тяжелыя для себя минуты, находилъ утѣшеніе въ преклоненіи передъ свѣтлыми идеалами любви и всепрощенія...

---

[1]) Соч. II, 166. [2]) Интересно было бы изслѣдовать, насколько стихотворный переводъ Пушкина близокъ къ оригиналу: «The Pilgrim's progress from this world to that which is to come». [3]) Соч. II, 167.

1835 годъ не принесъ поэту такъ много горя, какъ предыдущій, но и онъ не далъ ему желаннаго покоя. Заботы о матеріальномъ положеніи семьи мучили его попрежнему. Хотя «Исторія Пугачевскаго бунта» принесла ему нѣкоторый доходъ, но онъ въ теченіе двухъ лѣтъ жилъ въ долгъ, а потому доходы его цѣликомъ уходили на погашеніе старыхъ долговъ. 1-го іюля онъ просилъ черезъ Бенкендорфа разрѣшенія у Государя на нѣсколько лѣтъ поселиться въ деревнѣ [1]). На письмѣ Пушкина Государь карандашемъ написалъ: «нѣтъ препятствія ему ѣхать, куда хочетъ, но не знаю, какъ разумѣетъ онъ согласить сіе со службою. Спросите, хочетъ ли отставки, ибо иначе нѣтъ возможности его уволить на столь продолжительный срокъ» [2]). Пушкинъ отвѣтилъ, что предаетъ свою судьбу «въ царскую

---

[1]) Соч. VII, 379. Онъ объяснялъ свою просьбу отсутствіемъ средствъ къ существованію: «travailler pour vivre n'a pour moi, certes, rien d'humiliant, mais accoutumé à l'indépendance, il m'est tout à fait impossible d'écrire pour de l'argent, et l'idée seule suffit pour me reduire à l'inaction» (Дѣла III Отд. 155). Онъ говоритъ дальше, что жизнь въ Петербургѣ очень дорога, что онъ хочетъ сократить расходы, чтобъ избѣгнуть «un avenir d'inquiétude et d'embarras si non de misère et de désespoir»; три, или четыре года деревенской жизни, по его словамъ, поправили бы его дѣла и позволили бы ему вернуться въ Петербургъ болѣе обезпеченнымъ. Онъ просилъ увѣрить Государя, что только крайняя нужда заставила его просить объ этой новой милости. «J'ai été comblé des bienfaits de l'Empereur, — пишетъ онъ, je serai au desespoir que sa Majesté put supposer dans mon désir de m'éloigner de Pbg. un autre motif que, celui qu'une absolue nécéssité. Le moindre signe de mécontentement ou de soupçon suffirait pour me retenir dans la position, où je me trouve, — car enfin j'aime mieux être gêné dans mes affaires que perdre dans l'opinion de celui, qui a été mon bienfaiteur» (тамъ же, 155—6).

[2]) Дѣла III отд. 154.

волю» [1]) и проситъ только оставить за нимъ разрѣшеніе посѣщать архивы. Вѣроятно, этотъ прямой и рѣшительный отвѣтъ Пушкина не вызвалъ со стороны правительства какой-нибудь опредѣленной резолюціи, такъ какъ 22-го іюля Пушкинъ писалъ уже второе письмо по этому же поводу Бенкендорфу, съ просьбой о помощи: «Графъ, пишетъ онъ, я имѣлъ честь быть у Вашего Сіятельства, но не имѣлъ счастія застать Васъ. Осыпанный благодѣяніями Его Величества, я обращаюсь къ Вамъ, графъ, чтобы выразить благодарность за участіе, которое Вы изволили принять во мнѣ и изложить откровенно мое положеніе. Въ продолженіе послѣднихъ пяти лѣтъ моего пребыванія въ Петербургѣ у меня набралось около 60 тысячъ рублей долгу. Кромѣ того, я былъ принужденъ взять на руки дѣла моего семейства, которыя такъ затруднили меня, что я долженъ былъ отказаться отъ наслѣдства и единственнымъ средствомъ къ приведенію дѣлъ моихъ въ порядокъ было—или удаленіе въ деревню, или заемъ однажды навсегда крупной денежной суммы. Для меня благодарность—чувство нетягостное и привязанность моя къ особѣ Императора, конечно, не возмущается тайною мыслью стыда, или угрызенія совѣсти, но я не могу скрыть отъ себя, что не имѣю рѣшительно никакихъ правъ на благодѣяніе Его Величества, и что мнѣ невозможно просить о чемъ либо. И такъ, графъ, предаю еще разъ въ ваши руки мою участь и, прося Васъ принять дань

[1]) Дѣла III Отд. 157. Письмо 4 іюля. Этому письму предшествуетъ французское (1-го іюня) къ Бенкендорфу, въ которомъ поэтъ свою судьбу вручаетъ въ его руки (тамъ же, 156).

моего глубочайшаго уваженія, имѣю честь быть!»... На этотъ разъ резолюція была положена «милостивая»: съ поэта не захотѣли снять цѣпей, — Государь поручилъ сказать, что, если ему нужны деньги, то 10.000 р. будутъ ему выданы, а отпускъ онъ можетъ получить на 6 мѣсяцевъ [1]), съ разрѣшеніемъ продлить его если понадобится. 26-го іюля Пушкинъ благодаритъ за вниманіе и проситъ выдать, хотя бы, 30.000 р., но не 10.000 р., удерживая его жалованье (5000 р. въ годъ) впредь до погашенія долга. Эта просьба была уважена [2]). Но министерство финансовъ распорядилось изъ этихъ денегъ вычесть въ счетъ долга 1834 г. (20.000 р.)—10.000р. съ процентами (10.268 р. 33 к.) и 5% въ пользу инвалидовъ (1500 р.)—такимъ образомъ, на руки ему выдали вмѣсто 30.000 руб.— 18.231 р. 67 к... Пушкину опять пришлось хлопотать о возвращеніи ему незаконно-удержаннаго. Только 10

---

[1]) Повидимому, Пушкинъ стѣснялся обременять просьбами о себѣ людей даже близкихъ,—напримѣръ, Смирновыхъ. Въ запискахъ своихъ она передаетъ слова мужа, что онъ не рѣшается говорить съ Государемъ о Пушкинѣ, такъ какъ тотъ ни разу не намекнулъ ему, что хотѣлъ бы такого посредничества. Наконецъ, у него однажды прорвалась просьба, чтобы Смирнова походатайствовала за него передъ Государемъ объ отпускѣ путешествовать за границу. «Мнѣ кажется, что мнѣ сильнѣе хочется уѣхать очень, очень далеко, чѣмъ въ ранней молодости, когда я просидѣлъ два года въ Михайловскомъ... Впрочемъ, у меня есть предчувствія, я думаю, что уже недолго проживу»... Послѣ этого онъ, по своему обыкновенію, началъ шутить, трунить надъ самимъ собою, надъ своими предчувствіями. «Онъ грустенъ, озабоченъ и никто изъ его близкихъ не понимаетъ, что его мучаетъ, такъ какъ они находятъ, что онъ долженъ быть ихъ управляющимъ и стремиться сдѣлать карьеру, чтобы умереть камергеромъ! Ихъ жизненный идеалъ «имѣть входъ за кавалергардовъ» (тамъ же I, 340—1).

[2]) Дѣла III Отд. 162.

октября 1835 г. вопросъ былъ разрѣшенъ для него въ благопріятномъ смыслѣ [1]).

Такимъ образомъ, поэтъ на неопредѣленное время опять принужденъ былъ остаться на службѣ, да еще безъ жалованья. Нужно знать Пушкина, чтобы понять, что̀ онъ пережилъ за это время унизительныхъ просьбъ и хлопотъ [2]).

27-го августа онъ получилъ *четырехмѣсячный* отпускъ, и 7-го сентября, устроивъ кое-какъ свои дѣла, отправился въ Михайловское, оставивъ жену съ тремя дѣтьми (14-го мая родился у него сынъ Григорій), подъ Петербургомъ на дачѣ. Поѣхалъ онъ въ деревню, очевидно, въ разсчетѣ, что тамъ вдохновеніе посѣтитъ его; но, судя по письмамъ этого года, тревога все время владѣла его сердцемъ и парализовала его творчество... Работать онъ не могъ: «писать не начиналъ и не знаю, когда начну!» [3]),—сообщаетъ онъ

---

[1]) Дѣла III Отд., 168.

[2]) Пушкинъ вполнѣ ясно сознавалъ характеръ отношеній къ нему Бенкендорфа. «Человѣкъ, мнѣ наиболѣе враждебный, говорилъ онъ—Бенкендорфъ; изъ-за «Цыганъ» онъ защищалъ нѣмца, который укралъ мое авторское право на второе изданіе; начало нашего антагонизма относится, я думаю, къ этому времени; кромѣ того, онъ обладаетъ педантическимъ упрямствомъ нѣмецкаго совѣтника,—онъ совершенно лишенъ идеала, воображенія и былъ-бы превосходнымъ чиновникомъ въ Гессенъ-Касселѣ и всякой другой трущобѣ; онъ дѣйствуетъ въ странѣ, которой не знаетъ. Онъ исполненъ тайнаго презрѣнія нѣмцевъ къ «die Russen», онъ не любитъ Россію, не любитъ государя, такъ какъ совсѣмъ не понимаетъ его; онъ вѣренъ, насколько можетъ быть вѣрнымъ—и въ этомъ все его достоинство... Я чувствую, что онъ могъ вредить и будетъ вредить» (*Смирнова*, op. cit. I, 271). Между прочимъ, Пушкинъ подозрѣвалъ, что Бенкендорфъ и вооружалъ [illegible] въ него лицъ «изъ свѣта» (напр., гр. Уварова) (тамъ же, 271).

[3]) Соч., VII, 381.

въ письмѣ 14-го сентября. «Я все безпокоюсь, пишетъ онъ женѣ 21-го сентября, и ничего не пишу, а время идетъ!.. Ты не можешь вообразить, какъ живо работаетъ воображеніе, когда сидишь одинъ между четырехъ стѣнъ, или ходишь по лѣсамъ, когда никто не мѣшаетъ намъ думать, — думать до того, что голова закружится! А о чемъ я думаю? Вотъ о чемъ,— чѣмъ намъ жить будетъ? Отецъ не оставитъ мнѣ имѣнія,—онъ уже его съ половину промоталъ,—ваше имѣніе на волоскѣ отъ погибели. Царь не позволяетъ мнѣ ни записаться въ помѣщики, ни въ журналисты. Писать книги для денегъ, видитъ Богъ, не могу! У насъ ни гроша вѣрнаго дохода, а вѣрнаго расхода 30.000 руб. Все держится на мнѣ, да на теткѣ. Но ни я, ни тетка невѣчны. Что изъ этого будетъ, Богъ знаетъ! Покамѣстъ грустно!» [1]). 25-го сентября онъ пишетъ: «вообрази, что до сихъ поръ не написалъ я ни строчки, а все потому, что неспокоенъ» [2]). 29-го сентября онъ опять пытается объяснить причины своего безпокойства: «государь обѣщалъ мнѣ газету, а тамъ запретилъ, заставляетъ меня жить въ Петербургѣ, а не даетъ мнѣ способовъ жить моими трудами. Я теряю время и силы душевныя, бросаю за окошко деньги трудовыя и не вижу ничего въ будущемъ. Отецъ мотаетъ имѣніе безъ удовольствія, какъ безъ разсчета,—твой теряетъ свое отъ глупости и безпечности покойника Аѳ. Ник. Что изъ этого будетъ? Господь вѣдаетъ. Я провожу время очень однообразно. Утромъ дѣла не дѣлаю, а такъ, — изъ

[1]) Соч. VII, 382.
[2]) Тамъ же, 383.

пустого въ порожнее переливаю. Вечеромъ ѣзжу въ Тригорское, роюсь въ старыхъ книгахъ, да орѣхи грызу. А ни стиховъ, ни прозы писать и не думаю!» [1]). Только элегія: «Вновь я посѣтилъ».. [2]), осталась памятникомъ этого неудачнаго посѣщенія поэтомъ деревни: «усталымъ пришельцемъ» пришелъ онъ сюда, подъ сѣнь «Михайловскихъ рощъ»—и здѣсь невольно вспомнилъ все, утраченное съ годами: когда-то, еще не такъ давно, «веселымъ юношей» явился онъ сюда впервые. Безпечно, жадно приступалъ онъ тогда къ жизни—теперь же онъ пришелъ сюда тѣмъ «странникомъ», котораго воспѣлъ въ 1834 гому,—измученнымъ, оскорбленнымъ, непонятымъ...

Поэтъ чувствовалъ, что жизнь прожита... Письма его за этотъ годъ къ женѣ почти уже не заключаютъ упрековъ ей,—въ письмахъ его теперь мало и шутокъ, да и тревога въ нихъ какая-то притупленная,—онъ, какъ будто, примирился со всѣмъ и равнодушно ждалъ конца... Любопытны въ этихъ письмахъ два мѣста. 25-го сентября онъ писалъ: «въ Михайловскомъ нашелъ я все по старому, кромѣ того, что нѣтъ ужъ въ немъ няни моей, и что около знакомыхъ старыхъ сосенъ поднялась, во время моего отсутствія, молодая сосновая семья, на которую досадно мнѣ смотрѣть, какъ иногда досадно мнѣ видѣть молодыхъ кавалергардовъ на балахъ, на которыхъ уже не пляшу!» [3]). Нащокину онъ писалъ въ октябрѣ изъ Петербурга: «мое семейство умножается—

[1]) Соч. VII, 384.
[2]) Тамъ же, II, 182.
[3]) Тамъ же, VII, 383.

растетъ, шумитъ около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и старости нечего бояться. Холостому въ свѣтѣ скучно: ему досадно видѣть новыя молодыя поколѣнія,—одинъ отецъ семейства смотритъ безъ зависти на молодость, его окружающую. Изъ этого слѣдуетъ, что мы хорошо сдѣлали, что женились» [1]). Изъ настроеній второго письма вылились тѣ строки элегіи: «Вновь я посѣтилъ», которыя посвящены молодой поросли, окружившей его старыхъ знакомцевъ,—

«Здравствуй племя, младое, незнакомое!

Это—привѣтъ «отца» тому милому племени, которое мирно подростаетъ около него. Не такъ относится онъ къ молодому племени «танцующихъ кавалергардовъ»,—они обидно напоминали ему объ его замѣтно-наступавшей старости, быть можетъ, даже третировали эту старость и, при всей благожелательности поэта, наполняли его сердце злыми чувствами. Еще въ 1834 году онъ убѣждаетъ жену, что ей «вѣритъ»: «я не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь съ кавалергардомъ... Изъ этого еще не слѣдуетъ, что я равнодушенъ и не ревнивъ!» [2]) Но, конечно, онъ мучился сознаніемъ, что житейскія бури старили его съ каждымъ годомъ и отдаляли отъ молодой жены. «Все кругомъ меня говоритъ, что я старѣю, пишетъ онъ женѣ, иногда даже чистымъ русскимъ языкомъ. Напримѣръ, вчера мнѣ встрѣтилась знакомая баба, которой не могъ я не сказать, что она перемѣнилась. А она мнѣ: «да и ты, мой корми-

[1]) Соч. VII, 387–8.
[2]) Тамъ же, 347 «Письмо отъ 13 мая».

лецъ, состарѣлся, да и подурнѣлъ!» Хотя могу я сказать, вмѣстѣ съ покойницей няней моей, хорошъ никогда не былъ, а молодъ былъ. Все это не бѣда,— одна бѣда: не замѣчай ты, мой другъ, того, что я слишкомъ замѣчаю!» [1])

Отношенія свѣтскаго общества къ поэту, попрежнему были враждебны,—и немудрено; въ лицѣ Пушкина и его жены «свѣтъ» увидѣлъ странную «чету» какихъ-то «выскочекъ», неизвѣстно *зачѣмъ* и *какъ* попавшихъ въ «лучшее общество»,—къ тому же *она* даже не умѣла себя держать «comme il faut», а *онъ*, безъ стѣсненія, печатно и словесно, ругалъ это общество [2])... Въ отместку за все это «свѣтъ» злорадно травилъ поэта и его жену сплетнями и пересудами... П. А. Осиповой поэтъ писалъ, въ октябрѣ, «... j'ai le chagrin de voir ma pauvre Natalie en bût à la haine du monde. On dit partout, qu' il est affreux qu'elle soit si élégante, quand son beau-père et sa belle-mère n'ont pas de quoi manger, et que sa belle-mère se meurt chez les étrangers. Vous savez ce qu'il en est. On ne peut pas dire à la rigueur qu'un homme, qui a 1200 paysans, soit dans la misère. C'est mon père qui a quelque chose— et c'est moi qui n'ai rien. En tout cas Natalie n'a que faire dans tout cela, c'est moi qui devrait en répondre» [3]). Старики-Пушкины доживали послѣдніе дни такъ же безалаберно, какъ и прежде. Пользуясь поддержкою нелюбимаго сына, они въ тоже время не скупи-

[1]) Соч. VII, 383 «Письмо отъ 25 сент.».

[2]) Даже въ стихахъ 30-ыхъ годовъ встрѣчаются отзывы его о «свѣтѣ». — См. Соч., II, 50, 107, 124, 176, 180 и др. См. еще ниже стр. 410, примѣч. 6.

[3]) Тамъ же, 388.

лись на жалобы: имъ вѣрили и охотно осуждали поэта и его жену за «холодность», за ихъ «эгоизмъ», за пренебреженіе къ старикамъ... Впечатлительный Пушкинъ совершенно терялся среди этихъ сплетенъ и пересудовъ и не зналъ, какъ помочь бѣдѣ: «свѣтъ» казался ему «un vilain lac de boue», жизнь ему становилась тяжкой обузой... Осиповой онъ писалъ: «la vie, toute «süsse Gewohnheit» qu'elle est, a une amertume, qui finit par la rendre degoutante».

Оглядываясь назадъ, онъ съ ужасомъ замѣчалъ, какъ въ малое время было много имъ пережито: «Quand je songe que 10 ans se sont écoulés depuis ces malheureux troubles, il me paraît que j'ai fait un rêve. Que d'événements, que de changements en tout, à commencer par mes propres idées, ma situation etc, etc» [1]). Къ довершенію его горестей, подъ конецъ года, опасно расхворалась его мать. Предчувствуя ея близкій конецъ, поэтъ почувствовалъ приливъ нѣжности къ этой женщинѣ, которая такъ много горя принесла ему въ жизни. Повидимому, и она ощутила что-то, похожее на раскаянье и позднюю любовь къ своему нелюбимому сыну...

Въ одно время со всѣми этими тревогами, начались хлопоты по изданію журнала, который долженъ былъ выходить въ свѣтъ съ 1836 года. Еще 31 декабря 1835 г. Пушкинъ обратился къ Государю чрезъ Бенкендорфа, съ просьбой разрѣшить ему въ 1836 году «издать 4 тома статей чисто-литературныхъ (какъ-то повѣстей, стихотвореній), историческихъ, ученыхъ, также критическихъ разборовъ русской и

[1]) Соч. VII, 390, «Письмо къ Осиповой» отъ 15 дек.

иностранной словесности, на подобіе англійскихъ ежемѣсячныхъ «Reviews» [1]); далѣе онъ старается мотивировать свою просьбу: «отказавшись отъ участія во всѣхъ нашихъ журналахъ, я лишился и своихъ доходовъ; изданіе таковой «Review» доставило бы мнѣ вновь независимость, а, вмѣстѣ, и способъ продолжать труды, мною начатые [2]). Такимъ образомъ, давнишняя мечта Пушкина о такомъ періодическомъ изданіи, которое сплотило бы около него лучшихъ писателей и критиковъ, и сдѣлалось бы органомъ, выражающимъ настроенія тогдашней литературной интеллегенціи — «аристократіи мысли и чувства»—осуществилась: разрѣшеніе на изданіе русскаго «Review» было ему дано 16 января 1836 г., и журналъ сталъ выходить, подъ названіемъ: «Современникъ» [3]). Избранные литераторы приняли участіе въ журналѣ; общее дѣло даже сдружило многихъ изъ нихъ, — и первое время, они съ увлеченіемъ собирались то у Пушкина, то у Віельгорскаго, то у кн. Вяземскаго... По субботамъ большинство изъ нихъ сходилось у Жуковскаго, который сумѣлъ у себя сгруппировать всѣхъ передовыхъ представителей русской поэзіи и искусства: Крыловъ, кн. Вяземскій, кн. Одоевскій, гр. Віельгорскій, Гоголь, Соболевскій, Глинка—вотъ, наиболѣе извѣстные посѣтители его субботъ. Конечно, завсегдатаемъ этихъ субботъ былъ и Пушкинъ. Здѣсь, въ кругу лучшихъ русскихъ людей, Пушкинъ забывалъ тревоги и непріятности своей будничной жизни.

---

[1]) Дѣла III отд., 170.
[2]) Тамъ же.
[3]) Тамъ же, 171.

Хорошо и свободно чувствовалъ онъ себя также въ салонѣ Смирновой. Интеллигентная хозяйка, избранное общество, состоявшее изъ людей ему близкихъ, имъ уважаемыхъ, атмосфера благожелательности и умственной комильфотности — все это привлекало сюда Пушкина; здѣсь онъ тоже отдыхалъ отъ треволненій жизни, здѣсь его сердце согрѣвалось и свободно развертывался умъ... Въ своихъ «запискахъ» [1]) Смирнова бережно сохранила тѣ блестящія и глубокія идеи, что ронялъ въ ея салонѣ «Сверчокъ-Искра»-Пушкинъ въ минуты воодушевленія [2]). Онъ поражалъ тѣмъ, что «обо всемъ онъ переду-

---

[1]) «Странная судьба постигла эти живые, талантливые мемуары встрѣченные такъ сурово нашей критикой. Стоитъ сравнить «письма» Пушкина съ «записками» Смирновой, и мы убѣдимся, что они документъ цѣнный, заслуживающій уваженія и вниманія! Какія стороны своей души Пушкинъ раскрылъ передъ друзьями въ письмахъ, — тѣ же раскрылъ онъ и въ салонѣ Смирновой! Оттого записки ея и письма поэта взаимно провѣряютъ и дополняютъ другъ друга, — стоитъ ихъ перечитать вмѣстѣ и, какъ живой встанетъ передъ нами, безконечно-добродушный и благожелательный, порою насмѣшливый — то грустный, то блестящій и сверкающій «Искра-Сверчокъ», — весь яркое воплощеніе мгновенія, вѣчно живущій впечатлѣніемъ минуты, нѣжный и ласковый съ одними, задорный съ другими, съ его веселымъ раскатистымъ, беззаботнымъ смѣхомъ, съ его серьезными думами и страданіями, съ его горячими рѣчами». (*В. Сиповскій*, «А. С. Пушкинъ по его письмамъ» Спб. 1905. 13 — 4 отд. отт. изъ сборника въ память Л. Н. Майкова).

[2]) «Когда Пушкинъ одушевляется, говоритъ Смирнова, онъ горячится и дѣлается неистощимъ; онъ никогда не баналенъ, напротивъ, замѣчательно своеобразенъ» (I, 102). Въ минуты одушевленія, онъ дѣлался блестящимъ; онъ тогда «ослѣплялъ» своимъ умомъ слушателей (I, 228). «Я обожаю Пушкина, когда онъ въ ударѣ, увлекается и думаетъ вслухъ» (I, 286). «Когда онъ увлекается и одушевляется, всѣ замолкаютъ, чтобы его слушать. Что же касается до Жуковскаго—онъ смотритъ на него съ нѣжностью» (I, 279).

малъ и размышлялъ о множествѣ предметовъ» [1]). «Сверчокъ во всемъ единственный,—говоритъ Смирнова,—онъ всѣмъ интересуется» [2])—и иностранною литературою [3]), и всеобщею исторіею [4]) и русскою [5]); конечно, ближе всего къ сердцу его русская литература, и потому записанные Смирновой отзывы его и замѣчанія о русскихъ писателяхъ, а также о своемъ творчествѣ, представляютъ большой интересъ [6]). Кромѣ того, много говорилъ онъ о религіи [7]), о своемъ

---

[1]) *Смирнова.* Записки, 168. Справедливость этихъ словъ подтверждается тѣми разсужденіями и замѣчаніями поэта, которыя собраны на страницахъ «записокъ» Смирновой.

[2]) Тамъ же, 57; еще: 44—5 и др. «Послушайте людей, близко и почти ежедневно наблюдавшихъ его за послѣдніе годы жизни,—они не находятъ словъ выразить свое изумленіе предъ богатствомъ и неутомимостью пушкинской мысли. Онъ — фениксъ, онъ — чудо, онъ — всевѣдающій и понимающій!.. Стоитъ заговорить Пушкину, увлечься предметомъ — и немедленно водворяется тишина. Всѣ слушаютъ, не спуская глазъ съ дивнаго оратора, только изрѣдка, украдкой мѣняясь другъ съ другомъ удивленными и восхищенными взглядами» (*И. Ивановъ*, op. cit. 117).

[3]) Тамъ же, 140, 160—1, 193—7, 188, 205, 130, 203 и др.; о «Шекспирѣ»—93, о «Байронѣ»—91—93; о «Сервантесѣ»—158, «Вальтеръ Скоттѣ»—159, о «Гюго»—294—5. Любопытны его разсужденія о романтизмѣ (тамъ же, 166—7). Осуждая «пафосъ» романтиковъ, Пушкинъ сказалъ: «Вальтеръ Скоттъ сдѣлалъ одно характерное замѣчаніе: «нѣтъ ничего болѣе драматичнаго, чѣмъ дѣйствительность» Я того же мнѣнія» (167). О Шелли—204; Виньи и Мюссе—194—5.

[4]) Тамъ же, 79, 90, 198, 202, 238, 240, 190—1, 238—9, 240, 248, 251—3.

[5]) Тамъ же, 212, 215, 224, 260—1.

[6]) О «Кавказскомъ Плѣнникѣ»—30; «Цыганахъ»—30, «Лѣтописи села Горохина» — 44, «Галубѣ» — 90, 149, «Полтавѣ» и «Борисѣ Годуновѣ» — 154, «Русалкѣ» — 184.

[7]) Тамъ же, I, 139, 161. Жуковскій послѣ одной его бесѣды о религіи сказалъ: «Какъ Пушкинъ созрѣлъ, и какъ развилось его религіозное чувство: онъ несравненно болѣе вѣрующій, чѣмъ я!» (I, 245).

интересѣ къ Священному Писанію [1]), къ житіямъ святыхъ [2]); онъ, оказывается, много размышлялъ о Христѣ и о библейской исторіи [3]), о природѣ зла, сатанѣ [4]), и объ язычествѣ [5]). Интересовали его жгучіе вопросы западноевропейской и русской дѣйствительности. Всѣ свои мысли онъ облекалъ въ ту блестящую форму, которая всегда была къ его услугамъ, когда вдохновеніе нисходило на него [6]). Немудрено, что его заслушивались не только друзья его, но и иностранцы-дипломаты, посѣтители салона Смирновой [7]).

Ради жены и приличія поддерживалъ Пушкинъ связи и съ высшимъ обществомъ, но оно, холодно-враждебное, прилично-равнодушное, а иногда и мелочно-злобное, тяготило его,—здѣсь онъ всего меньше

---

[1]) Тамъ же, I, 266—7.

[2]) Тамъ же, 233.

[3]) Тамъ же, 263—4, 266.

[4]) Тамъ же, 209, 210, 194—5.

[5]) Объ «аристократіи и демократіи» (тамъ же, 251—9) о «крѣпостничествѣ (тамъ же, 178, 225—6, 262).

[6]) «Рѣдко можно встрѣтить человѣка, который бы объяснялся такъ вяло и такъ несносно, какъ Пушкинъ, когда предметъ разговора не занималъ его. Но онъ становился блестяще-краснорѣчивъ, когда дѣло шло о чемъ нибудь, близкомъ его душѣ... Тогда то онъ являлся поэтомъ и гораздо болѣе вдохновеннымъ, чѣмъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ. *Л. Пушкинъ* «Молодость Пушкина» (*Л. Майковъ*, «Пушкинъ» 9).

[7]) «Вильеръ сказалъ моему мужу, что онъ былъ пораженъ, встрѣтивъ въ Россіи человѣка, одареннаго такимъ юморомъ» (I, 234). «Я и не подозрѣвалъ, что у него такой религіозный умъ, сказалъ Барантъ,—для меня это—чистое откровеніе. А какъ онъ хорошо говоритъ—съ чувствомъ мѣры! какой ораторъ-бы изъ него вышелъ; онъ увлекалъ бы за собой толпы, онъ краснорѣчивъ отъ природы (I, 265). По словамъ того-же Баранта—Пушкинъ «великій мыслитель», «онъ мыслитъ, какъ опытный государственный мужъ» (Еще: 248, 272).

старался скрывать свою раздражительность [1]), дѣлаясь съ каждымъ днемъ все обидчивѣе, подозрительнѣе и мелочнѣе. Всѣ муки души его, забываемыя въ минуту усиленнаго труда, всплывали съ обидной ясностью въ этой ненавистной ему свѣтской обстановкѣ, такъ живо напоминавшей ему всѣ его несчастья, неудачи и униженія... Немудрено, что всѣ свѣтскіе люди стали казаться ему врагами,—въ каждомъ ихъ словѣ слышалъ онъ оскорбленіе [2]).

«Съ каждымъ днемъ его настроенія становятся безнадежнѣе, жизнь невмоготу, — у него является мысль уйти уже не изъ Петербурга, не отъ свѣта и «третьяго отдѣленія», а отъ самой *жизни*... «Его характеръ рѣзко мѣняется. Пушкинъ будто заболѣваетъ недугомъ подозрительности и неограниченнаго недо-

---

[1]) Къ «большому свѣту» Пушкинъ относился въ это время съ открытой враждой,—онъ безъ стѣсненія называлъ этотъ «свѣтъ»—«притономъ низкихъ интригановъ, завистниковъ, сплетниковъ, негодяевъ» (*Л. Павлищевъ*, op. cit. 356). Онъ сдѣлался излюбленной мишенью великосвѣтскихъ толковъ: «когда Nathalie выкинула, пишетъ сестра поэта мужу,— разсказали, будто бы это произошло вслѣдствіе нанесенныхъ имъ ударовъ... За малѣйшимъ шагомъ Александра и Леона слѣдятъ» (тамъ же 364). Особенно ухватились въ свѣтѣ за разговоръ объ ужасномъ матеріальномъ положеніи стариковъ-Пушкиныхъ (тамъ же 399). Охотно забавлялись также тѣмъ, что возбуждали ревность недалекой Н. Н. Пушкиной разсказами объ ея мужѣ (*Смирнова*, op. cit. I, 340; II, 3). Когда столкновенія съ Дантесомъ сдѣлались извѣстны свѣту, Пушкина забросали анонимными русскими и французскими ругательными письмами, упрекали въ трусости» (тамъ же, II, 2). Дипломатъ англійскій Arthur Magennis говорилъ, что въ «свѣтѣ» «поэта упорно преслѣдуютъ, желая навязать ему вызовъ и хотятъ довести его до крайности, добиваются его смерти, или желаютъ навлечь на него гнѣвъ царя» (тамъ же, 2). Подобные факты объясняютъ вполнѣ настроеніе лермонтовскаго стихотворенія: «На смерть Пушкина».

[2]) *И. Ивановъ*, op. cit. 95.

вѣрія ко всему человѣчеству. Свѣтъ достигъ своей цѣли. Тайная злоба и клевета заставили поэта чуть не въ каждомъ встрѣчномъ видѣть своего оскорбителя и интригана. Всякій малѣйшій намекъ на его семейную честь приводитъ его въ бѣшенство,—онъ готовъ требовать удовлетворенія у мнимаго преступника, даже не провѣривъ дѣла, не убѣдившись въ винѣ».

На почвѣ такихъ настроеній разыгрались столкновенія поэта съ разными лицами; — прежде всего, съ графомъ В. А. Сологубомъ, изъ-за нѣсколькихъ словъ, которыя онъ позволилъ себѣ сказать супругѣ поэта въ отвѣтъ на одно ея безтактное замѣчаніе. Самъ Сологубъ не придалъ значенія своимъ словамъ и былъ очень удивленъ, когда получилъ вызовъ отъ Пушкина. Послѣ ряда недоумѣній и проволочекъ, только въ слѣдующемъ 1836 году недоразумѣнія между ними кончились примиреніемъ, даже дружбой. Раздражительность и озлобленіе поэта выразились также въ сочиненіи сатиры: «На выздоровленіе Лукулла», въ которой безпощадно высмѣянъ былъ гр. С. С. Уваровъ, только что передъ тѣмъ сдѣлавшій выговоръ Пушкину за эпиграмму на академика князя Дондукова-Корсакова [1]).

Изъ «лирическихъ» произведеній этого года большинство представляетъ собой переводы изъ сочиненій Анакреона, Катулла, Горація [2]). Изъ «оригинальныхъ» интересны слѣдующія: «Полководецъ» [3]), «Туча» [4]), «Вновь я посѣтилъ...» [5]). Всѣ они, несомнѣнно, имѣютъ автобіографическое значеніе. Образъ

[1]) Соч. VII, 418 «Въ Академіи Наукъ...» [2]) Тамъ же, II, 170, 171, IV, 385. [3]) Тамъ же, 174. [4]) Тамъ же, 178. [5]) Тамъ же, 182.

великаго человѣка, непонятаго «чернью», осмѣяннаго ею и униженнаго, слишкомъ былъ близокъ и понятенъ поэту,—оттого онъ и освятилъ своимъ сочувствіемъ этотъ образъ «страдальца-генія». Заключительные аккорды этого стихотворенія —

«О, люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье! [1]).

— Это вопль, вырвавшійся изъ самаго сердца Пушкина... Здѣсь говорилъ онъ уже «за себя»... Стихотвореніе «Туча» рисуетъ одинъ изъ тѣхъ минутныхъ просвѣтовъ «примиренія съ жизнью», которые слѣдовали у Пушкина за взрывами озлобленія и раздраженія, учащавшимися съ каждымъ днемъ... «Вновь я посѣтилъ»—это произведеніе, проникнутое безысходной грустью: очевидно, теперь личная жизнь казалась поэту уже прожитой, «своего будущаго» для него уже не было,—онъ жилъ только грядущею жизнью своего поколѣнія.

Единственнымъ объективнымъ произведеніемъ этого года было стихотвореніе «Пиръ Петра Великаго» [2]), очевидно, явившееся результатомъ болѣе спокойнаго творчества. Оно доказываетъ, что и теперь любимые поэтическіе образы изрѣдка могли еще отвлекать поэта отъ тревогъ его частной жизни.

Къ наиболѣе интереснымъ прозаическимъ произведеніямъ Пушкина этого года относятся слѣдую-

[1]) Соч. II, 176.
[2]) Соч. II, 178.

щія: отрывокъ повѣсти: «Египетскія ночи» [1]), «Русскій Пеламъ» [2]), и замѣтки: «О повѣстяхъ Павлова» [3]), «Объ исторіи поэзіи Шевырева» [4]), «Лордъ Байронъ» [5]). Изъ драматическихъ—отрывокъ: «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» [6]).

1836-й годъ былъ такимъ же тревожнымъ въ жизни Пушкина. Размолвка съ гр. Сологубомъ, начавшаяся еще въ концѣ 1835 года, все не улаживалась... Какъ самъ Сологубъ замѣтилъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» [7]), Пушкинъ держался по отношенію къ нему вызывающе не столько потому, что былъ серьезно обиженъ, сколько изъ боязни уронить себя въ глазахъ общества. Лишь 11-го мая состоялось примиреніе между двумя писателями.

Въ этомъ же году, 4-го февраля, произошло у Пушкина новое недоразумѣніе: нѣкто С. С. Хлюстинъ вызвалъ его на дуэль. Дѣло разыгралось изъ-за повѣсти «Вастола», переведенной Люценкомъ и изданной Пушкинымъ. Свое имя, какъ «издателя», поэтъ далъ для того, чтобы книга раскупалась лучше, такъ какъ переводчикъ былъ бѣденъ; фамилія переводчика въ книгѣ не упоминалась. Въ критикѣ и публикѣ возникли толки, что Пушкинъ обманываетъ покупателей, своимъ именемъ прикрывая чужое слабое произведеніе.

---

[1]) Соч. IV, 387.

[2]) Тамъ же, 406..

[3]) Тамъ же, V, 283.

[4]) Тамъ же, 285.

[5]) Тамъ же. 260.

[6]) Тамъ же, IV, 317. О нихъ статья *Н. Демидова:* «О сценахъ изъ рыцарскихъ временъ А. С. Пушкина» (Изв. Имп. Ак. Наукъ т. V 1900 кн. 2).

[7]) *Гр. Сологубъ.* «Воспоминанія» М. 1866, 27.

Сенковскій написалъ по этому поводу ядовитую статью, Хлюстинъ, въ присутствіи поэта, цитовалъ эту статью; за что получилъ отъ него словесное оскорбленіе. Послѣ переписки дѣло уладилось,—повидимому, извинился Пушкинъ [1]). Въ этомъ же февралѣ мѣсяцѣ возникла у Пушкина размолвка съ кн. Н. Г. Репнинымъ, который заглазно осуждалъ поэта за его злостную сатиру: «На выздоровленіе Лукулла». Слова князя были переданы нѣкимъ Боголюбовымъ Пушкину, и тотъ вызвалъ кн. Репнина на письменныя объясненія [2]). 9-го февраля обмѣнъ писемъ прекратился примиреніемъ. Вообще эта сатира, неумѣстная въ положеніи Пушкина, причинила ему немало непріятности.

Нѣкто Альфонсъ Жобаръ, учитель французскаго языка въ Ригѣ и Петербургѣ, съ 1822 года сдѣлался профессоромъ греческой, латинской и французской словесности въ Казани. Магницкій уволилъ его, а С. С. Уваровъ не внялъ его ходатайствамъ. Тогда оскорбленный французъ перевелъ на французскій языкъ сатиру Пушкина и поднесъ Уварову, испрашивая у него разрѣшенія напечатать это произведеніе, о чемъ сообщилъ и автору. Свой переводъ Жобаръ разсчитывалъ печатать въ Бельгіи, снабдивъ объяснительными примѣчаніями. Пушкину онъ послалъ свой переводъ, и вызвалъ этимъ письмо поэта, въ которомъ тотъ благодаритъ за присылку перевода, превозноситъ литературныя достоинства этого перевода и въ то же время умоляетъ не распространять этого

---

[1]) Исторія этой ссоры изложена у *Бартенева* (Пушкинъ, II, 77—9) «Письмо Пушкина къ Хлюстину» отъ 4 февр. см. Соч. VII, 392.

[2]) Соч. VII, 393 «Письмо отъ 5 февраля».

произведенія, написаннаго имъ въ моментъ дурного расположенія духа [1]). Извѣстно, что за это произведеніе С. С. Уваровъ сдѣлался непримиримымъ врагомъ Пушкина. Такъ быстро росло число его недоброжелателей; они опасны были своей выдержанностью, хладнокровіемъ, приличіемъ поведенія и манеръ... Передъ ихъ холодной, разсчитанной злобой, безсиленъ былъ мятущійся, тревожный поэтъ, который видѣлъ, что кольцо свѣтской ненависти, его сковавшее, съ каждымъ днемъ становилось уже и тяжелѣе...

Въ этомъ году Пушкинъ попрежнему занимался архивными розысканіями; ради нихъ онъ съ 26-го февраля до десятыхъ чиселъ марта былъ въ Москвѣ. Вторично, съ этой же цѣлью (а также по дѣламъ «Современника»), пріѣхалъ онъ въ Москву 2-го мая, откуда вернулся 23-го, какъ разъ черезъ нѣсколько часовъ послѣ рожденія четвертаго своего ребенка—дочери Натальи. Но въ этомъ году его ученыя занятія шли вяло,—поэтъ охладѣлъ къ исторической работѣ, въ которой никогда не былъ силенъ: «Исторію Пугачевскаго бунта» издалъ онъ, не видавъ секретнаго дѣла о Пугачевѣ, съ литературой вопроса былъ плохо знакомъ... Когда М. А. Корфъ прислалъ ему списокъ сочиненій о Россіи той этохи, Пушкинъ, по его признанію, «испугался и устыдился», такъ какъ бо́льшая часть указанныхъ книгъ оставалась ему неизвѣстной [2]).

Зато поэтъ весь отдался журнальной работѣ. Съ этого года сталъ выходить «Современникъ»,—

[1]) Соч. VII, 395, «Письмо къ Жобару», отъ 24 марта.

[2]) Тамъ же, 410 «Письмо отъ 14 октября».

журналъ, о которомъ онъ такъ долго мечталъ. Изданіе журнала опять сблизило Пушкина съ русскими литераторами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опять ввело его въ міръ журнальныхъ дрязгъ, а также, лицомъ къ лицу, поставило съ цензурой. Предсѣдателемъ цензурнаго комитета былъ тогда кн. М. А. Дундуковъ-Корсаковъ, когда-то высмѣянный имъ въ эпиграммѣ: «Въ Академіи Наукъ»... Онъ недоброжелательно относился къ поэту, а потому изданію его ставилъ преграды за преградами...

«Цензура дѣло земское, отъ нея отдѣлили опричину, а опричники руководствуются не уставомъ, а своимъ крайнимъ разумѣніемъ» [1]), писалъ Давыдову удрученный непріятностями поэтъ. «Тяжело, нечего сказать! И съ одной цензурою напляшешься; каково же зависѣть отъ цѣлыхъ четырехъ! Незнаю, чѣмъ провинились русскіе писатели, которые не только смирны и безотвѣтны, но даже, сами отъ себя, слѣдуютъ духу правительства, но знаю, что никогда не бывали они притѣснены, какъ нынче,—даже и въ послѣднее пятилѣтіе царствованія Императора Александра» [2]). Цензурныя затрудненія сдѣлали то, что первая книга «Современника» вышла въ свѣтъ лишь 11-го апрѣля 1836 года.

29-го марта скончалась мать поэта, и 8-го апрѣля поэтъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Михайловское на ея погребеніе [3]). Хотя эту смерть онъ давно предвидѣлъ, но, тѣмъ не менѣе, кончина самаго близкаго и, въ то же время, всегда далекаго существа

[1]) Соч. VII, 409, въ сентябрѣ. [2]) Тамъ же. [3]) *Бартеневъ*, «Пушкинъ» II, 63.

произвела на него тяжелое впечатлѣніе. Быть можетъ, потому мысли о близкой смерти, и прежде преслѣдовавшія его, теперь переходятъ у него въ какое-то предчувствіе. Такъ, въ разговорѣ съ сестрой, пріѣхавшей на похороны матери, онъ выражаетъ почти увѣренность въ своей близкой кончинѣ [1]). Въ этотъ пріѣздъ онъ купилъ себѣ даже мѣсто на Святогорскомъ кладбищѣ, около могилы матери.

Какъ первый томъ «Современника» вышелъ въ его отсутствіе, такъ и второй былъ выпущенъ не имъ, а его друзьями-литераторами, изъ которыхъ въ судьбахъ новаго журнала особое участіе принималъ его пріятель Плетневъ. Издательское дѣло, за которое ухватился Пушкинъ, сперва казалось ему не только полезнымъ, но и очень прибыльнымъ, хотя и не совсѣмъ чистоплотнымъ. Женѣ своей онъ писалъ 6-го мая изъ Москвы. «Экое горе! Вижу, что непремѣнно нужно имѣть мнѣ 80.000 руб. доходу. И буду ихъ имѣть. Недаромъ же пустился въ журнальную спекуляцію, а вѣдь это все равно, что золотарство, которое хотѣла взять на откупъ мать Безобразова. Очищать русскую литературу есть чистить н..... и, зависѣть отъ полиціи. Того и гляди, что..... Чортъ ихъ побери!» [1]). Такой неутѣшительный взглядъ на русскую журналистику объясняется тѣмъ, что поэту пришлось считаться со взглядами русскаго

---

[1]) Въ 1836 году, прощаясь съ сестрой, онъ залился горькими слезами, сказавъ ей: «едва ли увидимся когда нибудь на этомъ свѣтѣ, а, впрочемъ, жизнь мнѣ надоѣла! Тоска, тоска! все одно и то же, писать не хочется больше, рукъ не приложить ни къ чему, но чувствую— недолго мнѣ на землѣ шататься!» (*Павлищевъ*, op. cit. 64).

общества, не привыкшаго еще съ уваженіемъ относиться къ *писателю*. Званіе *журналиста*, въ глазахъ тогдашняго общества, стояло еще ниже писательскаго,—оно было унижено у насъ нѣкоторыми дѣльцами-аферистами, къ которымъ общественное мнѣніе относилось, не безъ основанія, отрицательно. Въ одномъ письмѣ къ женѣ Пушкинъ восклицаетъ: «Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть, какъ на Ѳаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпіона! Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ! Весело, нечего сказать!» [1]).

Вернувшись изъ Москвы 23-го мая, Пушкинъ поселился на дачѣ на Каменномъ островѣ, гдѣ жила его семья. Мѣсто это было въ то время однимъ изъ самыхъ фешенебельныхъ, и тамошнія «Минеральныя Воды» были охотно посѣщаемы лучшимъ обществомъ.

Какъ только Н. Н. Пушкина оправилась отъ родовъ, она, по своей привычкѣ, съ увлеченіемъ принялась «блистать» среди общества, посѣщавшаго эти Минеральныя Воды. Въ это лѣто она сдѣлалась предметомъ особенно-настойчиваго ухаживанья красавца-Дантеса. Характерами они сходились и, вѣроятно, легкомысленная красавица [2]), не всегда строгая въ знаніи «тона», чувствовала себя прекрасно въ обществѣ этого развязнаго остроумца, немного циничнаго, но всегда веселаго и жизнерадостнаго... Выше были от-

---

[1]) Соч. VII, 404 «Письмо отъ 18 мая».

[2]) «Она совсѣмъ не понимала своего мужа. Ни одна изъ разряженныхъ подругъ, мнѣніемъ которыхъ она такъ дорожила въ своемъ наивномъ, не лишенномъ провинціализма, тщеславіи, не могла дать ей хоро-

мѣчены нами еще въ письмахъ 1834 и 1835 годовъ намеки Пушкина на какого-то «кавалергарда». Не былъ ли это и тогда все тотъ же Дантесъ, котораго поэтъ почему то замѣтилъ съ перваго момента появленія его на петербургскомъ горизонтѣ? Какъ бы тамъ ни было, но лѣто 1836 года оказалось роковымъ для поэта, потому что теперь молва впервые имя этого «кавалергарда» связала съ именемъ его жены. Еще изъ Москвы, 6-го мая, писалъ поэтъ женѣ: «про тебя, душа моя, идутъ кой-какіе толки, которые не вполнѣ доходятъ до меня, потому что мужья всегда послѣдніе въ городѣ узнаютъ про женъ своихъ; однакожъ видно, что ты довела кого-то до такого отчаянія своимъ кокетствомъ и жестокостью, что онъ завелъ себѣ въ утѣшеніе гаремъ изъ театральныхъ воспитанницъ. Нехорошо, мой ангелъ; скромность есть лучшее украшеніе вашего пола!» [1]). Женщина, которая *23-го мая* разрѣшилась отъ бремени и еще *6-го мая* нуждалась въ такихъ наставленіяхъ, представляетъ собой, во всѣхъ отношеніяхъ, прелюбопытное явленіе! Очевидно, это было существо, около котораго свѣтская молва могла легко и свободно фантазировать, — она вполнѣ подходила на роли

шаго совѣта. Она не довѣряла друзьямъ своего мужа, ее возстановляли противъ нихъ, даже противъ г-жи Хитрово, увѣряя, будто Пушкинъ былъ влюбленъ въ нее, хотя она приходилась почти ровесницей его тещѣ... Бѣдная Nathalie не была ни хитрою, ни тонкою кокеткою,— она передавала Пушкину всѣ пошлости, которыя ей расточали, и это невыразимо мучило его; она воображала, что это—верхъ чистосердечія, ей не приходило въ голову самой ввести дерзкаго въ приличныя границы... Но что же дѣлать?! у несчастной такъ мало сообразительности!» (*Смирнова*, II, 3).

[1]) Соч. VII, 400.

героинь сплетни, какъ Дантесъ—на роли героя! [1]) Судьба сблизила эти два существа, а люди, враждебно настроенные по отношенію къ поэту, наблюдали за этимъ сближеніемъ долго и, наконецъ, съ радостью вынесли на свѣтъ Божій злыя рѣчи и довели ихъ до свѣдѣнія мужа... Быть можетъ, на первыхъ порахъ эта молва дошла до него въ видѣ шутокъ, остротъ, намековъ... Но и этого было достаточно, чтобы переполнить отравой его истерзанное сердце. Гр. Сологубъ, сблизившійся съ нимъ въ это время, въ своихъ «Воспоминаніяхъ» вѣрно опредѣляетъ положеніе поэта въ обществѣ и семьѣ: «въ свѣтѣ его не любили: потому что боялись его эпиграммъ, на которыя онъ не скупился, и за нихъ онъ нажилъ себѣ въ цѣлыхъ семействахъ, въ цѣлыхъ партіяхъ враговъ непримиримыхъ... Онъ обожалъ жену, гордился ея красотой и былъ въ ней вполнѣ увѣренъ. Онъ ревновалъ къ ней не потому, чтобы

---

[1]) «Дантесъ пріѣхалъ въ Россію искать счастья, подобно стольким другимъ иностранцамъ; всѣ его достоинства ограничивались красивою наружностью; хотя, въ кавалергардскомъ мундирѣ, онъ представлялъ изъ себя красавца-мужчину довольно заурядного типа,—и умѣньемъ хорошо танцовать, говорить рискованныя остроты, двусмысленности и плоскіе каламбуры, которыми изобилуютъ нѣкоторыя французскія пьесы, плѣнялъ дамъ шутками въ стилѣ Vaudeville'я и Palais-Royal, а товарищей—казарменными анекдотами, Дантесъ былъ дурно воспитанъ, всегда предпріимчивъ и дерзокъ, когда его не держали на извѣстномъ разстояніи». (*Смирнова*, II, 6). Она же приводитъ отзывъ Соболевскаго о Дантесѣ: «этотъ военный плясунъ, этотъ офицеръ навощенныхъ паркетовъ, въ мужскомъ обществѣ выдѣлялся казарменнымъ тономъ, изображалъ изъ себя рубаку, а съ женщинами былъ дерзокъ. Такого тона не потерпѣли-бы въ русскомъ офицерѣ, но прекрасныя дамы находили его плѣнительнымъ, потому что онъ острилъ по-французски и говорилъ рискованные каламбуры» (тамъ-же, 12—3).

въ ней сомнѣвался, а потому что страшился свѣтской молвы [1]), страшился сдѣлаться еще болѣе смѣшнымъ передъ свѣтскимъ мнѣніемъ. Эта болѣзнь была причиной его смерти, а не г. Дантесъ, котораго бояться ему было нечего. Когда онъ меня вызывалъ, онъ высказалъ всю свою мысль: «имя, вами носимое, общество, вами посѣщаемое, вынуждаютъ меня требовать сатисфакціи за непристойность вашего поведенія» [2]), Слѣдовательно, онъ вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы—и съ Дантесомъ было то же самое. Онъ видѣлъ въ немъ не серьезнаго соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его *имя*,—и этого онъ не перенесъ» [3]). Когда, въ это злополучное лѣто, оскорбительные слухи дошли, наконецъ, до его ушей, онъ вооружился самообладаніемъ и сталъ выжидать и наблюдать. Нужно знать Пушкина, чтобы понять, какъ тер-

---

[1]) «А. С. при свиданіи съ моей матерью въ слѣдующемъ 1835 году, высказалъ ей все, что онъ выстрадалъ со времени своего камеръ-юнкерства. По словамъ Ольги Сергѣевны, онъ сдѣлался тогда мученикомъ. Заботы денежныя, уязвленное самолюбіе, а также другое, самое мучительное чувство—ревность, правда, ни на чемъ не основанная, не давали ему покоя. Будучи свидѣтелемъ блистательныхъ успѣховъ Натальи Николаевны на вечерахъ «большого свѣта», видя ее, окруженною толпою великосвѣтскихъ, всякаго возраста, кавалеровъ, расточающихъ ей комплименты, дядя Александръ расхаживалъ по бальнымъ заламъ изъ угла въ уголъ, наступая дамамъ на платья, мужчинамъ на ноги, и дѣлая другія тому подобныя неловкости,—его бросало то въ жаръ, то въ холодъ. Возвращаясь же домой, онъ не сообщалъ женѣ этихъ невыразимыхъ мученій, что считалъ несовмѣстимымъ и съ достоинствомъ непорочной, вполнѣ преданной ему Натальи Николаевны, и съ своимъ собственнымъ» (*Л. Павлищевъ*, 338). Онъ долго скрывалъ свои мученія отъ друзей и родныхъ. Только грусть и уныніе выдавали его душевную тревогу... [2]) *Гр. Сологубъ*, op. cit. 29. [3]) Тамъ же, 41.

зала его роль такого сдержаннаго наблюдателя въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ [1])! Иногда эта скрытая тревога прорывалась... Такъ, къ лицейской годовщинѣ (19-го октября) 1836 года онъ, по обыкновенію, хотѣлъ написать стихи, но не смогъ ихъ кончить, а когда началъ читать свое произведеніе въ обществѣ товарищей, то едва произнесъ первые два стиха:

«Была пора... Нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался [2])...

— какъ голосъ его задрожалъ, оборвался, онъ зарыдалъ и бросился на диванъ. Это была *послѣдняя годовщина* лицея, на которой присутствовалъ поэтъ [3]). Такъ тяжело простился Пушкинъ со своими товарищами...

Литературная дѣятельность послѣднихъ 1836—7 годовъ выразилась въ нѣсколькихъ прочувствованныхъ произведеніяхъ. Изъ нихъ особенно интересны стихотворенія: «Когда великое свершалось торжество [4]), «Изъ VI Пиндемонте» [5]), «Молитва» [6]), «Когда за городомъ задумчиво брожу» [7]), «Я памятникъ воз-

[1]) Соч. VII, 416 «Письмо къ Геккерену» отъ 21 ноября.

[2]) Соч. II, 191.

[3]) «На лицейской годовщинѣ 1836 года онъ не можетъ прочитать своего привѣтствія: слезы душатъ его и рыданія прерываютъ чтеніе. Наконецъ, онъ убѣжденно говоритъ: «мнѣ здѣсь не житье!» И послѣ его смерти нѣкоторые думаютъ, что Пушкинъ страстно хотѣлъ умереть, что исторія съ Дантесомъ только придирка—«только удобный случай попробовать отдѣлаться отъ жизни». Слова А. М. Языкова въ письмѣ къ Комовскому, (цитата *Ив. Иванова* op. cit. 97).

[4]) Соч. II, 186.

[5]) Соч. II, 187.

[6]) Соч. II, 188.

[7]) Соч. II, 188.

двигъ себѣ нерукотворный» [1]), «19 октября 1836 г.» [2]) и «Пора мой другъ...» [3]).

Первое произведеніе навѣяно тѣми чувствами поэта, которыя овладѣли имъ, когда онъ увидѣлъ часовыхъ, поставленныхъ «для порядка», около картины Брюллова: «Распятье», привлекавшей много зрителей. Поэта поразило такое сочетаніе «солдатчины» съ «божествомъ» и «искусствомъ», — и онъ, возмущенный, задаетъ вопросъ:

«Къ чему, скажите мнѣ, хранительная стража?
Или распятіе—казенная поклажа?
И вы боитеся воровъ, или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительствомъ спасаете могучимъ
Владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ,
Христа, предавшаго послушно плоть свою
Бичамъ мучителей, гвоздямъ и копію [5])?..

Когда поэтъ писалъ эти строки, быть можетъ, онъ думалъ о своей судьбѣ,—его тоже распинали на глазахъ у всѣхъ—и стерегли его, какъ «казенную поклажу», неизвѣстно зачѣмъ, быть можетъ, даже изъ желанія покровительствомъ спасти его, «владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ»! Отрывокъ, названный «Изъ VI Пиндемонте», еще разъ раскрываетъ намъ Пушкина, какъ искателя «независимости»,—ребенкомъ онъ спасался отъ гнета гувернеровъ и родителей; въ лицеѣ воевалъ съ начальствомъ и воспитателями; юношей онъ мечталъ о свободѣ политической,—теперь, на краю могилы, онъ посмѣялся надъ своими юношескими мечтами, — онъ понялъ теперь что не въ формахъ политической жизни, не въ «пра-

[1]) Соч. II, 189. [2]) Соч. II, 191. [3]) Соч. II, 193. [4]) Соч. II, 186.

вахъ» гражданскихъ—спасенье! И онъ сталъ мечтать теперь только о «свободѣ» своей «личности», независимой отъ всѣхъ, уединенной въ самое себя...

«Иныя лучшія мнѣ дороги права,
Иная лучшая потребна мнѣ свобода!
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа —
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними! *Никому*
Отчета не давать, *себѣ* лишь *самому*
Служить и угождать! Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья,—
Вотъ — счастье! вотъ — права!» [1])

[1]) Соч. II, 187—8. Совершенно справедливо подмѣтила Смирнова, что «всякій абсолютизмъ одинаково отвратителенъ Пушкину»—«абсолютизмъ жандарма, Кромвеля - пуританина, Робеспьера - якобинца, французскаго короля-Солнца, или римскаго папы одинаково противенъ ему» (*Смирнова*, II, 16). Любопытно, какъ чувства, выраженныя Пушкинымъ въ этомъ произведеніи совпали съ соотвѣтствующими идеями Герцена... «Личность, ея свобода и самостоятельность было то «все», что Герценъ хотѣлъ и искалъ въ жизни. Это былъ его Богъ и кумиръ, которымъ ни для кого, ни для чего онъ не хотѣлъ жертвовать. Идея личности и личнаго развитія, вообще говоря, проходитъ красною нитью черезъ все написанное имъ, или лучше, черезъ все, имъ продуманное, пережитое. Въ своемъ университетскомъ кружкѣ онъ увлекался Сенъ-Симономъ, не Гегелемъ, или Шеллингомъ; пройдя черезъ необходимую стадію мистицизма, онъ быстро освободился отъ него, увлекшись философіей Фейербаха... Въ защитѣ своей *личности* и личнаго достоинства онъ видѣлъ первую ступень нравственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его къ себѣ (ср. интересы Пушкина къ Петру, Годунову, Мазепѣ, Стенькѣ Разину, Пугачеву). Онъ, гордый, самолюбивый и властный, преклонялся передъ Гарибальди, а въ прошломъ передъ Петромъ. И въ Прудонѣ привлекало не столько его ученіе, сколько то, что Прудонъ былъ всегда самъ собой и даже одинъ... Ему, между прочимъ, принадлежатъ слова: «робкая совѣсть наша боится признаться, что эгоизмъ и гуманность лишаютъ насъ половины цивиз-

Въ стихотвореніи «Молитва» поэтъ выразилъ лучшія настроенія своей страдающей, но, тѣмъ не менѣе, все еще свѣтлой, души. Неизмѣримое разстояніе отдѣляетъ это произведеніе отъ его безпутной «Гавріліады»,—здѣсь, въ это переложеніе великопостной молитвы, вложено очень много, чисто-пушкинскаго, выстраданнаго, пережитаго... Заключительныя слова молитвы: «и духъ смиренія, терпѣнія, любви и цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи!» [1]),—звучатъ особенно трогательно, если вспомнить, что стихи написаны 22-го іюня 1836 года, когда поэтъ уже взялъ на себя тяжелую обязанность сдержаннаго наблюдателя отношеній Дантеса къ его женѣ... 14-го августа того же 1836 года написано имъ грустное сти-

---

ческихъ добродѣтелей и дѣлаютъ насъ вдвое больше людьми». Онъ, очевидно, за то, чтобы быть вдвое больше *людьми*, а не вдвое больше *гражданами*». (*Андреевичъ*, «Опытъ философіи русской литературы» Спб. 1905). «Въ статьѣ «Omnia mea mecum porto» Герценъ рѣзко ставитъ вопросъ объ отношеніи личности и общества. Это—блестящая аргументація, согрѣтая страстью, вдохновленная негодованіемъ и протестомъ. Въ ея основномъ мотивѣ: «какіе мы дѣти, какіе мы еще рабы и какъ весь центръ тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности внѣ насъ!»—тоска и разочарованность. Онъ видитъ, какъ все въ окружающей его жизни идетъ противъ свободнаго человѣка, онъ не дѣлаетъ особеннаго различія между идеями государственнаго единства, мѣщанскимъ строемъ жизни, дуализмомъ религіи, косностью человѣческихъ массъ. И то, и другое, и третье, въ его глазахъ, есть одинаково то, что́ «нужно преодолѣть». Онъ высказывается за сильную личность, яркую индивидуальность; онъ весь на пути къ анархіи, конечно, не анархіи, вооруженной бомбами и топорами, а той, которая ищетъ для человѣка опоры только внутри его. «Масса, говоритъ онъ, хороша только, какъ безличная, и развитіе самобытной личности составляетъ всю прелесть, до которой дорабатывается все свободное, талантливое, сильное» (тамъ же, 178—9).

[1]) Соч. II, 188.

хотвореніе, проникнутое думой о скорой смерти. Поэтъ забрелъ на городское кладбище, но оно показалось противнымъ ему, какъ весь тотъ шумъ, суета и пошлость столичной жизни, которыя угнетали его... И всѣми помыслами потянулся онъ къ тихому деревенскому кладбищу, гдѣ все полно торжественнымъ покоемъ,—

«Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ.
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ.
Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ,
Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ.
На мѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,
Безносыхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ,—
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя [1])...

Въ томъ же году, 21-го августа, написанъ и «Памятникъ». Это—спокойное признаніе того, что много сдѣлано, что жизнь прожита недаромъ... Поэтъ вѣритъ, что его «душа въ завѣтной лирѣ» переживетъ его прахъ и «тлѣнья убѣжитъ». Поэтъ знаетъ, что слава его не померкнетъ, а будетъ расти и разливаться по всей Руси великой... Главныя заслуги свои онъ видѣлъ въ томъ, что «чувства добрыя» сумѣлъ вынести изъ тяжелой русской дѣйствительности и этими чувствами воодушевилъ лучшія свои созданія,—что въ жестокій вѣкъ возславилъ онъ «свободу» [2]),—ту свободу, за которую боролся онъ всю жизнь и которую завоевалъ только цѣной своей крови.

Послѣднее лирическое произведеніе поэта—отрывокъ, посвященный женѣ:

---

[1]) Соч. II, 189.
[2]) Соч. II, 189—90.

«Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ,
Летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ
Частицу бытія, а мы съ тобой вдвоемъ
Располагаемъ жить! И глядь—все прахъ: умремъ!
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля!
Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ! [1])

Это—варіація на мотивы выше цитованнаго стихотворенія: «Странникъ». Счастья на землѣ нѣтъ, есть «покой и воля»... Но и они были лишь въ мечтахъ поэта... Онъ разсчитывалъ ихъ найти въ деревнѣ, но онъ ошибался: деревня не спасла бы его,—одна смерть освободила его и успокоила. Всѣ лирическія произведенія 1836 года удивительно однородны по содержанію, глубоки по мысли и настроенію, родственны и близки между собою, если ихъ освѣтить пониманіемъ души Пушкина въ это тревожное лѣто 1836-го года...

Въ 1836-мъ году была имъ напечатана замѣчательная повѣсть «Капитанская Дочка». Подобно первому опыту въ этомъ же родѣ—повѣсти «Арапъ Петра Великаго»—это произведеніе есть исключительное по своей художественной простотѣ и глубинѣ историческаго пониманія. Произведенія этого жанра («историческій романъ») на западѣ и у насъ въ это время, по сюжету и стилю, отличались еще или сентиментальнымъ, или романтическимъ характеромъ. Даже въ лучшихъ романахъ Гюго, Виньи, Дюма, Вальтеръ-Скотта и Бульвера нѣтъ того удивительнаго реа-

[1]) Соч. II, 193.

лизма, который въ произведеніи Пушкина творитъ чудо: «прошедшее становится для насъ дѣйствительностью, и почти безъ усилія фантазіи мы начинаемъ себя чувствовать людьми иного вѣка, потому что видимъ передъ собой живыхъ людей и живую обстановку, въ которыхъ соблюдены всѣ условія реальной дѣйствительности» [1]). Незамѣченный современниками романъ Пушкина теперь считается многими (между прочимъ, Н. А. Котляревскимъ) выше всего того, что написано было въ этомъ родѣ на западѣ. Кромѣ художественнаго интереса, «Капитанская Дочка» представляетъ собою глубоко-идейное произведеніе: это—апоѳеозъ людей простыхъ и скромныхъ, сердца которыхъ однако благородны и велики, которые могутъ быть героями, когда этого отъ нихъ требуютъ высокія чувства чести, чистой любви, признательности, или дружбы. Реалистическое по исполненію, произведеніе это, идеалистическое по настроенію, въ то же время замѣчательно своей благородной и простой художественностью...

...Развязка приближалась быстро. 4-го ноября разосланы были по друзьямъ и знакомымъ Пушкина анонимные пасквили, въ сочиненіи которыхъ поэтъ заподозрилъ голландскаго посланника Геккерена, усыновившаго Дантеса; но общественное мнѣніе называло другихъ лицъ,—сперва князя Ив. С. Гагарина, затѣмъ

[1]) *Н. Котляревскій* «Гоголь», 1903. Спб. 202—3. См. прекрасный разборъ этого произведенія въ книгѣ *Н. И. Черняева*: «Капитанская дочка» Пушкина, историко-крит. этюдъ. М. 1897.

князя П. В. Долгорукова [1]). Содержаніе этого пасквиля слѣдующее: «Les Grands Croix, Commandeurs et Chevaliers du sérénissime Ordre des Cocus, réunis au Grand-Châpitre sous la présidence du vénérable Grand-Maître de l'Ordre S. E. D. L. Narichkine, ont nommé à l'unanimité M-r Alexandre Pouchkine coadjuteur du Grand-Maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.—Le secrétaire perpetuel C-te Borek» [2]).

Гр. Сологубъ разсказываетъ, что и послѣ этого пасквиля Пушкинъ наружно оставался сдержаннымъ [3]). Онъ сказалъ: «это мерзость противъ жены моей. Впрочемъ, понимаете, что безымяннымъ письмомъ я обижаться не могу. Если кто нибудь сзади плюнетъ на мое платье, такъ это дѣло моего камердинера вычистить платье, а не мое! Жена моя—ангелъ, никакое подозрѣніе коснуться ея не можетъ!» [4]). Такъ старался успокоить друзей Пушкинъ. Между тѣмъ, имъ былъ посланъ вызовъ Дантесу немедленно послѣ полученія этого анонимнаго письма [5]). Геккеренъ просилъ отсрочки поединка на двѣ недѣли, и за это время

[1]) Больше всего виновно было, конечно, само русское общество. «Виновниками этой катастрофы были, вопервыхъ, завистники,—во-вторыхъ, сплетники, клеветавшіе ради удовольствія позлословить и, наконецъ, трое наиболѣе виновныхъ, игравшихъ одновременно роли главныхъ дѣйствующихъ лицъ и орудій» (*Смирнова*. II, 4). «Какъ ненавистенъ мнѣ этотъ безпечный свѣтъ съ его насмѣшливостью!» — восклицаетъ Смирнова, этотъ свѣтъ, гдѣ посредственность всегда права, гдѣ сплетники всегда находятъ потворствующихъ слушателей! Г-жа Нессельроде написала мнѣ нѣсколько сочувственныхъ строкъ, въ которыхъ, между прочимъ, говоритъ: «вотъ, куда ведетъ издѣвательство, этотъ вульгарный, ненавистный тонъ, заслуживающій презрѣнія, высмѣивающій все — честь мужа, жены матери, добивающійся скандала...» (тамъ же, II, 4). [2]) Соч. VII, 415. [3]) *Сологубъ*, op. cit. 43. [4]) Тамъ же, 42. [5]) Тамъ же, 44.

Дантесъ сдѣлался женихомъ своячницы поэта—Екатерины Николаевны. Пушкинъ недолго вѣрилъ чистотѣ намѣреній Дантеса, такъ какъ поведеніе его по отношенію къ Н. Н., продолжалось въ прежнемъ духѣ,—немудрено, что бѣшенство, утихшее, было, въ сердцѣ поэта, стало опять расти... Не дождавшись истеченія двухнедѣльнаго срока, 21-го ноября онъ сообщилъ Бенкендорфу о полученіи пасквиля, высказалъ убѣжденіе, что этотъ пасквиль присланъ «иностранцемъ» изъ высшаго свѣта, «дипломатомъ», затѣмъ онъ указалъ на Дантеса, какъ человѣка, подавшаго поводъ къ оскорбительнымъ для него слухамъ, сообщилъ, что онъ вызвалъ на дуэль Дантеса и что дуэль была отложена на 15 дней.

Того же числа онъ сочинилъ оскорбительное письмо Геккерену (оно было отправлено только 25 января), свидѣтельствующее о силѣ его бѣшенства. Онъ требовалъ, чтобы Геккеренъ Дантесу разъ навсегда запретилъ ухаживать за Н. Н., посовѣтовалъ ему воздерживаться отъ казарменныхъ остротъ въ ея присутствіи. Дантеса онъ называетъ «pleutre» и «chenapan»; старика Геккерена онъ обвиняетъ въ «сводничествѣ»; «vous, le représentant d'une tête couronnée, vous avez été paternellement le maquereau de votre bâtard, ou, soi-disant, tel. Toute sa conduite (assez maladroite d'ailleurs) a été probablement dirigée par vous; c'est vous, probablement, qui lui dictiez les pauvretés, qu'il venait débiter et les niaiseries, qu'il s'est mêlé d'écrire. Semblable à une obscène vieille, vous alliez guetter ma femme dans tous les coins pour lui parler de votre fils; et lorsque, malade de vérole, il était retenu ches lui par les remè-

des, vous disiez, qu'il se mourait d'amour pour elle, vous lui marmottiez: «rendez moi, mon fils» [1]).

Письмо это онъ прочелъ Сологубу. Какъ онъ волновался при чтеніи, видно изъ описанія этой сцены, сохранившейся въ «Воспоминаніяхъ» Сологуба: «губы Пушкина задрожали, глаза налились кровью. Онъ былъ до того страшенъ, что только тогда я понялъ, что онъ, дѣйствительно, африканскаго происхожденія» [2]). Сологубъ на время предотвратилъ посылку письма, разсказавъ его содержаніе Жуковскому, — тотъ уговорилъ Пушкина письма не посылать.

Когда истекъ 15-ти дневный срокъ, Дантесъ прислалъ къ Пушкину своего секунданта, съ извѣстіемъ о помолвкѣ и съ вопросомъ, какъ онъ думаетъ поступить. Пушкинъ обратился къ гр. Сологубу, убѣдилъ его, что «дуэли никакой не будетъ, но просилъ его не отказаться быть свидѣтелемъ одного объясненія, при которомъ присутствіе свѣтскаго человѣка желательно» [3]). Черезъ нѣсколько дней за обѣдомъ у Карамзиныхъ, среди веселаго разговора, Пушкинъ нагнулся къ Сологубу и сказалъ тихо: «ступайте завтра къ д'Аршіаку, условьтесь съ нимъ только на счетъ матеріальной стороны дуэли. Чѣмъ кровавѣе, тѣмъ лучше. Ни на какія объясненія не соглашайтесь!» [4]). Вечеромъ враги встрѣтились на раутѣ у австрійскаго посланника гр. Фикельмона. Дантесъ ухаживалъ за своячницей Пушкина, Екатериной Николаевной. Пушкинъ запретилъ ей разговаривать съ Дантесомъ,

[1]) Соч. VII, 416. «Письмо къ Геккерену» отъ 21 ноября, отправл. 25 янв. [2]) *Сологубъ*, op. cit. 58. [3]) *Сологубъ*, op. cit. 45. [4]) Тамъ же. 46.

а ему сказалъ нѣсколько грубыхъ словъ [1]): Сологубъ и д'Аршіакъ были выбраны секундантами; оба очень бережно отнеслись къ тяжелой миссіи, выпавшей на ихъ долю, и, послѣ разсмотрѣнія всѣхъ данныхъ, оба дали ручательство поэту, что сватовство Дантеса есть дѣло вполнѣ серьезное, и свадьба состоится. Пушкинъ уступилъ. Имъ удалось разстроить дуэль, и Дантесъ былъ объявленъ женихомъ. Но, отказавшись отъ дуэли, поэтъ не хотѣлъ мириться съ врагомъ и разсердился на Сологуба за то, что тотъ превысилъ данныя ему полномочія и, во время объясненій, говорилъ не только о «матеріальной сторонѣ дуэли», но вошелъ въ разсмотрѣніе дѣла «по существу». Поэтъ все еще не вѣрилъ тому, что свадьба состоится, смотрѣлъ на «помолвку», какъ на шутовское представленіе, которое приведетъ только къ вящему сраму его домъ [2]).

Если вѣрить Сологубу, то, рѣшившись связать свою судьбу съ Екатериной Николаевной, Дантесъ сознательно пожертвовалъ собою только для того, чтобы избѣгнуть поединка, но, какъ человѣкъ легкомысленный и вѣтреный, онъ и послѣ свадьбы, встрѣчаясь на балахъ съ Н. Н., подходилъ къ ней и балагурилъ все съ тою же казарменною непринужденностью. Новый взрывъ былъ неминуемъ и произошелъ, несомнѣнно, единственно по винѣ Дантеса. На балу у гр. Воронцова, онъ, уже женатый, спросилъ Н. Н. Пушкину, довольна ли она мозольнымъ операторомъ, присланнымъ ей его женой: «le pédicure prétend, прибавилъ онъ, que votre cor est plus beau que celui de ma femme» [3]).

[1]) Тамъ же, 47. [2]) Тамъ же, 56—7. [3]) Тамъ же, 60.

Эта игра словъ: cor (мозоль) и corps (тѣло) была новымъ оскорбленіемъ въ глазахъ Пушкина. Но еще болѣе, раздражало его вызывающее поведеніе барона Геккерена, который не давалъ проходу Н. Н. Пушкиной: объяснялся ей въ любви отъ имени сына, говорилъ ей объ его страданіяхъ, чуть-ли не уговаривалъ ее бросить мужа [1])... Письмо Геккерену, 21-го ноября, написанное, но неотправленное, было теперь пущено въ ходъ. Въ этомъ письмѣ есть косвенное указаніе на то, что жена поэта, по его собственнымъ наблюденіямъ, одно время увлекалась Дантесомъ, но поэтъ сумѣлъ раскрыть ей глаза, указавъ на «плоскость» (platitude) Дантеса. Къ Геккерену онъ писалъ: «je fis jouer à M-r votre fils un rôle si pitoyable, que ma femme, étonnée de tant de platitude, ne put s'empêcher de rire, et que l'émotion, que peut-être avait-elle ressenti pour cette sublime passion, s'éteignit dans le mépris le plus calme et le mieux mérité» [2]).

Послѣ такого письма, 27-го января 1837-го года между 9 и 10 час. утра, Дантесъ, «заступаясь за честь отца», прислалъ Пушкину вызовъ. Пушкинъ отвѣтилъ д'Аршіаку, секунданту Дантеса, что согласенъ на дуэль, но недоволенъ характеромъ тѣхъ переговоровъ, которые недавно были между нимъ и гр. Сологубомъ, и потому, на этотъ разъ, онъ рѣшительно отказался отъ всякихъ предварительныхъ объясненій секундантовъ другъ съ другомъ—во избѣжаніе возникновенія новыхъ

---

[1]) Старикъ Геккеренъ, представлялъ собою очень несимпатичную особу: «отличаясь цинизмомъ посѣдѣлыхъ развратниковъ прежнихъ временъ, онъ постоянно злословилъ и сплетничалъ» (*Смирнова*, II, 6).

[2]) Соч. VII, 416. «Письмо къ Геккерену» отъ 25 янв.

сплетенъ. «Je ne me soucie nullement de mettre les oisifs de Pétersbourg dans la confidence de mes affaires de famille» [1]). Онъ предлагалъ привести своего секунданта прямо на мѣсто поединка и выборъ, его предоставлялъ самому барону Геккерену.

Въ 4 часа пополудни того же 27-го января назначена была дуэль за Черной рѣчкой, близъ комендантской дачи. Секундантомъ Пушкина былъ его товарищъ по лицею, подполковникъ Данзасъ. Пока шли приготовленія, Пушкинъ, по наружности спокойный [2]), выражалъ однако нѣсколько разъ нетерпѣніе. Согласно условію, стрѣлять должны были противники одновременно, но Дантесъ, *не дождавшись сигнала и не дойдя до предѣльной черты,* выстрѣлилъ первый, и Пушкинъ, пораженный въ животъ, упалъ; однако стрѣлять не отказался и твердою рукой сдѣлалъ свой выстрѣлъ [3]). Увидя, что Дантесъ уже упалъ, онъ кинулъ вверхъ свой пистолетъ и вскрикнулъ: «браво!» Затѣмъ онъ спросилъ д'Аршіака о Дантесѣ: «est-il tué?»—«Non, mais il est blessé au bras et à la poitrine» отвѣтилъ тотъ: «C'est singulier, j'avais cru, que

---

[1]) Соч. VII, 419 «Письмо къ д'Аршіаку» отъ 27 янв.

[2]) «Д'Аршіакъ разсказывалъ намъ, что Пушкинъ во время дуэли поражалъ своимъ мужествомъ и спокойствіемъ, что онъ во всемъ этомъ дѣлѣ выказалъ чрезвычайный тактъ и рыцарскую простоту, исполненную достоинства. Онъ былъ очень серьезенъ, сосредоточенъ, какъ человѣкъ, рискующій жизнью; въ немъ не было ни тѣни притворной беззаботности, разсчитанной, чтобы придать себѣ видъ похрабрѣе. Д'Аршіакъ сказалъ въ заключеніе: «это былъ великій характеръ!» (*Смирнова*, II, 13—14).

[3]) «Ужасно то, что молодая женщина отправилась на катокъ, на Неву; въ ту самую минуту, какъ ея мужъ стрѣлялся, она веселилась съ безпечностью ребенка, ничего не вѣдающаго и никогда не понимавшаго, что даетъ поводъ къ злословію» (*Смирнова*, II, 95).

cela m'aurait fait plaisir de le tuer, mais je sens, que non!» — сказалъ Пушкинъ.

Съ этого характернаго восклицанія до послѣдняго своего вздоха все время онъ жилъ лучшими чувствами своей души,—все то *злое*, что накипѣло на его страдающей душѣ въ продолженіе послѣднихъ лѣтъ, мѣсяцевъ и дней, исчезло съ этимъ выстрѣломъ, и послѣдніе дни умирающій Пушкинъ достигъ высокихъ предѣловъ душевной красоты и силы, къ которымъ онъ такъ упорно шелъ въ теченіе своей бурной жизни [1])! Рана Дантеса не была опасна; пуля, хорошо направленная въ грудь, только контузила ее и попала въ мякоть руки, такъ какъ Дантесъ прикрылъ грудь рукою. Пушкинъ-же былъ смертельно раненъ въ правую часть живота съ раздробленіемъ кости ноги.

Съ великими усиліями доставили раненаго Пушкина на квартиру. Онъ прилагалъ всѣ усилія, чтобы не обезпокоить жену, скрывая свои страданія. Не сразу нашли доктора. Наконецъ, доктора съѣхались и опредѣлили неизбѣжность трагической развязки... Отъ Пушкина этого не скрыли [2]). Ночью, пріѣхавшій изъ дворца, лейбъ-хирургъ Арендтъ привезъ ему отъ государя «для прочтенія» собственноручную, карандашемъ написанную, записку, приблизительно такого содержанія: «если Богъ не велитъ намъ болѣе увидѣться въ здѣшнемъ свѣтѣ, посылаю тебѣ мое прощеніе и, вмѣстѣ, мой совѣтъ: исполнить долгъ христіанскій. О женѣ и дѣтяхъ не без-

[1]) «Въ эти послѣдніе часы жизни онъ, какъ будто, сдѣлался иной: буря, которая за нѣсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстью, исчезла, не оставивъ въ ней и слѣда; ни слова, ниже воспоминанія о случившемся!..» (*Жуковскій*, Соч. X, 57). [2]) *Жуковскій*, тамъ же 56.

покойся, — я ихъ беру на свое попеченіе» [1]). Пушкинъ былъ чрезвычайно тронутъ этими словами и убѣдительно просилъ Арендта оставить ему эту записку, но государь велѣлъ прочесть и немедленно ее возвратить [2]). «Скажи государю, говорилъ Пушкинъ Жуковскому, что мнѣ жаль умереть,—былъ бы весь его!» [3]). Пришелъ священникъ и причастилъ его. Священникъ говорилъ послѣ со слезами о послѣднихъ минутахъ поэта и о томъ благочестіи, съ которымъ онъ исполнилъ послѣдній долгъ христіанскій.

Жену призывалъ Пушкинъ къ себѣ часто, но не позволялъ ей быть безотлучно при себѣ, потому что боялся въ страданіяхъ своихъ измѣнить себѣ; увѣрялъ ее, что раненъ въ ногу, и доктора, по требованію его, въ этомъ ее удостовѣряли. Когда страшная боль вызывала мучительные крики изъ груди его, отъ которыхъ онъ, по возможности, удерживался,— онъ зажималъ ротъ свой, всегда прибавлялъ: «бѣдная жена, бѣдная жена!», и посылалъ докторовъ успокоить ее [4]). Въ эти два дня онъ только и говорилъ

[1]) Тамъ же, 57. Эта записка привела Жуковскаго въ умиленіе. Она, въ нашихъ глазахъ, конечно, больше бы выиграла, если бы заключала въ себѣ не прощеніе, а *просьбу о прощеніи.*

[2]) «Нѣсколько разъ Пушкинъ повторялъ: «отдайте мнѣ это письмо— я хочу умереть съ нимъ. Письмо! Гдѣ письмо?» Арендтъ успокоилъ его обѣщаніемъ испросить на это позволенія у государя» (тамъ, же 57). Очевидно, согласія государь почему-то не изъявилъ, такъ какъ письмо къ Пушкину не вернулось.

[3]) Тамъ же, 58.

[4]) «Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего! сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей! стонай, — тебѣ будетъ легче». — «Нѣтъ, онъ отвѣчалъ прерывчиво, нѣтъ... не надо... стонать... жена... услышитъ. смѣшно же... чтобъ этотъ... вздоръ... меня пересилилъ... не хочу!..» (*Жуковскій*, op. cit. 61).

о ней, да о государѣ. Ни одной жалобы, ни одного упрека, ни одного холоднаго черстваго слова отъ него не слышали. Если онъ и просилъ не заботиться о продолженіи жизни его и дать ему возможность умереть скорѣе, то единственно оттого, что онъ зналъ о неминуемой смерти своей и терпѣлъ лютѣйшія мученія. Арендтъ, который видѣлъ много смертей на вѣку своемъ и на поляхъ сраженій, и на одрѣ болѣзни, отходилъ со слезами на глазахъ отъ его постели и говорилъ, что такой мужественной смерти онъ никогда не видалъ. «Такое терпѣніе при такихъ страданіяхъ!» [1]). «Еще сказалъ и повторилъ Арендтъ замѣчательное слово объ этомъ несчастномъ приключеніи: «для Пушкина жаль, что онъ не убитъ на мѣстѣ, потому что мученія его невыразимы, но для чести жены его это счастье, что онъ остался живъ! Никому изъ насъ, видя его, нельзя сомнѣваться въ невинности ея, въ любви, которую къ ней Пушкинъ сохранилъ» [2]).

---

[1]) «Врачи были поражены силой и энергіей Пушкина. Арендтъ (хирургъ Его Величества), сказалъ доктору Спасскому (домашнему врачу Пушкина) и Далю (также врачу и автору разсказовъ за подписью «Казакъ Луганскій»), что Пушкину оставалось прожить не дольше 5 минутъ послѣ полученія раны, — онъ могъ сдѣлать выстрѣлъ, дойти до кареты и прожить столько времени, лишь благодаря своей силѣ воли. Арендтъ сказалъ въ заключеніе: «великолѣпная натура: mens sana in corpore sano» (*Смирнова*, II, 12).

[2]) «Послѣдніе дни жизни Пушкина по разсказамъ очевидцевъ: *В. А. Жуковскаго, князя П. А. Вяземскаго, И. Т. Спасскаго, В. И. Даля*», Соч. А. С. Пушкина изд. подъ ред. Ефремова, 1882 т. 7). Отдѣльно, *Вяземскій*, «О кончинѣ Пушкина» («Русск. Стар.» 1875 т. 14, стр. 92—6, «Р. Арх.» 1877 № 3, 387—398; «Р. Арх.» 1879 № 6, 237—257; *Жуковскаго*, Собр. Соч. X, 54. (Изд. Маркса 1902 г.); *Даля*, Собр. Соч. X, 435 (изд. Вольфа).

Ближайшіе друзья были около Пушкина; имъ обязаны мы разсказами о послѣднихъ его часахъ. Ночь съ 27 на 28 января Пушкинъ провелъ безпокойно. Страшныя боли не давали ему отдыха, — только къ семи часамъ утра муки его утихли. Толпы почитателей поэта стояли въ его передней и на лѣстницѣ; государь, наслѣдникъ, великая княгиня Елена Павловна постоянно справлялись о ходѣ его болѣзни [1]). Утромъ 28-го Пушкину сдѣлалось лучше. Но это улучшеніе продолжалось недолго, и скоро самъ Пушкинъ убѣдился въ приближеніи смерти. Онъ ожидалъ послѣдняго часа спокойно, самъ щупалъ пульсъ свой и говорилъ: «смерть идетъ» [2]). Спрашивалъ, въ которомъ часу полагаетъ Арендтъ, онъ долженъ умереть и изъявилъ желаніе, чтобы предсказаніе Арендта сбылось въ тотъ же день. Прощался съ дѣтьми, перекрестилъ ихъ. Съ женою прощался нѣсколько разъ и всегда говорилъ ей съ нѣжностью и любовью. Съ друзьями онъ прощался посреди страшныхъ мученій и судорожныхъ движеній, но съ духомъ бодрымъ и съ нѣжностью. Князю Вяземскому пожалъ руку и сказалъ: «Прости, будь счастливъ». Пожелалъ онъ видѣть Карамзину. За нею послали. Прощаясь съ нею, просилъ онъ его перекрестить, что она и исполнила. Данзасъ, желая вывѣдать, въ какихъ чувствахъ умираетъ онъ къ Геккерену, спросилъ его, не поручитъ ли онъ ему чего нибудь въ случаѣ смерти касательно Геккерена. «Требую, отвѣчалъ онъ ему, чтобы ты не мстилъ за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христіаниномъ!». Послѣднія минуты жи-

[1]) *Жуковскій*, op. cit. 60. [2]) Тамъ же, 58.

зни поэта Жуковскій такъ описываетъ: «Ударило два часа пополуночи, и въ Пушкинѣ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросилъ моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: «позовите жену, пускай она меня покормитъ!» Она пришла, опустилась на колѣни у изголовья, поднесла ему ложечку, другую, морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его. Пушкинъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ: «ну, ну... ничего... слава Богу! все хорошо, поди!» [1]) Спокойное выраженіе лица его и твердость голоса обманули бѣдную жену; она вышла, какъ будто, просіявшая отъ радости. «Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому, онъ будетъ живъ, онъ не умретъ!» Какъ не понимала она своего мужа при жизни,—такъ и теперь она не поняла его, умирающаго! Только что она ушла, въ ту минуту уже начался послѣдній процессъ жизни. «Я стоялъ вмѣстѣ съ графомъ Віельгорскимъ, разсказываетъ Жуковскій, у постели въ головахъ, сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мнѣ: «отходитъ». Но мысли его были свѣтлы. Изрѣдка только, полудремотное забытье ихъ отуманивало. Разъ онъ подалъ руку Далю и, пожимая ее, проговорилъ: «ну, подымай же меня! пойдемъ, да выше, выше!... Ну, пойдемъ!» Но очнувшись, онъ сказалъ: «мнѣ, было, пригрезилось, что я съ тобой лѣзу вверхъ по этимъ книгамъ и

[1]) Любопытно, что передъ смертью Пушкинъ сказалъ женѣ, чтобы она вторично вышла замужъ. «Онъ добавилъ: «только не за негодяя!». «Nathalie не разслышала этихъ словъ. Пушкинъ прошепталъ ихъ сквозь зубы». (*Сжирнова*, II, 6).

полкамъ, высоко, — и голова закружилась!» Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и, потянувъ ее, сказалъ: «ну, пойдемъ же, пожалуйста, да вмѣстѣ!» Даль, по просьбѣ его, взялъ его подмышки и приподнялъ повыше. И вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро открылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ: «кончена жизнь!». Даль, не разслышавъ, сказалъ: «да, кончено,—мы тебя поворотили!» «Жизнь кончена!» повторилъ онъ внятно и положительно. «Тяжело дышать... давитъ!»—были послѣднія слова его... Я не сводилъ съ него глазъ и замѣтилъ въ эту минуту, что движеніе груди, доселѣ тихое, сдѣлалось прерывчивымъ... Оно скоро прекратилось. Я смотрѣлъ внимательно, ждалъ послѣдняго вздоха, но я его не примѣтилъ. Тишина, его объявшая, показалась мнѣ успокоеніемъ, а его уже не было. Всѣ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двѣ я спросилъ: «что онъ?» «Кончилось!» отвѣчалъ мнѣ Даль» [1]).

На выносѣ посторонняя публика, кромѣ родственниковъ и ближайшихъ друзей, допущена не была,—опасались какихъ-то демонстрацій, зато полиція присутствовала въ большомъ числѣ, во главѣ съ ген. Дуббельтомъ.

Поэтъ погибъ потому, что съ дѣтства стремился къ независимости [2]) и жилъ въ такомъ обществѣ

[1]) *Жуковскій*, op. cit. 61.

[2]) Еще задолго до катастрофы кн. Вяземскій писалъ Пушкину:

«Ты сажалъ цвѣты, не сообразясь съ климатомъ. Морозъ сдѣлалъ свое, вотъ и все... Ты, можетъ быть, силенъ у насъ только одною своею славою—тѣмъ, что тебя читаютъ съ удовольствіемъ, съ жад-

и въ такое время [1]), когда духъ рабства былъ господствующимъ. Немудрено, что самъ Пушкинъ, при всей оригинальности своего духа, былъ отравленъ этимъ «ядомъ» рабства. Въ этомъ—трагизмъ его судь-

---

ностью, но несчастіе у насъ не имѣетъ силы ни на грошъ! Хоть будь въ кандалахъ... ихъ звукъ не разбудитъ ни одной новой мысли въ толпѣ, въ народѣ, который у насъ мало чутокъ. Оппозиція у насъ — пустое и безплодное ремесло во всѣхъ отношеніяхъ... Она не въ цѣнѣ у народа... Поклоняемся мы одному счастью, и благородное несчастіе не имѣетъ еще кружка своего въ мѣсяцесловѣ народа ребяческаго. Пушкинъ, по характеру своему, Пушкинъ, какъ блестящій примѣръ превратностей различныхъ, ничтоженъ въ русскомъ народѣ; за выкупъ его никто не дастъ алтына, хотя по шесть рублей и платится каждая его стихотворная отрыжка... Донъ-Кихотъ новаго рода, ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаешь передъ вѣтряною мельницею, въ которой не только Бога, или святого, но и мельника не бывало!» (*И. Ивановъ*. «Новая культурная сила», 81-2, Русскій Архивъ. 1874 г.).

[1]) Отношеніе «свѣта» къ исторіи Дантеса видно изъ тѣхъ анекдотовъ, которые сохранены современниками. Одна изъ барышенъ высшаго свѣта послѣ дуэли сказала: «какое несчастье, что Пушкинъ не былъ убитъ до женитьбы Дантеса: тогда m-me П. могла бы выйти замужъ за Дантеса! Право, вмѣсто того, чтобы жениться, онъ долженъ былъ ее похитить!» (*Смирнова*, II, 90) Иностранные дипломаты не скрывали своего негодованія, видя, что «часть общества защищаетъ Дантеса, этого coureur d'alcoves, этого столь мало интереснаго соблазнителя. «Въ нѣкоторыхъ изящныхъ салонахъ осыпали покойнаго сарказмами. Смѣялись надъ его ревностью, любовью къ женѣ, щепетильностью, даже надъ его честью. Хвалили рыцарство Дантеса, этого искателя приключеній, явившагося дѣлать карьеру въ Россіи... Наше общество бросаетъ грязью во все, что составляетъ нашу славу и восхищается комкомъ грязи, въ концѣ концовъ его обрызгавшимъ» (тамъ же 88). Одна «великосвѣтская дѣвица» на балу утверждала, что Пушкинъ, «безобразно-некрасивый и вульгарный»; человѣкъ «этой породы» (de cette espèce) былъ недостоинъ такой красивой и поэтичной жены. Дантесъ же, наоборотъ, былъ ея достоинъ,—онъ былъ красивъ, изященъ, вполнѣ рыцарь!» Она жалѣла Дантеса, говоря, что онъ — «жертва глупой ревности Пушкина».

бы: онъ впиталъ въ себя, какъ результатъ воспитанія, немало предразсудковъ и слабостей, принижавшихъ его свободный духъ. Здѣсь—начало той внутренней борьбы, которая проходитъ красной нитью черезъ всю его жизнь, — онъ сознавалъ себя выше той «черни», что посѣщала аристократическіе салоны столицы, — и, въ то же время, дорожилъ ея мнѣніемъ, боялся ея суда... Благодаря своему генію и труду, онъ поднялся на недосягаемую высоту славы — и въ то же время гордился своей генеалогіей. Онъ далеко оставилъ за собою всю пишущую братію своего времени, онъ переросъ русскую публику — и въ то же время всегда прислушивался къ суду критики и мнѣнію читающей публики. Эта двойственность его жизни была для него очень тягостна, отдѣлаться отъ нея онъ не могъ... Она задерживала его стремленія къ свободѣ жизни, но не могла убить этого стремленія. И онъ достигъ независимости своей творческой жизни,—той высокой самостоятельности, когда никакія чуждыя вліянія не могли уже для него имѣть значенія. А затѣмъ онъ завоевалъ и независимость своей духовной жизни — цѣной земной жизни...

«Въ любви — истина» сказалъ онъ однажды. Эта «любовь», всеобъемлющая и всепрощающая, помирила его съ жизнью, заставила его повѣрить, что добра въ жизни больше зла!... Но онъ ошибся, и безпощадное «зло» отомстило ему за эту ошибку. Только смерть «освободила» его отъ тѣхъ цѣпей, которыя судьбой были наложены на его плечи. Если бы у него была другая подруга жизни, если бы государь, хотя немного понималъ его и болѣе цѣнилъ,

этихъ бы цѣпей не было,—и жизнь Пушкина заняла бы въ исторіи человѣчества одну изъ самыхъ прекрасныхъ страницъ!

Въ дѣтствѣ и юности, когда почти для всѣхъ Пушкинъ былъ существомъ «безъ искры»,—эта искра жила въ немъ, сверкала для всякаго, болѣе внимательнаго, болѣе любовнаго взгляда!.. Въ селѣ Михайловскомъ и послѣ 1825 года она разгорѣлась яркимъ свѣточемъ... Но женитьба и «милость» правительства возмутили въ душѣ поэта уже побѣжденныя имъ темныя силы, и огонь, запылавшій, было, такъ спокойно и ровно, сталъ то погасать, то вспыхивать неровнымъ, тревожнымъ свѣтомъ... Два дня его предсмертной агоніи, когда все земное отошло отъ него, когда мятежная плоть была побѣждена,—этотъ свѣтъ засіялъ опять съ необыкновенной силой и невообразимой красотой,—и отъ прежняго несчастнаго, мятежнаго страдальца не осталось ничего,—*правый путь былъ найденъ*!.. «Жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ къ Жуковскому, но вообще она была элегіей» [1]). Только мягкость души заставила его назвать *элегіей* то, что въ сущности было *трагедіей!* ..

---

[1]) Соч. VII, 150.

...Тогда толпой съ лазурной высоты
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали!
Терялся я, въ порывѣ сладкихъ думъ...
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней —
И въ вымыслахъ носился юный умъ.

„Сонъ". Соч. I, 136.

...И тамъ я былъ, и медъ я пилъ,
У моря видѣлъ дубъ веленый,
Подъ нимъ сидѣлъ, и котъ ученый
Свои мнѣ сказки говорилъ.

Прологъ къ „Руслану и Людмилѣ". Соч. II, 203.

«Вотъ эту пачку, сказалъ Кирѣевскій, далъ мнѣ Пушкинъ и при этомъ сказалъ: «Когда-нибудь, отъ нечего дѣлать, разберите-ка, которыя поетъ народъ и которыя смастерилъ я самъ!».

(*Ѳ. И. Буслаевъ.* „Мои воспоминанія).

„Русланъ и Людмила".

(Къ литературной исторіи поэмы).

Съ восторгомъ принята была русской публикой и критикой первая поэма Пушкина; нѣсколько ворчливыхъ голосовъ потонули въ хорѣ восторженныхъ отзывовъ. Такой «успѣхъ» среди «широкой публики», конечно, знаменателенъ,—толпѣ нравится то, что̀ ей по плечу, что̀ беретъ лишь немного выше ея вкусовъ, что̀ удивляетъ лишь нѣкоторой новизной, такъ сказать, частнаго характера,—бо̀льшею яркостью красокъ, нѣкоторою причудливостью формы,—но все то, что̀ слишкомъ превышаетъ ея пониманіе, что̀ слишкомъ для нея необычно и оригинально, — то встрѣчается ею съ недоумѣніемъ и враждой. Такова была судьба «Бориса Годунова».

Поэтому *успѣхъ* «Руслана и Людмилы» указываетъ, самъ по себѣ, на то, что это произведеніе было по плечу русской публикѣ и потому было принято, какъ нѣчто всѣмъ понятное, всѣмъ доступное и, въ то же время, интересное.

Стоитъ опредѣлить, что̀ въ поэмѣ Пушкина было «понятнымъ», быть можетъ, даже *знакомымъ* его рус-

скимъ поклонникамъ, что̀ оказалось «пріятной» новизной,—и мы придемъ къ анализу литературной исторіи поэмы. Много было уже у насъ написано по этому вопросу, но, на мой взглядъ, еще остается сказать многое. Необходимо: 1) опредѣлить, хотя бы приблизительно, что̀ въ русской литературѣ подготовило появленіе поэмы Пушкина и этимъ обусловило за ней успѣхъ, 2) что̀ «новаго» сказалъ юный поэтъ въ своемъ первомъ крупномъ произведеніи, и почему оно не утонуло въ морѣ забвенія среди массы однородныхъ произведеній, 3) въ какомъ отношеніи «народная» поэма Пушкина находится къ народной поэзіи. Рѣшеніе этого послѣдняго вопроса приведетъ къ выясненію общаго вопроса о вліяніи народной поэзіи на Пушкина.

Въ статьѣ:—«Изъ замѣтокъ о Пушкинѣ: «Русланъ и Людмила» [1]) П. Н. Шефферъ подвелъ итоги тому, что̀ сдѣлано было въ русской критической литературѣ для выясненія литературныхъ основъ пушкинской поэмы [2]). Со своей стороны, онъ прибавилъ рядъ любопытныхъ дополненій (вліяніе вольтеровской «La

---

[1]) «Сборникъ «Памяти Л. Н. Майкова», С.-Пб. 1902.

[2]) Привожу перечень главныхъ работъ, пользуясь указаніями П. Н. Шеффера, посвященныхъ этому вопросу: *Л. Поливановъ*, «Русланъ и Людмила», («Сочин. Пушкина», изд. Поливанова, М. 1863 г. II, 1—21), *И. В. Владиміровъ*, «Происхожденіе «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина» («*Кіевскія Универс. Изв.*» 1895 г., № 6); его-же «Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ» («Памяти Пушкина научно-литературный сборникъ, собр. проф. и преподав. Имп. Университета Св. Владиміра», Кіевъ. 1899); *А. И. Кирпичниковъ*, «Мелкія замѣтки объ А. С. Пушкинѣ и его произведеніяхъ» («Русская Старина» 1899 г., № 2); *Н. И. Черняевъ*, «Критич. статьи и замѣтки о Пушкинѣ», Харьковъ. 1900.

Pucelle» на характеристику Людмилы; вліяніе поэмы Виланда «Оберонъ» на эпизодъ посѣщенія Людмилы Черноморомъ; вліяніе «вступленія» къ «Бахаріанѣ» Хераскова—на «прологъ» къ «Руслану»). Съ особеннымъ вниманіемъ остановился авторъ на сличеніи пушкинскаго произведенія со сказкою объ Ерусланѣ Лазаревичѣ.

Рукописный текстъ этой старой сказки приводитъ изслѣдователя къ заключенію, что не здѣсь кроется объясненіе происхожденія поэмы; но, сопоставивъ текстъ *печатный* XVIII-го вѣка (изъ сборника «Лѣкарство отъ задумчивости и безсонницы, или вторая часть настоящихъ русскихъ сказокъ» С.-Пб. 1815), онъ находитъ здѣсь рядъ точекъ соприкосновенія, что позволяетъ ему заключить о преимущественномъ вліяніи на поэму Пушкина именно этого *печатнаго* текста.

Затѣмъ изслѣдователь переходитъ къ выясненію вліянія поэмы Жуковскаго: «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» на «Руслана».

Для нашихъ цѣлей, впрочемъ, интереснѣе всего заключеніе первое—относительно значенія *печатнаго* текста сказки,—указаніе, свидѣтельствующее о *литературномъ*, не устномъ источникѣ поэмы.

Другое указаніе такого же характера дѣлаетъ проф. Владиміровъ. Въ цѣнномъ изслѣдованіи своемъ: «А. С. Пушкинъ и его предшественники» [1]) онъ характеризуетъ рядъ русскихъ произведеній, имѣющихъ отношеніе къ различнымъ произведеніямъ Пушкина, между прочимъ, къ «Руслану и Людмилѣ». Здѣсь мы находимъ подтвержденіе предположенія П. Н.

[1]) «Памяти Пушкина, научно-литературный сборникъ, сост. профессорами и преподавателями Имп. Универс. св. Владиміра». 1899 г.

Шеффера о «книжности» пушкинской поэмы. Проф. Владиміровъ указываетъ на произведеніе Чулкова: «Русскія сказки, содержащія древнѣйшія повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя и прочія, оставшіяся черезъ пересказыванье въ памяти приключенья» (изд. въ 10 частяхъ Новиковымъ въ 1783 г.), и говоритъ, что поэма Пушкина «связана съ Русскими сказками». Не входя въ детальное изслѣдованіе этого указанія, онъ говоритъ далѣе, что «Пушкинъ, находясь на югѣ въ 1821 г., просилъ выслать ему нѣсколько частей «Русскихъ Сказокъ» [1]). Затѣмъ проф. Владиміровъ дѣлаетъ характеристику произведеній Чулкова: «эти въ полномъ смыслѣ «волшебныя» исторіи, въ родѣ 1001 ночи, въ которыхъ имена русскихъ богатырей, историческія названія древней Руси, фразы изъ былинъ и народныхъ сказокъ, — преимущественно о типичной Бабѣ-Ягѣ, ея жертвахъ и Кощеѣ, — утопаютъ въ смѣси заимствованныхъ и выдуманныхъ подробностей и лицъ. Тутъ находимъ и злыхъ волшебницъ, волшебниковъ, появляющихся въ облакахъ съ громомъ, въ тучахъ, какъ пушкинскій Черноморъ, и именно съ цѣлью похищенья красавицъ, и добродѣтельныхъ волшебницъ: Добрадъ, Велеславъ, помогающихъ героямъ—Булатамъ, Громобоямъ, Алешамъ, Чуриламъ, или Добрынямъ, связаннымъ съ кн. Владиміромъ и Кіевомъ. Но послѣдній окруженъ очарованными домами, замками. Вообще подробности быта болѣе подходятъ къ французскимъ

[1]) Хотя Пушкинъ и не называетъ фамиліи *Чулкова*, но изъ словъ его: «нѣсколько частей» «Русскихъ сказокъ» — явствуетъ, что онъ имѣлъ въ виду именно это собраніе.

нравамъ XVII — XVIII в., взятымъ изъ сказокъ Гамильтона, Флоріана, Лафонтена». Не входя въ оцѣнку этой характеристики чулковскихъ сказокъ, слишкомъ суммарной и далеко не охватывающей ни ихъ содержанія, ни ихъ настроенія,—я, тѣмъ не менѣе, совершенно присоединяюсь къ мысли проф. Владиміров о связи сказокъ Чулкова съ поэмой Пушкина. Я попытаюсь только подробнѣе обосновать этотъ намекъ и увеличить ссылку на произведеніе Чулкова ссылками на длинный рядъ другихъ произведеній, аналогичныхъ...

«Сказки» Чулкова, по типу своему, принадлежатъ, главнымъ образомъ [1]), къ романамъ «рыцарско-волшебнымъ»—вѣрнѣе, къ рыцарскимъ поэмамъ, въ родѣ произведеній Баярда, Аріоста, Тассо, Виланда и др. Эти «поэмы» явились результатомъ подраженія старымъ рыцарскимъ романамъ (вродѣ «Амадисовъ» и «Пальмериновъ»). Усвоивъ оттуда рядъ «общихъ мѣстъ», они, со своей стороны, внесли въ освѣщеніе героевъ-рыцарей и ихъ подвиговъ несерьезность тона и авторскій скептицизмъ. Другимъ продолженіемъ «развитія» рыцарскихъ романовъ были сказки о «феяхъ»: выродившись изъ народной поэзіи, воспринявъ въ себя элементы стараго, разбитаго рыцарскаго романа, эти сказки окрасились или фривольностью и манерностью, или морализующей тенденціей. Во всякомъ случаѣ, подобно «поэмамъ», и эти «сказки» не отры-

---

[1]) Нѣкоторыя изъ сказокъ этого сборника чисто-народныя; есть даже одно близкое переложеніе былины (о Василіи Буслаевичѣ); другія относятся, по типу, къ сказкамъ 1001 ночи, третьи—къ реалистическимъ повѣстямъ типа «плутовскаго романа и пр.

вались отъ круга однихъ и тѣхъ-же «общихъ мѣстъ». Русская публика XVIII в. знала и любила эти поэмы и сказки. Онѣ охотно переводились, имъ подражали, ихъ передѣлывали... Цѣлая литература «подражаній» примкнула къ этимъ произведеніямъ, присвоила себѣ тѣ же «общія мѣста», ту же манеру письма, тотъ-же тонъ. Изъ многочисленныхъ авторовъ, дѣйствовавшихъ у насъ въ этомъ направленіи, одинъ Чулковъ является наиболѣе самостоятельнымъ и оригинальнымъ: онъ свободно импровизировалъ, поддѣлываясь то подъ манеру западно-европейскихъ романистовъ, то подъ стиль народнаго творчества...

Къ этому-же типу произведеній относится и поэма Пушкина. Чтобы показать, насколько эта богатая подражательная литература однообразна, насколько шаблонны ея «общія мѣста», постараюсь подтвердить это примѣрами, взятыми наудачу изъ разныхъ русскихъ романовъ, сказокъ и повѣстей XVIII в., этого типа.

Героиня, похищаемая чародѣемъ, всегда помѣщается имъ въ роскошныхъ чертогахъ; тамъ она окружается богатствами; всѣ ея прихоти исполняются безъ замедленія. Подобно тому, какъ всесильный Черноморъ играетъ жалкую роль предъ плѣненною имъ Людмилою, которая потѣшается надъ влюбленнымъ карлой, такъ и *всѣ* насильники-чародѣи, герои волшебныхъ романовъ XVIII в., въ богатыхъ чертогахъ своихъ, въ присутствіи своихъ капризныхъ возлюбленныхъ, теряютъ всю суровость и мрачность своихъ образовъ,—*всѣ* они являются молить о любви и всегда встрѣчаютъ отказъ, иногда насмѣшку кра-

савицъ. Въ одномъ изъ романовъ мы находимъ разгадку этой странности: оказывается, чародѣи и волшебники «любовью» могли наслаждаться только тогда, когда она имъ дарилась добровольно: надъ любовью безсильна была ихъ наука.

Привожу рядъ примѣровъ, аналогичныхъ положенію Людмилы у Черномора:

Героиня разсказываетъ, что похитившій ее духъ влюбился въ нее, но встрѣтилъ сопротивленіе. Надѣясь истребить изъ ея памяти Силослава, онъ ее помѣстилъ въ богатый замокъ и окружилъ роскошью. («Пересмѣшникъ» Чулкова, 171).

У карлы Зердута много красивыхъ дѣвицъ въ плѣну («Одушевленная статуя», 51). «Между ними одна особенно красива». «У сего хищнаго духа Зердута столь много честныхъ дѣвицъ, которыхъ онъ разными похищалъ способами, что едва ли у смертныхъ толикое число находится» (тамъ же, 51).

Карачунъ собиралъ въ роскошномъ дворцѣ красавицъ со всего свѣта; онѣ получали все, что только имъ вздумается: волшебный обѣдъ, разныя забавы (Поповъ, «Славянскія Древности», 116—7).

Въ дворцѣ злого чародѣя Зивіала до 100 прекрасныхъ дѣвицъ, имъ похищенныхъ (Чулковъ, «Русскія Сказки», 269).

Карачунъ красавицамъ не страшенъ, такъ какъ, «когда онъ осмѣливался далѣе простирать любовныя свои нахальства, то завсегда становился недвижимымъ, или объемлемъ ужаснымъ колотьемъ» («Слав. Древн.», 111).

Чародѣй Зелулъ «производилъ насиліе міру», «похищая единородныхъ дщерей у несчастныхъ родителей, разлучая нѣжныхъ женъ отъ вѣрныхъ имъ супруговъ» («Низверженный Зелулъ», 107).

Тезифея, похищенная Зелуломъ, очнулась въ замкѣ на пышномъ одрѣ (тамъ же, 227). Зелулъ объясняется ей въ любви, все обѣщаетъ и угрожаетъ. Она упорствуетъ (230).

Волшебникъ Шамисъ «столько влюбчивъ, что крадетъ со всего свѣта красавицъ, заключаетъ ихъ въ волшебный замокъ» («Чудныя похожденія Израда», 78).

Зломиръ, похитивъ Ціану, устроилъ ей великолѣпное жилище, окружилъ богатствами и свитой (тамъ же, 125). Все къ ея услугамъ,—она одна бродитъ по роскошнымъ заламъ (129): стоило ей чего пожелать,—

сейчасъ все являлось къ ея услугамъ (хоры пѣвицъ, танцы, угощенія) (130—1).

Перекраса похищена чародѣемъ Злодумомъ, который держитъ ее въ роскошномъ замкѣ («Зубоскалъ», 45).

Зердутъ нѣжно проситъ любви у похищенной имъ красавицы; она рѣшительно отвергаетъ его, называя «мерзостнымъ» твореніемъ («Одушевленная статуя», 97). Героиня подробно разсказываетъ объ ухаживаніяхъ колдуна, какъ онъ, ее развлекая, «дѣлалъ изъ золота маленькихъ мальчиковъ и заставлялъ ихъ плясать» (101). Не добившись любви, Зердутъ на всѣхъ плѣненныхъ красавицъ наложилъ молчаніе (103). Питались дѣвицы по звону колокольчика: стоило позвонить—«то и предстанетъ великолѣпное кушанье, котораго наѣвшись, пропадало паки» (105). Разныя увеселенія были предоставлены дѣвицамъ.

Героиня во власти чародѣя Всеэлоба, который влюбился въ нее, но безуспѣшно («Русскія сказки», 69).

Триглодитъ безуспѣшно добивается любви похищенной дѣвицы; онъ окружилъ ее роскошью («Русск. ск.», 236—7, 240—2).

Когда Зенида очутилась въ волшебномъ замкѣ чародѣя, онъ ее окружилъ роскошью и богатствомъ; всѣ прихоти ея исполнялъ—«слѣдовало только вообразить» («Русскія сказки», 299).

Зивіалъ на колѣняхъ проситъ любви у похищенной красавицы, но безуспѣшно (тамъ же, 300).

Всѣ герои, какъ Русланъ, послѣ долгихъ скитаній обыкновенно убиваютъ чародѣевъ, находятъ своихъ возлюбленныхъ, но иногда злые чародѣи, подобно Черномору, погрузившему Людмилу въ волшебный сонъ, также погружаютъ героинь въ сонъ, или превращаютъ ихъ въ статуй, или обращаютъ въ чудовищъ.

Проникнувъ въ роскошные хрустальные чертоги, Сидонъ нашелъ героиню Зениду, погруженную въ волшебный сонъ («Русскія сказки», 281).

Герой, проникшій въ замокъ, находитъ всѣхъ красавицъ усыпленными («Славянскія Древности», 56—7).

Красавица, плѣненная карлой Зердутомъ, сидитъ на тронѣ «въ задумчивости»; эта задумчивость есть оцѣпенѣніе («Одушевленная статуя», 87).

Послѣ ряда приключеній и испытаній, Израдъ освобождаетъ спящую красавицу Ціану изъ власти стараго чародѣя-эеіопа Зломира («Чудныя похожденія Израда», 58).

Мужъ, возлюбленный, братъ, рѣже—отецъ отправляются разыскивать похищенное у нихъ дорогое существо. Это—«общее мѣсто» волшебныхъ романовъ *преимущественно русскихъ*; это—основа, на которой авторъ строитъ весь романъ.

Прелѣпа украдена злымъ духомъ и живетъ въ его замкѣ («Пересмѣшникъ», 105); Силославъ ѣдетъ ее добывать (106).

Сынъ князя Богослава—Свѣтлосанъ отправляется на поиски зятя и сестры, похищенныхъ колдуномъ («Славянскія Древности», 23).

Гассанъ ѣдетъ на поиски похищенной Рипсимы («Чудныя похожденія Израда», 56).

Альфонсъ отправляется отыскивать Луизу, похищенную духомъ («Одушевленная статуя», 36).

Передъ долгими и опасными блужданіями по бѣлу свѣту всѣ эти герои встрѣчаютъ поддержку у добрыхъ волшебниковъ, волшебницъ, мудрецовъ и отшельниковъ, къ которымъ попадаютъ или случайно, или нарочно. Ободривъ героя, ихъ покровители, обыкновенно, открываютъ имъ имя похитителя, снабжаютъ совѣтами и вооружаютъ различными талисманами. Такимъ образомъ, въ этихъ многочисленныхъ и всегда неизбѣжныхъ эпизодахъ можно видѣть прототипъ посѣщенія Русланомъ Финна. Такъ, напримѣръ:

Алсана похищена Бабой-Ягою; братъ Алсаны Тарбелсъ отправился на поиски, заблудился въ лѣсу; здѣсь встрѣчаетъ онъ пустынника, который даетъ ему указанія, какъ найти дѣвушку. («Русскія сказки», 162).

Живущая въ пещерѣ добрая волшебница помогаетъ Святобою совѣтами и даетъ средства (талисманы) найти жену («Русскія сказки», 69).

Оруженосецъ Свѣтлосана посовѣтовалъ ему съѣздить за совѣтомъ къ Видостану, мудрому отшельнику, чтобы тотъ посовѣтовалъ, какъ

найти зятя и сестру. Оказывается, онъ — благожелательный мудрецъ — тоже страдаетъ отъ колдуна, ихъ общаго врага («Славянскія Древности», 25—7).

Герой идетъ на поиски жены, встрѣчаетъ волшебницу - покровительницу, которая дала ему совѣты, указанія и средства найти жену («Русскія сказки», 223).

Добрый волшебникъ помогаетъ герою найти путь къ волшебному замку Шамиса и вооружаетъ его талисманами («Чудныя похожденія Израда», 87).

Дервишъ Сизифъ даетъ Клеоранду совѣты, какъ выручить жену («Низверженный Зелулъ», 119—122).

Добрая волшебница указываетъ путь герою («Зубоскалъ», 45).

Куртозаръ, отправляясь въ далекій путь на подвиги, пользуется указаніями благосклоннаго старца-пустынника («Забавный разсказчикъ», 42—5).

Старикъ-пустынникъ указалъ герою путь и далъ средства попасть къ Зердуту («Одушевленная статуя», 52—4).

Идиллическая жизнь Ратмира [1]), увлекшагося любовью къ пастушкѣ, встрѣчается также въ «Русскихъ сказкахъ» Чулкова,—такъ, одинъ изъ его героевъ:

Добръ съ Милостаной, послѣ ряда треволненій, живутъ въ бѣдности рыбаками, но счастливы («Рус. ск.», 119). О жизни своей герой говоритъ: «предались мы всѣмъ пріятностямъ нѣжнаго союза. Мы любили другъ друга съ горячностью и посреди, пустыни, удаленной отъ сообщества съ прочими человѣками, не видали скуки. Мы раздѣляли труды рыболовства; любовь рождала намъ ежечасно новые предлоги къ разговорамъ, каждая рощица, всякій лужокъ приглашали насъ; мы считали себя единою четою на свѣтѣ и привыкли къ нашему уединенію (тамъ же, 120).

Коварный и трусливый кандидатъ на руку Людмилы, Фарлафъ, находитъ себѣ прототипъ въ одномъ изъ женихов Милославы (героиня романа Попова).

Изъ женихов Милославы князь казарскій Трухтрахъ во время состязанія, наградой котораго была назначена Милослава, «трепеталъ и предпочиталъ охотно безславный миръ славной дракѣ»; онъ хитростью спасаетъ свою жизнь и обманомъ убиваетъ соперника» («Славянскія Древности», 15—17).

[1]) Ср. въ «Соревн. Просв. и Благотв.» 1818 г. № 1, идиллію: «Ратмиръ и Всемила».

Сцена похищенія Черноморомъ Людмилы неоднократно встрѣчается въ волшебныхъ романахъ XVIII в. Это—обыкновенная «завязка» всѣхъ тѣхъ диковинныхъ приключеній, которыя составляютъ содержаніе русскихъ романовъ «волшебно-рыцарскаго» типа. Похищеніе всегда происходитъ неожиданно: обыкновенно, во время бракосочетанія, или сейчасъ же послѣ обрядовъ, въ первую брачную ночь. Въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ, по составу своему сплетенныхъ изъ цѣпи отдѣльныхъ эпизодовъ-авантюръ, такое неожиданное похищеніе повторяется по нѣскольку разъ. Привожу примѣры:

Черезъ нѣсколько времени послѣ свадьбы Аса была похищена чародѣемъ; мужъ отправился отыскивать ее по всему свѣту («Пересмѣшникъ», 103).

Чародѣй Карачунъ похищаетъ чужихъ женъ («Славянскія Древности», 95).

Во время бракосочетанія Вельдюзя, кн. Полотцкаго, съ Милославой, послѣ зловѣщихъ предсказаній идола Полеля, «вдругъ спустилось облако и унесло Милославу, а жертвенный быкъ обратился въ змѣя и унесъ Вельдюзя («Славянскія Древности», 20).

Боягордъ влюбился въ Черемисскую княжну Баяну. Отецъ ея Пойванъ согласился на ихъ бракъ, но Баяна во время прогулки въ саду была похищена облакомъ. Оказалось, это было дѣло рукъ чародѣя Сарагура («Русскія Сказки», 80). Боягордъ сталъ ее искать по свѣту (тамъ же, 96). Ему помогаетъ совѣтами и волшебными талисманами добрая волшебница.

Чародѣй похищаетъ Всемилу, дунувъ на мужа, который, вслѣдствіе этого, теряетъ силу и не можетъ ее защищать («Русскія Сказки», 155—6).

Послѣ долгихъ поисковъ герои нашли своихъ женъ и освободили ихъ, но, послѣ краткаго разговора съ ними были погружены въ волшебный сонъ. Проснувшись, витязи не нашли женъ (134).

Богиня Дидимія, разгнѣванная на родителей Звенислава за презрѣніе, ей оказанное, во время бракосочетанія героя, является на облакѣ и похищаетъ его невѣсту, а, заодно, и невѣсту его друга Парбелса. Мужья ѣдутъ на поиски (23).

Зенида, царская дочь, въ которую влюбился волшебникъ Зивіялъ, похищена облакомъ (тамъ же, 229).

Миловидъ, «упоенный нѣжностію дражайшей супруги, заснулъ въ ея объятіяхъ»,—но утромъ ея не оказалось—лежало лишь письмо, съ указаніемъ, что ее похитилъ духъ Триглодитъ (тамъ же, 219).

Курусъ—женихъ царицы Карсены. Онъ сидѣлъ у возлюбленной своей Карсены; разговоры ихъ исполнены были нѣжности, прекрасная рука ея прилѣплена была къ его устамъ; вдругъ поднялась буря, налетѣло черное облако; на немъ возсѣдалъ чародѣй Сарагуръ; «въ рукѣ держалъ онъ жезлъ, обвитый змѣями, зодіакъ висѣлъ черезъ плечо, и страшная пѣна била изо рта его». «Онъ бросилъ въ Карсену письмо, и она вмигъ окаменѣла, а Куруса онъ, схвативъ за волосы, помчалъ по воздуху» (тамъ же, 97, 98).

Баба-Яга влюбляется въ Тарбелса, похищаетъ его, ухаживаетъ за нимъ помѣстивъ въ роскошный садъ, въ богатую обстановку... Онъ потѣшается надъ нею, какъ Людмила надъ Черноморомъ (тамъ же, 236—243).

Уродъ-чародѣй Кривидъ влюбился въ красавицу Прелѣну и хотѣлъ похитить ее при помощи богатырей Дубыни, Горыни и Усыни. Наружность его ужасна: «голова съ кулакъ, украшенная только однимъ глазомъ», «рыжая, по землѣ волочащаяся борода, горбъ сзади и спереди, ноги въ 1/4 аршина, сивая шерсть на рукахъ» (тамъ же, 160).

Вихорь укралъ царицу Сумбуку, когда она гуляла по саду. Сыновья царицы отправляются ее искать. («Сказка о золотой горѣ», 2).

Альфонсъ увидѣлъ въ лѣсу прекрасную принцессу, которая плакала,—«какъ вдругъ спустился духъ и, оную похитивъ, полетѣлъ» («Одушевленная статуя», 41).

Гигантъ-чародѣй Шамисъ сватается за дочь Аримена, угрожая, въ случаѣ отказа, убить отца. Аримепъ отказываетъ. Тогда чародѣй три раза топнулъ,—явился разноцвѣтный огонь изъ бездны и колесница, запряженная 12-ю черными крылатыми конями; онъ похитилъ дочь Аримена и скрылся («Чудныя похожденія Израда», 71, 73).

Во время торжественнаго свадебнаго шествія Гассана и Рипсимы вдругъ раздался ударъ грома: во дворцѣ разверзся потолокъ: огненное облако показалось; на немъ летѣла Гарпія, которая, обратясь въ чудовище, похитила Рипсиму («Чудныя похожденія Израда», 42).

Ціана была похищена «гнуснымъ эѳіопомъ», который прилетѣлъ на кровавомъ облакѣ» (123).

Храбродѣлъ, влюбленный въ Перекрасу, дочь египетскаго царя, женится на ней. При выходѣ ихъ изъ храма, послѣ бракосочетанія, налетѣло облако, загремѣлъ громъ, заблистала молнія,—во время об-

щаго смятенья героиня оказалась похищенной («Зубоскалъ», 29). Храбродѣлъ отправляется искать молодую жену (31).

Игриппа, гуляя въ саду, пошла въ кипарисовую рощу. Семь черныхъ невольниковъ схватили ее и увезли. Герой Виталбъ ѣдетъ ее разыскивать («Зубоскалъ», 143, 145).

Злой духъ похитилъ Лѣпу у жениха ея Одара (тамъже, 67). Они были уже обручены и гуляли вдвоемъ въ саду. Одаръ въ отчаяніи отправляется отыскивать невѣсту (75).

Клеорондъ потерялъ свою жену, въ которую влюбился чародѣй, «гнусный эѳіопъ» Зелулъ. «Въ первый еще день брачнаго союза, когда Гименъ готовился уже увѣнчать взаимную ихъ другъ къ другу любовь, безчеловѣчный Зелулъ исторгъ ее изъ нѣжныхъ объятій своего супруга и разрушилъ готовый совершиться бракъ» («Низверженный Зелулъ», 112).

Клеорондъ гулялъ съ Зефизой. Вдругъ явился Зелулъ и дунулъ на Клеоронда, отчего онъ лишился чувствъ и упалъ; Зелулъ возложилъ на него оковы и, подхвативъ полумертвую отъ страха Зефизу, понесся по воздуху (тамъ же, 161).

Тезифея, во время прогулки, похищена Зелуломъ; Дорадъ отправился на поиски ея (166—7).

Зефиза похищена исполинами (284); герой Клеорондъ отправляется на поиски ея (296—7).

Сцена полета Руслана съ Черноморомъ встрѣчается нѣсколько разъ въ разсмотрѣнныхъ нами волшебныхъ романахъ и сказкахъ. Такъ, напримѣръ,—

Чародѣй Зелулъ летитъ, а въ него вцѣпился Клеорондъ. Зелулъ обращается въ разныхъ чудовищъ, но герой не выпускаетъ его («Низверженный Зелулъ», 207).

Въ другой сказкѣ царевичъ Иванъ является выручать мать, похищенную чародѣемъ.—

Мать учитъ сына, какъ овладѣть чародѣемъ: надо схватить его крѣпко за волшебную палицу и не выпускать ея изъ рукъ («Сказка о золотой горѣ», 20). Такъ и случилось: чародѣй летитъ, а за палицу держится царевичъ Иванъ (20—21).

Тѣ искушенія, которыя чародѣй поставилъ на пути Ратмира, и съ которыми юный витязь не справился, отдавшись радостямъ волшебной жизни замка

въ обществѣ прекрасныхъ женщинъ, неразъ встрѣчаются въ разсмотрѣнныхъ нами произведеніяхъ. Ихъ можно отнести къ «общимъ мѣстамъ» романовъ «волшебнаго типа».

Приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Силославъ, во время поисковъ своей возлюбленной, попадаетъ въ роскошный замокъ, населенный красавицами. Въ этомъ замкѣ, «домѣ угощенія», все роскошно. «Началъ бить благовонный водометъ и орошать всѣ стѣны, отъ чего поднялся легкой и пріятной паръ, наполнивъ все зданіе теплотою; тогда казалось, что будто теплые зефиры обмахивали крыльями Силославово тѣло. Въ такой покоясь роскоши, почувствовалъ Силославъ нѣжнѣйшее разслабленіе членовъ и сладкое млѣніе души» («Пересмѣшникъ», 159). Послѣ легкаго сна красавицы повели его обѣдать: «кушанья, разговоры, собесѣдницы, музыка, — все наполнено было великолѣпіемъ и нѣжностью» (160). Красавицъ до 3000—и всѣ прелестны. Взоры Силослава «летали по всѣмъ» (161). Онѣ ему заявили, что замокъ ихъ весь наполненъ женщинами, что ихъ «должность принимать чужестранцевъ и оныхъ угощать по ихъ соизволенію» (164). «Если ты имѣешь намѣреніе препроводить здѣсь свой вѣкъ, то можешь пользоваться всѣми этими красавицами,—онѣ будутъ всѣ во власти твоей»—сказала ему одна изъ красавицъ (165).

«Вдавшись въ великую роскошь и нѣжность, не мужество уже сіяло на его одеждѣ и не укрѣпленное силою богатырство,—походилъ онъ болѣе на Нарцисса, любовавшагося собственною красотою (тамъ же, 168).

Силославъ съ восторгомъ остался въ замкѣ—«препровождалъ время, получая всякой день новыя благосклонности отъ перемѣняющихся красавицъ. Восхищался роскошами, услаждалъ зрѣніе свое разными великолѣпіями сего замка, и такъ, не оставалось ему ничего иного думать, какъ только, что онъ во всемъ свѣтѣ не можетъ найти увеселенья лучшаго и достойнѣйшаго (166).

Замокъ этотъ оказался волшебнымъ, и когда разрушены были чары, онъ исчезъ со всѣми красавицами и роскошью (тамъ же, 174).

Волшебникъ, желая отвратить героя отъ его поисковъ, ставитъ ему на пути разныя препятствія, напр., искушаетъ его ласками прекрасныхъ дѣвушекъ («Славянскія Древности», 52—3).

Послѣ побѣды героя надъ искушеніями волшебный замокъ проваливается (тамъ же, 95—101).

Сидонъ разыскиваетъ Зениду, украденную «эѳіопомъ звѣрообразнымъ»; годъ ѣздилъ, утомляется, теряетъ коня; онъ тоже подвергается искушенію женщинами («Русскія Сказки», 266—7).

Волшебная лодочка привезла героя къ чудному замку. «Огромныя палаты бѣлаго камня до облаковъ, цвѣты кругомъ; стѣны украшены живописью, въ окнахъ статуи, фонтаны, ступени изъ разноцвѣтнаго мрамора. Внутри много прекрасныхъ дѣвушекъ, которыя, «рѣзвятся». «Увидѣвъ сего человѣка, встали и, молча представляя себя въ его услуги, радовались» («Одушевленная статуя», 82). Этотъ замокъ исчезаетъ, когда герой махнулъ волшебнымъ платкомъ (89—90).

Конечно, всѣ эти примѣры отнюдь не должны приводить къ заключенію, что *всѣ* цитованныя произведенія были извѣстны Пушкину и имѣли на его поэму вліяніе. Я хотѣлъ только доказать, что почти все содержаніе его поэмы еще въ XVIII-мъ вѣкѣ было у насъ сплошнымъ «общимъ мѣстомъ». Такимъ образомъ, «Русланъ и Людмила», по типу своему, представляетъ собой завершеніе у насъ въ русской литературѣ старой вѣковой исторіи «волшебно-рыцарскаго» романа. Поэма создалась подъ вліяніемъ «массовой» литературы, съ опредѣлившимся давно содержаніемъ и настроеніями; съ этой литературой конечно, знакомъ былъ Пушкинъ еще до лицея, роясь дома въ библіотекѣ отца. Поэма создалась совершенно внѣ сферы интересовъ къ русской устной народной поэзіи, а исключительно подъ вліяніемъ *книгъ*.

Но если Чулкова выдѣлилъ Пушкинъ изъ длиннаго ряда однородныхъ писателей, то это объясняется тѣмъ, что, дѣйствительно, талантливость и оригинальность дѣлали его самымъ замѣтнымъ писателемъ этого рода.

Останавливаюсь, въ заключеніе, на одной подроб-

ности, которая позволяетъ говорить о преимущественной близости пушкинской поэмы именно къ романамъ Чулкова.

Прекрасная сцена, когда Руланъ вступаетъ на поле, покрытое мертвыми костями, и предается здѣсь грустнымъ размышленіямъ о тлѣнности всего земного, находитъ себѣ прототипомъ подобныя-же сцены въ романахъ Чулкова.

Силославъ, безъ оруженосца и коня, грустный, бредетъ, куда глаза глядятъ; странствуя очень долго, нашелъ онъ многочисленное порубленное воинство. «Обширное и престрашное поле все покрыто было мужскими тѣлами. *Такое зрѣлище смутило его духъ и вселило въ него любопытство.* Онъ очень долго разсматривалъ трупы, которые находились въ разныхъ положеніяхъ; наконецъ, по срединѣ сего умерщвленнаго ополченія увидѣль онъ голову, подлѣ которой находилось тѣло, котораго платье и вооруженіе показывали его военачальникомъ» («Пересмѣшникъ», 121). «Голова сія открывала и закрывала глаза свои истомленные» (121). Это голова богатыря Роксолана. Герой вступаетъ въ разговоръ съ головой.

Другой герой Булатъ тоже «очутился на пространномъ полѣ, покрытомъ мертвыми человѣческими костями; переломанное или заржавѣвшее оружіе, всюду разбросанное, показывало бывшее нѣкогда на мѣстѣ ономъ кровопролитное сраженіе. *Во уединеніи оставляютъ человѣка всякія пристрастія и предаютъ сердце его естественнымъ разсужденіямъ. Булатъ размышлялъ о суетности человѣческихъ дѣйствій, о ослѣпленіяхъ мщенія и ложной славы,* принуждающихъ ихъ ненавидѣть гнать и убивать другъ друга и, можетъ быть, извлекъ бы заключеніе, что нѣтъ для нихъ лучшаго, какъ жить въ покоѣ» («Русскія сказки», 207).

«Черезъ нѣсколько дней взъѣхалъ я на пространную долину, которая вся покрыта была человѣческими костями. *Я сожалѣлъ о судьбѣ сихъ погибшихъ и лишенныхъ погребенія и предался въ размышленія о причинахъ, приводящихъ смертныхъ въ столь враждебные противу себя поступки».* Онъ увидѣлъ вдругъ предъ собой лежащую богатырскую голову отмѣнной величины. Онъ подъ ней нашелъ мѣдный ключъ (102—3).

Булатъ увидѣлъ богатырскую голову, валяющуюся въ безчестіи и лишенную погребенія; онъ хотѣлъ предать кости погребенію, при чемъ

оказалось, что «великій мечъ лежалъ, вмѣсто возглавья, подъ черепомъ богатырскимъ» (тамъ же, 208).

Булатъ оживляетъ богатыря Сидона. Для этого Булатъ открылъ чудесный «сосудецъ», ему врученный, и сейчасъ увидалъ, «какъ пары покрыли кости богатыря, какъ стали обростать онѣ жилами, плотью, потомъ надъ тѣломъ образовалось отъ нихъ облако»; «сильный чохъ разворвалъ облако и представилъ Булату встающаго съ земли богатыря» (тамъ же, 209).

Въ приведенныхъ цитатахъ я курсивомъ отмѣтилъ очень характерную подробность: герои Чулкова «размышляютъ» на полѣ битвы, погружаясь въ какое-то меланхолическое, созерцательное настроеніе. Кромѣ того, подъ головой великана почти всегда оказывается «мечъ»: голова, пробуждаясь, «чихаетъ».

Стоитъ сравнить съ этими мѣстами мысли и чувства Руслана:

«Со вздохомъ витязь вкругъ себя
Взираетъ грустными очами:
«О, поле, поле, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топталъ
Въ послѣдній часъ кровавой битвы?
Кто на тебѣ со славой палъ?
Чьи небо слышало молитвы?»—

—и нетрудно будетъ въ этихъ строкахъ увидѣть полное и прекрасное развитіе этой подробности (размышленія на полѣ битвы), которая упорно повторяется нѣсколько разъ у Чулкова; этого намека нѣтъ ни въ рукописной сказкѣ объ Ерусланѣ, ни въ той печатной, на которую указывалъ П. Н. Шефферъ въ своей статьѣ. Не есть-ли это одно изъ указаній на то, что, кромѣ массоваго вліянія цѣлаго ряда однородныхъ произведеній, сказки Чулкова имѣютъ для Пушкина особое, преимущественное значеніе, и не

подтверждается-ли это предположеніе, между прочимъ, вышеуказанной просьбой поэта выслать ему именно «Сказки» Чулкова?

Поэма Пушкина потому и была встрѣчена съ энтузіазмомъ, что она вся цѣликомъ вышла изъ этой богатой литературы рыцарско-волшебныхъ произведеній,—въ ней нѣтъ ни одного эпизода, который не нашелъ-бы себѣ нѣсколькихъ прототиповъ даже въ одной *русской* волшебной романистикѣ [1]). Такимъ образомъ, въ «Русланѣ и Людмилѣ» русскій читатель увидѣлъ все давно знакомое, но изложенное не въ грубой прозѣ XVIII в. архаистическимъ, топорнымъ стилемъ, а въ легкихъ, прекрасныхъ стихахъ, шаловливыхъ и звонкихъ, сверкающихъ то юношески-дерзкимъ юморомъ, то граціозною фривольностью. Въ этой стихотворной формѣ и своеобразной манерѣ письма была та «новизна», которая оживила старое, давно всѣмъ извѣстное и, быть можетъ, порядкомъ поднадоѣвшее. То, что̀ сказалъ Пушкинъ о писаніи «новыхъ», «оригинальныхъ» романовъ, при помощи матеріала, извлеченнаго для нихъ изъ старой «дѣдовской» литературы,—то вполнѣ оказалось приложимымъ и для объясненія возникновенія его собственной поэмы. Въ нѣсколькихъ предшествующихъ работахъ касательно Пушкина приходилось мнѣ припоминать эти знаменательныя слова: они многое объясняютъ въ творчествѣ поэта; художественная идея,

[1]) До сихъ поръ мнѣ не удалось найти въ предшествующей Пушкину литературѣ, русской и иностранной, ничего похожаго на эпизодъ Финна и Наины,—между тѣмъ, заимствованность этой вставной повѣстушки сразу чувствуется. Очевидно даже, что прототипъ ея надо искать среди «пародій» на «волшебную» сказку.

даже положеніе героевъ, ихъ слабые абрисы брались имъ нерѣдко извнѣ, но разработка всего взятаго, перенесеніе въ ту обстановку, которую онъ зналъ лучше—словомъ, «руссификація» и «приспособленіе къ интересамъ современности»—принадлежали поэту. Удивительно-удачный образчикъ такой творческой переработки представляютъ собою герои романа «Евгеній Онѣгинъ» [1]), неудачный—герой «Кавказскаго Плѣнника» [2]) и «Руслана и Людмилы»... Для нихъ онъ воспользовался старою канвой, на ней сумѣлъ расширить яркіе и интересные «узоры», но всетаки еще не въ настоящемъ «русскомъ стилѣ». Для «Кавказскаго Плѣнника» его попытка оказалась неудовлетворительною вслѣдствіе излишняго субъективизма, имъ тогда владѣвшаго, вслѣдствіе недостаточно-спокойнаго отношенія къ дѣйствительности и излишней подчиненности Шатобріану. То же можно сказать и относительно «Руслана»: поэтъ еще недостаточно проникся духомъ народной поэзіи, былъ еще слишкомъ во власти «книги» и того юношескаго граціозно-шаловливаго настроенія, которое совершенно чуждо народной русской поэзіи.

Мнѣ остается коснуться послѣдняго поставленнаго вопроса—объ отношеніи Пушкина къ народной поэзіи. Послѣ прекрасной работы проф. Вс. Миллера: «Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ», казалось-бы, нѣтъ больше мѣста для такихъ вопросовъ, но все предыдущее въ настоящей моей статьѣ касательно «литературности» ранней пушкинской поэмы заставляетъ

[1]) См. ниже статью: «Онѣгинъ, Ленскій и Татьяна».
[2]) См. ниже статью: «Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ».

меня пересмотрѣть этотъ вопросъ съ той точки зрѣнія, на которую не становился проф. Миллеръ.

Проф. Миллеръ очень внимательно собралъ всѣ факты изъ жизни поэта,—факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ съ дѣтства росли и постепенно углублялись интересы его къ народному творчеству; онъ отмѣтилъ среди произведеній поэта всѣ, проникнутыя народнымъ духомъ, но онъ не отмѣтилъ одного важнаго явленія въ творчествѣ поэта,—явленія, очень характернаго для пониманія отношеній его къ народной поэзіи.

Выше я указалъ, какъ онъ изъ старой дѣдовской литературы почерпалъ канву для узоровъ въ новомъ вкусѣ, какъ онъ ловилъ намеки, развивалъ ихъ и раскрашивалъ. То же можно наблюдать и въ его «народныхъ произведеніяхъ»-сказкахъ: многія изъ нихъ не народнаго происхожденія, а чисто-литературнаго, книжнаго, но *обработаны* поэтомъ въ народномъ русскомъ духѣ. Вотъ почему прежде, чѣмъ говорить, хотя-бы, объ интересѣ Пушкина къ русскимъ сказкамъ няни, не мѣшаетъ пересмотрѣть, всѣ-ли сказки слышалъ онъ изъ ея устъ, не увлекался ли онъ не только слушаньемъ, но и *чтеніемъ* тѣхъ искусственныхъ псевдонародныхъ «русскихъ» сказокъ и иностранныхъ, которымъ былъ богатъ еще XVIII вѣкъ. Въ прологѣ къ «Руслану и Людмилѣ» поэтъ намѣчаетъ содержаніе тѣхъ сказокъ, которыя разсказывалъ ему «котъ ученый»; изъ перечня сюжетовъ этихъ «сказокъ» видно, что лишь немногія изъ нихъ относятся къ «народнымъ» сказкамъ, а именно:

«Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей.
...Тамъ королевичъ мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя.
...Въ темницѣ тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей вѣрно служитъ...
Тамъ ступа съ Бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама собой.
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чахнетъ.

Все это, дѣйствительно, захватываетъ содержаніе русскихъ простонародныхъ сказокъ, но такія картины:

«. . . . тамъ лѣшій бродитъ,
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ...

—относятся къ области «повѣрій», а не сказокъ. Только у Чулкова встрѣчаемъ мы «сказки», гдѣ дѣйствуютъ «лѣшіе» и «русалки».

Наконецъ, остальные сюжеты не принадлежатъ ни сказочному эпосу, ни народнымъ вѣрованьямъ —

«Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей...
. . . . . .
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны.

—это уже фантастика не народныхъ русскихъ сказокъ, а тѣхъ искусственныхъ, волшебныхъ, въ которыхъ воображеніе писателя не знаетъ удержу,—громоздитъ чудовищные образы «изобрѣтенныхъ» ужасовъ въ видѣ диковинныхъ существъ, различныхъ видѣній.

«Тамъ въ облакахъ, передъ народомъ,
Черезъ лѣса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря!..

—картина, неизвѣстная русскимъ простонароднымъ сказкамъ, но шаблонная въ сказкѣ искусственной, книжной.

Въ стихотвореніи «Сонъ» поэтъ вспоминаетъ «о прелести таинственныхъ ночей», когда старуха-няня разсказывала ему сказки «о мертвецахъ, о подвигахъ Бовы». И какія-же видѣнія послѣ этихъ разсказовъ смущали покой ребенка?—

«...Я трепеталъ, и тихо, наконецъ,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали:
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ,
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней
Встрѣчалъ лихихъ *Полкановъ* и *Добрыней*,—
И въ вымыслахъ носился юный умъ.

«Волшебники» и «волшебницы» могли явиться ребенку только подъ вліяніемъ чтенія *волшебныхъ* сказокъ чужихъ, или русскихъ—подражательныхъ, въ родѣ чулковскихъ (русскія сказки знаютъ *вѣдуна, вѣдьму*, но не знаютъ «волшебниковъ»), а встрѣча поэта съ «лихими Полканами и Добрыней» выдаетъ поэта головой. Въ простонародныхъ сказкахъ «полкановъ» тоже нѣтъ. Впервые русскій народъ познакомился съ именемъ «Полканъ» изъ повѣсти о Бовѣ, гдѣ Полканъ (полупесъ-получеловѣкъ) является испорченнымъ итальянскимъ Pulicane. За то Чулковъ нѣсколько разъ вводитъ этотъ образъ въ свои сказки и въ единственномъ, и во множественномъ числѣ («полканы»), понимая подъ этимъ именемъ древнегреческаго «кентавра». У того же Чулкова въ «Русскихъ Сказкахъ» есть длинный романъ о похожденіяхъ Добрыни.

Еще одно указаніе. Татьяна увидѣла во снѣ собраніе чудовищъ:

« . . . . за столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ;
Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой,
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ остовъ чопорный и гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ и вотъ
Полужуравль и полукотъ.

XVII.

Еще страшнѣй, еще чуднѣй!
Вотъ ракъ верхомъ на пукѣ,
Вотъ черепъ на гусиной шеѣ
Вертится въ красномъ колпакѣ,
Вотъ мельница въ присядку пляшетъ
И крыльями трещитъ и машетъ,
Лай, хохотъ, пѣнье, свистъ и хлопъ
Людская молвь и конскій топъ!

Передъ нами калейдоскопъ образовъ, которые мы напрасно стали бы искать въ русскихъ народныхъ сказкахъ. Это—также одинъ изъ эпизодовъ старыхъ волшебныхъ сказокъ и романовъ, — тамъ все полно «видѣній», тамъ слѣды «невиданныхъ звѣрей»—тамъ эта свобода необузданнаго воображенія, которой не знаетъ русскій народъ, вообще скупой на фантастику и тяготѣющій къ реализму, къ бытовой картинѣ... Правда, подъ шаловливымъ перомъ поэта испарился весь ужасъ этого необычнаго собранія «невиданныхъ звѣрей» — передъ нами веселая «каррикатура» на фантастику старыхъ заимствованныхъ или переведенныхъ сказокъ.

Въ сказкѣ Чулкова «Повѣсть о Аліошѣ Поповичѣ богатырѣ» встрѣчаемъ мы картинку въ такомъ-же

жанрѣ: авторъ тоже рисуетъ собраніе чудовищъ, надъ которыми посмѣивается и самъ, и заставляетъ это дѣлать своего героя.

«Вся комната наполнилась дьяволами различнаго вида. Иные имѣли ростъ исполинскій, и потолокъ трещалъ, когда они умѣщались въ комнатѣ; другіе были такъ малы, какъ воробьи и жуки съ крыльями, безъ крыльевъ, съ рогами, комолые, многоголовые, безголовые, похожіе на звѣрей, на птицъ, и все, что есть въ природѣ ужаснаго. Всѣ ревѣли, страшно выли, сипѣли, скрежетали и бросались на богатыря» (стр. 229).

Подобныхъ картинокъ можно указать въ русскихъ *книжныхъ* сказкахъ нѣсколько, но только у Чулкова онѣ окрашиваются въ веселые, свѣтлые тоны. У Попова, напримѣръ, въ его «Славянскихъ древностяхъ» введенъ такой-же эпизодъ, но разсказанъ онъ серьезно [1]).

Если я прибавлю къ этому, что для прекрасной сказки «О рыбакѣ и рыбкѣ» напрасно искали источникъ въ русскихъ простонародныхъ сказкахъ, — она нашлась среди нѣмецкихъ, у братьевъ Гриммовъ [2]),— если прибавлю, что «Сказка о золотомъ пѣтушкѣ» нѣкоторыми деталями напоминаетъ сказку Клингера: «Le coq d'or», «Сказка о царѣ Салтанѣ» напоминаетъ одну изъ повѣстей «1001 ночи» [3]), «Сказка о

[1]) *Поповъ*, op. cit., 124—6 и др.

[2]) *Н. Ѳ. Сумцовъ*, «Изслѣдованія о поэзіи Пушкина», 287. Также въ сказкахъ M-me le Prince de Beaumont.

[3]) «Тысяча и одна ночь. Сказки Арабскія» перевед. съ фр. яз., т. 12, 1774. *Исторія о двухъ сестрахъ, завидующихъ меньшой.* Однажды принцъ Персидскій Косрутагъ, переодѣвшись, ходилъ по городу ... «Пришелъ въ одну улицу, гдѣ не было народа, услышалъ онъ, что громко говорятъ: онъ подошелъ къ тому дому, откуда слышенъ былъ шумъ и, смотря въ скважину дверную, увидѣлъ свѣтъ и трехъ сестеръ, сидящихъ на софѣ и разговаривающихъ послѣ ужина. По словамъ старшей изъ нихъ догадаться можно было, что желаніе ихъ различное

мертвой царевнѣ» болѣе принадлежитъ западу, чѣмъ русскому народу, а прекрасная «народная» драма «Русалка» является геніальной руссификаціей пустой и сентиментальной нѣмецкой пьески—мы должны будемъ признать, что не только для «Руслана и Людмилы», но и для другихъ произведеній, въ болѣе народномъ духѣ, Пушкинъ бралъ матеріалъ не всегда у народа, а часто, даже, скажу, *чаще* изъ книги, даже нерусской. Такимъ образомъ, его произведенія «въ русскомъ духѣ» находятся совершенно въ томъ же отношеніи къ чисто народнымъ, въ какомъ находятся, хотя-бы, сказки объ Ерусланѣ и Бовѣ къ настоящимъ русскимъ,—будучи заимствованы, онѣ руссифицировались, столкнувшись съ русской поэтикой былиннаго и сказочнаго эпоса, приспособились и совершенно акклиматизировались. То же произошло и съ чужими сюжетами, взятыми изъ книги, когда они

было причиною разговора. «Когда мы теперь о томъ говоримъ», сказала одна, «то бъ я желала быть за Султанскимъ хлѣбникомъ, я бы ѣла тотъ хорошій хлѣбъ, который пекутъ для Султана. Посмотримъ: какого ты вкуса!» «А я бы, говорила другая, хотѣла быть за главнымъ Султанскимъ кухмистиромъ, я бы ѣла лучшіе соусы: а какъ я увѣрена что Султанской хлѣбъ употребляютъ во всемъ дворцѣ, то бъ я и его ѣсть стала: видишь, сестрица, сказала она старшей, что мое желаніе твоего превосходнѣе!»

Младшая сестра, будучи чрезвычайная красавица и умнѣе бо́льшихъ своихъ сестеръ, начала говорить: «Что до меня касается, сестрицы сказала она, я не полагаю желаній своихъ въ такихъ бездѣлицахъ; но хочу сего превосходнѣе: я бъ желала быть за Султаномъ и родить ему Принца, у котораго бы волосы были съ одной стороны золотые а съ другой—серебряные, когда бы онъ сталъ плакать, то бы, вмѣсто слезъ, катился бы жемчугъ, а когда улыбнулся, то бъ губы его подобны были расцвѣтающей розѣ!» Другія параллели см. у Н. Ѳ. Сумцова, op. cit.

попали въ руки Пушкина. Чужая сказка (хотя-бы «О рыбакѣ и рыбкѣ»), попавъ въ его руки, подчинилась его знанію и пониманію истинно-народной пѣсни и претворилась въ русскую сказку. Намеки, почерпнутые не у народа, а изъ книги, поэтъ развилъ, расцвѣтилъ и облекъ новою плотью: по старой канвѣ расширилъ новые узоры.

Любопытно, что, въ этомъ отношеніи, Пушкина, какъ и его предшественниковъ и современниковъ, тянуло къ такой «поддѣлкѣ». До него и при немъ у насъ, съ меньшимъ успѣхомъ, занимались такими поддѣлками—Чулковъ («Русскія сказки»), Поповъ, («Славянскія древности»), Херасковъ («Бахаріана»), А. Радищевъ («Бова»), Н. Радищевъ («Богатырскія повѣсти въ стихахъ»), Державинъ («Царь-дѣвица»), Карамзинъ («Илья Муромецъ»), Жуковскій, Даль Нелединскій-Мелецкій, Дмитріевъ, Мерзляковъ, Дельвигъ [1]) и др.

Начало вѣка особенно прославилось такими поддѣлками (напр. «Краледворская Рукопись»), — ранѣе, въ XVIII в., къ такому же разряду произведеній относятся пѣсни Оссіана. Это было «литературной модой», которая быть можетъ, объясняется и тѣмъ, что простонародная поэзія, простая и несложная, не удовлетворяла избалованнымъ вкусамъ и запросамъ интеллигенціи, но въ то же время нароставшій интересъ и углублявшееся знаніе влекли къ народному творчеству. Остава-

[1]) Подробнѣе библіографію см. въ сочиненіи И. И. *Замотина*: «Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX ст. въ русской литературѣ», 1903, 17—31, *А. Н. Веселовскаго*, «В. А. Жуковскій. Поэзія чувства и сердечнаго воображенія», Спб. 1904, 509—530. *В. Сиповскаго* «Исторія русской словесности» ч. II, 293—296.

лось идти на компромиссъ: изобрѣтенная, или заимствованная интрига расцвѣчивалась на народно-поэтическій ладъ. Вотъ почему для своихъ сказокъ и Пушкинъ выбиралъ сюжеты или книжные, или, очевидно, заимствованные народомъ («О мертвой царевнѣ»),—они были болѣе сложны, болѣе «интересны».

Вотъ почему его безсознательно потянуло и къ поддѣльнымъ пѣснямъ южныхъ славянъ Мериме. Вотъ почему и самъ онъ былъ не прочь отъ сознательной поддѣлки. Не объ этомъ ли говоритъ его самодовольный вызовъ, брошенный Кирѣевскому при передачѣ ему сборника записанныхъ пѣсенъ: «Когда-нибудь, отъ нечего дѣлать, разберите-ка, которыя поетъ народъ и которыя смастерилъ я самъ». Кирѣевскій не сумѣлъ различить настоящихъ простонародныхъ отъ сочиненныхъ Пушкинымъ. Конечно, это—лишнее доказательство того, какой виртуозности, въ поддѣлкѣ достигъ поэтъ и притомъ цѣною долгихъ и сознательныхъ усилій: восхищаясь сказками Даля, поэтъ обронилъ замѣчаніе, свидѣтельствующее о томъ, какой борьбы стоила ему трудная побѣда надъ русскимъ народнымъ стилемъ: «Сказка сказкой, а языкъ нашъ самъ по себѣ, и ему-то нигдѣ нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ сказкѣ. А какъ это дѣлать? Надо бы сдѣлать, чтобы выучиться говорить по-русски и не въ сказкѣ... Да нѣтъ трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ въ каждой поговоркѣ нашей! Что за золото! А не дается въ руки, нѣтъ!» [1]).

---

[1]) *Л. Майковъ*, Пушкинъ, стр. 418.

Итакъ—мой очеркъ нисколько не подрываетъ ни одной мысли изъ статьи проф. Вс. Миллера, — онъ еще подкрѣпляетъ основное положеніе статьи изслѣдователя, что Пушкинъ былъ великимъ русскимъ «этнографомъ»,—въ этомъ отношеніи онъ до такой степени былъ великъ, что свои заимствованія умѣлъ претворить въ чисто-народныя произведенія: начавъ съ неудачной поддѣлки («Русланъ и Людмила»), подъ конецъ своей жизни добился, *путемъ долгихъ усилій*, умѣнья перевоплощать чужое въ свое родное.

«...Тебѣ грустно по Байронѣ, а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи... Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью... Постепенности въ немъ не было: онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились...»

(Соч. VII, 80).

«...Байронъ бросилъ односторонній взглядъ на міръ и природу человѣческую, потомъ отвратился отъ нихъ и погрузился въ описаніе самого себя, въ коемъ онъ поэтически создалъ и описалъ единый характеръ (именно свой»).

(Соч. V, 50).

Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ.

(Изъ литературной жизни Пушкина на югѣ Россіи).

О вліяніи Байрона на Пушкина, обыкновенно, говорятъ въ нашей литературѣ, какъ о чемъ-то безповоротно-рѣшенномъ: «въ юности Пушкинъ увлекался Байрономъ, былъ подъ его вліяніемъ и цѣлый рядъ произведеній написалъ въ подражаніе великому англійскому писателю»,—вотъ, мнѣніе, которое на разные лады варьируется нашими историками литературы; оно вошло въ учебники словесности и, при всей своей неопредѣленности, сдѣлалось какой-то непогрѣшимой аксіомой.

Всѣ подобныя утвержденія, ничѣмъ пока не доказанныя и никѣмъ еще не изслѣдованныя, любопытны во многихъ отношеніяхъ: во-первыхъ, историку литературы они ставятъ вопросъ, какъ могло сложиться подобное убѣжденіе, какова была его историческая судьба, — и, во-вторыхъ, въ какихъ размѣрахъ можетъ быть оно принято,—не нужно ли расширить, или, напротивъ, сузить его предѣлы.

О «байронизмѣ» Пушкина впервые заговорили еще современники нашего великаго писателя. Но мнѣнія современниковъ всегда нуждаются въ строгомъ къ нимъ отношеніи: они слишкомъ часто служатъ дурную службу для исторіи, своей безапелляціонностью иногда только сбивая съ толку послѣдующую критику. За примѣрами ходить недалеко. Карамзина современники прославили «русскимъ Стерномъ»,—и эта кличка надолго осталась за нимъ, дожила до нашихъ дней, проникла въ учебники—и для многихъ «Письма русскаго путешественника» до сихъ поръ есть не что иное, какъ подражаніе Стерну,—между тѣмъ, на англійскаго юмориста Карамзинъ походилъ очень мало [1]).

Почти то же явленіе наблюдаемъ мы и при зарожденіи мнѣнія о «байронизмѣ Пушкина».

Байронъ въ началѣ вѣка поразилъ всѣхъ блескомъ своего таланта; это былъ, если смѣю такъ выразиться, чисто фейерверочный огонь,—при немъ тускнѣли такіе свѣточи, какъ Гёте, горѣвшіе, хотя и

---

[1]) Интересно, что и сами писатели часто ошибаются въ оцѣнкѣ своего собственнаго литературнаго направленія. Напримѣръ, тотъ-же Карамзинъ, повидимому, искренно считалъ себя близкимъ къ Стерну. Объяснить это странное явленіе можно, конечно, только свойствомъ человѣка не останавливаться передъ самообманомъ, когда ему хочется въ чемъ-нибудь убѣдить себя: Карамзинъ увлекался Стерномъ; онъ *хотѣлъ* и *старался* подражать ему—и далъ, въ результатѣ, произведеніе, которое намъ, людямъ безпристрастнымъ, кажется очень далекимъ отъ произведенія Стерна, но которое Карамзину и его современникамъ, вѣроятно, представлялось инымъ, такъ какъ разстояніе, отдѣляющее его отъ Стерна, уничтожалось, или, по крайней мѣрѣ, очень сокращалось благодаря безсознательному услужливому самоподсказу, пополнявшему то, что, на самомъ дѣлѣ, не было договорено...

сильнымъ, но ровнымъ свѣтомъ, къ которому глазъ привыкаетъ легко. Въ Байронѣ все увлекало: и жизнь его, нервная, тревожная, и блестящіе герои его, съ ихъ титаническими страстями, съ ихъ горделивой борьбой!. Въ эту пору общаго восхищенія Байрономъ замѣтной величиной на россійскомъ Парнасѣ былъ Пушкинъ; его появленіе въ рядахъ русскихъ литераторовъ сопровождалось такимъ-же блескомъ и шумомъ, какъ и появленіе Байрона; жизнь молодого, русскаго поэта складывалась, повидимому, такъ же, какъ и англійскаго; многимъ было, вѣроятно, извѣстно, что молодой Пушкинъ старался въ жизни копировать Байрона; къ тому-же въ поэзіи Пушкина зазвучали какія-то нотки, повидимому, близкія къ тѣмъ, что слышались у моднаго британскаго поэта,—немудрено, что сопоставленіе между двумя писателями, сопоставленіе, лестное для русскаго самолюбія, невольно всѣмъ напрашивалось само собой,—въ результатѣ, настороженный слухъ почитателей и критиковъ нашего поэта обманулъ ихъ: они не вслушались въ рѣчи Пушкина и черезчуръ поспѣшили назвать его «Русскимъ Байрономъ», поторопились съ стихотворными посланіями къ «сѣверному Байрону».

Англійскимъ писателемъ у насъ во время Пушкина увлекались до того, что во многихъ критическихъ статьяхъ, посвященныхъ Пушкину, о Байронѣ говорилось не меньше: для многихъ критиковъ 20-хъ и 30-хъ годовъ онъ былъ неизмѣнной точкой отправленія для оцѣнки Пушкина. Такъ, напримѣръ, кн. Вяземскій говоритъ, что «Пушкинъ въ «Кавказ-

скомъ Плѣнникѣ» слѣдовалъ примѣру Байрона въ Child-Harold'ѣ [1])».. Олинъ, цитуя разсказъ Заремы о ея дѣтствѣ, съ замѣтнымъ удовольствіемъ замѣчаетъ: «въ этомъ прекрасномъ разсказѣ байронизмъ мастерски выдержанъ [2])». Въ 1824-омъ году критикъ «Сына Отечества» рѣшительно заявляетъ: «Байронъ служилъ образцемъ для нашего поэта» [3]). Черезъ годъ, въ томъ-же «Сынѣ Отечества» читаемъ, что «въ сердцѣ Пушкина Байронъ оставляетъ глубокія впечатлѣнія, которыя отражаются во всѣхъ его твореніяхъ [4])». Критикъ «Цыганъ» въ 1827-омъ году замѣтилъ, что, «не будь Байрона, не было бы и поэмы «Цыганы» въ настоящемъ ихъ видѣ [5])». Критикъ «Московскаго Вѣстника» первый заговорилъ о «заимствованіяхъ» Пушкинымъ у Байрона: «Пушкинъ, говоритъ онъ, не случайно встрѣтился съ Байрономъ, но заимствовалъ у него, или, лучше сказать, невольно подчинился его вліянію [6])»... «характеры лицъ (въ поэмахъ Пушкина), по бо́льшей части, столь сходные (съ байроновскими), что съ перваго взгляда ихъ почтешь за чужеземцевъ-эмигрантовъ, переселившихся изъ байронова міра въ творенія Пушкина [7])». По словамъ Кс. Полевого, «Кавказскій Плѣнникъ», «какъ и другія поэмы Пушкина, слѣдовавшія за нею, были слѣдствіемъ Байрона, овладѣвшаго на время всѣмъ міромъ [8])»: Пушкинъ «проникся духомъ новой романтической школы и, такъ сказать, вступилъ

[1]) С. Отеч., 1822, ч. 82, № 49, 120. [2]) Литер. Листки, 1824, № 7, 270. [3]) С. Отеч., 1824, ч. 92, № 13, 272. [4]) Тамъ же, 1825, ч. 100 № 8, 376. [5]) Моск. Тел., 1827, ч. 15, № 10, 112. [6]) Моск. Вѣстн., 1828, ч. 8, 181. [7]) Тамъ же, 179. [8]) Моск. Телеграфъ, 1829, ч. 27, № 10, 228.

въ планетную систему Байрона [1])».. Камашевъ задаетъ вопросъ своимъ читателямъ: «въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», «Цыганахъ», «Онѣгинѣ» и, наконецъ, «Полтавѣ»—кто не видитъ Байроновской тѣни? [2])». Н. Полевой въ 1833 году тоже высказался за вліяніе Байрона очень рѣшительно: «Байронъ, говоритъ онъ, возобладалъ совершенно поэтическою душою Пушкина, и это владычество на много времени лишило нашего поэта собственныхъ его вдохновеній [3])»... «Кавказскій Плѣнникъ», по его мнѣнію, былъ рѣшительнымъ сколкомъ съ того лица, которое, въ исполинскихъ чертахъ, грознымъ привидѣніемъ пролетѣло въ поэзіи Байрона [4])».. «Духъ вѣка, въ мрачномъ образѣ Байрона, читаемъ въ «Библіотекѣ для Чтенія», увлекалъ Пушкина въ первые годы его творческой дѣятельности, и Пушкинъ заплатилъ этому духу высокую дань въ первыхъ созданіяхъ своей молодости [5])»... «Въ первые годы Пушкина увлекло неодолимое вліяніе генія, который былъ такъ сроденъ и близокъ ему [6])»...

Вотъ нѣсколько выдержекъ, выхваченныхъ случайно изъ многочисленныхъ отзывовъ русской критики, современной Пушкину. Какъ мы видимъ, значеніе Байрону въ творчествѣ Пушкина отводится большое, но интересно, что послѣ самаго рѣшительнаго признанія вліянія Байрона, наши критики нерѣдко начинаютъ колебаться, смягчаютъ свои рѣши-

[1]) Тамъ же. [2]) С. Отеч., 1831, т. 23, ч. 145, № 40, 103. [3]) М. Телегр. 1833, ч. 49, № 1, 135. [4]) Тамъ же, 136. [5]) Библ. для Чт. 1840, т. 39, 5. [6]) Тамъ же, 22.

тельные приговоры, или указаніемъ на нѣкоторую степень оригинальности, всетаки внесенную Пушкинымъ въ произведенія, написанныя «подъ вліяніемъ Байрона», или ограничиваютъ это вліяніе лишь формальной стороной, или указываютъ на борьбу, въ которую вступилъ Пушкинъ съ этимъ вліяніемъ, или, наконецъ, говорятъ о блѣдной, слабой обрисовкѣ «характеровъ» въ пушкинскихъ поэмахъ, что отличаетъ ихъ отъ «байроновскихъ»... Оговорки эти иногда такъ нерѣшительны, что настоящее отношеніе критики къ вопросу часто оказывается совсѣмъ неяснымъ. Такъ, напримѣръ, говоря о «Цыганахъ», Н. Полевой въ 1827-омъ году говоритъ слѣдующее: «неужели нѣтъ тутъ ни малѣйшаго подражанія? спроситъ сейчасъ злонамѣренная недовѣрчивость. Кажется, рѣшительно нѣтъ,—по крайней мѣрѣ, подражанія уловимаго, подлежащаго уликѣ. Но намъ лично, хотя для того, чтобы поддержать свое мнѣніе, нельзя, впрочемъ, не признаться, что, вѣроятно, не будь Байрона, не было-бы и поэмы «Цыганы» въ настоящемъ ихъ видѣ, если однакожъ притомъ судьба не захотѣла-бъ дать Пушкину мѣсто, занимаемое нынѣ Байрономъ въ поколѣніи нашемъ [1])»... Критикъ «Библіотеки для Чтенія», говоря о сильномъ вліяніи Байрона, сейчасъ-же спѣшитъ добавить: «но Пушкинъ не менѣе того поэтъ самостоятельный». Указавъ на поэмы: «Кавказскій Плѣнникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», какъ на пьесы, особенно отразившія вліяніе «суроваго пѣвца Альбіона», тотъ-же

[1]) М. Телегр., 1827, ч. 15, № 10, 112.

критикъ спѣшитъ оговориться: «но и тогда уже Пушкинъ освобождался по временамъ отъ этихъ тяжелыхъ оковъ и гордо и свободно запѣвалъ русскимъ голосомъ, какъ въ «Братьяхъ-разбойникахъ»,— «чувствовалъ русскимъ сердцемъ, какъ въ «Цыганахъ [1])».. Впрочемъ, несмотря на эти оговорки нашихъ критиковъ, обыкновенно, черезъ нѣсколько-же строкъ, Байронъ опять у нихъ появляется на сцену и опять склоняется во всѣхъ падежахъ..

Итакъ, мы видимъ, что Пушкину упорно навязывали вліяніе Байрона, но колебанія и нерѣшительность, при этомъ проявлявшіяся, служатъ для насъ лучшимъ свидѣтельствомъ того, что, при всемъ стараніи критиковъ [2]), Пушкинъ не сливался съ Байрономъ,—всѣми чувствовалось что-то, мѣшавшее единогласно и рѣшительно признать безусловнымъ вліяніе Байрона на Пушкина.

Остановимся, наконецъ, на томъ любопытномъ фактѣ, что, при всѣхъ своихъ колебаніяхъ въ приговорѣ Пушкину, нѣкоторые критики, въ пылу полемики, дошли до признанія, что Пушкинъ ориги-

1) Библ. для Чтенія, 1840, т. 39, 5.

2) Насколько энергичны были даже друзья Пушкина въ стремленіи найти въ его герояхъ черты байронизма, видно, напримѣръ, изъ одного признанія кн. Вяземскаго. Указывая на то, что прототипъ «Кавказкаго Плѣнника» найдется у Байрона, критикъ указываетъ на ту блѣдность, съ какою очерченъ пушкинскій герой: «сей характеръ, говоритъ онъ, изображенъ во всей полнотѣ въ одномъ произведеніи Байрона, у нашего поэта онъ только означенъ слегка; мы почти *должны угадывать* намѣренія автора и *мысленно пополнять* недоконченное въ его твореніи» (С. Отеч., 1822, ч. 82, № 49, 122). Вотъ эти услужливыя «угадыванья» да «пополненія» и запутали, на мой взглядъ, вопросъ о байронизмѣ Пушкина...

нальный поэтъ. Такъ, Булгаринъ отстаивалъ самостоятельность Пушкина: «по моему мнѣнію, говоритъ онъ, Пушкинъ есть только *слѣдствіе* вѣка и поэзіи Байроновской, но самъ онъ оригиналенъ, а не подражатель [1])». Такое мнѣніе, выраженное, впрочемъ, менѣе опредѣленно и съ обычными оговорками, можно встрѣтить еще нѣсколько разъ у современниковъ Пушкина.

Иностранный критикъ Варнгагенъ-фонъ-Энзе первый рѣшительно и опредѣленно высказался за независимость нашего поэта отъ Байрона: «русскіе, говоря о Пушкинѣ, замѣчаетъ онъ, нерѣдко говорятъ о подражаніи. Мы встрѣчаемъ у Пушкина подобное тому, что находимъ у лорда Байрона. Его поэзія кажется часто подражаніемъ, не будучи таковой: она происходитъ изъ собственнаго духа даже въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ невсегда бываетъ отличительна. Подобно океану, въ который каждая страна катитъ свои воды, запасъ образовъ, накопившійся впродолженіе вѣковъ, есть общее достояніе, которымъ каждый можетъ пользоваться, изъ котораго можно присваивать себѣ то, что пригодно, или нравится [2])». Этотъ нѣмецкій критикъ первый послѣдовательно провелъ свой взглядъ на Пушкина, избѣгнувъ тѣхъ колебаній и противорѣчій, которыми богата русская критика. Какъ образчикъ подобныхъ противорѣчій, приведемъ, хотя-бы, отзывъ о «Полтавѣ» критика «Сына Отечества»: припоминая первыя произведенія Пушкина, критикъ заявляетъ, что нашъ поэтъ «вступилъ

[1]) С. Отеч. и Сѣв. Арх., 1833, т. 33, № 6.
[2]) С. Отеч. 1839, т. 7, 8.

въ планетную систему Байрона», потомъ оговаривается: «однакожъ Пушкинъ есть не подражатель Байрона, а послѣдователь его»—и, наконецъ, черезъ нѣсколько строкъ, прибавилъ: «тѣ, которые сравниваютъ Пушкина съ Байрономъ, вѣрно не понимаютъ въ подлинникѣ произведеній британскаго поэта. Байронъ сотворилъ новый міръ, населилъ его существами мрачными, презирающими человѣчество и все, что создано человѣкомъ. Герои байроновскіе дышатъ не воздухомъ, а пламенемъ. Напротивъ того, у Пушкина (кромѣ характера Заремы въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ») вовсе нѣтъ сильныхъ, пламенныхъ, мрачныхъ, неукротимыхъ характеровъ Байроновскихъ [1])»...

Изъ этого отзыва, несмотря на всю его неустойчивость, мы видимъ, что различіе между Байрономъ и Пушкинымъ было замѣчено уже его современниками.

Надеждинъ, въ свою очередь не избѣгшій нѣкоторыхъ неясностей, тѣмъ не менѣе, рѣзко противопоставилъ Байрона Пушкину: «у Байрона, говоритъ онъ, былъ точно геній и какой геній! Онъ всегда вѣренъ самому себѣ: и тогда, когда пытается святотатски обнажить дѣвственныя таинства неба и земли, тогда, когда унижается до постыднаго лаянья площаднаго памфлетиста. Вездѣ то же мрачное всенена-видѣніе: вездѣ тѣ же безотрадныя картины сиротствующаго бытія, коего летаргическое усыпленіе взрывается только буйными порывами бунтующей жизни. Къ чести нашего поэта должно сказать, что подобное величіе ему чуждо. Онъ еще не переросъ скуд-

[1]) С. Отеч., 1829, ч. 125, № 15, 44.

ной мѣры человѣчества: и душа его — даже слишкомъ дружна съ земною жизнью... И ежели иногда случается ему понегодовать на міръ, то это бываетъ просто — съ сердцовъ, а не изъ ненависти. Какъ же можно сравнивать его съ Байрономъ? Они не имѣютъ ничего общаго, кромѣ развѣ внѣшней формы изложенія» [1]).

Этотъ отзывъ представляетъ для насъ, конечно, немалый интересъ, — но, повторяемъ, подобныя сужденія молодой русской критики не были выношены ею, всплывали словно нечаянно въ пылу полемики и тонули въ волнахъ противорѣчій и оговорокъ... Впрочемъ, послѣ отзыва о Пушкинѣ Варнгагена-фонъ-Энзе въ русской критикѣ замѣчается болѣе опредѣленное и внимательное отношеніе къ «байронизму» Пушкина: Шевыревъ, признававшій вліяніе Байрона, тѣмъ не менѣе, первый попытался опредѣлить точно размѣры его и выяснить различіе между поэтическими характерами обоихъ писателей: «извѣстно у насъ, что Байронъ произвелъ сильное вліяніе на Пушкина, говоритъ онъ, но до сихъ поръ не опредѣлена у насъ, въ надлежащей мѣрѣ, ни степень этого вліянія, ни разность между характерами обоихъ поэтовъ... Байронъ и Пушкинъ являются намъ совершенно противоположными по существу ихъ характера. Байронъ — поэтъ чисто-лирическій, поэтъ субъективный, уединяющійся въ глубину своего духа и тамъ создающій міръ по своему. Пушкинъ совершенно противное... Это поэтъ, чисто объективный, предметный, который весь увлеченъ міромъ внѣшнимъ и до самоотверже-

[1]) Вѣстн. Евр. 1829, № 8.

нія способенъ переселяться въ его явленія: это поэтъ для эпоса и драмы...» [1]).

Бѣлинскій тоже рѣшительно возсталъ противъ сближенія Пушкина съ Байрономъ. Еще въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» онъ энергично заявилъ: «несправедливо говорятъ, будто Пушкинъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію...» [2]). И этому мнѣнію, несмотря на свои извѣстныя колебанія въ оцѣнкѣ Пушкина, Бѣлинскій остался вѣренъ неизмѣнно... Въ 1844 году онъ еще опредѣленнѣе повторилъ то же: «между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направленіи и духѣ таланта и... слѣдовательно, тутъ неумѣстно... какое-бы то ни было сравненіе...» [3]). «Пушкина нѣкогда сравнивали съ Байрономъ, читаемъ далѣе. Мы уже не разъ замѣчали, что сравненіе это болѣе, чѣмъ ложно, ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натурѣ, а, слѣдовательно, и по паѳосу своей поэзіи...» [4]). О «Кавказскомъ Плѣнникѣ» Бѣлинскій говоритъ, какъ о самобытномъ произведеніи, выросшемъ на русской почвѣ и имѣющемъ у насъ историческое оправданіе [5]); герою «Цыганъ» Бѣлинскій отвелъ въ 1844 году нѣсколько страницъ, но ни разу, говоря о немъ, не обмолвился Байрономъ... [6]). Единственно, въ чемъ признавалъ Бѣлинскій значе-

---

[1]) Москвит., 1841, ч. 5, № 9, 257. [2]) *Бѣлинскій*, Соч., I, 77—8. [3]) Тамъ же, VIII, 341. [4]) Тамъ же, 389. [5]) Тамъ же, 437. [6]) Тамъ же, 452.

ніе Байрона для Пушкина, — это, въ формальномъ отношеніи...

Чернышевскій къ «байронизму» Пушкина отнесся неопредѣленно: разъ онъ говоритъ, что первыя поэмы Пушкина въ «байроновскомъ духѣ» [1]), далѣе онъ замѣчаетъ, что «произведенія Пушкина все еще очень близко напоминаютъ» [2]) Байрона, потомъ онъ называетъ «поэмы въ байроновскомъ родѣ» — поэмами, непрочувствованными, «странными подражаніями байроновской формѣ безъ всякаго пониманія байроновскаго духа» [3]), и, наконецъ, защищаетъ Надеждина отъ тѣхъ нареканій, которыя раздались въ русской литературѣ за то, что Надеждинъ указалъ на совершенное несходство между двумя великими поэтами, «въ самомъ дѣлѣ, по словамъ Чернышевскаго, нимало не похожими другъ на друга...» [4]).

Въ 1856 году Катковъ въ своей любопытной статьѣ о Пушкинѣ тоже высказался довольно рѣшительно за независимость Пушкина: «Пушкинъ никогда, говоритъ онъ, не былъ подражателемъ; это природа въ высшей степени оригинальная... Подражательность такъ мало свойственна его природѣ, что всему чужому, чего касалась его мысль, давалъ онъ совершенно новое значеніе, новый видъ... Конечно, въ переходную пору своего развитія Пушкинъ не могъ не подчиниться вліянію того мрачнаго и могущественнаго британскаго генія, который господствовалъ надъ умами... Но вліяніе Байрона на нашего поэта вовсе не было такъ глубоко; оно только воз-

[1]) *Чернышевскій*, Соч., I, 4. [2]) Тамъ же, 19. [3]) Тамъ же, 195. [4]) Тамъ же, 181.

буждало его, а вовсе не сообщало направленія его развитію. Въ Пушкинѣ нѣтъ и слѣдовъ той непреклонной демонической гордости, которою дышатъ байроновскіе герои» [1]).

Добролюбовъ, разбирая сочиненіе Милюкова и соглашаясь съ нимъ въ вопросѣ о байронизмѣ Пушкина, прибавляетъ: «Байрона Пушкинъ не понялъ и не могъ понять, какъ по основѣ собственнаго характера, такъ и по характеру общества, окружавшаго его; Пушкинъ не былъ вовсе похожъ на Байрона» [2]).

Ап. Григорьевъ нѣсколько разъ подходилъ къ вопросу объ отношеніи Пушкина къ Байрону, но рѣшительнаго отвѣта не далъ: то онъ говоритъ о борьбѣ пушкинской, т. е. «идеально-русской натуры» [3]) съ натурой байронической,—борьбѣ, отраженіе которой критикъ видѣлъ не только въ произведеніяхъ Пушкина, но и въ его жизни,—то онъ признаетъ «сильное вліяніе Байрона» на юношу-Пушкина [4]), то заявляетъ, что русскій поэтъ «байронизму не подчинялся, но глубоко сочувствовалъ» [5]).

Страховъ тоже коснулся интересующаго насъ вопроса, отдѣлавшись, впрочемъ, неопредѣленнымъ указаніемъ на то, что «эгоистическое разочарованіе Байрона» «стремилось его покорить» [6]) и что, «выйдя изъ-подъ этого вліянія, Пушкинъ горько жаловался на свою судьбу» [7]).

Изъ старыхъ біографій Пушкина наибольшее вниманіе вопросу о его байронизмѣ отведено у Аннен-

[1]) Р. Вѣстн., 1856, № 3, т. 2, 299. [2]) *Добролюбовъ*, Соч., I, 503. [3]) *Ап. Григорьевъ*, Соч., 244—5. [4]) Тамъ же, 148. [5]) Тамъ же, 150. [6]) *Страховъ*, Замѣтки о Пушкинѣ, 75. [7]) Тамъ же.

кова. Но почтенный изслѣдователь, рѣшая этотъ вопросъ, далъ отвѣтъ, на нашъ взглядъ неудовлетворительный вслѣдствіе цѣлаго ряда противорѣчій: онъ призналъ, что «байронизмъ русскій вообще и Пушкина, въ особенности, имѣлъ только отдаленное сходство съ явленіемъ, извѣстнымъ въ Европѣ подъ этимъ именемъ» [1]), но это утвержденіе не мѣшаетъ ему говорить ниже уже о «полномъ подчиненіи» Пушкина Байрону [2]), и въ то же время отрицать сходство пушкинскихъ героевъ съ байроновскими [3]). Затѣмъ онъ выражаетъ удивленіе, какъ это въ душѣ Пушкина заразъ уживается увлеченіе Байрономъ съ увлеченіемъ другими писателями, на него совсѣмъ непохожими, находитъ отраженіе байронизма въ безпутномъ поведеніи Пушкина [4]) и, затѣмъ, въ концѣ концовъ, говоритъ уже о «неистовомъ байронизмѣ» нашего писателя...

Наступилъ 1880-ый годъ... Великому поэту воздвигли въ Москвѣ памятникъ; по всей Россіи говорились рѣчи... Казалось-бы, съ окончанія дѣятельности Пушкина прошло столько времени, что могли бы уже окончательно выясниться нѣкоторые вопросы его поэтической жизни, но, какъ это ни странно, вопросъ о байронизмѣ нашего поэта опять отошелъ къ тому неопредѣленному рѣшенію, которое дали ему двадцатые и тридцатые года.

Проф. Тихонравовъ сказалъ, что Пушкинъ, отдавая дань байронизму, не увлекается имъ и остается истинно-русскимъ поэтомъ...» [5]). Юрьевъ ука-

[1]) *Анненковъ*, Пушкинъ въ Алекс. эпоху, 149. [2]) Тамъ же, [3]) Тамъ же, 150. [4]) Тамъ же, 170—1. [5]) Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, 31.

залъ на «восторженное увлеченіе» нашего поэта «неукротимо-вольнолюбивыми идеалами Байрона, исполненными блеска и силы» [1]).

Проф. Стороженко, выбравшій темой для своей рѣчи: «Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности», нѣсколько разъ въ своемъ очеркѣ говоритъ о вліяніи Байрона: «на югѣ Пушкинъ попалъ подъ могучее вліяніе новаго литературнаго свѣтила, горѣвшаго тогда полнымъ блескомъ на литературномъ горизонтѣ Европы... Пушкинъ бредилъ его произведеніями... Впрочемъ, вліяніе Байрона на поэзію Пушкина было не такъ сильно, какъ можно было ожидать, судя по отзывамъ современниковъ и собственнымъ признаніямъ Пушкина... Байроническое настроеніе не успѣло пустить глубокихъ корней въ его душѣ, попрежнему раскрытой всему живому, поэтическому» [2]).

Достоевскій, указавъ, что «принято говорить» о подражаніи Пушкина европейскимъ поэтамъ, особенно Байрону, прибавляетъ: «да, безъ сомнѣнія, поэты Европы имѣли великое вліяніе на развитіе его генія, да и сохранили вліяніе это на всю его жизнь. Тѣмъ не менѣе, даже самыя первыя поэмы Пушкина были не однимъ лишь подражаніемъ, такъ какъ и въ нихъ уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его генія...» [3]).

Не считая нужнымъ приводить все, что́ мимоходомъ говорилось по интересующему насъ вопросу въ русской литературѣ послѣдняго времени, я укажу

---

[1]) Тамъ же, 41. [2]) Тамъ же, 220. [3]) Тамъ же, 220.

лишь на интересныя соображенія проф. Алексѣя Веселовскаго, признающаго, тоже съ ограниченіями, вліяніе Байрона [1]), — и остановлюсь, наконецъ, на большой статьѣ г. Спасовича, цѣликомъ посвященной вопросу о байронизмѣ Пушкина [2]). Авторъ начинаетъ съ опредѣленнаго указанія на несходство между Пушкинымъ и Байрономъ, какъ личностями... [3]). Затѣмъ онъ говоритъ, что обстоятельства дали Пушкину настроеніе, нѣсколько сходное съ тѣмъ, какое онъ встрѣтилъ у Байрона, такъ что «знакомство съ Байрономъ, по словамъ Спасовича, едва ли прибавило что-нибудь къ внѣшней бытовой сторонѣ жизни Пушкина въ періодъ его бунтованія...» [4]). «Разочарованіе», звучащее въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ Пушкина, авторъ всецѣло относитъ къ вліянію Вольтера, но не Байрона... [5]).

Пессимизмъ Пушкина, его «тоска» и «грусть»»,— явленіе, по словамъ Спасовича, тоже не заимствованное у Байрона, такъ какъ цѣпь произведеній, проникнутыхъ этимъ настроеніемъ, тянется съ 1816 года [6]). Чувства Пушкинъ не умѣлъ изображать такъ рѣзко, сильно, какъ Байронъ [7]), красокъ, которыми писалъ Байронъ, у Пушкина нѣтъ... И вдругъ, послѣ ряда этихъ отрицаній, оказывается, что Пушкинъ на нѣкоторое время былъ «заполоненъ» Байрономъ и «на само творчество Пушкина вліяніе Байрона было громадно...» [8]) Невольно является вопросъ, въ чемъ

---

[1]) *Проф. Алексѣй Веселовскій.* Зап. вліяніе въ новой р. литературѣ 188—191. [2]) *Спасовичъ*, Соч., т. II. [3]) Тамъ же, 297—8. [4]) Тамъ же, 299. [5]) Тамъ же, 311. [6]) Тамъ же, 311. [7]) Тамъ же, 312. [8]) Тамъ же, 313.

же сказалось это вліяніе. Говоря о «Кавказскомъ Плѣнникѣ», г. Спасовичъ очень мало говоритъ о Байронѣ [1]); за поэмой-же онъ признаетъ немного достоинства, называя ее «только юношескимъ упражненіемъ, обнаруживающимъ лишь задатки таланта» [2]). Сказавъ далѣе, что «Цыгане» уже «знаменуютъ выходъ Пушкина изъ области байроновскаго вліянія» [3]), несмотря на это заявленіе, г. Спасовичъ далѣе говоритъ: «очень правоподобно, что вліяніе Байрона продолжалось и послѣ того» [4]): такъ, это вліяніе сказалось, по его мнѣнію, на «Графѣ Нулинѣ», на стихотвореніи «Герой» [5]). Наконецъ, вліяніе Байрона авторъ видитъ и на «Черной Шали»: «хотя, говоритъ онъ, «Черная Шаль» заимствована, по преданію, отъ трактирной пѣвицы-молдаванки Маріулы въ Кишиневѣ.., но въ ней множество отголосковъ Байрона» [6]). Я не буду долѣе останавливаться на статьѣ г. Спасовича; думаю только, что «громаднаго вліянія Байрона» на Пушкина онъ не доказалъ, и къ цѣлому ряду нерѣшительныхъ отвѣтовъ, уже имѣющихся въ нашей литературѣ, прибавилъ еще свою статью...

[1]) Говорить о вліяніи сюжета поэмы Байрона «Корсаръ» на сюжетъ «Кавказскаго Плѣнника» нельзя, пока не будетъ доказана возможность знакомства Пушкина съ этимъ произведеніемъ. Біографическія данныя указываютъ, что даже въ Михайловскомъ нашъ поэтъ плохо зналъ англійскій языкъ, а во время созданія поэмы «Кавк. Плѣн.» онъ только приступалъ къ изученію англійскаго языка. По Guerard'y «Корсаръ» на фр. яз. переведенъ лишь въ 1825 году. Правда, полное собраніе сочиненій Байрона на фр. яз. начало выходить съ 1819 г., но, за неимѣніемъ въ Имп. П. Библ. этого перваго франц. перевода сочиненій Байрона, не могъ опредѣлить, какія произведенія вошли въ первые его томы. [2]) *Спасовичъ*, Соч., II, 318. [3]) Тамъ же, 323. [4]) Тамъ же. [5]) Тамъ же, 332. [6]) Тамъ же, 316.

Изъ приведенныхъ нами отзывовъ [1]) русской критики о байронизмѣ Пушкина видно, какъ нерѣшительно, противорѣчиво, рѣшался этотъ вопросъ,—только одинъ Бѣлинскій, да, мимоходомъ, Добролюбовъ рѣшили его безъ колебанія, оговорокъ и поправокъ, и притомъ, рѣшили въ отрицательномъ смыслѣ... Но ихъ мнѣніе не вошло въ общее употребленіе, равно какъ не нашла себѣ послѣдователей опредѣленность, ясность ихъ рѣшенія,—въ различныхъ «исторіяхъ литературы» и «учебникахъ словесности» мы встрѣтимся съ мнѣніемъ о большомъ вліяніи Байрона на Пушкина, хотя, какъ мы видѣли, *никто* [2]) изъ критиковъ, даже сближавшихъ Пушкина съ Байрономъ, не рѣшался такъ рѣзко и опредѣленно высказаться за рѣшеніе вопроса о «байронизмѣ» Пушкина въ безусловно-утвердительномъ смыслѣ...

Чѣмъ-же объяснить, что при рѣшеніи такого важнаго вопроса мы или довольствуемся тѣмъ, что, по словамъ Достоевскаго, «принято говорить о подражаніи Пушкина»,—или, въ лучшемъ случаѣ, сознавая необходимость болѣе внимательнаго отношенія къ этому вопросу, къ сожалѣнію, уклоняемся отъ рѣшенія его, какъ сдѣлалъ проф. Стороженко въ своей рѣчи въ честь Пушкина. Говоря о «Кавказскомъ Плѣнникѣ», онъ замѣчаетъ: «*неизвѣстно,* сколько въ этомъ типѣ личнаго пережитаго и сколько нужно отнести на счетъ литературныхъ источниковъ Пушкина—поэмъ Байрона, Рене Шатобріана»...

[1]) Приведенные нами отзывы, конечно, не исчерпываютъ всего, что сказано было въ русской литературѣ о вліяніи Байрона на Пушкина.

[2]) За исключеніемъ критиковъ, современныхъ Пушкину.

Изъ всего этого видно, что наше «общепринятое» мнѣніе о байронизмѣ Пушкина ведетъ свое начало еще отъ 20—30-хъ годовъ: оно благополучно пробилось сквозь колебанія и противорѣчія присяжныхъ критиковъ, миновало и Бѣлинскаго, и Добролюбова и теперь спокойно и прочно умѣстилось въ нашихъ учебникахъ.

Прослѣдивъ выше судьбу интересующаго насъ вопроса, перейду теперь къ опредѣленію тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ можетъ быть принято «общее мнѣніе» о байронизмѣ Пушкина...

Но прежде, чѣмъ перейти къ рѣшенію этого вопроса, остановлюсь еще на одномъ обстоятельствѣ, очень важномъ для яснаго и опредѣленнаго отвѣта на возникшія у насъ сомнѣнія... Мнѣ кажется, что одна изъ главныхъ причинъ тѣхъ противорѣчивыхъ и нерѣшительныхъ отвѣтовъ, которые мы услышали отъ русской критики по интересующему насъ вопросу, кроется также въ томъ, что русскіе критики до сихъ поръ не столковались въ пониманіи терминовъ, съ которыми имъ приходится постоянно имѣть дѣло: «*вліяніе*», «*подражаніе*», «*заимствованіе*» — вотъ, три слова, которыя каждымъ почти критикомъ употреблялись въ особомъ значеніи, иногда съ усиленіемъ и расширеніемъ ихъ смысла, иногда, напротивъ, съ ослабленіемъ и суженіемъ... Отсюда и ведутъ начало тѣ оговорки, которыя иногда совсѣмъ затемняютъ рѣшеніе вопроса... А изъ этого смутнаго отношенія къ «словамъ» рождались и литературные споры, задорные, горячіе... Синонимами къ этимъ тремъ невыясненнымъ словамъ были еще

менѣе опредѣленныя выраженія: «отдалъ дань», «сочувствовалъ», «былъ слѣдствіемъ», «преклонялся», «былъ полоненъ»...

Чтобы избѣгнуть неточнаго пониманія тѣхъ терминовъ, съ которыми придется работать, я остановлюсь немного на выясненіи нашего пониманія ихъ. Изъ всѣхъ выше перечисленныхъ терминовъ самымъ широкимъ будетъ, конечно, — понятіе — «*литературное вліяніе*»; въ его объемъ войдутъ *вліянія внутреннія, психическія* и *вліянія внѣшнія, формальныя*, иногда чисто *механическія* («заимствованіе», «подражаніе»).

Подъ литературнымъ вліяніемъ перваго рода я понимаю то могучее воздѣйствіе, которое одинъ писатель оказываетъ на *духъ* другого, подчиняя себѣ его настроеніе, покоряя, заставляя смотрѣть на все его глазами, слышать его ушами... Онъ передаетъ покоренному писателю свое міросозерцаніе, овладѣваетъ имъ до такой степени, что направляетъ дѣятельность его туда, куда направляется его собственная, онъ лишаетъ своего порабощеннаго союзника воли... Вотъ почему этотъ родъ вліянія въ *острой формѣ* мы допускаемъ только надъ писателями второстепенными, такими, которые не двигаютъ литературы впередъ, которые не творятъ, а разрабатываютъ данное. Возможность сильнаго, глубокаго вліянія надъ геніальнымъ писателемъ можно допустить развѣ въ раннемъ юношескомъ возрастѣ, когда самодѣятельность его еще не проявилась, когда юный духъ не доросъ еще до самостоятельной жизни...

Вліяніе второго рода, *внѣшнее*, или *механическое* —

это результатъ стремленія одного писателя возсоздать въ своемъ произведеніи или образъ, найденный у другого писателя и увлекшій своей красотой, или цѣлую картину, чѣмъ-нибудь интересную... «Подражаніе» и «заимствованіе», — вотъ, термины, наиболѣе подходящіе для выраженія этого понятія. Такому «внѣшнему» вліянію можетъ писатель поддаться *сознательно* и *безсознательно*, — въ послѣднемъ случаѣ, мы, чаще всего, будемъ встрѣчаться съ фактомъ «безсознательной реминисценціи», незамѣтной для самого автора и уловимой только для критика, пользующагося сравнительнымъ методомъ...

Факты такого «внѣшняго вліянія» мы можемъ наблюдать въ литературной жизни не только жалкаго писаки, но и генія... Геній можетъ увлечься чужимъ образомъ, прочувствовать его красоту и смыслъ и пересадить на свою почву чужой цвѣтокъ, — и часто этотъ цвѣтокъ расцвѣтаетъ въ новой обстановкѣ еще пышнѣе... Въ этомъ случаѣ писатель беретъ у другого образъ, сюжетъ, картину, не взявъ чужого освѣщенія, не усвоивъ себѣ чужого отношенія къ взятому, сохраняя свой духъ независимымъ. Такія «заимствованія» и «подражанія» вполнѣ законны, и исторія всеобщей литературы полна ими... Литературное и культурное общеніе народовъ сказалось именно въ этомъ дружескомъ пользованіи общимъ достояніемъ человѣчества, въ этомъ желаніи возсоздать у себя то, что прельщаетъ у другого...

Пушкинъ впервые упоминаетъ имя Байрона въ 1821 году: въ письмѣ къ Дельвигу онъ характери-

зуетъ поэзію Байрона «мрачной, богатырской, сильной...» [1]). Затѣмъ, черезъ три года, въ 1824 году, онъ уже произноситъ любопытный судъ надъ Байрономъ: «тебѣ грустно по Байронѣ, пишетъ онъ Вяземскому, а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи... Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью... Постепенности въ немъ не было: онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ — пропѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились...» [2]). Въ слѣдующемъ, 1825 году, въ письмѣ къ тому-же Вяземскому, онъ косвенно призналъ значеніе Байрона для «Бахчисарайскаго фонтана»: «слогъ восточный, пишетъ онъ, былъ для меня образцомъ, сколько возможно намъ, благоразумнымъ холоднымъ европейцамъ... Европеецъ и въ упоеніи восточной роскоши долженъ сохранить вкусъ и взоръ европейца. Вотъ почему Байронъ такъ и прелестенъ въ «Гяурѣ» и «Абидосской невѣстѣ...» [3]). Изъ этихъ словъ мы видимъ, что Пушкинъ могъ вполнѣ *сознательно* заимствовать для «Бахчисарайскаго фонтана» «couleur locale», манеру «писать востокъ», — и, дѣйствительно, это заимствованіе признавалось самимъ Пушкинымъ, что видно изъ отзыва его о своей поэмѣ: «Бахчисарайскій фонтанъ» отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ...» [4]). Въ томъ-же 1825 году Пушкинъ, въ письмѣ къ Раевскому, уже пренебрежительно отзывается о Байронѣ; впослѣдствіи этотъ отзывъ цѣликомъ вошелъ въ его статью объ англійскомъ поэтѣ... «Байронъ, говоритъ онъ, бро-

[1]) Соч., VII, 15. [2]) Тамъ же, 80. [3]) Тамъ же, 124. [4]) Тамъ же, V, 121.

силъ односторонній взглядъ на міръ и природу человѣческую, потомъ отвратился отъ нихъ и погрузился въ описаніе самого себя...» [1]); въ трагедіи онъ, по словамъ Пушкина, «раздробилъ величественное свое созданіе на нѣсколько лицъ, мелкихъ и незначительныхъ...» [2]).

Приведенныя мною слова Пушкина о Байронѣ гораздо больше имѣютъ для насъ значенія, чѣмъ всѣ свидѣтельства современниковъ и критиковъ... И что же сказалъ Пушкинъ? — Во первыхъ, онъ выяснилъ характерныя черты байроновской поэзіи: она «мрачная, богатырская, сильная», «sombre, enérgique», типичный герой Байрона — «пламенный демонъ», картины природы, особенно восточной, написаны Байрономъ прекрасно, чтеніе Байрона отразилось на «Бахчисарайскомъ фонтанѣ» и «Кавказскомъ Плѣнникѣ»—и, наконецъ, трагедіи Байрона очень слабы... Интересно, что въ періодъ жизни (1821 — 24), отводимый нашими критиками и біографами Пушкина на увлеченіе его Байрономъ, нашъ писатель *ничего* въ своихъ письмахъ не говоритъ объ этомъ увлеченіи: имена Шенье, Вольтера, Овидія, Парни встрѣчаются тамъ рядомъ съ именемъ Байрона, и, повидимому, всѣ эти писатели одинаково дороги нашему писателю, несмотря на ихъ совершенно-разнородный характеръ: живя на югѣ Россіи, Пушкинъ въ одно приблизительно время писалъ подражанія Шенье,

[1]) Тамъ же, 50, [2]) Тамъ же, 158. Отзывы Пушкина о Байронѣ, относящіеся къ послѣдующимъ годамъ, насъ не интересуютъ, такъ какъ они, по времени, выходятъ изъ предѣловъ той эпохи жизни нашего поэта, которую общее мнѣніе назвало «байронической» по преимуществу и относительно которой вопросъ о «байронизмѣ» Пушкина поставленъ особенно остро.

переводилъ Парни, переводилъ Байрона, сочинялъ посланія къ Овидію, подражалъ библейскимъ мотивамъ, пародировалъ Библію, писалъ и серьезныя посланія къ Чаадаеву и легкомысленные стишки, перелагалъ русскими стихами молдаванскія пѣсни и татарскія побасенки, и, въ то же время, сочинялъ «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ», эпиграммы, любовныя посланія... Такое изумительное разнообразіе мотивовъ, разработанныхъ въ одинъ періодъ времени, совершенно исключаетъ, на нашъ взглядъ, возможность говорить объ увлеченіи *однимъ* какимъ-нибудь писателемъ, говорить о сколько-нибудь сильномъ значеніи *одного* литературнаго вліянія [1]), и потому, думается намъ, ошибочнымъ будетъ преувеличивать въ литературной жизни Пушкина значеніе Байрона: среди массы совершенно разнородныхъ произведеній, написанныхъ за время отъ 1820 до 1824 года, одиноко стоитъ единственное «подражаніе Байрону»: «Погасло дневное свѣтило...» Видно, въ этотъ періодъ «увлеченія Байрономъ», Шенье и Парни посчастливилось больше,—въ ихъ духѣ написано нѣсколько стихотвореній...

Самое обиліе и разнообразіе мотивовъ пушкинской поэзіи той эпохи кажется намъ лучшимъ доказательствомъ того, что Пушкинъ уже въ это время стоялъ *внѣ вліяній какого-нибудь одного писателя:* его разностороннее развитіе, художественное чутье *вездѣ* находило красоты и не покорилось одному напра-

---

[1]) Поэтому я совершенно несогласенъ съ мнѣніемъ покойнаго проф. А. И. Незеленова, который является крайнимъ сторонникомъ мнѣнія о сильномъ вліяніи Байрона на Пушкина. (См. *А. Незеленовъ*, «А. С. Пушкинъ въ его поэзіи...», 2-я глава «Югъ. Байронизмъ»).

вленію. Невольно по этому поводу припоминаешь опять слова Бѣлинскаго: «одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя ощущенія, Пушкинъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка» [1])...

Обращаясь теперь къ поэмамъ Пушкина, записаннымъ во время пребыванія на югѣ, остановлюсь, прежде всего, на «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ». Мы говорили уже, что для этой поэмы Пушкинъ вполнѣ сознательно заимствовалъ у Байрона восточный колоритъ... «Мрачнаго, богатырскаго, сильнаго», т. е. того, что казалось самому Пушкину существеннымъ для «байронизма», въ этой поэмѣ нѣтъ ничего. Такимъ образомъ, здѣсь, если и было вліяніе со стороны англійскаго писателя, то *вліяніе второго рода*, т. е. внѣшнее—простое подражаніе манерѣ пользоваться «couleur locale», подходящимъ колоритомъ; *вліянія же внутренняго* мы здѣсь не найдемъ,—ни одинъ герой этой поэмы не говорилъ отъ сердца самаго Пушкина, ни одному изъ нихъ не вложилъ онъ, подобно Байрону, гордыхъ рѣчей своего разочарованнаго сердца... [2]).

Посмотримъ теперь, чѣмъ обязанъ былъ Пушкинъ Байрону въ двухъ другихъ своихъ поэмахъ:

[1]) *Бѣлинскій*, Соч., I, 77.

[2]) О несходствѣ между героемъ «Братьевъ-Разбойниковъ» и Конрадомъ (изъ «Корсара») указано въ работѣ акад. *Л. Н. Майкова*: «Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ» («Историко-литературные очерки», 150): и въ данномъ случаѣ можно говорить лишь о «вліяніи внѣшнемъ»,—о заимствованіи сюжета, но «внутренняго» родства между героями нѣтъ...

«Цыгане» и «Кавказскій Плѣнникъ». Какого рода вліяніе англійскаго поэта тяготѣетъ надъ этими произведеніями, по общему мнѣнію, «байроническими» по преимуществу? Овладѣвалъ ли въ это время Байронъ духомъ Пушкина до такой степени, что нашъ писатель, лишенный самобытности, всецѣло отдавался увлекающему его потоку байронизма?

Относительно «Цыганъ» можно съ увѣренностью сказать: «нѣтъ»,—такъ какъ герой этой поэмы, Алеко, развѣнчанъ Пушкинымъ: съ него смѣло сдернута маска, и онъ стоитъ передъ нами безъ всякихъ прикрасъ, наказанный и униженный... Байронъ никогда не развѣнчивалъ своихъ героевъ, такъ какъ они — его любимыя созданія, выношенныя на его сердцѣ, вскормленныя его кровью, воодушевленныя его духомъ. У него сюжетъ, положенный въ основу поэмы «Цыгане», конечно, имѣлъ бы другой конецъ. Жаль, впрочемъ, что въ своихъ наиболѣе типичныхъ поэмахъ никогда не подвергалъ онъ своихъ героевъ такому испытанію, какому рискнулъ подвергнуть своего Алеко Пушкинъ. У Байрона герой, проклинающій людей, съ ихъ суетой, съ ихъ цивилизаціей, бросается на лоно природы, и, если духъ его не сливается всецѣло съ жизнью природы, такъ какъ нигдѣ не умиротворяется, то всетаки никогда природа эта не становится ему на пути въ видѣ той неумолимой суровой силы, которая сломила Алеко.

Итакъ, Алеко—герой, который можетъ быть сопоставленъ съ героями Байрона, такъ какъ въ немъ чувствуется и энергія, и мрачность духа, оскорбленнаго въ борьбѣ съ людьми, есть и манія величія,

присущая истымъ дѣтямъ байроновской фантазіи,— этотъ Алеко осужденъ Пушкинымъ: онъ не увлекалъ его. А если не увлекалъ, то, создавая этотъ образъ, Пушкинъ *не находился въ это время подъ вліяніемъ «перваго рода»:* Алеко—не Пушкинъ, и байроническіе мотивы, звучащіе въ рѣчахъ героя «Цыганъ», не прошли сквозь сердце Пушкина,—онъ просто взялъ любопытный типъ, перенесъ его въ новую обстановку и поставилъ въ столкновеніе съ новой интригой. Здѣсь было «объективное творчество», но не было субъективнаго, т. е. того, которое особенно характерно для писателя, находящагося подъ «*вліяніемъ перваго рода*». Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ *вліяніемъ* чисто *внѣшнимъ*, съ законнымъ заимствованіемъ интереснаго типа и самостоятельной разработкой интриги.

Остановимся, наконецъ, подолѣе на «Кавказскомъ Плѣнникѣ»,—произведеніи, особенно важномъ для насъ вслѣдствіе признанія Пушкина, что въ немъ есть «стихи его сердца» и что Байронъ имѣлъ нѣкоторое значеніе для этой поэмы.

Чтобы уловить эти стихи пушкинскаго сердца, чтобы выдѣлить субъективный элементъ въ этой поэмѣ, намъ надо обратиться къ лирическимъ произведеніямъ нашего поэта за это время и поискать тамъ сходныхъ мотивовъ. Произведеніями, наиболѣе подходящими по духу къ поэмѣ «Кавказскій Плѣнникъ», будутъ: «Погасло дневное свѣтило» и «Я пережилъ свои желанья». Къ этимъ стихотвореніямъ, имѣющимъ, несомнѣнно, автобіографическое значеніе, можно подобрать цѣлый рядъ другихъ, болѣе или менѣе, подходящихъ по настроенію и начинающихся съ

1818 года [1]). Они тоже проникнуты чувствомъ тоски; нотки разочарованія уже слышатся въ нихъ вполнѣ опредѣленно,—Пушкинъ рано сталъ отрезвляться отъ того «чада», отъ котораго онъ, по его словамъ, «угорѣлъ» послѣ выхода изъ лицея.

Высылка изъ Петербурга, показавшая Пушкину въ надлежащемъ свѣтѣ невысокую цѣну той дружбы и любви, которыя такъ тѣшили его на первыхъ порахъ, наполнила его душу горькимъ чувствомъ... И безъ того въ его поэзіи этого времени замѣтно проглядывало пресыщеніе жизнью и тоскливое чувство разочарованія, а тутъ подоспѣли такія обстоятельства, которыя могли только усилить это чувство, подоспѣло къ тому же знакомство съ Байрономъ... Глядя на его героевъ, оскорбленныхъ и разочарованныхъ, Пушкинъ могъ подумать, что нашелъ поэзію, отвѣчающую его душѣ... Но онъ ошибался... Гордые герои Байрона *сами бросаютъ* оскорбившую ихъ родину,—они «ненавидятъ человѣчество», и слово «месть» часто срывается съ ихъ устъ. Пушкинъ-же силою былъ оторванъ отъ той жизни, которую велъ въ столицѣ и по которой онъ тосковалъ... Несмотря на то, что уже началъ сознавать ея пошлость, онъ даже въ изгнаніи сохранилъ интересъ къ этой жизни, ждалъ и просилъ себѣ прощенія, мечталъ о возвращеніи. Измѣны «друзей» и любовницъ не ожесточили его мягкаго сердца,—и тихая грусть, элегическое настроеніе,—вотъ, характерныя черты того періода творчества Пушкина, который принято считать «байрониче-

[1]) Соч., I, 196—7, 201, 211, 212 и др.

скимъ»,—въ легкихъ стихахъ нашего поэта слышится печальный упрекъ — нѣтъ гордаго вызова, которымъ звучитъ поэзія Байрона.

Для доказательства справедливости нашихъ словъ лучше всего обратиться къ тому произведенію Пушкина, которое онъ самъ назвалъ «подражаніемъ» Байрону,—«Погасло дневное свѣтило»... Оно проникнуто чувствомъ тихой грусти: авторъ прощается съ родиной,—онъ весь во власти «воспоминаній прошлаго», вокругъ него летаютъ мечты, въ глазахъ его «родились слезы вновь», онъ жалуется, что «отцвѣла его младость», и покидаетъ онъ отчизну съ «глубокими ранами любви»... Не такъ прощается со своею родиной Байронъ,—онъ прерываетъ все съ прошлымъ, воспоминаньямъ онъ не даетъ воли надъ собой, онъ не жалѣетъ о дняхъ счастья въ родной сторонѣ, ему не о комъ «сронить ни одной слезы»,—«смѣясь» онъ покидалъ свой край родной... Это смѣхъ судорожный, неестественный,—и тяжело дѣлается отъ него на душѣ... Только маленькій пажикъ, съ его слезами, вноситъ теплую струю въ это холодное прощаніе... И, право, нашъ, Пушкинъ ближе по духу къ этому пажику, чѣмъ къ его господину Чайльдъ-Гарольду-Байрону.

Въ 21-мъ году, черезъ два дня, послѣ окончанія «Кавказскаго Плѣнника», написалъ Пушкинъ свою элегію: «Я пережилъ свои желанія». Это произведеніе тѣсно связано съ образомъ «плѣнника», съ одной стороны,—и личностью Пушкина—съ другой. И опять-таки въ этомъ произведеніи специфически-байроновскаго очень немного: нѣтъ тутъ ничего

«мрачнаго, богатырскаго, сильнаго»,—нѣтъ въ этомъ произведеніи и слѣда энергіи байроновскихъ героевъ, не столько разочарованныхъ, сколько озлобленныхъ. Развѣ чувство апатіи, проникающее это стиховореніе Пушкина, овладѣвало когда-нибудь типичными героями Байрона? Изъ этого произведенія мы узнаемъ, напримѣръ, что Пушкинъ «подъ бурей» поникаетъ «томною главою»,—тогда, какъ на Байрона гоненія и невзгоды дѣйствуютъ еще болѣе возбуждающимъ образомъ...

Обратимся теперь къ «Кавказскому плѣннику». Опять какъ не по-байроновски звучатъ слова «посвященія» этой поэмы: «Когда я погибалъ безвинный, безотрадный!» [1])—въ этихъ словахъ слышится жалоба, столь чуждая байроновской поэзіи.

Далѣе говорится о желанномъ успокоеніи на лонѣ дружбы:

«. . . другъ друга мы любили,
«И бури надо мною свирѣпость утомили
«Я въ мирной пристани боговъ благословилъ». [2])

Байронъ никогда бы не «благословилъ» «мирной пристани», онъ былъ, по собственному признанію, «врагомъ покоя»: онъ жаждалъ борьбы,—гоненія судьбы ему были нужны, такъ какъ они воспламеняли его энергію...

Образъ героя поэмы очерченъ блѣдно, но все поведеніе его съ начала прибытія на Кавказъ до бѣгства оттуда подтверждаетъ его признаніе, что онъ «вянетъ жертвою страстей», «безъ упованія, безъ же-

[1]) Соч., II, 276. [2]) Тамъ же, 277.

ланій» [1]). Онъ живетъ прошлымъ: слушая признанія черкешенки, —

«Онъ забывался: въ немъ тѣснились
«*Воспоминанья прошлыхъ* дней [2])...»

И «*слезы* изъ очей» катятся у несчастнаго юноши: онъ былъ безнадежно влюбленъ въ то существо, которое осталось на далекой родинѣ, —

«Лежала въ сердцѣ, какъ свинецъ,
«*Тоска людви* безъ упованья [3])...»

Повидимому, эта любовь — *единственная причина* разочарованности нашего героя, такъ какъ нѣсколько разъ онъ твердитъ о ней: отъ этой неудачной любви онъ «гаснетъ, какъ пламень дымный»... [4]). Его занимаетъ грустная перспектива умереть «забытымъ, одинокимъ», только съ его «воспоминаньями, грустью и слезами»... [5]) Но эти мечты не мѣшаютъ герою воспользоваться первымъ же случаемъ для бѣгства: забывъ о слезахъ, забывъ о своей любви, онъ «возопилъ» въ восторгѣ:

«О, другъ мой!..
«Я твой навѣкъ, я твой до гроба!» [6])—

У него «воскресло сердце», и онъ радостно бѣжалъ опять въ тотъ край, которымъ только что былъ разочарованъ, гдѣ не нашелъ счастья въ любви и какой-то «свободы»....

Конечно, въ этомъ образѣ нѣтъ ничего байроновскаго... Это — юноша, напустившій на себя холодъ душевный, но на дѣлѣ сохранившій и теплыя чув-

[1]) Тамъ же, 289. [2]) Тамъ же, [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же, 292. [5]) Тамъ же, 290. [6]) Тамъ же, 295.

ства, и надежды: онъ еще тѣсно связанъ съ прошлымъ; «грусть», «слезы», «мечты»—все это еще знакомо ему, покоя онъ жаждетъ, а «борьбы» страшится!

И въ этомъ произведеніи Пушкинъ видѣлъ «стихи своего сердца»... Нетрудно ихъ выдѣлить,—стоитъ прочесть приведенныя нами передъ тѣмъ два стихотворенія: «Погасло дневное свѣтило...» и—«Я пережилъ свои мечтанья...», стоитъ перечесть нѣкоторыя письма Пушкина за этотъ періодъ времени,—и передъ нами изъ поэмы легко обрисуется образъ Пушкина-юноши, покинутаго вѣтренными друзьями шумной юности, юноши, еще привязаннаго къ воспоминаніямъ прошлаго, потому тоскующаго,—юноши, у котораго мягкое сердце, но мало энергіи, который легко изнемогаетъ въ борьбѣ, но легко и ободряется...

Но что же «байроновскаго» находилъ Пушкинъ въ своей поэмѣ, самъ признавъ значеніе англійскаго поэта для этого произведенія? Нетрудно указать на черты «байронизма», которыя внесли только противорѣчіе въ образъ «Плѣнника», — это, между прочимъ, эпитеты: «*грозный*», «*бурный*» («грозное страданье», «бурная жизнь»),—т. е. тѣ «богатырскія», «сильныя» черты, которыя казались Пушкину характерными для поэзіи Байрона... Такимъ же неудачнымъ наслоеніемъ «байронизма» въ поэмѣ оказалась любовь героя къ «свободѣ». Съ «призракомъ свободы» (и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы позабыть несчастную любовь?) онъ ѣдетъ на Кавказъ... Зачѣмъ? Чтобы стрѣлять горцевъ?.. Но причемъ же тогда

«призраки свободы?» Или герой Пушкина хотѣлъ «опроститься», жить съ горцами и дѣлить съ этими «свободными сынами природы» ихъ радости и печали? Но тогда зачѣмъ же было бѣжать отъ нихъ?

Гордое, одинокое страданіе — тоже черта байронизма, черта, которую и Пушкинъ пожелалъ придать своему герою:

«Таилъ въ молчаньи онъ глубокомъ
«Движенья сердца своего.
«И на челѣ его высокомъ
«Не измѣнялось ничего! [1])—

но и эта черта недолго удержалась за пушкинскимъ героемъ: у него, оказывается, и «слезы градомъ льются», и онъ даже, въ порывѣ восторга, можетъ еще «вопить», — очевидно, «движенія сердца своего» онъ недолго таилъ «въ молчаньѣ глубокомъ...»

Такимъ образомъ, «байронизмъ» Пушкина въ этой поэмѣ сказался лишь въ нѣсколькихъ наносныхъ чертахъ,—чертахъ, заимствованныхъ неудачно и внесшихъ противорѣчіе въ тотъ образъ, который, самъ по себѣ, былъ, несмотря на свою призрачность, довольно близокъ къ автору и находилъ подтвержденіе въ цѣлой группѣ лирическихъ стихотвореній, начиная съ 1818 года.

Вѣроятно, эти противорѣчія рѣзали художественный глазъ Пушкина, если онъ сейчасъ же, послѣ окончанія «Кавказскаго Плѣнника», извѣщаетъ друзей, что онъ недоволенъ своимъ новымъ произведеніемъ: Дельвигу онъ писалъ 23 марта 1821 г.: «кончилъ я новую поэму «Кавказскій Плѣнникъ», кото-

[1]) Соч., II, 288.

рую надѣюсь скоро вамъ прислать — ты ею не совсѣмъ будешь доволенъ, и будешь правъ...» [1]). 24-го марта онъ писалъ Гнѣдичу: «вы ожидали многое... найдете малое, очень малое» [2]). Тому же Гнѣдичу 22-го апрѣля 1822 года онъ писалъ: «недостатки этой повѣсти, поэмы, или чего вамъ угодно — такъ ясны, что я долго не могъ рѣшиться ее напечатать... Характеръ главнаго лица «приличенъ болѣе роману, нежели поэмѣ, да и что за характеръ? Кого займетъ изображеніе молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ какихъ-то несчастьяхъ, неизвѣстныхъ читателю?» «Бездѣйствіе и равнодушіе»— вотъ, по словамъ Пушкина, характерныя черты его героя...» [3]). «Старость души», замѣченную имъ у современнаго молодого поколѣнія [4]), — вотъ, что старался изобразить въ героѣ своей поэмы [5]).

Такимъ образомъ, *вліянія внутренняго*, глубокаго, Байронъ на Пушкина не имѣлъ во время созданія «Кавказскаго Плѣнника», — герой пушкинской поэмы чуждъ гордой семьѣ байроновскихъ героевъ, и нѣсколько чертъ, взятыхъ у нихъ, его совсѣмъ не маскируютъ, такъ какъ съ нимъ органически не сливаются... И, если самъ Пушкинъ увлекался въ это время Байрономъ, то увлеченіе это не порабощало его,— онъ до такой степени оставался самимъ собою, что не сумѣлъ поддѣлать своего героя подъ «байроновскихъ». Отсюда мы можемъ заключить, что въ дан-

[1]) Тамъ же, VII, 15. [2]) Соч., VII, 27. [3]) Тамъ же, 30. [4]) Тамъ же, 25. [5]) Объ отношеніи Пушкина и его друзей къ «Кавказскому плѣннику» см. еще въ работѣ акад. *Л. Н. Майкова* «Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ» («Ист.-лит. очерки»).

номъ случаѣ имѣемъ дѣло опять-таки съ *вліяніемъ второго рода*,—съ вліяніемъ, чисто «*внѣшнимъ*», съ заимствованіемъ «красиваго» образа, «красивыхъ» чертъ и аксессуаровъ [1])...

«Байронизмъ» героевъ Пушкина придалъ имъ лишь «отрицательныя» черты: то, что у Байрона было характернымъ—положительнымъ, то на русской почвѣ, въ примѣненіи къ героямъ Пушкина, оказалось чертами отрицательными: энергія, гордость, титаническій эгоизмъ англійскаго поэта замѣнился у героевъ Пушкина,—«старостью души», «бездѣйствіемъ» и «равнодушіемъ»...

Такой своеобразный колоритъ, лежащій на «байроновскихъ» мотивахъ, разработанныхъ у Пушкина, невольно заставляетъ насъ припомнить Шатобріана,—того пѣвца разочарованія и пессимизма, которому исторія приписала печальную славу быть однимъ изъ родоначальниковъ поэзіи «міровой скорби» [2]). Имя

[1]) Таково же было вліяніе Байрона и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Пушкина: изображая «москвичей» «въ гарольдовыхъ плащахъ», онъ смягчалъ до неузнаваемости героя Байрона, очевидно, пользуясь интереснымъ типомъ, въ то же время вполнѣ самостоятельно относясь къ нему.

[2]) Конецъ XVIII в. начало XIX-го во всемірной литературѣ вообще отмѣчены этимъ своеобразнымъ колоритомъ «міровой скорби»: «Вертеръ» Гете, «Рене» Шатобріана, герои Сталь (Освальдъ, Мандевиль), «Ліодоръ» Карамзина и много другихъ,—все это братья по́ духу... Изъ нихъ герой Шатобріана является наиболѣе характернымъ типомъ, т. к. его скорбь проникаетъ глубоко во все его существо» и менѣе зависитъ отъ случайныхъ причинъ. О широкомъ вліяніи Рене Шатобріана на современную литературу и жизнь см. у *Н. А. Котляревскаго* интересныя признанія Шатобріана («Міровая скорбь». 139—140).

это, несправедливо забытое, упоминается въ исторіи русской литературы рѣдко, — объяснить это нетрудно: блестящій, энергичный талантъ Байрона скоро заставилъ померкнуть менѣе замѣтный образъ французскаго писателя, а, между тѣмъ, исторія назвала Шатобріана однимъ изъ самыхъ близкихъ и вліятельныхъ учителей англійскаго поэта...

Шатобріана нашъ Пушкинъ зналъ прекрасно... Вообще вся французская литература была ему очень хорошо извѣстна,—на ней онъ воспитался съ дѣтства, ей подражалъ съ первыхъ шаговъ своего творчества... Правда, въ домѣ родителей его культивировалась почти исключительно «легкая поэзія»,—но, думается намъ, едва-ли эмигранты-аристократы, наводнявшіе московскія гостиныя, часто посѣщавшіе также и Пушкиныхъ, съ легкимъ сердцемъ откликались на модную забаву русскихъ поэтовъ-баръ плодить подражанія французской «легкой поэзіи»—вѣроятно, въ рѣчахъ многихъ изъ этихъ французовъ, потерявшихъ все съ революціей, слышался уже Рене, этотъ аристократъ - неудачникъ, бѣжавшій съ горькими жалобами и упреками на лоно дѣвственной природы, бѣжавшій не по своей волѣ, оставившій свое сердце и думы на родинѣ, тоскующій, разочарованный...

Если на первыхъ порахъ Пушкина увлекала легкая, игривая поэзія Парни и К°, поэтовъ безмятежнаго наслажденія,—то стоило измѣниться обстоятельствамъ въ жизни Пушкина, чтобы въ сердцѣ его отозвались мотивы другой французской музыки,—мотивы «разочарованія», «міровой скорби»...

И, думается, намъ, не Вольтеръ, какъ указываетъ

г. Спасовичъ, а скорѣе Шатобріанъ подсказывалъ Пушкину «разочарованіе» и «тоску» въ тѣхъ раннихъ произведеніяхъ, которыя написаны до знакомства нашего поэта съ Байрономъ. Извѣстно, что Пушкинъ прекрасно зналъ Шатобріана—это одинъ изъ любимыхъ его писателей: на протяженіи всей своей литературной дѣятельности нѣсколько разъ поминаетъ онъ французскаго писателя. Симпатіи къ нему пережили у Пушкина даже увлеченіе Байрономъ, — въ 1837-омъ году, когда Пушкинъ о Байронѣ давно пересталъ говорить, онъ еще считаетъ Шатобріана *первымъ изъ современныхъ писателей, учителемъ всего пишущаго поколѣнія* [1]), — «всѣ» произведенія его называетъ «блестящими» [2]). Въ запискахъ Смирновой мы находимъ подтвержденіе этого мнѣнія: прозу Шатобріана нашъ писатель считалъ выше стиховъ французскихъ молодыхъ романтиковъ, «Рене», по его мнѣнію,—лучшій романъ Шатобріана... [2])

Такіе отзывы Пушкина насъ нисколько не удивятъ, если мы обратимся къ твореніямъ Шатобріана:... Рене, главный герой двухъ его романовъ («René» и «Natchèz») и дѣйствующее лицо въ повѣсти «Atala», конечно, болѣе по плечу Пушкину, чѣмъ герои Бай-

---

[1]) Соч., V, 365—6. Еще о Шатобріанѣ. Соч., I, 259, III, 238; V, 119, 188, 301. Тамъ же, 366.

[2]) *Смирнова* Записки I, 153. Насколько глубокое впечатлѣніе имѣлъ Шатобріанъ на русскую молодежь лучше всего видно изъ біографіи Батюшкова, написанной акад. Л. Н. Майковымъ,—нашему почтенному ученому Рене помогаетъ съ необыкновенный полнотою раскрыть страдающую душу поэта... Конечно, если Пушкинъ и не подчинился до такой степени Рене, какъ Батюшковъ, то и надъ его ясною душою, несомнѣнно, могли проноситься порою сходныя настроенія...

рона,—и «Кавказскій плѣнникъ» гораздо ближе къ Рене, чѣмъ къ соотвѣтствующимъ типамъ англійскаго поэта... Въ Рене, какъ и въ героѣ «Кавказскаго Плѣнника», нѣтъ ничего специфически-байроновскаго, — нѣтъ «богатырскаго, мрачнаго, сильнаго»,—его, какъ и русскаго героя, гораздо легче охарактеризовать отрицательными качествами, чѣмъ положительными: онъ не возмущается, не ненавидитъ, не мститъ,—онъ жалуется, тоскуетъ, такъ какъ онъ — «жертва», а не «борецъ». Глубокая, болѣзненная меланхолія, напоминающая настроенія Вертера,—вотъ, чувство, которымъ онъ живетъ, отъ котораго страдаетъ, но которымъ онъ, тѣмъ не менѣе, гордится, съ нимъ носится...[1]).

Если мы отбросимъ совершенно чуждую Пушкину, тенденціозно-религіозную окраску, присущую произведеніямъ Шатобріана, мы увидимъ полное тожество въ типическихъ чертахъ героевъ обоихъ писателей и даже большую близость въ ходѣ самой интриги.

Прежде всего, конечно, наше вниманіе обращается къ главному герою Шатобріана—Рене. Какъ мы говорили уже, это юноша—«sans force et sans vertu» [2]), оставившій родину вслѣдствіе несчастной любви [3]), а, также, повидимому, и потому, что среди цивилизованныхъ людей ему мало мѣста съ его безмѣрнымъ эгоизмомъ [4]). Впрочемъ, мотивы, заставившіе его покинуть родину, имъ самимъ, повидимому, такъ же мало выяснены, какъ и нашимъ «Кавказскимъ Плѣнникомъ»... Самая «свобода», «веселый призракъ»

[1]) *Chateaubriand*, «Atala», «René».. 78. [2]) Тамъ же, 78. [3]) Тамъ же, 85. [4]) Тамъ же, 364, 427.

которой мерещился вдали обоимъ героямъ, такъ же неясенъ обоимъ... Рене бѣжитъ къ дикарямъ, но тоска, грусть слѣдуютъ за нимъ по пятамъ; его охлажденное [1]) сердце недолго наслаждается радостями бытія вдали отъ суеты мірской,—теплая, самоотверженная, трогательная любовь дикарки Селюты не вытѣсняетъ изъ его сердца думъ о той женщинѣ, которая осталась на его родинѣ...

Теперь передъ нами двѣ героини Шатобріана—Atala и Celuta,—героини на одно лицо... Это—поэтическіе образы, легкіе, полувоздушные, проникнутые самоотверженною, теплою любовью... Atala, влюбленная въ «плѣнника», появляется къ нему ночью и съ тѣхъ поръ постоянно ходитъ тайкомъ къ юношѣ и ведетъ съ нимъ долгія бесѣды о любви... Потомъ она освобождаетъ юнаго плѣнника и умираетъ въ борьбѣ со своею любовью, умираетъ просвѣтленная, самоотверженная... Другая героиня Шатобріана — Celuta, отдавшая всю жизнь свою Рене, въ награду за это услышала отъ него признаніе, что сердце его занято думой о другой женщинѣ; она ведетъ несчастную жизнь и, наконецъ, потерявъ дорогого человѣка, которому она принесла столько жертвъ, бросается въ рѣку...

И всѣ эти трогательныя исторіи развиты на фонѣ блестяще написанныхъ картинъ американской природы, въ обстановкѣ самой своеобразной, романтической... Шатобріанъ нарочно, въ погонѣ за couleur locale, ѣздилъ въ Америку, присматривался къ при-

---

[1]) Тамъ же, 153.

родѣ, къ обычаямъ и нравамъ тѣхъ племенъ, жизнь которыхъ служитъ фономъ для его романа...

Обращаясь теперь къ поэмѣ Пушкина, мы находимъ цѣлый рядъ поразительныхъ сходствъ: герой «Кавказскаго Плѣнника», какъ мы уже имѣли случай говорить, очень близокъ къ Рене и по характеру, и по его судьбѣ... Онъ, какъ и Рене, покидаетъ цивилизованный міръ и, гоняясь за какимъ-то «призракомъ свободы», является на Кавказъ,—единственное мѣсто въ Россіи, гдѣ можно было встрѣтить романическую обстановку... [1]).

Далѣе интрига развивается совершенно параллельно съ той, которая положена въ основу повѣсти «Atala»... Герой—въ плѣну, онъ закованъ и не можетъ спастись бѣгствомъ... Въ него влюбляется дикарка, освобождаетъ его, но онъ, какъ Рене, остается холоденъ къ любви дѣвушки и открываетъ ей, что сердце его занято... Развязка также довольно схожа въ обоихъ произведеніяхъ: герои остаются въ живыхъ, героини погибаютъ... [2]).

Если мы обратимся къ пушкинской поэмѣ: «Цыганы», то и здѣсь найдемъ мы нѣсколько интересныхъ точекъ соприкосновенія между Пушкинымъ и Шатобріаномъ... Мы говорили уже, что при созданіи

---

[1]) Въ этомъ отношеніи судьба Кавказа очень любопытна: уже съ 80-хъ годовъ XVIII в. находимъ мы русскихъ юношей, въ глазахъ которыхъ Кавказъ и его жители рисуются въ романическомъ освѣщеніи. Такъ, Карамзина въ ранней юности влекло на Кавказъ: онъ, оказывается, тоже «мечталъ быть завоевателемъ чернобровой, пылкой черкешенки» (*И. Дмитріевъ*, Соч., II, 26).

[2]) Сходство это замѣчено было и современной Пушкину критикой (Погодинъ въ «Моск. Вѣстникѣ» 1827 V, 17 стр. 10).

образа Алеко самостоятельность Пушкина сказалась рѣшительнѣе, яснѣе. Но въ разработкѣ интриги мы найдемъ много общаго съ произведеніями Шатобріана... Алеко, какъ Рене, бросаетъ шумный свѣтъ и идетъ къ дикарямъ-цыганамъ... Его такъ же, какъ и Рене, принимаютъ дружелюбно... Онъ, какъ Рене, болѣе или менѣе, сживается съ тѣмъ народомъ, къ которому пришелъ, хотя всецѣло слиться «съ дѣтьми природы» онъ не можетъ... Оказывается,—

«. . . уныло юноша глядѣлъ
«На опустѣлую равнину,
«И грусти тайную причину
«Истолковать себѣ не смѣлъ [1]).

Какъ за Рене, за нимъ тоска слѣдуетъ по пятамъ...

Кромѣ главнаго лица, обращаетъ на себя наше вниманіе еще одно дѣйствующее лицо, тожественное у обоихъ авторовъ: патріархъ индѣйскаго племени Chaktas и Старый Цыганъ... Эти два старика, знающіе жизнь съ ея бѣдами и печалями, много видѣвшіе на своемъ вѣку, являются передъ читателемъ судьями эгоизма и сердечной пустоты юношъ Рене и Алеко... Правда, у Шатобріана его Chaktas не произноситъ тѣхъ энергичныхъ укоровъ, которые услышалъ Алеко отъ стараго Цыгана, но величественная фигура индѣйца, умудреннаго жизнью, съ душой спокойной и прекрасной по своей наивности и цѣльности, является нѣмымъ и въ то же время краснорѣчивымъ укоромъ Рене... Впрочемъ, Chaktas

[1]) Соч., II, 349—350.

прекрасно понялъ душу Рене и далъ ему рядъ характерныхъ совѣтовъ [1]).

Такимъ образомъ, если Байронъ далъ Пушкину образчикъ для героя «Цыганъ» и набросилъ нѣсколько слабыхъ, невѣрныхъ чертъ на героя «Кавказскаго Плѣнника», то Шатобріанъ передалъ болѣе характерныхъ чертъ герою «Кавказскаго Плѣнника» и далъ интригу для обѣихъ поэмъ. Развязка въ пушкинскихъ произведеніяхъ самостоятельная, — не совсѣмъ удачная въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» и очень интересная въ «Цыганахъ»... Этому помогло живое лицо Земфиры, очевидно, срисованной съ натуры... Вѣроятно, жизнь въ Кишиневѣ представила Пушкину не одинъ образчикъ такихъ героинь, какой была героиня «Цыганъ»... На Кавказъ, какъ мѣсто, самое подходящее для романтической поэмы, указалъ Пушкину, быть можетъ, Ксавье де Местръ, съ его повѣстью: «Кавказскій Плѣнникъ»... Природа Кавказа, Пушкину *въ 1821-мъ году еще незнакомая*, (тогда онъ былъ лишь на «Минеральныхъ Водахъ»), набросана имъ, съ чужого голоса, — между прочимъ, онъ самъ указалъ въ первомъ изданіи своей поэмы на стихи Жуковскаго и Державина, какъ прекрасно изображающія дикія красоты Кавказа...

---

[1]) Интересно сходство между произведеніями Пушкина и Шатобріана также и въ художественномъ замыслѣ: оба сознательно развѣнчиваютъ своихъ героевъ, наказывая ихъ за пустоту души (Ср. признанія самого Шатобріана (*Н. А. Котляревскій*, «Міровая скорбь» 139—140, а также предисловіе къ романамъ Шатобріана).

«Однакожъ, какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость!.. Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанныя на всѣ эти ужасы,—вотъ, что увлекало меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все!»

(Пушкинъ о „Полтавѣ", Соч. V, 134).

„Полтава“ и „Борисъ Годуновъ“.

(Къ литературной исторіи этихъ произведеній).

Современникъ великаго поэта, почти его ровесникъ, К. Ѳ. Рылѣевъ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности пользовался его постояннымъ вниманіемъ; безъ преувеличенія можно сказать, что онъ состоялъ подъ его «особымъ надзоромъ». По крайней мѣрѣ, онъ, одинъ изъ немногихъ современниковъ, вызвалъ у Пушкина столько отзывовъ. Впервые въ письмахъ поэта о Рылѣевѣ упоминается въ 1823 г. (Л. С. Пушкину, 30 января). Здѣсь дважды, съ замѣтной ироніей, Рылѣевъ названъ «знаменитымъ», при чемъ высмѣяно слово «дума», которымъ Рылѣевъ назвалъ цѣлый рядъ своихъ лироэпическихъ произведеній: по словамъ поэта,—«*думъ*, слово, употребляемое знаменитымъ Рылѣевымъ, *по-русски* ничего не значитъ» (вѣроятно, намекъ на нѣмецкое—dumm). Но уже въ слѣдующемъ 1824 году (Л. С. Пушкину, Одесса, 6-го января) онъ пишетъ: «Съ Рылѣевымъ мирюсь: «Войнаровскій» полонъ жизни». Въ томъ же 1824-омъ году (А. А. Бестужеву, 12 января) онъ пишетъ: «Рылѣева *Войнаровскій* несравненно лучше всѣхъ его

«думъ»: слогъ его возмужалъ и становится истинно-повѣствовательнымъ, чего у насъ почти нѣтъ».

Въ слѣдующемъ году онъ уже обращаетъ на себя вниманіе друзей похвалами по адресу Рылѣева и считаетъ своимъ долгомъ даже защищаться отъ обвиненій въ пристрастіи. Въ письмѣ къ А. А. Бестужеву изъ Михайловскаго, отъ 21 марта, онъ высказываетъ по этому поводу очень знаменательныя слова: «Откуда ты взялъ, что я льщу Рылѣеву? Мнѣніе свое о его «думахъ» я сказалъ вслухъ и ясно; о поэмахъ его также. Очень знаю, что я его учитель въ стихотворномъ языкѣ, но онъ идетъ своей дорогой. Онъ въ душѣ поэтъ, я опасаюсь его не на шутку и жалѣю очень, что его не застрѣлилъ, когда имѣлъ къ тому случай, да чортъ его зналъ! Жду съ нетерпѣніемъ «Войнаровскаго» и перешлю ему всѣ мои замѣчанія.—Ради Христа, чтобы онъ писалъ, да болѣе, болѣе...». Л. С. Пушкину въ томъ-же 1825 году, въ началѣ апрѣля, онъ опять пишетъ: «Войнаровскій» мнѣ очень нравится. Мнѣ даже скучно, что его здѣсь нѣтъ у меня». Наконецъ, въ томъ-же году въ письмѣ къ кн. П. А. Вяземскому изъ Михайловскаго отъ 25 мая онъ, говоря о поэмѣ Козлова «Чернецъ» опять возвращается къ Рылѣеву: «Эта поэма, конечно, полна чувствъ и умнѣе «Войнаровскаго», но въ Рылѣевѣ есть больше замашки, или размашки въ слогѣ. У него есть какой-то тамъ палачъ съ засученными рукавами, за котораго я бы дорого далъ». «Если Палѣй пойдетъ, какъ начатъ, Рылѣевъ будетъ министромъ» (на Парнассѣ) — пишетъ онъ брату въ февралѣ 1825 г.

Изъ всѣхъ этихъ отзывовъ ясно—1) что, начавъ съ ироническаго отношенія къ дѣятельности Рылѣева, поэтъ очень скоро увлекся ею, особенно поэмой «Войнаровскій»,—2) Пушкинъ замѣтилъ, что поэтическій языкъ Рылѣева «возмужалъ» подъ вліяніемъ его, Пушкина,—3) въ произведеніяхъ Рылѣева останавливали на себѣ его вниманіе нѣкоторые удачные образы («палачъ») и общій тонъ «размашистый», свидѣтельствующій о широтѣ вдохновенія...

Онъ идетъ «своей дорогой»—говоритъ Пушкинъ о Рылѣевѣ, т. е. другими словами, живетъ въ кругу своихъ оригинальныхъ замысловъ, въ атмосферѣ своихъ настроеній... Шелъ «своей дорогой», конечно, и самъ Пушкинъ, но литературная исторія нѣкоторыхъ его произведеній указываетъ, что онъ никогда не замыкался въ тѣсномъ кругу своего творчества и внимательно смотрѣлъ по сторонамъ, вглядывался въ произведенія крупныхъ и даже мелкихъ писателей, охотно бралъ отъ нихъ нѣкоторыя картины, образы, даже намеки—и перерабатывалъ по своему въ своихъ произведеніяхъ. Это было заимствованіе *художественной идеи* и самостоятельное развитіе ея. Всегда это «взятое чужое» изъ подъ его пера выходило вдвойнѣ прекраснѣе. Какъ на образецъ подобнаго заимствованія у маленькихъ писателей лучше всего указать, какъ Пушкинъ использовалъ одинъ образъ изъ поэмы Боброва «Таврида»: тамъ ему понравилось появленіе «скопца» — и онъ ввелъ его въ свою поэму «Бахчисарайскій Фонтанъ». «Меня, говоритъ онъ, ввелъ въ искушеніе Бобровъ; онъ говоритъ въ своей Тавридѣ: *„подъ стражею скопцовъ гарема“*. Мнѣ хо-

тѣлось что-нибудь у него украсть» (къ князю Вяземскому, Одесса, ноябрь 1825 г.). Подобныхъ «мелкихъ» заимствованій у Пушкина, думается, найти можно немало; выясненіе ихъ для пониманія творчества великаго поэта, конечно, небезполезно. Въ этомъ отношеніи особенно любопытно сопоставить Пушкина съ Рылѣевымъ.

Прежде всего, думается намъ, что подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ думы Рылѣева: «Олегъ Вѣщій» написано стихотвореніе Пушкина: «Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ». На эту связь указываетъ — 1) и самое заглавіе «пѣснь», которымъ Пушкинъ хотѣлъ замѣнить дико звучавшее для него слово «дума»; затѣмъ,— 2) несомнѣнное знакомство поэта съ самымъ произведеніемъ Рылѣева: еще въ январѣ 1823 года онъ полонъ воспоминаній объ этомъ произведеніи; брату онъ пишетъ, что Рылѣевъ ошибался, сказавъ, что Олегъ прибилъ на вратахъ Царь-града щитъ съ *гербомъ* россійскимъ; — 3) хронологическое совпаденіе: дума Рылѣева напечатана въ «Новостяхъ Литературы» 1822 г. (ч. I, № 11), но, конечно, въ рукописи могла дойти до Пушкина и раньше; такъ было съ «Войнаровскимъ», котораго Пушкинъ зналъ задолго до его напечатанія (см. выше). Произведеніе Пушкина окончено 1-го марта того-же 1822 года; — 4) близость нѣкоторыхъ мѣстъ обоихъ произведеній. У Рылѣева Олегъ представленъ неумолимымъ, суровымъ воиномъ: «Горятъ деревни, села пышутъ ...Кровь повсюду заструилась»; у Пушкина: «Ихъ села и нивы за буйный набѣгъ обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ». У Рылѣева: «Прибилъ свой щитъ съ гербомъ Россіи

къ цареградскимъ воротамъ»; у Пушкина: «Твой щитъ на вратахъ Царяграда». Здѣсь внесена поправка: щитъ оказывается «безъ герба»; наконецъ,—5) произведеніе Пушкина, въ ряду другихъ его стихотвореній, написанныхъ въ это время, стоитъ совершенно одиноко по содержанію и по настроенію,—ясное доказательство того, что созданіе его не было результатомъ продолжительныхъ настроеній, или интересовъ, а было «случайнымъ» произведеніемъ, написаннымъ подъ впечатлѣніемъ нечаянно-блеснувшей идеи.

Но еще значительнѣе были воздѣйствія Рылѣева на поэму Пушкина «Полтава» и даже на драму «Борисъ Годуновъ». Оба произведенія прекрасны въ отдѣльныхъ частяхъ, но слабы въ цѣломъ: въ нихъ нѣтъ единства и, главное, цѣльности: они, точно, сшиты изъ отдѣльныхъ сценъ, отдѣльныхъ произведеній... Это замѣтили еще современники Пушкина, и, въ этомъ отношеніи, ихъ судъ былъ совершенно справедливъ. «Романтизмъ», которымъ прикрывалъ Пушкинъ указанные недостатки своихъ произведеній, конечно, не представлялъ собою защиты серьезной,—такъ какъ его вліяніе могло сказаться на содержаніи, настроеніяхъ, стилѣ произведеній, но не на ихъ построеніи: для хорошаго «романтическаго» произведенія единство содержанія и стройность плана такъ же необходимы, какъ и для «классическаго».

Перечитывая «думы» Рылѣева, я долженъ отмѣтить, прежде всего, что онъ, одинъ изъ первыхъ, во всякомъ случаѣ *ранѣе Пушкина*, сталъ искать источниковъ вдохновенія въ далекомъ прошломъ Россіи: въ этомъ отношеніи *онъ—учитель Пушкина*. Затѣмъ, любопытно,

что Рылѣевъ *раньше Пушкина* началъ ходить вокругъ того художественнаго замысла, который воплощенъ въ «Полтавѣ»: въ поэмѣ «Войнаровскій», въ поэмѣ «Мазепа», «Палѣй», «Богданъ Хмѣльницкій», «Петръ Великій въ Острогожскѣ» выведены почти всѣ лица, которыя повторяются потомъ въ «Полтавѣ»: многія отдѣльныя картины, даже стихи Рылѣева тоже повторены у Пушкина.

Прежде всего, слѣдуетъ остановиться на обрисовкѣ самого героя—Мазепы. Этотъ образъ, для Пушкина слишкомъ неестественный и напыщенный, цѣликомъ сложился подъ невольнымъ впечатлѣніемъ рылѣевскаго Мазепы, а также біографическаго очерка, посвященнаго Мазепѣ («Жизнеописаніе Мазепы» А. О. Корниловича) и приложеннаго къ поэмѣ «Войнаровскій» вмѣстѣ съ «Жизнеописаніемъ Войнаровскаго» (соч. А. А. Бестужева). Если-бы поэтъ *самъ* подошелъ къ этому образу, онъ, конечно, избѣжалъ-бы слишкомъ неопредѣленныхъ, и, въ то же время, сплошь темныхъ красокъ въ описаніи Мазепы. Поэтъ не обрисовалъ бы его такими общими чертами:

. . . онъ не вѣдаетъ святыни,
. . . онъ не помнитъ благостыни,
. . . онъ не любитъ ничего,
. . . кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
. . . презираетъ онъ свободу,
. . . нѣтъ отчизны для него.

Онъ, конечно, нашелъ бы въ душѣ Мазепы больше свѣта, а на своей палитрѣ болѣе яркихъ красокъ! Написавъ же быстро свое произведеніе, онъ не успѣлъ переварить навѣяннаго извнѣ. «Однакожъ какой отвратительный предметъ,—отзывался онъ о Мазепѣ: ни

одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость!»—отзывъ, интересный особенно въ устахъ такого поэта, который всегда искалъ симпатичныя, смягчающія черты даже въ преступныхъ своихъ герояхъ и всегда ихъ находилъ! (Пугачевъ, Скупой Рыцарь, Донъ-Жуанъ, Сальери и пр.). «Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы — вотъ, что увлекало меня — продолжаетъ онъ. «Полтаву» написалъ я въ нѣсколько дней, *далѣе не могъ-бы ею заниматься и бросилъ бы все!*» Послѣднія слова тоже очень характерны,—они свидѣтельствуютъ, что долго въ героевъ «Полтавы» (кромѣ Петра) Пушкинъ не вдумывался, не изучалъ ихъ, что написаны они «порывомъ», случайно, быть можетъ, подъ живымъ впечатлѣніемъ опять подвернувшейся подъ руки и давно-любимой поэмы Рылѣева. Въ этой поэмѣ Мазепа является эпизодическимъ лицомъ и всегда предстаетъ какимъ-то мелодраматическимъ «злодѣемъ».

«Нагрянулъ Карлъ на Русь войной:
Все на Украйнѣ ополчалось,
Съ весельемъ всѣ летѣли въ бой,
Лишь только мракомъ и тоской
Чело Мазепы обложилось,
Изъ подъ бровей нависшихъ сталъ
Сверкать какой-то пламень дикій,
Угрюмый съ нами, онъ молчалъ. . .
. . .Глаза Мазепы засверкали;
Какъ предъ разсвѣтомъ ночи мгла.

У Рылѣева Мазепа представленъ «угрюмымъ», его чело «обложилось мракомъ и тоской», изъ-подъ «бровей нависшихъ» сверкаетъ «какой-то пламень дикій»,

онъ «угрюмъ» и молчитъ въ присутствіи молодежи; онъ «отъ всѣхъ скрывался». Глаза его «сверкаютъ», «чело угрюмо». Видъ у него «мрачный и суровый», онъ «волнуемъ тайно мрачной думой», онъ—«Іуда», «хитрый вождь», «скрытный», у него «дикій» взглядъ, «очи полныя тоской».

Изъ всѣхъ героевъ Пушкинъ только Мазепу обрисовалъ, пользуясь совершенно такимъ-же нехудожественнымъ пріемомъ—красками темными и слишкомъ искусственно-подобранными: и у пушкинскаго Мазепы духъ «неукротимъ», онъ—«старикъ надменный», у него «умыселъ ужасный», онъ—«злой старикъ», «дерзкій хищникъ, губитель» «злодѣй», «скрытный», душа его «мятежна, ненасытна», онъ творитъ «козни», душа его «коварна», «воля злая», въ сердцѣ его «преступный жаръ», у него «блестящій», «впалый взоръ»; онъ «мраченъ», умъ его «смущенъ жестокими мечтами», помышленія его «черны», онъ старикъ «суровый», онъ «блѣденъ», рѣчь его «сурова», онъ—«злодѣй», онъ испытываетъ «угрызенья змѣиной совѣсти своей», онъ «угрюмъ», думы его «мрачны, онъ старецъ «мрачный», онъ «грозенъ», «терзается какой-то страшной пустотой», «молча скрежеталъ», въ груди у него «кипучій ядъ», у него «коварныя сѣдины», онъ «сверкаетъ очами», «злодѣй», «Іуда», «мрачный духъ»...

Конечно, такое, исключительное для Пушкина, сходство въ манерѣ описывать героя не случайно,—оно ясно указываетъ, что вдохновилъ нашего поэта на созданіе образа Мазепы—тотъ, кто толкнулъ великаго поэта на ложный путь художественной неправды.

Любопытна еще одна деталь: «размашистый», по

выраженію Пушкина, стиль Рылѣева очень любитъ изображать героя въ тотъ моментъ, какъ онъ «мчится», «летитъ», «несется». Такъ, Войнаровскій вспоминаетъ о своихъ удалыхъ набѣгахъ, какъ онъ «часто за Палѣемъ вслѣдъ» *мчался* на конѣ, какъ онъ «леталъ гордо на конѣ». У Пушкина Мазепа вспоминаетъ, какъ «скакалъ» рядомъ съ Кочубеемъ (дважды), къ мѣсту казни гетманъ «скакалъ», оттуда онъ «мчался»; возставъ на Петра, онъ «мчится на конѣ»; спасаясь бѣгствомъ, онъ тоже «мчится», мимо хутора «помчался». Этотъ «наѣзднический» характеръ Мазепы напоминаетъ, какъ разъ, многихъ героевъ «думъ» Рылѣева: очень многіе изъ нихъ отличаются такою-же «стремительною силою» духа.

Но особенное значеніе для Пушкина имѣла біографія гетмана, составленная А. О. Корниловичемъ и приложенная къ поэмѣ Рылѣева: «Войнаровскій».

Изъ „Полтавы“:

«Но старый гетманъ оставался
Послушнымъ подданнымъ Петра...

«Мазепа въ горести притворной
Къ царю возноситъ гласъ покорный:
«И знаетъ Богъ и видитъ свѣтъ:
Онъ, бѣдный гетманъ, двадцать лѣтъ
Царю служилъ душою вѣрной.
«. . .Гнушаясь мнимой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,

Изъ „Жизнеописанія Мазепы“.

..въ словахъ и поступкахъ онъ казался самымъ ревностнымъ поборникомъ выгодъ Россіи, изъявлялъ совершенное покорство волѣ Петра, предупреждалъ его желанія.

Въ письмахъ къ царю Мазепа говорилъ про себя, что онъ одинъ (на сторонѣ Петра), что всѣ, окружающіе его, недоброжелательствуютъ Россіи.

Петръ, плѣненный его умомъ, познаніями и довольный его службою, благоволилъ къ гетману особеннымъ образомъ. Онъ имѣлъ къ

Самъ царь Іуду утѣшалъ
И злобу шумомъ наказанья
Смирить надолго обѣщалъ.

нему неограниченную довѣренность, осыпалъ его милостями, сообщалъ ему самыя важныя тайны, слушалъ его совѣтовъ. Случалось-ли, что недовольные, жалуясь на гетмана, обвиняли его въ измѣнѣ, государь велѣлъ отсылать ихъ въ Малороссію и судить, какъ ябедниковъ, осмѣлившихся поносить достойнаго повелителя казаковъ.

«Онъ съ гордымъ шведскимъ королемъ
Свои сношенья продолжаетъ.
Межъ тѣмъ, чтобъ обмануть вѣрнѣй
Глаза враждебнаго сомнѣнья,
Онъ, окружась толпой врачей,
На ложѣ мнимаго мученья
Стоная, молитъ исцѣленья...

Самъ Мазепа притворился больнымъ, слегъ въ постель, окружилъ себя докторами, не вставалъ съ одра по нѣскольку дней сряду, не могъ ни ходить, ни стоять и въ то время, какъ всѣ полагали его близкимъ къ гробу,—онъ приводилъ въ дѣйствіе свои намѣренія: переписывался съ Карломъ XII и Лещинскимъ, велъ по ночамъ переговоры съ присланнымъ отъ Станислава іезуитомъ Зеленскимъ о томъ, на какихъ основаніяхъ сдать Малороссію полякамъ, и отправлялъ тайныхъ агентовъ къ запорожцамъ съ разглашеніями, что Петръ намѣренъ истребить Сѣчу и чтобъ они готовились къ сопротивленію

«...Съ нимъ полномощный іезуитъ
Мятежъ народный учреждаетъ
И шаткій тронъ ему сулитъ.
Во тьмѣ ночной они, какъ воры,
Ведутъ свои переговоры . . .
Какой-то нищій во дворецъ
Невѣдомо отколѣ ходитъ,
И Орликъ, гетмановъ дѣлецъ,
Его приводитъ и выводитъ.
Повсюду тайно сѣютъ ядъ
Его подосланные слуги:

«Тамъ, на Дону, казачьи круги
Они съ Булавинымъ мутятъ.
Тамъ будятъ дикихъ ордъ отвагу,
Тамъ, за порогами Днѣпра,
Стращаютъ буйную ватагу
Самодержавіемъ Петра...
Плоды страстей, войны трудовъ,

Притворныя страданія его часъ отъ часу усиливались, 22 Октября 1708 г. писалъ онъ еще къ графу Головнину, что не можетъ ворочаться безъ пособія своихъ слугъ, болѣе 10 дней не употреблялъ пищи, лишенъ сна, и, готовясь уме-

Болѣзни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его къ одру. Уже готовъ
Онъ скоро бренный міръ оставить;
Святой обрядъ онъ хочетъ править,
Онъ архипастыря зоветъ
Къ одру сомнительной кончины
И на коварныя сѣдины
Елей таинственный течетъ...
И день насталъ. Встаетъ съ одра
Мазепа, сей страдалецъ хилый,
Сей трупъ живой, еще вчера
Стонавшій слабо надъ могилой...
Къ ногамъ онъ Карлу положилъ
Бунчукъ покорный...

[Въ объясненіи причинъ измѣны Мазепы Пушкинъ сошелся вполнѣ съ Рылѣевымъ: Мазепа хотѣлъ короны, для чего рѣшилъ обмануть и русскихъ, и шведовъ; казакамъ причину измѣны выставлялъ онъ, какъ боязнь самодержавія Петра.]

реть, уже соборовался масломъ, а 29, явившись въ Горкахъ, съ 5000 казаковъ, положилъ къ стопамъ Карла XII булаву и бунчукъ, въ знакъ подданства и вѣрности.

Что побудило Мазепу къ измѣнѣ?

Ненависть ли его къ русскимъ, полученная имъ еще въ дѣтствѣ во время его пребыванія при польскомъ дворѣ?

Любовная-ли связь съ одной изъ родственницъ Станислава Лещинскаго, которая принудила его перейти на сторону сего короля? Или, какъ нѣкоторые полагаютъ, любовь къ отечеству, внушившая ему неумѣстное опасеніе, что Малороссія, оставшись подъ владычествомъ русскаго царя, лишится правъ своихъ?

«Но въ современныхъ актахъ я не вижу въ поступкѣ гетмана Малороссіи сего возвышеннаго чувства, предполагающаго отверженіе отъ личныхъ выгодъ и пожертвованіе собою пользѣ согражданъ. Мазепа въ универсалахъ своихъ и письмахъ къ казакамъ клялся самыми священными именами, что дѣйствуетъ для ихъ блага; но въ тайномъ договорѣ съ

Станиславомъ отдавалъ Польшѣ Малороссію и Смоленскъ, съ тѣмъ, чтобы его признали владѣтельнымъ княземъ полоцкимъ и витебскимъ. Низкое, мелочное честолюбіе привело его къ измѣнѣ. Благо казаковъ служило ему средствомъ къ умноженію числа своихъ соумышленниковъ и предлогомъ для скрытія своего вѣроломства. И могъ ли онъ, воспитанный на чужбинѣ, ужъ два раза опятнавшій себя предательствомъ, двигаться благороднымъ чувствомъ любви къ родинѣ?» (Корниловичъ).

Изъ такихъ «недоумѣній» біографа Мазепы вышли и «недоумѣнія» Пушкина:

«Кто снидетъ въ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной? Думы въ ней,
Плоды подавленныхъ страстей,
Лежатъ погружены глубоко,
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть можетъ, зрѣетъ одиноко.
Какъ знать?

Итакъ, и для Пушкина неясны цѣли измѣны Мазепы — ясно только его несомнѣнное, очевидное коварство.

«. . Но чѣмъ Мазепа злѣй,
Чѣмъ сердце въ немъ хитрѣй и ложнѣй,
Тѣмъ съ виду онъ неосторжнѣй
И въ обхожденіи простѣй.
Какъ онъ умѣетъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшать!
Съ какой довѣрчивостью лживой,
Какъ добродушно на пирахъ

Со старцами старикъ болтливый
Жалѣетъ онъ о прошлыхъ дняхъ,
Свободу славитъ съ своевольнымъ,
Поноситъ власти съ недовольнымъ!..

И, между тѣмъ, «не вѣдаетъ святыни» (сношенія съ католиками-іезуитами, соборованье, чтобы обмануть Петра), «не помнитъ благостыни» (неблагодарность по отношенію къ Петру), «не любитъ ничего» (черта, заимствованная изъ «жизнеописанія», но *противорѣчащая любви* героя къ Маріи), «презираетъ онъ свободу» (черта, не оправданная поэмой), «нѣтъ отчизны для него» (тоже). Отсюда-же, изъ этого «жизнеописанія», позаимствовался Пушкинъ и «противорѣчіемъ», рѣжущимъ глазъ: авторъ «жизнеописанія», представивъ въ Мазепѣ мелодраматическаго злодѣя, испортилъ свое созданіе, указавъ на «малодушіе» Мазепы. То же сдѣлалъ и Пушкинъ, неожиданно включивъ «малодушіе» въ черты характера своего героя [1]).

Кромѣ заимствованій, такъ сказать, «психологическаго» свойства, слѣдуетъ отмѣтить заимствованія Пушкинымъ у Рылѣева цѣлыхъ картинъ. Такъ, напримѣръ, картина отдыха утомленныхъ ѳѣглецовъ—Карла и Мазепы.

«Почти безъ отдыха пять дней
Бѣжали мы среди степей,
Бояся вражеской погони;
Уже измученные кони
Служить отказывались намъ,
Дрожа отъ стужи по ночамъ,

[1]) Кромѣ «жизнеописанія», воспользовался Пушкинъ для своей поэмы «Исторіей Малороссіи» Бантыша-Каменскаго,—объ этомъ онъ самъ говоритъ: оттуда взяты нѣкоторые факты и имена изъ исторіи казачьихъ войнъ, взятъ текстъ письма Мазепы къ Петру.

Изнемогая въ день отъ зноя,
Едва сидѣли мы верхомъ. . .
Однажды, въ полночь, подъ лѣсомъ
Мы для минутнаго покоя
Остановились за Днѣпромъ;
Вокругъ синѣла степь глухая,
Луну затмили облака,
И, тишину перерывая,
Шумѣла въ берегахъ рѣка.
На войлокѣ простомъ и грубомъ,
Главою на сѣдло склоненъ,
Усталый Карлъ дремалъ подъ дубомъ,
Толпами ратныхъ окруженъ.
Мазепа предъ костромъ сосновымъ
Вдали на почернѣвшемъ пнѣ
Сидѣлъ въ глубокой тишинѣ
И съ видомъ мрачнымъ и суровымъ,
Какъ другу, открывался мнѣ.
(*Рылѣевъ*, «Войнаровскій», 57).

«Верхомъ, въ глуши степей нагихъ,
Король и гетманъ мчатся оба.
Бѣгутъ. Судьба связала ихъ.
Опасность близкая и злоба
Даруютъ силу королю.
Онъ рану тяжкую свою
Забылъ. Поникнувъ головою,
Онъ скачетъ, русскими гонимъ,
И слуги вѣрные толпою
Чуть могутъ слѣдовать за нимъ...

Слѣдуетъ сопоставить еще слѣдующее мѣсто изъ «Войнаровскаго»:

«Въ странѣ глухой, въ странѣ безводной,
Гдѣ только изрѣдка ковыль
По степи стелется безплодной,
Мы мчались, поднимая пыль;
Коней мы вовсе изнурили...
Страдалъ увѣнчанный бѣглецъ,
И съ горстью шведовъ, наконецъ,
Въ Бендеры къ туркамъ мы вступили...

Ночныя тѣни степь объемлютъ.
На брегѣ синяго Днѣпра,
Между скалами чутко дремлютъ
Враги Россіи и Петра.
Щадятъ мечты покой героя,
Уронъ Полтавы онъ забылъ,
Но сонъ Мазепы смутенъ былъ...

(*Пушкинъ*, «Полтава»).

Затѣмъ въ поэмѣ Рылѣева слѣдуетъ мелодраматическое описаніе тѣхъ ужасныхъ видѣній, что посѣтили его во время недуга. Всѣ эти видѣнія Мазепы (казнь Кочубея и Искры, анаѳематствованіе въ церкви, видѣніе жены Кочубея и дочери) Пушкинымъ изъ «видѣній» передѣланы на «дѣйствительность», при чемъ, зависимость этихъ картинъ отъ рылѣевскихъ (по крайней мѣрѣ, первой) доказываетъ заимствованіе великимъ поэтомъ у Рылѣева образа «палача», который, по его собственному признанію, поразилъ его воображеніе.

Казнь Кочубея и Искры описана у Пушкина сходно съ описаніемъ у Рылѣева, но гораздо реальнѣе.

Изъ „Войнаровскаго“:

«. . . И задыхаясь, увѣрялъ,
Что Кочубея видитъ съ Искрой.
«Вотъ, вотъ они! При нихъ палачъ!»
Онъ говорилъ дрожа отъ страху:
«Вотъ ихъ взвели уже на плаху,
Кругомъ стенанія и плачъ...
Готовъ ужъ исполнитель муки;
Вотъ засучилъ онъ рукава,
Вотъ взялъ уже сѣкиру въ руки,
Вотъ покатилась голова. . .

Изъ „Полтавы“:

«Средь поля роковой помостъ;
На немъ гуляетъ, веселится
Палачъ и алчно жертвы ждетъ
То въ руки бѣлыя беретъ,
Играючи, топоръ тяжелый,
То шутитъ съ чернію веселой. . .
И вотъ
Идутъ они, взошли... На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Какъ будто въ гробѣ, тьмы людей

И вотъ другая! . . . Всѣ трепещутъ
Смотри, какъ страшно очи блещутъ!».

Молчатъ. Топоръ блеснулъ съ размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслѣдъ за ней, мигая...

Нетрудно замѣтить, что у Пушкина картина казни изображена гораздо художественнѣе, отчасти благодаря тому, что поставлена въ болѣе выгодную обстановку. На первое мѣсто выдвинута фигура *палача*, сохранены нѣкоторыя детали, какъ, напримѣръ, впечатлѣніе отъ взоровъ отсѣченной головы. Психика толпы у Пушкина разработана правдивѣе: въ послѣдній моментъ передъ роковымъ ударомъ народъ безмолвствуетъ,—у Рылѣева — «стенанія и плачъ». Объ «анаѳематствованіи» Мазепы Пушкинъ дважды говоритъ мимоходомъ; у Рылѣева умирающій Мазепа видитъ цѣлую сцену этого церковнаго обряда. Появленіе безумной Маріи и ея разговоръ съ Мазепой принадлежатъ къ самымъ сильнымъ мѣстамъ поэмы; у Рылѣева эта благодарная сцена не разработана; у него сказано только:

«Онъ часто зрѣлъ въ глухую ночь
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь.

У обоихъ авторовъ отмѣчены чувства бѣглецовъ, когда они оставляли за собою «рубежъ» родной страны.

Изъ „Войнаровскаго“

«Съ разсвѣтомъ дня мы снова въ путь
Помчались по степи унылой.
Какъ тяжко взволновалась грудь,

Изъ „Полтавы“.

«Тоска, тоска его снѣдаетъ,
Въ груди дыханье стѣснено!
И молча онъ коня сѣдлаетъ
И скачетъ съ бѣглымъ королемъ,

Какъ сердце юное заныло,
Когда рубежъ страны родной
Узрѣли мы передъ собой!
Въ волненьи чувствъ тоской томимый
Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ..
И страшно взоръ его сверкаетъ.
Съ роднымъ прощаясь рубежомъ.

Наконецъ, самое упоминаніе въ поэмѣ «Полтава» имени Войнаровскаго:

«У Войнаровскаго въ рукахъ
Мушкетный стволъ еще дымился,

— упоминаніе, не вызываемое необходимостью, не связанное съ текстомъ «Полтавы», можетъ быть объяснимо только, какъ мимолетная, нечаянная дань признательности великаго поэта Рылѣеву. Къ поэмѣ Рылѣева приложены еще «примѣчанія» историческаго и этнографическаго свойства. Оттуда почерпнулъ Пушкинъ свои знанія о старомъ гетманѣ Палѣѣ?

Изъ Примѣчаній къ „Войнаровскому“.

[Оклеветанный Мазепой Палѣй]... былъ отправленъ въ Москву, а оттолѣ, по указу государеву, сосланъ въ Енисейскъ, гдѣ цѣлыя пять лѣтъ томился вдалекѣ отъ родины и родныхъ, снѣдаемъ тоскою бездѣйствія и неволи. Измѣна Мазепы открыла глаза Петру, и онъ, посреди заботъ военныхъ, вспомнилъ объ оклеветанномъ Палѣѣ и возвратилъ ему имущество, чинъ и свободу. Но какъ земная власть могла возвратить ему здоровье! Однакожъ, послѣдніе дни Палѣевой жизни были отрадны для сердца стараго

«Мазепы врагъ, наѣздникъ пылкій,
Старикъ Палѣй изъ мрака ссылки
Въ Украйну ѣдетъ, въ царскій станъ. . .
Сердечной ревностью горя . .

воина. Онъ пріѣхалъ на войну въ день полтавской битвы, сѣлъ на коня и, поддерживаемый двумя казаками, явился предъ своими. Радостные клики огласили воздухъ,— видъ Палѣя воспламенилъ всѣхъ мужествомъ. Старикъ ввелъ казаковъ въ дѣло, и хотя сабля его не могла уже разить враговъ, но еще однажды указала путь къ побѣдѣ.

Но близъ московскаго царя
Кто воинъ сей подъ сѣдинами
Двумя поддержанъ казаками?

Подъ вліяніемъ поэмы «Войнаровскій», въ которой говорится о похоронахъ Мазепы въ Бендерахъ, Пушкинъ въ 1824-мъ году, т. е. во время особаго увлеченія поэмой Рылѣева, искалъ даже могилы бѣглаго гетмана [1]). Объ этой могилѣ вспоминаетъ Пушкинъ и впослѣдствіи къ «Полтавѣ».

Еще одна мелочь сближаетъ поэму Пушкина съ «Войнаровскимъ» Рылѣева: только къ «Полтавѣ» приложены довольно обстоятельныя историческія «примѣчанія», что̀ особенно характерно и для поэмы Рылѣева: такъ, и у него только къ «Войнаровскому» приложены такія обстоятельныя объясненія.

У Рылѣева есть «дума», посвященная Борису Годунову; стоитъ прочесть ее, — и невольно въ нашей памяти воскресаетъ образъ пушкинскаго Годунова, особенно тотъ монологъ его, который раскрываетъ передъ нами его тоскующее сердце. Оба писателя избрали Годунова въ минуту тоски, когда онъ съ ужасомъ сознаетъ, что въ вопіющей несправедливости черни къ его державному труду кроется великая справедливость,—наказаніе за содѣянное имъ преступленіе.

[1]) *Липранди*, Воспоминанія («Русск. Арх.» 1866, ст. 1459, 61, 63—65).

Изъ „думы“ Рылѣева.

«Я мнилъ: взойду на тронъ—и рѣки благъ
Пролью съ высотъ его къ народу:
Лишь одному злодѣйству буду врагъ;
Всѣмъ дамъ законную свободу!
Начнутъ торговлею вездѣ цвѣсти
И грады пышные, и села!
Полезному открою всѣ пути
И возвеличу блескъ престола!
Я мнилъ: народъ меня благословитъ,
Зря благоденствія отчизны, —
И общая любовь мнѣ будетъ щитъ
Отъ тайной сердца укоризны!
Добро творю; но ропота души
Оно остановить не можетъ:
Гласъ совѣсти въ чертогахъ и въ глуши
Вездѣ равно меня тревожитъ!
Вездѣ, какъ неотступный стражъ, за мной,
Какъ злой, неумолимый геній,
Влачится вслѣдъ и шепчетъ мнѣ порой
Невнятно повѣсть преступленій. . .
Ахъ, удались! Дай сердцу отдохнуть
Отъ нестерпимаго страданья! . . .

Невольно съ этой цитатой хочется сопоставить нѣкоторыя мѣста изъ монолога пушкинскаго Годунова:

«Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать . . .
. . . Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы. . .
. . . Я выстроилъ имъ новыя жилища. . .

Несмотря на сознаніе своихъ заслугъ передъ отечествомъ пушкинскій Годуновъ не знаетъ счастья:

«...счастья нѣтъ моей душѣ». . .

— говоритъ онъ.

«Ни власть, ни жизнь меня не веселятъ,—
Предчувствую небесный громъ и горе,
Мнѣ счастья нѣтъ! . .

Кончается монологъ жалобами на то, что отъ мученія совѣсти никуда ему не уйти—эта же мысль выражена въ «думѣ» Рылѣева.

Полагаю, что приведенныя сопоставленія позволяютъ говорить съ увѣренностью о томъ, что въ произведеніяхъ Рылѣева Пушкинъ нерѣдко встрѣчалъ такіе поэтическіе «намеки», которые затрагивали его творчество, развертывались въ цѣлыя художественныя картины, почти всегда неизмѣримо превосходившія въ художественномъ отношеніи заимствованное. Только въ созданіи образа Мазепы вліяніе Рылѣева не было переработано Пушкинымъ и вошло въ его творчество непріятнымъ, *нехудожественнымъ* диссонансомъ.

«Англія есть отечество каррикатуры и паролій. Всякое замѣчательное происшествіе подаетъ поводъ къ сатирической картинкѣ; всякое сочиненіе, ознаменованное успѣхомъ, подпадаетъ подъ пародію. Искусство поддѣлываться подъ слогъ извѣстныхъ писателей доведено въ Англіи до совершенства. Не думаю, чтобы кто нибудь изъ извѣстныхъ нашихъ писателей могъ узнать себя въ пародіяхъ, напечатанныхъ недавно въ одномъ изъ московскихъ журналовъ. Сей родъ шутокъ требуетъ рѣдкой гибкости слога; хорошій пародистъ обладаетъ всѣми слогами, а нашъ едва ли и однимъ. Впрочемъ, и у насъ есть очень удачный опытъ: г-нъ Полевой очень забавно пародировалъ Гизота и Тьерри».

(А. Пушкинъ, «О каррикатурѣ въ Англіи и о Полевомъ», 1830).

„Исторія села Горохина".

(Къ литературной исторіи повѣсти).

«Самая замѣчательная пародія Пушкина, говоритъ Страховъ, есть «*Лѣтопись села Горохина*», въ которой онъ пародировалъ первыя главы *Исторіи Государства Россійскаго*. Ложный тонъ Карамзина здѣсь разоблаченъ совершенно, при томъ не вообще, а съ точнымъ указаніемъ избранныхъ свойствъ предмета, по отношенію къ которому этотъ тонъ ложенъ» [1]). Это утвержденіе, будто «Исторія села Горохина» есть пародія на Исторію Карамзина—домыселъ, ни на чемъ не основанный и ничѣмъ не подтверждаемый, тѣмъ не менѣе, имѣвшій нѣкоторый успѣхъ въ русской критической литературѣ.

Это тѣмъ болѣе странно, что въ томъ-же 1830 году, когда создано было разбираемое произведеніе, написалъ Пушкинъ, между прочимъ, разборъ «Исторіи русскаго народа» Н. Полевого. Въ этой статьѣ поэтъ неразъ нападаетъ на Полевого за несправедливое отношеніе къ Карамзину. Напр.:

[1]) *Н. Н. Страховъ*, «Замѣтки о Пушкинѣ».

«.. но желаніе отличиться отъ Карамзина слишкомъ явно въ г-нѣ Полевомъ, и, какъ заглавіе его книги есть не что иное, какъ пустая *пародія* заглавія Исторіи Государства Россійскаго, такъ и разсказъ г-на Полевого слишкомъ часто не что иное, какъ *пародія* разсказа исторіографа».

«*Исторія Русскаго народа*» начинается живымъ географическимъ изображеніемъ Скандинавіи и нравовъ дикихъ ея обителей... г-нъ Полевой становится столь же теменъ въ изложеніи своихъ этнографическихъ понятій, какъ въ философическихъ разсужденіяхъ своего предисловія. Онъ или повторяетъ, сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзинымъ, или касается предметовъ, вовсе чуждыхъ исторіи русскаго народа, и, утомляя вниманіе читателя, говоритъ поминутно: «И такъ мы видимъ... Изъ сего слѣдуетъ...». ... Презрѣніе, съ какимъ г. Полевой отзывался въ своихъ примѣчаніяхъ о Карамзинѣ, издѣваясь надъ его трудомъ, оскорбляло нравственное чувство уваженія нашего къ великому соотечественнику... и пр.

Достаточно этихъ цитатъ, чтобы удостовѣриться, что въ 1830-омъ году Пушкинъ энергично и искренне *защищалъ* Карамзина, и отнюдь не былъ расположенъ сочинять «пародіи» на его безсмертный трудъ. Любопытно, что, рядомъ съ этимъ уваженіемъ къ Карамзину, около имени Полевого какъ разъ вьется неотступно насмѣшливое словцо: «пародія». Полевой, по мнѣнію поэта, слѣпо подражалъ Карамзину, Тьерри, Баранту и Нибуру, но это подражаніе было такъ неудачно, что переходило въ «*пародію*».

Полевого поэтъ высмѣялъ зло не только въ этой критикѣ на его историческій трудъ, но и въ частныхъ письмахъ, и въ шутливыхъ «Дѣтскихъ сказкахъ» (все въ томъ-же 1830-мъ году),—конечно, изъ всего этого видно, что къ нему онъ относился очень отрицательно. Вотъ почему, съ бо́льшимъ правомъ, можно утверждать, что «*Исторія села Горохина*» есть *пародія на «Исторію русскаго народа» Полевого.* Мнѣніе это, еще въ 1900-мъ году, нашло себѣ косвенное подтвержденіе въ статьѣ: «Исторія села Горохина» г. Черняева [1]), который, опровергая Страхова, заявляетъ, что пародія Пушкина направлена не противъ Карамзина, а вообще противъ историіографовъ, съ такими пріемами изслѣдованія и изложенія, какіе не нравились поэту; мелькомъ г. Черняевъ останавливаетъ вниманіе свое и на Полевомъ [2]), дѣлаетъ нѣкоторыя любопытныя сопоставленія, но проходитъ мимо, не сдѣлавъ никакого категорическаго заключенія. Конечно, пока не произведенъ обстоятельный сравнительный анализъ содержанія и стиля обоихъ сочиненій, вопросъ, до нѣкоторой степени, является открытымъ, но и сдѣланныя г. Черняевымъ сопоставленія указываютъ, на мой взглядъ, каковы должны быть результаты сближенія этихъ двухъ произведеній.

Но если можно считать до нѣкотой степени рѣ-

---

[1]) *Н. И. Черняевъ*, «Критическія статьи и замѣтки о Пушкинѣ», Харьковъ. 1900.

[2]) «Такія же сближенія, какія сдѣлалъ Страховъ между параллельными мѣстами «Исторіи села Горохина» и «Исторіей» Карамзина можно сдѣлать между «Исторіей села Горохина» и *любымъ сочиненіемъ* по русской исторіи. Возьмемъ, *напримѣръ*, «Исторію русскаго народа» Полевого (стр. 521).

шеннымъ вопросъ, на кого мѣтила «пародія» Пушкина, тѣмъ не менѣе, до сихъ поръ нѣтъ отвѣта на вопросъ о томъ, насколько самостоятельна самая «идея» этой пародіи. Нетрудно было вышутить «исторію народа» въ такой-же, но только «каррикатурной исторіи»,—но сжать «исторію *государства*» въ «исторію *села*»—это, съ художественной точки зрѣнія, замыселъ, болѣе сложный, — его объяснить однимъ желаніемъ высмѣять Полевого нельзя.

Въ самомъ дѣлѣ, такое произведеніе, какъ «Исторія села Горохина», заключаетъ въ себѣ, въ сущности, два предмета осмѣянія: 1) пріемы писателей-историковъ, 2) предметъ ихъ изслѣдованія—ничтожный, не заслуживающій вниманія. Такимъ образомъ, заразъ осмѣивается пошлость историографа и пошлость изображенной жизни.

Едва-ли Пушкинъ сознательно желалъ въ своемъ произведеніи высмѣять Россію, между тѣмъ, онъ сдѣлалъ это. Очевидно, для объясненія такой странности мало одного сближенія съ Полевымъ,—нужно искать еще какихъ-нибудь литературныхъ фактовъ.

Мнѣ кажется, что изъ недоумѣнія насъ выводитъ одна любопытная работа извѣстнаго нѣмецкаго сатирика Рабенера, переведенная на русскій языкъ подъ названіемъ: «*Сокращеніе, учиненное изъ лѣтописи деревни Кверлекичъ*» и изданная въ С.-Пб. въ 1764.

Это—остроумная сатира, художественнымъ замысломъ и, главное, тономъ совершенно напоминающая «Исторію (или лѣтопись) села Горохина». Въ XVIII-мъ вѣкѣ сочиненіе это въ русскомъ переводѣ выдержало нѣсколько изданій (отдѣльно и въ собра-

ніи сочиненій Рабенера), часто попадается въ разныхъ каталогахъ,—словомъ, въ свое время было достаточно популярно въ Россіи. У меня нѣтъ данныхъ утверждать, что эта сатира была извѣстна великому поэту [1]), но, при любви его рыться въ старыхъ книгахъ, она могла попасть ему въ руки и возбудить его интересъ, а, главное, слишкомъ ужъ сходно содержаніе произведеній Рабенера и Пушкина, чтобы можно было упорно отрицать всякую связь между ними. Только салтыковская «Исторія одного города» примыкаетъ къ этимъ двумъ произведеніямъ — до такой степени они одиноки, по своему типу, среди массы произведеній всемірной литературы.

Во всякомъ случаѣ, сопоставленіе пушкинскаго произведенія съ сатирой Рабенера очень любопытно; привожу подробный пересказъ этой сатиры въ русскомъ ея переводѣ.

Сначала авторъ разсказываетъ, какъ онъ отыскалъ эту курьезную «лѣтопись», и что̀ въ ней оказалось.

Начинается она съ обращенія къ «благосклонному читателю», при чемъ разсказано, откуда добыта лѣтопись (3).

«О сочинителѣ сей лѣтописи, такъ же и о томъ, когда оная въ свѣтъ издана, заподлинно донесть я не могу. На первой страницѣ оной, вмѣсто надписи, поставлена литера N,—конечно для того, чтобы возбудить въ чататели любопытство и охоту къ исканію имени сочинителева. Но я, не прилагая на то ни малаго труда, догадываюсь, что написалъ ее деревенскій пасторъ» (4).

«Когда же сей Авторъ жилъ и историческія приключенія собиралъ,

[1]) Быть можетъ, составъ пушкинской библіотеки (особенно изъ с. Болдина) поможетъ намъ въ этомъ отношеніи.

оное столько же, сколько и имя его сумнительно, а по догадкамъ кажется мнѣ, что сіе происходило вскорѣ послѣ смерти Канцлера Крела» (4).

«...она весьма пространна, а писана въ листъ въ четыре алфавита, къ тому же мелкимъ и связнымъ письмомъ» (4).

Посвящена «Лѣтопись» «тестю сочинителя и куму Юрію Клюкеру, Бургомистру Меранскому и тамошняго почтеннаго сапожнаго цѣха Алдерману» (7).

«Авторъ равняетъ мѣстечко Меране съ древнимъ Римомъ, а любезнаго своего тестя съ Цицерономъ»,—ибо, де, и онъ, какъ Цицеронъ, вреднаго городу Риму сластолюбиваго Катилину изъ онаго выгналъ, избавилъ городъ Меране отъ надменнаго городского писаря» (8).

«Отъ 9 до 12 страницы показываетъ порядокъ предпріемлемыхъ трудовъ своихъ; на 13 происходящую отъ оныхъ пользу; отъ 15 до 19 страницы изъясняется на шести листахъ, что за многотрудною своею должностью, сію припись окончать былъ принужденъ. За симъ слѣдуетъ на 20 и 21 страницахъ крайнее желаніе о продолженіи лѣтъ любезному своему куму, на 22 стр. находятся слѣдующія слова: «Должная безъ ласкательства въ честь господину сочинителю лѣтописи Кверлеквической, и на память ему отъ ниже именованныхъ ученыхъ людей возстановленная похвала». Но сочинитель нашъ, какъ видно, не дождавшись сихъ ученыхъ похвалъ, умеръ, ибо до самой сороковой страницы находятся одни бѣлые листы». (9).

«Съ сорокового листа начинается самая лѣтопись большими словами: «Богъ создалъ свѣтъ, а потомъ мущину и женщину». Тѣмъ кончается сія матерія, а сочинитель удивляется; сколь то чудно есть, что чрезъ столь многіе вѣки всѣ мѣста земныя родомъ человѣческимъ наполнились, такъ что нынѣ, говоритъ онъ, въ одной деревнѣ Кверлеквиче уже восемьдесятъ девять разумныхъ душъ находятся» (9).

«На 46 стр. вздумалось ему добираться, въ какомъ бы состояніи деревня Кверлеквичъ за тысячу лѣтъ до сего находилась, о чемъ заключилъ онъ, что въ тогдашнее время мѣсто сіе совсѣмъ было пусто, а тутъ, гдѣ построенъ въ киркѣ Канцель—птица Выпъ крикивала. Потомъ, истощая все свое знаніе, разсказываетъ о нѣкоемъ Херускомъ князѣ, Арминіи называемомъ. Говоря же о Атилѣ приходитъ въ крайнее изступленіе и удивляется судьбѣ Вандаловъ, изъ холодныхъ восточныхъ мѣстъ въ теплую Италію пришедшихъ» (10).

«На стр. 59 опомнился и извиняется, что писалъ пространно не безъ причинъ, ибо, де, хотѣлъ я доказать, каковы были предки наши. Но, почитая все оное сомнительнымъ, разсудилъ лучше замолчать, не-

жели что-нибудь сомнительное говорить, ибо, де, разумному человѣку безъ ясныхъ доказательствъ ни о чемъ писать не надлежитъ» (10).

«Затѣмъ разсказываетъ о Гусѣ и Гуситахъ». «Тутъ же искренне смѣется простодушію нѣкоего крестьянина..., на мученія сего одушевленнаго мужа, связку дровъ принесшаго» (11).

«На стр. 66 объясняетъ, что такъ долго занимался «предками» въ силу слѣдующаго разсужденія: «для меня, говоритъ онъ довольно и того знанія, что намъ безъ предковъ быть не можно. Ибо, гдѣ есть дѣйствіе, тамъ надлежитъ быть и причинѣ; а понеже я и со всѣми крестьянами деревни Кверлеквичъ есмь дѣйствіе, слѣдовательно должна быть тому и причина, а она заключается въ предкахъ нашихъ, коихъ я выше сего съ столь великимъ трудомъ отыскать старался» (11).

«На стр. 68 благодаритъ Создателя за то, что Тотъ умудрилъ его до того, что помогъ ему выбраться изъ временъ древности во времена историческія» (11).

«Потомъ описываетъ, а притомъ съ довольною ясностью, положеніе мѣста, округа пространство, плетни, рвы и расположеніе улицъ Кверлеквичскихъ» (12).

«На стр. 80 объясняетъ происхожденіе названія Кверлеквичъ изъ Querelarum quies» (12).

«На стр. 81 описываетъ строенія деревни, съ приложеніемъ множества плановъ, коихъ въ мѣсяцъ и охотнику пересмотрѣть будетъ трудно; однакожъ, несмотря на такое пространство, онаго въ порокъ ему ставить не можно, ибо тѣмъ соблюлъ онъ еще и въ нынѣшнія времена отъ таковыхъ же писателей крѣпко наблюдаемое правило» (12).

«Земскую избу, въ кою за вину крестьянъ сажали, почитаетъ также особливаго примѣчанія достойную и называетъ ее «ужасомъ ослушниковъ и храмомъ справедливости» а земскаго—строгимъ оной наблюдателемъ, а при семъ будто бы удобномъ случаѣ показываетъ находящееся между духовнымъ и свѣтскимъ правленіемъ различіе» (13).

«Не умалчиваетъ и о сходной крестьянской избѣ. Объ ней говорилъ онъ не короче, какъ о дворянскомъ домѣ, а о стоящей подъ окномъ ея липѣ, подъ которой крестьяне всегда на сходъ сбирались, безъ радостнаго восхищенія и упомянуть не можетъ. Ибо она дѣлаетъ ему всегдашнее напоминаніе о древнихъ идольскихъ липахъ, подъ которыми встарину и суды производились. Сію матерію распространилъ онъ весьма велерѣчиво, чему я и не удивляюсь; затѣмъ, что въ нынѣшнихъ писателяхъ въ таковыхъ дѣлахъ подобную ему ревность нахожу» (13).

«На стр. 140 слѣдуетъ описаніе о церкви, поповомъ дворѣ и о

школѣ, что онъ, пространно описавши, приложилъ съ оныхъ и рисунки» (13).

«Съ описаніемъ церкви соединяется разсказъ о находкѣ монеты съ неяснымъ изображеніемъ и неточной подписью—и доказываетъ, что сдѣлано Карломъ великимъ на случай крещенія Ветикиндова.—Другіе думали, что это «крышка съ пробки».

«На стр. 203 до 279 стр. находится поколѣнная роспись благородныхъ дворянъ и наслѣдныхъ господъ Кверлеквичскихъ» (15).

«Гансъ-фонъ Н. родился въ 1429 году, жилъ 65 лѣтъ. Объ немъ ничего больше не примѣчается, какъ только то, что былъ чрезвычайно толстобрюхъ» (16).

«Гансъ Урлихъ фонъ N. Сынъ его, имѣлъ гончую собаку и любилъ ее столь сильно, что, при погребеніи оной, далъ священнику больше, нежели на поминовеніе тогда-жъ скончавшагося своего сына: впрочемъ, былъ человѣкъ добрый».

«Георгъ фонъ N. ѣлъ, пилъ, а женатъ былъ на трехъ женахъ, любилъ крестьянъ своихъ; священникамъ же былъ крайній непріятель, а о томъ и слышать не хотѣлъ, чтобъ онъ на катедрѣ говорилъ... Отмѣнилъ дрезній обычай своихъ предковъ, кои ихъ по воскресеньямъ къ столу своему брали,—словомъ, былъ великой Атеистъ, безбожникъ и безсовѣстный человѣкъ. И такъ, какъ жилъ, такъ и умеръ, ибо упалъ съ лошади и сломилъ себѣ шею. — Надъ гробомъ его происходилъ ужасный шумъ, которой и сама попадья собственными своими ушами слыхала» (16).

Со стр. 280-й до 363-й—идетъ перечень церковниковъ и ихъ характеристики.

«Генрихъ Квадъ, честной мужъ, говорилъ еженедѣльно проповѣди и умеръ, оставя трудовъ своихъ книгу, называемую «чистосердечное наставленіе простодушнымъ проповѣдникамъ, какъ имъ на Канцелѣ осанисто говорить надлежитъ» (17).

«Куртъ Гауціусъ, крайній пустосвятъ, блѣднѣлъ всегда, когда что нибудь дурное о Папѣ слыхалъ. Отъ него сдѣлалось пятьдесятъ шесть человѣкъ раскольниковъ; бранился всегда съ помѣщикомъ и крестьянами за построеніе поповской конюшни; (опившись пива), умеръ» (17).

Изъ учителей школы выдѣленъ особенно одинъ Галвейтъ, которому авторъ лѣтописи присоединяетъ эпитетъ «Великій» за то, что онъ обладалъ цѣлымъ рядомъ добродѣтелей и обучалъ дѣтей «чисто читать и писать, церковь содержалъ въ чистотѣ, изрядно въ колокола звонилъ, охотно пѣлъ».

Изъ ученыхъ лицъ, происшедшихъ изъ села Кверлеквичъ: «Слав-

нѣйшіе суть слѣдующіе: Юрья Грейфъ—крестьянскій сынъ, учился правамъ и былъ стряпчимъ въ пригородкѣ недалеко отъ Магдебурга. Особыя примѣты этого стряпчаго: длинные пальцы и такая толстая кожа на лицѣ, которая не пропускала краски стыда» (19).

Балтазаръ Вурцель—лекарь, изобрѣтатель разныхъ панацей.

Мартинъ Пинзель. Мать его, будучи имъ чревата, обѣщалась, когда дастъ ей Богъ сына, поставить его священникомъ. Необыкновенная тупость головы, косноязычіе и отсутствіе памяти, къ тому же призваніе къ кузнечному ремеслу,—все это мѣшало бѣдному Пинзелю выполнить обѣтъ матери. Но, наконецъ, мать до тѣхъ поръ его била, пока не позналъ онъ точнаго своего званія и не сдѣлался учителемъ богословія. (19).

Было нѣсколько поэтовъ: «Илья Папъ, изрядной пѣвецъ и смѣшной человѣкъ, ходилъ на весьма высокихъ каблукахъ...; умеръ чиріемъ, оставя по себѣ трагедію: «Слѣпая старость, или Товій» (20).

«Захарій Папъ, братъ его, такой-же, однакожъ отъ онаго отмѣнной краснопѣвецъ».—Былъ большой щеголь: «фуфайку носилъ съ хрустальными разноцвѣтными пуговицами», попалъ въ шайку комедіантовъ. «Собраніе стиховъ его напечатано подъ именемъ: «Собачьи бѣшеные дни»; онъ же написалъ «оду въ честь своей лирѣ» и, читая оную, въ первой разъ отроду засмѣявшись, захохотался до смерти» (20).

«Наконецъ, на 384 стр. описаніе того, сколь часто въ Кверлеквичѣ солдаты постоемъ стояли. Какъ они, къ крайнему всѣхъ прихожанъ соблазну, съ госпожи сей деревни, тайно начальника ихъ посѣщающей, платье сняли; сколь часто крестьяне поносомъ недомогали, какъ нѣкоего конокрада, въ тюрьму посадивши, увѣщевали: такожъ, что въ 1542 году сапожниковъ сынъ въ нужную яму упалъ, однакожъ оттуда безъ всякаго вреда вытащенъ» (21).

Все это «окончаніе лѣтописи» приписано, какъ предполагаетъ авторъ, супругой пастора.

Таково это любопытное произведеніе нѣмецкаго сатирика. Конечно, между «лѣтописью села Горохина» и «лѣтописью деревни Кверлеквичъ» сходства въ содержаніи почти нѣтъ, но за то *художественные замыслы*, лежащіе въ основаніи обоихъ произведеній, тожественны, ихъ художественное воплощеніе — *литературная форма, тонъ*, отношеніе авторовъ къ разсказу

и героямъ—все это совершенно совпадаетъ. Съ одной стороны, совершенная обособленность «Лѣтописи села Горохина» въ ряду всѣхъ твореній не только Пушкина (*единственное* сатирическое произведеніе), но и другихъ *русскихъ* произведеній, болѣе раннихъ и современныхъ Пушкину, заставляетъ усумниться въ *оригинальности* замысла и формы этой единственной пушкинской сатиры. Съ другой стороны, исключительность этой литературной формы (осмѣяніе «исторіи *народа*» въ исторіи *деревни*)—формы, найденной Рабенеромъ, популярность его творенія у насъ въ XVIII в.—заставляетъ рѣшительно сближать повѣсть Пушкина съ указанной сатирой.

Припомнимъ, въ заключеніе, слова поэта о томъ, что старыя запыленныя дѣдовскія книги его интересовали и даже затрагивали его творчество: «Умный человѣкъ, говорилъ Пушкинъ устами одного своего героя, могъ-бы взять здѣсь готовые характеры, исправить слогъ и безсмыслицы, дополнить недомолвки—и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П*. *Пусть онъ по старой канвѣ вышьетъ новые узоры*» [1]).

[1]) Соч. IV, 353.

«Ей рано нравились романы, —
Они ей замѣняли все...
(Соч. III, „Евгеній Онѣгинъ“).

«Что жъ онъ? Ужели подражанье?
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?
Ужъ не пародія-ли онъ?
(Соч. III, „Евгеній Онѣгинъ“).

«Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ!
(Соч. III, „Евгеній Онѣгинъ“).

Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій.

(Къ литературной исторіи пушкинскихъ «типовъ»).

«Литературнымъ типомъ» называется воплощеніе такого художественнаго образа, который создался въ творческомъ воображеніи писателя изъ соединенія однородныхъ чертъ, собранныхъ послѣ наблюденія цѣлаго ряда дѣйствительныхъ людей, близкихъ по духу одинъ къ другому. Такимъ образомъ, созданіе художественнаго литературнаго типа начинается работою *аналитической*, выражающейся въ томъ, что писатель хаотическую массу явленій, несущихся мимо него, дѣлитъ на разнородныя явленія по различію какихъ-нибудь основныхъ чертъ; затѣмъ начинается работа *синтетическая:* писатель собираетъ однородныя явленія въ группы и изъ массы образовъ, въ общемъ сходныхъ, создаетъ одинъ, объединяющій всѣ [1]). Совершенно аналогичнымъ путемъ получается въ фотографіи «коллективный типъ»: снимокъ за

[1]) Разумѣется, оба эти процесса — 1) никогда не совершаются съ безусловной механическою правильностью: въ зависимости отъ индивидуальности писателя и отъ различныхъ постороннихъ условій возможны различныя небольшія отклоненія,—и 2) чаще всего, вся эта черновая работа художника производится имъ безсознательно.

снимкомъ ложится на одинъ и тотъ же негативъ,—и, въ концѣ-концовъ, получается образъ, правда, неясно очерченный, но типичный, характерный... Конечно, какъ художникъ-живописецъ не помѣститъ такого «коллективнаго образа» на своей картинѣ,—такъ и художникъ-писатель не удовольствуется имъ: для обоихъ нужна жизнь, нужна краска, а не схема [1]),—вотъ, почему, чтобы оживить этотъ «коллективный» типъ, какъ живописцу, такъ и художнику-писателю нуженъ подходящій «натурщикъ». Иногда такого натурщика писатель-художникъ находитъ среди дѣйствительныхъ людей, своихъ современниковъ (напримѣръ, Тургеневъ—для Базарова; несомнѣнно, Гоголь—для героевъ «Мертвыхъ Душъ»); иногда художественному воплощенію абстрактнаго типа поможетъ типичный герой литературнаго произведенія (такими образцами въ европейской литературѣ были, напримѣръ, Чайльдъ-Гарольдъ, Донъ-Жуанъ и др.),—или, наконецъ, писатель въ самомъ себѣ находитъ «натурщика», годнаго для своихъ цѣлей (такимъ «натурщикомъ» былъ для Вертера самъ Гете; Лермонтовъ—для Печорина) [2]).

---

[1]) Впрочемъ, въ псевдоклассической литературѣ XVII — XVIII вв. такія «типы-схемы» были въ большомъ ходу: всѣ добродѣтельные герои, злодѣи, любовники etc.—все это—отвлеченные образы, вѣрные съ психологической точки зрѣнія, но уже неудовлетворяющіе читателя XIX столѣтія, избалованнаго литературнымъ реализмомъ.

[2]) Работа съ «натурщикомъ», завершающая *аналитическую* и *синтетическую*, необходима только для писателя-художника, изображающаго современную ему жизнь въ ея типичныхъ представителяхъ,—для изображенія же какого-нибудь «историческаго» лица, или типа, воплощающаго какую-нибудь «общечеловѣческую», или «философскую» идею, процессъ творчества, конечно, измѣнится кореннымъ образомъ.

Мелкіе писатели почти всегда довольствуются однимъ «натурщикомъ»,—но зато дѣятельность ихъ часто и сравниваютъ съ работою фотографа: до художественнаго «творчества» они возвышаются рѣдко, и герои ихъ не «типы», а скорѣе, болѣе или менѣе, удачные портреты...

Обращаясь послѣ этого небольшого вступленія къ героямъ Пушкина—Татьянѣ, Онѣгину и Ленскому, я постараюсь прослѣдить процессъ творческой работы нашего великаго поэта надъ воплощеніемъ этихъ «типовъ». Такимъ образомъ, задачи, которыя предстоятъ нашему разрѣшенію, слѣдующія:

1) Доказать, что эти герои—«типы», т. е., что они отвѣчаютъ не единичнымъ фактамъ русской жизни, а цѣлому ряду явленій одного порядка [1]).

2) Доказать, что «коллективный типъ», соотвѣтствующій каждому изъ этихъ героевъ, нашелъ у Пушкина воплощеніе при помощи тѣхъ «натурщиковъ», о которыхъ мы говорили выше.

---

[1]) Такъ какъ «типъ» соотвѣтствуетъ цѣлому ряду личностей одного характера, а *массовое* появленіе однородныхъ личностей есть уже *явленіе общественное*, подчиненное историческимъ законамъ, то, разумѣется, исторія такого «типа» въ литературѣ переживаетъ такую же эволюцію, какъ и соотвѣтствующіе ему «типы» въ жизни: сперва и тѣ и другіе намѣчаются слабо, неясно; потомъ, съ теченіемъ времени, они проясняются все отчетливѣе, выдѣляются все рельефнѣе, рѣзче, принимаютъ своеобразное освѣщеніе, соотвѣтствующее интересамъ времени. Рядъ человѣческихъ поколѣній иногда трудится надъ выработкой одного культурнаго типа, — рядъ писателей, одинъ за другимъ, по преемству, работаютъ надъ художественной вырисовкой одного «литературнаго» типа.

Татьяна.

Поэтическій образъ героини Пушкина, несомнѣнно, расцвѣлъ на русской почвѣ; онъ—блестящее, «типическое» завершеніе цѣлаго ряда задумчивыхъ женскихъ образовъ, мелькающихъ въ русской жизни въ теченіе цѣлаго полувѣка. Типъ такой дѣвушки-мечтательницы, живущей въ мірѣ идеальныхъ грезъ, далекихъ отъ будничной жизни, сталъ складываться у насъ съ тѣхъ поръ, какъ въ особый почетъ вошли у насъ «романы»...

Этотъ литературный жанръ съ середины XVIII вѣка былъ любимымъ чтеніемъ нашего общества; можно безъ преувеличенія сказать, что нѣсколько поколѣній воспитало свои чувства и мысли, главнымъ образомъ, на романахъ. Чуть не каждое десятилѣтіе приносило новыя произведенія этого вида, съ содержаніемъ, все болѣе усложняющимся: за многотомнымъ романомъ «приключеній», гдѣ страдаютъ и торжествуютъ добродѣтельные герои и героини, гонимыя злымъ рокомъ,—идутъ романы «психологическіе», интересъ которыхъ отъ фабулы переносится на душу героя, а герои и героини уже начинаютъ пріобрѣтать плоть и кровь. За этими произведеніями, въ которыхъ однако реальность иногда совсѣмъ затемнялась дидактизмомъ, на сцену появляется сентиментальная повѣсть, произведеніе, проникнутое живымъ чувствомъ, сердечнымъ идеализмомъ и проповѣдью гуманности; наконецъ, увлекаютъ русскаго читателя произведенія «идейныя», въ родѣ «Вертера»,

«Коринны» и «Дельфины»... Такимъ образомъ, рядомъ съ поколѣніями читателей, проходятъ передъ нашими глазами поколѣнія романтическихъ героевъ: за призрачными, безплотными Селимами, Мирамондами идутъ Ловласы, Грандисоны, Эрасты, за ними— уже рѣзче очерченые Вертеры, Рене и другіе подобные герои, которые переходятъ за рубежъ XVIII вѣка и теряются въ толпѣ правдивыхъ, живыхъ образовъ новѣйшей реалистической литературы... Совершенно то же происходитъ и съ героинями романовъ: за Даирой и Дамасиной, идетъ уже довольно вѣрно обрисованная Кларисса, Памела, Лиза; за ними еще рельефнѣе выдвигается какая-нибудь Дельфина, Коринна, уже носительницы общественныхъ идей...

Вся эта живая струя романической литературы, мѣняющая свой характеръ съ каждымъ новымъ десятилѣтіемъ, обращается, подъ конецъ, въ потокъ, который неудержимо стремится въ русскую жизнь и захватываетъ ее въ своемъ стремленіи. Немудрено, что герои этой литературы были хорошо знакомы всей читающей публикѣ, были общими любимцами и учителями. Оттого тогдашніе присяжные чтецы романовъ жили въ какомъ-то своеобразномъ мірѣ,— вездѣ мерещились имъ «интересные» герои, одаренные особенно высокими качествами души, далекіе отъ жизни, окруженные какимъ-то ореоломъ. Обыкновенный «гвардіи сержантъ» казался романически-настроенной дѣвицы «Грандисономъ», а нашъ общій знакомецъ П. И. Чичиковъ, неосторожно заѣхавшій къ Коробочкѣ, представился губернскимъ дамамъ, не болѣе не менѣе, какъ «Ринальдо-Ринальдини»...

Немудрено, что всѣ эти романическіе герои не только увлекали, но и учили русскаго читателя жизни, еще самъ Пушкинъ признался, что—

«Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь, или Шатобріанъ:
Мы жизнь спѣшимъ узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ романѣ...

Оттого-то героями романовъ русскіе модники наряжались не только въ маскарадахъ, но и въ самой жизни нерѣдко щеголяли въ «гарольдовыхъ плащахъ».

Справедливость нашихъ словъ доказать нетрудно: записки и мемуары XVIII—XIX вѣка помогутъ намъ въ этомъ отношеніи. Не только женщины, но и мужчины зачитывались романами до самозабвенія, жили ими, говорили и чувствовали то, что̀ въ нихъ вычитывали [1]). Изъ массы свидѣтельствъ, подтверждающихъ наши слова, остановимся пока на тѣхъ

[1]) См. подробнѣе объ этомъ въ нашей работѣ: Н. М. Карамзинъ, авторъ «Писемъ русскаго путешественника», стр. 7—10. О значеніи романа въ исторіи развитія русскаго общества; см. еще у *Ключевскаго*: «Воспоминанія о Новиковѣ», «Р. М.», 1895, № 1, 40—1; *Бѣлозерской*: «Вліяніе переводнаго романа и зап. цивилизаціи на русское общество XVIII вѣка», «Р. Стар.» 1895, № 1; ея же: «В. Н. Нарѣжный»; *Щепкиной*: «Популярная литература въ срединѣ XVIII в., «Журн. мин. нар. просв.», 1886, CCXLIV. Насколько хорошо были знакомы русской публикѣ временъ Пушкина романы, видно, хотя-бы, изъ того, что Пушкинъ часто пользуется именами популярныхъ героевъ этой литературы для характеристики дѣйствующихъ лицъ въ своихъ произведеніяхъ. Напр., словами: «Фобласа давній ученикъ»—онъ рисовалъ образъ, для всѣхъ своихъ современниковъ понятный: указаніемъ на то, что Татьяна вообразила себя «Клариссой, Юліей, Дельфиной»—тоже было сказано очень многое для людей 20-хъ годовъ. Имена этихъ «героевъ» и «героинь» часто употребляются у него просто въ видѣ именъ нарицательныхъ.

женскихъ образахъ, которые связаны духовнымъ родствомъ съ пушкинской Татьяной...

Вотъ, передъ нами, напримѣръ, мать Карамзина, молодая женщина, которая, оказывается, до того привязана къ романамъ, что «не выпускаетъ ихъ изъ рукъ» [1]); изъ романовъ у нея составляется даже цѣлая библіотека [2]): «Даира, восточная повѣсть», «Селимъ и Дамасина», «Мирамондъ», «Исторія лорда N.», — вотъ, произведенія, которыя увлекали молодую женщину [3]) въ чудесный міръ сказочныхъ добродѣтельныхъ героевъ. Своею будничною жизнью она не удовлетворена,—немудрено, что, какъ Татьяна, она томится, «не нуждается въ обществѣ» [4]) и цѣлые дни просиживаетъ «въ глубокой задумчивости» [5]), выработавъ въ себѣ «удивительную склонность къ меланхоліи» [6]).

Кромѣ этого яркаго образа, мелькаетъ много другихъ, менѣе ясныхъ, въ родѣ, напримѣръ, сестры Второва, дѣвушки, принадлежащей къ этому же новому типу русскихъ женщинъ, увлекавшихся литературой, главнымъ образомъ, конечно, романами [7]).

Вотъ — мать С. Аксакова, большая охотница до книгъ и стиховъ, литературно образованная и вліяющая, въ этомъ отношеніи, на окружающихъ [8]); вотъ, напримѣръ, Е. А. Протасова, игравшая, какъ извѣстно, большую роль въ жизни Жуковскаго: у нея, оказывается, «въ Сибири было одно чтеніе: «La Nouvelle Héloise», которую она знала почти наизусть,

---

[1]) *Карамзинъ*, Соч., III, 254. [2]) Тамъ же, 253. [3]) Тамъ же, 255. [4]) Тамъ же, 242. [5]) Тамъ же. [6]) Тамъ же. [7]) «Русскій Вѣстникъ», 1875, № 4, 503. [8]) *С. Аксаковъ*, Соч., I, 218, 267 и др.

и кромѣ того, сентиментальная книга о воспитаніи: «Adèle et Thèodore» [1]).

Родная сестра Пушкина также была любительницей подобнаго чтенія.

«Любезная сестра!—обращается къ ней еще въ 1814 году нашъ поэтъ:

«Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь?
Жанлисъ ли предъ тобой?» [2]).

Остановимъ еще наше вниманіе на дочери Карамзина, Пушкину хорошо знакомой: она—очень хорошій образчикъ русской любительницы романовъ,—это мы видимъ изъ записокъ Смирновой, гдѣ разсказанъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ: въ обществѣ однажды шла рѣчь о какомъ-то житейскомъ случаѣ—«Sophie, проводящая жизнь въ поглощеніи англійскихъ романовъ, сказала: «это совсѣмъ то же положеніе, когда Артуръ пришелъ къ Мэри». Мы удивленно раскрыли глаза, а Полетика спросилъ ее: «какой Артуръ, какая Мэри?»... Лерма расхохотался: «ахъ, да это романъ въ 15-ти частяхъ, m-lle Sophie увлекается имъ въ настоящее время. Онъ длиннѣе и болѣе раздирателенъ, чѣмъ Клариса Гарловъ». Sophie такъ живетъ въ своихъ англійскихъ романахъ, что беретъ даже изъ нихъ всевозможныя прозвища своимъ знакомымъ» [3]).

---

[1]) *Зейдлицъ*, «В. А. Жуковскій», 13. [2]) Пушкинъ, Соч., I, 6; еще о ней см. *Павлищева*: «Воспомин. о Пушкинѣ», 18. Любопытны ея стихи (Тамъ же 28—9). [3]) Записки *Смирновой*, II, 34—5; еще: I, 30, 130 и др.

Въ результатѣ подобнаго отношенія къ книгѣ въ русской жизни создавались такія личности, которыя жили по «рецептамъ», извлеченнымъ изъ прочтенныхъ романовъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Въ запискахъ Вигеля мы встрѣчаемъ нѣсколько такихъ образовъ. Дѣвица Ступишина, напримѣръ, совсѣмъ годится въ героини любого изъ модныхъ тогда романовъ: она «отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки», по-французски объяснялась прекрасно, много читала романовъ и чуждалась общества подругъ (ср. Татьяну); отличалась «чувствительностью, нѣжностью». Но пусть самъ Вигель разскажетъ намъ дальше о ней... «Дѣвочкѣ, восторженной отъ чтенія романовъ, довольно пріятно, въ тиши уединенія, на яву длить собственный романъ»,—началась переписка на французскомъ языкѣ. «Когда случилось мнѣ послѣ читать эти посланія молодой Ступишиной, то мнѣ казалось, что страсть и искусство выражать ее далѣе идти не могутъ; но еще позднѣе, когда я болѣе начитался романовъ, нашелъ въ нихъ цѣлыя страницы, уже мною читанныя» [1]). Вотъ еще дѣвица Копіева, созданіе не отъ міра сего, мечтательница, которой пришлось выстрадать несчастную любовь: «она была тиха, скромна. Чтеніе французскихъ романовъ пуще воспламенило ея воображеніе...» Любовной страсти она «вся предалась»,—но не суждено было ей узнать радости любви,—она «прилѣпилась къ призраку», «...тѣшилась въ мечтахъ» [2]). Особенно поучительны въ этомъ

[1]) *Вигель*, «Воспоминанія», II, 80. (Изд. Бартенева). [2]) Тамъ же, IV, 13.

отношеніи записки Второва: самъ авторъ и женщины, его любившія, очень удачно и, повидимому, вполнѣ чистосердечно разыгрывали сцены изъ романовъ: тугъ и вѣчныя клятвы [1]), и питье крови другъ у друга [2]), и страстныя посланія, написанныя въ духѣ писемъ S.-Preux и Julie [3]), и слезами размытыя строки [4]), и, въ концѣ концовъ, монастырь,—могила несчастной любви... Пошлыя, на нашъ взглядъ, фразы, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей: «смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына»,—фразы, которою отецъ С. Аксакова запугалъ родителей,—вычитывались изъ романовъ [5]), но трогали въ свое время вполнѣ искренно и вѣрно передавали тѣ своеобразныя, приподнятыя чувства, которыя жили въ груди читателей тогдашнихъ романовъ. И самоубійства отъ любви, и монастыри, и страстныя переписки были тогда въ ходу и погубили, вѣроятно, немало молодыхъ жизней,—недаромъ «романы» даже попадаютъ въ завѣщанія: умирающая мать проситъ свою дочь не читать безъ разбору романовъ [6])!.. Вѣроятно, это чтеніе считалось тогда страшной культурной силой, если несчастная женщина такъ боялась его...

Вотъ почему, почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ Пушкинъ брался за изображе-

---

[1]) «Русск. Вѣстн.», 1875, № 6, 470. [2]) Тамъ же, [3]) Тамъ же, 471—2, 473—4, 476 и др. [4]) Второвъ «сжегъ всѣ письма К., вырѣзалъ только тѣ мѣста, которыя были залиты слезами»... (Тамъ же, 471). «Изъ этихъ вырѣзанныхъ лоскутковъ, омоченныхъ слезами бѣдной женщины, теперь ничего нельзя понять! только изъ одной сохранившейся приписки къ какимъ-то «стихамъ на разлуку» видно желаніе ея идти въ монастырь». (Тамъ же, 471). [5]) *С. Аксаковъ*, Соч., I, 86. [6]) «Русск. Вѣстн.», 1875, № 8, 590.

ніе современной ему жизни, онъ вѣчно сталкивался съ героями и героинями, воспитанными на романахъ... Такъ, напримѣръ, Сильвіо («Выстрѣлъ»), зачитывается романами [1]). Марья Гавриловна («Мятель»), «была воспитана на французскихъ романахъ и, слѣдственно, влюблена» [2]). Лиза («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ») читаетъ романы и воображаетъ себя Клариссой Гарловъ [3]). Маша Троекурова («Дубровскій»), «перерывъ сочиненія всякаго рода въ отцовской библіотекѣ, остановилась на романахъ» [4]); она «напитана таинственными ужасами Радклифа» [5]). Лиза («Пиковая дама») увлекается Германомъ послѣ разговора съ Томскимъ, который Германа представилъ ей романическимъ героемъ [6]); Владиміръ («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ») зачитывается романами [7]), то же и Алексѣй [8]) («Барышня-Крестьянка»); Полина («Рославлевъ») перечла всѣ романы: Руссо знала наизусть [9]); Маша «воспитана на романахъ», которыхъ у нея «цѣлый шкафъ» [10]) («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ»); Вольская («Гости съѣзжались на дачу..») четырнадцати лѣтъ «читала романы и писала любовныя записки» [11]); Валерьянъ («На углу маленькой площади...») читаетъ англійскіе романы [12])...

Какъ мы видѣли уже выше, самъ Пушкинъ признался, что романы учили русскаго человѣка «жизни», подсказывали ему и чувства, и поступки,—оказы-

---

[1]) Соч., IV, 36. [2]) Тамъ же, 47. [3]) Тамъ же, 350—1. [4]) Тамъ же, 143. [5]) Тамъ же, 150. [6]) Тамъ же, 300. [7]) Тамъ же, 353. [8]) Тамъ же, 77. [9]) Тамъ же, 111. [10]) Тамъ же, 350. [11]) Тамъ же, IV, 369. [12]) Тамъ же, 379.

вается, они помогали ему и выяснять состояніе души, и выражать словами чувства. Такъ, Германъ («Пиковая дама») написалъ Лизѣ письмо, которое было «нѣжно, почтительно и, слово въ слово, взято изъ нѣмецкаго романа [1]). Такъ, Бурминъ («Мятель») свое признаніе въ любви сочинилъ при помощи Руссо, можетъ быть, самъ того не замѣчая: «Я васъ люблю,—сказалъ Бурминъ,—я васъ люблю страстно. Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо S.-Preux)» [2]).

Изъ всего сказаннаго нетрудно сдѣлать два заключенія: 1) что и до Пушкина, и особенно при немъ, въ русской жизни часто встрѣчались люди, пропитавшіеся романами до такой степени, что ихъ внутренняя жизнь часто была повтореніемъ жизни книжныхъ героевъ, и—2) литературныя попытки Пушкина воспроизвести современныхъ ему людей доказываютъ, что нашъ писатель прекрасно замѣтилъ, какое значеніе въ русской жизни имѣли романы.

Обращаясь теперь къ интересующей насъ Татьянѣ, мы встрѣчаемъ въ ней повтореніе всего того, что неразъ попадалось намъ при встрѣчѣ съ аналогичными типами. Какъ большинство любительницъ такого чтенія, которое отвлекаетъ отъ будничной жизни въ волшебный міръ неземныхъ, добродѣтельныхъ героевъ, Татьяна «дика, печальна, молчалива» [3]), чуждается непосредственнаго живого веселья [4]), одиноко мечтаетъ [5]), не спитъ по ночамъ [6])...

[1]) Тамъ же, 294. [2]) Тамъ же, 54. [3]) Соч., III, 273. [4]) Тамъ же, 274. [5]) Тамъ же. [6]) Тамъ же, 275.

«Ей рано нравились романы;
Они ей замѣняли все;
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо...» [1])

Немудрено, что она ждала «героя» очень давно:

«Давно ея воображенье,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Тѣснило ей младую грудь;
Душа ждала кого-нибудь...» [2]).

Является Онѣгинъ... Въ однообразной толпѣ дикарей-помѣщиковъ и пошленькихъ армейскихъ офицериковъ онъ слишкомъ оригинальное лицо, чтобы пройти незамѣченнымъ Татьяною,—вотъ почему она сразу и легко побѣждена:

«...открылись очи,
Она сказала: это *онъ!* [3]).

Что же дѣлаетъ героиня, найдя своего героя?.. Она, прежде всего, бросается къ своимъ *романамъ:* она перечитываетъ давно-знакомыя произведенія, она опять бесѣдуетъ съ любимыми героями:

«*Теперь* съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,—
. . . . . .

[1]) Тамъ же. [2]) Тамъ же, 283. [3]) Тамъ же, III, 283.

Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились... [1]).

Итакъ, въ немъ Татьяна соединила всѣ черты книжныхъ героевъ: въ немъ полюбила мечтательная дѣвушка идеальный образъ, созданный ею самой.

Мало того, она идеализировала и себя:

«Воображаясь героиней
Своихъ излюбленныхъ творцовъ,
Клариссой, Юліей, Дельфиной [2]),

—она бродила по лѣсу, вооруженная *книгою,* въ которой—

«*...ищетъ и находитъ*
Свой тайный жаръ, свои мечты» [3]),

Слѣдовательно, и ей, какъ тысячамъ другихъ дѣвушекъ, романъ уясняетъ ея чувства, разжигаетъ ихъ, наконецъ, учитъ найти для нихъ выраженіе:

«*...себѣ присвоя*
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя [4]).

Этими словами самъ Пушкинъ призналъ, что письмо Татьяны заимствовано ею все изъ тѣхъ же романовъ,—пріемъ, какъ мы видѣли выше, часто практиковавшійся въ жизни. Перечитаемъ письмо Татьяны,— и мы безъ труда поймемъ, что «эта нѣжность и словъ любезная небрежность» [5]), этотъ «умильный вздоръ, безумный сердца разговоръ и

[1]) Тамъ же, 284. [2]) Соч. III, 284. [3]) Тамъ же, [4]) Тамъ же, 285. [5]) Тамъ же, 294.

увлекательный и нѣжный» [1]),—все это—присвоеніе «чужого восторга», «чужой грусти», что все это взято Татьяною изъ книги, т. е., есть—или простое заимствованіе Пушкинымъ изъ романа, или имитація, болѣе или менѣе, удачная, опять-таки роману.

Гдѣ-же намъ искать образецъ для письма Татьяны?

Пушкинъ выводитъ насъ изъ недоумѣнія указаніемъ, что его героиня «воображала себя»—«*Клариссой, Юліей и Дельфиной*»... Будемъ-же искать у этихъ трехъ общеизвѣстныхъ героинь что-нибудь похожее на письмо Татьяны... Нетрудно сразу опредѣлить, что Юлія Руссо больше двухъ другихъ была виновна въ письмѣ героини Пушкина...

Мы это утверждаемъ потому, что романъ Руссо «Новая Элоиза», лучшая часть котораго состоитъ, главнымъ образомъ, изъ любовныхъ писемъ С-Прё и Юліи, былъ такимъ восторженнымъ «гимномъ любви», что вся литературная Европа признала Руссо, по преимуществу, «поэтомъ любви»; и онъ оставался таковымъ очень долго, т. к. въ произведеніяхъ его многочисленныхъ учениковъ любовь является подчиненной другимъ идеямъ, отойдя вслѣдствіе этого на второй планъ (Гете—«Вертеръ», Шатобріанъ—«Рене», Сталь — «Дельфина»). Такимъ образомъ, «наукѣ страсти нѣжной» еще въ началѣ XIX столѣтія лучше всего училъ всетаки неувядаемый Руссо [2]). И мы видѣли выше, что этотъ писатель имѣлъ большое значеніе и для Второва, и для Е. А. Протасовой, и для сестры Пушкина, и, что особенно важно—*для нѣкоторыхъ героевъ Пушкина:* оказывается, Полина

[1]) Тамъ же. [2]) Ср. напр. *Байрона*, Соч. I, 244. (Изд. 1874 г.).

знаетъ Руссо наизусть [1]); прекрасно знаетъ его и Марья Гавриловна [2]); Бурминъ въ своемъ любовномъ объясненіи говоритъ языкомъ «перваго письма С.-Прё [3])... Кромѣ того, сблизилъ я Руссо съ Пушкинымъ и потому, что французскій писатель былъ прекрасно знакомъ нашему поэту: въ стихотвореніи «Городокъ» Руссо поставленъ имъ въ ряду любимыхъ писателей [4]); изъ посланія «Къ сестрѣ» видно, что Руссо хорошо былъ знакомъ Пушкину еще въ 1814 году [5]). Насколько хорошо помнилъ нашъ поэтъ письма героевъ «Новой Элоизы», видно изъ вышеприведеннаго факта, какъ, даже въ 30-мъ году, изобличилъ онъ одного своего героя (Бурмина) въ заимствованіи у Руссо [6])...

Приведемъ нѣсколько сопоставленій изъ письма Татьяны и писемъ Юліи, особенно перваго, въ которомъ та открываетъ С.-Прё долго скрываемую любовь:

«Я вамъ пишу—чего-же болѣ?
Что я могу еще сказать»? [7])—

«Что́ я могу сказать» — пишетъ Юлія: «какъ

---

[1]) Соч. IV, 111. [2]) Тамъ же, 54. [3]) Тамъ же. [4]) Тамъ же, 44 [5]) Тамъ же, I, 5. [6]) Объ удивительной памяти Пушкина сохранилось нѣсколько свидѣтельствъ его современниковъ: «А. С. П—нъ.. особенно отличался необыкновенной памятью и превосходнымъ знаніемъ французской словесности. Ему стоило прочесть раза два страницу какого-нибудь стихотворенія, и онъ могъ уже повторить оное наизусть безъ всякой ошибки» (*Гротъ*, «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи». Зап. Комовскаго; 250); см. также *Анненкова* «Матеріалы..», 44). Что́ забывалъ П—нъ изъ стихотвореній Жуковскаго, то послѣдній всегда исправлялъ. Такимъ образомъ, лучшіе образы и выраженія Руссо могли на всю жизнь удержаться въ памяти П—на. [7]) Соч., III, 294.

прервать тяжелое молчаніе, да развѣ я уже не сказала вамъ всего (тѣмъ, что написано письмо)? [1])

«Сначала я молчать хотѣла»—[2])

«Сколько разъ клялась я, что эта тайна не выйдетъ изъ моего сердца» [3]).

Татьяна обращается съ мольбой къ Онѣгину:

«Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ...»—[4]).

«Я не могу жить безъ васъ... необходимо, чтобы я васъ видѣла»—пишетъ Юлія» [5])

«Зачѣмъ вы посѣтили насъ?
. . . . . .
Я никогда не знала-бъ васъ,
Не знала-бы горькаго мученья» [6])—

«Не зная себя, я никогда не знала бы невыносимаго контраста между возвышеннымъ настроеніемъ моей души и ничтожностью моей жизни» [7]).

«Была-бы вѣрная супруга
И добродѣтельная мать» [8])—

«Жизнь моя протекла-бы спокойно и счастливо» [9]).

«Нѣтъ никому на свѣтѣ
Не отдала-бы сердца я»! [10])—

«...наши жизни связаны навсегда, и мы можемъ быть счастливы и несчастны только вмѣстѣ» [11]).

«То въ вышнемъ рѣшено совѣтѣ..
То воля неба—я твоя»! [12])—

---

[1]) *Rousseau.* «Julie ou la N. Héloise» partie I, lettre IV, 35. [2]) *Пушкинъ*, 293. [3]) *Rousseau*, 35. [4]) *Пушкинъ*, 294. [5]) *Rousseau*, 53. [6]) *Пушкинъ*, 295, [7]) *Rousseau*, 93. [8]) *Пушкинъ*, 295. [9]) *Rousseau*, 93. [10]) *Пушкинъ*, 295. [11]) *Rousseau*, 54. [12]) *Пушкинъ*, 295.

«...небо глухо къ моимъ мольбамъ: все отдаетъ меня тебѣ!» [1]). «Вѣчный приговоръ неба предназначилъ насъ одинъ для другого»! [2])

«Я знаю: ты мнѣ посланъ Богомъ;
До гроба ты хранитель мой..» [3])

«...я тебя хорошо знаю: ты поддержишь меня въ моихъ слабостяхъ, ты будешь моимъ хранителемъ» [4]).

«Ты чуть вошелъ—я вмигъ узнала,
Вся обомлѣла, запылала,
И въ мысляхъ молвила: «вотъ онъ!» [5])

«Какъ только, къ несчастью, я увидала тебя, я почувствовала ядъ въ моихъ чувствахъ и разсудкѣ... [6]) Чуть я тебя увидала—моя грудь задрожала» [7]).

«Кто ты: мой ангелъ-ли хранитель,
Или коварный искуситель»? [8])

Юлія называетъ С.-Прё—то «коварнымъ человѣкомъ» и «обольстителемъ», — то «единственнымъ защитникомъ», «великодушнымъ...» [9])

« . . . . . судьбу мою
Отнынѣ я тебѣ вручаю» [10]).

«Мою честь я ввѣряю твоей...» [11]).

«Я вамъ подъ защиту отдаю заботу о нашей судьбѣ» [12]).

«Передъ тобою слезы лью» [13])—

«Я обливаю слезами письмо...» [14])

«Твоей защиты умоляю» [15])—

«Я къ тебѣ приношу свои мольбы, спаси меня отъ гибели; ты долженъ быть моимъ единственнымъ защитникомъ...» [16])

---

[1]) *Rousseau*, 36. [2]) Тамъ же, 96. [3]) *Пушкинъ*, 295. [4]) *Rousseau*, 37. [5]) *Пушкинъ*, 295. [6]) *Rousseau*, 36. [7]) Тамъ же, 64. [8]) *Пушкинъ*, 296. [9]) *Rousseau*, 36, 37. [10]) *Пушкинъ*, 296. [11]) *Rousseau*, 37. [12]) Тамъ же, 56. [13]) *Пушкинъ*, 296. [14]) *Rousseau*, 37. [15]) *Пушкинъ*, 295. [16]) *Rousseau*, 37.

«Вообрази: я здѣсь одна» [1])—

«Мать моя слаба; я знаю непреклонную суровость отца; подруга моя уѣхала; брата нѣтъ въ живыхъ...» [2])

«Никто меня не понимаетъ» [3])—

«...они не могутъ понять, что̀ происходитъ» (въ душѣ Юліи) [4]).

«Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна!» [5])—

«...все покидаетъ меня... мои всѣ усилія напрасны... я чувствую, что падаю въ пропасть... [6]).

«Я жду тебя: единымъ взоромъ
Надежды сердца оживи
Иль сонъ тяжелый перерви
Увы, заслуженнымъ укоромъ» [7])—

«...не предоставляйте меня только себѣ; рѣшите мою участь, скажите, какъ вы отнесетесь къ этому»? [8]).

Кромѣ этихъ примѣровъ, заставляющихъ меня указывать на связь романа «Новая Элоиза» съ «Евгеніемъ Онѣгинымъ» [9]), я могу привести еще одно основаніе: нѣкоторыя мѣста изъ письма Татьяны дѣлаются понятными только послѣ сопоставленія ея письма съ письмомъ Юліи... Напримѣръ:

---

1) *Пушкинъ*, 296. 2) *Rousseau*, 36. 3) Тамъ же, 296. 4) *Rousseau*, 36. 5) *Пушкинъ*, 296. 6) *Rousseau*, 36—7. 7) *Пушкинъ*, 296. 8) *Rousseau*, 32. 9) Спѣшу оговориться, что современный читатель можетъ усмотрѣть въ этихъ рѣчахъ С.-Прё и Юліи, Онѣгина и Татьяны немало «общихъ мѣстъ»: иначе говорить любовники и не могли,—вѣдь они говорятъ *общепріятымъ* языкомъ любви. Но если мы станемъ на историческую точку зрѣнія, мы признаемъ, что многое, съ нашей точки зрѣнія, «пошлое», когда-то было «откровеніемъ». Напр. фраза, совершенно банальная, съ современной точки зрѣнія: «я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно»—была въ то время совершенной новостью, пріятно ласкавшей ухо; такою же «новостью» были многіе образы, обороты рѣчи и мысли, взятыя Пушкинымъ у Руссо для письма Татьяны.

«Зачѣмъ вы посѣтили насъ?» — спрашиваетъ съ отчаяньемъ Татьяна:

«Въ *глуши* забытаго селенья
Я никогда не знала бъ *васъ*,
Не знала бъ горькаго мученья».

О какомъ «мученьи» говоритъ Татьяна? Для насъ это дѣлается яснымъ не сразу: нужно возстановить пропущенную Пушкинымъ мысль,—Руссо облегчаетъ этотъ трудъ: «не зная себя, — говоритъ героиня его романа — я никогда не знала-бъ невыносимаго контраста между возвышеннымъ настроеніемъ моей души и ничтожностью моей жизни («grandeur au fond de mon âme et de bassesse dans ma fortune»),—т. е. глубокая тоска потому мучаетъ Юлію, что она, ощутивъ въ душѣ возвышенную страсть, поняла всю пошлость, всю мелочность окружающей ее жизни... Точно такъ же появленіе Онѣгина вноситъ разладъ въ душу Татьяны: она, по ея словамъ, могла бы быть «вѣрною супругою» и «добродѣтельною матерью», еслибы не явился *онъ*, внесшій въ ея жизнь мучительное сознаніе контраста между пошлостью жизни въ провинціальной «глуши» и тѣми чувствами, которыя она сознала съ появленіемъ Онѣгина...

«Твоей защиты умоляю!» — обращается Татьяна довольно неожиданно къ Онѣгину... О какой «защитѣ» идетъ рѣчь, догадаться безъ письма Юліи почти невозможно. Юлія проситъ, чтобы С.-Прё защитилъ ее *отъ себя* («tu dois être mon unique defenseur contre toi»). Это contre toi, пропущенное Пушкинымъ, сразу уясняетъ смыслъ непонятныхъ словъ: Татьяна, вообразивши себя Юліей, рѣшила,

что защитить ее можетъ только благородство ея героя, за собой-же она не признавала никакихъ силъ для борьбы.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что и мысль, и чувства, вложенныя Татьяной въ свое посланіе, очень близки къ тѣмъ, что волновали душу героини Руссо... Думается намъ, что Пушкинъ хотѣлъ подсказать читателю, что чувства Татьяны преувеличены благодаря ея воспитанію, — вотъ почему онъ счелъ нужнымъ разсказать, какъ сочиняла свое письмо его героиня: оказывается, что она, передъ сочиненіемъ письма къ Онѣгину, вооружается романами и въ нихъ:

«. . . ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты
. . . *себѣ присвоя*
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя»...

И, она шептала это письмо «*по-французски*», такъ какъ по-русски плохо знала...

«И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ,
. . . . . .
Донынѣ дамская любовь
Не изъяснялася по-русски» [1]..

И письмо было написано «*по-французски*», какъ говоритъ самъ Пушкинъ, — конечно, это еще одно основаніе для признанія, что, главнымъ образомъ, у Руссо заимствовала Татьяна и свой восторгъ, и свою грусть...

[1]) Соч., III, 292.

Татьяна вообразила себя не только «Юліей», но и «Клариссой», т. е. несчастной героиней извѣстнаго романа Ричардсона: «Кларисса Гарлоу...» Что́ же сходнаго въ обѣихъ этихъ героиняхъ? Думается намъ, что Татьяна только потому сблизила себя съ героиней Ричардсона, что Онѣгинъ напомнилъ ей Ловласа,—удивительнаго побѣдителя женскихъ сердецъ. Припомнимъ, что Татьяна открылась Онѣгину въ любви, еще не зная навѣрно, кто онъ,—«коварный-ли обольститель», или «ея ангелъ-хранитель»: допуская первое, она отожествляла его съ Ловласомъ,—съ этимъ, дѣйствительно, типичнымъ «обольстителемъ», который даже въ наши дни не утратилъ своей художественной красоты... Если это такъ, то, очевидно, Татьяна могла видѣть въ себѣ будущую жертву намѣреннаго и холоднаго коварства. Внутренняго-же, духовнаго сродства между обѣими героинями не найти...

Зато поразительно близка къ Татьянѣ Дельфина г-жи Сталь — и по характеру, и по судьбѣ... Этотъ образъ положительно необходимъ для критика Пушкинской Татьяны, такъ какъ онъ уясняетъ многія стороны ея души, остающіяся безъ этого сближенія въ тѣни...

Романъ M-me Сталь есть не что иное, какъ картина женской души, картина подробная, мелочная... Приключенія въ этомъ романѣ видной роли не играютъ, — такимъ образомъ, интересъ его не внѣшняго характера, какъ въ романахъ авантюрныхъ, а внутренняго, какъ въ романахъ чисто-психологическихъ... Въ этомъ историческое значеніе романовъ: послѣ «Новой Элоизы» Руссо, «Вертера» Гете, Сталь дала

произведеніе, въ которомъ выдвинула, однако, уже спеціально свое—«психологію женской души...»

Другая сторона въ этомъ произведеніи, «философская», не менѣе важна для насъ. Романъ посвященъ изображенію борьбы одинокой талантливой личности съ безличной, безформенной, но страшной силой,—«общественнымъ мнѣніемъ», составляющимся изъ разныхъ предразсудковъ, сплетень, мелкихъ интригъ...

Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ романъ Пушкина можетъ быть сопоставленъ съ произведеніемъ Сталь, какъ романъ чисто «психологическій», въ которомъ сквозитъ очень ясная тенденція автора провести ту же идею, которую сознательно развивала Сталь: въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой,—борьба, уже извѣстная намъ изъ жизни Дельфины... Жизнь Татьяны въ деревнѣ съ дѣтства была нѣмымъ протестомъ противъ будничной, патріархальной жизни сытыхъ русскихъ помѣщиковъ,—Татьяна «дика, печальна, молчалива», она чуждается беззаботнаго веселья сверстницъ, счастливыхъ и довольныхъ своею жизнью,—она жалуется, что «ея никто не понимаетъ», что, не видя ни въ комъ поддержки, она «должна молча гибнуть». Жизнь Татьяны въ Москвѣ, а потомъ въ петербургскомъ свѣтѣ, является такимъ же «нѣмымъ» протестомъ противъ среды. Правда, царица баловъ и законодательница залъ, Татьяна не смотритъ уже исподлобья на общество, которое ее окружаетъ, не забивается съ книгой въ садъ,—она расточаетъ величественныя улыбки,—но въ душѣ она протестуетъ противъ всей этой «вето-

ши маскарада», «постылой жизни мишуры» [1]),—въ душѣ она—все та же «бѣдная Таня» [2]), съ встревоженнымъ сердцемъ и мечтательной головкой... Припомнимъ, наконецъ, тѣ жалобы на «общественное мнѣніе», которыя слышатся неразъ отъ самого Пушкина — и тогда, когда онъ говоритъ о воспитаніи Онѣгина [3]) и жизни его въ свѣтѣ, и, наконецъ, послѣ разсказа о вызовѣ на дуэль,—вызовѣ, который былъ принятъ Онѣгинымъ, только потому, что юный «философъ» убоялся «общественнаго мнѣнія» тѣхъ деревенскихъ русачковъ, которыхъ въ душѣ самъ презиралъ...

«. . . вотъ, общественное мнѣнье!
Пружина чести, нашъ кумиръ!
И вотъ, на чемъ вертится міръ!» [4])—

— вырывается у Пушкина грустное восклицаніе, доказывающее, что и самъ поэтъ признавалъ нелѣпость этой силы, хотя склонялся передъ ея могуществомъ [5])...

Конечно, это протесты все очень слабые, но, несомнѣнно, первые, раздавшіеся въ русской литературѣ; въ европейской же—впервые Сталь сумѣла этотъ протестъ художественно воплотить въ лицѣ двухъ героинь своихъ—Коринны и Дельфины. Раз-

[1]) Соч., III, 402—3. [2]) Тамъ же, 401. [3]) Тамъ же, 236, 252. [4]) Тамъ же, 345. [5]) Такое же отношеніе, быть можетъ, нѣсколько болѣе энергичное, слышится въ посланіи къ А. П. Кернъ (1829), въ которомъ поэтъ защищаетъ когда-то любимую женщину. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ Пушкинъ въ открытую борьбу не вступаетъ: онъ «молитъ кумиръ безчувственный» о пощадѣ и, видя безплодность своей мольбы, старается убѣдить молодую женщину съ презрѣніемъ отнестись къ «общественному мнѣнію» и уклониться отъ безплодной борьбы съ нимъ...» (II, 64).

личіе между Татьяной и героинями Сталь такое же, какъ и между Пушкинымъ и Сталь: первый былъ рабомъ «общественнаго мнѣнія», рабомъ, носившимъ однако свое ярмо съ краскою на лицѣ,—вторая была борцомъ, много страдавшимъ, но непреклоннымъ и неутомимымъ, съ которымъ самъ Наполеонъ долженъ былъ считаться. Та же разница и между героинями: въ сознаніе пушкинской героини уже прокралось недовѣріе къ суду «общественнаго мнѣнія», но въ борьбу съ нимъ она не вступаетъ, какъ это дѣлаетъ Дельфина...

Сдѣлаемъ нѣсколько сопоставленій между обѣими героинями,—и мы поймемъ, почему Татьяна вообразила себя Дельфиной. На себя наша провинціальная дѣвица, несомнѣнно, смотрѣла, какъ на протестъ противъ среды.—Дельфина оказывается тоже несчастной въ высшемъ обществѣ [1]), блескъ и суета свѣтской жизни не можетъ у нея загладить воспоминаній ранней юности [2]); она одинока [3]); страдаетъ меланхоліей, такъ какъ у нея «чувствительная душа» [4]),—все это, какъ мы видимъ, повторяется буквально у нашей Татьяны. Далѣе: обѣ героини живутъ порывами [5]); exaltation romanesque [6]), sensibilité [7]),—ихъ отличительныя черты. Обѣ довѣрчивы [8]), откровенны; у обѣихъ bon coeur и mauvaise tête [9]), почему онѣ и живутъ иллюзіями [10]), воображеніемъ [11]), не интересуясь будничной жизнью [12]); обѣ добры [13]) и

---

[1]) *M-me Staël*, «Delphine», 5—6, 9. [2]) *M-me Staël*, «Delphine», 8, 272, 275—6. [3]) Тамъ же, 17. [4]) Тамъ же, 7. [5]) Тамъ же, 10. [6]) Тамъ же, 208. [7]) Тамъ же, 211. [8]) Тамъ же, 12. [9]) Тамъ же, 12. [10]) Тамъ же, 200. [11]) Тамъ же, 20. [12]) Тамъ же, 99. [13]) 296, 88, 94.

честны [1]); обѣ, наконецъ, «естественны» [2]), т. к. голосъ сердца—для нихъ все: онѣ повинуются только Богу [3]) и сердцу [4]), — потому-то безъ труда нарушаютъ «правила приличія» [5]) (письмо Татьяны).

Стремленія ихъ одинаковы: воспитанныя на романахъ [6]), онѣ стремятся къ идеальному счастью, ищутъ для себя идеальнаго героя. Конечно, такимъ долженъ быть какой-нибудь интересный молодой человѣкъ, который годится на роль héros de roman [7]).. Какой же герой поразитъ героиню Сталь?—Несомнѣнно, человѣкъ, выдающійся изъ пошлой среды, «оригинальный»,—и, дѣйствительно, ее увлекаетъ «герой холодный» [8]), повидимому, недоступный страстямъ и интересамъ мелкой пошлой жизни: это — юноша «sauvage, savant et philosophe» (Ср. Онѣгина — «нелюдимъ», «ученъ», «философъ въ восемнадцать лѣтъ»).

Дельфина увлекается Мондовилемъ совершенно такъ же, какъ Татьяна—Онѣгинымъ: для первой ея герой дѣлается «судьей» [9]), для второй — «ангеломъ-хранителемъ».. Даже исторія любви складывается у нихъ одинаково: сначала онѣ являются искательницами счастья, потомъ роли мѣняются—любви домогаются ихъ герои. Но судьба немилосердна къ героямъ Сталь, какъ и къ героямъ Пушкина,—и отъ обѣихъ героинь, на прощанье, мы слышимъ сходныя рѣчи, полныя благородной чистоты [10]), проникнутыя яснымъ сознаніемъ чувства долга [11]).

---

[1]) Тамъ же, 330. [2]) Тамъ же, 73. [3]) Тамъ же, 51. [4]) Тамъ же, 142. [5]) Тамъ же, [6]) Тамъ же, 63, 454. [7]) Тамъ же, 43. [8]) Тамъ же, 23, 24, 25. [9]) Тамъ же, 87, 106. [10]) *Staël*, «Delphine», 247. [11]) Тамъ же, 330.

Изъ всѣхъ этихъ сравненій видно, что героиня Пушкина—довольно удачный сколокъ съ героинь своихъ любимыхъ романовъ: она вообразила себя Юліей, Клариссой и Дельфиной [1]) до того удачно, что сливается съ этими литературными образами,—она говоритъ языкомъ Юліи, переживаетъ описанія Клариссы, живетъ мечтами и думами Дельфины..

Что же въ ней чисто-русскаго, въ этой «идеальной русской женщинѣ»? Только то, что она была *суевѣрна, любила русскія сказки, русскую природу, русскую тройку!* Ея «русская душа» оказывается до того слабо связанною съ родною жизнью, что экзотическое вліяніе иностранной романической литературы опредѣляетъ всю ея жизнь. Правда, если бы судьба оставила Татьяну въ «глуши забытаго селенья»—она, вѣроятно, въ концѣ-концовъ, обратилась бы въ добродушную, хлѣбосольную русскую помѣщицу..

Вѣдь такова была судьба ея матери,—прошла пора поэтическихъ грезъ юности,—и забытъ былъ Грандисонъ, забыты были сердечныя муки: она —

[1]) Что касается до героини романа «Коринна», то въ ней мы найдемъ повтореніе Дельфины, съ прибавленіемъ геніальности артистической натуры. Потому и между Татьяной и Коринной можно найти нѣсколько сближеній. Коринна, напримѣръ, какъ Татьяна, томится деревенской обстановкой, въ которой душно ея оригинальной натурѣ. («Corinne», 305, 36—7, 310). Герой, который попался ей на жизненномъ пути—Освальдъ—тотъ же Мондовиль (а, стало быть, и Онѣгинъ): онъ разочарованъ, холоденъ, грустенъ (Тамъ же, 1—2, 56—7). И заключеніе романовъ одинаково: герои развѣнчаны героинями (Тамъ же, 484), хотя, лишенные ореола, остаются имъ дороги. (Тамъ же, 490). Въ этомъ—оригинальность развязки романовъ Сталь: въ огромномъ большинствѣ романовъ XVIII вѣка герои, послѣ цѣлаго ряда испытаній, обыкновенно, достигаютъ полнаго счастья,—у Сталь, какъ мы видѣли, въ концѣ нѣтъ апоѳеоза любви, чего нѣтъ и въ «Евгеніи Онѣгинѣ».

«Рвалась и плакала сначала,
Съ супругомъ чуть не развелась,
Потомъ хозяйствомъ занялась,
Привыкла, и довольна стала [1]).

Судьба судила Татьянѣ иное,—она попала въ высшій кругъ—въ полурусскую толпу людей, *ломающихся*, бо́льшею частью, копирующихъ все тѣхъ же Ловласовъ, Фобласовъ, Грандисоновъ, съ которыми Татьяна была знакома давно... Немудрено, что ея свѣтская жизнь была для нея продолженіемъ все того же романическаго бреда. Какъ иначе объяснить ея вторичное признаніе въ любви Онѣгину:

«Я васъ люблю... (Къ чему лукавить?)» [2])

За что́ было любить Онѣгина этой «простой, искренней дѣвушкѣ, съ ея чистой серьезной любовью» (какъ представляютъ нѣкоторые критики Татьяну) послѣ того, какъ ей удалось открыть, что онъ—не что иное, какъ—

«. . . подражанье
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ» [3]).

Очевидно, причину этой неувядаемой «любви» надо искать въ какомъ-нибудь постороннемъ вліяніи.. И, повторяемъ, думается намъ, что, опять-таки, романы подсказали ей и это лишнее признаніе, и эту отповѣдь Онѣгину, за которую такъ высоко ее ставятъ русскіе критики. Иначе поступить «идеальная» героиня не могла: ея «любовь» должна была быть

[1]) Соч., III, 276. [2]) Тамъ же, 403. [3]) Тамъ же, 304, 367.

вѣчна, чиста и безупречна, героиня должна «страдать», должна быть самоотверженной и не сходить съ пьедестала.

Прибавимъ, въ заключеніе, еще одинъ фактъ, необходимый для пониманія Татьяны,—именно признаніе Пушкина, что онъ срисовалъ свою героиню съ живого лица [1])...

Изъ всей этой группы фактовъ, собранныхъ нами для объясненія Татьяны, можно вполнѣ ясно возстановить тотъ процессъ созданія, который пришлось пережить Пушкинской героинѣ прежде, чѣмъ получить окончательную художественную отдѣлку.

Собранные нами довольно многочисленные примѣры доказываютъ, что типъ дѣвушки-любительницы романовъ, живущей въ мірѣ идеальныхъ героевъ—типъ, характерный для русской жизни: въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій росъ онъ и развивался. Пушкинъ наблюдалъ [2]) этихъ любительницъ и въ старшемъ поколѣніи русскихъ женщинъ, и въ поколѣніи своего возраста, и въ поколѣніи подростаю-

[1]) Вопросъ о томъ, кто именно послужилъ оригиналомъ («натурщикомъ») для типа Татьяны—рѣшить трудно. Съ одной стороны, г. Анненковъ («Пушк.», 279) видитъ въ Татьянѣ и Ольгѣ отраженіе Анны и Евпраксіи Вульфъ, хотя тутъ же оговаривается, что созданія Пушкина «уже не носятъ на себѣ ни малѣйшаго признака портретовъ съ натуры»; съ другой стороны—А. Н. Раевскій, въ письмѣ къ «Пушкину» отъ 21-го августа 1824 (Сб. Бартенева, I, 77), сообщая ему разныя вѣсти объ одесской жизни, говоритъ, между прочимъ, и о Татьянѣ которая приняла живое участіе въ постигшей Пушкина бѣдѣ, и о ея «прелестной дочкѣ». Кого слѣдуетъ видѣть въ этой одесской «Татьянѣ»—мы не знаемъ». (Прим. издат., Соч. П—на, III, 405).

[2]) Пушкинъ самъ рекомендовалъ читательницамъ свое произведеніе, говоря, что онѣ «найдутъ подъ легкимъ покрываломъ сатирической веселости *наблюденія вѣрныя и безпристрастныя*» (Соч., III, 420).

щемъ. Несомнѣнно, онъ встрѣчалъ не одну поклонницу Дельфины, читалъ не одно письмо, написанное языкомъ Юліи. Такимъ образомъ, для *коллективнаго типа* матеріала у него было довольно [1]); но для художественнаго воплощенія ему нужна была натурщица,—такою оказалась, главнымъ образомъ, та женщина, о существованіи которой говоритъ онъ самъ, какъ объ оригиналѣ Татьяны. Но онъ, очевидно, не удовольствовался одной этой натурщицей,—онъ подошелъ къ своему созданію съ любимыми романами того времени въ рукахъ: создавая свою Татьяну, онъ вызывалъ въ памяти, или, можетъ быть, даже перечитывалъ романы Руссо, Сталь и др. [2]),—отчего въ его произведеніи сказались такіе слѣды литературныхъ воздѣйствій, которые необъяснимы при одномъ изображеніи русской дѣйствительности [3]). Такимъ

---

[1]) «Коллективный типъ», послужившій основаніемъ для Татьяны, несомнѣнно, намѣченъ Пушкинымъ въ слѣдующихъ словахъ: «Тѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ, не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти уѣздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ... Уединеніе, свобода и чтеніе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсть», онѣ очень впечатлительны, отличаются «самобытностью» (Соч., IV, 76—7).

[2]) О чтеніи «Кларисы» говоритъ самъ Пушкинъ (Соч., VII, 92 212—3.

[3]) Къ такимъ результатамъ литературнаго воздѣйствія можно отнести, повторяемъ, нѣкоторыя мѣста въ письмѣ Татьяны—мѣста, понятныя только при чтеніи Руссо: элементъ протеста въ жизни Татьяны, судьбу ея любви и нѣкоторыя другія совпаденія, подробнѣе указанныя выше. Что можно говорить даже о *прямомъ заимствованіи* Пушкинымъ сюжета, объ имитаціи «писемъ», и пр. — свидѣтельствуютъ опредѣленно, хотя бы, слѣдующія слова его о старыхъ романахъ, вложенныя въ уста одного изъ своихъ героевъ: «бо́льшею частью эти романы

образомъ, отчасти и литературныя натурщицы (Юлія, Дельфина) помогли ему обрисовать правдиво художественный обликъ своей героини...

Прибавимъ въ заключеніе, что, если Ленскаго назвалъ Пушкинъ «полурусскимъ», то такою же полурусскою была, въ значительной степени, и Татьяна, воспитанная на западной литературѣ, живущая ея идеалами. Велика заслуга Пушкина, что онъ сумѣлъ удивительно живо и художественно воплотить этотъ характерный типъ полурусской женщины, выросшей въ глуши русской деревни..

Онѣгинъ.

Литературная исторія Онѣгина сложилась совершенно такъ же, какъ и исторія типа Татьяны: изъ ряда однородныхъ явленій сначала создался лишь «коллективный типъ», который затѣмъ, благодаря работѣ автора съ «натурщикомъ», получилъ живое, художественное воплощеніе.

Къ сожалѣнію, для доказательства реальности Онѣгинскаго облика въ нашемъ распоряженіи не

не имѣютъ другого достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво—*умный человѣкъ* могъ бы взять здѣсь готовые характеры исправить слогъ и безсмыслицы, дополнить недомолвки—и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П*. *Пустъ онъ по старой канвѣ вышьетъ новые узоры*» (Соч. IV, 353). О заимствованіи Пушкина у мелкаго писателя Боброва (см. VII, 57, 68), у Батюшкова, (I, 80) Жильбера (I, 131), Карамзина (I, 140), Шенье (I, 216) и мн. др. О такомъ характерѣ заимствованій, см. выше «Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ».

окажется такого числа историческихъ фактовъ, взятыхъ непосредственно изъ жизни, сколько было, когда мы говорили выше о Татьянѣ. Это вполнѣ понятно: Онѣгинъ—типъ болѣе скоропреходящій, чѣмъ типъ Татьяны: даже поколѣніе, близкое къ нему по времени, уже не узнавало въ немъ живого человѣка [1]),—немудрено, что «специфическія» черты этого образа исчезли изъ русской жизни довольно быстро: увлеченіе имъ было, такъ сказать, «минутное», — а потому, вслѣдъ за преклоненіемъ передъ Байрономъ, перевелись у насъ и байронисты—Онѣгины и Печорины, не успѣвъ оставить рѣзкаго слѣда въ современныхъ мемуарахъ...

Но если мемуары и записки почти не помогутъ намъ доказать, что во время появленія въ свѣтъ романа Пушкина въ тогдашнемъ обществѣ было немало Онѣгиныхъ,—то поможетъ намъ въ этомъ отношеніи тогдашняя критика...

Князь Вяземскій, напримѣръ, даже въ слабыхъ, неясныхъ очертаніяхъ героевъ «Кавказскаго плѣнника» и «Цыганъ» узналъ современнаго человѣка: «подобныя лица часто встрѣчаются взору наблюдателя въ нынѣшнемъ положеніи общества»—говоритъ онъ о «Кавказскомъ плѣнникѣ» [2]); Алеко, у него—«прототипъ поколѣнія нашего; лицо не условное—нѣтъ,

---

[1]) *Ключевскій*, «Евгеній Онѣгинъ и его предки», «Р. М.», 1887, № 2, 283, (Цитуемая статья почтеннаго ученаго, повидимому, близкая къ моей работѣ по цѣлямъ, однако совершенно расходится по своимъ задачамъ: для проф. Ключевскаго пушкинскій герой—лишь предлогъ для того, чтобы бросить широкій взглядъ на всю прошлую жизнь русской земли.—ставлю свою задачу гораздо ýже).

[2]) *Вяземскій*, Соч., I, 76.

перенесенное изъ общества» [1]). Разумѣется поэтому, и Онѣгинъ казался ему живымъ лицомъ... Булгаринъ даже прямо заявилъ, что Онѣгиныхъ онъ встрѣчалъ въ Петербургѣ «дюжинами» [2]); Полевой призналъ въ героѣ пушкинскаго романа «знакомаго» человѣка, внутреннюю жизнь котораго онъ уже самъ «чувствовалъ», хотя безъ помощи Пушкина «не умѣлъ объяснить» [3]). Критикъ «Благонамѣреннаго» увидалъ въ Онѣгинѣ «портретъ воспитаннаго по модѣ русскаго дворянина» [4]); критикъ «Московскаго Вѣстника» нашелъ въ пушкинскомъ героѣ «много русской правды» [5]). Кирѣевскій по поводу Онѣгина замѣтилъ, что «нѣтъ ничего обыкновеннѣе такого рода людей»,— поэтъ «цѣлый классъ людей представилъ въ его портретѣ» [6]). Шевыревъ назвалъ Онѣгина «*ходячимъ типомъ* западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ» [7]). Заключу свои примѣры указаніемъ на то, что проф. Ключевскій въ своей рѣчи о Пушкинѣ, произнесенной въ день открытія памятника поэту, замѣтилъ, что «въ поэмахъ и романахъ Пушкина выставлены многіе типы XVIII и начала XIX вѣка, которые наглядно знакомятъ насъ съ характеромъ эпохи» [8]),—дальше идетъ перечисленіе такихъ типовъ, и среди нихъ Онѣгину отведено свое мѣсто. Это признаніе за героемъ Пушкина исторической вѣрности, признаніе, идущее отъ такого компетентнаго судьи,

[1]) Ibid., 316. [2]) «Сѣверная Пчела», 1826, № 132. [3]) «Моск. Телеграфъ», 1825 г., ч. 2, № 5, 48. [4]) «Благонамѣренный», 1825, ч. 29. № 9, 326. [5]) «Московскій Вѣстникъ», 1828, ч. 7, № 4, 465. (статья N. N.). [6]) «Московскій. Вѣстн.», 1828, ч. 8, № 6, 192. (статья 9. 11). [7]) *Трубачевъ*. «Пушкинъ въ русской критикѣ», 287. [8]) «Вѣнокъ на памятникъ Пушкина», 32—3.

какъ проф. Ключевскій, должно вполнѣ увѣрить насъ въ томъ, что для «коллективнаго типа» Пушкинъ могъ въ изобиліи найти матеріала въ русской жизни.

Что же такое этотъ Онѣгинъ, черты котораго настолько заинтересовали Пушкина, что онъ занимался ихъ проясненіемъ чуть не въ теченіе всей своей литературной жизни?—Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и «Кавказскій плѣнникъ», и Алеко изъ «Цыганъ», и, отчасти, нѣкоторые герои его повѣстей [1]) — несомнѣнные родственники Евгенія по духу... Думается мнѣ, что для объясненія пушкинскаго героя мы должны опять-таки обратиться, прежде всего, къ его библіотекѣ: излюбленныя книги Онѣгина раскроютъ передъ нами его душу, а кромѣ того, выяснятъ, какъ самъ творецъ смотрѣлъ на свое созданіе.

Припомнимъ строфы пушкинскаго романа, въ которыхъ говорится о томъ, какъ Татьяна забралась въ деревенскую библіотеку Онѣгина и стала перерывать его книги. Что же оказалось?—

«Хотя мы знаемъ, что Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ,
Однако жъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три *романа*,
Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,

[1]) Таковы, напримѣръ, Сильвіо («Выстрѣлъ», Соч. IV, стр. 35, 37), Алексѣй («Барышня-крестьянка», тамъ же, 77, 86) и др.

Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ.
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ» [1]).

Эти романы не только «читаются» Онѣгинымъ: они имъ *изучаются*,—«на ихъ поляхъ» Татьяна—

« . .встрѣчаетъ
Черты его карандаша,—
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ,
То кратким словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ» [2]).

И далѣе слѣдуютъ знаменательныя слова:

«И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада, иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?
Ужъ не пародія ли онъ?» [3])

Слово найдено. Да, онъ — пародія на литературныхъ героевъ, и притомъ пародія не такая поэтическая и невинная, какъ мечтательница-Таня, а болѣе опасная и непріятная, такъ какъ это—пародія на героевъ, проникнутыхъ безпросвѣтнымъ эгоизмомъ скептицизмомъ, лишенныхъ и тѣни идеализма...

Припомнимъ жизнь Онѣгина въ Петербургѣ,

[1]) Соч., III, 366—7. [2]) Ibid. 367. [3]) Соч., III, 238.

когда онъ весь отдавался «наукѣ страсти нѣжной»... У кого научился 18-ти лѣтній «философъ», только-что вступившій въ жизнь, «лицемѣрить, таить надежду, ревновать, разувѣрять, заставить вѣрить, казаться мрачнымъ, изнывать, являться гордымъ и послушнымъ, внимательнымъ иль равнодушнымъ» и пр.? [1])... Кто выучилъ его—

«Невинныхъ лѣтъ предубѣжденья
Умомъ и страстью побѣждать. . .
Подслушать сердца первый звукъ,
Преслѣдовать любовь. . .
..Какъ рано могъ ужъ онъ тревожить
Сердца кокетокъ записныхъ!
Когда жъ хотѣлось уничтожить
Ему соперниковъ своихъ,
Какъ онъ язвительно злословилъ!
Какія сѣти имъ готовилъ!» [2])

Изъ всего этого мы видимъ въ юношѣ-Онѣгинѣ уже ловкаго «спеціалиста по любовнымъ дѣламъ», умудреннаго «наукой»... Пушкинъ помогаетъ намъ понять, откуда получилъ Онѣгинъ свои знанія,—

«Любви насъ не природа учитъ,
. . . . . .
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ романѣ. . .
. . . Онѣгинъ это испыталъ» [3]).

Какой же «романъ» научилъ Онѣгина «жизни», послужилъ для него школой любви? Пушкинъ опять самъ рѣшаетъ наше недоумѣніе,—его герой, оказывается, въ ранней юности увлекался «славою Ловласа» [4]).

[1]) Тамъ же, 367. [2]) Тамъ же, 239. [3]) Тамъ же, 238. [4]) Тамъ же, 304.

Ловласъ, герой ричардсоновскаго романа «Кларисса Гарлоу», дѣйствительно, обольстительный образчикъ «покорителя женскихъ сердецъ», и до сихъ поръ не увядшій, а въ свое время, къ великому горю добродѣтельнаго автора, очаровавшій массу читателей и читательницъ... Этотъ неотразимый прелестникъ выработалъ въ себѣ искусство «покорять» женщинъ [1]); онъ изучилъ «психологію женскаго сердца» [2]), и побѣды ему легки, но за легкими побѣдами онъ не гоняется [3]): «борьба» увлекаетъ его [4]), трудная «охота» [5]) ему особенно пріятна. Однимъ словомъ, это — образцовый обольститель, которому, повидимому, очень удачно подражалъ 18-ти лѣтній Онѣгинъ [6]).

Но, какъ извѣстно, чувства нашего Онѣгина рано остыли: «слава Ловласа въ его глазахъ обветшала» [7]),—явилось разочарованіе, овладѣла имъ хандра, и, на смѣну Ловласу, другіе герои сдѣлались его образцами,—

«Какъ *Childe Harold*, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,

[1]) *Richardson*, «Clarisse», I, 423, 426, 430, 435, 440, II, 22, 27, VI, 212, IV, 54, 63. [2]) Тамъ же, IV, 298. [3]) Тамъ же, V, 249. [4]) Тамъ же, V, 249. [5]) Тамъ же, IV, 221. [6]) Пушкинъ хорошо зналъ романъ Ричардсона. Хотя онъ и скучалъ, его читая, но, тѣмъ не менѣе, даже въ 1834 г. признавалъ за нимъ «необыкновенное достоинство» (Соч. V, 216; еще 249). Герои и героини Пушкина тоже хорошо знаютъ это произведеніе (Соч. III, 275, 303. IV, 350—1). Кромѣ Ловласа, хорошимъ учителемъ въ любовныхъ дѣлахъ былъ у насъ еще одинъ романическій герой—Фобласъ (Соч. III, 239, 303; IV, 358). Что касается до Онѣгина, то не потому-ли, между прочимъ, онъ пренебрегъ Татьяной, что ему легкая побѣда, какъ Ловласу, была слишкомъ неинтересна: «скучно было лицемѣрить», «уничтожать предразсужденія», которыхъ не было и нѣтъ у дѣвочки «въ тринадцать лѣтъ»? (Соч., III, 304). [7]) Соч. III, 303.

Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замѣчалъ онъ ничего . . . » [1])—

Неутомимый «охотникъ» - Ловласъ поднадоѣлъ ему—и, вотъ, нашъ Онѣгинъ красиво драпировался въ плащъ Чайльдъ-Гарольда и другихъ родственныхъ ему по духу «скорбниковъ».

Когда на его пути очутилась дѣвушка, съ которой ему не предстояло никакой «борьбы», онъ оттолкнулъ ее, прикрываясь изъ вѣжливости холодомъ своей души... Не такъ ли и учитель его, Чайльдъ-Гарольдъ, отнесся къ Флорансѣ?—

«Флоранса, если бъ сердце это
Я для любви не схоронилъ,
Тогда бъ, повѣрь, любовь поэта
Къ твоимъ ногамъ я положилъ.
Но ты не можешь быть моею:
У насъ различные пути . . . » [2]).

Впрочемъ, пушкинскій герой не прочь пародировать иногда и модныхъ героевъ совсѣмъ иного пошиба. Напримѣръ, вся «проповѣдь» Онѣгина по адресу Татьяны,—проповѣдь, которая оканчивается наставленіемъ:

«Учитесь властвовать собой!
Не всякій васъ, какъ я, поймет,—
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ» [3])—

—въ его устахъ звучитъ какою-то непроходимою

---

[1]) Тамъ же, 250. Интересно, что самъ Пушкинъ, прежде обѣщавшій друзьямъ произведеніе въ родѣ «Донъ-Жуана» (Соч. VII, 56, 72), потомъ круто измѣнилъ свои первоначальные планы. (Тамъ же, 117),—и его молодой вѣтренникъ, подъ вліяніемъ Чайльдъ-Гарольда, получилъ совсѣмъ другое освѣщеніе. [2]) *Байронъ*, Соч., I, 214. [3]) *Пушкинъ*, Соч., III, 308.

фальшью [1]), — и намъ невольно припоминается идеальный Грандисонъ [2]), который любилъ читать подобныя нравоученія «неопытнымъ» дѣвицамъ, предлагавшимъ ему свою любовь...

Если мы обратимся теперь къ «письму» Онѣгина, то и тутъ мы встрѣтимся съ тѣмъ же вліяніемъ романовъ: на сцену появляется Руссо, съ извѣстнымъ уже намъ романомъ: «Новая Элоиза».

Сдѣлаемъ нѣсколько сопоставленій:

«Предвижу все: васъ оскорбитъ» [3])—

«Предвижу впередъ всю силу вашего негодованія [4])...»

«Чтобъ продлилась жизнь моя,
Я утромъ долженъ быть увѣренъ,
Что съ вами днемъ увижусь я!» [5])—

«Я долженъ видѣть тебя каждый день... Я не могу жить безъ тебя—я это чувствую!» [6])

«Желать обнять у васъ колѣни
И, зарыдавъ, у вашихъ ногъ
Излить мольбы, признанья, пени» [7])...—

«Сто разъ на день порывался я кинуться къ вашимъ ногамъ, облить ихъ моими слезами...» [8])

«. . .Притворнымъ хладомъ
Вооружить и рѣчь, и взоръ,
Вести спокойный разговоръ,
Глядѣть на васъ спокойнымъ взглядомъ...» [9]).

«Какъ сохранить спокойствіе при такомъ волненіи?.. Какъ думать о разныхъ вещахъ, когда занятъ

---

[1]) Самъ Пушкинъ подчеркиваетъ эту фальшь ироническимъ: «...такъ *проповѣдовалъ* Евгеній» (Тамъ же). [2]) Герой другого романа Ричардсона. [3]) *Пушкинъ* Соч., III, 395. [4]) *Rousseau*, «Nouv. Héloise», 32. [5]) *Пушкинъ*, Соч., III, 396. [6]) *Rousseau*, 122. [7]) *Пушкинъ*, Соч., III, 397. [8]) *Rousseau*, 32. [9]) *Пушкинъ*, 397.

только однимъ?.. Нужно сдерживать рыданія; надо улыбаться, умирая...» [1]) и т. д.

Прибавимъ къ этимъ примѣрамъ указаніе, что Онѣгинъ передъ сочиненіемъ своего письма такъ же бросился къ книгамъ, какъ раньше Татьяна; правда, онъ читалъ самыя разнообразныя произведенія, но фигурируютъ тутъ, между другими авторами, и Руссо, и M-me Сталь [2])...

Какъ типъ Татьяны, такъ и типъ Онѣгина, разочарованнаго, скучающаго юноши, для котораго изсякли живыя радости юности, намѣчается въ русской жизни со второй половины XVIII вѣка. Опять Карамзинъ поможетъ намъ въ нашихъ поискахъ,—онъ и въ жизни столкнулся съ такимъ человѣкомъ, и въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ неразъ намѣчалъ черты героя, уже смахивающаго немного на Онѣгина...

Я говорю о другѣ его юности—А. Петровѣ, юношѣ, который рано извѣрился въ жизни, рано замкнулся въ себѣ и для всѣхъ непосвященныхъ казался «мизантропомъ», нелюдимомъ, чудакомъ, если и не опаснымъ, то «непріятнымъ» [3])... Только въ присутствіи юнаго Карамзина раскрывалась его усталая душа, и въ ней увидѣлъ нашъ писатель много такого, что было сокрыто отъ взора другихъ [4]). Мы знаемъ, что и Онѣгинъ могъ иногда «оттаивать»,—для этого ему тоже нуженъ былъ подходящій слушатель: Пушкинъ вспоминалъ, какъ они сентиментальничали по ночамъ съ Онѣгинымъ, какъ,—

---

[1]) *Rousseau*, 110. [2]) *Пушкинъ*, 398. [3]) *Карамзинъ*, Письма къ Дмитріеву, 27. [4]) Тамъ же, 34; см. еще: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» (Соч. *Карамзина*, Шт.).

«Воспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
. . . . . .
Такъ уносились мы мечтой [1])
Къ началу жизни молодой!»

Конечно, основанія для тоски у Петрова были болѣе важныя: его мучили вопросы: «что̀ я есть? что̀ я буду?» [2]). Въ вопросахъ любви онъ былъ, вѣроятно, настоящимъ ребенкомъ, но, въ сущности, складъ души у обоихъ одинаковъ. Прибавимъ къ этому живому образу—литературный, вымышленный: «Ліодора» [3])—героя одной неоконченной Карамзинымъ повѣсти. Передъ нами опять разочарованный, холодный, ко всему равнодушный юноша, которому нѣтъ дѣла до человѣчества, который живетъ вдали отъ людей, чуждается ихъ... Глядя на него, невольно припоминаемъ мы и Рене, и героевъ Сталь (Освальда и Мондовиля), и нашего Онѣгина, какимъ онъ былъ, когда переѣхалъ въ деревню... Стоитъ только прибавить къ этимъ двумъ образамъ эгоизмъ, выраженный рѣзко у Онѣгина и Печорина, — и мы невольно признаемъ преемственность типа «разочарованнаго» юноши, начиная съ карамзинской эпохи [4]).

---

[1]) *Пушкинъ*, Соч., III, 253—4.

[2]) См. нашу работу: «Н. М. Карамзинъ, авторъ «Писемъ русскаго Путешественника», 50 и др.

[3]) «Моск. Журн.», V, 305—335.

[4]) Если въ сентиментальной литературѣ (Юнгъ, Оссіанъ) намѣчаются уже мотивы этой душевной тоски, а въ «Вертерѣ» мы имѣемъ уже типичнаго «скорбника», то послѣ французской революціи «разочарованіе», «хандра», вырождаются у Шатобріана въ пассивный эгоизмъ,

Позднѣе, Батюшковъ переживалъ минуты такой же рѣзкой и глубокой разочарованности; недаромъ онъ зачитывался «Рене» Шатобріана, недаромъ почтенный біографъ поэта акад. Л. Н. Майковъ объяснялъ настроеніе своего героя, опять-таки, при помощи Рене..

Изъ современниковъ Пушкина остановимъ наше вниманіе на А. Раевскомъ, хорошемъ знакомомъ нашего поэта; душа этого юноши была отмѣчена чертами, очень близкими къ онѣгинскимъ. Впрочемъ, у Раевскаго эти черты значительно рѣзче, глубже, чѣмъ у Онѣгина; недаромъ его образъ вдохновилъ Пушкина на созданіе такого сильнаго произведенія, какъ «Демонъ» [1]—

«Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ,

а у Байрона—въ эгоизмъ боевой, граничащій порой съ человѣконенавистничествомъ. (Объ отношеніи Пушкина къ Байрону и Шатобріану см. выше: «Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ»).

[1]) То обстоятельство, что самъ Пушкинъ намѣревался печатно утверждать, будто «Демонъ» вовсе не портретъ Раевскаго (Соч. I, 292),—ничего не доказываетъ: 1) своего объясненія, очень, къ тому же, нерѣшительнаго, онъ не напечаталъ,—стало быть, отказался отъ мысли опровергать общее мнѣніе о томъ, что А. Раевскій—оригиналъ «Демона».—2) подобныя «объясненія» Пушкина сами по себѣ, цѣны особой не имѣютъ, такъ какъ онъ иногда пытался маскировать этимъ способомъ свои художественные замыслы: напримѣръ, онъ рѣшительно отвергъ всякое сходство между Онѣгинымъ и собою, хотя въ то же время, въ частныхъ письмахъ прямо говоритъ, что жизнь героя въ деревнѣ срисовалъ со своей собственной,—3) самъ Раевскій призналъ себя въ «Демонѣ»; многіе знавшіе его (Вигель, Е. Н. Раевская), тоже подтверждаетъ это...

«Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ...
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ! [1])

Конечно, здѣсь передъ нами оригиналъ идеализированъ,—въ красивой позѣ поставленъ онъ на пьедесталъ, освѣщенъ искусственно и облеченъ въ приличное «демону» одѣяніе,—но, стоитъ свести этого демона съ пьедестала, одѣть на него широкій боливаръ, модный костюмъ и лакированные ботфорты,—и передъ нами, какъ живой, встаетъ Раевскій-Онѣгинъ...

Вигель, знавшій Раевскаго близко, рисуетъ его человѣкомъ гордымъ, независимымъ, «съ непріязненнымъ чувствомъ ко всему человѣчеству»... «Въ немъ не было честолюбія, но изъ смѣшенія чрезмѣрнаго самолюбія, лѣни, хитрости и зависти составленъ былъ его характеръ» [2]). Наружность его сохранила еще нѣкоторую пріятность, хотя тѣлесные и душевные недуги уже изсушили его и наморщили его чело. Въ умѣ его была твердость, но безъ всякаго благородства. Поэзія была ему дѣло вовсе чуждое (ср. Онѣгина), равномѣрно и нѣжныя чувства [3]) (ср. Онѣгина), въ которыхъ видѣлъ онъ одно смѣшное сумасбродство» [4]). Съ женщинами онъ обращался «умѣло» и побѣды одерживалъ надъ ними легко, почему скоро и прослылъ опаснымъ человѣкомъ, и всѣ старались учтиво уклоняться отъ него [5]).

---

[1]) Соч., I, 292. [2]) *Вигель*, Воспоминанія, VI, 169. [3]) Тамъ же, 170. [4]) Тамъ же, 171. [5]) *Вигель*, Воспоминанія, 171.

Сестра Раевскаго, Екатерина Николаевна, утверждаетъ, будто «разочарованіе» брата было напускнымъ, будто ему хотѣлось «потрунить» надъ Пушкинымъ, и потому онъ сталъ корчить ничѣмъ недовольнаго, разочарованнаго, надо всѣмъ глумящагося человѣка; поэтъ поддался искусной мистификаціи и написалъ своего «Демона» [1].. Но едва ли эта «мистификація», обманувшая не одного Пушкина, но и многихъ другихъ, была только шалостью,—слишкомъ ужъ она продолжительна и серьезна, если слѣды ея сказались не только на одномъ лирическомъ произведеніи, но и на письмѣ Пушкина, писанномъ, какъ думаютъ, все къ тому же Демону-Раевскому. Въ одномъ изъ писемъ мы видимъ обращеніе поэта къ какому-то «учителю», который совѣтовалъ ему въ жизни быть «féroce, tyran, vindicatif», который училъ его презирать людей, проповѣдывалъ эгоизмъ, рѣшительный, жестокій [2]..

Этотъ образъ настолько близокъ къ Онѣгину, что я рѣшаюсь видѣть въ А. Раевскомъ главнаго «натурщика» для героя пушкинскаго романа. Это подтверждается, между прочимъ, сличеніемъ двухъ отрывковъ: одного, относящагося къ «Демону», другого—къ «Онѣгину».

«Демонъ», какъ извѣстно, начинается съ повѣствованія о томъ, какъ безмятежная жизнерадостность поэта была сначала омрачена скептицизмомъ «Демона», а потомъ была имъ побѣждена.

---

[1]) Складчина, 373, [2]) Соч., VII, 25 — 6. Какъ увидимъ ниже, подобные же совѣты въ 1822 г. подавалъ своему брату самъ Пушкинъ (Тамъ же, 43—4).

То же находимъ мы и въ «Евгеніи Онѣгинѣ»:

«Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ» [1])

Въ черновыхъ наброскахъ мы найдемъ болѣе подробное объясненіе того, какъ овладѣвалъ Онѣгинъ-Демонъ душою поэта, уже подготовленнаго жизнью къ подобнымъ вліяніямъ:

Черновые наброски „Демона".

«Таковъ онъ былъ. . .
Мое спокойное незнанье
Страстями возмущалъ,
И я его существованье
Съ своимъ, невиннымъ, сочеталъ.
Я видѣлъ міръ его глазами...
Онъ обѣщалъ...
Истолковать мнѣ все творенье,
И разгадать добро и зло...
Непостижимое волненье
Меня къ лукавому влекло...
. . . . . .
Я сталъ взирать его глазами,
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ,
Съ его неясными словами
Моя душа звучала въ ладъ» [2])

Варіанты къ XLV строфѣ 1-й главы Онѣгина.

« . . . . . .
Мнѣ было грустно, тяжко, больно,
Но одолѣвъ мой умъ въ борьбѣ,
Онъ сочеталъ меня невольно
Своей таинственной судьбѣ;
Я сталъ взирать его очами,
Съ его печальными рѣчами
Мои слова звучали въ ладъ,
Мою задумчивую младость
Онъ для восторговъ охладилъ...
Я неописанную сладость
Въ его бесѣдахъ находилъ,
Я сталъ взирать его очами;
Открылъ я жизни бѣдной кладъ,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ» [3]).

Если мы къ этому сближенію прибавимъ еще бѣглую характеристику, которую далъ Пушкинъ Онѣгину, назвавъ его «надменнымъ бѣсомъ», и хронологическую близость обоихъ произведеній (1823 г.),—то мы должны будемъ признать, что А.

[1]) Соч., III, 252—3. [2]) Тамъ же, I, 293. [3]) Тамъ же, III, 253.

Раевскій, послужившій оригиналомъ для «Демона», въ такой же мѣрѣ близокъ и къ Онѣгину.

Кромѣ этого живого лица, очевидно, былъ у Пушкина «натурщикъ», взятый изъ литературы: поэтъ самъ указывалъ неразъ на *Чайльдъ-Гарольда,* какъ на образчикъ, которому подражалъ Онѣгинъ, распростившись съ *Ловласомъ:* объ этомъ Пушкинъ говоритъ то въ подстрочномъ примѣчаніи: «черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльдъ-Гарольда» [1]), то неразъ прямо сравниваетъ своего героя съ Child Harold'омъ... [2]) Наконецъ, кое-какія мелочи для своего Онѣгина списалъ Пушкинъ съ себя: многія мелкія черты его жизни въ Михайловскомъ повторены въ романѣ съ буквальною точностью,—объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, Анненковъ: альбомъ Онѣгина, его костюмъ, времяпрепровожденіе въ деревнѣ, отношеніе къ сосѣдямъ-помѣщикамъ—все это взято изъ жизни самого поэта [3]). Самъ Пушкинъ признавалъ это: «въ 4-й пѣснѣ Онѣгина я изобразилъ свою жизнь» [4]),—писалъ онъ Вяземскому; у сосѣдей своихъ деревенскихъ онъ, оказывается, «пользовался репутаціей Онѣгина» [5]), жизнь свою онъ проводилъ, какъ «совершенный Онѣгинъ» [6]). Интересно, что это сходство не было только внѣшнимъ. Письмо Пушкина къ брату говоритъ намъ, что между нимъ и его героемъ было и духовное сродство. Въ самомъ дѣлѣ, подъ вліяніемъ уроковъ

[1]) Тамъ же, 243. [2]) Тамъ же, 250, 319. [3]) *Анненковъ*, «Матеріалы...», 43, 67, 111: «Пушкинъ въ Александровскую эпоху», 235, 270. См. объ этомъ еще «Русск. Стар.», 1899, № 5, 273—5. [4]) Соч., VII, 182. [5]) Тамъ же, 94. [6]) Тамъ же, 96.

Раевскаго, А. С. Пушкинъ, въ свою очередь, совершенно серьезно совѣтуетъ брату «презирать людей», относиться ко всѣмъ холодно, не увлекаться дружбой, не выказывать своей любви къ женщинамъ, чтобы тѣмъ вѣрнѣе обладать ими... Всѣ эти уроки, по словамъ Пушкина, были результатомъ его «douloureuse experience» [1]..

Изъ всѣхъ этихъ данныхъ, собранныхъ нами для объясненія исторіи типа Онѣгина, видно, какимъ сложнымъ путемъ шло художественное воплощеніе того образа, въ которомъ современники Пушкина, почти единогласно, признали знакомыя черты моднаго молодого человѣка. Съ необыкновеннымъ искусствомъ сохранилъ Пушкинъ въ теченіе многихъ лѣтъ сочиненія романа основныя черты своего героя и, мѣняя много разъ «натурщиковъ», тѣмъ не менѣе, не исказилъ его сущности. Въ самомъ дѣлѣ, и Ловласъ, и Чайльдъ-Гарольдъ, и Раевскій, и самъ поэтъ, отчасти С.-Прё и Грандисонъ удѣлили, каждый кое-что, въ бо̀льшей или меньшей мѣрѣ, Онѣгину,—а въ результатѣ, изъ всѣхъ этихъ мозаичныхъ кусочковъ создался образъ, всегда вѣрный себѣ.

Въ чемъ же «сущность» этого образа? Думается намъ, главное въ Онѣгинѣ, это именно то, что онъ—«*пародія*», что это существо, ломающееся, копирующее «чужую» жизнь [2]. За это судьба и покарала его: ко-

[1]) Тамъ же, 43—4.

[2]) Другіе герои Пушкинскихъ произведеній тоже грѣшатъ этимъ же: Сильвіо, по натурѣ добродушный (IV, 37) человѣкъ, корчитъ изъ себя какого-то «рокового героя» (IV, 35); Чайльдъ-Гарольдомъ представился Алексѣй (тамъ же, 77),—онъ, оказывается, даже «размышлялъ о томъ, какую роль играть ему» въ присутствіи героини,—и рѣшилъ,

гда живое, искреннее чувство овладѣло имъ, когда онъ забылъ свои ужимки и снялъ съ себя маскарадныя украшенія,—было уже поздно. Между тѣмъ, можно думать, что любовь къ Татьянѣ проснулась въ его сердцѣ гораздо раньше вторичнаго свиданья въ Петербургѣ: вѣдь онъ съ первой встрѣчи обратилъ на нее особое вниманіе; онъ, получивъ ея посланіе,—

«. . .живо тронутъ былъ,
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ
. . . . . .
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ» [1]).

Ея письмо онъ бережно сохранилъ [2]), и въ своей «холодной» проповѣди не сумѣлъ скрыть искорокъ любви:

«*Я сколько ни любилъ* бы васъ,
. . . . . .
Я васъ люблю любовью брата
И, можетъ быть, *еще нѣжнѣй*» [3]).

Прибавимъ къ этому пропущенную строфу (VI, гл. III), въ которой Пушкинъ изобразилъ своего героя, сразу влюбившимся въ Татьяну:

что холодная разсѣянность «всего приличнѣе» (тамъ же, 86). Владиміръ Z., чтобы произвести бо́льшее впечатлѣніе, напускаетъ на себя «fatuité insolente». (Тамъ же, 357), «корчитъ г-на Фобласа» (Тамъ же, 358). Такимъ образомъ, начиная съ «Кавказскаго плѣнника» и кончая героями повѣстей, Пушкинъ нѣсколько разъ рисовалъ человѣка, играющаго роль,—но если, создавая своего Плѣнника, поэтъ вѣрилъ еще тому что рисуетъ, дѣйствительно, страдающаго героя, то съ каждымъ новымъ типомъ онъ все правдивѣе смотрѣлъ на своихъ героевъ,—и въ послѣднихъ произведеніяхъ, совершенно объективныхъ,—прямо и рѣшительно изобличаетъ въ ихъ лицѣ обезъяничанье русскаго общества.

[1]) *Пушкинъ*, Соч., III, 262. [2]) Тамъ же, 305. [3]) Тамъ же, 390.

«Въ постелѣ лежа, нашъ Евгеній
Глазами Байрона читалъ,
Но день невольныхъ размышленій
Татьянѣ милой посвящалъ.
Проснулся онъ сегодня ранѣ—
И мысль была все о Татьянѣ.
«Вотъ новое!»—подумалъ онъ:
«Неужто я въ нее влюбленъ?
«Посмотримъ!»—И тотчасъ рѣшилъ
Сосѣдокъ навѣщать исправно—
Какъ можно чаще—всякій день:
«Вѣдь имъ досугъ, а мнѣ не лѣнь!»
Рѣшилъ—и скоро сталъ Евгеній,
Какъ Ленскій» [1])...

Такая легкая покорность чувству и простое, правдивое отношеніе къ любви было, конечно, не въ духѣ Онѣгина,—и эта интересная строфа выпущена была, какъ искажающая образъ героя, полнаго фальши и лжи даже передъ самимъ собою. Объ этой «лжи» говоритъ самъ поэтъ, когда, представляя читателю, вторично, послѣ долгой разлуки, своего героя, лукаво спрашиваетъ:

«Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль *корчитъ* такъ же *чудака*?»
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что̀ намъ *представитъ* онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?
По крайней мѣрѣ, мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалой.
. . . . . .
Довольно онъ *морочилъ свѣтъ*» [2]).

[1]) Тамъ же, 307—8. [2]) Тамъ же, 282—3.

Эти слова еще разъ подтверждаютъ сказанное нами, что Пушкинъ хотѣлъ въ своемъ героѣ изобразить одну изъ тѣхъ многочисленныхъ «пародій», которыми кишѣлъ тогдашній «свѣтъ». Многіе изъ этихъ мельмотовъ, космополитовъ, патріотовъ, гарольдовъ и пр. были часто «добрые малые», но они старательно «морочили» себя и другихъ, волочась за модой, «корчили изъ себя чудаковъ», «носили маски»... Самъ Пушкинъ сильно грѣшилъ этимъ въ юности,—очень грѣшилъ и его герой. Съ лѣтами у обоихъ проснулась жажда правды, искренности...

Правда, Онѣгинъ и при вторичномъ свиданіи немного попробовалъ еще поломаться передъ Татьяной, но какъ легко онъ бросилъ все это, побѣжденный правдой своего чувства!.. Любовь овладѣваетъ имъ,—и холодные, «разочарованные герои» романовъ забываются,—«надменный бѣсъ» обращается въ несчастнаго человѣка [1])...

Что въ лицѣ Онѣгина Пушкинъ рисовалъ «русскую пародію», видно, наконецъ, изъ того, что *настоящая* душа его героя неразъ себя обнаруживала въ теченіе всего романа. Припомнимъ въ первой главѣ бесѣды Онѣгина съ поэтомъ, когда они,—

«Воспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались...» [2])

Они тогда «уносились мечтой къ началу жизни молодой [3])»,—и душа Онѣгина была тогда «полна

[1]) *Пушкинъ*, Соч., III, 385. [2]) Тамъ же, 391,393, 394—5, 365—7, 399. [3]) Тамъ же, 254.

сожалѣній» [1])... Дружба его съ Ленскимъ тоже показываетъ, что не всегда онъ корчилъ мизантропа, что порою холодное презрѣніе ко всѣмъ людямъ, безъ изъятья, смѣнялось у него добродушной, снисходительной «улыбкой», въ которой сквозитъ живое чувство симпатіи [2]). Для «человѣконенавистника» онъ слишкомъ большое значеніе придавалъ смерти Ленскаго, «окровавленная тѣнь» котораго—

«Ему являлась каждый день» [3]).

Для человѣка, въ которомъ умерли всѣ чувства, онъ слишкомъ легко отдается сердечному волненію; вѣдь онъ—

«. . . чуть съ ума не своротилъ,
Или не сдѣлался поэтомъ. . .» [4])

Ленскій.

Поэтическій образъ юнаго Ленскаго, рано унесеннаго могилою, обрисованъ Пушкинымъ очень бѣгло: передъ нами, въ сущности, только характеристика юноши и затѣмъ, какъ бы иллюстрація къ ней, стихи, сочиненные имъ передъ дуэлью. Но и этого немногаго, даннаго Пушкинымъ, вполнѣ достаточно для вѣрнаго пониманія внутренней жизни Ленскаго.

Кромѣ этой существенной поддержки, идущей отъ самого Пушкина, данныя, почерпнутыя непосредственно изъ русской дѣйствительности той эпохи,

---

[1]) Тамъ же, 253. [2]) *Пушкинъ*, Соч., III, 267—8. [3]) Тамъ же, 387, 399. [4]) Тамъ же, 399.

помогутъ намъ доказать: 1) что, подобно Татьянѣ и Онѣгину, этотъ второстепенный герой пушкинскаго романа не вымышленъ великимъ художникомъ, а взятъ изъ русской жизни,—и 2) что художественное воплощеніе этого типа шло тѣмъ же порядкомъ, какой былъ указанъ нами выше, когда рѣчь шла о главныхъ герояхъ романа.

Что касается до Ленскаго, то выяснить его внутренній міръ можно легко изъ той прекрасной характеристики его, которую далъ самъ Пушкинъ въ строфахъ: VI—XII, XIII, XVI, XX, XXII второй главы: передъ нами обрисовывается очень яркими чертами образъ юноши «die schöne Seele», «прекраснодушнаго» мечтателя-идеалиста, вѣрящаго утопіямъ, политическимъ и моральнымъ, сентиментальнаго, романтическаго...

Этотъ типъ сложился во второй половинѣ XVII вѣка, въ «туманной Германіи» и нѣсколько позднѣе, къ концу того же вѣка, ярко обрисовался и у насъ [1]).

Съ его появленіемъ у насъ начинается переломъ русской литературы отъ французскаго псевдоклассицизма къ нѣмецкому романтизму. Карамзинъ стоитъ во главѣ этого новаго періода русской литературы; онъ же былъ несомнѣннымъ прародителемъ огромной толпы всѣхъ этихъ Ленскихъ—«полурусскихъ» юношей-идеалистовъ, пѣвцовъ своей «прекрасной» души.

Хотя между Карамзинымъ и Ленскимъ разстояніе въ тридцать лѣтъ, однако черты ихъ до того поразительно близки, что характеристика Ленскаго, сдѣ-

---

[1]) См. нашу работу «Н. М. Карамзинъ», стр. 115, 40. *Кожевниковъ*, «Философія чувства», ч. I, 636—8.

ланная Пушкинымъ, почти безъ измѣненіи можетъ быть приложена къ Карамзину, какимъ онъ былъ передъ путешествіемъ за границу,—оба были поклонниками «туманной Германіи», оба увлекались и Кантомъ, и вольнолюбивыми мечтами, у обоихъ былъ «духъ пылкій и довольно странный», «всегда восторженная рѣчь и кудри черныя до плечъ»...

Когда Карамзинъ сблизился съ Петровымъ, онъ горѣлъ «пламеннымъ усердіемъ къ добру» [1]), какъ у Ленскаго,—

«Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь—
. . . . . .
Въ немъ рано волновали кровь» [2]).

Карамзинскую «искренность, живость, нѣкоторый жаръ чувства» [3]) узнаемъ мы въ «пылкихъ» [4]), «восторженныхъ рѣчахъ» [5]) Ленскаго, въ его «юномъ жарѣ, юномъ бредѣ» [6]), въ его «пламенной младости» [7])...

«Милыя надежды» Карамзина, его «тайныя сомнѣнія» [8]) волновали и Ленскаго,—

«. . . Міра новый блескъ и шумъ
Еще плѣняли юный умъ.
Онъ забавлялъ мечтою сладкой
Сомнѣнья сердца своего.
Цѣль жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Надъ ней онъ голову ломалъ
И чудеса подозрѣвалъ» [9]).

У обоихъ «душа воспламенилась» поэтическимъ огнемъ поэтовъ Германіи; разница лишь въ томъ,

[1]) *Карамзинъ*, Соч., III, 360. [2]) Соч., III, 263, [3]) *Карамзинъ*, Соч., III, 360. [4]) III, 267. [5]) Тамъ же, 262. [6]) Тамъ же, 267. [7]) Тамъ же, 270. [8]) *Карамзинъ*, Соч., III, 360, [9]) III, 363.

что Карамзинъ зачитывался Клопштокомъ, Клейстомъ, а Ленскій—Шиллеромъ и Гете... Оба въ своихъ произведеніяхъ гордо сохранили всегда возвышенныя чувства, порывы «дѣвственной мечты» [1]). Оба проливали «живыя» слезы при разлукѣ, оба знали припадки «меланхоліи», «пѣли поблеклой жизни цвѣтъ, безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ» [2]).

Любопытно, что сходство простирается до того, что захватываетъ даже отношенія обоихъ къ ихъ друзьямъ, Онѣгину и Петрову: «гдѣ онъ (Петровъ) одобрялъ съ спокойной улыбкой, тамъ я (Карамзинъ) восхищался; огненной пылкости моей противополагалъ онъ холодную свою разсудительность» [3]). Онѣгинъ тоже—

«. . . слушалъ Ленскаго съ улыбкой
И охладительное слово
Въ устахъ старался удержать. . . [4])

О чемъ же бесѣдовали друзья,—Онѣгинъ съ Ленскимъ и Петровъ съ Карамзинымъ?—Да буквально о томъ же: «разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человѣчества» [5]), «разсуждали о нравственномъ мірѣ» [6]), славили «преимущества осьмагонадесять вѣка», «распространеніе духа общественности», «тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь [7]) народовъ», «вопрошали натуру о великихъ тайнахъ ея» [8]),—

«Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:

---

[1]) Тамъ же, 263—4. [2]) Соч., III, 265. Если мы къ этому прибавимъ «сентиментальничанье» Ленскаго (III, 312), то сходство обоихъ образовъ еще увеличится. [3]) *Карамзинъ*, Соч., III, 362; [4]) Соч., III, 267. [5]) *Карамзинъ*, 366. [6]) Тамъ же, 437. [7]) Тамъ же, 438. [8]) Тамъ же, 366.

совпаденіе съ Ленскимъ: весь первый періодъ поэтической дѣятельности «прекраснодушнаго» Жуковскаго, въ сущности, есть не что иное, какъ варіаціи на тѣ же темы, которыя разрабатывались Ленскимъ.—

«Въ немъ скорбь о неизвѣстномъ,
Стремленье въ даль, любви тоска,
Томленіе разлуки» [1])...

Развѣ не о такой поэзіи говоритъ Пушкинъ въ словахъ:

«Онъ пѣлъ любовь...
...Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
...Онъ пѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ...» [2])

Правда, Ленскій былъ также и поклонникомъ нѣмецкой философіи; кромѣ того, довольно рѣзко подчеркнуты Пушкинымъ его «вольнолюбивыя» мечты. Но и эти черты отыщемъ мы въ русской жизни той эпохи: намъ поможетъ въ этомъ, хотя бы князь А. Одоевскій, юноша-поэтъ, поплатившійся за свои вольнолюбивыя мечты Сибирью. Стоитъ намъ, хотя бы, слегка ознакомиться съ этимъ образомъ,—и опять передъ нами станетъ тотъ же Ленскій: тотъ же—

«...блескъ лазурныхъ глазъ,
И звонкій дѣтскій смѣхъ, и рѣчь живая...» [3])

«Мысли его, разсказываетъ М. Бестужевъ, витали въ областяхъ фантазіи. Это былъ молодой пылкій человѣкъ и поэтъ въ душѣ» [4]). Огаревъ, встрѣтившійся съ нимъ на Кавказѣ, разсказываетъ слѣдующій эпизодъ, характерный для Одоевскаго: «ночь была

[1]) *Жуковскій*, Соч. I, 109. [2]) Соч. III, 265; [3]) *Одоевскій*, Соч. (изд. подъ редакціей г. Мазаева), IX. [4]) Тамъ же, VII.

чудная. Мы сѣли на скамью, и Одоевскій говорилъ свои стихи. Я слушалъ, склоня голову. Это былъ разсказъ о видѣніи какого-то свѣтлаго женскаго образа, который передъ нимъ явился въ прозрачной мглѣ и медленно скрылся» [1]). Развѣ не тѣ же видѣнія посѣщали Ленскаго, когда онъ писалъ свою лебединую пѣснь передъ дуэлью,—тотъ же воздушный, женскій образъ, легкій, полупрозрачный, проносящійся легкой тѣнью передъ чистыми очами юноши-поэта, умиленнаго, восхищеннаго... Обратимся ли мы къ стихамъ Одоевскаго,—мы опять услышимъ музыкальные мотивы трогательной элегіи Ленскаго:

«Куда, куда вы удалились?..»

Мы услышимъ въ этихъ стихахъ ту же возвышенную, чистую грусть, освященную тою же вдохновенной любовью ко всему міру и безоблачнымъ оптимизмомъ.

Стоитъ сравнить, хотя бы, его элегію: «Умирающій художникъ» съ стихами Ленскаго,—и мы еще разъ убѣдимся, до какой степени могъ Пушкинъ проникаться чужимъ настроеніемъ: стихи его Ленскаго совершенно въ тонѣ этой элегіи,—

«...едва лучи денницы
Моей коснулися зѣницы—
И свѣтъ во взорахъ потемнѣлъ;
Плодъ жизни свѣянъ недоспѣлый!
Нѣтъ! Снова небесныхъ кистью смѣлой
Одушевить я не успѣлъ;
Гласъ пѣсни, мною недопѣтой,
Не дозвучитъ въ земныхъ струнахъ,
И я, въ нетлѣніе одѣтый,
Ее дослышу въ небесахъ [2]).

[1]) Тамъ же, VIII. [2]) *Одоевскій*, Соч., 5.

Развѣ не эти же думы роились въ головѣ Ленскаго, когда онъ думалъ о возможной смерти? Когда мысли его перенеслись къ Ольгѣ,—развѣ его поэтическія грезы не совпали съ грезами Одоевскаго:

«Улетѣлъ надеждъ блеснувшихъ
Лучезарный хороводъ,
Лишь одна изъ дѣвъ воздушныхъ
Запоздала. Сладкій взоръ,
Легкій шопотъ устъ послушныхъ,
Твой небесный разговоръ
Внятны мнѣ. Тебѣ охотно
Я ввѣряюсь всей душой...
Тихо плавай надо мной,
Плавай, другъ мой неотлетный!
Всѣ исчезли. Ты одна
На яву, во время сна,
Навѣваешь утѣшенье [1]).

Поэтъ, живущій въ «мірѣ мечтаній», преклоняющійся передъ «святыней чувства» [2]),—Одоевскій, задаетъ себѣ томительный вопросъ, который, конечно, мучилъ и Ленскаго:

«Зачѣмъ мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнуетъ трепетную грудь?
Какъ званый гость, или случайный,
Пришелъ онъ въ этотъ чуждый міръ,
Гдѣ скудно сердца наслажденье
И скорби съ радостью смѣшенье
Томитъ, какъ похоронный пиръ?—
Гдѣ насъ объемлетъ разрушенье,
Гдѣ колыбель—могилы дань,
Развалинъ цѣпь—поля и горы... [3])

Если мы обратимся къ мемуарамъ того времени,—опять передъ нами пронесется нѣсколько чистыхъ

[1]) Тамъ же, 7; [2]) Тамъ же, 10. [3]) Тамъ же, 10.

юношескихъ образовъ, просвѣтленныхъ тѣмъ же идеализмомъ, которымъ пылала душа Ленскаго. С. Аксаковъ, напримѣръ, вспоминаетъ свою юность въ слѣдующихъ восторженныхъ выраженіяхъ: «Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время благороднаго увлеченія!..» [1]) Тутъ, конечно, есть и идеальная дружба, и любовь, и преклоненіе передъ природой, и увлеченіе идеалистической литературой: Аксаковъ зачитывался романами Коцебу и Лафонтена, «читалъ ихъ по ночамъ—въ пустыхъ антресоляхъ—читалъ съ увлеченіемъ, съ самозабвеніемъ! Смѣшно сказать, но и теперь слова: «люби меня, — я добръ, Фанни!» или: «мѣсяцы, блаженные мѣсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными»,— слова, сами по себѣ ничтожныя и пошлыя, заставляютъ сердце мое биться скорѣе по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили они пятнадцатилѣтняго юношу!..» [2]) Прощаясь со своею университетскою жизнью, Аксаковъ разражается цѣлымъ рядомъ восторженныхъ восклицаній: «прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной!.. Стѣны гимназіи и университета, товарищи— вотъ, что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства. Тамъ былъ судъ, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное

[1]) Г. Поливановъ указываетъ также на Кюхельбекера, какъ на образчикъ поэта-идеалиста, воспитаннаго на нѣмецкой поэзіи и потому близкаго къ Ленскому (Пушкинъ. Соч., изд. подъ ред. Поливанова, IV, 467). [2]) *С. Аксаковъ*. Соч., I, 322.

презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ разсчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости—и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному!» [1]) Эти вдохновенныя строки говорятъ намъ о настроеніи цѣлаго поколѣнія молодежи и находятъ подтвержденіе въ рядѣ другихъ свидѣтельствъ. Изъ записокъ Жихарева мы узнаемъ, напримѣръ, что молодежь тогдашняя увлекалась музыкой, «исполненною чувства и нѣмецкой мечтательности» [2]), что трогательные стихи, отъ которыхъ «такъ и вѣетъ Маттисономъ», приводили въ умиленіе тогдашнихъ юношей:

«На ея могилѣ есть цвѣтокъ незримый:
Всюду разливаетъ онъ благоуханье.
Онъ—цвѣтокъ завѣтный, онъ—цвѣтокъ любимый,
Онъ—*воспоминанье*!
И вѣчно душистый, цвѣтокъ неизмѣнный,
Не боится бури, не вянетъ отъ зноя,
Сторожитъ сохранно имя преселенной
Къ вѣчному покою!» [3])

Слушая соловья на могилѣ своей милой, идеальный юноша того времени обливался слезами и сочинялъ чувствительную элегію:

« . .Пѣсня сладостна твоя;
Но стократъ нѣжнѣе
Раздавалась пѣснь ея
Слаще и милѣе!
Пѣсня дѣвы молодой
Въ сердце западала...
Какъ воздушной арфы строй,
Душу проникала.
Много, много васъ, пѣвцовъ,
Съ весною прибудетъ,

[1]) Тамъ же, I, 338. [2]) Тамъ же, I, 360; [3]) *Жихаревъ*, Записки, 42.

Но весна почившей вновь
Къ пѣснямъ не разбудитъ!
Голосъ смолкъ, погаснулъ взоръ,
Здѣсь она отпѣла,
И къ пѣвцамъ безплотнымъ въ хоръ,
Въ небо улетѣла!» [1])

Вотъ передъ нами еще одинъ юноша—Телешовъ, о которомъ его ученица, графиня А. Д. Блудова, отзывается съ самымъ живымъ сочувствіемъ: у него, оказывается, «была душа самая пылкая, нѣжная, женственная» и, какъ у Ленскаго,

Всегда восторженная рѣчь...» [2])

Это былъ идеалистъ pur sang, чистый образчикъ юноши—«die schöne Seele». Такимъ же былъ, повидимому, и С. Глинка, который, по собственному признанію, «лелѣялъ сердце жизнію мечтательною», былъ «платонически влюбленъ», воспѣвалъ свою милую въ элегическихъ стихахъ... [3]) Немудрено, что его записки переходятъ порой въ поэтическія импровизаціи, мечтательныя, сентиментальныя... Читая ихъ, мы опять вспоминаемъ все того же Ленскаго. «Былъ очаровательный іюльскій вечеръ. На голубомъ небѣ солнце въ безмятежномъ великолѣпіи спускалось на покой въ волны озеръ и золотило отражавшіяся въ нихъ вершины лѣсовъ. Остановя почтовую повозку, я бросился къ прелестямъ живописной природы. Мечты зароились въ головѣ моей. «По наукѣ, думалъ я, земной нашъ пріютъ кружится около солнца; по глазамъ — оно уклоняется отъ насъ. Да вѣдь надобно же отдохнуть когда-нибудь и этому солнцу, которое

[1]) *Жихаревъ*, Записки, 70; [2]) «Русск. Арх.», 1872; [3]) *С. Глинка*, Записки, 193.

всѣмъ безъ разбору и приличій даритъ и свой блескъ, и красоту полей и луговъ, и золотыя жатвы нивъ!» Такъ мечталъ я,—и всплывала луна, и солнце дружелюбно уступало ей владычество свое. Какой миръ въ мірѣ небесномъ! Какой миръ въ области безчисленныхъ свѣтилъ и свѣтовъ! А у насъ за клочки земли какія кипятъ и ссоры, и вражды, и бури военныя!..» [1]) Вспоминая подъ старость свои юные «поэтическіе и мечтательные годы» жизни, Глинка разсказываетъ: «въ молодости моей, мечтая съ Юнгомъ, я бродилъ въ мѣстахъ уединенныхъ, въ глуши лѣсовъ; нерѣдко внималъ громовымъ раскатамъ, мечтая подъ дождемъ проливнымъ, пересочиняя въ мысляхъ Юнговы ночи; возвращаясь домой, передавалъ бумагѣ сумрачныя мечты свои. Отчего западало это раннее томленіе въ мою душу? Было ли это вѣстію, чтобы я готовился на борьбу съ жизнію труженической? И отчего слезы, унынie и въ юности моей сладостнѣе были для сердца моего утѣхъ кружащихся въ вихрѣ большого свѣта?» [2]).

Кромѣ этихъ приведенныхъ мною примѣровъ, для объясненія Ленскаго можно безъ труда набрать цѣлые десятки, болѣе и менѣе, сходныхъ образовъ: въ любыхъ запискахъ той эпохи, нѣтъ-нѣтъ, и мелькнетъ образъ какого-нибудь «нѣжнаго» юноши-мечтателя, съ идеальными порывами, съ кристальной душой... Но, думаю, и приведенныхъ примѣровъ достаточно для доказательства моего мнѣнія, что пушкинскій Ленскій выхваченъ изъ русской дѣйствительности, что типъ этотъ имѣетъ свою исторію до Пушкина и, прибавлю въ заключеніе, не умеръ и послѣ

[1]) Тамъ же, 245. [2]) *С. Глинка*, 363.

появленія въ свѣтъ его романа... Въ самомъ дѣлѣ, развѣ московскій кружокъ поклонниковъ нѣмецкой философіи, собравшійся около Станкевича, не есть собраніе юношей, во многомъ сходныхъ съ Ленскимъ?..

Какимъ путемъ шло художественное воплощеніе этого типа? При разрѣшеніи этого вопроса невольно наталкиваешься на интересную частность. Характеристика Ленскаго, сдѣланная Пушкинымъ, замѣчательно вѣрно рисуетъ *типъ* юноши — «die schöne Seele», — но то обстоятельство, что она одинаково приложима и къ Карамзину, и къ Жуковскому, и къ Одоевскому, и къ Аксакову, и ко многимъ другимъ,—доказываетъ, что она черезчуръ *общая*, что Пушкинъ собралъ для своего Ленскаго все существенное, характерное для юноши-идеалиста, и съ этимъ пустилъ его въ свѣтъ... Вотъ почему передъ нами только *коллективный типъ*, нѣсколько туманный и отвлеченный... Этого, конечно, нельзя сказать, напримѣръ, объ Онѣгинѣ и Татьянѣ — тамъ чувствуется живопись съ «натурщика»,—здѣсь же этого нѣтъ; нѣтъ рѣзкаго штриха, который, копируя натуру, оживляетъ образъ, вноситъ въ него живыя черты случайности...

Такими же «коллективными» типами въ романѣ можно назвать отца Онѣгина, Ларинныхъ,—въ старушкѣ же Филипповнѣ опять чувствуется «жизнь»: незабвенная Арина Родіоновна припоминается каждому.

Редакціонные и корректурные промахи.

5 стр. 6 св. напеч.: 1828,—надо: 1825.; **10 стр. 1 св.** напеч.: нога была,—надо: она была; **11 стр. 11 сн.** напеч.: Духовъ,—надо ..духовъ; **17 стр. 6 сн.** напеч.: je,—надо: ,je; **19 стр. 17 сн.** напеч.: поетъ,—надо: поэтъ; **44 стр. 6 сн.** напеч.: Пушкинъ,—надо: Пушкинъ; **46 стр. 7 св.** напеч.: надзираля,—надо: надзирателя; **55 стр. 4 сн.** напеч.: II, 15,—надо: II, 75; **69 стр. 16 сн.** напеч.: наперстникъ,—надо: наперсникъ; **2 сн.** напеч.: 264,—надо: 283; **72 стр. 14 сн.** напеч.: миросозерцаніе,—надо: міросозерцаніе; **84 стр. 15 сн.** напеч.: щену,—надо: щину; **90 стр. 6 сн.** напеч.: 139,—надо: 132; **92 стр. 3 сн.** напеч.: I, 44,—надо: I, 14; **93 стр. 4 сн.** напеч.: 155,—надо: 154; **3 сн.** напеч.: 154-5,—надо: 151-2; **94 стр. 2 св.** напеч.: сго,—надо: его; **127 стр. 2 сн.** напеч.: [1]) тамъ же,—надо: [1]) Тамъ же, I, 211; **129 стр. 15 сн.**; напеч.: В. А.,—надо: П. А: **131 стр. 7 св.**; напеч.: гороинямъ,—надо: героинямъ; **8 св.** напеч.: разочаровался,—надо: разочаровывался; **132 стр. 11 св.** напеч.: надоѣли—, надо: надоѣли..; **12 св.** напеч.: И, хоть,—надо: ...И, хоть; **155 стр. 8 сн.** напеч.: I, 298,—надо: I, 296; **170 стр. 14 сн.** напеч.: П. Л.,—надо: В. Л.; **171 стр. 3 сн. и 2 св.** напеч. Н. П.,—надо: И. П; **172 стр. 6 сн.** напеч.: Каподострія,—надо: Каподистрія; **175 стр. 15 св.** напеч.: рый,—надо: рое; **183 стр. 10 св.** напеч.: Инси,—надо Ипси; **202 стр. 13 св.** напеч.: ступени,—надо: ступни; **204 стр. 7 сн.** напеч.: былъ; и,—надо: былъ, я; **225 стр. 9 св.** напеч.: ъ концѣ,—надо: въ концѣ; **239 стр. 18 сн.** напеч.: ствоихъ,—надо: своихъ: **247 стр. 3 сн.** напеч.: еловѣнолюбивое,—надо: Человѣколюбивое; **253 стр. 1 св.** напеч.: народу,—надо: наряду; **256 стр. 14 сн.** напеч.: жизци,—надо: жизни; **268 стр. 1 св.** напечатано: зниска не особенно направилась,—надо: записка не особенно понравилась; **276 стр. 11 сн.** напеч.: П. А.,—надо: П. Я.; **283 стр. 3 сн.** напеч.: А. И.,—надо: А. П.; **289 стр. 4 сн.** напеч.: А. Осиповой,—надо: П. Осиповой; **297 стр.**

14 св. напеч.: Елизавета,—надо: Екатерина; **312 стр. 12 св.** напеч.: разжиренію,—надо: разжирѣнію; **339 стр. 15 св.** напеч.: былъ, расцвѣтая,—надо: былъ я, расцвѣтая; **385 стр. 9 св.** напеч.: дядиной,—надо дѣдиной; **397 стр. 14 св.** напеч.: спасенія,—надо: спасенья; **2 сн.** напеч.: Пушкана,—надо: Пушкина; **412 стр. 9 сн.** напеч.: Дондукова,—надо, Дундукова; **413 стр. 1 сн.** напеч.: ches,—надо: chez; **469 стр. 9 св.** напеч.: хвостикомъ и вотъ,—надо: хвостикомъ, а вотъ; **537 стр. 6 сн.** напеч.: Сердечной ревностью горя,—надо перенести на стр. 538, 4 св. во второй столбецъ; **568 стр. 9 св.** напеч.: излюбленныхъ,—надо: возлюбленныхъ; **571 стр. 6 сн.** напеч.: вышнемъ,—надо: высшемъ; на стр. 27, 31: 32-ой лицей временъ Пушкина названъ Александровскимъ; это названіе было ему дано позднѣе.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Вмѣсто предисловія.	V—XXV
Въ родной семьѣ.	3—28
Въ Царскосельскомъ лицеѣ	31—100
Въ Петербургѣ	103—154
На югѣ	157—212
Въ селѣ Михайловскомъ	215—258
На волѣ.	261—346
Въ тихой пристани	349—444
«Русланъ и Людмила»	447—473
«Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ»	477—518
«Полтава» и «Борисъ Годуновъ»	521—540
«Исторія села Горохина»	543—552
«Онѣгинъ, Ленскій и Татьяна»	555—618
Редакціонные и корректурные промахи	619—620

ТОГО-ЖЕ АВТОРА.

„Новый взглядъ на исторію литературы“ (Брюнетьеръ). „Образованіе“, 1894 г.

„Исторія развитія французской критики“ (Брюнетьеръ),—тамъ-же.

„Вырожденіе“ (М. Нордау),—тамъ-же.

„Искусство и Природа“ (Шербюлье)—тамъ-же.

„Загадочный писатель“ (И. А. Крыловъ). „Образованіе“, 1895 г.

Breitinger. „Les trois unités d'Aristote avant le Cid de Corneille“, „Ж. М. Н. Пр.“, 1895 г.

Сильвестръ Медвѣдевъ. „Очеркъ изъ исторіи русск. просвѣщ. и обществен. жизни въ концѣ XVII в.“ Ив. Козловскаго. „Ж. М. Н. Пр.“, 1896 г.

Ив. Ивановъ. „Политическая роль французскаго театра“, тамъ-же.

„О предкахъ Карамзина“. „Р. Стар.“. 1898 г.

„Изъ прошлаго русской цензуры“. „Р. Стар.“, 1899 г.

* [1]) **„Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“**. 1889 г., ц. 50 к.

* **„Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій“**. 1899 г., ц. 50 к.

Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника“, съ приложеніемъ—1) статьи: **„Новиковъ, Шварцъ и московское масонство“** и—2) **Матеріаловъ для полнаго собранія сочиненій Карамзина“**. 1899. 642 стр. Ц. 3 р. 50 к.

М. М. Херасковъ (біогр. очеркъ въ „Біогр. Словарѣ“ Имп. Ист. О-ва).

Итальянскій театръ въ С.-Петербургѣ при Аннѣ Іоанновнѣ (1733—1735 г). „Р. Стар.“. 1900 г.

„Жизнь и поэзія Н. М. Языкова“, критико-біограф. изслѣд. В. Я. Смирнова. („Изв. Отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ“. 1900, т V, кн. 3).

Изъ исторіи русской литературы XVIII в. (Опытъ статистическихъ наблюденій). 1901 г. Ц. 50 к.

Изъ исторіи русскаго романа XVIII в. („Ванька Каинъ“). 1902 г. („Изв. Отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Н.“, т. VII, кн. 2).

А. С. Пушкинъ по его письмамъ. 1902 г. („Сборникъ памяти Л. Н. Майкова“).

Пушкинская юбилейная литература (критико-библіографическій обзоръ). Изд. 2-е. 1902 г. Ц. 2 р. 25 к.

Значеніе Петра Великаго въ исторіи русской литературы. 1903 г. Ц. 50 к.

Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти. (Матеріалы по библіографіи, исторіи и теоріи романа). 1903 г. Ц. 2 р.

Шляпкинъ. „Изъ неизд. бумагъ А. С. Пушкина“. „Ж. М. Н. Пр.“, 1904 г. № 6.

---

[1]) Работы, отмѣченныя звѣздочкой (*), вошли въ сочиненіе: „Пушкинъ жизнь и творчество“.

Изъ статистическихъ наблюденій надъ исторіей русскаго романа XVIII в. „Литер. Вѣстн.“ 1904 г., т. VII, кн. 3.

Русскія повѣсти XVII—XVIII ст. 1905 г. Ц. 2 р. 50 к.

* **Пушкинъ и Рылѣевъ,** 1905 г. Ц. 50 к.

Политическія идеи въ русскомъ романѣ XVIII ст. 1905 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Изв. 2-го Отд. Имп. Ак. Н.“. 1905 г.).

Философскія настроенія въ русскомъ романѣ XVIII ст. 1905 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Ж. М. Н. Пр.“, 1905 г.).

Вліяніе „Вертера“ на русскій романъ XVIII ст. 1906 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Ж. М. Н. Пр.“, 1905 г.).

* **„Лѣтопись села Горохина“** (литер. исторія повѣсти). 1906 г. Ц. 25 к.

* **„Русланъ и Людмила“** (литературная исторія поэмы). 1906 г. Ц. 50 к.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, т. I (народная словесность, древняя письменность и новая литература до Карамзина), 530 стр. Ц. 2 р.; т. III—новѣйшая литература (съ Тургенева), 711 стр. Ц. 2 р. Къ веснѣ 1907 г. выйдетъ томъ II (съ Карамзина до Тургенева).

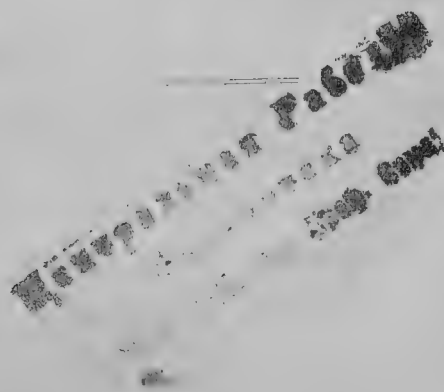
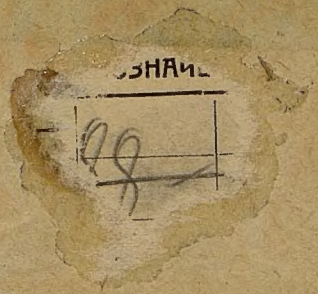
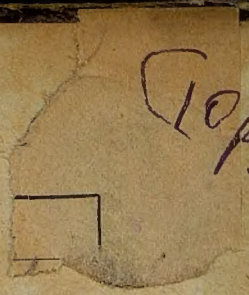
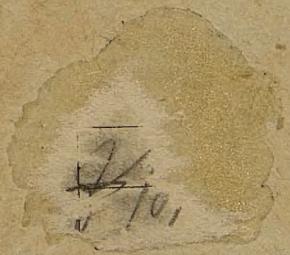
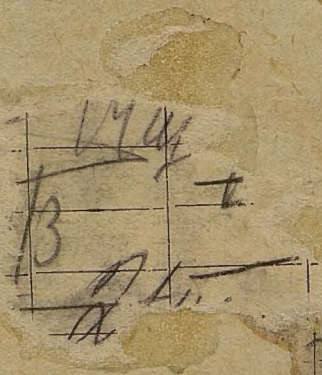
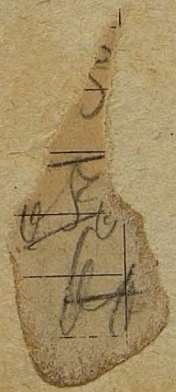
ИСТОРІЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, часть I. Вып. первый (народная словесность), въ переплетѣ 60 коп. 2-ое изд. Вып. второй (исторія русской литературы съ XI в. до эпохи Петра). 1 р. 2-ое изд. Часть II (съ эпохи Петра до эпохи Александра I). 1 р. 30 к. Часть III находится въ печати.

Исторія литературы, какъ наука, 30 к.

Русская жизнь XVIII-го вѣка по романамъ и повѣстямъ („Русская Старина“. 1906 № 5—6).

Греческій романъ въ русскихъ переводахъ XVIII-го вѣка. 1906 г. Ц. 50 к.

Очерки изъ исторіи русскаго романа XVIII вѣка. (Изслѣдованіе). Наход. въ печати.



[10 p]